У-77

II К

123062

ста.

Если в задачу полета поставлено добиться воз-
жно большей скорости, то следует пожертвовать
лутораста килограммами горючего для выполне
я задачи. **Если же,** как всегда бывает при рей-
вых полетах, **путевая скорость полета задана рас
исанием, то эту скорость нужно стремиться вы-
олнить при возможно меньшей скорости по прибо-**
. Добиться этого можно, используя высоту и из-
енчивость ветров по высотам.

Влияние попутного ветра как дарового помощ-
ка мотора ясно без особых объяснений. Нужно
ко заметить, что при попутных ветрах появ-
возможность выдержать расписание при
ой приборной скорости, и эту возмож-
ых полетах нужно всегда использо-

Экз. 19206г.

шей скорости по прибору

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК
СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Г. И. УСПЕНСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1949

Кн. 123062

ГВ1

Г. И. УСПЕНСКИЙ

У 77.
5
3

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
НОВЫЕ ЗАБОТЫ

ПИСЬМА ИЗ СЕРБИИ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ
1873–1875

Инв. 123062

Государственная Ленинградская
БИБЛИОТЕКА
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1949

Г. И. УСПЕНСКИЙ
ФОТОГРАФИЯ 1872 г.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
НОВЫЕ ЗАБОТЫ

I. КНИЖКА ЧЕКОВ.

(Эпизод из жизни недоимщиков)

I.

Иван Кузьмич Мясников, купец и фабрикант, покончив дела, за которыми нарочно приезжал в губернский город, возвратился в грязноватый нумер грязноватой гостиницы, приказал запрягать лошадей и стал собираться в дорогу.

— Что ж, Иван Кузьмич, мало погостили у нас?— помогая уложить весьма небольшое количество вещей отъезжавшего, говорил трактирный слуга.— Право, совсем и не погуляли в городе-то...

— Нагуляюсь потом.— Слава богу, хоть отделался!

— Всё ли благополучно покончили?

— Всё!.. хорошо! На-ко вот погляди эту штучку.

Мясников вынул из-под жилета и подал коридорному какую-то маленькую книжку, которую тот с недоумением взял в руки и долго с тем же недоумением смотрел на нее.

— Это что же будет?— спросил, наконец, коридорный.

— А это, друг любезный,— с довольным и веселым лицом проговорил Мясников,— эта штучка стоит пятнадцать тысяч рубликов! Вот что это такое!

— Этакая муха? Пятнадцать тысяч?..

— Да-да, муха, пятнадцать тысяч... Как ты думаешь? Что?

— Да тут всё бумага... всё одно, как книжка... Тут денег-то нет нисколько...

— То-то вот и хорошо!.. Подп-ко, узнай, что это—деньги!.. Чистая бумага, а пятнадцать тысяч в ней весу!.. Называется — чек!

При этом слове лакей повернул перед собою книжку, поглядел на нее с другого бока и уставил ничего не понимающие глаза на купца.

— Это видишь что... Сейчас ты отодрал лоскут и получай деньги!..— пробовал было объяснить Мясников, но так как и при этом коридорный ровно ничего не понял, то хозяин книжки чеков должен был начать рассказывать ему банковые дела со всеми подробностями. Нельзя сказать, чтобы изложение этих дел, продолжавшееся довольно долго, уяснило коридорному значение книжонки, которую он не переставал держать в своих руках, по временам останавливая на ней внимательный взгляд; тем не менее, когда речь купца была, наконец, кончена, коридорный вздохнул и в каком-то раздумье произнес:

— Да-да!.. Мала-мала штучка, а какую прорву денег вобрала!

Это выражение очень понравилось хозяину книжки.

— Питательная книжка, точно! Именно, что впитала!

— Пятнадцать тысяч!— продолжал коридорный:— ведь это в старые годы деревня, да сколько душ крестьян, да лесу... И этакая-то муха слопала!

Слуга замотал головою в знак полного недоумения и отдал книжку купцу, который, продолжая быть вполне довольным, спрятал ее опять под жилет.

— Грехи-грехи!— почему-то пришло коридорному в голову.

Разговор был прерван появлением кучера, который доложил, что всё готово.

II.

Через час тележка, в которой, закутавшись в мерлушечью шубу (на случай ночных осенних заморозков), сидел Мясников, ехала далеко за городом, по проселочной дороге. Иван Кузьмич дремал, болтая головой справа налево и спереди назад. По временам он шарил у себя на груди под шубой, желая удостовериться, тут ли книжка, и всякий раз, когда рука ощупывала ее, ему почему-то тотчас же припоминалось выражение трактирного слуги: «вобрала»; это слово оживляло его и заставляло невольно припоминать, что́ именно она вобрала в себя. Но чем яснее представлялись ему составные части этих тысяч и этой книжонки, которая так искусно всосала их, тем менее хотелось спать и становилось как-то скучнее.

Однажды Иван Кузьмич даже вздохнул.

Отчего это? Неужто книжонка «вобрала» в самом деле уж очень много? С другой стороны, неужели в самом деле Иваном Кузьмичом положено в эту книжку так много труда, что мысль об этом труде, явившаяся вслед за вздохом, совершенно успокоила его, до того успокоила, что он уже не вздыхал больше ни разу, а скоро и совсем заснул?

Необходимо обстоятельнее познакомиться с Иваном Кузьмичом и его деятельностью, чтобы ответить на все вопросы, толпящиеся вокруг книжки чеков.

Иван Кузьмич, как уже сказано, принадлежит к купеческому званию, хотя ровно ничего не имеет общего с тем типом «купца», к которому привык читатель, которого он видел и в лавке и на сцене. Между Иваном Кузьмичом и «купцом» старого типа ни в фигуре, ни во взглядах, ни в манере деятельности — нет никакого сходства.

Старомодный купец, как скажет всякий, кто имел с ним дело, жил обманом, богатство приходило к нему темными путями, и слова «темный богач» так же справедливы по отношению к старомодному купцу, как поговорка: «не обманешь — не продашь»— справедлива относительно его деятельности. В нем всё было обман. Женился он обыкновенно

не на женщине, а на сундуке, но притворялся, что он — семейный человек и живет в страхе божием, зная, что все в его семье точно так же притворяются и лгут, как и он сам. Обходительность и ловкость, которыми он щеголял перед покупателем, пришедшим к нему в лавку, были не более, как средством «отвести» покупателю глаза, «заговорить зубы» и всучить тем временем гнилое, линючее, или спустить против настоящей меры на вершок, а то и на целый аршин, если удастся... Так думали про старинного купца все, да так думал и он сам, потому что хоть иной раз он и нажпвал большие капиталы, хоть иной раз и ловко удавалось ему «обойти» покупателя,— в глубине души он чувствовал, что дело его «не чисто», что каждую минуту его могут уличить и поступить на законном основании, да и на том свете, пожалуй, будет не очень хорошо. Вот почему старомодный купец считал своею глубокою обязанностью радеть ко храму божию, заглушать голос совести стопудовым колоколом или пудовой свечкой местному образу, с которою он обыкновенно, пыхтя и обливаясь потом, пробирался посреди толпы, наполнявшей храм, толкая публику направо и налево. Жертвы храму божьему успокоивали его душу, сознававшую, что она не очень чиста, но едва ли они могли успокоить его насчет неумолимого закона, которому нельзя ставить никаких свечек, который не нуждается в колокольном звоне. И действительно, закон, начиная будочником и кончая губернатором, постоянно стоял над старомодным купцом в самом угрожающем виде. Купец был дойною коровою всех, кто представлял собою какую-нибудь власть. Он давал взятки, подносил хлеб-соль, жертвовал, подписывал на альбом видов, который общество задумало поднести значительному лицу, проезжавшему из столицы, делал иллюминации «в честь»... участвовал карманом в каком-то аллегри «в пользу» и т. д., не говоря о том, что пирог с приличной закускоп — причем всегда должна быть отличнейшая икра и редкостнейшая рыба (две вещи, неразрывно связанные с словом «купец», как неразрывно связана с этим же словом «лисья шуба» и возглас:

«кипяточку!»)— этот пирог не сходил у него со стола для званых и незваных. Квартальный, городничий, частный пристав, брандмейстер, судейский крючок, ходатай и т. д.— всё это шло к нему в дом, в лавку и брало деньги, ело икру, рыбу, пило водку, постоянно гостило и требовало благодарности за снисхождение. Старомодный купец всем платил, всех кормил, чувствуя себя виновным, и только миновав все эти препоны, то есть накормив, оделив всех, мог завтра опять «заговаривать зубы» и «отводить глаза». Недаром стародавний купец одевался в лисий мех: нечто лисье было во всей его деятельности, а травля, гораздо более оживленная и деятельная, чем бывает травля на настоящую лисицу, преследовала старомодного купца изо дня в день, из года в год. И вот, налгавшись вдоволь, напотевшись за чаем и из страха наказания за свои плутни, этот лиса-человек кончал тем, что под конец жизни прятал свои деньжонки, скопленные обманом и криводушием, в сундук и, чтобы спокойно дожить остаток дней, должен был притворяться нищим, уверять всех и каждого, что у него за душой нет копейки, а в доказательство справедливости этих слов — питался одной только редькой.

Ничего общего с этого рода типом Иван Кузьмич Мясников не имеет; в физиономии его нет ни той слащавости, которая замечалась у прежнего купца в моменты спускания аршина на четверть против настоящей меры, ни страха, являвшегося при появлении квартального. Напротив, физиономия Ивана Кузьмича — физиономия смелая, уверенная, и эту открытую смелость Иван Кузьмич не прячет даже в бороду, потому что «по нонешнему времени» он эту бороду бреет. Такая существенная разница между старым и новым представителем капитала объясняется тем, что старый тип считал свое дело в глубине души «не совсем, чтобы по-божески», а новый, напротив, ничуть не сомневается в том, что его дело — настоящее и что отечество даже обязано ему благодарностью за то, что он жертвует своим капиталом на общую пользу, и хотя действует из личных выгод, но зато дает другим хлеб, оживляет «мертвые местности» и капиталы,

как пишут в газетах (с которыми Иван Кузьмич частию знаком),— капиталы, которые, по словам газет и по убеждению Ивана Кузьмича, бог знает сколько времени лежали бы без движения, если бы он, Мясников, не приложил к ним своих рук. В этом убеждении Ивана Кузьмича укрепляет общественное мнение, мнение печати и та действительная нищета, среди которой его капиталы, его хлеб — действительно благодеяние. Вот почему взгляд его прям и прост, вот почему ему нет надобности ни вилять ни бояться: он действует на законном основании. И нет поэтому Ивану Кузьмичу никакой надобности тащить к местному образу пудовую золоченую свечку, чтобы тем успокоить свою совесть,— совесть эта покойна, потому что Иван Кузьмич «дает просто оборот своим капиталам», а это не запрещено, и в писании ничего грозного на этот счет не сказано. Вот почему и причт того прихода, к которому принадлежит Иван Кузьмич, уж и не ждет от него никакого финансового поощрения, раз навсегда решив, что тут много «не пообедаешь», «не разъешься». Действуя на законном основании, Иван Кузьмич совершенно покоен и с этой стороны, зная наверное, что его никто не посмеет тронуть: на всё у него есть патенты; везде заплачено, что следует; без заискивания, без страха, не с заднего крыльца, не тайком в темном углу сунуто, «дадено» в руку, а прямо «заплачено», «что вам следует», и, благодаря этому, начальство не только не может принять относительно его той угрожающей позы, в которой оно постоянно фигурировало пред купцом старого типа, но по примеру духовенства знает, что тут «больше не ухватишь», и держит себя в почтительном от Ивана Кузьмича отдалении. Словом, сознание, что капитал — сила, что прятать его в сундук — глупость, что делать на этот капитал оборот, что покупать и продавать можно решительно всё, что продается и покупается, что получение барыша тоже вполне разрешено и допущено,— всё это проводит резкую границу между старомодным купцом и купцом нового типа и делает последнего спокойным, уверенным и не боящимся ничего ни здесь ни там.

И вот, вместо того, чтобы по старому обычаю, отправляясь в дорогу по делам, отслужить с водосвятием напутственный молебен, как это делал прежний купец, когда ехал за гнилым товаром в Москву; вместо того, чтобы дать окропить себе лицо и окропить внутренность кибитки и даже внутренность шапки ямщика, Иван Кузьмич, в качестве «нового типа», кладет в карман шестиствольный, заряженный шестью пулями револьвер и совершенно спокойно отправляется «оживлять» мертвые места и капиталы, отправляется в глубину русской глуши, где этих капиталов везде лежат непочатые углы, совершенно недоступные для купца старого закала.

И словно сказочный богатырь, наделенный непомерною силою денег, Иван Кузьмич начинает буквально двигать горами. Прикоснется он с своими капиталами к дремучему темному бору, грозно шумевшему тучам и грозам: «вороти назад, держи около»— и с материнской заботливостью дававшему приют тысячам зверей и птиц, и — глядишь, в две-три недели после появления в этом лесу Ивана Кузьмича лес исчез, и уж больше нет этого дремучего богатыря! Разбежался зверь; с шумом, карканьем и плачем разлетелись птицы, и остались одни бревна, кое-где придавившие зайца, спасавшегося бегством, поленницы дров, брусья. А скоро и это исчезнет отсюда, и останется голое, изрытое место да деньги в кармане Ивана Кузьмича, какие-то разноцветные маленькие бумажки, которые тотчас вновь идут в дело, и — глядишь, где-нибудь в другом глухом уголке идет стон и рев, и рекою льется кровь быков, свиней и овец... Стадо превращается в мясо, в солонину, в сало, в шкуры, в пуды, в фунты — и всё это скоро исчезает, уезжает на скрипучих возах, оставив после себя пустое пастбище да бумажки разноцветные в кармане Ивана Кузьмича, тотчас идущие на какое-нибудь новое дело... Но какого бы рода дело это ни было, всегда что-то очень похожее на опустошение, на исчезание, на смерть чего-то, что было и чего не стало, остается по приведении этого дела к окончанию. Надо отдать справедливость

твердости характера и нервов Ивана Кузьмича: он никогда почти не испытывал этого ощущения смерти — ни тогда, когда, треща и крича испуганными птицами и не хотевшими сдаваться топору стволами, падали тысячи деревьев, ни тогда, когда под ножом умирали тысячи быков, тысячи рыб, ни тогда, когда тысячи других тварей, оставленных живыми, с ревом, хрюканьем или беспомощным блеяньем, битком набитые в вагоны, крепко-накрепко запертые, увозились на убой неведомо куда. Всё это было для него: триста двадцать пять сажен дров, пятьсот пудов сала и столько-то голов скота. Покончив со всеми этими еще недавно живыми саженями и пудами, он чувствовал только усталость, утомление и убеждался, что деньги достаются не даром, что труда он кладет в них много и что прозвища «благодетель», «кормилец», которые иной раз приходилось Ивану Кузьмичу слышать в оживляемых им глухих местах,—«пожалуй-что» и справедливые прозвища.

И в самом деле, как в сущности ни проста система оборотов капитала, которой придерживается Иван Кузьмич, как ни прост прием обогащения, основанный на том, чтобы в корень извести всё, что произвели природа или чужие руки, как ни просто, проглотивши этот многолетний труд природы и человека, положить потом себе в карман чистые деньги, но условия жизни глухих мест бывают иной раз таковы, что и такая система действия, такая голая купля готового добра, такое бесследное уничтожение естественных и трудовых богатств могут, поистине, считаться благодеяниями, а Иван Кузьмич — действительным благодетелем...

В самом деле, что такое было, например, в деревне Расторгуеве, где теперь властвует Иван Кузьмич и куда он теперь едет, прежде нежели появились в ней капиталы Ивана Кузьмича?

III.

Лет шестнадцать, семнадцать тому назад вся «окру́га», ныне облагодетельствованная Иваном Кузьмичом, смело могла быть причислена к одной из самых обыкновенных на

Руси глухих местностей... Поля были бесконечные, оживленные только скачущими галками и воронами или фигурой крестьянина с сохой, издали весьма напоминавшего собою тоже ворону. Лес, темневший по окраинам этой холмистой равнины, был лес глухой и дремучий; летом, в самый разгар полуденного зноя, в глубине этого леса чувствовалась прохлада, пахло влажной землей, и нога вязла в грудах сгнившей и тоже влажной листвы. Солнцу было трудно проникнуть сквозь густую чащу ветвей и листьев, и только иногда луч его, как алмаз, блестел где-нибудь на поверхности быстрого ручья, гремящего по оврагу, совершенно затерявшемуся в обильной растительности... Глушь и тишина царствовали здесь поразительные; лес стоял словно в заколдованном сне. Привольно жилось здесь зверю и птице; великое множество было здесь кустов с ягодами; великое множество рыбы сновало в быстрой речке... И никто не прикасался к этим сокровищам, и никто, казалось, не вспоминал и не думал о них... Раз или два в течение двух-трех лет, в летнюю или осеннюю пору, удавалось кой-кому увидать выбегающего из лесной чащи сетера, и по этой собаке догадывались, что барин воротился из-за границы и охотится в своих владениях... Нагнув голову и заложив руки назад, рассеянно бредет он вслед за обезумевшей от обилия дичи собакой и о чем-то, повидимому, скучает, о чем-то крепко думает; ружье лениво болтается у него за спиной... О чем же думал барин? Думал он несомненно об очень многом, но выходило всегда как-то так, что думы эти ничуть не изменяли печального положения тех мест, где бродил он; несмотря на обилие всего, что росло и жило в лесу и реках, находившихся во власти этого барина, несмотря на громадные пространства полей,— леса эти и поля и реки и после его отъезда за границу (он был болен) оставались в том же забвении; кое-где среди бесконечных владений его торчали черные, нищенские деревеньки, виднелся тощий скот и тощий человек, носивший уже кличку «вора» и «неплательщика», потому что действительно покушался прорваться в

эти дебри за дровами, за ягодами, за рыбой, норовил урвать тайком, а что «следовало» платить— платил не иначе, как из-под палки.

Богатство стояло забытое, никому ненужное и никому недоступное. У барина пропадал аппетит охотиться в лесу, где каждый выстрел попадал в цель — так было много всякой твари; у мужика не было дров зимою, и он зяб в разоренных лачужках, выводился со связанными руками из леса, если, конечно, попадался на глаза сторожу, или уходил без ружья, если тот же сторож запримечивал в нем намерение убить тетерку. Вот в каком виде была распоясовская округа лет шестнадцать тому назад: всего много, и никому нет от этого пользы. Барин скучал, страдал меланхолией, мужик бедствовал и тоже терял аппетит жить на белом свете.

Освобождение крестьян сразу покончило с этой обоюдной меланхолией барина и мужика. Как только, благодаря этому событию, что-то такое «отошло» от мужиков к господам, от господ к мужикам, тотчас же и в тех и других появились первые проблески чувства собственности; как только какой-то кусок леса или поля стал чужим, барин сообразил, что всё это — «мое», и как только увидел это же самое мужик, то и он тоже сообразил, что ведь это — «наше».

«Мое» и «наше»— ощущения до такой степени были новыми для меланхоликов и до такой степени оказались кстати, как для души барина, так для души и желудка мужика, что аппетит к «моему» и «нашему» стал возрастать не по дням, а по часам — и у барина и у мужика.

У старинного управляющего распоясовской округой явилась в это время довольно счастливая мысль: оказалось, что места, на которых издавна сидели распоясовцы, как раз подходят под что-то такое, что ежели это что-то «округлить» с чем-то — как раз вчетверо можно получать доходу более против прежнего. Для этого стоит только переселить распоясовцев куда-то в другое место, где им всё подстать и «еще лучше прежнего».

Управляющий сообщил этот план барину, и хотя барин долго колебался в своем решении, но проклятый, совершенно прежде неведомый аппетит к «моему» довел его, наконец, до того, что он как бы прирос к сознанию, что это — его собственность.

«Ей-богу же, ведь это мое!»— стало всё чаще и чаще думаться ему среди всяких соображений за предложение управляющего и против него, и, наконец, уехав за границу, он написал из Лозанны управляющему, чтобы он действовал как знает, «как лучше».

Управляющий принялся за дело, «наши» тоже ощетинились, началась свалка.

Сильно ощетинились «наши». Жажда свалки и победы, имевшей целью, как уже сказано, удовлетворение весьма простых стремлений желудка, усиливалась теми мечтаниями насчет лучшей жизни, которые тоже как бы пробудились в момент освобождения. Эти мечтания были неопределенны, вырастали под влиянием рассказов древних беззубых стариков о старине, пополнялись нравоучениями прохожего богомольца, беглого солдата, но, благодаря почти непроницаемой темноте крестьянской избы во время сумерок, когда, «сумеричая», мужик обыкновенно слушал эти рассказы солдат и богомольцев и предавался мечтам, мечты эти, хоть и неопределенные, уносили его мысли высоко-высоко и далеко-далеко от крестьянской избы... Так далеко, что, начав песню над ребенком, в которой говорилось, что поневá, лежащая под ним,— «поневочка худая, ровно три года гнила», и заслушавшись рассказов и замечтавшись, крестьянка бросала этот грустный мотив и, обращаясь к ребенку, почти с уверенностью говорила: «вырастешь велик, будешь в золоте ходить...» Таковы были вполне несбыточные мечты распоясовского мужика, воспитанные темными, угрюмыми зимними вечерами; они до такой степени подняли дух распоясовских обывателей, что обыватели эти решились в предстоящей битве не жалеть своего добришка, так как, думали они, «наше дело верное!»

Кн. 123062

БИБЛИОТЕКА

— Распоясывайся, робя!— галдели они.— Не жалей! втрое воротим... Вынимай кошели-то! Эй, старик! Что у кого есть под печкой — волоки... Обчисво!.. Надо в город посылать человека верного. Дедушка Пармен! Постой за мир! Расправь кости, обхлопочи!

— Пожалейте меня, православные!— говорил дедушка Пармен, восьмидесятилетний старец.— Ох, натерпелась моя спинушка!

— Уважь сиротские слезы!— надвигались на него распоясовцы.— Кто, окромя тебя, имеет в себе ум? Мы — народ черный, путем света не видали. А ты изжил век, стало, всё как по-писанному видишь... Постой за наши животы! Дед, а дед! Побойся бога, не дай в обиду!

— Ох-о-ох, пожалейте мою древность ветхую, детушки! о-о-ох-ох...

— Дед! Пармен!— вопияли распоясовцы:— али тебе крестьянского разоренья не жалко? Чисто все помрем...

Долго ревела толпа и долго, обливаясь слезами, оборонялся от нее старый дед, но наконец-таки сдался.

— Н-ну!— сказал он, выпрямившись и осушив глаза решительным движением мозолистой корявой руки. — Коли так, так, стало, божья воля мне потерпеть еще на старости лет!

— Авось, бог, наше дело чистое!..

— Видно, уж господь, батюшка Никола-милостивый так осудил меня венцом — иду!

— Дай тебе господи! Пошли тебе царица небесная!— голосила воодушевившаяся толпа.

— А что деньги дадите, так я единой копейки не покорыстуюсь...

— Дед! Дед! Грех тебе, старому, этак-то говорить,— упрекали его распоясовцы:— такие слова про своего брата. Делай по своему уму, как тебя господь вразумит... Ступай с богом, постой за своих!

И вот старый дед, с котомкой за плечами, с длинной палкой в сухой руке, неровною поступью худых тонких ног,

обутых на мирской счет в новые лапти, пошел «воевать» за правое дело. Давненько-таки, признаться, он не бывал в городе, с тех самых пор, как сорок лет тому назад сидел в городском остроге, из которого и пошел прямо в Сибирь. А после Сибири, когда по манифесту ему вышло прощение, он не показывал в город и глаз и отвык от всех городских порядков. А порядки с тех пор шибко изменились; подьячий, который, взяв взятку, делал в прежнее время то, что хотел, то, что выходило по деньгам, вывелся. Пармену оставалось одно: положиться во всем на бога, на его милость и указание. Для большего успеха в своем деле он не ел, не пил по целым дням, желая постничеством угодить богу, а мирские деньги ревностно раздавал тем, кто обещал постоять за распоясовцев, причем он слезно плакался и умолял не погубить... Но в то время, когда старец Пармен постился и слезно плакал перед лицами, бравшими его деньги, как-то незаметно пропускались очень важные сроки к подаче прошения, к выслушанию решения, к изъявлению несогласия, к апелляции в законный срок. Пропускались эти маленькие пустячки потому, должно быть, что Пармен не знал их, не мог о них упоминать и в молитвах, или потому, что кому-то, знавшему эти штучки, выгодно было молчать о них перед темным мужиком. Таким образом, выходило как-то так, что едва Пармен, возвратившись из губернии, объявлял миру, что всё — слава богу, что приказано ждать «тайного чиновника», который всё повернет против «их», являлся исправник или становой и объявлял, что —

— На основании тома, статьи и на основании статьи... тома... уложения... и по случаю пятнадцатого примечания к тому... статье... и параграфу... определено: объявить крестьянам деревни Распоясово, что просьба их возвращается без последствий за пропущением срока и «постановление» входит в законную силу...

Так как во время отсутствия Пармена крестьяне тоже возлагали надежды на бога, а убеждение в правоте своего дела основывалось у них исключительно на мечтаниях

в темные осенние и зимние вечера и ночи, то, не понимая путем того, что читал приехавший чиновник, они догадывались однако, что в бумаге нет ничего насчет того, чтобы всё «повернуть к ним», как обещано, и поэтому говорили, что эта бумага «не та», что подписывать ее не будут...

— Согласу нашего нет!— говорили они.

— Несогласны?

— Никак нет. Это бумага фалышивая, наше дело правое. Дедушка Пармен, так аль нет?

— Фальшивая, детушки, бумага! Не она! не наша! Ступай ты, барин, с ней откуда пришел!

— Так несогласны?— переспрашивал приезжий.

— Будет зубы-то заговаривать!— отвечала толпа.— Бери ее себе, бумагу-то... а нам она не нужна! Подделка!

Приезжий всё это вносит в протокол, причем Пармена расспрашивают особенно подробно, и затем, написав всё это на нескольких листах, отправляют по назначению. Распоясовский мужик везет эту бумагу куда следует и погоняет лошадь. На распоясовских лошадях уезжает и чиновник. Распоясовцы не знают, что, пропустив по своему невежеству сроки, они впутались еще в новое дело. Напротив, после этой «фальшивой» бумаги они как будто ожесточаются относительно размеров жертв, которые нужно принести за свое дело правое.

— Ну-ну, робя, распоясывай! Распоясывайся, миряне! Закипают дела, не жалей, покоряй их своими животами! Неужто так пропадать?..

— Зачем пропадать? Последнее надоть отдать, а не токмо что...

— Дедушка Пармен, постой и во вторительном подвиге! Окроме тебя, кто-же?

— Ты уж ходил — знаешь!

— Приму свою кончину за свое племя!.. Собирайте в дорогу!.. Отдаю вам свой живот, только молите бога о грехах моих... Может, это от грехов моих бумага офальшивилась

против нас... Прощайте, православные!.. Простите — чем обидел!

И вновь отправляется Нармен, еще более длинный, еще более худой, вновь принимается молить бога и поститься — и, увы! не возвращается. Отыскивать Нармена берется дьячков сын, служивший уже в каком-то присутственном месте в губернском городе и знающий, по его словам, все порядки. Он вызывается ехать в город, обещается сделать всё скоро и дешево; мир, подумав, дает и ему денег, но не пускает его одного, а наряжает в спутники ему мужика, из своих, так как человек этот хоть и мастер в бумажных делах, в переписке и отписке, но давно уже известен всему Расторгову как пьяница и человек ненадежный. Перед отъездом ему рекомендуют вспомнить бога и поминать о сиротских слезах... и т. д.

Дьячков сын не жалеет мирских денег — на взятки и угощения. В нумере на постоялом дворе, где он остановился вместе с мужиком, идет непробудное пьянство несколько дней к ряду и такое бесчинство, что депутат и проводник только дивится на господ и «ужахается». Пробовал было он заикнуться о «наших» делах, но дьячков сын, будучи пьян, только обругал его и как будто даже доказал, что дело их давно пропало, что хлопотать тут уж больше нечего и что всё давно пошло своим чередом против них. Но на утро он оправился и отпустил мужика домой, сказав, что он, дьячков сын, останется ждать в городе какой-то бумаги, в которой именно и будет сказано всё, что следует...

И опять идет бумага, и опять везет ее становой, и опять в бумаге что-то как будто «не так». Оказывается, что в то время, как они галдели с дядей Нармеком о вторичном его путешествии, и в то время, как пьянствовал в городе дьячков сын, «истек» еще какой-то срок, день или час, в который можно бы было что-то сделать, а после которого уже решительно «всё пропало».

— И поэтому говорю вам по чести: сделайте переселение добровольно,— прибавил становой.— Это будет вам

выгоднее: если же вы будете продолжать упорствовать, то — и т. д.

Несмотря на полную справедливость того, что говорил становой пристав, распоясовцы видели, что это вовсе «не то», что им нужно, и опять не дали «согласу».

— Так несогласны?

Никак нет! Согласу не даем!

— Не подписываете?

Храни бог греха...

Но ведь ваше дело проиграно?..

Это — не та бумага!

Фальшь!..

— Как твоя фамилия? Кто это сказал «фальшь»? Выходи сюда: кто ты таков?

— Братцы! Не выдавай!..

— Что-о-о?..

В шуме и гаме пишется новый протокольчик, и новый распоясовский мужик везет его, куда следует, погоняя лошадь. И становой уезжает тоже на распоясовских лошадях.

Эти два неожиданные удара, эти две бумаги, так жестоко обманувшие надежды распоясовцев, так много поглотившие денег, разрушившие так много мечтаний, в первую минуту до того потрясают распоясовцев, что они не знают, что делать. Нет у них никого, к кому бы обратиться, узнать — как быть: дьячков сын пропал, Пармен пропал, никто ничего не знает. Старшина гнет на «ихнюю» сторону, в сторону фальшивой бумаги. Что тут делать? «Да неужто нет правды на свете?.. Время теперь не прежнее!..» И как только эта мысль о правде вступает в головы распоясовцев, остолбенение их тотчас же заменяется жаждою борьбы, в сотни раз сильнейшею той, которая двигала ими в первых двух попытках.

— Али правды нету на свете?— гремит «коновод», вдруг взявшийся незнамо откуда.— Подымай, ребята, последними животами!.. Всё одно помирать!

— Выпускай последний дух!.. Авось, сыщется правда-то!..

— Бог-то на небе, чай, есть!

— Оскребай, ребята, что есты! Н-но! За одно!

Этот момент в жизни распоясовцев был полон таким удивительным самоотвержением, какое бывает только в самые решительные минуты. Выворотив всё, что «оставалось», «выпустив последний дух», распродав «коровенок, овчонок», распоясовцы стали доходить до Москвы, которая казалась им выше губернского города, стали доходить в Петербург, после того, как Москва «просолила дело». И когда в Петербурге тоже оказалось что-то плохо, то, воодушевившись мыслию, что Петербург сошелся не клином, стали распоясовцы достигать до сената и т. д., пока не уперлись в пересылочную тюрьму. Оставшиеся дома распоясовцы ждали результатов с непоколебимым терпением. Не было случайно проходившего или проезжавшего чрез их деревню человека, к которому они не адресовались бы с расспросами о своем деле и не совали бы ему поросенка, чтобы он сказал всё, что знает. Сами они не знали ничего.

— Где у вас бумаги?— спрашивал заинтересовавшийся проезжий.

— Бумаги даны Пармену.

— А Пармен где?

— В губернии.

— А где такая-то бумага?

— Дьячков сын, Антипкин, взял.

— Где же он?

— Неизвестно...

— А такая-то?

— А такой и не было.

— Должна быть!

— Может, у Пахомки... У Пахомки нагдысь оглядел я бумагу.

— Каё у Пахомки? У Радивона! Радивон сказывал, говорит, у него, вишь!

— У Радивона восиявая бумага, эво ты! Припущать осну...

— А може...

- Так нет бумаг?

— Бумаг у нас. надо говорить прямо, нету!

— Ну, так ничего и нельзя делать!

– Ничего?

– Ничего нельзя!..

Таков был большею частию ответ всех, кто понимал дело. или хотел понять его. Всякий раз распоясовцы после таких расспросов становились грустнее и всё больше и больше чувствовали железную силу незнания и бессилие разорвать эту паутину «сроков», «просрочек», «апелляций», «кассаций», «скоший». Спасибо, большое спасибо прохожим богомольцам. отставным солдатам и прочему захожему люду, тоже, как и распоясовцы, не понимавшему в этом деле ровно ничего. Те всегда говорили, что их дело верное, что повернуть его можно, как угодно, что стоит только дойти куда выше, а там только черкнут — и сразу перевернут всю округу. Солдаты особенно ярко представляли возможность успеха. Они сами бывали в Петербурге и видели всё и знают; «а что ежели становой там что-нибудь, так в Петербурге становые продаются по грошу пара!» Точно сахар, вести эти расплывались по сердцу распоясовцев... Однажды Мирон Петров, распоясовский мужик, ездивший к Троице-Сергию, привез подобную же весточку и от питерских ходоков, которых он. впрочем, не видал, а слыхал, что на станции одному купцу кто-то сказывал, что вышло распоясовским «в пользу», а купец всё это рассказал Мирону, да и купец-то какой-то незнакомый...

— Должно добер, купец-то!— думали распоясовцы.

Но покуда шли эти расспросы, рассказы, покуда распоясовские мужики медленно шли и перевозились по этапу домой, сроки все были пропущены окончательно и безвозвратно. и при наступлении осени уездный исправник, явившийся в деревню на тройке собственных лошадей, с колоколь-

чиком и бубенцами, очень коротко и просто объявил, что с завтрашнего дня распоясовцы должны переселяться.

Он прочел им все бумаги, которые когда бы и куда бы то ни было подавали распоясовцы, прочел решение по этим бумагам, прочел решение по бумагам петербургских ходоков и повторил, что после всего этого разговаривать нечего. Если же, прибавил он, распоясовцы попрежнему будут упорствовать, то переселение будет сделано полицией на их счет, что рабочих теперь — сколько угодно, потому что — осень.

Распоясовцы ничего не понимали.

Исправник растолковал им опять дело с начала и до конца: они всё-таки не могли понять ничего.

И в третий раз было всё им разъяснено и доказано. И в третий раз они не понимали и не верили.

Очнулись они только тогда, когда им предложили подписать что-то. Тут они опять увидели «фальшь» и подписать отказались.

И опять три раза было, как по пальцам, рассказано всё дело, и опять предложено подписаться, и опять они не тронулись с места и «согласу» не дали.

Составлен был третий протокол, и третий распоясовский мужик отвез его, погоняя лошадь, куда следует.

Предложение «подписать», напоминавшее распоясовцам два таких же «фальшивых» предложения, и изворотливость, с которой они отстояли «свои права» и не подписали их, на некоторое время было оживили их и воскресили некоторую надежду, что еще будут добрые новости, что вот-вот придут петербургские ходоки, что вот-вот приедут какие-нибудь «особенные» чиновники и повернут всё дело по-свойски. Но на следующий день, с восходом солнца, восемьдесят человек народу, собранного со всех окрестных деревень, пришло в Распоясово.

Вы что, ребята? Здорово!— спрашивали распоясовцы.

— Здравствуйте! Да вот нанялись...

На пересел, вишь, сгоняли...

- Али это нас разорять пришли?

— По делам так, что вроде как — вас!
— Ни-ча-во!
— Нам что же? Восемь гривен в день!.. Суди сам!
— Цена хорошая!..
— Наше дело, сами знаете, чай!..
— Так-то так! По восьми гривен?..
— По восьми...
— Шабаш, значит!..

Это событие сразу разрушило все распоясовские надежды. В довершение беды, скоро вслед за рабочими приехал исправник и подтвердил, что рабочие наняты на счет распоясовцев, и если поэтому распоясовцы добровольно не исполнят того, что следует им исполнить, то рабочие сейчас же приступят к делу.

Минута была тяжелая для распоясовцев. Надежды и мечты были разрушены окончательно; они ничего не могли сообразить ввиду очевидности их неудачи, и вместо того, чтобы негодовать, шуметь и буйствовать, чего так ожидал исправник, они совершенно ослабли духом, отчаялись, впали в глубоко-упорную апатию. «Помереть!»— было единственным желанием почти всех распоясовцев, и фразою: «нам легче помереть» — они отвечали на новые бесконечные доказательства безрассудности их упорства и окончательно проиграли дело.

Истощив все усилия в борьбе с этим окаменелым состоянием народа, исправник скомандовал наконец:

— Ломай!

Рабочие принялись за дело.

Три недели шла ломка распоясовских дворов; три недели над деревней стояла пыль густым облаком от развороченной соломы крыш, разломанных печей; три недели от Распоясова тянулись возы с бревнами, с рамами, с досками от крыш, с оторванными дверями и проч. и проч. Исправник ходил весь черный от пыли и еле таскал ноги от усталости. Он совершенно охрип, так много было работы.

Распоясовцы молча, словно каменные статуи, смотрели на это разрушение. Они действительно как бы окаменели, ничего не ели, не слыхали и не видали.

— Прими ребенка-то, сумасшедшая!— кричал исправник распоясовской бабе.— Ведь убьет! Дура этакая! видишь, стропило падает!..

Баба стоит и не слышит, и только бог спас ребенка: стропило упало рядом с ним.

— Ишь!— буркнул распоясовец, глядя, как бревно проносилось над ребенком.

В другом месте никто не тронулся с места, когда среди разрушающегося дома раздался раздирающий женский вопль. Оказалось, что там лежала беременная женщина в последних муках...

— Православные!— обращались рабочие к распоясовцам: — помогите старичка снять с печи, что вы столбами-то стоите? Дьяволы этакие!

И на это приглашение никто не отвечал: всем было «всё равно», все были словно каменные.

Через три недели Распоясово представляло такой вид: груды содранной с крыш соломы валялись на тех местах, где прежде были дома, амбары, сараи; от домов остались завалинки, от погребов — ямы, от сараев кое-где торчали столбы. И среди этих груд соломы без призора бродила скотина, тщетно взывая к какому-нибудь вниманию хозяина; в этой же соломе возились дети и спали родители, не раздеваясь и не переменяя белья и одежды с первого же дня разорения деревни. Что они ели?— отвечать трудно; хлеба они не сеяли и не собирали. На берегу реки кое-где виднелись вырытые в земле печи, по временам дымившиеся, около которых возились женщины.

Распоясовцы не шли на новые места и держались по-прежнему убеждения, что «лучше помереть».

Настали осенние дожди... Распоясовцы сказали себе:

— Ну, робя, тепериче чистая приходит наша смерть! Отдавай, ребята, богу душу... Помирай!

И всё-таки не шли с старых мест. Вместе с больными ребятами, мокли они в мокрой соломе, в ямах, оставшихся после погребов и выломанных печей.

И действительно стали помирать...

Наконец, всех их отдали под суд.

IV.

Пропустивший «сроки» распоясовец ослаб духом совершенно; он, очевидно, потерял всё; он, очевидно, не знал, в чем дело, был дурак, невежа, и это сознание своей глупости отозвалось в характере распоясовцев полным презрением друг к другу. Они, как собаки, грызлись и вредили друг другу на новых местах; всякому было отвратительно видеть в другом набитого дурака, который, из-за своего невежества и дурости, разорился сам, да и других разорил. Поэтому при следствии «об упорстве и неисполнении» и т. д. они валили всё друг на друга, валили на Пармена, на всех, кто первый кричал: «постоим за свои животы», «подымай, ребята, своими животами», и на всех, кто «первый» отдавал эти животы...

Закончив долголетнюю историю своего терпения и бедности сознанием своей глупости, ничтожества, такого ничтожества, которое может быть во всякое время выкинуто вон как сор, распоясовец чувствовал внутри себя полный разгром, разврат и стал пропивать всё, что оставалось, стал воровать, изнаглел до того, что прямо подходил к проезжему купцу и говорил:

— Ну, что ж, купец, давай на чаек-то?

— За что?

— А за разговор. Мало тебе этого? Вынимай-ка желтую-то бумажку!

И вот в такую-то минуту нравственного падения, грозившего потопить распоясовца в море самой крайней нищеты, однажды по осени, в самое трудное для распоясовцев время, когда приходилось вносить недоимки, в маленькой тележке, запряженной добрым мерином, появился Иван Кузьмич вместе с управляющим. Они, очевидно, объезжали и осматри-

вали «округу». Меренок шел свободно и весело по дороге, Иван Кузьмич просто и прямо оценивал «что чего стоит», и скоро стало известно, что «купец снял» у барина «всё»— и лес дремучий, и реки, и поля, всё— всё до нитки. Скоро новораспоясовцы узнали, что и их Иван Кузьмич «тоже снял», всех до единого: «полтина в сутки пешему и рубль конному»; «кто хочет *по этой цене* итти на станцию за пятнадцать верст принять оттуда паровик — иди».

Такова была прокламация Ивана Кузьмича к народу. «*Человек-полтина*» — вот суть теории, принесенной им в распоясовскую среду. Тут не предполагалось никаких рассуждений о том, что — наше, что — ваше. Насчет каких бы то ни было «правов» тут разговору быть уже не могло. Просто: хочешь полтину — иди, не хочешь — не надо. Всё это потерявшему внутренний смысл распоясовцу было как нельзя лучше по душе: у него после полного нравственного разгрома оставались целыми руки, ноги, мускулы и желудок. Иван Кузьмич только того и требовал, назначив желудку полтинник в сутки и самое главное — водку.

— Повезем, ребята,— говорили его приказчики, скликая распоясовский народ:— повезем *одной водкой*!

— Дай вам бог за это!..— кричали распоясовцы.

— Насчет водки не робей: сколько хошь пей, только дело делай.

— У нас вот как дело закипит — ключом!

И, действительно, скоро закипело дело.

Тысячепудовое чудовище, наконец, приехало из Москвы на станцию железной дороги и, окруженное массою распоясовского народа, тронулось оживлять мертвую округу. Широко разинуло оно свою нелепую железную пасть, как бы грозясь поглотить всю эту благодать, которая открывалась перед ним, всю эту рвань, которая копошилась вокруг него. Медленно и грозно двигается оно вперед. То затрещит и рухнет под ним гнилой мост, то застрянет оно на крутом подъеме. Визг кнутьев по ободранным, обезумевшим от усталости лошаденкам, оранье обезумевших от водки распоясовцев,—

оранье хриплое и изо всех кишок, оранье, переполненное ругательствами, бранью, песнями,— целою тучей висит над этим чудовищем, и оно кой-как вылезает из ямы и идет дальше. То вдруг, на крутом повороте, когда разойдутся и лошади и люди и с гиканьем мчат его вперед, оно вдруг свернется на бок и растянется на пашне, раздавив под собой и дядю Егора и дядю Пахома, да Микишку, да Андрюшку... Долго лежит тут душегубец-чудовище, ожидая судебного следователя и следствия, и полчище распоясовцев долго, несколько дней подряд, пьянствует, ругается друг с другом... Много разбитых в драке во время этого продолжительного безделья лиц, совершенно черных шишек у глаз, запекшейся крови на висках видно в то время, когда чудище снова трогается вперед и снова выбиваются из сил лошаденки, хлещут кнуты и пьяное оранье наполняет воздух.

Кое-как этот «человек-полтина» дотащил чудовище до места, до быстрой речки, пробегавшей в лесу, которого теперь почти уже не было... Масса распоясовцев, превращенных уже в «полтинников», сводила его самым усердным образом, превращая в сажени, в срубы и т. д. С треском валились деревья, громко разносились песни, звон пил и стук топоров, и вечером, когда всё это замолкало, начинал гудеть и дрожать от пляску, брани и драки выстроенный Иваном Кузьмичом из этого же лесу кабак.

— Голова только наш Кузьмич, братцы!— охмелев, бурчал распоясовец.— И-и, башка!

— Довольно чисто поворачивает делами, надо сказать прямо — себе имеет пользу, да и нашему брату способно.

— Хлеб дает бедному, во-от!— прибавлял третий.

— Ав-вось, не помрем, налей-ко еще стаканчик!

— Во-ота! Еще то ли будет! Сказывают, взрывать всё хочет начисто... Деревянный камень какой-то есть... Наливай!

— Эх, ребята, попьем, погуляем!.. Денежки-то вот они!... Нового чекану, по старинному счету два рубля... Наливай, наливай, друг!

— Уж и мне, старухе, стаканчик, пожалуй-что, придется с вами, с молодцами, выкушать... И у нас Кузьмичовы есть деньги, три пятака, пожалуй-что полтина — чего ж и не погреться старухе?

— Пей, старуха! У Кузьмича денег много!.. Пойдем деревянный камень рыть, всё воротим. Наливай!

И, действительно, после того, как исчез лес, Иван Кузьмич напал на камень и стал рыться за ним в глубь земли, таскать его оттуда и продавать до тех пор, покуда не вытаскал весь и покуда вырытые им пещеры не обвалились и не задавили несколько десятков человек. Тогда оказалось, что и железа в этих местах видимо-невидимо! Иван Кузьмич принялся за железо. Рыл, вывозил и продавал, а деньги возил в банк и получал книжки чеков.

Вот что мы знаем об этих книжках, которые он почти каждый год привозил с собою из города. Много ли впитали они в себя добра? Об этом пусть судит читатель.

V.

...Иван Кузьмич только вечером того дня, когда получил в городе последнюю из своих книжек, доехал до своего местопребывания, в распоясовскую округу. Ярко горели окна фабрики, где дымил и свистал чудовище-паровик. Шумела мельница, стучали толчея и крахмальный завод. Иван Кузьмич всё скупал, всё молол, толок и продавал. Тысячи народу копошились на фабрике, на заводе. Сюда была согнана вся распоясовская округа — по рублю, по полтиннику, по четвертаку, и даже самые маленькие мальчики и девчонки могли заработывать по гривеннику в день, занимаясь щипаньем корпии, которую доставляли из больниц в гною и крови и которая шла на бумажный завод. Всё было поставлено к делу и оценено.

Иван Кузьмич жил в центре этого поселка, в маленьком домике, с окнами на все четыре стороны, из которых было видно всё, что ни делалось вокруг него.

Когда он вошел в свой домик, в комнате было жарко натоплено и на столе уже кипел самовар. Он не был женат, но прислуга у него была ловкая, знающая, с кем имеет дело.

Иван Кузьмич напился чаю. Пил он его долго, часа три, расспрашивал про то, что было без него. Всё, оказалось, обстояло благополучно...

По окончании чаю Иван Кузьмич прилег.

Всё было, кажется, хорошо, а чего-то — это Иван Кузьмич чувствовал постоянно — как будто ему и недоставало. Несколько раз мысли его останавливались на женитьбе. Но, подумав хорошенько, он находил, что это — чистая глупость... Поэтому-то и теперь он решился отделаться от скуки так, как отделывался обыкновенно.

— Иван!— сказал он как-то серьезно.

Явился лакей.

— Что на толчее?

— На толчее ноне плохо, Иван Кузьмич.

— Как плохо?

– Всего две бабы, и то старухи... Вот на мельнице — есть.

– Кто такая?

– Андронова — из Больших Озер.

– Ну, хорошо...

– Муж с ей...

— Сунь ему зеленую!

Лакей с улыбкой вышел вон и отправился на мельницу.

Всё это еще недавно была вещь вполне невозможная. Но после того, как человек стал цениться в рубль, в полтинник — и полтинник и рубль стали всё!

— Иди-иди, любезная!.. Торопись, матушка! Потаскайка вот этакую пасть с собой — узнаешь, каково они сладки, платки-то красные да мелочь-серебро...

Так говорила какая-то женщина с ребенком на руках, проходившая мимо дома Ивана Кузьмича в то время, когда вслед за его лакеем бегом вбегала по ступеням крыльца какая-то женщина.

— О, дуры, дуры набитые!— вздыхая говорила женщина с ребенком.— Одной есть нечего, а тут и другое горло таскай... Чай, он отцом-то не хочет быть...

Слово «он» относилось к Ивану Кузьмичу. Ребенок апатично смотрел через плечо матери куда-то вдаль.

Что ждет его?

Никаких золотых нарядов, которые сулила своему сыну размечтавшаяся крестьянка, фабричная женщина сулить не может; она знает, что цена ее мальчонке долгое время будет гривенник, потом двугривенный и так до рубля, а уж дальше ничего, ничего не будет! Сама она про себя знает, что цена ей ничтожная, что хватает только кормиться... Что же она скажет своему мальчишке? Что же может выйти из него, кроме человека, который нужен в делах Ивана Кузьмича— как сила, как дрова, как тряпки?..

II. НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ.

I.

Для полной последовательности в изложении истории распоясовского кармана, с древнейших времен до настоящего времени, необходимо было бы, тотчас за рассказом о появлении в распоясовских палестинах Ивана Кузьмича с его теорией оборотов капитала, начать рассказ о появлении в тех же местах новой питательной железнодорожной ветви, так как «Иваны Кузьмичи» и «питательные ветви» составляют между собою неразрывный союз и друг без друга решительно не могли бы существовать. Иван Кузьмич потому только находит выгоду рубить, копать, рыть, пилить и вообще опустошать распоясовское добро, что железная питательная ветвь тотчас же, в мгновение ока, может за тридевять земель унести всё это выкопанное, расколотое, распиленное, поваленное на землю и вывернутое с корнем из земли... Точно так же и новая питательная ветвь потому только не занесена сугробами, что с каждым днем растет количество Иванов Кузьмичей, а стало быть, и количество нарубленного, вырытого, распиленного,— словом, количество опустошаемого, или, говоря газетным языком, «количество грузов». Не будь дороги, Иван Кузьмич не стал бы

рубить и рыть: куда бы он девался со всем этим добром?.. Не будь Ивана Кузьмича, что бы взяла железная дорога с распоясовского населения, у которого нет почти ничего, кроме белого, довольно кислого квасу? Неразрывность связи питательных ветвей и Иванов Кузьмичей подкрепляется еще и тем обстоятельством, что как один, так и другие одинаково развивают в распоясовском населении вкус получать *за всё* чистыми деньгами: «чистыми деньгами» платит Иван Кузьмич за эти дремучие леса, каменные горы, за все эти «недра земли»; за «чистые деньги» тащит он все эти недра при посредстве, конечно, всё тех же распоясовских обывателей на железную дорогу, а дорога, нагрузив добычу Ивана Кузьмича в свои новые вагоны, немедленно уносит ее за тридевять земель, оставляя распоясовским обывателям за нагрузку увезенного добра ни много ни мало — *по восьми гривен с тысячи пудов* — конечно, «чистыми деньгами», и, конечно, по взаимному соглашению.

Несмотря на крайне юмористическій, хотя и вполне действительный, размер вышеупомянутой цифры, тот факт, что распоясовскій обыватель так или иначе получает «за всё», им самим утраченное, восемь гривен серебром барыша чистыми деньгами, этот факт сам по себе уже достаточен для того, чтобы тотчас же со всею обстоятельностью исследовать цели, средства и результаты, имеющие быть от появления в глухих местах новорожденных питательных ветвей. Но, при всем нашем желании теперь же сосредоточиться на этом новом продолжающем и развивающем теорию Ивана Кузьмича явленіи, мы не делаем этого сію минуту потому, во-первых, что боимся слишком долго останавливать внимание читателя на одном и том же и притом таком непривлекательном предмете, как мужицкій карман,— на предмете, сухость и тягость которого еще более увеличивались бы развитием такой трагической подробности, как физіологія питательной ветви, а во-вторых, потому, что питательная ветвь, несмотря на свои молодые годы, уже успела ознаменовать себя такими яркими проявленіями, которые невольно охлаждают

охоту умиляться перед шестнадцатью пятаками, оставляемыми ею распоясовскому мужику, и невольно заставляют подумать о другом. Чтобы не ходить далеко за такими неловкими проявлениями, упомянем хотя бы о том плачевном факте с этими же шестнадцатью пятаками, по которому оказывается, что, выдавая их распоясовцу чистыми деньгами чрез посредство какого-нибудь начальника станции, питательная ветвь совершенно иными путями, словно и не она, а кто-то другой, извлекает эти шестнадцать пятаков (пятаком больше, пятаком меньше,— не всё ли равно?) в бездонную пропасть своего трехмиллионного бюджета... Факт печальный, но действительный. В ту самую минуту, когда распоясовец, превращенный Иваном Кузьмичом в истинного Лира и затем вновь возвращенный в мужическое звание восемью гривнами, в ту самую минуту, когда этот не король Лир, а Лир-мужик стал было уверять себя, что «вот, мол... *по крайности всё же деньги*»,— в эту-то минуту к нему явился трехмиллионный бюджет питательной ветви и потребовал заплатить за него полмиллиона рублей гарантии... Оказывалось, что, несмотря на все старания Иванов Кузьмичей опустошить отечество, дорога не может покрыть расходов, не может заплатить процентов на те кучи денег, которые нахватала там и сям, приготовляясь обогащаться и обогащать... Трехмиллионный бюджет громко ропщет на распоясовца за то, что он ничего не производит, а умеет торговать только своими «готовыми недрами», которые слишком дешевы и постоянно требуют пониженного тарифа... Оказывалось, кроме того, что не понижать тарифа на эти недра невозможно, так как всё, что имел бюджет в виду, кроме распоясовских недр, точно так же обмануло его и обмануло самым жестоким образом: мука гречневая, мука пшеничная, пеклеванная, ржаная — словом, все сорта всевозможной муки, на бесчисленное количество грузов которой рассчитывала ветвь, эта бессовестная мука не поехала по ветви... совсем не поехала... На всех парах разлетевшись к той избенке на берегу Волги, где проживала эта мука, красноглазый локомотив новой

питательной ветви увидел, что у той же избенки уже светятся десятки красных глаз других локомотивов от других питательных ветвей, приехавших к избенке тоже за этой мукой. «Где тут неклеваная? Где тут пшеничная? Где мука ржаная?..»— орали красноглазые кулаки, а из избенки слышался кашель, и какой-то больной голос едва слышно отвечал: «Как-кая там мука-а!.. Самим нечего... кха-кха... всё дочиста обобрали... кха-а!.. Нету ничаво!..» Как ни орали, как звонко ни гаркали локомотивы питательных ветвей, а должны были убедиться, что нет муки, что какая была, та уж уехала... Посвистал, посвистал и наш красноглазый покупатель, да и поплелся назад, таща за собою в бюджет весьма основательный и тоже «чистый» убыток... То же, что и с мукой, случилось и со всем прочим, что должно было ехать по нашей ветви... Должно было, кроме муки, ехать семя льняное, семя конопляное, семя горчичное, семя сорочинское — и не поехало. «Какое тут семя-а!— отвечали с кашлем из избенки на Волге.— Ступайте отседа... Ну вас... кха!...» Должен был ехать копченый балык, мороженый берш, белорыбица, белуга, лососина, стерлядь... Должны были тучей нестись сухая вобла, окунь, осетер, сазан малосольный и сухой, сельдь иностранная и русская семга, севрюга, сом, малосольная сопа, жерех, судак, тарань, чехонь, шемая... Должны были — и не поехали! Частью потому, что уж были увезены давным-давно, частью, как, например, вобла сухая, по невежеству: эта неповоротливая тварь прямо объявила, что не поедет в заграничное путешествие, потому мол, что непригложе копеечной даме объявляться за границей в рубль серебром. «У господ иностранцев, поди, какие свои есть!..» И снова улеглась на берегу Волги вместе с бурлаками, продолжая свою копеечную торговлю и не обращая внимания на то, что трехмиллионный бюджет твердил ей о совершенно готовом и притом пониженном до крайности тарифе на ее перевозку. «Ну уж, что уж!..»— бормотала тупоумная вобла. И бюджет остался ни с чем. Соображая все эти несчастия бюджета, распоясовец решительно не знал, чем помочь

барину: всё, что было, увез этот самый барин вместе с Иваном Кузьмичом; прежде были, правда, соленые огурцы, но с тех пор, как прошла чугунка, и солить не на что стало, потому что нет уже заработка извозом. Кроме восьми гривен, которые, дай бог здоровья, дал вот этот самый трехмиллионный барин, у распоясовца не было почти ничего. Эти-то восемь гривен и потребовал барин, прося «честью». Распоясовец знал, что может последовать за выражением: «честью тебе говорю»,— и сказал поэтому: «Н-ну, бог с вами... получай!» Отдал деньги и ушел.

Такой по малой мере неджентльменский поступок бюджета новой питательной ветви сам по себе настолько ярок и весок, что, и не вдаваясь в особенные подробности, можно уж иметь общее понятие о достоинствах такого нового явления глухих мест, как железная дорога... И вот, принимая во внимание как смысл этого нового явления, так и смысл всего, что до него происходило в распоясовских местах, невольно устаешь, утомляешься от непомерно однообразной сути и старых и новых форм распоясовской жизни и думаешь — кто же те, кто по каплям выпивает эту реку бюджетов, сливающуюся из бесчисленных распоясовских ручейков? Как и чем живут те, кто не рубит, не возит, не пилит, не глупит, как распоясовский мужик, но для которых на потребу идет распоясовский труд, глупость — всё!.. Счастливы ли, довольны ли эти люди, стоящие у готового, у настоящих «чистых» денег, эти истинные неплательщики, хотя и не недоимщики?

Эти невольно родившиеся вопросы заставляют нас покинуть распоясовский карман, покинуть деревню, перенестись в город и обратить внимание уже не на карман, а вообще на состояние духа городского жителя, так как всякий город, даже такой крошечный, какой предстоит нам видеть, непременно стоит и держится потому, что через него идет ручеек из общего широкого и глубокого бюджета, и так как, живя на готовое, городской бюджетный человек блюдет несомненно какие-нибудь высшие духовные интересы...

В этих-то видах мы и приглашаем читателя, забыв все беды и радости распоясовцев, последовать за нами в современный губернский город и хоть мельком взглянуть, что у него на душе?

II.

Физиономия современного губернского города, как снаружи, так и внутри,— это нечто такое, что сразу, с одного дня, расслабляет нервную систему и сразу, с одного дня, делает жизнь какою-то досадною путаницею. Путаница явлений, поражающая ваш глаз, наравне с путаницею явлений, поражающей ваш ум, лишает физиономию современного города всякого образа и подобия, образуя вместо какой бы то ни было физиономии нечто неуклюжее, разношерстное, какую-то кучу, свалку явлений, не имеющих друг с другом никакой связи и, несмотря на это, делающих бесплодные усилия ужиться вместе...

Старинный тарантас, запряженный пятериком мухортых лошаденок, как нельзя лучше подходил к глубине той лужи, в которой он обыкновенно застревал и из которой, тоже обыкновенно, вытаскивали его народом: всё это вместе, то есть тарантас, лужи, люди с дубинами, как нельзя лучше подходило к широкому постоялому двору, густо застланному мягким навозом и широко распахнувшему свои тесовые ворота выбравшимся из беды путешественникам. Трактир, грязный, темный , как угол, заплетенный паутиной, трактир этот, помещавшийся в верхнем этаже постоялого двора, как нельзя лучше подходил к толстому купцу, пришедшему поговорить с худеньким приказным по кляузному делу, а к обоим вместе как нельзя лучше подходила подстать трактирная машина, гудевшая «Лучинушку» и заглушавшая кляузные разговоры... А в хороший морозный день какую удивительную гармонию представлял обыватель, весело несущий за ногу живого поросенка или гуся и, несмотря на пронзительный вопль животного (которое чует, что люди его сейчас съедят), не упускающий случая приторговывать

всё встречное и поперечное,— какую гармонию представлял этот обыватель вместе с хрюканьем и ораньем, со скрипом замороженного снега и с веселым буханьем в большой соборный колокол по случаю парадного дня!.. Гармония во всем этом была полная. Тряпье, дикость, невежество, хрюканье и проч. и проч.— всё это было пригнано и прилажено всё к тому же невежеству, тряпью, хрюканью и дикости и, стало быть, не могло не только поражать вашего глаза, но даже ни на волос не обижало его...

Теперь не то.

Гармония подлинного тряпья нарушена пришествием решительно несовместных с ним явлений. Из превосходного вагона железной дороги пассажир вылезает прямо в лужи грязи, грязи непроходимой, из которой никто не придет вас вынуть, потому что машина прошла в таком месте, где отроду не было ни народу ни дорог... Ощущение гибели, беспомощности вдруг овладевает вами нежданно-негаданно, и с первого же шага неожиданность явлений и ощущений уже не покидает вас: в новом суде изо дня в день тянется перед глазами слушателей одна и та же до мелочей однообразная повесть о крайнем убожестве, об убийстве спьяну, о краже спьяну, о краже с голоду,— повесть о круглой голи, о какой-то маленькой, зеленой копейке, а обстановка этой копейки стоит рубля; на сцену ставят дело о несчастнейшей, беднейшей, забитейшей женщине, которая не помнит, как родила где-то в хлеву ребенка, не помнит, живой он был или мертвый, а только умеет реветь, ничего не в силах будучи сообразить, а на обстановку этого несчастия идет ничуть не меньше, чем на постановку «Аиды» и «Африканки».

Прежняя, старинная грязь и лужи, прежние гнилые заборы с нищими на углу, поющими: «подайте христа ради!», а над головой нищей, на том же углу,— «Парижская жизнь», оперетка, изуродованные куплеты которой заглушаются буханьем в колокол у Никитья, где завтра престол... *Вдруг*, нежданно-негаданно, налетит по железной дороге Рубинштейн, Давыдов... *Вдруг* забежит волк и перекусает возвра-

щающихся с концерта меломанов... Лохмотья, до последней степени расстроенные нервы, волк, Рубинштейн, венская карета и первобытная мостовая, мигрень и тик рядом с простым угаром — всё это проходит одно за другим, желая представить из себя нечто общее, нечто переплетенное в одну книгу под одним общим заглавием: «Губернский город такой-то»,— и нисколько не достигает чего-нибудь подобного, а только поражает, заставляя на каждом шагу спрашивать себя: зачем и откуда взялась венская карета в этой луже? Почему не просто соленый огурец, а какой-то соленый конкомбр? Зачем Рубинштейн? Зачем волк? Зачем «Парижская жизнь»?.. Зачем железная дорога?..

Словом — полная неизменность первобытных условий, при которых по городу свободно могут бегать волки, при которых даже и состоятельный человек считает долгом по крайней мере раз в месяц угореть так, что его «вытаскивают» замертво,— полная неизменность условий, при которых вполне возможны и законны сугробы, лохмотья и т. д.,— и в то же время несомненное присутствие или напор в среду этих условий — мигреней, венских карет, опереток, громадных окладов, расстроенных нервов и множества других новостей, решительно не подходящих к старому, но смешанных с ним какою-то неведомою и невидимою силою,— делает эту смесь, эту толкучку явлений досадною до последней степени. В самом деле, что должна перенести ваша мысль если разговор о литературе, который вы сейчас вели в весьма просвещенном обществе, сменяется темною, как могила, улицею, по которой вам приходится итти, думая только о спасении себя от луж, собак, а то и прямо от волков? Нормальна ли будет ваша мысль, если грустные впечатления горемычнейшего процесса, виденного в суде, непременно должны быть либо просто забыты, либо изглажены впечатлениями разных маркиз и виконтов, бог знает как переведенных с французского, возвратившихся из ободранного елового булонского леса, которых вы видите на театре?.. Крайняя разнородность, полная разорванность явлений.

которых невольно должна касаться ваша мысль в продолжении хотя одного дня, к вечеру этого дня истомляет вас, расслабляет. Приходится неожиданно думать о неожиданных вещах и неожиданно прекращать случайно начатую мысль ради чего-нибудь также неожиданного, а в результате — нуль, скука, досадная зевота...

Вот в резких, грубых чертах тоскливая, искаженная физиономия современного, реформированного губернского города. Потребность уйти из него, которая начинает мелькать у вас очень скоро после знакомства с этой приятной физиономией, оказывается потребностью весьма распространенною, конечно, под весьма разнообразными формами. Одни просто готовы бежать куда глаза глядят, другие только сегодня «не знают куда деться», а завтра, может, и денутся куда-нибудь, третьи вообще «чувствуют неудовольствие». Кой-кто из всей этой массы народа, чувствующей досадное иго и бремя досадной действительности, не задумывается долго и уходит; но неизмеримое большинство живет, ежеминутно чувствуя неудовлетворение.

И вот, почему-нибудь оставшись среди этой досадной путаницы жизни, оставшись надолго, начинаешь мало-помалу покойнее всматриваться в нее, изучать ее ввиду того, что не один ты влачишь это иго и бремя, а тысячи и десятки тысяч, и, благодаря этому, совершенно теряешь всякую возможность досадовать на какую бы то ни было неожиданность, прибавляющую к существующим нелепицам нелепицу новую, теряешь эту способность потому, что приходишь к такому убеждению: да ведь это всё не здесь делается; ведь это всё — только отраженные движения нервной системы, мозговые центры которой не здесь. Оказывается, что здешний местный мозг почти парализован, почти не действует, а если и действует, то очень слабо, едва-едва. Оказывается, что явления здешней жизни —«явления» в буквальном смысле, потому что буквально «являются» сюда и перевертывают всё вверх дном, не давая здешнему мозгу опомниться, приучив его молчать, обессилив и обескровив его.

Ниже мы фактами новейшей истории постараемся показать как внезапность, случайность явлений нашей досадной жизни, так и влияние этой случайности, пришлости явлений на состояние мысли и расположение духа местного бюджетного потребителя. Теперь же прежде всего необходимо сказать два слова в подтверждение сказанного вообще о случайности появления новин в наших местах. Для того, чтобы убедиться в этой случайности, лучше всего посмотреть на местного «жителя», на коренника, на потомка тех коренников, тех подлинных «жителей», которые насидели место, называемое теперь «город такой-то», которые застроили его этими домиками в три окна, этими церквами, этими базарами, которые горели и погорали дотла и всё-таки опять выстраивались на насиженном месте. Каков же этот потомок, каков этот теперешний коренник, фундамент города, житель или, что — то же, «предполагаемый на будущий год доход с недвижимых имуществ», каков-то он, этот недвижимый человек? Оказывается, что этот недвижимый человек как две капли воды такой же самый, как и его предок... Чего-чего не перебывало с древнейших времен до настоящих дней на том месте, которое насидел доисторпческий коренник, а он хоть бы на булавочную головку изменил суть своей жизни. Чем жил предок, откуда брал он силу чуть не ежегодно строиться вновь, ежегодно погорая от собственного самовара,— определить нет возможности; точно также нет никакой возможности определить, чем живет, откуда берет силу жить и теперешний житель, населяющий эти бесконечные трех- и четырехоконные каменные и полукаменные дома; но точь-в-точь, как и предок, он погорает от собственного самовара и точь-в-точь, как предок,— неведомо как,— умеет выстроиться. Подлинный житель непостижим без собственного дома. Дом и житель — это то же, что мышь и нора; житель потому не просто человек, а так сказать, человеко-дом; и в этом виде и смысле он — две капли воды тот же самый человеко-дом, как и его доисторический предок.

Идут мимо него реформы, оперетки — а он всё бухает

да бухает у Никитья к ранней и поздней, к первому, ко второму и третьему звону. Среди бездонных луж, устроенных этим самым жителем, появляются венские кареты, и в каретах сидят в высшей степени расстроенные нервы, а житель, не обращая на эти нервы никакого внимания, продолжает терзать их хрюком и ревом своих базарных площадей и по-старинному тащит поросенка за заднюю ногу, ни капли не расстраивая своих доисторических нервов его воплем. Мимо него идут линии железных дорог, открывающие ему ворота на дороги всего света, а он всё-таки продолжает ездить в одну только Оптину пустынь. Придут вместо железных дорог аэростаты — и он всё-таки и на аэростате поедет в ту же Оптину пустынь, или уж (благо скоро ходит) съездит к Троице-Сергию, потому давно (лет тридцать) собирался. Во имя чего он дубасит у Никитья, толкается на базаре, горит и строится — я не знаю, точно так же как не знаю, почему мышь проявляет себя только в прогрызании дыр; но что мышь и житель одинаково непоколебимо тверды в упомянутых проявлениях, это я вижу ясно. Чем же объяснить такую удивительную непоколебимость нравов человеко-дома, если не тем, что почти ни одно из «явлений» последних дней не началось в его норе, а прилетало, являлось со стороны? В нору жителя доходил только звук, свет явления; «ноне пошло» вот то-то, говорил он и на том оканчивал связь с тем, что «пошло»... «Пошло земство», «пошел шиньон», «пошли банки», «пошла стуколка»... Кое-что — например, шиньон, необходимость билета на железную дорогу — он удерживал у себя; но принимая шиньон, он всё-таки отправлял в нем свою дочь к тому же самому Никитью, куда ходила и бабушка, хоть и без шиньона, а по железной дороге, как уже сказано,— ездит всё в ту же Оптину пустынь.

При этом необходимо упомянуть, что и принятие таких вещей, как шиньон и билет, всегда обходилось ему необыкновенно дорого. Так, прежде нежели он научился брать билеты, у него было и долго тянулось дело по оскорблению начальника станции словами. Он пять раз подходил к кассе

и спрашивал билет в Оптину пустынь, пять раз ему говорили, что нет такой станции; пять раз он отвечал на это, что — «как же, мол, Иван-то Петрович ездил?»—«Проходите, проходите!»— говорил ему жандарм, и пять раз житель влезал за перила и вылезал из них без всякого результата. Так как прежде, до чугунки, все ездили в Оптину пустынь весьма благополучно и так как Иван Петрович ездил туда же по чугунке, то отказывать в билете — это значит просто желать взять взятку.—«Это вы, я вижу, господин, помазаться захотели, что, мол, в Оптину пустынь нельзя... видно, и тут с нашего брата норовите слизать...»— в шестой раз продравшись к кассе, с полною уверенностию заявил житель.— «Что-о-о-о?» —загремело на это из глубины кассовой будочки, и загремело именно таким голосом, после которого непременно должен следовать протокол: так и вышло. Дело это, тянувшееся полтора года, стало жителю в копейку, но научило его брать билеты в Оптину пустынь. «Ты у меня спроси,— говорил он какому-нибудь юному жителю:— как, например, по нонешнему времени, в Оптину-то пустынь ездят, так я тебе могу объяснить это... Оно у меня вот где сидит, следовательно, я знаю как билеты берутся... вот!..» А шиньон? Тут ревела, не день, не два, а два — три года кряду, целая масса девиц, изнывающих в душных жителевых норах, жен и матерей, понимающих, что, по нонешнему времени, нельзя «без этого», бабушек и прабабушек, тронувшихся рыданиями внучек, и т. д. И только после нескольких лет этого рева, просьб и рыданий, возобновлявшихся аккуратно перед каждой всенощной и обедней, житель, который всё время упирался единственно только потому, что всё новое, приходящее со стороны, неприятно ему, наконец разрешает купить шиньон, прибавляя так, ни к селу ни к городу:

— Да смотри у меня! Ежели чуть что — из дому выгоню. Хоть околей на улице — не пущу!

Но принимая кое-что из нового, он суть дела оставляет всегда прежнею, как уже это и было показано на истории с билетом и шиньоном, и принимает это «кое-что» после

продолжительного самопстязания, воплей семьи, расходов по делу и т. д. Всё же остальное новое, что не подходит так близко к его основным убеждениям, как подошел шиньон и билет на железную дорогу,— всё являлось к нему в виде повесток, просовываемых в его нору каким-то серым рукавом и требующих 1 р., 2 р., 5 р. и т. д., только оплачивалось и оплачивается им, причем житель кряхтит, чешется и под конец всё-таки платит. Оплаченные таким образом новости как будто бы осуществляются в действительности, но в нравственном мире коренного жителя — от них ни тепло ни холодно. Верит он в сущности всё-таки только в то, во что верил его древнейший предок.

III.

Таков коренной, фундаментальный житель города. Притерпевшись ко всевозможным переменам, закалившись, с одной стороны, в уверенности, что появление «этих несчастий» непзбежно (всякий даже и ни в чем не виноватый из жителей уверен, что от сумы да от тюрьмы — отказываться нельзя), с другой стороны — в том, что оно, это явление перемен, не от нас и «нам не требуется», житель хоть и кряхтит, хоть и платит, но основы, то есть пироги, храмовые праздники, пожары и т. п., завещанные ему предками, узаконяют в его собственных глазах его существование. Веря в эти основы, он чувствует некоторое тепло близ них, имеет на белом свете некоторый уют. Выстропвшись, отвертевшись благополучно от дела да съездив при этом тоже благополучно к Троице-Сергию, житель может иметь в своей норе минуты истинного счастия, особливо когда уверен, что ближе будущего года гореть ему не придется, что вороты заперты, собаки спущены, что около кровати старшей дочери, свернувшись клубочком под шубкой на полу, лежит старая бабушка и всю ночь, не показывая виду, не спускает с своей внучки глаз. В такие минуты, когда житель вполне уверен, что в такой поздний час не придут с повесткой, что не влезет вор, что господь

сохранит от пожара, что дочка замуж пойдет по-божески,— в такие минуты житель может быть вполне счастлив. На душе его в такие минуты тихо, тепло; тихо и тепло в такие минуты в его спальне, в его перине, и весело от ровного, тихого света лампадки.

Но каково тому, кто не глупит, как распоясовский мужик, каково тому, кто не сеет, не жнет, не рубит и не опустошает, кто не терпит, как коренной житель, от новых времен и от пожаров, но кто поставлен к этим временам для того, чтобы «делать их», кому заплачено чистыми деньгами и сказано: «не хлопочи ни о чем, а думай, делай и получай за это!»— каково-то на душе у этого человека, лишенного совершенно того уюта душевного, который есть у «жителя», который поставлен вне условий, заставляющих распоясовского мужика, получившего восемь гривен, успокоивать себя фразой: «по крайности — деньги»? Каково-то состояние духа этого подлинного неплательщика (иные называют этот сорт людей интеллигенцией, в данном случае — провинциальной) ввиду всё той же случайности появления новых дел, к которым ставят его и за которые ему так хорошо платят?..

Без всякого преувеличения можно сказать, что состояние духа лучшего экземпляра современного провинциального интеллигентного неплательщика поистине ужасное. Именно ужас этого душевного состояния и заставил нас оторваться на время от распоясовских интересов. Чтобы это определение не показалось читателю голословным, мы постараемся разобрать, хотя в общих чертах, элементы, из которых слагается это определение, а так как корень и источник положения, определяемого в конце концов словом «ужасный», всё-таки та же «случайность», то прежде всего нам необходимо взять какое-нибудь явление, случайность которого не может подлежать сомнению и ясна для всех.

Возьмем поэтому такое явление, как железная дорога. Не подлежит никакому сомнению, что город, о котором идет речь, никоим образом не мог иметь надобности в этом новом явлении. Погорая ежегодно, он был беден, как бедна была вся

округа. Поэтому, на предложение еще только проектированной дороги войти городу с нею в какие-то соглашения и сделать в ее пользу какие-то уступки, город отвечал прямым отказом. Он знал свои средства и находил, что соглашаться ему «не расчет». В чем другом, а в этом деле можно поверить опытности жителя, и, стало быть, если, несмотря на этот отказ, дорога всё-таки явилась в наших местах, то появление ее можно смело считать вполне неожиданным, случившимся вопреки местным надобностям и экономическим возможностям. Но так или иначе, мысль, родившаяся в какой-то посторонней голове, родившаяся из каких-то до нас ни на волос не касавшихся расчетов, приведена в исполнение: локомотивы свистят, поезды приходят и отходят. Факт совершился, и волей-неволей приходится подчиниться ему.

Кряхтя и почесываясь, город принужден строить шоссе к станции железной дороги, которая, после отказа в соглашении, выстроилась где-то необычайно не у места. Прошла дорога и стала возить всё дешевле, чем на лошадях; лошадиная езда стала невозможностию, и хотя то, что город и округа возили на лошадях в старину, с проходом дороги не могло увеличиться, но неволя заставляет и для этих маленьких грузов строить шоссе, потому что возить людей и товар по таким местам, где отроду не было никаких дорог, не представляется никакой возможности; и вот из доходов города выламывается нежданно-негаданно куш в сто пятьдесят тысяч рублей. В расходах, кое-как удовлетворявшихся местными средствами, образуется новый, на который еще вчера никто не рассчитывал и который нечем покрыть, так как и прежние едва-едва удовлетворялись. Местное самоуправление, выломив из своих доходов такой куш, вдруг съеживается в удовлетворении самых настоятельных потребностей, только что пробужденных другими, тоже большей частию случайно вторгнувшимися в жизнь явлениями. Положено поэтому закрыть христорождественское училище, отложить до будущего года проект о водопроводе, уменьшить, сократить, отклонить, отложить. В деятельности городского самоуправ-

ления, предположим даже такого, которое одушевлено самыми благими намерениями, внезапное исчезновение такой кучи денег, какая пошла на мостовую, сразу делает прореху, и люди, даже самые лучшие, стоящие впереди этой прорехи, неизбежно должны сознавать ее, чувствовать, что дело их — не дело, а так — вокруг чего-то толкотня, и что покуда не заполнится чем-нибудь эта прореха, все остальные потребности города, еще вчера крайне настоятельные, должны удовлетворяться только обрывками, могут поддерживаться только в переписке, на бумаге, замазываться и размазываться особенно искусно придуманным для выражения несуществующих вещей языком...

Так отзывается внезапность явления железной дороги на хозяйстве города. На хозяйстве округи она отзывается появлением Ивана Кузьмича. До появления дороги у жителя округи, у распоясовского обывателя, было очень мало: всё, что у него было, он весьма удобно увозил в город на продажу на своих дровишках. С появлением дороги размер его имущества не увеличился. Распоясовскому обывателю от нее ни тепло ни холодно, но Ивану Кузьмичу от нее тепло несомненно. От нее тепло хищнику, тепло человеку, имеющему что-нибудь. Иван Кузьмич, благодаря новому пути, является в глушь и берет то, что есть. У обывателя очень мало; Иван Кузьмич берет у помещика, берет леса, камни, словом — недра, то есть безжалостно расстраивает благосостояние распоясовца, уничтожая, покупая и увозя такие вещи, потеря которых невознаградима. Неудивительно поэтому, если на будущую сессию окружного суда число дел о краже значительно увеличится.

Таким образом, кроме городского самоуправления, прореха, благодаря внезапности явления, должна обнаружиться на другой же день по проходе железной дороги еще в двух новых инстанциях. Она, во-первых, обнаружится во всей громадной организации новой железной дороги, со всеми бесчисленными ее службами, отделениями и конторами, и, во-вторых, задевает отчасти деятельность учреждения,

повидимому, вовсе к дороге неприкосновенного, именно — нового суда.

До появления Ивана Кузьмича громадная, требующая трехмиллионных расходов, организация дороги не делает ровно-таки ничего. Телеграфы ее гудят:— «нет, нет, нет...» В отчетах и ведомостях, над которыми сидит не одна сотня народу, проставляется, пишется, докладывается о том, что грузов не было и нет, и весь этот хор, стоящий три миллиона рублей, на разные голоса, разными почерками поет и пишет: «ноль, ноль, ноль; нет, и нет, и нет—и ничего, и ничего, и ничего; не было, не было, не было» — квакают, кудахтают и стонут по конторам, по отделениям и т. п. Тут уж не просто прорехи — тут прямо пустое место, дыра бездонная, вокруг которой стоит масса неплательщиков и получает «за это» чистыми деньгами.

В таком положении находится «дело» до появления Ивана Кузьмича. С появлением же этого оживителя глухих местностей дорога начинает работать. «Лес, лес, лес» — начинают гудеть телеграфы... «Лес, лес, лес» — проставляют и записывают в ведомостях, в отчетах, в книгах и бумагах... «Лес, лес, лес» — бежит по всей линии, наполняет все вагоны до тех пор, пока вдруг не прекратится этот «груз» под топором Ляпунова — Ивана Кузьмича — и не побежит по всей линии из-под его лопаты уголь или камень. То, что дорога с появлением Ивана Кузьмича «начала работать», это не подлежит никакому сомнению, так как уже известно, что, благодаря этой работе дороги, у распоясовского обывателя появилось одно время до восьмидесяти копеек серебром чистыми деньгами; но несмотря на несомненность «работы», едва ли такая работа может связать с собою интеллигентные силы неплательщиков, так как если, благодаря Ивану Кузьмичу, и нельзя уже назвать ее дела пустым местом, то язвою и раною не назвать невозможно.

Кроме всего этого, внезапный толчок нового явления отдается даже и в таком месте, которое, повидимому, не

имеет с этим внезапным явлением никакой связи, — в новом суде. Кража бревна, кража овчины, кража двух кулей ржи, кража подпояски, кража, кража, кража — бесконечным потоком тянется на скамью подсудимых... Распоясовский обыватель начинает занимать в острогах и на скамье подсудимых видное место. Его хватают, везут, содержат в тюрьмах, кормят, допрашивают, делают очные ставки, говорят речи; для его оправдания и обвинения толчется и получает деньги целая толпа народу, пишущего, разъезжающего по казенной надобности, сочиняющего бумаги, речи. Но и тут, в этом постороннем новому явлению месте, не оказалось ли, благодаря этому явлению, пустого места, чего-то ненужного, чего-то такого, о чем не стопло бы ни хлопотать, ни писать, ни говорить речей, так как всё дело ясно, как дважды два: пришла чугунка, приехал Иван Кузьмич, всё вырубил, выкопал, даже украсть стало негде,— ну, вот и всё... Гг. присяжные говорят, правда: «нет, не виновен»,— но ведь они зато и не стоят бюджету ни копейки. Всё же, что стоит денег, чувствует, что, говоря об этом бревне, утащенном распоясовцем, об этом взломе и прочих распоясовских преступлениях, оно не имеет под собою реальной почвы, не ощущает действительного дела,— по крайней мере большею частью не ощущает его,— а что-то пустое, хлопотливое, что-то совершенно не серьезное, не «настоящее» ощущается и тут, среди всей дорого стоящей обстановки, с которою это, якобы серьезное, совершается.

Итак, вот каким образом в самых общих чертах отзывается внезапность того или другого нового явления, на этот раз — внезапное явление новой железной дороги. В трех пунктах новых дел оно отозвалось появлением пустого места, чего-то такого, чего нечем наполнить: оно пустым местом отозвалось в городском самоуправлении, образовало новое пустое и даже больное место в виде всей организации новой дороги и внесло хлопотливые и дорогие пустяки в серьезное дело суда. Только в общих чертах, только на единичном случае внезапного нововведения показали мы результаты этой

внезапности,— результаты, происходящие тотчас, на другой день после того, как невозможное почему-то стало возможным. Но если мы предположим, что и кроме новой питательной ветви почти все явления жизни нашего городка имеют тот же характер неожиданности в своем проявлении, что все они, появляясь неожиданно, нарушают существовавший до них обиход, то будет понятно, почему вокруг новых дел не чувствуется особенной жизни, а напротив, в каждом таком явлении замечается какая-то дыра, образовавшаяся оттого, что нашу провинциальную шкуру принялись тянуть в разные стороны, да и разорвали в двадцати местах. Не явись чугунка — не пришлось бы строить шоссе, полтораста тысяч пошли бы на другое, христорождественская школа существовала бы, приготовила бы лишний десяток грамотных. Иван Кузьмич не приехал бы к нам с своими капиталами, и распоясовские леса хотя кое-как грели бы распоясовского обывателя, а, быть может, случилось бы и так, что, нуждаясь в деньгах, барин и сам бы вошел в сделку с этими обывателями. Не было бы пустых дел в суде, не было бы такого, как теперь, очень часто совершенно непроизводительного расхода на тюрьмы. Но дорога, на зло всем возможностям, прилетела и всё перевернула вверх дном. Благодаря ей, является шоссе и закрывается христорождественская школа, где учился десяток беднейших мальчишек; благодаря ей, является Иван Кузьмич, платит за распоясовские леса чистыми деньгами; деньги эти являются в город, и в ту самую минуту, когда закрывается христорождественская школа,— открывается театр с оперетками, и в то же время окружный суд наполняется ворами, укравшими у Ивана Кузьмича бревно. Обилие «каких-то» денег от проданных лесов и от денег, которые тратит организация нового явления, помогая Ивану Кузьмичу, начинает бить запахом денег в нос обывателям, и вот батюшка, лицо духовное, прекращает у себя маленькую школу, ибо за ту комнату, в которой она помещается, теперь можно получить втрое против того, что давала школа при ежедневном труде в ней.

Мы бы никогда не кончили с этой путаницей барышей и убытков, если бы стали подробно разбирать, что и как происходит в провинциальной жизни от неожиданности вторгающихся в нее явлений. Работа эта трудна, а у нас нет достаточно досуга, чтобы заняться ею с подобающею ей тщательностию, но как бы ни было велико количество сцепляющихся с неожиданностию явлений, фактов, общий их смысл — нарушение распорядков в местном кармане и, главное,— мышлении. К какому бы новому либо старому явлению мы ни подошли, в сущности его всегда будет прореха: недостает чего-то, или окажется хвачено через край... Там чувствуется что-то ненужное, там прямо невозможное, а в ином месте— просто чорт знает что, вообще же всё как будто не настоящее, растопыренная нищета, уголовная бедность и т. д. Отдать таким полуделам, таким «как будто бы» делам свою душу, кровь, мозг, ум, словом, всё — нет никакой возможности. Сегодня я отдаюсь делу всей душой, а завтра нагрянет такое явление, которое бог знает как далеко отшвырнет меня от этого дела; возможность такого явления отнимает охоту отдаваться всей душой. Таким образом, мысль интеллигентного неплательщика и простое, здоровое, совестливое ее развитие во всем этом решительно не при чем, так что вообще распоясовский обыватель решительно не может, да и не должен, завидовать интеллигентному неплательщику; дела, за которые этот неплательщик получает готовые денежки,— в сущности не дела, а какие-то рубища, которым надобно придавать благоприличный вид, какая-то толкотня около и вокруг почти пустых мест, с обязательством придавать им вид возделанных полей; на мой взгляд, куда не сладка таким путем достающаяся копейка!.. Тратить всю жизнь *невзапрасду*, уставать от хлопот вокруг пустого места — да этакой муки не вознаградить никакими деньгами...

Но в истории состояния духа интеллигентного неплательщика это горе, происходящее от отсутствия связи его совести с тем делом, к которому он приставлен,— это еще только цветочки, ягодки будут впереди! Самая глубокая

беда для него еще не в этом, а в том — отчего интеллигентный неплательщик, не взирая на то, что он не получает взамен жалованья ничего, кроме горького сознания, что «уходят» года, всё-таки стоит у этих полупустых или пустых мест? Почему он, зная, что уголовное дело о пропаже у Ивана Кузьмича двух овчин произведено в сущности самим Иваном Кузьмичом, всё-таки бурчит что-то для проформы против распоясовского обывателя и бурчит, скучая, целые годы? Какая сила держит этого неплательщика около дела, где нет ровно ничего, кроме — «не было», «и нет», «и не будет»? Какая сила подавляет его негодование на это дело о «не было», на эту бесплодную потерю дней и годов, которые — он отлично это знает — никогда не воротятся к нему? Вообще же — кто и что превратило его в интеллигентный гвоздь, который вбивает на известное место посторонняя рука и который оказывается способным держать всё, что эта посторонняя рука на него ни повесит? О, глядя на этот гвоздь, глядя на то, как, интеллигентно ворча что-то, он всё-таки продолжает крепко сидеть там, где его вбили, негодование, боль, скорбь, гнев и слезы задушили бы, замучили бы сразу человека, рожденного вне случайностей нашей жизни; но мы, рожденные тут, в самом центре пустого места, не умеем ни плакать ни негодовать столь глубоко, тем более, что у нас есть и ключ к этому явлению.

Этот ключ — всё тот же случай.

IV.

Нам приходится таким образом перейти к явлениям, которые происходят во внутреннем мире интеллигентного неплательщика; при этом прежде всего необходимо сказать два слова о том, что бесконечный ряд предшествовавших случайностей сумел воспитать, довести до степени породы значительный класс более или менее мелких неплательщиков, которые ни по натуре ни по умственному развитию *не могут*, в буквальном смысле слова, делать никаких дел, кроме дел, составляющих голое, пустое место. Возня вокруг «ничего»

в этих редких экземплярах, служение пустому месту возведено в настоящее дело, в такое дело, на которое уходят все движения души, вся страсть... Белое поле бумаги, на которой надобно с осторожностию мухи ползать пером, чтобы в растопыренных выражениях не сказать большею частию ровно ничего, это поле бумаги, белой и сероватой, производит на такие организации впечатление почти женской, девственной красоты... Стальное перо почти сладострастно вонзается в это белое тело, бережет его, дрожит за него... С каким захватывающим дух восторгом взлетает это перо вверх, чтобы, секунду подержавшись на вершине заглавной буквы, вдруг сорваться и торчмя головой ринуться смелым, даже отчаянным завитком вниз, в бездну, в эту белую бездну чистого листа «министерской» писчей бумаги! Положительно можно сказать, что эти редкие экземпляры, рожденные в самой средине всевозможных кружащихся вокруг пустого места обинняков, в такие минуты живут настоящею жизнию, и именно тут, близ этой бумаги, от душного воздуха этих гнилых обинняков, бьется их сердце, волнуется кровь, человек оживает, унывает, грустит, вообще — живет.

Этот удивительный экземпляр, выработанный условиями жизни исключительно на пользу пустых мест, — экземпляр редкий и без примеси пьянства, мелкой алчности и какой-то грязи во всех других своих чисто личных и действительно живых отношениях встречается очень редко. Но и в чистом виде, без малейших признаков чего-либо живого, он тоже есть, и в таком виде ему положительно нет цены. Грустно вымолвить, а нельзя утаить, что в этом олицетворении обинняка нуждаются все, даже самоновейшие учреждения. Он, этот обинняк, появившись там, где люди, чувствуя перед собою пустоту, теряются и не знают, что делать с ней, чем ее наполнить, вдруг, в мгновение ока, вносит в эту пустоту всеми желаемую атмосферу дела, хлопот и забот. Там, где все дела переделывались в полчаса и затем оставалось несколько часов, которые приходилось убивать кое-как, кой-чем,— там, с появлением обинняка, вдруг начинает нехватать

целых суток для того, чтобы исполнить хоть часть дел, и становится не стыдно получать жалованье. Непритворность и страстность этого обиняка необычайно сильно действуют на всех, невольно покоряя своею искренностию, как вообще покоряет человека всё подлинно-искреннее. Кто, кроме обиняка, может так искусно балансировать над бездонной дырой, открывающейся перед всяким живым человеком, балансировать, «отклонять», «отклоняться», «обходить», «откладывать», «умалчивать», «заслушивать» и т. д.? Только он, один он, в сплах из «ничего» создать «заседание», да не одно, а пять, десять, исписать по этому случаю вороха бумаг, взбудоражить, или по крайней мере сцепить в кучу, не один десяток человек, изложить в тысяче пунктах то, чего бы никто не заметил, даже пристально рассматривая на собственной своей ладони... Нет никакой возможности исчислить всю необычайную пригодность для пустых дел этого чистейшего экземпляра обиняка, равно как нет возможности с точностью и ярко представить внешний и внутренний вид этого экземпляра — и то и другое до бесконечности неуловимо... Это — дух, невидимо присутствующий во всех новых и старых делах обиняковского содержания.

Такие цельные экземпляры необыкновенно дороги и редки; редки оттого, что для выработки такого экземпляра необходимо несколько поколений, на которых бы случайности жизни, отнимающие веру во всё живое, действовали бы с неумолимою настойчивостию, в одном и том же смертоносном направлении, более или менее продолжительное время. А такая систематичность выдается на долю немногих и есть тоже случай; поэтому-то чистый тип обиняка хотя и одушевляет собою все пустые места, но к числу интеллигентных неплательщиков причислен быть не может. «Без меня там сядут. Я один работаю за всех!»— говорит такой экземпляр обиняка где-нибудь на именинном пироге под хмельком, и говорит сущую правду, потому что он один живет и дышит и искренно предан всем этим обиняковым делам; но потому-то именно, что он искренен в своем пустом деле, он и не при-

надлежит к интеллигенции, ибо неискренность — вообще удел интеллигентного неплательщика. Да, наконец, несмотря на то, что он всё невидимо наполняет и движет, уж одно то обстоятельство, что он почти всегда получает от бюджета медный грош, крупицу,— уж это выделяет его из полчища неплательщиков, удел которых, кроме неискренности, также и способность съедать очень много... Повторяем, это — дух, олицетворение озабоченной серьезностию лжи, а не интеллигентный неплательщик, лгущий только из-за денег.

Грустно положение человека, у которого бьет седина и который, содрогаясь, что «ушли годы», и вспоминая их, эти безвозвратно исчезнувшие годы, к ужасу своему видит, что ему нельзя отстать от этого «обиняка», к которому его принесла река случайностей жизни. Нельзя потому, что тут по крайней мере «верный» кусок хлеба, именно хлеба, пропитания... То, что с ним случилось, отняло у него охоту ценить свою мысль, свои симпатии, отучило его даже слушаться своей натуры, того, что без его ведома прирождено ему... Тихий и кроткий, он «попал» в разряд «озлобленных». Неожиданность! Когда его наказывали, он неожиданно чувствовал себя хорошо; когда его прощали, это было его наказанием. Смолоду это весело и чудно. Жизнь выделывает такие неожиданности, сталкивая с хорошим там, где должно бы быть дурное, и наоборот, ставя в положения, в которые ни за что бы не попал, если бы распоряжался сам, и т. д. Но эта комедия случайностей, с той минуты, когда неразборчивая, грубая рука ее начинает рвать живое тело (тоже по недоразумению), с этой минуты шутовская комедия превращается в глубокую драму. Сила случая, дающая себя знать так больно, ясно доказывает свои громадные размеры, заставляет жаться от нее подальше, беречься, чтобы сильная и бестолково действующая рука ее не достала, не дохватила. И вот человек съеживается, забивается в угол. И весь израненный, говорит себе: «по крайней мере, верный кусок хлеба»,— и становится к пустому, иной раз и не совсем чистому, делу.

Всё это яркие продукты случая — явления крупные, видные, но и вся остальная бюджетная братия, если и не подвержена таким заботливым попечениям случая, изведала его власть на бесчисленных мелочах. Тысячи систем воспитания и образования, пережитые с детства и всякий раз обязательно связанные с куском (большим или меньшим — всё равно), уже в ранней юности ослабили, если не совсем умертвили, мысль, приучив человека только к страху перед таким будущим, в котором могут и не дать этого куска хлеба. Затем, если, несмотря на эти способы превратить человека в автомата, ему по врожденной силе мысли удалось сохранить в нее веру и в последующие годы, то заботливая рука случая не замедлит и здесь показать свою власть, вырвав из рук его любимую книгу, или понесет его по волнам таких случайностей, о которых уже говорено выше и которые всё-таки приводят к страху потерять кусок хлеба (большой или маленький — опять-таки всё равно).

Мы не говорим о тех из числа бюджетных неплательщиков, которые чуть не с детства знают уже, что «верно» в этой земной юдоли, и хотя прямо тоже не принадлежат действительно к интеллигентным неплательщикам, но сами несомненно причисляют себя к ним, и уже, во всяком случае, могут действительно назваться неплательщиками. Мы не говорим о них потому, что слово «*рот*» вполне достаточно для того, чтобы определить и их личные взгляды и их отношения к тем новым или старым делам, благодаря которым этот рот постоянно и плотно набит... Но, увы, и подлинный интеллигентный неплательщик, мы должны это сказать скрепя сердце, тоже связан с своим делом тоже только одним ртом... К длинному, большому бюджету он тоже несет только свой рот...

Теперь, подведя всему сказанному итог, потрудитесь представить себе состояние духа наилучшего интеллигентного неплательщика. Дела, которые он делает, не связываются (если, конечно, привычка не возьмет свое) с его мыслью надлежащим образом плотно и крепко; отдать на служение

им силу души — нельзя: завтра может вломиться такое явление, которое сразу высадит целый угол только что с любовью начатого здания; возиться над разбросанными осколками и щепками невозможно: послезавтра может нагрянуть новое, даже и отрадное явление, которое опять-таки, втиснувшись внезапно, и не туда, куда надо бы, расшвыряет и щепки... Дело, превращенное в прореху, требует медленного утомительного штопанья, толченья вокруг полупустяков, вокруг слов, хотя бы и громких, но пустых... И у таких-то пустых дел стоит человек, у которого точно такие же дырья и прорехи сделаны уж в самой душе; у которого мысль отвыкла совать свой нос на сторону, словом — у которого случай всё измял, всё испугал, на всё прикрикнул и прикрикнул основательно. Ослабленный и испуганный внутри себя, интеллигентный неплательщик стоит у расслабленного дела, знает это, видит, как это пусто и пошло, каждую минуту чувствует если не всю пошлость положения, то уж всю его холодную пустоту, и стоит потому, что «по крайней мере» верный кусок хлеба!.. Жить в постоянной атмосфере «*не настоящего*», «*не заправского*», дышать постоянно воздухом «неискренности» — и всё потому, что только при таких условиях неплательщику дается возможность жить,— это чистое мученье!..

Предоставляю читателю самому соединить воедино сотни индивидуумов, хотя и разнохарактерных, но несомненно заражённых одинаковым недугом неискренности, и представить себе, что за жизнь, что за взаимные отношения могут сложиться из всего этого... Чтобы недалеко ходить за результатами такой жизни, спросите любого из интеллигентных неплательщиков, и он вам скажет, в откровенную минуту, что это — мученье, что это — ужас что такое, только не жизнь. «Но ведь так жить действительно нельзя!» — скажет читатель. Было бы действительно невозможно в таком положении просуществовать и дня, если бы в неплательщике и кругом него всё было опустошаемо систематически. Но благодаря тому же случаю, иное в делах и лицах каким-то

чудом остается нетронутым, живым, обманывает глаз... Велико ли, в самом деле, обилие сил русской души, велика ли их живучесть,— только присутствие и существование их несомненно почти в каждой, как бы грубо ни расшатанной, душе неплательщика и изумительно по своей стойкости, по своему умению съежиться до последней степени — и всё-таки жить, хоть урывками, но жадно вглядываясь в белый свет... Книга — вот прибежище всего съежившегося, притаившегося, но вполне живого в неплательщике... Боже милосердый, как жаден он до книг! Чего-чего не поглотил он на своем веку, и, несмотря на бездну проглоченного, мозг его до сей поры голоден, как будто бы ничего и не ел никогда, и всё просит, и всё просит еще... Книга, чтение — единственное прибежище и отрада, но только отрада, и отрада, увы, весьма бесплодная!.. Чего-чего только не перенес, не испытал, благодаря непрерывному чтению, этот мозг! Но не имея возможности, даже утратив отчасти самую мысль о возможности куда-нибудь нести то, что перенес, в чем убедился этот мозг, он привык наслаждаться мыслью сам для себя, он привык и приучил себя к ощущению чтения и — что делать — превратился в какую-то бездонную прорву, в которую можно валить томы, вороха напечатанных мыслей и которая всё-таки будет пуста... Пишите, валите туда написанное всеми перьями, существующими на белом свете,— всё мало: давай еще нового, а дела он всё-таки будет делать пустые и верить искренно в одно — хлеб насущный. Нет, незавидное, бедовое положение интеллигентного неплательщика! Удивительно, как он живет еще. Но что особенно грустно среди всего этого, так это — дети!

Распоясовец! Мужик! Дай ты этим ребятишкам, этим подрастающим неплательщикам, дай ты им своих сказочек, простых деревенских песенок! Повесели ты их цветочками, и зверьками, и зайками... Пошути, побалуйся с ними! Ведь они чахнут в этом воздухе неискренности, утайки, неправды, а главное — в этой дорогой пустоте!.. Спаси их твоей простою правдой, дай дохнуть свежего здорового воздуха,

услышать прямое слово,— ведь они будут глубоко несчастны и глубоко гадки без тебя, без твоего правдивого и горького опыта, без твоей искренней, забывающей худое шутки.

V.

Так изо дня в день и из года в год тянется унылая, пустая, скучная и нищенски пестрая неплательщичья жизнь. Довольно значительным количеством интеллигентных ртов съедается довольно значительное количество бюджетных цифр, а в результате — «словно корова лизнула языком». В этой атмосфере «ненастоящего», «незаправского» нет минуты веселья, нет здоровья, нет дела, нет сознания простого покоя... Всякого что-то точит, вертит в душе, особливо, когда этот всякий остался один сам с собой и улучил минутку, когда может если не лгать прямо, то хоть не вывихивать себя, что почти составляет всеобщую привычку... Лучшее, задушевнейшее желание большинства неплательщиков — уйти друг от друга, и, несмотря на это, завтра, напившись утром чаю, всё желающее разбежаться вновь сцепляется в тесный хоровод вокруг пустого места и вновь продолжает почти бесплодную толчею, вырабатывая или, вернее, «вылыгая» себе хлеб. Какая-то непроглядная, жалкая бестолковщина, что-то тягучее и крайне больное непрерывно тянется в этой жизни изо дня в день (если не считать моментов, которые веселы даже и для птиц и мух,— любовные дела и проч.), пронизывая воздух, которым приходится дышать, и душным туманом застилая будущее... Бывают моменты, когда одновременно в разных концах неплательщичьего мира чувствуется полное удушье... вот, вот, кажется, дальше нет возможности выносить... И вдруг, как молния блеснет: «Слышали? Варинька-то!.. Ведь застрелилась?.. Как? Что такое? Неужели?..» И точно могучим ударом могучего кулака ударит эта весть по расслабленной неплательщичьей душе... — «Стало быть, и вправду душно и трудно!» — думает она... — «Вправду, вправду!..» — говорит совесть, отвыкнувшая признавать за правдой какой-нибудь существенный смысл. И всё, что уцелело

в этой душе хорошего, всё выйдет на божий свет. Боже, как ревет иной закоснелый неплательщик в такие минуты!.. Как много он начинает видеть и страшиться — хотя к пустому месту всё-таки продолжает ходить аккуратно каждый день к половине двенадцатого утра и, скрепя свое действительно больное сердце, всё-таки усердно трудится до 5 часов вечера ради своего рта, трудится над отвиливанием от «насущных вопросов»... А туман, духота мало-по-малу опять сгущаются кругом... Опять тянутся скучные и серые дни... тянутся, тянутся — и вдруг опять, как гром грянет, где-нибудь не вытерпит и прорвется «сущая правда»... От этих неожиданных появлений сущей правды не застраховано решительно ни одно из тех гнезд, где заседают вокруг пустого места обремененные жалованием неплательщики.

III. ХОЧЕШЬ-НЕ-ХОЧЕШЬ.

I.

Заговорив с читателем о некоторых как бы случайных проявлениях «сущей правды» среди насыщенной всевозможною тяготою современной действительности, я возымел намерение остановиться на этих проявлениях поподробнее и с этой целью, как и всегда, обратился за материалом к единственному моему источнику — моей памятной книжке. И что же? Несмотря на то, что книжка эта представляет собою самую беспорядочную кучу разных заметок, вырезок, выписок, набранных случайно и на лету, кое-где и кое-как, записанных тоже как пришлось и чем пришлось (один раз даже шпилькой, а раза два спичкой), — несмотря на всё это, то есть на беспорядочность и отрывочность всего попавшего в мою книжку, вся эта безалаберная куча в конце концов убеждает меня, что в проявлениях того, что я позволил себе назвать «сущей правдой», не только нет ничего случайного, но напротив, — и именно в настоящее время, — повсюду обнаруживается усиленная жажда ее, этой самой сущей правды: что именно теперь, когда романиста начинает заменять зоолог, когда патентованные сердцеведцы находят возможным определить самые трудные минуты в жизни современного

человека выражением «просто свинство», когда — в подтверждение доведенных до такой простоты взглядов на человеческую породу — ежедневная действительность то и дело выдвигает факты, как нельзя лучше подтверждающие, что человек действительно — зверь, животное, достойное только холодного изучения зоолога, именно в такую-то минуту это доказанное и выясненное животное никогда не болело так *сердцем*, как теперь. Безалаберная и растрепанная книжонка моя необыкновенно упорно старается доказать мне, что именно *это* и есть новое, настоящее, то есть заправское в настоящее время; что человек если и не изжил в себе зверя, то во всяком случае узнал, что, действуя только во имя *себя*, во имя *своей* берлоги, *своей* породы, *своей* силы, захватывая для себя — кулаком, мечом, хитросплетенным законом — всё, что подходило ему под руку, и разгоняя направо и налево всё, что ему мешало, он хотя и достиг полной независимости в своей берлоге, но оказался один-одинешенек, потерял смысл и интерес жизни и почуял, что для того, чтобы ощущать жизнь, ему надо волей-неволей выползти из этой берлоги, итти к тем «другим», которых он разогнал от себя и которых согнул перед собою в три погибели; дать место в своем сердце новому ощущению любви к этим «всем», «другим»... Почуял, что это необходимо сделать волей-неволей, что без этого он — нищий, с пустою, хотя и золотою сумой, и что без этого жизнь — не жизнь, а только *доживание* века, начинающееся с самого дня рождения.

Такими чертами можно определить современную болезнь звериного сердца — впрочем только там, где возможны самые характерные и резкие проявления этой болезни, а именно — на западе Европы. В странах, где человек-зверь для собственного своего благополучия сумел проделать всё, что зверю проделать возможно, где этот человек не церемонился, именно только во имя своих личных удобств, сотни лет губить целые поколения, не поморщив бровью,— здесь явления нищего с золотой сумой начинают обнаруживаться, хотя и не столь повсеместно, но зато с поразительною ясностью.

Потомок древнего рода, сотни лет воевавшего во имя одного только права личного благополучия своей породы, этот потомок в наши дни, получив в свои молодые руки плоды долгой и упорной борьбы своих предков, делаясь обладателем накопленных ими богатств, угодий, покоя, полной возможности собственного счастия, вдруг обнаруживает отсутствие аппетитов, завещанных предками, чувствует кругом себя пустоту и бессодержательность жизни в раззолоченной берлоге и не видит другого исхода для своего жаждущего жизни сердца, как уйти из этой берлоги, проникнуться сильными, долгими, ежедневными страданиями других. Факты такого рода во всей поучительной чистоте встречаются на Западе, среди наиотборнейших человеческих пород; правда, они еще довольно редки, но зато неизбежность их повторения делает эти редкие факты в высшей степени поучительными и весьма ясно рисующими будущее.

На Руси факты заболевания сердца «сущею правдою» встречаются не только не реже, чем там, у заправских зверей, но напротив, как утверждает всё та же растрепанная книжонка,— составляют почти всеобщее явление; захватывают почти сплошь весь неплательщичий мир, да и к плательщикам иной раз перебираются. Но при таком сплошном заболевании движение во имя сущей правды в общем не имеет у нас той чистоты, ясности, естественности, какую имеют факты подобного заболевания на Западе,— а постоянно или по крайней мере очень и очень часто заключают в себе подмесь совершенно не идущих к сущности движения осложнений, подмесь иной раз просто скверную или просто смешную... Такие червоточины в движениях отечественной мысли происходят, разумеется, всё от того же «случая», о котором уже было обстоятельно говорено в предыдущем очерке и который не только властвует над отечественным карманом, но распоряжается и совестью. Сегодня вдруг, неожиданно, делается не только возможным, но прямо обязательным то, что еще вчера считалось не только необязательным, а прямо невозможным, противозаконным. Таким образом оказывается, что

как бы ни было хорошо это ставшее возможным нынче и невозможное вчера — в самый день появления его на белый свет в нем уже есть червоточина — принудительность; запрещая вчера, оно сегодня начинает гнать к тому же, вчера запрещенному; появляясь внезапно, оно застигает постоянно врасплох даже друзей своих, и потому над всем этим внезапно поднятым народом постоянно висит «хочешь-не-хочешь». Стало быть, именно во «внезапности» разного рода возможностей лежит причина как того, что всякая хорошая и дурная возможность сразу захватывает громадную уйму народа, так и того, что народ этот, вообще *погоняемый* к новой возможности, в большинстве вовсе не приготовлен к ней, не нуждается в ней и плетется за нею хочешь-не-хочешь: широкое и большое, по количеству захваченного народа, движение осложняется присутствием множества ненужных элементов и вообще не имеет той естественности, неизбежности, чистоты, какими отличаются подобные же, хотя и редкие, явления на Западе.

В настоящей «болезни русского сердца» — болезни, составляющей самую видную черту нашего времени,— главную и существенную роль играет, разумеется, отмена крепостного права, то есть отмена целой крепостной философской системы. Для огромного большинства русских людей на другой день по освобождении крестьян оказалось необходимым ввести в собственное сознание такие понятия, которые вчера еще были совершенно не нужны, а сегодня сделались необходимы. Оказывалось необходимым дать место в своем сознании идее равноправности, идее, которая вчера была преступлением; оказывалось необходимым признать неизбежность труда, допустить вмешательство правды в человеческие отношения. Понятия равноправности, труда внезапно и неожиданно вторглись в сознание громадных масс народа, предстали перед помещиком, перед портным, который шил на помещика, перед ямщиком, возившим в город, перед хозяином постоялого двора, перед трактирным служителем, угождавшим барину, перед чиновником, хлопотавшим за него в судах,

перед женой чиновника, его сыновьями, дочерями и т. д. и т. д.— до бесконечности. И весь этот народ, еще вчера не знавший о существовании этих новостей, сегодня должен был знать, что эти новости и суть «настоящие», а та философия, которою он жил,— не заправская, не настоящая... И вот является неисчислимая масса народа, обязанная «думать» об этом неожиданном новом и жить во имя этих новых понятий, обязанная непременно носить их с собою каждый день и каждый час... Ясно, что это народ — больной «сердцем», непременно больной, потому что в общем над всей этой кучей висит неизбывное «хочешь-не-хочешь».

Большого художника с большим сердцем ожидает получше народу, заболевшего новою, светлою мыслью, народа немощного, изувеченного и двигающегося волей-неволей по новой дороге и несомненно к свету. Сколько тут фигур, прямо легших пластом, отказавшихся итти вперед; сколько тут умирающих и жалобно воющих на каждом шагу; сколько бодрых, смелых, настоящих, сколько злых, оскаливших от злости зубы! И всё это — рвущееся с пути, разбешенное, немощное — всё это рвется с дороги только потому, что это— новая дорога, новая мысль, и злится только потому, что не может, или не хочет, помириться с новою мыслью. Словом,— всё это скопище терзается, или радуется и смело идет вперед потому только, что над всем тяготеет одна и та же болезнь сердца, боль вторгнувшейся в это сердце правды, убивающая и мучащая одних и наполняющая душу других несокрушимою силою. Минута, ожидающая сильный и могучий талант, который, несомненно, должен родиться среди такой массы глубоких сердечных страданий.

Так именно осмеливается разглагольствовать моя растрепанная подруга, записная книжонка, и, не претендуя на самомалейшую возможность даже попробовать рисовать эту удивительную картину, тем не менее по силе возможности всегда готова представить сценку, заметку или случайно встреченный факт. Указывает она, например, на такое очень часто повторяющееся явление: общественный деятель.

Человек, долгие годы работавший над тем, чтобы в душное время полнейшей засухи достать хоть капельку свежей воды, рывшийся до нее сквозь каменные слои, называющиеся «нельзя, не смей»; проникавший за нею сквозь сыпучие пески, называющиеся «не надо, не нужно, на что нам»,— человек, наконец, добивавшийся этой капли воды с неимоверными трудами, накачивавший ее своим маленьким поршнем из своего маленького насоса,— что значит, что этот человек вдруг начинает роптать на тех, для кого он работал и кого поил, роптать и браниться именно тогда, когда с такими трудами добытая им живая вода делается всеобщим достоянием?.. А между тем такой факт встречается помимутно, и нельзя ничем другим объяснить его, кроме вышесказанной внезапности появления живой воды. Вчера человек в поте лица добывал каплю этой воды, да и этой капли было много, а сегодня, благодаря позволению, воды нахлынуло столько, что и насос вылетает с корнем, и поршень начинает упираться от ее напора, и сам общественный труженик унесен, как щепка, этим вдруг нахлынувшим всюду потоком. И вот, погибая, он вопиет против губящей его стихии, которую сам же всю жизнь вызывал на божий свет. Факт очень частый и ничем другим необъяснимый.

Указав на факты, подтверждающие именно внезапность пришествия новых идей, памятная книжка, в подтверждение того, что эта внезапность захватывает *всех*, и притом врасплох, также представляет аргументы по силе возможности. В то время как нахлынувшие волны уносят, как щепку, действительного и много потрудившегося работника, заставляя его роптать на то, что от всей его деятельности не осталось и праху, тут же, рядом с ним, этот же поток несет по тому же самому направлению толпы не только не работников, не только не деятелей, но, очевидно, людей принужденных: кто не знает этого визгу о собственном ничтожестве, этого воя о собственной немощи, ежеминутно оглашающих дни наши то там, то сям? Книжонка может привести множество примеров, из которых явствует, что человек, гонимый новым временем,

ничего не издает, кроме визгу, ничего не делает, кроме именно «самого старого», и, ознаменовывая каждый приневоленный шаг разного рода скверностями, ни на минуту не перестает оплакивать эти скверности, сокрушаться о них, продолжая делать их ежеминутно и ежеминутно о них визжать... Как попал бы сюда, на эту новую дорогу, этот совершеннейшпй обломок старого, если бы его неожиданно, «хочешь-не-хочешь», не унесло сюда?

Если всякому знакомы эти визжащие фигуры, приводимые моей книжонкой в пример всеобщности движения, то точно так же должны быть знакомы и фигуры другого рода, подтверждающие то же положение: это — фигуры людей, знающих, что время уносит их по настоящей дороге, и с страшною силою воли заглушающих в себе всё, что в натуре их, в их привычках, в воспитании есть враждебного этому новому пути. Книжонка указывает на множество типов людей немолодых, которые вяжут в себе старое по рукам и по ногам, чтобы служить новому, хотя обыкновенно служат недолго, потому что постоянная война с самим собой разрушает тело и мозг. Работники, взявшиеся за работу потому, что *некому*, потому, что *надо* стоять на этой работе кому-нибудь, ставшие на работу потому, что *нельзя* не работать, нельзя не служить делу, для которого еще нет настоящих работников, такие работники — довольно-таки приметные фигуры в этом громадном движении к свету. И к счастию, в такого рода людях на русской земле нет недостатка. Книжонка указывает на кротких, как агнцы, людей, людей неспособных обидеть мухи, которые, однако, являлись перед публикой, например, в печати, чуть не кровопийцами, и являлись потому только, что *надо* было являться такими, потому что настоящих не являлось. Книжонка указывает на множество людей, заглушавших в себе кротость для необходимой в данную минуту вражды со злом, заглушавших в себе отвращение для необходимой теперь именно потому-то и потому-то любви... Всё это, конечно, не первый сорт, не первый нумер, но всё это говорит о появлении новой мысли врасплох,

говорит и о силе и неотразимости этой мысли, заставляющей людей переламывать, уничтожать в себе врожденное несочувствие к ней...

Эту движущуюся по новому пути толпу людей, большею частью вовлеченных туда невольно, неожиданно, хочешь-не-хочешь, книжонка заканчивает указанием, с одной стороны — на типы, всё понимающие и ничего не могущие, с другой — на типы, ровно ничего не понимающие, но *подавленные всем вообще*. На одном из составляющих книжонку лоскутов значится следующее: «*В настоящее время очень дорог человек, с которым можно свободно молчать*, то есть думать, не разговаривая, и притом так, чтобы молчаливый гость не просто молчал, а тоже постоянно бы думал, но не говорил, так как разговор при таком положении дела всегда оказывается чистым вздором и только конфузит обоих». Не знаю, по какому именно случаю записаны эти слова и кем именно произнесены они, только фигуры людей, в полном смысле *глубокомысленно молчащих*, мне очень коротко знакомы. Не раз встречался мне человек пожилой, много думавший, видевший много, знающий всё, что выдумано мыслью относительно будущего, знающий всё, что выдумано тою же мыслью относительно невозможности этого будущего, сознающий, как всё это верно и глубоко, и ежеминутно убеждающийся, что из всего этого— как ни кинь, всё клин. Я встречал людей, молча обедающих друг с другом часа два—три, молча идущих по улице целые версты и знающих, что они *обо многом* молчат в это время, даже как бы разговаривающих молча. Такой тип — всегда старик, у которого жизнь прожита, а остался один голый ум. Благодаря кой-какому достатку, сидит он где-нибудь в своей квартире у окна, или тихо идет по улице, или чужим толчется на чужой стороне — и всё молчит, и целые томы можно бы написать о том, «о чем он молчит».

А вот другой, совершенно ничего уже не умеющий сообразить, но *всем* подавленный человек. В прошлом году зимой явился в Париж мещанин Б—в, приказчик чайного магазина. Как добрался он сюда — решительно непонятно; ни

на каком языке он не говорил ни одного слова, кроме русского. Это был молодой человек самой ординарной наружности приказчика, довольно чисто выбритый, по-гостинодворски одетый, очень кроткий, непьющий и на вид вовсе не больной, хоть и задумчивый. Зачем он явился в Париж? Он хорошенько не мог объяснить, хотя, кажется, желал бы сказать многое, но, очевидно, не мог... Не объяснив ничего относительно появления своего в Париже, он обыкновенно замолкал, смотрел в землю, тер ладони и вдруг скороговоркой произносил: «Больше ничего... застрелюсь!» В гостинице, где он остановился, смерти его ждали со дня на день и все ходили беспрестанно в его нумер. Пришел и я. Я начал разговаривать с ним о чайном деле: долго ли он служил, сколько получал жалованья, выгодное ли это дело? Б—в говорил, отвечая на мои вопросы вполне определенно и ясно. Он даже увлекся и с жаром принялся расписывать, какие штуки употребляются для подделки чаю, как лучше всего обанкрутиться и т. д. Он оживился, и ни единой капельки какой-нибудь болезни не было заметно ни в его глазах ни в его лице. Невозможно было представить себе, чтобы у этого, так всецело поглощенного своею торговою специальностью, человека была хоть тень мысли о самоубийстве. Но на беду, господин (тоже русский), бывший в то же время со мной, совершенно неожиданно прервал разговор, сказав: «Нет, вы спросите-ка, отчего он застрелиться-то хочет!» Вопрос этот был сделан, очевидно, в шутку, но Б—в вдруг изменился.— «Ну, уж и стреляться!» — сказал я.— «Ничего не поделаешь!» — как бы в отчаянии произнес, изменившись в лице, бедный Б—в и стал объяснять, почему именно ничего не поделаешь... Найти в этих объяснениях какой-нибудь смысл или хоть чуть-чуть понять — не было никакой возможности. Если бы удалось стенографически записать всё, что он говорил, и потом тщательно всё перечитать и передумать, то и тогда едва ли бы получились какие-нибудь мало-мальски удовлетворительные результаты... Вот, примерно, как он говорил и что именно:— «Потому, такая линия... Что же делать!.. (Молчание.) Одного платья сколько

было — панталонов одних летних шесть пар, у Корпуса... да что! Тьфу... Неужели из-за этого... Господи помилуй! вот уж стопт!.. тьфу! (Молчание.) Нет! А есть над человеком перст — вот что!.. Теперь я приказчиком, всё хорошо... Приглашали к Пеструхину на Невский на семьдесят пять рублей... и с удовольствием принимали,— сам не захотел!.. потому что... да что! Места! Вот уж наплевать-то!.. (Молчание.) Изволили бывать в академии художеств? Ну, так там есть одна картина... представлено, как страждет невинная девица в молодом своем возрасте, и как невинно... Ну, не стоит и говорить... Перст! Нет, тут особая штука... У меня это всё нарисовано на плане... (Плана он не показал, а сказал: всё особенное.) А то места, панталоны!.. Господи, очисти живота от всего от этого. Одно осталось — музыка, оркестр, серьезная игра!.. Послушать и помереть — вот! (Молчание.) А вот что правды нет ни капли — так уж это с тем возьмите! Перст!.. Ловки, очень ловки они!.. Боже сохрани, какая канитель!.. Вы только посудите одно: был я на цветочной выставке и вижу растение, фиалку... И думаю:— столь удивительно хорошо, столь премудро; или, напротив того, возьмем человека, положим, хоть меня: прихожу к хозяину:— «позвольте получить за два месяца»... Да нет, нет — тут болтать нечего! Что пустое разговаривать... Послушаю музыки, и с богом — на тот свет!» Вот, примерно, как и в каких выражениях этот бедный человек объяснял причину необходимого для него самоубийства. Слушая его, я ничего не понимал, но не мог не видеть, что в его бедной голове толпилось многое множество неожданных, негаданных мыслей, целой тучей нахлынувших в его бедную, слабую голову, искалеченную узкой специальностью. Какой случай внес в его сознание эти совершенно для него непереваримые мысли — я не знаю; очень может быть, что это была какая-нибудь практическая неудача, рана, нанесенная мелкому самолюбию; но что мучения его были серьезны и ничего «просто свинского» не заключали — это можно видеть и из его бессвязного разговора и из факта его действительного

самоубийства. Б—в застрелился осенью того же года, в Павловске. О смерти его напечатано в дневнике пропешествий всех русских газет за сентябрь месяц прошлого года.

Около этих четырех—пяти главных фигур: труженика мысли, поспбающего в общем стремительном потоке движения и ропщущего на него; человека, уныло воющего, оплакивающего свои несовершенства и ежеминутно эти несовершенства предъявляющего; того, который ломает в себе всё не идущее к задаче, считаемой им за подлинное дело; того, кто молчит и думает, не видя для себя никакого исхода, и, наконец, того, кто не умеет думать, а прямо поражен, задавлен и разбит всем полчищем нахлынувших на его бедную голову мыслей,— около этих главных фигур группируется бесчисленное множество разновидностей, в которых не трудно узнать при некоторой внимательности черты, сходствующие с вышеприведенными особенно заметными типами. Один не воет вслух, воет внутри себя, другой хотя и чувствует, что его несет, сорвало, но не показывает виду, а притворяется, будто даже очень рад, хотя и тот и другой в сущности испытывают точно то же, что и те, которые воплями и ропотом, не церемонясь, оглашают каждый шаг, делаемый ими на новом пути. Всё это — как разновидности, так и главные представители разновидностей — всё это составляет ту массу идущего по новому пути народа, который загнан на этот путь неожиданно ставшими необходимостью идеями простоты и правды. Всё это идет страдая и болтая, упираясь и падая на пути, негодуя и злясь. Всё это попалось в лапы новым идеям и, хочешь-не-хочешь, своими глубокими страданиями, своим глубоким негодованием свидетельствует о том, что эти новые идеи, эти новые потребности сердца пришли, вот тут где-то, и идут всё ближе и ближе. Можно *на них* лаять, можно *от них* рваться, можно *их* опровергать, можно на них просто плевать, притворяться, что не видишь, можно просто не видать их; но лаять, негодовать, бежать, опровергать,— словом, проделывать всё вышеизображенное «без них»— никак уж невозможно.

II.

Все эти толпы больных, страдающих, стонущих и проклинающих, на которые указывает памятная книжка в подтверждение вывода, что настоящее время более всего страдает «сердцем», весь этот трудно занемогший народ не составляет, однако ж, еще главного в общей картине этого необыкновенного нравственного движения, которое к тому же большею частью насильно втянуло его в себя. Вся беда этого народа заключается почти только в борьбе с самим собою, с собственными ненужными, мешающими освеженному сознанию старыми привычками. Несомненная трудность этой борьбы, громадность массы народа, захваченного ею, могут свидетельствовать только о том, что в сознание русского человека вошло нечто большое, небывалое, что это небывалое — сильно и велико. Но ни громадность захваченной небывалым толпы, ни самые размеры страданий не могут убедительно доказать наблюдателю, что «новое и небывалое» — явление вовсе не случайное, а напротив — неизбежное. Поэтому все муки и хлопоты, свалившиеся на случайно захваченного в движение неплательщика, состоят как бы в отвиливании, в придумывании разных штук, чтобы как-нибудь обойти, дать другое направление уносящему его потоку. Мысль его постоянно работает над всевозможными средствами, которые бы облегчили ему эту борьбу, он постоянно норовит что-то где-то устроить, учредить, сделать сначала то, а лет через пятьсот это, тогда как всё дело и вся беда заключается в нем самом, и не позже, как сию минуту, и время требует переделки не на стороне где-то, не в каком-то чужом углу, а тут, в сердце самого неплательщика, куда с такою настойчивостью пробирается идея хотя бы «полнейшей простоты и правды» в человеческих отношениях. А эта идея действительно идет, вырастает сама собою и уже имеет в своей власти число сердец, ничуть не меньшее числа случайно занемогших и захваченных движением невольно. Памятная книжка дает не мало указаний и на таких людей, у которых уже нет никакой нравственной связи ни с чем прошлым, у которых ни капли

нет себя для себя, у которых есть только одно: невозможность существовать, не глядя действительности в лицо прямо и смело и не повинуясь одной только сущей правде. Это — не специалисты новых идей и новых дел, знающие доподлинно, что и к чему; нет, это — простые, очень часто необразованные люди, стоящие на новом пути почти одиноко, но люди, которые могут чувствовать только совершенно правдиво и только повинуясь владеющей их сердцем правде, которые идут... куда? — я не знаю. В появлении их на свет нет никакой случайности, нет никаких посторонних влияний; напротив, это — продукт самый чистый и самый последовательный недавнего прошлого, продукт, явившийся именно там, где прошлое особенно блистало своими наинепривлекательнейшими сторонами.

Беру из моей книжки наудачу небольшой отрывок, записанный со слов одного русского человека, лет под тридцать, встреченного мною за границей года два тому назад.

III.

«...Вы, вот, всё не верите, думаете, что это только так, одна либеральная праздность, нежелание делать какое-нибудь простое, но серьезное дело... Уж наверное (я знаю, это я тысячи раз слышал) вы думаете, что так вот, болтаясь да разговаривая разные разности, я просто-напросто живу, ничего не делая, на чужой счет — и всё... И знаете, ведь так думают иной раз очень добрые люди... «Врешь, каналья» — и всё тут... Или так еще: «Нахватался верхушек, прочел книжонку — и задрал нос... ну, и натурально, пошли эти разные идолослужения и всё такое...» Главное, допекают нашего брата деньгами: «А деньги откуда ты берешь? Попробовал бы ты, говорит, зарабатывать так, как я; повозился бы ты с этой канителью, да тогда бы и разговаривал». Что отвечать на это, кроме того, что *не могу* я так, как вы, зарабатывать, что *не могу* жить так, как вы; потому просто, что нет у меня таких забот, таких огорчений, ради которых я бы так испугался жизни, что взял бы да и подал прошение к какому-

нибудь православному жиду. Мне ничего не нужно. Но именно этому-то и не верят, да и вы не верите... Еще вот как иные называют: «новомодное дармоедство»,— а один делопроизводитель по коммерческой части на какой-то железной дороге, где нет никакой коммерции, так тот вот как ощетинился: — «Вы, говорит,— всё равно, что странники прежнего времени: придет, напустит на всех туману, получит даяние,— и марш; а тут сиди да отработывай своим хребтом...» Очень всё это натурально... Я только хочу сказать, что я именно и могу только, как вот делопроизводитель сказал, туман пускать... Если бы я *мог* не пускать его, я бы, разумеется, где-нибудь на железной дороге очень обстоятельно доказывал отправителю, что, облив его рожь керосином, я доставил ему только удовольствие и что не только мне за это платить ему не приходится, но, напротив, еще он обязан мне внести уйму рублей. В том-то и горе, а может, и счастье, что не могу! Очень уж крепко сидит во мне эта жажда туман распускать! А то бы почему окладами не побаловаться — самое любезное дело! И знаете ли, кто, какого рода человек воспитал меня таким образом? Отъявленный казнокрад, человек, вся жизнь которого, почти вплоть до самой минуты, когда нежданно-негаданно он сделал для меня добро, была длинным безобразием, исполненным всякой самой отвратительной скверности старых порядков... мой отец... Такова именно была жизнь моего отца... Лет до тринадцати я совершенно не знал его... Смутно помню какую-то фигуру, пьяную, на городском извозчике догоняющую наш возок, в котором я и мать ехали в деревню. Помню что-то небритое, осклабившееся в окне возка, что-то очень грубо говорившее с матерью; помню, что я ревел и что мать велела во всю мочь погонять лошадей... Не могу забыть какого-то зверского рева, несшегося вслед за мчавшимся возком: пьяный городской извозчик и пьяная фигура — оба ревели и гнались, не щадя ни лошади ни своих глоток. Рев этот, эта неистовая скачка возка, эти комья снегу, врывающиеся в окна возка и бьющие меня, мать и няньку по голове, врезались в моей памяти навсегда, как

нечто ужасное, а главное, что это — отец... Представление об отце у меня с этих пор постоянно соединялось с этим ревом, с чем-то таким, от чего у меня замирало сердце... К этому неизгладимому впечатлению чего-то ужасного и нехорошего, по мере того как я вырастал, присоединялись новые, уже осмысленные причины ненависти к нему; постоянно я видел перед собой фигуру моей матери, окруженную фигурами разных добрых старушек, которые только и делали, что жалели ее... Моя мать никогда не жаловалась — она была безропотна... Она сохла и чахла в молчаливом сознании своего несчастия, всей трудности жизни. Несомненно, она искренно страдала, но я потом расскажу кое-что о мотивах к этим страданиям; теперь же — что долгие годы жалоб, раздававшихся вокруг моей матери и подтверждаемых ее вздохами и действительными страданиями, привели меня, мальчика лет десяти-одиннадцати, к таким мыслям: вырасту большой, наживу много-много денег, куплю маме большое имение; она будет ездить в каретах, и предводительша не посмеет перед нею пикнуть. Такие мысли я увозил с собой из деревни в город, в гимназию; такие мысли руководили мною на школьной скамье, и с ними я опять возвращался домой... Все меня тогда хвалили в доме у матери, все мне говорили: «Не сын, а ангел, утешение растет матери, примерный мальчик...» Примерным меня называло начальство. Помню, что я действительно всей душой страдал за обиды и несчастия моей матери...

Я забыл сказать, что она жила в деревне, в собственном небольшом имении, верстах в сорока от губернского города, в котором я находился в гимназическом пансионе. Мне некогда было быть ребенком, проказить, шутить; у меня было дело, серьезная обязанность — счастье матушки... Серьезнее меня не было во всем пансионе ни одного ребенка. Я не только серьезно был занят своею мыслью, но умел уже ненавидеть тех, кто мешал мне отдаваться моей цели, и имел врагов, как настоящий деятель, упорно идущий к своей цели... Я научился понимать людей, познакомился с их побуждениями, взглядами, научился презирать и жалеть, словом —

узнавал жизнь; но руководитель мой в этих наблюдениях, побудительная причина к ним, была «матушка», «много, много денег» и «утру нос предводительше».

Переносил я обид и неприятностей много, много передумал, перечувствовал и тринадцати лет мог уже иной раз дать матери моей хороший практический совет. Приезжая в деревню, я уж не мог не страдать страданиями хозяина, настоящего деревенского хозяина, уж меня тянуло входить во всё.

...Вот в такую-то минуту моего развития, однажды, когда я приехал на праздник домой,— дело было за две недели до Рождества,— случилось со мною такое происшествие.

Озабоченный горестями матушки по хозяйству, я на другой же день по приезде, ранехонько, чем свет, вскочил с постели и намеревался отправиться разведывать о разных хозяйственных упущениях. Чтобы никого не беспокоить в доме, я зашел умыться в людскую. Как теперь помню, висит на веревке в грязных и мокрых сенях рукомойник; торопливо плещу я в лицо холодною водою; около меня стоит старый-престарый кучер Филипп, с полотенцем в руках, и слышу я, сквозь плеск воды, словно бы он всхлипывает. Поднял я голову, гляжу — плачет...

— О чем ты?

Только замотал головой и залился.

Я изумился. У меня уж мелькнуло было: «не штуки ли тут?» (я уж знал, что *на них* не надо смотреть, не надо класть пальца в рот и т. д.); но слезы у такого древнего старца тотчас отогнали эти негодные мысли, и я опять спросил его:

— Да что ж такое? О чем ты плачешь?..

— Глянь-ко вон на плетень-то...— промолвил он, указав на сенную дверь, и сжал запрыгавшие от волнения губы, точно старая старуха.

Глянул я в сенную дверь, вижу: плетень, половина его обвалилась; около плетня валяется полузанесенное снегом колесо; недалеко стоит бочка; за плетнем плетется какой-то старичок, должно быть, больной, еле передвигая ноги по размякшему снегу и хватаясь за плетень старческой рукой.

Пристально смотрел я, почти вытараща глаза, и на старичка, и на плетень, и на колесо — и всё-таки не понимал: о чем плачет Филипп и о чем тут возможно плакать.

— Что ж там? — проговорил я в полном недоумении.

— Да ведь родитель это твой! — с сильным порывом глубокого чувства завопил старик.— Отец ведь твой...

— Кто?

— Да во-от, нищий-то этот... Вот пробирается. Господи, царица небесная...

Тут я действительно остолбенел.

— Как?.. Этот?.. Отец? — бессвязно шептал я, весь как бы скованный, как холод вдруг сковывает воду, и оцепенело глядел на нищего-старика.

— Он, батюшка, он!..— шептал Филипп.

И вдруг во всем моем окаменелом теле, по всем жилам (буквально «по всем» — я это чувствовал и никогда не забуду) пробежало что-то ужасно острое и, главное, горячее (не жгучее, а именно горячее, как кипяток), жаром ударило в голову, и заревел-заревел я!.. Из-под моей ранней практичности, из-под моей озабоченности хозяйственными делами вдруг вырвался ребенок; как солнышко из-за туч, выскочило, ярко пылая, простое детское сердце. Так, как был, с мокрым лицом, повалился я на какой-то мешок с угольем и ревел. Я чувствовал ужасную жалость и ужасную вину. Чем виноват — я еще не знал, но сознание моей необыкновенной виновности я очень хорошо помню.

— Второй год, родимый ты мой, ведь он здеся-тко!..— шептал Филипп.— Маменьке-то, христа ради, не донеси... Господи помилуй!.. Как не скажешь-то? Смотреть-то жалость одна! Какой человек-то!.. Истинно, что божий человек родитель твой — право слово... И знати и духу-то нет прежнего... что стало!.. Маменьке-то не болтай, ради христа... Пуще всего, чтобы ты не знал, всем наказано... Не в примету чтоб, тихим манером надобно повидаться... вот как... А не болтай... А повидаться — повидайся... родной ведь отец, сам ты посуди... Ох... и на что и сказал-то!..

Каждое слово Филиппа наполняло меня чем-то совершенно новым, что, однако ж, увеличивало мои слезы каждую минуту, и помню, что мне необыкновенно хотелось плакать... И гимназия, и мать, и товарищи, и мои заботы, и хозяйские хлопоты, и отец *тот*, который лез в возок, и отец *этот* — всё это проходило беспорядочною толпою в моем мозгу и гнало потоки слез... Что-то простое и теплое принесла эта сцена в мою душу, которую до этой минуты всё приучало ожесточаться, хотя тоже во имя любви...

— И не рад, что сказал-то! — хлопая себя по бедрам, шептал Филипп тревожно.— Ну, придут... увидят... Ах, дурак старый, дырявый мешок... Хоть в другое место пошел бы, всё бы не так... барчук! а барчук! Ах, и дела только... Ну, сем, в сарай бы пошел... Право, в сарай-то способней... Митрофан Петрович! барчук!.. У-эх-ма-а!..

Как уж я очутился в сарае—не помню. Должно быть, Филипп просто взял меня за руку и привел туда.

— Ну, вот так-то лучше будет,— сказал он и стал ожидать уже молча окончания моих слез.

Не буду рассказывать, как моя мать и ее приятельницы заахали, увидав мои опухшие глаза; как они приняли это за простуду, уложили меня в постель, принялись лечить и т. д. Кроме величайшей тоски, я не испытывал ничего от всего этого, но терпел, ожидая дня, когда увижу отца, и придумывал всевозможные планы, чтобы достигнуть этого свидания. Две недели, однако, пришлось мне проболеть ожиданием этого свидания, потому что две недели продержали меня дома, не выпуская из комнаты. Наконец, на праздниках, перед новым годом, я так настоятельно заявил о своем здоровьи, что мне уж не пытались возражать.

Прежде всего я отправился, конечно, разыскивать Филиппа, чтобы вместе с ним придумать случай выехать из нашей деревни; дело в том, что отец жил в деревеньке, версты за две от нашей, в семье одного дворового человека. Скоро предлог был отыскан: в хозяйстве оказался недохват какого-то продукта, не то веревок, не то дегтю,— и надо было ехать

за ними в большое торговое село Покровское. Покровское лежало совершенно в противоположной стороне от той деревни, где жил мой отец, но мы решили, закупив в Покровском что было нужно, не мешкая ехать назад, а затем, свернув с дороги, объехать нашу усадьбу и хоть на короткое время, но непременно завернуть к отцу.

Всё было сделано так, как мы придумали. Всю дорогу — и в Покровское и обратно, — продолжавшуюся добрых пять или шесть часов, я ни минуты не был спокоен: предчувствие какого-то переворота, имеющего совершиться в моей жизни, держало меня в постоянно напряженном состоянии... Филипп, сидевший в санях рядом со мной, постоянно говорил про отца: от него я узнал, какой это был зверь «карахтерный» в молодости, как он маменьку обижал, как он маменьку бросил, имея большие деньги, где-то прокутил их, пришел в деревню весь в долгах; но маменька его не приняли, а только дали на дорогу в город; как потом, спустя много лет, он опять явился, но уже совсем другим: тихим, робким, без всяких признаков буйного духа, и уже попросил у маменьки только помочи в съестном продукте, сам обещался не касаться ни до нее, ни до имения, а стал жить «по-хрпстиански», то есть по-мужицки, с мужиками, у старых своих дворовых людей; живет, как простой мужик, лапти тачает, зимой ребятишек учит, а летом работает, когда в силах, и лечит... Филипп особенно восхвалял его дар лечить и приводил бесчисленные примеры удивительных исцелений; говорил он, что отец принес от святых мест какую-то книгу, в которой сказано «всё», и вот эта-то книга особенно помогает ему в его врачебном искусстве... Из рассказов Филиппа я убедился, что отец мой пользуется в народе славою человека, обладающего громадными сведениями, чуть ли не такими, какими обладает только колдун. Филипп даже и этот эпитет попробовал было приложить к моему отцу, но спохватился... «И-и! как это можно!.. только дураки и болтают так-то... „колдун, колдун“... знамо, по глупости, а прямо сказать — божественный человек... всё с молитвой, всё с крестом... Нешто так колдун может?.. Тот

всё с черным словом... Опять же у святых мест был, да и опять собирается... Не может этого быть!» Разговоры и рассуждения Филиппа не прекращались до самого въезда в деревеньку, где жил отец...

Были сумерки... По деревенской улице, загроможденной сугробами, поспились тучи и столбы мелкого, промерзлого снегу... Был мороз и ветер... Огня в деревне не было нигде. Там и сям на снегу чернели кучки рябятишек с ледянкой или санками, и в перемежках ветра слышались их спорящие голоса... Я всё это помню как нельзя лучше. Не забуду минуты, когда сани по рыхлым сугробам стали подъезжать к длинному в шесть окон дому. Как нарочно, в эту минуту ветер совершенно упал, стало невозмутимо тихо; неслышно ступала лошадь по глубокому снегу, не слышно было полозьев. Дом стоял темный и молчаливый; огня в нем не было; крыльцо было заперто и занесено снегом; мы взбирались по нем, как по перине, без малейшего шума. Но в продолжение этой минуты почти мертвой тишины сердце мое било меня в грудь, словно молотом, а кровь с каким-то свистом в ушах приливала к голове...

Вы думаете, пожалуй, что я, изображая так подробно минуту, предшествовавшую моей встрече с отцом, представлю вам и родителя моего в каком-нибудь особенном виде, производящем нравственное потрясение какими-нибудь необыкновенно сильными и оригинальными свойствами своей натуры, мысли?.. Нет, ничего подобного не будет; переворот в моих взглядах начался действительно с минуты этого первого свидания с нищим-отцом, но именно, может быть, и начался-то только потому, что я попал с этой минуты в среду самых простых людей; всё тут было так голо, просто и ясно, что никоим образом не могло произвести так называемого потрясающего впечатления. Было только впечатление новой для меня простоты — и больше ничего.

Филипп долго грохотал кольцом в сенную дверь, прежде нежели заскрипела дверь и какой-то женский голос спросил:

— Кто там?

— Отвори-кось, Марья Андреевна, свои... Филипп...
— О-о... Сейчас, дай башмаки надеть...
— Ладно. Поторапливайся...
— Сейчас, сейчас...

Скоро действительно послышались в сенях торопливые шаги; засов стукнул, и перед нами, сколько можно было разобрать в темноте, очутилась высокая, пожилая женщина в шубейке на плечах.

— С кем бог принес?

— Дома, что ль, Петр-то Василич! — задыхаясь и волнуясь чуть ли не более меня, произнес Филипп.

— Ишь, спит... Недужает поясницей.

— Взбуди-кось... Сынок яво...

— Ох, батюшки родимые! Неужто Митрофан-то Петрович?

— Я.

— Ох, отцы наши... Как же это?

— Взбуди, ничего... Время-то на счету, потревожь, ничего...

— Ох... что ж это?.. Надо взбудить. Подожди-кось, я пойду...

Волнение обуяло и эту женщину. Помню, что в темных сенях, где мы ждали, отворялись двери то направо, то налево, выходили какие-то люди... Кто-то кого-то звал, торопливо шел куда-то... Словом, помню какую-то вдруг поднявшуюся суматоху, показавшуюся мне необычайно долгой, покуда, наконец, меня не позвал со свечкой в руке какой-то старичок, весь в слезах, весь в лихорадке и растерянный до последней степени...

Это и был мой отец.

Между нами произошла не встреча, а, прямо сказать, свалка: обхватывал он меня и за шею, и подмышку к нему как-то попадала моя голова, и он то целовал мой затылок, то уши мои сжимал и тянул голову кверху, и ронял теплые слезы и на лицо мое, и на шею, и на затылок... Всхлипыванья раздавались во всех углах сеней, но никто почти не произносил ни слова... Отец только шевелил губами, но ничего произнести не мог.

Не помню, как уже мы очутились в комнате, то есть в большой, довольно ветхой избе, разделенной перегородкою на три части. В комнате у отца был длинный и узенький стол из двух тесин, стол, очевидно, для учеников, потому что весь был изрезан и исписан разными рожами и каракулями; по бокам его стояли две длинные лавки, в углу самодельная кровать, то есть такие же тесины, приколоченные одним концом прямо к стене и подпертые с другого бока двумя чурками. На такой кровати валялся полушубок, а в головах — большая, уж вовсе не деревенская подушка; впоследствии я узнал, что подушка эта принадлежала женщине, отворявшей нам дверь.

В эту комнатку мы вошли целой гурьбой: отец, я, Филипп, парень какой-то, какие-то ребятишки, женщина в шубейке и еще несколько женщин и мужчин — всё это были сожители отца, поднятые из темных углов большого дома нашим неожиданным приездом. Чтобы отношения моего отца к этой крестьянской семье были ясны, я теперь же скажу о них то, что узнал только впоследствии. Дом и хозяйство принадлежали брату той женщины, которая нам отворяла. Брат этот, звали его Никифор, будучи крепостным, сумел чем-то угодить господам, был отпущен на волю, перебрался на житье в город и долгое время жил в извозчиках,— хозяином. Ему постоянно везло счастье; постоянно «утрафлял» на хороших господ — словом, умел наживать деньгу, которую и посылал старикам и братьям в деревню. Старики выстроились, и дом их считался самым богатым, покуда шел этот приток денег из города и покуда старики крепко держали в руках домашние порядки. С освобождением крестьян и смертию стариков порядок домашний ослаб. Старший брат, извозчик, воротившись из города, отвык от деревенского хозяйства, а главное, возжаясь с «хорошими господами», и сам испортился, развратился, любил выпить и любил побуянить, как глава; другие братья стали делиться, и теперь весь дом держался почти только старшей сестрой, женщиной (она не была замужем) с характером (ее звали почему-

то раскольницей), много натерпевшейся в крепостном праве и сохранившей к нему глубокую ненависть... Кажется, в те дни, когда мой отец был тоже в числе хороших для извозчика, ее брата, господ, было что-то у него с нею... Сужу так по ее сильной к нему привязанности, постоянному заступничеству за отца перед всеми, кто посмел бы сказать хоть шутливое слово относительно его теперешнего положения. Ненависть ее к прошлому постоянно поддерживала ее уважение к настоящему положению отца, и она всегда стояла за него горой, если иной раз ее брат, бывший извозчик, которому отец немало в свои хорошие дни переплатил денег (извозчик — тот самый, на котором отец догонял нас с матерью когда-то), в пьяном виде затевал с ним какую-нибудь историю, всегда имевшую оттенок насмешки над господами, которым вот теперь и мужичку стало надо поклониться и уголка попросить. Впрочем такие насмешки были не особенно часты; в трезвом виде Никифор не мог не поминать отца добром; заработал он с него много, да и вообще весь дом, всё крестьянство, знавши историю отца, не могло не ценить, и действительно ценило, как я впоследствии убедился, его решимость покарать свое прошлое такой жизнью. Все обитатели Никифорова дома, соседи и крестьяне соседних деревень, все почти с благоговением рассказывали про ту минуту, когда отец мой, когда-то бывший барином, живший во всю барскую спесь, пришел с котомкой за плечами простым странником к простому мужику и сказал:

— Ну, Никифор, корми, брат, меня!.. Буду помогать, покуда сила есть, приказывай, а туда (то есть к матери и опять «в господа») — я уж не пойду...

— Ведь, чего это стоит!— говорил всякий, знавший эту историю...

Всякий знал, как трудно каяться, тем паче — барину... В доме, таким образом, жили: Никифор, его сестра Марья Андреевна и мой отец в одной половине, а в другой стороне — старуха-бабка и средний брат с женой и детьми... При доме был работник и работница, какая-то дальняя Никифору родня, солдатка.

Вот вся эта компания и явилась в каморку отца за перегородку; все стояли толпой, ожидая, что будет происходить между нами. Все были очень тронуты, а маленькие дети так те прямо были испуганы и не ведали — что такое творится?.. Но ничего особенного не произошло. Отец держал меня у себя на коленях, что мне было очень неловко: я был ведь уж большой, а отец чуть не няньчил меня, как маленького ребенка. Он гладил меня по голове, плакал и поминутно шептал: «Ну, слава богу... слава тебе, господи... И не чаял!.. И в мыслях-то не было увидать, а уж ныло сердце, уж ныло... Ну, слава тебе, господи!.. Спасибо... Спасибо, Филиппушка!..» Я был очень смущен тем, что вдруг обратился в маленького ребенка, которому расточаются такие безумные ласки; но всё-таки, несмотря на смущение, мне удалось подробно разглядеть отца. Глаза его прежде всего обратили мое внимание: это были глаза человека, у которого угас оживлявший их когда-то огонь; это были бледные, тусклые, необыкновенно наивные, почти детские глаза. Тогда мне показалось, что он не в «полном разуме» — так уж я привык считать «полным разумом» взгляд, в котором «надо» угадывать что-нибудь, который сейчас же дает знать, что о тебе думают так-то и так-то, и заставляет настораживаться, заставляет отвечать таким же означающим что-нибудь взглядом, ходить с той масти, которою ходят к тебе... Тут же был именно детский взгляд, взгляд «неполного ума», оставляющий тебя совершенно свободным, не поднимающий в тебе никакой жажды пойти с той или другой карты, потому что и игры-то тут никакой нет: просто смотрит на тебя человек, слушает тебя, веря каждому слову, понимая то, что понятно, и не слыша вовсе того, что непонятно, и отвечает так же просто на то, что слышал и понял, отвечает так, как понял. Такой взгляд меня конфузил; я был уж развит настолько, что уж умел «дать заметить» или «не дать»; словом, уж приучил себя к достаточному количеству разных приемов лжи и умению сохранить среди них свою цель. У отца этого не было. Оно уже пропало. Мне было неловко этого про-

стого взгляда и стыдно за мое уменье понимать «не простые».

Стопло раз взглянуть в эти глаза, чтобы у меня навеки веков исчезло воспомпнание о том ужасном отце, который гнался за нами когда-то. Добродушный взгляд, худенький короткий полушубок, какой носят солдаты, борода почти вся седая, голова почти голая и какое-то изможденне всего тела этого старика — поселялп сразу необыкновенную жалость. Так и хотелось увести его отсюда, из этой неуютной длинной комнаты, с лубочными картинами и тараканами, с этим народом, совершенно чужим для меня в ту пору... Эта мысль— увести его домой, уговорить мать помириться — сильно овладела мною; но среди моих напряженных мечтаний о том, как сделать, произошел разговор, который заставил меня призадуматься над необходимостью и благодетельностью этой меры.

Продолжая ласкать меня, отец, не осушавши глаз, спросил наконец:

— Мать-то знает ли?

— Нп-нп, боже мой! — не дав ответить мне, убедительнейшим шопотом пропзнес Филипп.— Нп-пп-пи, сохрани бог...

— Ну, и слава богу... Уж потапсь от нее, брат,— прибавил отец, обращаясь ко мне.

— Как можно! — сказала Марья: — да тогда она нас со свету сживет... и-и-и...

— Ну, что там,— продолжал отец: — чего сживать... У нее своя часть, у меня своя... Я вины моей не таю перед нею, а что только мешаться не хочу... Будет!..

— Живого места не оставит,— продолжала Марья: — уж нам довольно известен ейный характер... Слава богу...

Но без значительной ненависти были произнесены эти слова; но отец, казалось, не слышал и продолжал:

— Ничего, как есть ничего-то мне не надо. И за то благодарен, что теперь-то дает — славу богу! Больше мне ничего не нужно! Довольно пожадничал на своем веку... будет!..

— Пожадничал, да покаялся!— прибавила Марья значительно.

— Это пуще всего! — присовокупил Филипп: — это у бога за самое за первое сочтено...

— И пожалуйста уж,— продолжал отец,— и ты-то не разжалобься! Ей богу, ей-ей тебе говорю, ничего не надо... И не пойду я туда никогда... Я было уж совсем ото всего от этого отвык... Да и есть, что отвык уж. И трогать-то вас не мечтал... Тебя только иной раз поглядишь... Видывал я тебя-то!..

— И-и, матушки, что слез-то бывает!— проговорила Марья.— Как увидит где случаем — и плачет... Нажгут они его там, говорит: — пуще собаки сделают...

— Ну, будет, Марья, эко нашла об чем...

— С чего ж не сказать? Там уж и так, надо быть, напето ему про тебя...

— Уж да-алл-жно быть! — протянул сразу весь хор.

— Да и надобно, а как ты думаешь? — обратился к хору отец: — хвалить что ли меня надо?..

— Уж что за худое хвалить!

— А что уж хотел всё это оставить, прекратить,— продолжал отец прерванную речь свою,— вот и наказываюсь... Как же я могу в эвтакую жизнь хоть бы и сына родного сбивать? Мне-то она по сердцу, а другому и совсем не годится,— зачем? Другому-то, может, и каяться не в чем. так как же я его силком-то возьму?.. Так и отрезал. Не стану вам мол мешать — только и вы мне уж дайте хоть последний конец жизни по совести пожить... И бога ради — и не хлопочите, и в уме не имей обо мне,— прибавил отец. опять обращаясь ко мне,— и даже, перед богом говорю, и вспомнить-то боюсь: ну-ка, да опять, в господскую шкуру попасть — и подумать-то об этом страшуся... Там — всё мало, всё недохват, всё надо больше... Всё забудешь, точно пустыня кругом тебя,— только и глядишь, нет ли где чего тебе подходящего... Я уж это знаю — о-ох, как знаю... Маменька твоя — не в осуждение говорю: мне ли кого судить? а нельзя утаить — препугливая женщина... Есть, друг

ты мой, этакие женщины, что окромя страха жить на белом свете — ничего у них нету: точно вот завтра гибнешь... Я помню, как я женился на матери-то на твоей; так что же, братец ты мой? Чуть не на другой день после свадьбы ровно бы чего испугалась, ровно бы вот сделала грех какой! Страсть, как пуглива была до жизни!.. Так ей всё представлялось, словно бы среди лютых зверей живешь: раскрадут, растащут, разворуют, пустят по миру, обидят, подведут,— и видимо-невидимо всего этого представлялось ей... веселого лица и в первый день-то не видал — перед богом! Кажется, так поглядеть — никакой беды нет нигде, и сама она видит, что нет,— так ведь такой характер пугливый: начнет за десять лет вперед убытки высчитывать, да так высчитает, что только сердце замрет, думаешь: ну, пропал... «Что ты за людьми не смотришь? Вот у соседей сожгли хлеб, и у тебя подожгут; чем будешь жить, чем отдашь? — Такой-то не подождет, имение отнимет, пустит по миру, куда денешься? Отец уж не даст, на тетку не рассчитывай...» То есть страсть, что высчитывает... слушаешь — слушаешь, просто даже ощетинишься — думаешь: нет, проклятые, не дамся я вам в обман,— и пойдешь обделывать дела! Там подряд схватишь, обдуешь (что уж церемониться), там что еще подвернется — уж не разбираешь! Сосед подвернется — соседа, мужик — мужика; со всех, что под руку попадет, цапаешь... потому — страсть! Кроме страху жить на свете, ничего нет,— ну, и свирепствуешь... Такая уж была у ней душа пугливая: всё на нее идет, идет ее обижать! Ну, молод был, жалко: нахватаешь на службах, на местах, на подрядах — успокоишь... Только чуть-чуть затихло, а уж в голове опять у нее начинается какая-нибудь новая страсть: гляди — уж на тридцать, а то и на сорок лет беду раскидывает вперед... И опять перепугаешься... А там устанешь, очнешься, думаешь: да за что ж это, господи? Зачем я народ-то обижаю? что я за зверь? И так станет скверно, так горько — и пустишь по ветру всё, что натащил...

Сдержанный радостный смех слышался в толпе зрителей...

— Начнет душа-то оттаивать — и пошло! Ну, уж тут...

и вспоминать страшно! И слава тебе, царю небесному создателю, вразумил меня господь! Отшиб он у меня эту жадность, этот страх жить на белом свете... Чего мне надо? Вон поп мне за лечение подарил валенцы—вот мне и тепло всю зиму... Сейчас вот Мишутку азбуке выучил — вот у меня кошелка яиц — и сыт я... Чего мне? За что мне лютовать с белым светом? Из-за чего зверствовать?.. Что лучше: ударить пса палкой, или хлеба ему дать?.. Господи батюшка! Да изведи же меня из этого омута! Вот господь и помог мне... И ничего-то, ничего-то мне не надо... Ходи ко мне, погляди, как простые люди живут,— и ты ведь тож случаем в непростых-то,— а к себе не зови... нет, сохрани бог!.. Там сейчас ожесточишься... лапти сними — купи сапоги, шубу, съезди к тому-то... и-и-и пошло... Весь вывернешься, как змей, в одну неделю... Нет, нет, нет, нет... У меня вот тут ребятишки, больные... вот лечебник, я с ним добра сделаю много... У меня вот шляпа поярковая, коровьим составом я ее вымазал, запек в печи — она у меня на двести лет, а там, в ваших-то местах, отдай пять да десять... да неведомо сколько другого причендалу потребуется хоть бы к одной к одёже... Не надо этого... Стыдно! Вот ребятишки иной раз листа бумаги ждут по полугоду, а я буду в лорнет смотреть?

Все захохотали...

— Нет, нет...— продолжал отец.— Я хочу просто. «Ожесточилося сердце ваше!» — вот что сказано в писании... И верно... Я знаю, что говорю. Я всю жадность эту перепробовал: дай волю — конца ей нет, этой жадности... а зачем?.. Нет, Митрофанушка, уж ты меня не выдай, не жалобься, не жалей... Право, мне хорошо... Думаешь — что бы доброго сделать... а ведь там это трудно!.. Одной зависти сколько... Да что!.. И вспоминать-то не хочется... Расскажи-ка ты, хорошо ли учишься-то?.. Чему учат-то вас? Марья! что же ты? Авось, самоварчик надо...

Марья точно проснулась вдруг, да и все точно очнулись.

— И что ж это я, матушки мои? — спохватилась Марья Андреевна и тотчас подняла суматоху с самоваром. Народ,

понявший, что «самое любопытное» кончилось, понемногу отхлынул. Остались вместе только я с отцом, да Филипп, да парнишка лет тринадцати. Я что-то разговаривал про гимназию, меня слушали прилежно; но я видел, что меня не понимали и что всё, что я говорю, вовсе тут не нужно и неинтересно. Отец, как я понял, просто наслаждался тем, что видел меня, что слышал мой голос, но едва ли находил что-нибудь интересное в моих словах. Филипп, усевшись к столу и положив на него локти, только щурился и, наконец, не вытерпел:

— Эко наук-то у вас, в емназии... Что уж, на что так-то! Больно много... Право, ей-богу...

Отец только покрутил головой.

— Нет,— перебил он Филиппа: — у нас вот с Мишуткой всё недостатки... Вот теперича гражданской печати нужна книжка, а ее нету...

— Какую книгу вам надо? Я привезу,— сказал я.

— Да какую-нибудь историческую, русскую бы историю, ежели есть... Нам из старых, если случится, мы не брезгуем... Ходил я в городе по книжным лавкам — руб да два, меньше нет, хоть ты вот что...

— Я вам привезу каких хотите.

— Ты уж давай какие ненужные. А мы за тебя бога помолим с Мишуткой...

Мишутка, тринадцатилетний паренек, находившийся в этой же комнате, весь вспыхнул, даже вспотел от известия о книгах, которые я обещал прислать... А я почувствовал, глядя на эту радость, что-то сильное в сердце — вот я могу сделать так, что обрадую, осчастливлю... Скверным манером пробудилась во мне мысль быть полезным другим — а уж пробудилась, и за то я благодарю этого обрадовавшегося Мишутку.

— Азбучков,— продолжал между тем отец,— грифельков бы — ох бы нам хорошо тоже... да где! Уж только бы мать не догадалась, избави бог — и так как-нибудь... Тут одна девчонка, Марфутка, семилетняя,— ух, зла учиться-то! ну — бедность! Всё углем учится на стене — вон посмотри...

Я поглядел; вся стена была измазана углем.

— Нету!— как-то беспомощно произнес отец: — что будешь делать!.. Бедность! И уголь-то еще дадут ли... Намедни вот Марья и то закричала на нее: «что ты тут всё таскаешь? не напасешься...» Вот как у нас насчет этого...

Отец засмеялся. Я был удивлен...

— Иде ж взять-то!.. Мать-то, чай, сама по миру ходит? — предположил Филипп.

— А то что ж? о каких тут грифелях думать?.. Что у меня есть — даю, а уж чего нет — ну, не взыщи... Вот священных историй тоже беспременно бы надо...

— Я привезу непременно, — сказал я, чувствуя, что меня с каждой минутой захватывает жажда помогать и делать что-нибудь доброе в деле, совершенно для меня чужом; этого до сих пор я еще не испытывал и потому так же радостно вспотел от нового ощущения, как и Мишутка.

— Ох,— сказал отец, вздохнув: — много, много надо... И ничего-то нет... Ну, зато уж,— вдруг необыкновенно радостно воскликнул он,— уж и разжился я штучкой одной... Погляди-кось, какая штука-то!

Он проворно вскочил с лавки, еще проворнее побежал к кровати, вытащил оттуда сундучок, долго рылся в нем и вытащил, наконец, что-то в бумаге.

— Вот! — сказал он с торжеством.

Бережно развертывал он бумагу; все столпились вокруг отца и с величайшим любопытством смотрели, что там будет; в бумаге оказалась завернутая машинка чинить перья, штука для меня очень простая, давно знакомая; но не так смотрели на нее все другие зрители, начиная с отца. Когда он рассказывал, как надо эту машинку употреблять, когда он показал, как скоро она чинит,— неподдельный и неописуемый восторг охватил всех.

— Ведь, это что! — весь сияя, говорил отец: — ведь я сколько хошь накатаю им перьев-то? Дуй, ребята, не робей...

— Штучка!.. Ну, так уж — ах!.. Что выдумают! — говорил Филипп в восторге.

— А то, братец ты мой, бьешься-бьешься с перочинным то ножиком — смерть. Семь человек, семь перьев, да руки-то трясутся, да мозоли, что ни хватишь — да и расколол... То ли дело — это?

— Уж чего же лучше! — сказал Филипп, радуясь за отца.

Не перескажешь всего, что говорилось в этот вечер моего первого свидания с отцом. Разговор, попавший раз на тему нужд, недостатков, уж ни разу не имел случая коснуться чего-нибудь другого: так было много всего, чего надо и чего нет, чего негде взять, чего не дадут. Глаза мои точно впервые открылись на такие вещи, которые я видал мильоны мильонов раз и которые теперь, под этот почти спокойный, почти хладнокровный разговор о них отца и Филиппа, представились мне совершенно в ином виде. Сколько раз я видел босоногого мальчишку, деревенского полураздетого ребенка, и ни разу до сей минуты у меня не мелькнула мысль о том, что ребенку хорошо бы быть одетым. Проезжая в тарантасе мимо таких разутых и раздетых ребят, я обыкновенно не чувствовал ровно ничего, мне не приходило в голову никакой мысли, в сердце не являлось никакого ощущения, точно полуголый мальчик — такое же нормальное явление, как обросший шерстью баран или покрытая перьями курица. И баран и курица никогда и ни в ком не возбуждали, надеюсь, желания улучшить их костюм: именно так вот и деревенская голь не производила на меня никакого впечатления... Теперь же какое-нибудь словечко отца о том, что мол дай бог здоровья писарю, подарил Ваське опорки, производило на меня необычайное впечатление. Оказывалось, что не подари писарь опорков — Васька всю бы зиму просидел дома и не мог бы ходить учиться грамоте, потому что он — сирота: нет у него ни отца ни матери, и живет — где день, где ночь. «Тоже — человек!» — во время разговора о Ваське сказал совершенно просто Филипп и проткнул мое сердце, точно иглой, ужасом за «человека», который не может выйти учиться, потому что нет сапог, потому что некому дать их. — «*У самих нет!*» —

«Где ж взять-то?» —«Кабы кто дал бы».— «Так и дадут — как же!..» —«Иной бьется-бьется».— «Уж и бьется же только».— «Бился-бился, братец ты мой», и т. д., и т. д. Этими фразами, точно бисером, усеивался всякий без исключения рассказ, выходивший из уст отца, Филиппа или кого-нибудь из других крестьян, участвовавших в нашем разговоре и касавшийся совершенно новой для меня среды. Не могу в точности передать, какого рода разговор происходил у нас за самоваром, который наконец-таки пожаловал на исписанный учениками-ребятами стол, сопровождаемый вновь целым полчищем народа, норовившего при случае повеселить чайком и себя. Помню, что во время чаепития разговор принял отчасти шутливое направление и по временам, и довольно часто, прерывался смехом; но шутки и смех не занимали меня. Думая о слышанном, я только удивлялся, как они могут еще смеяться, и не понимал ни смеха ни шуток.

Уговорились мы с отцом видеться еще раз, именно при отъезде моем после Крещенья в гимназию; я обещал опять заехать к нему. На прощанье были повторены просьбы насчет «перушков», «азбучек», «священных историев», «да ежели, *паче чаяния* (выражение одного крестьянина, присутствовавшего при разговоре), сапоги старые попадутся или шапка, то уж не пожалеть и их...» Всё это я обещал непременно доставить и уехал с кучею обязательств, совершенно новых для меня — новых по своему внутреннему, незнакомому до сих пор для меня смыслу: обязательства эти были у меня перед другими, перед чужими,— обязательства во имя чужих нужд, чужих потребностей!.. Несказанно благодарен я отцу за эту новую для меня задачу.

Скажу еще раз: в отце моем не было ничего необыкновенного, выдающегося; образования у него не было никакого: учил он по-старому — по псалтырю; не было у него и широкого понимания ни своей прошлой жизни, ни теперешней, простой и трудовой. Очень может быть, что он просто выбрал эту жизнь, как лучшее, что оставалось ему делать. Может быть, скрыться, так сказать, в народе его побудил страх

быть на виду, где его могли всегда заметить, что неудобно было в то обличительное время, тем более, что прошлое отца небезупречно. Что бы ни загнало его в среду бедных, босых и темных людей — я несказанно благодарен за то, что, благодаря ему, благодаря тому, что он — мой отец, я, пойдя к нему, пришел к новому для меня миру, к новым для меня интересам, которые дали мне живую мысль, а стало быть, и жизнь. Помню, что, возвращаясь от него домой, я чувствовал, что кругом меня точно стало просторнее, шире и что во мне сразу прибавилось и росту и силы. И в самом деле, съёженный до настоящей минуты на несчастиях моих, потому что несчастия матери были нераздельны с моим существованием,— съёженный на этом маленьком местечке личного горя (оно теперь и горем-то мне почти не казалось) недоброжелательством, невниманием к этому горю всего белого света, я начинал уже ожесточаться против жизни, начинал убеждаться, что жизнь — борьба и притом довольно беспощадная. И вот после одного вечера, проведенного в кругу крестьян, я неожиданно узнал, что могу делать бездну добра, что желание добра увеличивает силы в сотни раз более, чем то, что отец назвал «жадностью». Я впервые ощутил удовольствие отделаться от этого ужасного бремени: «себя», «своих» бед и несчастий, забыв их в общем горе, в жадности общего блага.

Влачить всю жизнь этот ничтожный и маленький, но бьющий по ногам при каждом шаге груз своего благополучия или «своих» бед — что это за каторжная работа! Путаться в этих тонких нитях, чтобы связать себя ими по рукам и по ногам, чтобы замучиться в борьбе с этими ничтожными, но крепко связывающими путами, или разорвать их, бросить навсегда и итти свободным навстречу всему, на что отзовутся самые лучшие струны сердца,— эти две дороги, эти два рода предстоящей борьбы как нельзя яснее выступили передо мною среди занесенной снегом ухабистой дороги, по которой я возвращался домой, плотно закутавшись в воротник шубы. Вьюга была на дворе. Мерзлый снег тучами носился по белым полям и знобил ноги.

«Дай бог здоровья писарю!» — помимо моей воли сказалось во мне, так как, тоже помимо моей воли, вспомнились мне голые ноги Васютки.

А от Васюткиных ног мысль пошла опять перебирать всё, что было прежде и что случилось теперь, и опять я благодарил и благодарил отца.

Нестерпимую какую-то духоту, даже тесноту, ощущал я в течение тех дней, которые пришлось пробыть мне дома до отъезда в город после праздников. Я не говорил о том, что видел отца, потому главным образом, что, кроме глубокой обиды, я ничего бы не сделал всем обитателям нашего дома, начиная с матери и кончая последней приживалкой, если бы объявил, что теперь у меня на душе. Но зато тем тяжелее было мне самому; с каждым днем для меня делались всё невыносимее и невыносимее эти тоскующие речи нашего дома, это кропотливое подбирание одно к одному ничтожнейших собственных несчастий, доходившее иной раз до высочайшей степени мелочности.— «Второй день, голубчик мой,— говорила, например, с глубокой тоской пожилая тетка моей матери,— второй день ем без всякого аппетита!» И все, слышавшие об этом горе, вздыхали, и если не сочувствовали, то уж непременно охали и принимались высчитывать собственные свои несчастия, еще более ничтожные... «Хоть бы раз,— думалось мне,— хоть бы на минуту кто-нибудь из них подумал о чем-нибудь другом, перестал рыться в собственном желудке и поглядел или подумал о несчастиях чужого человека, да не только об несчастиях, а хоть бы вообще-то о чем-нибудь, кроме себя». Колорит уныния и грусти лежал на всех обитателях нашего дома, благодаря, конечно, несчастиям матери. От нее все зависели, и все вторили ей, и хотя я очень хорошо знал, что она действительно страдает, хотя я и жалел ее, но не мог не видеть, что всякое слово мое о бесплодности ропота на всех и вся, ропота, не дающего утешения и совершенно несправедливого ввиду бездны бездн еще более сильных страданий, чем наши,— всякое такое слово может только рассердить ее, сделать хуже, злей и, стало быть, кроме стра

данний, ей же ничего не принесет. Тяжело было мне молчать, но говорить я не мог. Я уже видел перед собой какую-то другую дорогу; чуял, что рано ли, поздно ли, и я и мать расстанемся непонятыми друг другом, с камнем на сердце — но расстанемся...

С таким-то камнем на сердце и уехал я в город, в гимназию. Не буду рассказывать второго свидания с отцом — оно было долгое и положительно уже деловое; раз попав в новый для меня мир, кричащий самому поверхностному наблюдателю о своих нуждах, я во второе посещение отца уж не только слушал, а сам расспрашивал его и узнавал вещи, которые у всех перед глазами и на которые всякий смотрит и, однако, никто не видит... В этот раз я уж забегал вперед желаниям отца и всех окружающих; если отец просил десять азбучек, то мне тотчас представлялись сотни домов, где живут сотни детей, которым надобны, стало быть, не десятки, а сотни азбучек... «Надо-то надо, да где ж взять-то?— говорил отец.— Этак, пожалуй, если всё то, что нужно, давать,— так и без рубахи пойдешь!» Отец, как видите, не отвык ценить свою рубаху; повторяю, в нем не было ничего необыкновенного. Но на меня эта фраза произвела иное впечатление. Мне виделось, что снятие своей собственной рубахи— прямой вывод из слышанного и виденного мною. «Как же мать?» — с ужасом думал я... И, каюсь, отгонял эту мысль: мне было жаль мать, я любил ее...

В гимназию я возвратился совсем другим человеком. Любовь к матери, двигавшая меня до сих пор, заставлявшая меня прокладывать себе дорогу между людьми, с тем, чтобы потом отмстить этим людям, была отравлена, пожалуй даже разрублена тяжелым ударом чужих несчастий, внезапно, неожиданно вторгнувшихся в мое понимание,— несчастий, с которыми меня связывал отец, человек, так ли, сяк ли живший в среде людей, обуреваемых этими бедами, по мере сил старавшийся искупить помощью и пособием этим людям все бесконечные вины своего прошлого, все преступления своей прошлой жадности, как говорил он. Между этим двумя

привязанностями — к матери и к отцу, которые с каждым днем стали поглощать меня всё сильнее и сильнее, с каждым днем становилось всё меньше и меньше места для мысли о чем-нибудь, не касавшемся того или другого. Учителя были удивлены, увидав, что я совсем перестал учиться; и действительно, наука гимназическая вдруг потеряла для меня всякое значение и смысл. Зачем, в самом деле, писать мне сочинение на тему хотя бы о пользе химии? Матери я этим не помогу, потому что ее беда — в пожирающем ее эгоизме; не помогу и нуждам отцам и его новых друзей, потому что там прямо нужны сапоги, потому что там Мишутка не ходит в школу оттого, что он — босой, а на дворе — мороз и снег. В этих смыслах оказалась малополезною, как выражался наш законоучитель, и география и всякая другая наука... Сторонились они и расступались в разные стороны пред выраставшею во мне потребностию итти заступаться, жертвовать, радовать, чтобы радоваться самому,— потребностию, пробужденной примером отца и постоянно им же поддерживаемой. Да и дальнейшим развитием во мне не только потребности, а прямо необходимости жить для «чужих», я тоже обязан отцу. Не проходило недели, чтобы ко мне на гимназическую квартиру не являлись от него посланные. То являлись за бумагой, за перьями, то просили написать письмо, а потом прямо пошли обращаться с делами, с тяжбами, как к какому-нибудь адвокату. У меня с каждым днем прибывало таких, нисколько меня лично не касавшихся дел, и с каждым днем я более и более входил в самую суть условий русской жизни потому, что в то время, когда мои товарищи — впоследствии сделавшиеся адвокатами или хорошими железнодорожными деятелями — продолжали заниматься гимназическими науками, я разыскивал какое-нибудь пропащее дело о земле, толковал с чиновниками, подавая прошения,— словом, уже вступил на так называемое поприще жизни. Я не мог отказать ни в одной просьбе, я не мог сказать: «поди спроси там-то»,— потому что знал, что «там» не ответят, что «там» запутают только... Если бы я даже просто из одного

приличия исполнил все эти получаемые мною через отца поручения, то и тогда мне предстояло увидеть бездну таких вещей, которых бы не разрешила ни одна из бесчисленных гимназических наук. Но я делал не из приличия: во мне говорил молодой задор, превращавшийся понемногу в задачу всей жизни,— задор, дававший возможность чувствовать глубже, сильнее, служа другим.

Скоро, однако, положение мое стало с каждым днем усложняться и становиться тяжелее. Иной раз, позабыв и про гимназию и про горе матери, и весь поглощенный исходом какого-нибудь предпринятого при моем содействии дела, я не без тревоги вдруг ощущал, что иду по какой-то неведомой неторенной дороге. В такие минуты я вдруг видел, что уж очень-очень далеко отбился от старого пути, что уж мне трудно, если бы я и хотел, бросить всё и опять стать прилежным учеником... Убеждаясь в этом, я убеждался и в том, что, рано ли, поздно ли, мать будет знать эту перемену, происшедшую во мне, будет знать всё в мельчайших подробностях и, стало быть, будет страдать не вдвое и не втрое, а в тысячи раз сильнее против прежнего. В моем сношении с отцом она увидит измену, предательство; она будет думать, что, сойдясь с человеком, который загубил ей жизнь, я предал ее, разрушив все ее надежды на меня в будущем,— надежды, которыми она только и жила,— оставив ее беспомощною, покинутою, одинешеньку...Всё это непременно должно было случиться,— я знаю это наверное; знал даже, что это случится не больше, как через несколько недель, когда я извещу ее, что не перешел в следующий класс, и представлю свидетельство, испещренное единицами. С другой стороны, в такие же минуты размышления собственно о себе передо мною являлась и фигура отца, то в виде безобразного кутилы, то в виде простого больного человека, который в дымной и темной избе чинит дрожащими руками перо для крестьянской девочки. Представлялся весь этот народ, окружавший отца, все эти простые, темные люди, все эти сети, в которых путает его и темнота и всякая случайность... И мне так же страшно становилось изменить

этим людям, как страшно было изменить матери. Как бы мог я сказать отцу или посланному от него крестьянину, что — «нет мол, теперь мне не время заниматься вами,— я сам занят!» Сделать этого я положительно не мог. Я знал, что я нужен тут, что «никто» не поможет, не пойдет и не сделает «так» и «просто», как именно и надо этим людям. Я знал также, что и матери своей я тоже не могу сказать: «некогда мне хлопотать о нашем благополучии, потому что у меня есть вот какие дела». И там и тут подобными ответами я бы делал явную жестокость, прямо бросал бы людей на произвол судьбы... С другой стороны, меня также иной раз (а потом всё чаще и чаще) стала знобить (буквально) мысль о том — да что же я могу сделать один, пятнадцатилетний мальчик, если, завязав глаза и поверив только тому, «что надо», стану открыто на ту или другую сторону? Чувствовал я, что мои усилия — капля в море, и чувствовал это с каждым днем всё ощутительнее. Не было у меня ни товарищей ни поддержки — ниоткуда и ни в чем. Я даже почти ничего не читал до настоящей минуты; я стал думать о задачах действительности не по книгам, а по самой действительности, в которой мне некому было указать, что к чему, где начало, где конец, вообще — откуда что идет? Необходимость думать об этом, то есть «откуда что», надвигалась на меня поистине неумолимо. Она выходила из моего трудного положения меж двух огней, из желания как-нибудь облегчить себя, уяснить себе, что никому измены я не сделаю, если стану открыто туда или сюда,— желания, которое частенько посещало меня, как реакция после размышлений о видимой безвыходности моего положения. «Чем же меньше Аксютки или Михайлы страдает моя мать?»— думалось мне в такие минуты. И я принимался высчитывать и сравнивать ее страдания и страдания Михайлы,— и находил, что они одинаково сильны, что они одинаково требуют заботливой руки, и тут мысль моя стремилась к пониманию именно самой сути всего этого запутанного положения людей, стремилась с страшными мучениями, изматывала меня почти без всякого результата. Нужна

была книга — я не знал еще этого, не знал еще людей, которые измаялись на том же прежде меня.

Необходимость, благодаря поручениям, получаемым через отца, делать какое-нибудь нехитрое, но хлопотливое дело,— итти купить, или итти узнать в суде, в конторе и т. д., отвлекала меня от угнетавших мою голову мыслей, но зато, опять вернувшись к ним, я чувствовал себя еще хуже и еще трудней, чем прежде.

И так пошло с каждым днем всё сложней, всё тяжелее. Временами я решительно терял голову — как мне быть, что делать, как думать? Не знаю, чем бы кончился этот хаос моего душевного состояния, если бы сама жизнь не позаботилась вынести меня из него. Пожираемый разными соображениями и размышлениями, лежал я однажды на своей городской квартире, в доме мещанки Семиглазовой, как вдруг отворилась дверь, и я увидел матушку. В жизнь не забуду ее ужасного лица.

— Ты подружился с отцом? — было первым ее словом.

Я не мог ничего ответить. Я был испуган за мать, понимал всю глубину страданий, которую испытывает она от моей измены, и только всей душой желал, чтобы *она-то* сумела выбраться из этого неожиданного для нее положения; я был весь поглощен ее несчастием и не мог увеличивать его, сказав: «*да*, подружился»,—потому что и без того она была, очевидно, разбита вся.

Словно каменный, ничего не чувствуя и готовый покориться всему, подставил я голову под удары этой давно впрочем жданной грозы. Рыдания, прерываемые бранью, доказательствами моей безжалостности, доказательствами очень вескими,— рыдания, переполненные зубным скрежетом на отца, на его долгие тиранства, измены, рыдания на пропащую собственную свою жизнь,— всё это я покорно принял на свою голову. Я страдал в это время едва ли не сильнее матери, потому что даже не мог говорить, не мог думать... Рассказывать подробно об этой сцене, то есть об этих рыданиях, продолжавшихся не час, не два, а две недели кряду,

не покидавших мать ни дома ни на улице, ни днем ни ночью и с каждой минутой осложнявшихся новыми сведениями о моей преступности,— я решительно не в состоянии. Глаза матери не пересыхали ни на одну минуту: то она узнавала, что я бросил гимназию, и градом слез оплакивала мое будущее, да не сегодняшнее только, а самое далекое; я уверен, что даже та пора, когда я буду с седыми волосами, и та была оплакана ею... А за известием о том, что я бросил учиться, смотришь, идет известие о том, что я хлопотал в суде против человека, который, как на грех, был самый лучший друг матери, был благодетелем нашим, без которого она теперь не имела бы куска хлеба, а я, ее сын, ходил бы без сапог. Наоборот, люди, за которых я хлопотал, были постоянные враги матери, воры, поджигатели, мошенники, грубые невежи... Отец, приютившийся в кругу этих людей, казался истинным злодеем, хитрецом, систематически подстраивающим против матери всевозможные гадости. С ее точки зрения, измена моя была поистине ужасна. Я сам видел это и не мог шевельнуться, подавленный ее горем...

Рыдая и проклиная, матушка с каким-то лихорадочным жаром принялась исправлять наделанные мною беды. Она спасала свою веру в меня, свою цель жизни и так глубоко жаждала своего спасения, что я вполне подчинился этой жажде. Не помню и не знаю, каким образом случилось, что я мог ходить с матушкой по учителям, к директору, к инспектору и просить у всех извинения, прощения. Не помню также, как мог я решиться пти не только к моему гимназическому начальству, но и к тем благодетелям-помещикам, против которых настраивали меня отцовские дела. Знаю только, что всё это я проделал, покоряясь почти истерическому состоянию матери.

Опомнился я на квартире у учителя математики, оказавшегося моим хозяином и начальником. Матушка поместила меня на все каникулы, с тем, чтобы он не спускал с меня глаз, и с тем, чтобы я мог воротить утраченный мною год. Предполагалось, что целое лето я буду учиться, догонять своих товарищей, предполагалось, что я под хорошим надзо-

ром не буду продолжать связываться с отцом и его приятелями. Учитель, который взял с матери хорошие деньги, действительно добросовестно принялся за меня. Не покладая рук, работал он со мною и, не смыкая глаз, наблюдал за каждым моим шагом; связь моя с отцовской компанией действительно была прервана; я не видел уж ни посланных ни ходоков, не получал ни поручений ни писем. Но зато тем сильнее стало просыпаться во мне сознание, что я — изменник и уж на этот раз — настоящий изменник... Этой мысли я уж не мог заглушить в себе никакими науками. Волей-неволей я узнал целый неведомый для меня мир людей и положений — и вот теперь покинул его на произвол случая, силу которого над этим миром я уже знал... Я несомненно был предателем.

Сознание это росло во мне с каждым днем всё сильнее и ощущалось мною всё больней и больней. С каждым днем всё яснее казалась мне моя глубокая вина перед этими людьми. Кроме меня, я знал это, у них *никого* нет... *никого*.

Мне так глубоко было трудно в эти минуты, что я (решительно уж не помню, каким путем) пришел к необходимости пить... Кухарка доставляла мне водку *на свои*: она видела, что на мне лица нет, и по опыту знала, что рюмка помогает... От одной рюмки я неимоверно быстро перешел к бутылке, к штофу, к драке и т. д. Это случилось необыкновенно быстро, то есть сегодня, положим, я выпил первую рюмку, украдучи, а завтра я уже одолел целую бутылку и лез к учителю с кулаками.

Немедленно приехала мать и поселилась в городе. Этот приезд и ежедневные свидания с матерью связали меня по рукам и по ногам. Я знал, что не выдержи я хотя один раз, я убью ее своим поведением тут же на месте... Я мучился молча, связанный по рукам и по ногам неизбежностью смерти моей матери в том случае, если я дам волю съедавшей меня тоске... Голова моя в эту пору была точно пустая тыква, но зато вся боль, вся мука сосредоточилась в сердце, и тот мир, которому я изменил из страха погубить мать, стал с каждым днем принимать всё более и более пленительные образы... Иной раз эта деревенька, занесенная снегом,

все эти босоногие мальчишки, ходоки с сосульками на бородах — всё это мне стало представляться обетованною землею... Этою мыслью я только и жил...

Очень может быть, что мысль эта, раз успокоив меня, то есть ослабив силу тоски и сознания виновности, продолжала бы успокоивать меня всё больше и больше и, наконец, при скверности моей натуры (я узнал это, когда думал *обо всем*), просто бы сделалась средством отделываться от насущного дела. Очень может быть, что, суля себе журавля в небе, я бы полегоньку проникнулся сознанием необходимости похлопотать сначала и о самом себе, то есть сначала запастись, а потом уже и расходовать, умело, дельно... Но случилось нечто другое, что ни на минуту не дало мне успокоиться.

Неожиданно скончался мой отец. Узнал я о его смерти в самый разгар жажды искупить мою вину и в самый сильный момент сознания этой вины.

— Сходите проститься с вашим родителем,— сказал мне однажды осенью мой гувернёр, учитель математики.

Я остолбенел.

— Он тут лежит в части... в полицейской больнице...

Я не понимал, как мог отец очутиться в полиции.

— Ваша матушка,— продолжал учитель,— позволила вам сходить... отдать последний долг... Что же не идете? Это тут, за углом.

У меня мелькнула мысль, что я убил отца... Я весь похолодел от нее и только тогда очнулся, когда учитель повторил мне:

— Торопитесь: его могут схоронить без вас...

Опрометью побежал я в полицейскую больницу. Там отца уж не было; оказалось, что его перевезли в церковь при городской больнице.

В простом сосновом гробу, в сером больничном халате лежал мой отец, покрытый большим куском белой холстины. Я приподнял холстину и увидал его лицо,— глубокое страдание замерло на нем. Я увидал измучившегося человека и зарыдал... В одно мгновение мне представилась вся его

жизнь: кутежи и неправедная нажива денег, распутство, разврат, и эта черта глубокого страдания, которая вот теперь лежала на его лице, как результат, как итог всей жизни, мгновенно отняла от всего дурного и скверного, что вспомнилось мне, именно этот дурной и скверный оттенок, и представила всё в виде невольной необходимости, почти даже в виде страдания... От дурного прошлого я перенесся мыслью к последним годам его жизни, вспомнил его нищету, его фигуру, плетущуюся с палкой в лаптях по грязи, а главное — его истинно детскую радость, когда ему удалось добыть машинку чинить перья. Мне представилось его заспявшее радостию лицо, когда я сказал, что привезу азбучку, и я почувствовал, что понес в отце великую утрату. «Только было человек добился до уголка, где стал чувствовать себя хорошо, где нашлось ему по силам дело, где ему явилась возможность делать добро, которое он, быть может, желал делать всю жизнь, но не делал потому, что жил в кругу людей, требовавших от него совсем другого,— и в эту-то минуту пришлось расстаться с жизнью». Страдальческие черты лица как бы говорили всё это. Я смотрел на них и плакал о том, что я покинул этого бедного человека, это дитя—так мне казался невинен и чист отец — в самую дорогую для него минуту, в минуту, когда он только что было начинал жить сердцем и сознанием...

Сторож попросил меня уйти из церкви, объявив, что похороны будут завтра. Тут же, рядом с отцовым гробом, стояло еще несколько гробов других покойников, которых должны были отпевать вместе: все эти бедняги лежали в простых кое-как сколоченных гробах; все без исключения с измученными лицами, говорившими о том, как трудно жить на белом свете... Я находил в ту минуту, что ничего не может быть прекраснее этих изуродованных болезнию лиц.

Укор в измене отцу жестоко мучил меня. Вот этот, самый дорогой для меня человек унес в могилу с собою горькое сознание моей измены,— измены родного сына, которого он любил всей душой, я это знал... Мне так хотелось умереть в эту минуту!

Я вышел из больничных ворот и поплелся, сам не зная куда... и неожиданно наткнулся на тротуаре подле больницы на Филиппа.

— Митрофан Петрович! Отец ты наш родной!— возопил старик:— Петр-то Василич никак помер, друг ты мой горький!

— Помер, брат,— сказал я...

— Матушка, пресвятая царица небесная!.. И что ж это они сделали? Ведь извели они его...

— Кто извел?— вдруг припомнил я неожиданность смерти отца почему-то в городе и почему-то в полиции.

— Да уж кому-нибудь надо было... Ведь он под судом был...

— Как под судом?

— Да маменька-то твоя, как разведала всё,— и зачала против него... Чтобы духа то есть его не было... И стали через докторов действовать, что мол фальшивым леченьем занимается и народ травит... Уж тут была беда несосветимая: и обыскивали-то, и дознались, что Иван Кузьмич от его лечения умер, и еще врач один донес, что мол травой какой-то отец твой его опаивал, чуть было не уморил,— ну, вот и взяли его в острог, либо в часть,— дело пошло... Ну, знать, кто-нибудь тут и подсудобил ему...

Впоследствии я узнал, что подозрения Филиппа не имели никакого основания.

Образ отца вырастал в моем воображении уже прямо в виде мученика. Он делался для меня святыней, и я чувствовал, что он где-то тут, что он пристально смотрит на меня и как будто ждет увидеть, что длинная вереница его страданий не останется без результата...

Филипп рассказал мне, кроме того, что та же участь, то есть преследование, постигла и всех тех крестьян, которых отец посылал с просьбами ко мне и за которых я хлопотал по судам. Даже бабу, сестру извозчика, и ту таскали почему-то к допросу и два дня продержали в части: полагали добиться от нее чего-то насчет расколу, так как ее с давних пор считали на деревне раскольницей, хотя и неизвестно

почему. О себе Филипп рассказал, что он уж давно не живет у нас в кучерах: маменька отказали. Говорил он, что живет теперь где день, где ночь: сегодня сыт, а завтра — что бог даст...

Спрашивается: за что разогнали это гнездо?

Совершенно покойным и серьезным воротился я вместе с Филиппом на мою квартиру к учителю и объявил, что оставляю гимназию, еду в деревню и намерен сделать это завтра же. Я так категорически заявил мою волю, что никто и не подумал мне противоречить.

Похоронив на другой день отца, я унес с собою светлый образ погибшего доброго человека, унес его радость к доброму делу, унес обязанность искупить мою измену ему — и с этим запасом в душе воротился в деревню. Я сказал матушке, что не поеду более; она не противоречила, потому что чуяла, что меня заставляют это делать неотразимые доводы. Со смертью отца в матери с каждым днем исчезала причина чувствовать себя обиженной, а вместе с тем исчезало и то, что ее держало на свете... Быть может, и она под конец жизни поняла, что не была права перед отцом; быть может, вспоминая и думая, она и сама задумалась о бестолковщине жизни. Во всяком случае, она со дня моего приезда затосковала, стала задумываться, худеть, чахнуть, а через год и скончалась.

Я остался один. За год перед этим я успел еще ближе познакомиться с семьей, где жил мой отец, и со всеми знавшими его. Воспоминания о нем в крестьянской среде принимали с каждым днем какой-то легендарный оттенок. Если бы я не имел на душе ничего, кроме своекорыстия, то и тогда обязан бы был, хоть из приличия, непременно походить на отца, продолжать его доброе дело, чтобы пользоваться сочувствием и любовью...»

На этом Митрофан Петрович окончил свой рассказ.

IV. НА СТАРОМ ПЕПЕЛИЩЕ.

I.

— Был на почте?
— Сейчас бегал.
— Ну что же?
— Да ничего нету.
— Да ты бы попросил хорошенько посмотреть!
— Да я уж просил; нет, говорят, ничего нету...

Такой разговор происходил у меня с служителем одной из гостиниц губернского города N, где меня задержало ожидание необходимых писем и бумаг, происходил раз по пяти и более в сутки, а суток этих прошло уже немало: протянулась бесплодно уж целая неделя, и пошла тянуться другая. С каждым разом появления в моем нумере бегавшего на почту Тимофея (он действительно *бегал*, и даже без шапки) становились всё неприятнее, тяжелее, потому что по всей его фигуре, по невольному движению его рук, готовых при самом входе в комнату растопыриться врозь, выражая неудачу, я уже догадывался, что он принес всё то же «нет», «ничего, говорят, не было». Я чувствовал, что в делах моих произошло то, что знатоки условий русской жизни и судеб, которые, благодаря им, испытывает всякий русский «расчет», назы-

вают словом «*заколодило*». Всё до сих пор шло как по маслу, было принято во внимание и соображено, кажется, всё что надо для успеха дела, дело пошло — и вдруг от какой-то неведомой вам причины (которая окажется только впоследствии, и окажется всегда чепухою) всё стало, замерло — и замерло самым бессмысленным образом, прекратилось вопреки всем смыслам; непременно нужно уведомление, дорог каждый час, каждая минута — и нет уведомления; нужно и должно произойти свидание — свидание, необходимое не столько для меня, сколько для того, кто должен видеться со мной,— и нет этого свидания. Дело, задуманное давным-давно, стоящее и сил и денег, расшатывается, валится, а вместе с тем в душе закипает неистовая злость. Впоследствии, долго спустя, оказывается, что и письмо было послано, да только не туда, куда надо, а совсем в другое место — ошибся писарь адресом; окажется, что и человек, нужный вам, сам спешил к вам на свидание, даже чуть не загнал лошадь, да вдруг встретил хорошего человека (которого сам же называет «скотиной») и заговорился, например, про охоту на зайцев, и заговорился-то как-то нечаянно, даже шубы и шапки не снял, даже валенков не снял: всё спешил ехать,— да так в дорожном костюме и просидел двое суток за закуской... Я чувствовал, что и в моих делах произошло непременно тоже что-нибудь вроде этого, какая-нибудь нежданная-негаданная чепуха, которая может погубить у меня не только эти две-три недели бесплодного ожидания, а может год, может два,— погубить так, ни за что ни про что, просто потому, что там-то забыли «совсем», там-то описались, а там «заговорился» кто-нибудь, или «просидел» нечаянно, иной раз просидел всё ваше будущее. Я чувствовал, что меня застигла именно эта мертвая минута, когда деньги перевираются и ходят по неделям бог знает где, когда письма идут тоже неведомо куда, когда вообще презрение к своему делу, лежащее едва ли не в корне решительно всех сортов дел, какие только ни делаются на Руси, даже для личного своего благополучия, когда это желание плюнуть

на свое дело, убежать от него куда-нибудь подальше, вдруг прорвется где-нибудь неряшливостью, небрежностью, забывчивостью и начнет цеплять, одну на другую, забывчивость на неряшливость и так до бесконечности, в бесчисленных разнообразнейших комбинациях, покуда, с одной стороны, не заставит вас бросить всё, плюнуть, а с другой — покуда всё не разъяснится самым простым манером: «И забыл *совсем*, простите христа ради... Покупал шапку, *вдруг*» — и т. д.,— говорит виновник всей вашей гибели и так искренно целует в знак извинения, что не извинить невозможно, тем более невозможно, что знаешь, что и сам точно так же, как и все, заговаривался о зайце, когда за плечами стояло дело, что и сам «совсем» забывал очень важные вещи... На всё негодовать, иной раз уметь (русская жизнь учит) на всё (решительно на всё) смотреть с самой дурной точки зрения — и в то же время всё, самое скверное, самое дурное, прощать, бесследно забывать — такова, видно, уже участь вообще русского сердца.

Не скажу, однако же, чтобы в ту минуту, о которой идет речь, я ждал чего-нибудь иного, кроме необходимых для меня вестей, или чтобы я был расположен кого-нибудь прощать или извинять за эту содеянную со мною чепуху. Напротив: помимо того, что я еще не знал, где произошла эта чепуха, эта роковая описка, тут где-нибудь подле меня, или там, откуда я ждал вестей; помимо настоятельной надобности узнать, что именно и где именно случилось,— были и другие обстоятельства, которые с каждым днем увеличивали раздражение нервов именно тем, что заставляли меня даже насильно принуждать себя думать об этой несчастной почте и письмах, которых я ждал,— думать в такие минуты, когда мне этого вовсе бы и не хотелось...

Беда моя была в том, что город, в котором я остановился, был мне город родной, знакомый вдоль и поперек: здесь я провел свое детство, отсюда ушел странствовать по белу-свету и не бывал здесь до сей минуты, лет по малой мере пятнадцать. Беда была в том, что в эти пятнадцать лет я натер-

пелся на белом свете всякой напасти, настрадался, намучился вволю, по горло, и, претерпевая эти страдания «среди добрых людей», я каждую минуту не добром, скажу по совести, поминал мою родину, мои первые, казавшиеся мне счастливыми, молодые годы. Тысячи тысяч раз я был бы рад бог знает что дать, чтобы забыть мое детство, мою раннюю юность; сбросить с себя эти вериги, наложенные на мои плечи любовью родины, внушившею мне жажду самого ограниченного счастия, ослабившею во мне силу мысли, силу сердца, ослабившею ради, разумеется, только того, чтобы, будучи силен и тем и другим, я не изорвался, не измучился, не истерзался, а прожил бы не волнуясь, покойно, счастливо, был бы здоров и весел. Ошиблись добрые люди, и, благодаря им, я измучился в тысячу раз больше, чем измучился бы, если б был мыслью силен и смел, а сердцем лют. Винить в этом некого! Жизнь научила понимать этих измученных, но добрых людей, но зато жизнь эта так меня измучила, благодаря этим же добрым людям, так всего меня изожгла, что забыть эту страшную услугу добрых людей стало потребностью просто-напросто физической. При малейшей вести с родины меня всегда точно обжигало, я чувствовал самую настоящую физическую боль, как бы меня царапали раскаленным железом по телу. Не всякому под силу перенести такую боль, и я боялся думать о прошлом, чтобы не изболеть бесплодно, старался всегда гнать эти тени прошлого, чтобы не пробудить в себе того мучительно негодного для меня хлама, который с такой любовью был нанесен в мою совесть этой исстрадавшеюся, во мне одном сосредоточившею всю силу любви, родиною. За эти ласки я расплатился основательнейшими страданиями и не хотел вспоминать их, так как у меня была уже другая родина, именно—вот эти самые страдания...

Догадала меня нелегкая на один только день остановиться в этом родном городе, чтобы только взглянуть на него, получить что нужно с почты и тотчас уехать — и вот случилось совсем другое: я сижу в этом городе вторую неделю. Кругом меня тут под окнами всё до мелочей мне знакомо,

каждая человеческая фигура, каждое деревцо в соседнем саду, звон соборного колокола, вон та красная крыша — словом, всё до последней мелочи было мне знакомо, и со всем были связаны тысячи воспоминаний, впечатлений, которые неудержимо стали воскресать в ничем не занятом воображении, а вместе с этими воспоминаниями жгучею болью отзывались впечатления, которые я вынес, благодаря «счастливой» юности, проведенной в этом городе, на этих улицах. Этот двойной ряд неожиданно возникших во мне ощущений — ощущений счастия, пережитого здесь, и ощущений глубоких несчастий, которые оно дало мне,— были поистине мучительны. Будь это какой-нибудь незнакомый, чужой, новый для меня город, я бы шатался от скуки по бульвару, зашел бы в суд, в театр, поговорил бы с философом-обывателем, сидящим одиноко на набережной и любующимся видом, и много бы узнал от него интересного; так ли, сяк ли, но мне было бы легче перенести это бесконечное ожидание странствующих по свету бумаг и писем. Здесь, в знакомом родном городе, я буквально боялся ступить шаг по улице, боялся выглянуть в окно; как причина, из-за чего я страдал так долго и так больно, меня пугало именно физическим ощущением боли решительно всё; я боялся сам сходить на почту, потому что знал, как будет мне дурно, когда я увижу этот желтого цвета дом, эту дверь, обитую мочалками, громадного почтальона Архангельского (он жив—я видел, как он прошел по улице)... Я боялся выйти на улицу, чтобы не встретить знакомого лица, которое в детстве с любовью улыбалось мне, боялся заглянуть в ту улицу, где и до сих пор стоял наш дом, в котором я родился, боялся увидеть своими глазами гимназию, место, где служил отец,— всё это было переполнено для меня такими болезненными воспоминаниями о безгранично-любовной для меня поры, так мучительно отдалось на моей душе впоследствии, что я не мог бы глядеть на всё это без того, чтобы не захворать... При виде ли моих земляков, при виде ли знакомых мне местностей, домов, садов (как разрослись-то, если бы вы знали!) я бы поминутно должен был испыты-

вать ощущение упрека, который словами можно бы было передать так: «Всё-то вы меня, господа люди, госпожи улицы и господа деревья и сады, всё-то вы меня обманывали!.. Отчего это вы ни разу не сказали мне, как вы измучились, как вы много утаили от меня вашего горя? Отчего это, государи глухие переулки, не сказали вы мне ни единого слово о том, что мне надо итти стоять за вас горой, что мне надо иметь руки железные, сердце лютое и око недреманное? Отчего вы, бедняги мои, старались всегда „укачать“ меня, заговорить меня веселыми словами, когда я плакал от бессознательной тоски, говорили мне: „не думай!“— вместо того, чтобы разбудить, сказать: „думай, брат, за нас, потому наших сил нету больше!..“ Убаюканный вами. я спокойно спал и не знал, что в темные осенние и зимние ночи, когда на дворе хлещет дождь, или воет вьюга, вы поедом ели, ни в чем неповинные, друг друга и проклинали свою адскую жизнь. Зачем ничего-то этого вы мне не сказали? Зачем я не знал, что измучили вас эти ночи, измучили дни, измучили эти дома и сады,— разве я такой бы был? Разве бы я не постоял за вас, горемычные мои? А вы всё молчали, да таили, да прятали... Посмотрите-ка, как я измучился-то, покуда узнал!..» — «Да ведь это мы любя! ведь мы всю душу-то, какова она есть... тебе»,— отвечали бы мне на мой упрек все эти знакомые места, эти разросшиеся сады, знакомые звуки колоколов...

Вот это-то и было трудно, невозможно перенести... Они клали в меня всю душу, а я приду упрекать их,— это нехорошо, обидно, а не упрекать невозможно... Если бы я так, просто, без всяких монологов, явился к ним, то один вид мой сразу бы измучил их. Они чутки, ужас как чутки на мучение,— и сразу бы, при одном взгляде, поняли, что их любовь не спасла меня.... а это еще хуже всякого упрека.

Вот почему я решился никуда не показывать глаз из моего нумера; я даже опустил сторы в окнах и усиливался представить себе, что я не дома, не на родине, а там, в какой-то неведомой стране, где неаккуратно доходят письма, где перевирают депеши. Но, несмотря на спущенные сторы,

тучи, вереницы воспоминаний так и рвутся, так и лезут в эту комнату...

Морозное утро; я еду в гимназию, еду веселый, довольный; я знаю, что мне не поставят единицы, не оставят без обеда, не тронут пальцем... Там уж позаботились, чтобы ничего этого не было... Даже так позаботились, что учителя явно несправедливо становят мне отличные отметки... Нет!

— Тимофей!— отгоняю я эти воспоминания и кричу в коридор.

Тимофей несется на всех парах и на ходу возвещает:

— Не приходила!..

— Как не приходила?..

— Да, стало быть, что не было... Сейчас бегал... говорят, нету!

— Как нету?

Я говорю это, чтобы отделаться от воспоминания о том, что было в классе, в который вошел я... Воспоминания так неприятны, что я уж сам не знаю, какой еще задать Тимофею вопрос, чтобы только слушать какой-нибудь другой голос, а не тот, какой звучит во мне...

— Сабашникову,— бормочет Тимофей,— точно было письмо. Еще было этому... как его?.. Щекоткину... толстое... Ну, а Болтушкину — так уж ах сколько оказалось пакетов — чистая страсть!

— Болтушкину?

— И Болтушкину, и Животову... Что Животову, что Болтушкину — так это одно погляденья достойно... И что так много пишут?...

Тимофей философствует довольно долго, и я внимательнейшим образом слушаю его. В самом деле: отчего так много получает писем этот Болтушкин? И об чем ему пишут?— стараюсь сообразить я и, чтобы удержать разговорившегося Тимофея, говорю:

— И Животов тоже много получает?

— Животов? Животов писем получает целую прорву!.. Вот как я скажу...

—А Болтушкин?..

— Ну, и Болтушкин тоже хорошо... довольно деликатно ведет дело...

— Болтушкин-то?

— И Болтушкин, и еще вот молодой тут есть один, Кузнецов, купец... вроде как сумасшедший; ну, что добер — так уже нет его добрей, надо сказать прямо. Болтушкин что! Или тот, Семиглазов!— Положим, что само-собой,— ну, что Кузнецов, или, опять взять, еще дьякон у нас есть Гвоздев,— ну и баснще же — владыко живота моего!

Передаю речи Тимофея так, как они доходили до моего понимания; многого я не слыхал, отгоняя свои разговоры; по всей вероятности, в его речах была связь, но я этой связи уловить не мог. Я слышал что-то про дьякона, про пакеты. Кузнецов, Болтушкин, «а то, вот еще скворец у меня был»— только я был очень благодарен Тимофею за его разговорчивость. Мало-по-малу, благодаря ему, я начинаю ровно ничего не понимать и задумываюсь над каким-нибудь совершенно посторонним вопросом, возникшим из разговоров Тимофея, и долго после его ухода думаю или о дьяконе, о басе, или скворце — и задаю себе вопрос: можно ли выучить скворца петь «Коль славен»? Тимофей говорит, что можно... Иной раз, благодаря Тимофею, подвернется такая тема, что понемногу унесешься за тридевять земель... а там устанешь и кой-как заснешь... Но и во сне постоянно меня что-то грызло, что-то ело; не письма, не бумаги, а всё те же воспоминания, тот же несправедливый упрек, закаменевший у меня в сердце, тяготил и давил меня... Просыпался я чуть свет, больной, точно избитый, и сразу вспоминал, где я, что около меня, и почти с испугом опять вопил к бедному Тимофею.

— Да ты как спрашивал-то?— вопиял я в страстном нетерпении уехать из этого мучительного места.

— Да вам спрашивал.

— Как же именно?

— Да собственно на ваше имя... Нет ли мол говорю... Нет, говорят, нет...

— Да как же, как мол фамилия?

— Там в записке сказано.

— Да цела ли записка-то?

— Куда ей деться?— Известно, цела.

— Нету?

— Нет, говорят, не было... Животову есть, и Звереву есть, а вам нет...

И так вновь начинается мучительный день.

А на дворе июль, раскаленные, нестерпимо жаркие дни... Пыль несется на окна с пустой улицы... В нумере мухи, запах кухни... Повар неистово стучит ножом где-то очень близко и колотит им, повидимому, по чем ни попало... «По грушу, по грушу!»— долго, по крайней мере с полчаса, визжит (буквально) торговка, и этот визг опять напоминает кой-что... Стараюсь заглушить это кой-что размышлением о том, что будут делать с моим письмом, если его занесет куда-нибудь в Тифлис вместо Москвы... Удар в колокол, «к вечерне»... Представляю себе, как чешет косы дьякон, бас, как он откашливается после сна и пьет квас... и опять кой-что вспоминаю... Слава богу — кто-то гаркнул, не то на дворе, не то на улице: «Что ж салме-то, черти этакие? Сидит барин — чуть живой...» — «Чорт и с барином-то со своим»,— отвечает тоже неведомо откуда другой голос... Обдумываю — почему не несут салме?.. Вдруг — под окнами раздается какое-то неистовое царапанье по камням... Это плетется пьяный мужик, плетется почти без памяти. Я не глядел в окно, сторы у меня были опущены, но я твердо знал, что это именно плетется пьяный мужик, знал, как именно он плетется и что чувствует, и как у него едва-едва что-то брезжит в голове; знал, что захмелел он так неистово не больше, как от одного стаканчика, выпитого на тощий желудок без закуски, на которую мужик пожалел денег; знал, что первый тротуарный столб, подвернувшийся ему под ногу, свалит его в канаву, откуда уж ему не будет никакой возможности выбраться... Не глядя в окно, я видел, как на этого мужика, барахтающегося и всего вымазанного

грязью, бесспльного, очевидно, ничего не понимающего, будут смотреть и посмеиваться лавочники, приговаривать: «Так, так — ишь, разукрасился как, вот так ловко! Ха-ха-ха!— совсем с головой в лужу юркнул: утка, одно слово!..» Видел, как на этого мужика смотрел из окна чиновник, только что вставший от послеобеденного сна, и знал, что этому зрителю будет скучно, когда, наконец, уведут этого мужика в часть; а уведут его непременно и бесчеловечно... Медленно подойдет городовой и, как специалист своего дела, сначала разгонит публику, наблюдающую беспомощное валянье бесспльного человека в грязи, а потом приступит и к самому этому человеку... Он будет приставать к нему с расспросами, зная, что он отвечать ничего не может, потому что ничего не понимает... Будет его гнать, кричать: «ступай, ступай, нашел место!»— зная, что он не может итти, не может сделать шагу; будет дергать его за руку и тем еще более ставить в беспомощное положение... «Гас-сс-спадин»,— одолеет кое-как произнести безрукий, безногий, ничего не понимающий человек, как бы приглашая войти в его положение, но всякий служащий обществу русский человек считает за службу именно только необходимость не входить ни в чье положение... Его приучили думать, что слугою он будет только тогда, когда выработает в себе способность поступать против собственных соображений и против движений собственного сердца. Над мужиком поэтому не только не сжалятся, а напротив: начнут его рвать и трепать; поставив кое-как на ноги, его вдруг поволокут что есть духу, так что непременно придется упасть снова... Вот он ударился головой об угол стены, ударился крепко, больно, так больно, что даже закряхтел... Хотел поднести руку к затылку, но его рванули за руку и опять поволокли... Всю дорогу его осыпают ругательствами, всю дорогу он получает пинки... «Чего стал? Н-оо! Пд-ди! Нажрался, ненасытная твоя утроба!» Знал я, что так его протащут улицы две — три, что он дорогою весь изобьется об стены и об камни, что у него непременно раздерется местах в десяти рубаха, что он

потеряет шапку, рублевую бумажку, паспорт, за который потом расплатится еще горше... Знал, что его так толкнут в темную кутузку, что он, ударившись виском о скамейку, совсем опалеет и повалится без всякого «знаку», то есть без памяти... Очнувшись ночью, весь больной и избитый, ничего не понимая, не зная, где он, что с ним, он догадается, что у него пропали деньги, будет охать и стонать и от боли и от пропажи, будет стараться выйти из этой темноты, будет стучать в дверь, в стену, будет просить «испить», но ему никто не ответит ни единого слова... «Ох, смерть моя... Ах, ах, ох... а-а-а-ах ты, царица небесная!.. Жжет!..» — без ответа будет раздаваться в темноте кутузки всю-то, всю темную, длинную ночь...

— Тимофей, Тимофей!— кричу я опять в коридор.— Да что же это?.. Когда же, наконец?

Но на этот раз даже Тимофея не оказывается в коридоре, и мне приходится оставаться одному.

II.

Так прошла целая неделя, и потянулась другая... Болтушкин, Животов и Кузнецов аккуратно получали каждый день «удивленье даже» (слова Тимофея) сколько писем, а я всё ничего не получал... Я стал понемногу затихать, точно опускался на дно глубокой реки, точно тонул в неизвестности и темноте сегодняшнего и завтрашнего дня. Этому помогло еще следующее обстоятельство: догадало меня попросить Тимофея сходить в книжную лавку, принести, какую-нибудь книгу; он принес роман «Похождения Рокамболя»... С большим, признаться, презрением посмотрел я на эту книгу и почти с отвращением прочел первую страницу: всё до того глупо и неестественно с самой первой строки, что, казалось бы, надо просто бросить сейчас же книгу под стол — не тут-то было! Мое неестественное состояние оторванности от окружающей действительности, мое желание забыть место, где я был теперь, и всё, что с этим местом связано, заставило меня именно заинтересо-

заться неестественностью романа и среди полного моего душевного одиночества отдать господину Рокамболю все мои симпатии... Я понял в эти минуты, почему нелепый, ничего живого не заключающий в себе французский роман маленьких газеток с такою жадностью читается бедным рабочим классом; более ужасного одиночества, в которое поставлен европейский рабочий, трудно себе представить; революция, уверив его, что он — не скот, а человек, всё-таки до сей минуты не дала ему уюта, а оставила одного среди пустой площади и сказала: «ну, брат, теперь живи, как знаешь». Кругом него всё чужие,— и вот почему Рокамболь, сто раз умирающий, сто раз воскресающий, может заставлять грустить и радоваться одинокое сердце... Пожалуйста, господа романисты, берите краски для романов, которые пишете вы рабочему одинокому человеку, еще гуще, еще грубее тех, какие вы до сих пор брали... Одиночество человека становится всё ужаснее, судьба загоняет его всё в более и более темный угол, откуда не видно света, не слышно звуков жизни... Бейте же в барабаны, колотите что есть мочи в медные тарелки, старайтесь представить любовь необычайно жгучею, чтобы она в самом деле прожгла нервы, также в самом деле сожженные настоящим, заправским огнем... Не церемоньтесь поэтому, господа дешевые романисты, рисовать всё, что есть хорошего в жизни, самыми ляповатыми красками, доводить черты красивого, великого до громадных размеров, чтобы нам было видно их из такой страшной дали... Пусть невинность в ваших романах не продается ни за какие деньги, пусть бедная умирающая с голоду прачка будет в ваших произведениях настолько невероятна, что не только не согласится продать себя, а напротив, вопреки всяким смыслам, возьмет и сожжет на свечке, тут же, перед глазами ее покупателя и перед изумленными глазами читателей, банковый билет (смело пишите цифру и не церемоньтесь с сотнями тысяч и даже миллионами), который ей дают в руки и который в одну минуту может возвеличить ее. Пусть она непременно этот билет

сожжет, а сама всё-таки умрет с голоду... Так же невероятно и невозможно представляйте вы, господа романисты, и все другие человеческие отношения... Красота женщин должна изображаться особенно нелепо: грудь непременно должна быть роскошна до неприличия; сравнивайте ее с двумя огнедышащими горами, с геркулесовыми столпами, с египетскими пирамидами... Только такими невероятными преувеличениями вы можете заброшенному в безысходную тьму одиночества человеку дать приблизительное понятие о том, что другим доступно в настоящем безыскусственном виде действительной красоты... Без этих преувеличений ему нет возможности ощутить и пережить хоть что-либо подобное, нет возможности узнать ни красоты души ни красоты форм... Грудь работящих женщин сохнет рано — и уж какие же формы после пяти, десяти лет поденной работы! И где в этой тьме кромешной найдутся такие прачки, которые бы подорожили своею невинностью за сумму и гораздо меньшую, чем сотни тысяч и миллионы?.. Если бы не являлся нелепый романист и не врал нам, темным людям, про этих прачек, про этих красавиц, не нагородил бы нам с три короба про разные какие-то добродетели необыкновенные, то право жизнь, то есть одна только голая действительность, сумела бы совсем отучить темных одиноких людей от самомалейшей тени представлений добродетели, красоты, невинности... Следуя этому плану, господа нелепые романисты могут быть уверены, что их Рокамболь может воскресать сто тысяч раз, и всякий раз его примут с распростертыми объятиями... Он в этой тьме одиночества — друг и приятель, вокруг которого жизнь кипит ключом, как вода вокруг пароходного колеса; возможно ли с ним расстаться когда-нибудь?

В этой невозможности я убедился на собственном опыте. Среди полного моего одиночества Рокамболь окружил меня такою чепухой и в такое короткое время, что я, сам не замечая этого, рад был принять эту чепуху за действительность (так как настоящую-то действительность я старался забыть)— и зачитался... Когда под конец третьего тома

Рокамболю пришлось плохо (ему обожгли рожу порохом), я очень его жалел, и жалел потому, что боялся: ну-ко, он не переживет, и я останусь один?.. К великой моей радости, Тимофей, возвратясь из книжной лавки, подал мне продолжение, называвшееся «Воскресший Рокамболь», с пометкою: «том 1-й».— «Э,— подумал я, обрадовавшись:— том первый! стало быть, их пойдет еще много»— и с величайшею радостию принялся за чтение... Оказалось, что рожу Рокамболю вылечили как нельзя лучше (я почувствовал уважение к науке), и он снова пошел в ход, а я с легким сердцем поплелся за ним... Но под конец третьего тома положение мое сделалось весьма затруднительным... На сцене явился русский казак, ростом в полторы сажени, с кулаками по полпуду, а то по целому пуду, и я видел, что теперь Рокамболю предстоит явная смерть... Действительно, казак бросил Рокамболя в воду... Я всё ждал, что он как-нибудь выплывет, но автор заставил испытать меня чувство глубокой жалости, на целом десятке страниц поддерживая эту надежду, и под конец объявил, что — не выплыл. Под этим подписано: «конец». Я почувствовал, что и мне теперь — «конец». Тимофей понес книги в лавку, а я вновь должен был отдаться уж настоящей действительности, что, после столь отдаленных странствований, казалось поистине невыносимым... Что делать?— думал я...

Поистине неописуемое счастие испытал я, когда Тимофей возвратился из лавки с запиской, в которой было сказано: «*Ево ище много будет, воскрецева... Как отдаст Животов, биззамедления предоставлю. Покудова посылаю журнал; Будет вторительно воскресать в пяти частях*». Точно манна небесная была для меня эта записка! Уж как я был благодарен этому «книжному лавочнику»! Я знал его, этого придурковатого мещанина, приютившегося на базаре в маленькой лавчонке с разною мелочью (табак, спички), покупавшего у гимназистов книги и снабжавшего чтением бедный люд. Тимофей сказал мне, что этот лавочник — всё тот же самый; «пьет шибко!— прибавил он,— а человек

ничего...» Надо быть золотым человеком, чтобы так понять тоску читателя и предупредить его, чтобы он не скучал, что еще будет много «ево», «воскрещева»... Сколько добра сделал на своем веку этот человек, подумал я, и сколько перенес он всякого горя. Один лавочник, торгующий папиросами, у которого нанимает он уголок для своих книг,— один этот лавочник вот уже лет двадцать ругает его за то, что у него нет никакой торговли, так как действительно ее нет: книгу возьмут и не отдадут; это — уж такой провинциальный закон... А он всё терпит, всё похлопывает пальцем по обертке «Тайн мадридского двора»— и читает о них лекцию и табачному лавочнику, и писцу с почты, и мещанину, который хочет «почитаться» чего-нибудь...

Воспоминания о книжной лавке на толкучке, о вечно красном носе ее хозяина, о его страсти к литературе и его литературных мнениях снова повернули мою мысль на старое, на прошлое, и я, чтобы забыться, волей-неволей взялся за книгу, которую принес мне Тимофей вместе с запиской... Это был один из старых нумеров лучшего русского журнала... Всё было знакомо, прочитано; один вид и формат страниц, одни названия статей сразу напомнили необычайно много, что, после Рокамболя, после полного забвения действительности, было вовсе некстати... Что-нибудь, однако же, надо было делать с этой книгой, она была у меня в руках... После Рокамболя, который меня совершенно вывихнул, перевернул вверх ногами «вся внутренняя моя», мне и тут, в этой очень дорогой книге, хотелось отыскать что-нибудь такое, что бы хоть отчасти поддерживало эту вывихнутость, что-нибудь такое, что бы не имело с действительностью никакого соответствия... И, к великому моему удовольствию, я действительно нашел в ней, именно теперь, ни с чем несоответственную страничку... «Парижские Моды»,— прочитал я— и обрадовался. «Вот,— подумал я,— штука, которую я никогда не читал... «Моды»! В этаком журнале!.. Это что-то, должно быть, очень интересное... «На последнем придворном балу в Тюйльери белый фай окончательно затмил собою атлас...

Герцогиня де-Б***, вопреки существовавшим предрассудкам, вновь ввела в употребление живые цветы и тем самым навсегда упрочила за собою авторитет изящного вкуса, наряду с своей высокой покровительницей, императрицей Евгенией, которая, несмотря на кратковременность своего царствования, уже успела далеко двинуть задержанное революцией сложное дело женского туалета... Теперь, когда крахмаленные юбки с таким позором уступают место... и когда «жокей-клуб» поражен в самое сердце ес-букетом, не место было бы задумываться над тем, что должны делать наши соотечественницы... Короче, неизбежность, помимо утреннего неглижэ, практиковать также и неглижэ вечернее, не подлежит уже никакому сомнению. Потребность облагородить вкусы масс сознана учеными всех веков и народов, и графиня де-В*** первая показала пример необходимой в этом отношении развязности, граничащей почти с античною наготою... Нельзя не отдать справедливости изящному вкусу французов, неистощимости их фантазии, и вообще нельзя не признать за этими, ныне нашими врагами...»

Статейка была написана довольно мило и так серьезно держала себя среди самых бессмысленных словоизвержений, что я мог чувствовать одно только тихое удовольствие. Неожиданно наткнувшись на фразу «ныне нашими врагами», я как бы очнулся и невольно перевернул книгу с последней страницы, где помещаются моды, на первую, чтобы взглянуть, когда именно происходили подвиги этого необычайного самоотвержения герцогини Б*** и графини В***. Перевернул книгу — и обомлел: батюшки! да ведь это — 1854-й год, самый разгар войны!.. При начале книги было приложено объявление, в котором редакция говорит, что «успех превзошел все ее ожидания, и из двух тысяч печатаемых экземпляров в настоящее время не осталось уж ни одного...» Две тысячи читателей на всю Россию, на шестьдесят миллионов народу, две тысячи читателей, для одной части которых нужно писать о модах (именно *нужно* писать, потому что так, ни с того ни с сего, издатель, как коммер-

ческий человек, не станет делать этого), писать о модах в такую ужасную минуту, как война, и какая война!.. Точно варом обдало меня от одного взгляда на эту первую страничку, на это объявление; от Рокамболя не осталось следа, потому что в одно мгновение всё, что я так усердно старался не пускать в свою голову, всё нахлынуло сразу...В одно мгновение предо мною пронеслась картина тогдашнего положения русской земли вообще, и моей родины в особенности, обнаруженная и то частью только, и я с ужасом вспомнил, что в то именно время, когда герцогиня Б*** делала такие смелые нововведения, толпа, то есть миллионы русских людей родились, росли и развивались в зараженной атмосфере бессознательности, точно в самом свежем воздухе... Страшный опыт один только научил эту толпу задуматься над своей совестью; помимо его, этого ужасного опыта, для всех этих бесчисленных миллионов народа, составляющих русскую землю, не было ниоткуда словечка правды о ее положении... Вот книга, духовная мать всего, что есть в этой толпе мало-мальски сознательно хорошего,— эта книга, как копеечная свечка, одна только светила на всю землю. Да и той приходилось ухаживать за почтенной публикой, раздавать ей модные картинки, чуть не пряники, чтобы просунуть в глубину этих миллионов страничку, много лист, замаскированной, наглухо запутанной правды... Могла ли книга прямо и грозно назвать вещи по именам, могла ли вместо парижских мод дать рисунки свороченных скул, говорила ли, что все вы, все эти миллионы, давно уж прогневали бога? Могла ли она сделать это? Должно быть, не могла, потому что не говорила или говорила робко, приниженно... В то время как общественная душа, душа толпы, была уж окончательно искалечена, две тысячи читателей умилялись над несчастиями помещичьего будуара... Выводя на сцену самого лучшего человека тогдашнего времени с речью о благе человечества на устах, можно было как нельзя лучше обойтись без присутствия на сцене мужика, которому, однако ж, очень бы нужно было в то время доброе слово...

Даже в художественном отношении отсутствие в романе матерьяла (пропал мужик) для приложения известных идей нисколько не вредило произведению. Автор мог держать своего героя исключительно в одной только помещичьей гостиной, мог показать его здесь во всей его широте, и читатель ни разу бы не спросил себя: почему же он не оставит этой гостиной и не пойдет по грязи в эту размоченную деревеньку, которая тут, под самым боком у этой гостиной? Так глубоко была толпа проникнута бессердечием, отвычкою от совести и любви! Откуда же сразу взять всё это?..

Раз задумавшись о том, о чем до сих пор я старался не думать, я уж не мог остановиться. Тимофей с торжеством принес мне «Воскресшего Рокамболя», но я его не читал, а потребовал журналов, таких же старых, если только есть; я просил прислать все, какие есть. Лавочник прислал мне целую кучу; всё это были разрозненные нумера разных изданий, начиная с шестидесятых годов... Я был рад повторить всё пережитое и передуманное; запер нумер, улегся и принялся за чтение. Боже милосердный, как мучительно было мне смотреть на автора новых времен, на романиста новых людей!.. Мне было поистине страшно за него, особливо в виду только что вновь пережитого мною прошлого, страшно за «необходимость» во что бы то ни стало создавать новых, совсем-совсем новых людей. В этих людях у всей толпы действительно была самая настоятельная надобность; она, толпа, как и автор, представитель этой толпы, узнала самым обстоятельным образом, что с прошлым разорвана всякая связь, разорвана вдруг, в один прекрасный день; давайте новой жизни, новых людей, давайте самой чистой «нравственности, самых возвышенных добродетелей, самой сущей правды»... Из чего он вылепит всё это?..— думал я и ужасался.— Во что оденет он свои благородные желания и мысли, откуда возьмет чистую, незараженную кровь, здоровую, сильную, чуткую плоть? Но автор, несмотря на безвыходность своего положения, покоряясь общественному требованию и требованию своей совести, принялся лепить

новых людей, а я, с замиранием сердца, смотрел на его работу... Откуда взять ему героя?.. Из народа? Беда его, что народа он совсем не знает, да и какие там герои... Из господ?— Ну, уж... Из купцов?— Аршинники и архиплуты... Куда ни кинь — клин. И вот надо выводить его из каких-нибудь необычайных условий... Надобно изолировать детство его от всех условий, при которых шло детство толпы (в одной повести герой рос почти между жеребятами), надобно отучить от всех привычек прежней толпы, от всех ее вкусов, обычаев, свойств, и волей-неволей автор заставляет своего любимца питаться чуть не бекасиною дробью, вместо разносолов; делает сильным невероятно и устраивает ему обстановку необыкновенную. Купается он не как все — днем, а в полночь; не как все — идет в воду с берега, а бросается со скалы. Эти невероятные краски, преувеличения, выдумки как нельзя лучше говорили мне, в каком ужасном положении осталась от прошлого душа толпы. Каждую черту надо выдумывать, изобретать, потому что нет ее под рукою, или не знаешь, где взять... Я с глубоким почтением к непомерным усилиям удовлетворить настоятельную жажду общественной совести в великом, сильном и честном — перечитывал все эти сказания о новых людях, но не мог не чувствовать, что между этими крайностями, то есть между недавним беспримерным нравственным падением и беспримерною жаждою нового и возвышенного есть третья черта. черта подлинного состояния общественной души, забытая авторами и старыми и новыми: эта черта — страдание. Новый автор, рисуя для пробужденной совести образцы, в которые должно бы облечься это пробуждение, но не говоря ни слова о страданиях, о борьбе с самим собою, страданиях и борьбе, которые неизбежно должны были обрушиться на всякого обеспленного нравственно человека, поставленного в необходимость быть нравственно сильным,— автор делал большой промах, предоставляя измученному представителю толпы биться, как рыба об лед, и давал полную возможность врагам своих идеалов во всё горло хохотать над ошибками,

бессилием, недомыслием человека, торопившегося перебраться с одного берега на другой, торопившегося от неправды, бессовестности уйти к совести и правде во всем...

Начинало рассветать, когда я кончил какой-то новый роман (ни один почти из таких романов не кончен,— и, действительно, автору вперу было только в общих чертах обрисовывать героя, а жить этому герою еще не было никакой возможности — стало быть, не было возможности и писать романа)— и задумался об этом мучительно-нравственном состоянии толпы, последовавшем вслед за пробуждением ее мертво спавшей совести, и мгновенно передо мною пронеслась целая вереница смертей, смертей от испуга при виде подлинной сущности самого себя... Один рванулся к свету и с ужасом увидал, что он без ног, что как бы он ни желал итти — он не может сделать шагу... Другой вдруг, нежданно-негаданно, увидал и узнал, что вместо сердца у него — деревяжка или пустое место, а жизнь как нарочно потребовала сердца, да еще какого большого!.. Правда и совесть нежданно-негаданно, среди заматерелой бессовестности, среди прочно укрепившейся, довольной, покойной неправды,— точно прикосновение свежего воздуха к трупам, произвели разложение этих трупов, которые до сего времени почти невредимо сохранялись в лишенном воздуха месте... Толпы этих невинно убиенных совестью людей, буквально толпы, неслись в моем воображении, не прекращая своего мрачного шествия ни на минуту и не обещая конца... Да,— подумал я,— еще долго, бесконечно долго, еще в большом количестве поколений будут отдаваться следы вековой неправды! Долго еще состояние души его будет — один подавленный, скрытый крик, прежде нежели переболит он, и, очистившись в глубоком страдании, покорится тернистому пути, который ему предлежит, всем сердцем, всею душою поймет и почувствует, что этот-то путь и есть настоящий, и есть настоящая правда и жизнь...

А тени погибших друзей, товарищей, знакомых так и гнались одна за другою... Что были за лица! То измученные,

то искаженные злобой... Благодаря расстроенным нервам, бессонной ночи, мучительным воспоминаниям, навеваемым родиной, я в полусумраке начинавшегося утра стал довольно явственно различать то в том, то в другом углу комнаты мельканье и как бы легкий шорох и мельканье каких-то фигур, и даже не фигур, а просто стало мне казаться, что в комнате есть что-то или кто-то, кроме меня... Раз даже почудилось мне, что в головах моей кровати о железо (кровать была железная) что-то чуть-чуть стукнуло, как стучит капель... Раз и два (я думал об одном застрелившемся товарище)... Уж не кровь ли это каплет?— мелькнуло у меня, и я проворно вскочил с постели — так мне стало жутко... Разумеется, ничего не было, но спать я уж не мог. Что бы ни было, я решился уехать, как только настанет день. Ехать было необходимо,-— шел десятый день моего бездействия... Я решил дождаться, пока встанет Тимофей, уложится и, не дожидаясь больше ничего, ехать на железную дорогу...

На улице понемногу начиналось движение; я оделся, отворил окно и стал смотреть на мертво спавший город. Нехотя, вяло, медленно поднимался житель: мужик, разумеется, проснулся давно и уже шел на рынок за медленно двигавшимся возом сена, стучал где-то далеко топором, подметал улицу и крестился широким крестом, заслышав удар колокола... Долго и с удовольствием смотрел я на эти молящиеся фигуры рабочего народа, появлявшиеся на перекрестках, на тротуарах... Но вот прошел чиновник с красным околышем; вслед за ним продребезжал на извозчике другой, съежившись и как погибающий прижавшись к портфелю, который был у него подмышкой. Прошли кучками гимназисты, гимназистки. И точно гром небесный грянул на улице — промчался к губернатору полицеймейстер... Иноходец в корню, пристяжная кольцом, и даже не кольцом, а как-то совсем невероятно, точно она хотела откусить у себя хвост. «Пад-ди!»— бас, как из бочки, гудел из груди кучера. Никого почти не было на улице, а при виде

этой группы невольно мелькнула мысль — «раздавит!» В глубине этой группы (то есть вообще всей совокупности лошадей, полициймейстера, кучера и дрожек), казалось, было скрыто (где именно — определить невозможно) нечто разрывное, какой-то динамит, который вот-вот грянет... И сразу при одном взгляде на нее, на эту группу, исчезли впечатления просто утра, превратившегося мгновенно в утро губернского города,— утра, за которым потянется скучный, утомительный губернский день... Захотелось ехать как можно скорей.

Тимофей встал и стучал уже в коридоре посудой, шаркал сапожной щеткой. Я попросил его принести чаю и стал понемногу собираться; собрав с полу перечитанные ночью журналы, я связал их веревочкой, но случайно при этом заметил, что забыл их обернуть бумагой, в которую они были завернуты. Бумага эта — какой-то газетный лист — валялась скомканная на полу. «N-ский справочный листок» разглядел я и поднял его. Любопытно было поглядеть на газетку родного города, почитать, что такое пишется в ней. Нумер газеты был старый, месяца четыре тому назад, и очень изорван; тем не менее я всё-таки мог узнать, что на такое-то число назначено к продаже за неплатеж бесчисленное количество имений, что на Крещение была сказана архиереем Леонтием проповедь о послушании и повиновении, что умер в уездном городе *** отставной генерал-майор Леонид Леонидович Непоколебимов, в последние дни жизни своей «всецело отдавшийся садоводству, преимущественно разведению рододендронов, что поставило его энергию лицом к лицу с неблагодарною нашею природою»; прочитал о несостоявшемся земском экстренном собрании за неприбытием гласных, о пользе разведения шелковичного червя, о бумаге из конских волос, о масле из дерева, о говядине из бумаги, о мещанине Петрове, по неизвестной причине утонувшем, о другом мещанине Иванове, по неизвестной причине избившем третьего мещанина Кузьмина, о пожаре по неизвестной причине, истребившем 125 домов, на сумму

165 677 руб. с копейками — и т. д. Множество случаев из ежедневной жизни, причина которых никому не была известна, пронеслось передо мною, благодаря листку, и я уже хотел выпустить его из рук, когда в самом верху первой страницы с оторванным углом заметил знакомую фамилию: «... жденная (должно быть, урожденная) Вера Андреевна Калашникова, 21-го года, в отсутствии мужа приняла раствор... отчаяние мужа не знает границ... Погребение на городском кладбище... причина остается неизвестною...» Батюшки! да ведь я знал Калашниковых, я знал, что в их семье (из разоренных) была девочка, Верочка... Уж не она ли?...

В одну минуту я совершенно забыл, что надо ехать, что мне больно оставаться на родине, веющей такими больными воспоминаниями, и почувствовал, напротив, непреодолимую жажду бежать именно туда, в самое гнездо этих болезненных воспоминаний, и узнать там решительно всё, что *они*, несчастные, пережили... Верочка непременно должна быть та самая; ей как раз должно было быть двадцать или двадцать один год... Фамилия ее Калашникова — кто же другая? непременно это она...

— Вот еще прислал!— сказал Тимофей, являясь с новой пачкой книг в то время, как я, ничего не слыша и не понимая, торопливо одевался.— Наслу у Животова отнял — не отдавал...

— Ты не знаешь, не слыхал ли,— перебил я его:— что это за история была у вас — барышня какая-то отравилась?..

— Это зимой никак?

— Да, зимой.

— Ну, как не слыхать? Это тут вот, у столяра, на нашей улице. Столярова жена...

При слове «столярова жена» я было подумал: «Нет, это — не она: она была барышня...» Но Тимофей тотчас же разрушил эту надежду.

— Как не знать, весь город говорил... Вышла за столяра, за молодого... сама из благородных...

— Отчего же это? Как это случилось?

— Кто ж ее знает... Нешто это возможно знать?.. Болтали много, не упомнишь всего... Муж-то у ней попался — так неведомо что... Столарь, не столарь — так невесть что... Всё мастерство-то отцовское порешил вконец... И неизвестно, где скрывается... Вот тут, в нашей улице, заведение было.

— Тут она и умерла?

— В этом самом месте. Да вон дом-то ихний.— Тимофей показал мне в окно, где именно находился этот дом.— Трактир теперь там будет.

Я посмотрел на дом. Вспомнил маленькую Верочку, какою я знал ее. Представил себе ее смерть... и грустно мне стало глядеть на дом, который отделывали, щекатурили и красили под трактир, как бы закрашивая пролитую здесь кровь... Через неделю, много через две, дом будет отделан заново. В комнатах будут бегать половые с чайниками и чашками, ходить чиновники и купцы; будут стучать биллиардные шары, загудит машина... От Верочки, от всей ее истории, не останется ничего, никакого признака ее несчастия...

— Конечно, это божие дело!— произнес Тимофей грустно.— Уж, стало быть, не от хорошего она это.

«Да,— подумал я:— дело это действительно божие»...

А маляр между тем продолжал бойко и проворно закрашивать старую почерневшую стену старого дома, в котором умерла Верочка. Полосы яркой желтой охры, ложась одна подле другой, всё меньше и меньше оставляли места старой копоти и, казалось, вот-вот сейчас навеки погребут под собою вместе с этой копотью и божие дело Верочкиной жизни... Надо было (так мне казалось), непременно надобно было хоть что-нибудь захватить, хоть что-нибудь узнать об этой жизни, и я, не думая более ни о чем, торопливо, почти бегом, направился в самое сердце старого пепелища.

III.

Признаюсь, невольная дрожь чувствовалась в моих коленях, когда я с большой главной улицы города свернул в одну из боковых — ту самую, где именно и было то гнездо.

на старое пепелище которого я теперь шел узнавать о Верочке. Когда-то в этой улице, во множестве собственных домов, жирно, неряшливо, нерасчетливо жило множество семейств, отростков одного и того же древа, корень которого, значительная в то время в губернской иерархии особа с давних пор поселилась в этой самой улице. Особа эта имела много дочерей, много сыновей; дочери выходили замуж за тех, кого особа, корень этого древа беспечальных людей, выбирала им, считала достойными; сыновья особы брали жен также по указанию родителей, и всё это селилось в собственных домах, служило под сенью особы, даже под ее большею частью непосредственным начальством. Пустынная когда-то часть города, в которой впервые поселился родоначальник всей группы (довольно значительной) упомянутых выше семей, мало-по-малу, с выходом дочерей замуж и с женитьбою сыновей, постепенно заселялась этими семьями, обстроилась новыми домами и как бы образовала какое-то особое поселение под двойною верховною властью главы этой семьи, властию его, как родоначальника, отца, и как начальника, под ведомством которого большинство зятьев и родных детей состояло на службе. Впоследствии, когда подросли внуки и внучки, семьи эти разрослись еще более, расселились по разным местам (но главным образом всё-таки в этой же улице) и осложнились родственными связями с самыми разнообразными слоями общества. К этому осложнению сословного состава семьи много способствовали также и кое-какие не предусмотренные верховною властию главы семьи обстоятельства. Так, одна из дочерей, потеряв мужа, выбранного ей отцом, самовольно вышла замуж во второй раз за купца, довольно богатого, и таким образом ввела в родню элемент, близкий к простому народу... В родне этого купца было духовенство: священники, дьяконы, дьячки, которые, вследствие этого брака, также вошли в состав этой большой колонии. С другой стороны, семья, имевшая в числе родни купцов и дьяков, могла похвастаться родственными связями и с значительными помещиками

(большею частию вышедшими из чиновников), и с чиновниками, значительно выслужившимися... Но, несмотря на всё разнообразие сословных элементов, входящих в семью, между всеми ними было одно сходство: все они уже разорвали связь с народом, из которого вышли. Велико, громадно было это семейное древо, но уже в самом начале его была червоточина, которая впоследствии должна была обнаружиться в невероятно быстром и ужасающем гниении и бесплодии. Червоточина состояла именно в оторванности от правды народной, оторванности от совокупности условий, в которых можно и должно жить русскому народу. Глава семьи также происходил из простого звания и рос в крайней бедности; натура эта была одарена сильным характером, сильною волею, которые бы много сделали, если бы им удалось быть поборниками «подлинных» народных нужд. Семейные предания говорят, что многие из этой семьи, из которой произошел глава изображаемого семейного древа, покоряясь именно этим подлинным условиям народной жизни, были простыми разбойниками среди больших дорог; многие сидели в тюрьмах и в кандалах хаживали в Сибирь, и даже участвовали в шайках Пугачева. На долю нашего героя (главы упомянутого громадного семейства) выпало другое: с молодых лет он попал в монастырь, стал любимцем настоятеля, который, заметив его способности, не оставил их втуне. Помощию своих связей архимандрит-настоятель дал ход мальчику, по своей живой натуре не подходившему к монашеской жизни (которая, однако, значительно оторвала его от понимания неприветливой действительности родной ему среды), и с шестнадцати лет определил его на какую-то незначительную гражданскую должность. Здесь «интерес казны», интерес такого отвлеченного представления, как государство, могущество, которым располагал этот интерес, начали понемногу захватывать большие природные силы молодого мальца. Он понемногу стал «влюбляться» в интересы этой могучей власти, интересы широкие, ничуть не напоминающие той действительной духоты жизни,

той нищенской правды, в условиях которой ему пришлось родиться... И вот (так как его искренняя любовь к «казенному интересу» была замечена, так как она была действительная любовь) — из этого мальчика мало-по-малу стал вырабатываться истинный виртуоз, истинный мученик того блага, которое шло сверху...

Во имя этого блага ему ничего не стоило погубить родного отца; во имя этого блага он сам был готов итти в огонь и в воду. В руках власти это было несомненное копье, перед которым сторонилось всё личное, всё, что посмело бы хотя пикнуть против этого блага, или всё, что бы посмело заявить о собственном взгляде на идеал этого блага... Истинно беспримерно честным служением своей идее, идее «государственной пользы», истинно бесстрашным приведением ее в исполнение он был обязан своим медленным постепенным возвышением. Исполнительность, настойчивость, точность, неустрашимость, даже жестокость какая-то во всем этом — только эти качества дали ему возможность возвыситься из ничтожества до почестей и достигнуть значительного материального обеспечения, причем он с чистою совестию мог сказать, что каждая копейка досталась ему кровью. Весь отдавшись беспрекословно служению своей идее, он бесстрашно порвал всякую связь как с горькою долей семьи, в которой родился, так и вообще с вопросами личной жизни, как своей, так и с вопросами личной жизни и убогих интересов толпы, над которою он так бесстрашно выполнял все, что повелят. Собственная семья его — жена и дети — была как бы маленьким образчиком его отношений к действительным, не государственным интересам жизни. К их не государственным простым желаниям, к их индивидуальным стремлениям он относился поистине без пощады. Дети с раннего детства, а жена — с первого дня замужества должны были отказаться от всякого права на какую-нибудь свободу, на какое-нибудь самое органическое самостоятельное желание. Ему в исполнении его обязанностей (считавшихся им священными, хотя большею частию эти обязанности ничего не

заключали в себе, кроме жестокости и бесчеловечия) никто не должен был мешать ни криком, ни стуком, ни привязанностию к чему бы и к кому бы то ни было, ни характерною чертою нрава, словом — никаким бы то ни было, самым малейшим проявлением самостоятельности... У ребенка проявляется стремление к живописи, к музыке — чепуха и вздор, который надо вырвать теперь же с корнем: ребенок этот должен вырасти чиновником, таким же беспримерным и безответным, как и отец,— в этом высшая цель жизни, в этом вся заслуга человека и пред богом и пред родиной... Дочь хочет выйти замуж за человека, который ей понравился, но этот человек не служит — и браку этому не бывать: ее сам отец выдаст за того, кого он полюбил за исполнительность и за какие-нибудь другие, тоже выгодные для казенного интереса, качества... И так было во всем: железною волею этого человека была раздавлена в самом корне семьи всякая живая самостоятельность, вся жизнь сердца, ума,— во имя чего-то высшего действительной жизни, во имя чего-то, неизмеримо далеко отстоящего от скромных требований и желаний живого человека. Личность была до того подавлена в этой семье, что в поколении внуков заметна была даже как бы боязнь чего-либо мало-мальски самостоятельного. Заметно было даже как бы предпочтение ко всему «не настоящему» (впоследствии это выражение будет разъяснено подробнее) пред подлинным и правдивым. Этому, то есть искажению индивидуальных требований человека, искажению его природных инстинктов и желаний, способствовало, кроме того, неизбежное присутствие в отношениях составлявших семью лиц лжи всякого рода и всякого содержания. Корень лжи лежал в необычайном фанатизме, необычайной преданности главы семьи своим административным фантазиям. Такие фанатики хотя и были в обилии в русском обществе в дни нашего детства, но число их, сравнительно с массою, прилепившейся к этим административным фантазиям только из-за куска хлеба или пирога, было почти ничтожно . Напротив, взяточничество, казнокрадство было

распространено повсюду, считалось настоящим делом жизни, доходило до «аматерства». Нажива легкая и умелая поглощала плохо или почти неразвитый ум большинства неплательщичьих классов, знавших большею частию на своей близкой родне, а то и на собственном детстве, что такое нужда, что такое голодное брюхо. В наживании не было других целей, кроме этого наживания, кроме простой волчьей потребности удовлетворить аппетит, голод желудка. Большинство мужей, выбранных «главой» для своих дочерей, были именно такие люди. Бескорыстием и прочими административными добродетелями им надо было только прикрываться, чтобы заслужить любовь главы, получить его дочь, а стало быть — и протекцию и покровительство. Это был народ, добивавшийся выйти в люди и тоже разрывавший с правдою, начинавший свое освобождение прямо с отказа от своего родства с этою правдою убожества, чтобы на ее счет завоевать себе кусок хлеба,— только кусок и больше ничего. Правда, большинство из них шло на эту неправедную наживу из крайности и даже из благих побуждений: например, из желания пособить матери, выдать замуж сестру и т. д.,— но не ставя ни во что ту жизнь, которая станет на дороге к осуществлению этих благих желаний: так, например, женясь по расчету и губя чужую жизнь, эти люди уже вносили с собою в жизнь повреждение совести, ложь... Таким-то образом, выдавая дочерей и женя сыновей на дочерях таких же «просто жадных» людей, родоначальник семьи разводил вокруг себя поколение, в корне попорченное безнравственностью... В каждой семье было притворство, подавленность личная и личная друг перед другом ложь: зависимость от главы семьи, в одних вкорененная с детства, в других (например, в мужьях всех его дочерей) необходимая в виду того, что глава этот—кроме родства, и начальник, заставляла эти насильственные семьи вырабатывать самое лицемерное обличье, заставляла ежеминутно лгать, притворяться и рабствовать. И поколение, которое росло в этой среде, должно было дышать ложью, привыкать лгать

в каждом своем движении, помышлении, взгляде, считать уменье поступить не по правде, не по-настоящему — за уменье жить, то есть именно за правду, за настоящую задачу жизни.

Всё это могло лгать и притворяться, и изощрять свои способности в том и другом, покуда помощью этого достигалась известная желанная цель. Цель эта при подавленности личности не могла быть ничем другим, как наживой, деньгами, средствами. Нажива, материальное благополучие, в буквальном смысле этого слова, только одно и было действительно настоящее, непритворное жизненное побуждение во всей этой массе лжи, и поколение внуков непременно должно было по инстинкту угадать эту настоящую черту, всосать ее с молоком матери. Жажда грубых животных наслаждений поэтому ключом кипела в глубине этих притворно благочестивых семей. Скотские (не соврем, употребив это выражение) побуждения пробуждались в детях рано и в сильнейшей степени. Но под давлением двойного деспотизма — зависимости от власти главы семьи и зависимости от необходимости постоянно лицемерить — эти грубые, дикие животные побуждения глубоко таились на дне даже самых юных детских душ этой громадной семьи, разъедая эту душу жаждой грубого наслаждения,— душу, в которой не было уже почти возможности жаждать правды, любви к ближнему, так как всё это было уже запугано в матерях и попрано примером отцов, женившихся из расчета.

С другой стороны, если нажива, пирог, кусок состав ляли корень и суть, которыми держались эти исполненные лжи семьи, то, с исчезновением возможности наживать, всё это так широко разросшееся семейное древо, о котором идет речь, должно было засохнуть, сгнить, рухнуть... Так оно и было. Бедный старик, глава семьи, только под конец жизни увидел (и умер от того), что, кроме зла, он не делал ничего... Исчезла нажива — разорвалась и притворная связь мужей и жен, отцов и детей... Всякий норовил уйти от беды, всякий

чувствовал, что над ним висит божья гроза, всякий видел перед собой пустоту, холодную, неприветливую, видел, что жизнь его загублена, что спасения ему нет... Освобождение крестьян, то есть одно только понятие об *освобождении*, сразу внесло невозможный для расслабленных семей, но великий идеал жизни,— жизни, основанной на честном труде, на признании за мужиком брата: вся прошлая жизнь была именно полным, беспощаднейшим и бесцеремоннейшим нарушением этого смысла — и вот настала гибель... И в эту-то минуту явились люди, воспитанные в самой густоте неуважения чужой личности, в самых затхлых разлагающих понятиях, например — что не думать легче и лучше, чем думать,— что не работать лучше, чем работать,— что работать должен мужик, а я вырасту большой, женюсь на богатой, поеду за границу и т. д. Этому-то поколению, воспитанному в образцовой школе бессовестности, пришлось лицом к лицу стоять с суровой русской действительностью...

Началась с этой минуты на Руси драма; понеслись проклятия, пошли самоубийства, отравы... Послышались и благословения.

IV.

Верочка, очевидно, была не из благословляющих. Она родилась где-то тут, в этой куче семей, о которой я говорил; она дышала этим скверным губительным воздухом, господствовавшим в семьях,— и умерла. Я твердо был уверен, что Вера Андреевна Калашникова — та самая Верочка, какую я помнил маленькой девочкой. Под впечатлением всего вспомнившегося мне о прошлом большинства русских неплательщичьих семей я почти со страхом вступил в улицу, где сосредоточивалось большинство моих воспоминаний об ужасном прошлом времени...

Улица обстроилась, ее нельзя было узнать... Не было, как прежде, длинных заборов, не было рытвин посреди дороги. Всё приняло благообразный, приличный вид. Кое-где виднелись фонарные столбы, чего прежде не было и в помине.

Большинство домов были новенькие, уютные или по крайней мере казавшиеся уютными; тех прежнего времени сараев, в двенадцать окон по лицевому фасаду, как прежде, не было, кроме старинного хорошо мне знакомого дома главы и родоначальника всей этой улицы, который я сразу увидел издали, едва только вступил в улицу. Его длинная железная крыша, как громадная спина допотопного животного, отливала на солнце порыжелой красной краской, угнетая собою длинный деревянный корпус, с дюжиною по меньшей мере одно около другого окон... Много вспомнилось мне, едва я только глянул на железную спину этого ископаемого. Мне именно крыша, спина, была видней всего — дом стоял на горе, улица шла в гору. Так много вспомнилось и перевернуло внутри, что я тотчас, сам не знаю почему, перешел на другую сторону улицы и шел, не видя уже этой крыши. Места всё были знакомые, но всё другое — не то... Не было почти ни одной знакомой фамилии на дощечках вновь выстроенных домов; некоторые из прежних домов я узнавал и в новых: оказывалось, что перемена произошла оттого, что под старый дом подвели новый фундамент; но и тут фамилии владельцев были другие; чиновников, конечно, было больше всего; много было вдов чиновников и военных и очень много купцов и мещан; но ни одна фамилия не была мне знакома... Кроме фамилий, исчезли и другие знакомые мне признаки старого жилья: так, почти у всех домов были подъезды, чего прежде не было. Прежний чиновник наживался тайком, старался даже проделать дверь для приема мужиков на другую улицу и огораживался забором с гвоздями, свидетельствуя этим свою недоступность. Теперешний владелец-чиновник, напротив, выдвигал подъезд далеко вперед своего дома и большими золотыми буквами писал: «дают советы» и проч., так как не боялся наживать на законном основании и желал, чтобы всем видно было число и обилие приходящих просителей: это — реклама... Только у купеческих домов сохранился еще старый обычай строить крыльцо на дворе, потому что дела купца с крестьянином еще не

настолько уяснились, чтобы можно было совершать их со всею публичностию. Купцу еще требуется двор, обнесенный забором с гвоздями, и большие сени, из которых ни в комнаты его степенства, ни к соседям не могли бы доноситься неизбежные при хорошем расчете причитанья мужика: «Бога-то в тебе нет, Купидон Купидоныч!»— и т. д. Тем не менее и тут, при сохранении этого исконного обычая, были уж заметны некоторые новые черты: так, из окон одного такого купеческого дома — с заборами и цепными собаками — доносились на улицу звуки фортепьяно; нетвердые пальцы и, очевидно, непослушные руки с большой поспешностью разыгрывали нечто из «Прекрасной Елены»... Этого прежде не было. И как в глубину Африки цивилизация пробирается легче всего с помощию шарманки (читай Бекера), так с помощию Оффенбаха проберется что-нибудь (не знаю именно что) и за эти наглухо запертые ворота... Дом, в котором еще обсчитывают мужика, но уж играют Оффенбаха, несомненно весьма отличается от дома, где прежде только обсчитывали и служили молебны. Что-то новое несомненно уже есть в этом доме.

Так, походив по почти незнакомой теперь для меня улице, поглазев на незнакомые мне дома, фамилии, я, наконец, решился подойти и к самому чудовищу... Поистине как к чудовищу подходил я к этому длинному дому. Что увижу я в первое окно, с которым поравняюсь? Новые ли, незнакомые лица, или какое-нибудь старое, измученное, искаженное страданием лицо?.. Знакомое лицо произвело бы на меня очень болезненное впечатление, и я предпочитал бы встретить лицо незнакомое, или совсем никого не встретить, хотя мне и надо было добиться совсем другого. По счастью, роковое окно успокоило меня; гора бумаг, синих оберток с надписью «Дело» заваливала это окно почти до половины. Во втором окне — тоже бумаги и голова, наклоненная к столу: очевидно, пишет человек, и, очевидно, в этом доме помещается какая-то канцелярия, потому что фигуры людей с бумагами стали мелькать всё чаще и чаще во всех двена-

дцати окнах... У подъезда сидели, кто на ступеньках, кто на тротуарной тумбе, несколько человек и стояло два—три извозчика... Очевидно, канцелярия. Остановившись и оглядев дом, я увидел вывеску, гласившую: «Контора движения кавказско-погибельной железной дороги»— и окончательно успокоился... На воротах не было никакой фамилии; в отворенные ворота видны были густо заросший травою двор, полузавалившийся частокол, отгораживавший сад, и необыкновенно разросшиеся деревья этого сада...

Надо было узнать, чей это дом.

— Дом-то? Хозяина, что ль?

— Да, хозяина...

— Это — госпожи Морозовой дом.

К удивлению, это и была прежняя фамилия владельца. Человек в чуйке, с седой подстриженной бородой, не замедлил объявить, что фамилия эта ему известна, и прибавил:

— Эта Морозова будет, стало быть, его сына Владимира— стал-быть, Кузьмича — жена... Ей и дом-то достался...

— Девятьсот рублей получает,— прибавил другой из числа ожидавших чего-то у крыльца.

Всё это были местные коренные жители; знали всю подноготную, а, главное, знали, кто сколько получает — до тонкости. Не успел один заявить, что Морозова получает девятьсот рублей, как другой прибавил:

— Велики ли это деньги?.. У них ведь сколько охотников на эти деньги-то... Их нешто мало...

— Рожали не в свою голову — известное дело!

— Ну, то-то и есть!— как бы обидевшись чем-то, заявил человек, начавший говорить о деньгах.

— Фамилия была большая... Много их было, фамилиев-то таких... Ноньче всё больше пошло так, что дом под железную отдадут, а сами на железную — служить...

Посмеялись этой остроте.

— Она, матушка (то есть железная дорога), много ихнего брата кормит. Иной так бы и сгинул с голоду — ан, глядишь, побалует что-нибудь в конторе, сто рубликов и есть...

— Нашему брату от этого баловства-то только достается... Я вон почесть год дожидаюсь арбузов... Неизвестно, где...

— Да вот извольте почитать эту штучку,— вдруг оживившись и весь вспыхнув, заговорил один из разговаривавших. Очевидно, его задело за живое. Он выхватил бумагу и подал мне. В ней было сказано:

«На предписание ваше от 15 сего июля, чтобы получить мне по накладной мороженого судака, погруженного в Астрахани ноября, прошлого 187* года, то позвольте вам заметить, которая рыба имеет полную свою протухлость и тое рыбы я принять несогласен. А что взыскиваете вы за провоз оные рыбы по всем дорогам, и даже загнали вагон в Прусскую землю, и там онную рыбу таскали неведомо по каким местам, покуда в полную ее скверность не превратили, то двух тысяч шести сот рублей семи гривен за этакое безобразие платить я несогласен, в том смысле, что и онная рыба сама того нестоит и тогда штуку придется продавать по восьми рублей судак, окроме потехи в эфтом не будет ничего, а за порчу взыщет начальство. Посему, имею я донести об онной рыбы господину министру, об неудовлетворении меня в мерзлом судаке».

— Ей-богу, вот перед создателем,— дойду до министра, повторял, задыхаясь, товароотправитель, покуда я читал эту бумагу. И едва я кончил одну, как тотчас являлась другая, в которой тоже вопияли против какой-то ни с чем несообразной ошибки господ служащих... Мне грозило неожиданно превратиться в судью таких дел, которые были мне совершенно неизвестны; несмотря на то, что люди эти видели, что я — человек совершенно посторонний и имею свое, не касающееся их дело, несмотря на то, что я почти не отвечал им, потому что не знал, в чем дело, они один перед другим старались излить передо мной все обиды, причиненные им железной дорогой. Я даже думаю, что именно совершенно постороннее железной дороге лицо и было то лицо, которое могло понять их и сочувствовать им по чело-

вечеству, тогда как всякий специалист железнодорожного дела, именно вследствие своей специальности, непременно будет понимать не по человечеству, то есть взыскивать за рыбу, которую надо выкинуть в помойную яму, налагать штраф за собственную свою ошибку и т. д. Ничего не понимая, я продолжал молча слушать эти излияния, когда на подъезде вдруг появилась какая-то фигура. Излияния замолкли... Просители сняли шапки. Фигура оглянула их, оглянулась на извозчика, который тотчас зашевелил вожжами, и произнесла:

— Опять вы... я говорил, что нельзя.

Сразу все просители возопили о судаках, об арбузах и т. п. Фигура надевала перчатку и говорила:

— Нельзя, господа, нельзя... я говорил вам — нельзя...

Вопли усилились, и голоса вопиющих поднялись на два тона выше.

— Нельзя, нельзя и нельзя!— спускаясь с трех ступенек, три раза произнесла фигура. Занося ногу в пролетку, она еще раз сказала:

— Нельзя-с!

Затем, уложив портфель на коленях, прибавила:

— Невозможно-с.

И уехала.

— Ну, вот и поди!..

Я чувствовал вместе с этими людьми какую-то физическую усталость от этого «нельзя». Точно все мускулы размякли у меня и нервы упали — так это «нельзя» было неминуемо и непреклонно... Вялость какая-то вместо кажущегося негодования напала на всех, и уезжавшая на извозчике фигура казалась окруженною какою-то невидимою, но ничем непреоборимою атмосферою. Просители, еще недавно горячившиеся, как осенние мухи, разбрелись в разные стороны.

Покуда у нас шли эти разговоры, покуда я был судиею совершенно чуждых мне дел и интересов, цель моего прихода в область старого пепелища не покидала меня, и я

продолжал припоминать лица, на которые мне указали случайные мои знакомые. Вспомнил я Владимира Кузьмича, одного из сыновей главы угасшего рода, и вспомнил его жену... Признаюсь, мало было надежды мне узнать что-нибудь путное от этой особы... Это было что-то (так помнилось мне)— что-то жирное и молчаливое; было ли это существо молчаливо от забитости или от бездарности — я не помнил. Помнил я только ее портрет, написанный масляными красками и висевший рядом с портретом ее мужа в их гостиной собственного дома, и этот портрет теперь припомнился мне во всем величии царившей в нем неуклюжести и тупости... Теперь, думал я, эта женщина с тупым взглядом, молча и непрерывно рожавшая детей, которые росли кой-как, без всякого разумного присмотра, без всякого смысла,— теперь эта женщина — старуха и старуха, должно быть, не особенно понятливая... Что она может сказать мне о Верочке, о ее беде? Всю жизнь она ела, спала, рожала детей и молчала — и теперь она, вероятно, продолжает делать то же самое, благо достался дом, кусок хлеба, благо без хлопот нарожденное племя уселось на легкой службе, большом жалованьи... Так казалось мне, и я уж думал поискать кого-нибудь другого из уцелевших на старом пепелище, но выскочивший от нечего делать за ворота сторож неожиданно уничтожил мое колебание, спросив:

— Вам кого угодно?

Сказать «никого» и толкаться у ворот без всякой причины было неловко, и я должен был ответить:

— Госпожу Морозову.

— Хозяйку? Она вот тут в саду. Пожалуйте, я вас проведу.

Нечего делать — я поплелся за сторожем.

V.

Мы вошли в давно знакомый сад. Помню, что была здесь беседка, где иной раз собиралась вся многочисленная семья попить чаю или пообедать, когда была хорошая погода.

Помню, что была здесь баня... Теперь беседки не было, но к удивлению моему сад не производил впечатления заброшенного места, что я думал встретить. Вместо беседки стояли новые, только что поставленные качели; средняя дорожка, по которой мы шли, была тщательно расчищена, подметена и посыпана песком; вместо бани стоял опрятный, очевидно, недавно выстроенный флигелек в четыре окна, с подъездом, который был открыт... В открытые окна флигелька неслось какое-то жужжанье, оказавшееся хором учащихся детских голосов.

— Тут школа?— с изумлением спросил я.

— Школа-с,— покойно ответил сторож.

— Чья ж, кто ж ее держит?

— Сами хозяйка занимаются.

Представить себе жену Владимира Кузьмича учительницей, представить себе портрет, который только что со всею яркостию нарисовался в моем воспоминании, изменившимся мало-мальски осмысленно — воображение мое решительно не могло, и я спросил сторожа:

— Может, не сама учит-то? Молодая, может, какая барышня из Морозовых?

— Какая молодая! Молодых тут нету; сказываю — сама старуха, хозяйка, Анна Федоровна...

Волей-неволей приходилось поверить чуду — и действительно, скоро я увидел действительное чудо.

В комнате, уставленной школьными партами, за которыми сидело десятка три детей разного возраста и пола, я застал пожилую женщину в черном платье и черном чепце, покойно, толково рассказывавшую детям какую-то, должно быть, очень интересную вещь, потому что ее слушали с напряженным вниманием. Оказалось из наших объяснений, что эта женщина-учительница и была та самая Анна Федоровна, портрет которой когда-то запечатлелся во мне своим тупоумием; перемена, какую нашел я в ней, была поразительна: ни одной черты не оставалось в ней, которая бы хоть мало-мальски напоминала памятный мне портрет. Худое, но

не изношенное, а запечатленное думой лицо вовсе не напоминало того сплошного жира, который я помнил; глаза, когда-то не выражавшие ничего, кроме тупоумия, были теперь проницательны, полны жизни и вместе с тем сохранили возможность быть детски-наивными (такою детской наивной радостию они сверкнули, когда я сказал, кто я такой); и вот эта-то простота, чистота души, выражающаяся в таком наивном взгляде, когда-то, в старые времена, под толстым слоем сала и влиянием окружающего бессмыслия, должно быть, и казалась мне тупоумием. Теперь я ясно видел, что в этом человеке была чистая, благородная, хотя и исстрадавшаяся душа и что только этот огонь совести и держал ее разбитое и, очевидно, изболевшее тело... Движения ее худого, как бы съежившегося тела были болезненны, делались как бы с усилием, словно и руки и ноги при каждом движении давали ей чувствовать боль...

В соседней комнате я с полчаса ожидал ее прихода (она оканчивала урок, после которого распустила детей) и не мог надивиться удивительной перемене, происшедшей с этой женщиной. Очевидно, она перегорела в каком-то сильном, но благотворном огне, который растопил этот жир, это бессмысленное существование и на старости лет пробудил в ней и чистую детскую душу и светлую мысль, так глубоко и, казалось, навсегда зарытые под толстым слоем бессмыслия. «Но что именно сделало ее такою, какой огонь пересоздал это существо?»— думал я, дожидаясь ее прихода, и, когда она, наконец, вошла в комнату, проворно ступая плохо повиновавшимися ногами, я не вытерпел и сказал:

— Да вы ли это, Анна Федоровна! Гляжу на вас и глазам не верю.

— И сама я не верю, друг мой... Уж извини, не буду величать тебя по отчеству, ребятишки приучили меня к простоте-то...

Говоря это, она суетилась, устраивая чай. Она отпирала шкафы, доставала варенье, сходила в соседнюю комнату и тотчас возвратилась, говоря:

— Да как же ты меня знаешь-то? Ведь, чай, не помнишь совсем?...

— Я портрет ваш помню.

— Какой это портрет?

— А масляными красками-то нарисован... Помните, у вас в гостиной...

— Будет, будет! Не говори... Помню всё!.. Вместе с домом купили... Не поминай мне этого ничего... Говори о себе... Ведь и тебя-то я почти не знаю... Я знаю, что родня, а в первый раз вижу и ребенком не помню. Говори о себе — а про это оставь: слава богу, что миновало...

— А я именно про это и хотел говорить-то... Я прочел сегодня, что какая-то Калашникова...

— Верочка?.. Да! да, умерла, отравилась.

— Так это действительно — та самая, маленькая Верочка...

— Та самая, та... Ну вот, как же не перемениться-то? Хоть эта история с Верочкой — на десять лет состарит...

— Да, вы очень переменились...

— Ох!.. что я вынесла!

Слезы ручьем полились по ее худому лицу, и она так же быстро, как лились ее слезы (а лились они градом), заговорила:

— Ведь у меня муж зарезался; ведь у меня сын в Сибири, за мошенничество, ведь у меня дочери (тут она просто захлебнулась)... Ведь я вдруг, ничего не зная, ничего не понимая, попала точно под каменный дождь... Вся избита...

Анна Федоровна рыдала; я молчал, видя, что этих слез мне не остановить. Рыдания, почти истерические, продолжались несколько секунд; наконец, она немного успокоилась, хотя не переставала плакать...

— Ведь поймите ты, я до этого погрома ничего не знала... Меня шестнадцати лет из купеческой семьи отдали за чиновника замуж, произвели в благородные, и я всю жизнь была точно каменная... Мне, помню, всё казалось, с самого

первого дня свадьбы, что это только так, что это когда-нибудь кончится... Вот точно так, как, бывало, стоишь у обедни и думаешь только о том — скоро ли кончится. И так я думала лет двадцать, покуда совсем не одурела; дети у меня рождались — и тоже я думала, что это — какие-то не настоящие дети... Я не понимала, что именно кончится — глупа была, у отца в доме тоже многому не научишься... Что мы знали? Сидели за семью замками и ждали чего-то... Тут, как я в благородную-то семью попала, где ж мне было что разобрать? Двадцать лет жила, как сонная... Все считали дурой, да и была-то я дура сущая... Ничего как есть не понимала; только вот, говорю, чуяла, что это кончится, «отойдет»,— и отошло... Вдруг ведь это поднялось тогда; ревизии разные... Гляжу, Владимир Кузьмич руки наложил на себя... И поверишь? Только испугалась, а жалости во мне не было... Ужас какой-то на меня напал — больше ничего... Когда его похоронили, вместо слез-то весело мне да и только: вдруг меня молодость обуяла — а уж мне было тридцать семь лет... хоть танцуй... Ночью боялась и огня не гаспла, а днем — то-то веселье... Чувствую, что — грех, знаю, что во всей семье печаль — а нет... Отстояла я какую-то тяжелую службу — и рада... Заиграла во мне молодость — и право дай мне волю, у родных бы дочерей женихов стала отбивать (уж невесты были!)... Уверяю тебя, я теперь чувствовала себя совершенно равной им и чужой... За ними ухаживают, а мне досадно... И непременно бы что-нибудь было такое (мало ли старух за гимназистов выходят, да за молоденьких юнкеров)— непременно бы было что-нибудь такое, если бы господь не покарал во мне родительских грехов... В детях эта кара-то господня отозвалась... Как засудили моего родного сына за подделку, тут я узнала, что я — мать, и мать виноватая... (Анна Федоровна опять залилась слезами). Приду к нему в острог-то, а он меня ругать... «дура, да подлая»... да-а-а!.. «Чему вы меня учили...» (Анна Федоровна плакала горько). «Сами за сестриными женихами волочаетесь, пример подаете...» Каково это?

Правда ведь, всё правда... Он тоже из-за какой-то бесстыдницы впутался в беду-то... Решили его в Сибирь-то — пошла я жить точно простреленная... Осталось на мне проклятие ведь... гнев, его укор... А вслед за сыном две дочери, одна за одной, подобрали что оставалось денег, да в актрисы, да обе с любовниками... Да обеих любовники-то бросили... (Каждая фраза Анны Федоровны перерывалась всхлипываниями, и говорила она едва слышно.) Да обе мне ругательные письма, да позор, да срам... да жаль-то, жаль-то как!.. Вот в каком огне-то, милый друг, горела я десять лет без умолку, вот как узналось, что лучше быть прачкой, лучше быть сапожником, лучше нищим быть... Вот, друг ты мой, как пришло нам на ум повиниться и прощения попросить. Вот как и я-то за ум взялась... Учиться ведь пришлось сначала, с азбуки... И теперь вот распущу детей-то да сама урок-то по Ушинскому твержу, покуда сил хватает... Кругом виновата, друг мой, кругом... Вот когда опомнилась старая дура (Анна Федоровна улыбнулась сквозь слезы)... Да хоть чужим-то детям скажу правду, хоть чужих-то ребятишек не загублю, как своих родных, как меня самое загубили...

Анна Федоровна была сильно взволнована этим рассказом. Расспрашивать о грустной истории Верочки мне было трудно, надо было дать успокоиться ей, утихнуть... Я спросил поэтому о доме, о других родственниках, узнал, что большинство из них кончило нехорошо, что, кроме Верочки, были и другие такие же горькие случаи в нашей родне, что от всего состояния всех семей уцелел только дом, на доходы с которого и выстроен флигель. Узнал я также из этих расспросов, что не всё худо и скверно в новейшей истории остатков этой громадной когда-то семьи, — что есть и живое и хорошее. Об этом живом и хорошем я узнал, впрочем, только тогда, когда наконец-таки решился заговорить о Верочке...

— Как же это с Верочкой-то случилось?— произнес я в минуту раздумья, наставшего в разговоре.

— Да, вот и с Верочкой — тоже, тоже — наша родительская вина...

— Что вы уж так на родителей нападаете?— произнесла:— ведь и они не весело кончили...

— Ну, друг любезный, мне, старухе, некогда разыскивать виноватого. Я знаю, что он есть, знаю, что и сама виновата... Вот ты о Верочке заговорила; подумай хорошенько: авось, виноватый-то и очень близко найдется... Ты ведь знаешь, что у старика (так она называла вышеупомянутого славу), кроме своей воли, не было закона другого никакого... Особливо женить или замуж выдавать... Как сам считал хорошим, так и делал. Таким-то вот манером отдал замуж он своих дочерей; первых трех отдавал всё за дельцов, за служак, за людей скучных, тяжелых, ничего кроме бумаг не знавших и умевших только наживать деньгу...Так он находил нужным, так и делал... Четвертую, самую младшую дочь, ожидала та же участь, то есть лет шестнадцати выйти за какой-нибудь гроб повапленный. Случилось, однако, не так: старику полюбился простой молодой малый, ничего не умевший делать, кроме как петь цыганские песни и участвовать в попойках... Это — из той кучи бесчисленной помещичьей родни, которую потом только война севастопольская облагообразила сколько-нибудь, нарядив в ополченский мундир... Ну, невозможно, невозможно сказать, зачем родились такие люди, зачем жили, какое право их было жить... не знаю!.. Да это и не люди были, право не люди... Мне всё представляется, что это — какие-то человеческие животные... Вот это-то — то есть что малый был животное, просто животное, и больше ничего — и понравилось старику (он иной раз шутил)... Ему было весело свести этих молодых животных, молодого малого и свою молодую дочь... для собственного удовольствия... Что? Тебе кажется это странным? Не веришь, как это такие постные люди обнаруживали такие непостные желания?.. Да у них и не было никаких желаний, кроме непостных,— это было то, из-за чего они лгали, разбойничали и притворялись... Старик, всю жизнь зако-

вывавший себя в служебные обязанности, устроив (кажется, дня в три либо в неделю свадьбу сыграли) этот брак, в самом-то деле, давал волю себе, сам распутничал — и, как видишь, очень неопрятно... Разумеется, насладившись этим скоромным зрелищем, старик думал взять малого в ежёвые рукавицы, пристроить к месту и «сделать человека», каких он уж сделал много. Он в эту пору уж верил в свое всемогущество, в свою силу и уменье делать людей и вообще в свою неограниченную власть — безгранично... Вышло-то не так. Молодые животные, раз отведав полной свободы, не поддались потом ежёвым рукавицам. Малый, которого стали преследовать, загонять в семейное стойло, отбился от рук, в короткое время спился и умер... Верочка родилась после его смерти, спустя два месяца; вдову, ее мать, хотели опять воротить в родное гнездо, чтобы теперь уж вновь «устроить» в каком-нибудь прочном гробе, так как думали: «будет, отведала, теперь надо и притихнуть»,— но это не удалось, и, почти бросив дочь, как бремя, она в очень скором времени вышла по собственному желанию за молодого купчика. Это был несчастнейший брак, и она недолго прожила. Верочка таким манером осталась сиротой и жила и росла почти без призора, среди нашей громадной семьи... У ней не было отца, не было матери; она рано узнала сиротство, рано поняла, что она — чужая в этой семье, но что без семьи ей жить нельзя... Вот теперь и считай, что дали мы этому бедному ребенку... Уж к непостному-то в ней было посеяно желание безграничное: вспомни свадьбу... Это желание непостного-то в ней уж без всякой воли ее было, и если бы она росла с первого дня рождения в монастыре или в лесу дремучем, и то сказалось бы (потом оно и сказалось)... Так было это ужасно сделано, что Верочка не могла уже считать, что в жизни есть что-нибудь выше этого... Это — раз, что мы ей дали. Потом припомни, что такое было в наших семьях?.. Я уже говорила, что мне казалось, будто *это* кончится, а Верочке и казаться уж не могло: она прямо должна была думать, что это — настоящее, то есть что всякая неправда

и есть правда. Ведь у нас во всем была ложь... Отца мы не любили, а притворялись, что любим и уважаем и благоговеем; мужей мы не любили, а жили и повиновались потому, что они нам покупают салопы и платья, кормят и дарят, а то — потому что и бьют. Мужья наши притворялись, что служат, приносят пользу, а в сущности хлопотали только о том, как бы побольше схватить... Зачем? Чтобы пожирней, поскоромней прожить сегодня и завтра, и до конца жизни. Бога боялись, как камня, который может свалиться с крыши и убить; боялись тьмы кромешной и иногда трепетали (трусости, самой безграничной, в нашей среде было много места), но видя, что камень этот долго нас не разит, успокоивались, а иной раз прямо думали обмануть и бога, отслужив молебен, пожертвовав ризы... Так вот, друг ты мой, в каком омуте росло это дитя... Жить, она думала, это... как бы тебе сказать?.. это именно значит... глотать, что ли (Анна Федоровна очень затруднялась определением, искала слов — и не могла найти)... то есть чтобы телом, даже желудком чувствовать веселье. Вот этакое... это вот и считалось самым настоящим, из-за чего надо жить... Это вот был самый корень Верочкиной души... Это — мы ведь? Или кто другой?

Я промолчал.

— А потом ложь... Любовь — это неправда, а подделка под любовь — это правда... Труд — это так только, чтоб не заметили какой-нибудь гадости, больше ничего; вся задача — увильнуть от труда, да и жизнь-то человеческая — всех перехитрить, надуть, провести и дорваться... Не умею я говорить-то, а то бы я тебе не так всё объяснила... Ну, вот тебе пример скажу: сесть, например, к подоконнику и барабанить по нем часа четыре, будто играешь на фортепьяно — это очень приятно; посмотри на нее — артистка; а за настоящее фортепьяно сесть — слезы, мучение; всё этому, настоящему, сопротивляется в ней... Надо работать — это выше сил ее... Это — если хочешь — лень, но самая глубочайшая, то есть природная, непобедимая... Полюбить человека и жить с ним, разделяя его труды и заботы, это —

бремя, скука, тоска, мучение; легче лечь в гроб — это просто, это — правда; а вот выскочить за старика, притворяться любящей, наивной, в то же время — обманывать его на каждом шагу, вести три интриги за раз — это и интересно, и весело, и хлопотно, словом — это не просто, не правда, это-то вот по натуре ей, это-то ей и нужно, она тут пополнеет, повеселеет. Словом, из этой несчастной девочки мы выработали существо на явную гибель. Детей своих учили мы кое-как (за деньги можно было, не учась ничему, получать дипломы и что угодно), а Верочка, как сирота, которая жила то тут, то там, еще меньше знала что-нибудь. Стало быть, только действительность, только бесплодная путаница нашей жизни, пропитанное ложью влачение дней и годов, только это и учило ее. А, как сирота, она пристально присматривалась ко всему, и вот вышел человек, который может жить только из жажды дорваться, и притом только в такой обстановке, где всё — ложь, где всё — неправда, выдумка... Ну, и нельзя ей было жить, потому что на эту бедную, неповинную голову гроза-то грянула уж совсем нежданно-негаданно. У нее, бедняжки, и жиру-то не было еще, как у нашего брата, про запас. Ее, друг ты мой, ведь прямо сожгло огнем...

Анна Федоровна вздохнула и с грустью прибавила:

— Да — народили мы уродов!..

— Как вы думаете, Анна Федоровна, надолго хватит этих уродов-то?..

— Не знаю, голубчик... Кажется, что надолго, а впрочем, не знаю... В России ведь до сих пор чудеса творятся воочию. Ведь и в нашей семье-то — ведь и в этом омуте — какие сокровища вдруг оказались! Не всё — несчастные Верочки... Не знаю, как это случилось, а есть... Кажется, и семья такая же гнусная, еще гнусней наших, кругом гнилушки, сор, пыль — смотришь: выходит такое диво, точно совсем новый человек, совсем новый, прямой, умный, здоровый, честный — ну, одним словом, новый как есть, то есть для нас-то, для гнилушек-то новый... Вот я про Верочку-то

говорила, что гроза-то на нее нагрянула... Надо тебе сказать, что не в одной нашей только семье Верочки вырастали — нет: во всех семьях, сколько я их ни знала на своем веку,— как грянула гроза-то, везде нашлись и Верочки, совсем хорошие, совсем новые... И много таких-то... Опять скажу тебе: как они выходили из этого содома невредимыми — понять не могу, только выходили, и много их есть на Руси... Прямо из семей, в которых целыми поколениями не было ни о чем думушки, кроме как о кармане, прямо из этаких-то семей стали выходить люди вполне самоотверженные и ничуть, ни капельки о себе не думающие... Из этих омутов и болот появлялись молодые ребятки, девушки и юноши, и — точно кто научил их — вдруг всё отлично понимали, принимались за работу... Да вот у нас, рядом с нами, жила одна такая семья... Сколько они на своем веку замяли, перегубили народу, что это были за тираны — пересказать невозможно... А из их семьи (очень богатые люди были) вот две дочери вышли — не надивлюсь, что за красота... Пробудешь у нас, увидишь: одна, например, приезжает иной раз зимой в полушубке, в мужицких сапогах, силища, здоровье — живет акушеркой в деревне... Поговори-ка с ней, поузнаешь, как она занята делом, как она много знает правды, которой никто не знает, и не пишут о ней... Ни одного словечка у нее нет о себе — всё о чужом горе, чужой беде... Есть чудеса, есть, друг мой любезный.

Анна Федоровна помолчала.

— Так вот, о Верочке-то... Как грянул это гром-то, стало это всё валиться, падать, резаться... А с другой стороны (что чудом-то уцелело) — стало учиться, работать, позабыло и спесь дворянскую, и всякие претензии... в эту-то пору Верочке пришлось очень туго. Еще в то время не успел родиться тот веселый народ, какого теперь развелось видимо-невидимо... Посмотри-ка: теперь у нас три театра, поют французские пьесы... А пьянство-то! Слава богу, теперь есть на что попить-погулять... Жалованья какие-то явились необыкновенные, прежде и во сне таких не снилось... Деньги

появились, бог их знает откуда, у людей, которым бы, кажется, и получать-то их не за что... Теперь, говорю, уже есть этот веселый и жирный омут, уж завелся он,— а тогда его не было, тогда думали, что пришлось погибать... Тогда Верочки не знали еще, что будут красные дни. Прямо приходилось итти в прачки, прямо приходилось заработывать тяжким трудом хлеб насущный... И иные — я уже говорила тебе — прямо и взялись за дело, точно готовились к этому; вот и Верочка пробовала было делом-то заняться, пробовала пристать к подругам, взялась за ум... Ходила к ним, вместе читали, готовились — кто в учительницы, кто в акушерки, кто в телеграфистки... Ходила и она, но ничего не вышло... Нельзя и выйти-то было ничему!.. Глупо кажется ей, скучно!.. Не верит ничему. Какая-нибудь из ее приятельниц скажет: «выучусь акушерству, буду жить в деревне, всем помогать, работать...»— не верит... Думает, что просто доктор, который лекции читает, красив — вот и бегает она, а вовсе не для ученья! Что прикажешь делать!.. Пробовала в школе заниматься — и это кажется ей притворством... Не понимает, не может понять, что оборванным нищим ребятишкам нужна наука, что и они — люди... Просто не понимает этого!.. Учит она их, но знает, что это она делает только из приличия (все тогда бросились учить) и что не в этом главное... Да и из мужчин много и сию минуту есть таких, которые тоже думают, что главное не в этом, а притворяются... Теперь есть такие и тогда были... Вот Верочка и сошлась с таким; он уж был женат на ее подруге (хорошая, прямая женщина), и обоим им было по вкусу это...То есть оба они знали, что всё это там, «делать добро» и прочее и прочее,— что всё это только так... а главное-то вовсе не то, и что без этого главного-то, то есть без обмана-то,— скука, тоска, что без этого «настоящего-то» — то есть без их отношений, основанных, как видишь, на обмане,— и жизнь не в жизнь, и давно бы пора разогнать всех этих оборванных мальчишек и прекратить всякие акушерства... Ну, можешь представить, что была за связь...Припомни о том, что я тебе

сказала, о том, что́ именно наши старые семьи приучали считать правдой, из-за которой стоит жить, из-за которой живут люди... Из этих-то людей потом и образовался тот веселый омут, который теперь вот купается в деньгах и поет французские песни... И Верочка вкусила этого веселья в самом начале... Пошло для нее, друг мой милый, не год и не два, веселье, спрятанное и темное, прикрытое плутнями, хитростями, обманами... Идет «к знакомым», а пробудет на свидании... в гостиницах, оказалось, бывала... Едет в Москву к родственнице — оказывается, была не в Москве, а в Киеве, и родила... То дрожит, как осиновый лист, то весела, как ребенок...Оказывается, хотела провести кого-нибудь — и боялась; а провела, всё устроила как следует — и весела, довольна... И ведь не из корысти, не от избытка сил, которым некуда деться,— нет, сил уже не было, цены средствам она не знала... А просто потому проделывала она всё это, что тут, в веселых омутах, ей попадалось всё, в чем ее воспитали, чем могла она жить, а там, где работали, где страдали, где хотели жертвовать собой, ей было не по себе, скучно. Просто даже невозможно было дышать — так было скучно там... Все эти плутни, всё это распутство я только потом узнала... До того ли мне было... Но и тогда я подозревала, что с Верочкой что-то творится нехорошее... И по лицу видно было, что она нечиста. Так она путалась в этом омуте не год и не два, а, пожалуй, что и целых пять лет подряд... И вдруг — опомнилась! То есть — вдруг ее что-то как будто осенило... Ослабло ли ее здоровье, надоела ли ей вся гадость эта — только вдруг она заскучала, задумалась и иной раз ревет-ревмя... А иной зла, как бес, и рвет и мечет на всех. В эту пору она часто приходила ко мне, плакала, жаловалась на судьбу. Сделалась скромна, аккуратна — я тогда жила в большой бедности, нанимала комнату на чердаке — ухаживает, хлопочет, помогает...И вот раз объявила:— «Я, говорит, выхожу замуж...»— «За кого?»— «За такого-то...»

— За столяра?— перебил я, вспомнив газетное известие.

— Да, за столяра... С давних пор у нас славилась столярная мастерская Обручева. «В прежнее время» Обручев умел нажить деньги, сделаться тузом... Но ведь ты уж знаешь, как «в прежнее время» деньги наживали... Отстать от всех и быть богатым было невозможно; надо было итти вместе со всеми: поэтому как наживал деньги чиновник, так и купец, и мастеровой... То есть всё те же делались стачки и обманы на поставках, всё так же, «по знакомству» с квартальным, драли мастеровых в части и т. д. Был в то время один хоровод, отстать от него значило сгинуть, а чтобы не сгинуть, надо было плясать вместе с ним... Вот в числе этих счастливцев того времени был и столяр Обручев; он, простой мужик, умел понять, в чем дело, и добился своего с настоящей мужицкой неустрашимостью... то есть если бы надо было убить человека, который мешал, он убил бы, а дело бы замазал — говорю примерно. Семья его, стало быть, была такая же, как и все, то есть так же, как и везде, царили в ней деспотизм и ложь... Когда грянула гроза, то захватила она, разумеется, и Обручева... Открылись все эти увечья, фальшивые поставки, получения денег за то, чего не делалось, не поставлялось, и т. д. Пошли дела в палатах, истории у мировых судей,— ну, словом, всё то же самое, что и со всем хороводом... Пошло вместе с этим и в семье, то есть в совести-то семейной, крушение и разорение...— «Что я с тобой, с чортом, добра видела?..» — говорила старуха-жена.— «Ты меня зарезала!..» — вопил муж. Осторожные старшие сыновья, выученные в гимназии состоятельным отцом, уж настолько понимали новые времена, что поторопились разбежаться... Отправились учиться и занялись заботою об устройстве своей карьеры по-новому, а отец, разоренный и в кармане и в душе, остался один отсиживать сроки в острогах по приговорам судей, пьянствовать, драться с мастеровыми и опять попадать в суд... Верочкин жених, самый младший из сыновей Обручева, один только и оставался в семье; на него-то, молоденького мальчика, и обрушилась в самом нецеремонном виде вся грязная правда

его семьи. С ранней юности видел он отвратительные семейные ссоры, проявления дикого деспотизма, от которого его отца не могли отучить ни штрафы ни мировые судьи, видел и слышал, как всё это было осмеяно работниками, которых теперь уже безнаказанно нельзя было колотить чем ни попало, и вышел из него удивительный человек... У него не могло быть симпатии ни к отцу ни к матери — он видел их в таком отвратительном виде; хохот простого рабочего человека над этими мучающимися старикам открыл ему глаза на то, что было в них дурно, и заставил понять и положение рабочего человека, над которым так долго орудовал отец... Вышло поэтому из малого что-то... Да я, право, и не видывала никогда ничего такого... Отец был силач и зверь, этот мальчик — одни нервы и одна доброта, одна жалость, одно сознание виновности... У отца была жадность захватить, притянуть к себе, у этого — полное равнодушие к себе... Словом, он просто ничего не понимал *и не мог* понимать ничего такого, что не было бы самоотвержение... Отец брал — этот мог только отдавать; отец думал, где бы взять подряд, сын только и ждал, чтобы их не было; отец не доплачивал рабочим, сын отдавал всё, что у него было... Ослабевший старик Обручев, постоянно полупьяный, осмеянный и опозоренный, разубежденный так горько в своей правоте и своей задаче жизни, потерял сметку и волю, и всё... Остатками мастерской заведывал сын, жених Верочки... Если бы не старинные отцовские знакомства, мастерской этой давно бы не было; сын вовсе не заботился о барышах, потому что это было не в его натуре... Вот с этим-то парнем, который ровно ничего этого не понимал, и познакомилась Верочка... Он был моложе ее годом или двумя. Образования у него не было никакого...(Надо сказать,— как бы в скобках прибавила Анна Федоровна,— вот что: одевался он в сюртук; это надо знать, чтобы не думать, что Верочка могла пойти за лапотника; кроме того, у него был дом и лошадь, остаток прежнего величия...) Образования у него не было, но было больше того, что дает самая обширная начитанность,—

натура, не желавшая ничего, кроме жертвы собой... Прошлого у него не было никакого: он точно родился без родителей; ничего в прошлом, какое он пережил, глядя на разгром семьи, у него путного не было; было одно такое, от чего хотелось убежать; он весь смотрел вперед, весь желал отдаться другому, чем тому, что было у него за плечами... Но где это другое, где его разыскать, как его представить, что делать с собой — он не знал этого... Читал он стихи, сам писал стихотворения, слушал, что скажет книжный лавочник на толкучке,— вот какие были у него средства понять свое положение и употребить на дело свою удивительную натуру... Вот с таким-то добрым уродом (у нас теперь и злые и добрые — всё уроды) в клубе, кажется — в клубной библиотеке, встретились... Это было именно в то время, когда Верочка впала в тоску; тут она стала читать... Разговорились о чем-то... о какой-то книге и, разумеется, о том, что делать... Верочка, сравнительно с Обручевым, была знаток дела... Она наслышалась об том, что нужно делать, и от своих подруг, и в школе, да и вообще, как наблюдательный человек, она знала, что надо делать теперь, чтоб быть не хуже других, только не верила, только не могла делать-то — вот ее беда! А поговорить, растолковать — сколько угодно. Вот тут она ему — «я бы на вашем месте и то и то...» И книги ему указала, какие читать, словом — осветила малому тьму, в которую он глядел, все его мысли привела в порядок, распутала всё, чего тот не понимал... Малый влюбился в нее, отдался ей всем сердцем... Откуда что взялось, проснулась отцовская энергия, прямота... До женитьбы я часто видала его; по-моему, это было сокровище, золото; Верочка тоже в это время была очень хороша; под влиянием его чистоты, искренности и в ней самой как будто окрепла вера в то, что есть какая-то настоящая правда, кроме той, которой научили ее мы... Глядя на них (почти ежедневно у меня происходили их свидания и строились планы), я радовалась за Верочку и думала — авось, исцелеет?.. Увы!.. Женились; я часто бывала у них... Верочка никуда не выходила

из дому и никого почти, кроме меня, не хотела видеть... Из мастерской сделали артель: все работали; даже старика-отца поставили к станку; даже громадная родня, которая ничего не делала и, ссорясь, доживала век,— и ту приладили к делу. Сделалось это до такой степени быстро, с такой удивительной энергией, что, именно благодаря ее силе, ей почти безропотно покорились и мастеровые, и родня, и сам старик. Всё сделалось хорошо. Молодой муж с необыкновенной, просто необыкновенной, даже щепетильной честностью принялся за свое дело — быть поверенным артели; и вот в эту минуту, когда дело сделалось, когда надо было просто делать его, Верочка заскучала... Дело оказывалось простым, не представляло никакого интереса... Скучно!

Анна Федоровна развела руками и пристально посмотрела на меня, как бы желая удостовериться: достаточно ли я понимаю эту трагическую минуту в жизни Верочки.

Я понимал.

— Захотелось съездить в клуб... Поднялись старые дрожки... Съездила — воротилась; муж продолжает щелкать на счетах, подводить итоги — скучно; а через неделю — просто невыносимо, потому что она видит, что муж не может свернуть с этой дороги... Простота и подлинность дела так ясны ей и так действительно жизненны, что ей нечем дышать... Ее тянет в омут... Ее тянет в омут потому, что она сознает, что, отдавшись делу, муж ничего уж не видел другого, ничего другого, кроме этого, не понимает... Беспредельной любви, которую он молча питал к ней, ей не нужно; формы этой любви так просты и так обыкновенны, что ей душно... Начались на моих глазах необыкновенно грустные сцены... То вдруг захочет помочь мужу, хлопочет с ним день — два, то вдруг представит себе, что она — дура, что никто этого не делает, что связалась она с идиотом, что над ней все смеются, что такой-то сватался за нее и теперь женился на другой, что она несчастна, что она непременно возобновит прежнее знакомство... Всё это терзало и мучило ее потихоньку от мужа, всё это она в себе вымучивала, или

мне иной раз расскажет. И я подозреваю, что она потихоньку от мужа возобновляла старые связи, окунулась в веселые омуты... И, разумеется, ей становилось еще хуже, потому что, отведя душу во лжи, которую она считала протестом, она встречала дома всё ту же непоколебимую верность мужа и ей и делу... Эта-то преданность ей и делу и терзала ее... Тут была настоящая, всей душой, всем сердцем, преданность и верность — и даже глядеть-то на них Верочке было не по силам... Она каждую минуту должна была чувствовать, что в ней нет этого ничего... Она не могла понять, как это можно быть *просто верным* всю жизнь, как был верен ей муж... Ей надо было чего-нибудь еще к этому, какой-нибудь приправы, а приправы не было, была одна чистая, без примеси, любовь... Ей никак нельзя понять, как это можно служить делу, каждый день, каждый час, служить так аккуратно и однообразно, наслаждаясь только верою в это дело. Ей нужно было что-нибудь другое, чтобы ощущать удовольствие этого дела. А ощущать его можно было только верой, чего в ней не было. К этим ощущениям мы не приучали наших детей... В этих ощущениях — всё постное, всё неосязаемое, а этого-то она и не могла. Она ужасно мучилась... И я думаю, что муж действительно замучил ее, заставляя ее постоянно видеть перед собою человека, непоколебимо преданного ей и делу... Постоянно видеть перед собою укор, живой и любящий к тому же, в том, чего у меня нет, да это действительно — мука. Она ее и не вынесла.

— Так вы думаете... отчего же именно она умерла?

— Я думаю, что муж просто убил ее своей искренностию... Что постоянно, изо дня в день, из минуты в минуту, сохраняя ее, эту искренность, верность любви, сознание важности дела, он заставлял ее ежеминутно, изо дня в день, из часа в час, ощущать в себе именно недостаток того, что есть в нем; она, должно быть, каждую минуту чувствовала, что она — фальшивая, что она — хитрая, что она — нелюбящая. Покуда она не понимала, что с ней делается, она мучилась, протестовала, сваливала вину на то, на другое;

но муж, продолжая делать всё одно и то же, должно быть, довел ее, наконец. до того, что она поняла, кто она и что с ней... Она поняла, что в ней нет ничего, что нужно для жизни, в которой нет лжи... Словом, поняла себя и отравилась...

— Что же с мужем?.. Неужели он не замечал ее страданий?

— Я тебе говорю, он *не мог* их видеть, не мог понимать *ничего этого*...Говорю тебе, что это был урод... Смерть жены для него была такая же неожиданность, как если бы камень упал с неба... Впрочем об этом долго рассказывать, а я устала... Скажу только, что ему, этакому-то любящему, всё потом рассказали про жену... Нашлись добрые люди... Это я расскажу тебе на досуге... Теперь опять собираются мои ребятишки.

В классной комнате действительно возилось и смеялось несколько человек детей.

— Ведь ты зайдешь еще?— спросила Анна Федоровна.— Авось, увидимся?

— Непременно!..

Я возвратился домой от Анны Федоровны, сильно подавленный впечатлением ее рассказа.

Тимофей, встретивший меня в коридоре, по обыкновению объявил о том, что он «бегал», что «ничего не было» и что лавочник прислал новых книг: «Рокамболь-сын» — с запиской, что и «Отца» еще будет много... О письмах я уже давно перестал думать и о «Рокамболе» также не беспокоился...

Поглядев в окно, я увидел, что дом, где умерла Верочка, был совсем выкрашен, смотрел ново, весело — и это опять навело меня на грустные мысли... Думал я об этом страдальческом поколении, припоминал знакомые личности, гадал о будущем.

Стало темнеть; пришли сумерки, а я всё скучал и думал о том же... «Не пропадут же эти страдания так, ни за что, ни про что,— думал я:— сделают же они что-нибудь...»

— К вам человек пришел!— появляясь в моей комнате, объявил неожиданно Тимофей.

— Какой человек?

— Вот глядите, другой раз приходит...

— Да меня ли спрашивает-то?

— Как же, помилуйте... Нешто я не знаю...

— Зовп...

Дверь растворилась, и в комнате появился молодой купчик в новой чуйке, с припомаженными волосами. Купчик был мне совершенно незнаком.

— Вот они!— пояснил ему Тимофей, указав на меня.

— Очень приятно познакомиться!— произнес купчик.— С господином Камплавкиным имею честь говорить?

— Нет, я не Камплавкин.

Купчик сделал шаг назад и обернулся к Тимофею.

— Ты что же это, любезный?— сказал он ему обиженно.

— Ты это Камплавкину письма-то спрашивал?— накинулся и я на Тимофея.

— Нешто нам можно всех упомнить...— оторопело пробормотал Тимофей.

Признаюсь, мы с купцом не пощадили Тимофея... Оба мы накинулись на него: купец с нравоучениями, я — с гневом и ожесточением. «Как? самые важные мне письма,— и этот человек не дал себе труда узнать мою фамилию! Бегал и спрашивал писем чорт знает кому». Я припомнил, что за эту беготню я неоднократно давал ему на водку, и теперь мне казалась необыкновенною наглостию с его стороны: брать деньги и обманывать. Тимофей в молчании выслушивал эти монологи наши, но, когда они стали к концу понемногу ослабевать, он вдруг вспыхнул и в свою очередь прочитал свой монолог... Вдруг он разразился о том, что за шесть рублей ему не разорваться, что на его руках двадцать нумеров, что всякий требует, что он работает из-за денег, а денег ему не очень-то щедро дают за услуги — всё только требуют: он и за письмами бегай, он и купцу угоди, и фамилии все помни — за что?.. «Слава богу,— закончил он:— авось, и у нашего брата есть о чем о своем подумать... У меня вон в деревне...»

И тут он, горячась и волнуясь, стал рассказывать, что такое у него в деревне... Не говоря о том, что деревенская повесть Тимофея, сама по себе, была необыкновенно трогательна и извиняла все его промахи, одна его фраза: «авось, и у нашего брата есть о чем подумать о своем»,— как нельзя лучше завершала все мои сегодняшние размышления. И после того, как Тимофей рассказал, что такое у него в деревне, рассказал драму с овцами, с коровами, с пожарами, с родней, которая выгоняет вон родню, я увидел, что у него действительно есть такое «свое», которое ни капельки не вяжется ни с моими размышлениями ни с интересами купца, который, быть может, очень много потерял, наткнувшись, вместо Камплавкина, на меня и прождал этого свидания целый день. Да, у них есть свое!.. Такое «свое», при котором некогда смотреть и замечать Верочкиных несчастий, некогда входить в мои интересы, заботы, огорчения или в убытки обманутого купца... Вся связь между мной, купцом и Тимофеем держится только на копейке, из-за которой Тимофей не пожалеет ног и рук, сбегает, «предоставит», «вычистит», а чтобы помнить всё, да еще думать, у кого из нас какая фамилия,— извините. Думать-то Тимофей будет о «своем».

На этом размышлении окончилось мое сокрушение о судьбах отечества и о собственных своих несчастиях. Отправившись на почту тотчас после того, как мне пришлось узнать, что фамилия моя — вовсе не Камплавкин, я нашел кучу писем на мое имя, из которых узнал, что все дела сделались так, как я думал. Теперь мне можно было уехать, но так как и у меня, как и у Тимофея, было тоже о чем подумать о своем, то я и решился остаться в городе еще несколько дней, чтобы от Анны Федоровны узнать еще кое-что из нашего современного горя и радостей.

V. НЕИЗЛЕЧИМЫЙ.

I. Глухой городок.

...Летние месяцы прошлого года мне пришлось провести в одном маленьком уездном городке средней полосы России. Жил я у моего старого знакомого, занимавшего в этом городке должность уездного врача... Скучное это было житье... Если бы не частые поездки в уезд, которые моему приятелю по обязанностям службы приходилось делать чуть не каждую неделю, поездки, в которых и я принимал постоянное участие в качестве простого наблюдателя,— я не знаю, помянул ли бы я добром эти летние месяцы, проведенные «в гостях у друга».

Городок принадлежал к числу самых заброшенных, самых бедных и глухих провинциальных углов, в котором, кроме всех видов бедности и всех видов неразлучного с бедностью невежества — то забитого, робкого, беспомощного, то самодовольного и поэтому еще более, чем другие сорта, отвратительного,— помимо всего этого, хорошо и давно знакомого всем знающим русские захолустья,— городок этот поражал всякого, даже постороннего зрителя, и поражал очень неприятно, явными признаками вымирания тех ничтожных

крупиц жизненной силы, которая в прежнее время давала ему хоть и «кой-какую», но всё-таки возможность существовать, жить, иметь хоть и крошечные, но всё-таки действительные цели, побуждавшие его, перебиваясь изо дня в день, надеяться на что-то в будущем... Новые времена сразу убили эти крошечные цели существования, оставили городок вне круга железных дорог, а следовательно, и вне принесенных ими денег, вне новых родов заработка, новых пунктов труда. Инстинктивное сознание собственного всегдашнего бессилия подсказало городку, что ни этим новым дорогам, ни этим новым деньгам и заработкам незачем и никогда не придется итти в этакую глушь, и вследствие этого сознания всё, что было побойчей, помоложе, ушло из города, покинув свои дедовские, почернелые, с переломленной пополам высокой гнилой крышей дома, и оставило в них доживать свой век тех, кто не умел жить и наживать деньги «по-новому», кто отчаялся и махнул рукой...

Городок подгнивал, разваливался, заколачивал гнилыми досками гнилые окна и двери опустевших домов и лавок и беспрестанно, ежеминутно роптал,— роптал на бедность, на то, что нечем оплатить патента, что вон еще идут какие-то права, за которые «опять же отдай», что не только отдавать и получать новые права, а и кормиться не на что, что торговли нет никакой, что хорошо бы было, ежели бы господь призвал к себе и успокоил... Эти жалобы и причитанья слышались всегда и повсюду: причитал лавочник, продавая захожему солдату пучок махорки, причитал за стойкой кабатчик, наливая проезжему мужичку стаканчик вина, причитала торговка рубцами и печенкой, сидя на горячем горшке с своим товаром и чувствуя, что скоро совсем переведется на белом свете всякий покупатель... Словом, где бы ни находился уездный человек, что бы он ни делал,— стоял ли за прилавком, или так дома сидел на крылечке перед отходом ко сну,— он постоянно роптал, причитал и постоянно приходил к той мысли, что ему осталось одно — с миром принять праведную кончину. Такого рода уныние проникло

всюду, где прежде было относительное довольство, где по воскресеньям дымился пирог и где всегда нашлась бы новая чуйка или шалевый платок, чтобы пройтись к обедне или погулять...Что же сказать об унынии того уездного люда, у которого никогда от сотворения мира не было ни прилавка, ни пирога, ни чуйки и который всегда жил кое-как и кой-чем? Существование этого народа в данную минуту было поистине фантастическое. Нижеследующий разговор, который однажды пришлось вести мне с толпою этого уездного люда, даст читателю, я полагаю, некоторое понятие об этом сказочном существовании.

— Как же вы живете-то?— спрашивал я.

— Да бог ее знает как!— отвечали мне.

— Да как же именно?

— Да так вот именно, что кое-как...

— Толчешься будто вокруг пустого места,— объяснял более обстоятельно понимавший дело житель:— ну, ан-но будто и пропитываемся, вроде как пропитание!..

— Покуда бог грехам терпит, то и живы!— объяснил другой, более скромно глядевший на дело обыватель.

И, должно быть, объяснение это было очень верное и правильное, потому что тотчас, как только было произнесено слово «бог», в толпе обывателей произошло значительное оживление.

— Да что же ты думаешь?— заговорило сразу несколько человек:— тут только и есть, что господь явно не покидает...

— Явно!..— подтвердил хор.

— Послушайте-кось, православные,— живо заговорил один из этого хора,— что было со мной!.. Пришло мне дело так, что ложись да помирай... Покуда у Пастуховых дело шло, всё ничего, жили кое-как, а как пошло у них на разладку, хоть вот, говорю, иди да топись... Бился-бился, туда-сюда, нет!.. Пришло помирать голодной смертью... Выскочил я, не помню — и что и куда, выскочил я так-то из хибарки-то, сам не знаю, не то топиться, не то давиться,— хвать...

Все притихли, потому что это «хвать» было произнесено удивительно весело и, очевидно, предвещало какое-то удивительное проявление божия милосердия.

— Хвать, братцы мои, а как есть передо мной на снегу два зайца сидят...

— То-то чудеса-то!..

— Божие произволение... господь-батюшка...

— Два?

— Как есть, братцы мои, два зайца, и сидят рядушком, не шелохнутся...

— Истинно божее, например, указание.

— Ты вот что рассуди, отчего они не шелохнутся-то, кто их держит-то, словно мне подает — «на мол, Кузнецов, возьми их!»— ты вот что раскуси!..

Многие вздохнули: так было ясно всем, что тут был бог.

— Ну, я их сгреб, конечно,— закончил рассказчик, когда всеобщее умиление несколько ослабло,— и сволок к исправнику, за полтинник... Ну, и перебился.

Немедленно со всех сторон послышалось желание подтвердить собственным опытом эту явную заботу провидения о бедном народе. Очевидно, со всяким был такой или подобный этому случай, но из массы начавшихся рассказов всех заинтересовал один, в котором все были поражены очень трогательным окончанием. Уездный житель, с которым приключилось это трогательное событие, тоже, как и первый рассказчик, прежде жил «вокруг» купцов Пастуховых, а как пошли они на разладку, стало ему так, что помирай! Хотел он так-то раз топиться или давиться, хорошенько он этого не помнит, и сам не знает, зачем побежал к реке... И только было хотел бухнуть, вдруг что-то под ним заорало благим матом.

— Глянку, братцы мои, гусь, зда-ар-раве-енный-прездаравенный, дикий гусь!

Сдержанный гул приятного изумления пронесся между слушателями.

— Фунтов от восьми, братцы мои,— каким-то жирным басом продолжал рассказчик:— этаким вот манером, чисто

как окорок... Одно слово, верный целковый!.. Отдавил я ему ногу и крыло, глянул так-то, вижу, руб серебра, не меньше господь мне послал.

— Восемь фунтов?.. Целковый смело!

— Дикий гусь завсегда руб.

— Цена известная!..

— И что же апосля этого случилось, братцы вы мои!— жалобно возгласил рассказчик и остановился. В публике почувствовалась ясно видимая тревога насчет этого рубля, посланного богом в виде гуся.

Все примолкли.

— Поволок я его на базар,— жалобно продолжал рассказчик,— хоть бы те вот одна душа!.. Ходил-ходил, братцы мои, нет никого, да и шабаш!.. Я к исправнику, не взял... Я к лекарю — нет дома... Я туда, я сюда, хоть вот ложись да помирай: то дома нет, то «не надо»...—Что ж ты думаешь?

Последняя фраза была произнесена таким отрывистым тоном и с таким решительным ужасом в чертах лица рассказчика, что все просто онемели, ожидая страшной развязки.

— Ведь так сам и съел гуся-то!

Загудела и зачмокала толпа, сожалея.

— Так, братец ты мой, и слопал сам!..

— Эко, не поладилось как!

— Эх-ма-хма-хма!.. Рублик-то серебреца!..

— Так и сожрал!..—подбавляя масла в огонь, прибавил рассказчик.

— Эх-хе-хе.

— Да жирный, пострел, какой — страсть! Так у меня всё нутро и переворачивалось. Как гляну на него, не идет в горло, да и шабаш!..

— Эх-хе-хе-е!..

— Так вот все внутренности и перевертываются, как гляну... Вот какое дело... В самую коронацию было, как теперь помню, во́ какой, как поросенок!..

Словом, существование этого люда было, без всякого преувеличения, сказочное, фантастическое. «Как бог пошлет»

и «коли пошлет бог!»— вот что они по сущей справедливости могли объяснить в разгадку этого существования: вдруг забежит чуть не в сени волк,— ну, убьют, сдерут шкуру: слава богу, это хорошо, господь посылает; а не забежит волк, или не наступишь случайно на гуся, или не наткнешься как-нибудь, купаясь, на щуку, не поймаешь ее рукой за жабру, не продашь — тогда хоть ложись да помирай, или так «кой-как» толкись вокруг «пустова» места. Уныние, предчувствие, что всё дело обывателей должно кончиться только могилой, сознание, что лучше всего махнуть рукой,— такое утомительное и тяжелое состояние духа проникало всех и вся, пропитывало даже, кажется, самый воздух, которым дышал городок. Никто из скучавших и изнывавших обывателей не знал путем, отчего это вдруг не стало на свете житья; почти никто не мог бы объяснить этого, например, помощию новых путей и пунктов торговли; все только «чуяли» свою погибель, и чуяли ее тем сильнее, что на глазах всех жителей совершался въявь факт, для них весьма знаменательный. С давних, с незапамятных времен «всей округой» владел и все торговые и вообще всякие дела вел старинный основательный дом купцов Пастуховых; и вот в настоящую минуту этот-то капитальный дом, эта древняя фамилия, которая составляла, можно сказать, всю денежную и всю действующую силу во всем уезде, фамилия, вокруг которой пропитывались сотни уездной мелкоты, которая украшала храмы божии, которая уважалась в губернии, имела медали и проч.,— эта-то фамилия, этот корень древа жизни несчастного уезда,— явно, на глазах всех, изводилась вконец, вымирала... Божеское ли это было попущение, отзывались ли этим изморомволку овечьи слезки, как думал иной злопамятный обыватель, или просто фамилия увидела, что в нонешнее время не так и не с такими капиталами орудуют люди, или просто от слишком долгого и прочного благополучия выродился в ней всякий ум и талант, или засела ее совесть, или всё это вместе осадило и одолело ее,— только стали твориться в ней недобрые дела, от которых всем обы-

вателям стало тяжело, уныло и тошно жить на свете... В какие-нибудь два года с Пастуховыми случилось множество бед. Во-первых, старший брат, бывший по смерти родителя главою фирмы и державший все дела на должной высоте и в строгом порядке, вдруг стал «задумываться» и сошел с ума... Его отвезли в сумасшедший дом в Москву... После него осталось двое детей, оба пожилые и холостые, но один, горький пьяница, босиком и в рубище бегает по городу с ругательствами на свою семью, а другой, какой-то полуидиот, постоянно шатается по церквам и стоит где-нибудь в углу с закрытыми глазами... Их знал город и прежде, но почему-то не придавал значения ни ругательствам пьяного ни богомолью трезвого; теперь же, когда *вдруг ни с того ни с другого,* помешался, сошел с ума самый старший брат, глава фирмы, воротило, оба полуидиота обратили на себя всеобщее внимание, и в пьяном оранье одного, как и усердном богомолье другого, стали видеть и понимать предвестие чего-то дурного... Действительно, едва успел заступить место старшего брата средний, только что женившийся в Москве на богатой и засадивший своих идиотов-племянников по конурам, как вдруг молодая скончалась, неизвестно от какой болезни, скончалась вдруг, поболев часа два-три. Тут уж на город нашел страх и уныние, тем более, что эти беды прямо отразились на торговых оборотах... Они сразу уменьшились, упали; вдовец стал с горя пьянствовать, дрался и бушевал — и, наконец, не так давно найден в бане с перерезанным горлом: он сам наложил на себя руки... Дела стали; приказчики крали и разбегались, ужас и страх напал на всех жителей. Дом Пастуховых стоял мертвый, как могила, с запертыми воротами... Жители боялись пройти мимо этого дома ночью; многие из них слышали в такую пору какой-то жалобный стон, который будто бы летал вокруг дома... Главою фирмы и владетелем капиталов оставался младший брат, до такой степени напуганный предшествовавшими несчастиями, что только усилия местного духовенства и исправника могли отговорить его от поступления в

монашество...Худой, бледный, трепещущий чего-то и предчувствующий что-то недоброе, отправился он, вследствие всеобщего настояния, жениться в Москву... Но напуганные московские отцы и невесты отказывали ему, сторонились его, как чумы, и только с ужасными усилиями, наконец, удалось ему выискать невесту в Коломне, в бедной семье (чего не бывало с Пастуховыми), да и та поехала с мужем словно на смерть, дрожа и заливаясь слезами.

Мне пришлось быть в городке в ту самую минуту, когда ждали родов этой жены последнего представителя дома, ждали с напряженным вниманием, чуя в то же время, что опять что-то случится нехорошее. Голоса и вой вокруг дома Пастуховых слышались всё чаще и чаще... Идиот-пьяница как на грех вырвался и бегал по городу, неистовствуя пуще прежнего. Это уныние, этот страх, эти смерти, похороны, этот вой вокруг дома, призывающий что-то недоброе, о котором все думают и которого все ждут, до такой степени сильно повлияли на меня, человека, повидимому, постороннего, что в короткое время пребывания нервы мои сильно расстроились, и я, наряду со всеми обывателями, стал чего-то бояться, чего-то с тревогой ждать.

Удар соборного колокола, удар протяжный и унылый, однажды ночью, сразу дал знать всему городу, что «оно», это недоброе,— случилось...

— У Пастуховых несчастие!— колотя с улицы в ставню нашей квартиры, что есть мочи, кричит перепуганный голос.— Неблагополучно!.. Пожалуйте лекаря, скорея...

— Кто? С кем... господи помилуй!..— слышатся уж голоса на улице.

Но новый удар в колокол мешал слышать ответ пастуховского посланного. Не слышно ничего, кроме:

— Неблагополучно... Очень неприятно!..

— Господи помилуй! Помилуй нас, царица небесная!

— Сам или сама? С кем?..

Но опять нельзя разобрать, с кем «неблагополучно». Опять удар колокола по покойнике, и ветер, хлопающий

ставней, и стукотня бегущих ног, и опять где-то, не то на дворе, не то на улице, шопот и причитанье:

— Господи помилуй! Господи помилуй!

— Согрешили, грешные, пред престолом твоим, отче Макарие.

— Оох-ох-ох...

И колокол и ветер.

Такие сцены наверное бывали во дни падения Новгорода и Пскова... Умирала, и там и тут, идея, державшая город и народ...

Целую ночь я не мог сомкнуть глаз... К утру воротившийся доктор объявил, что умерла молодая жена. Роды были такие ужасные, что еще более омрачило всеобщее состояние духа. Носились слухи, что и *сам* недолго выживет.

Начался похоронный звон, толки о панихидах, выносах. Мы уехали в уезд и только там отдохнули от всего этого немного... Воротившись дня через три, я нашел в общественном состоянии духа сильный упадок...Покойницу похоронили с честью, но ясно увидели, что дому Пастуховых нечем держаться на свете... Видели, что тут совершается дело, которому не пособить никакими капиталами. Очевидно, «всё пойдет прахом»... *Сам* бросил все дела и тоже стал задумываться. Наживет недолго; кому всё это достанется? Приедут какие-нибудь «ахахи-блинники» из родни, заберут капитал, дом отдадут под солдат, а не то оставят размывать дождям и развевать ветрам и снегам! И при этой мысли жалость обывателю щемила сердце. Пастуховы так давно властвовали над ним, так давно грабили народ (как иногда осмеливался болтать иной злой язык) и так долго и неизменно хорошо всё это сходило им с рук, что горожане даже полюбили ловко обделывавший дела дом, и им жалко было, если всё это изведется прахом.

— Вот она, жизнь-то человеческая! Прах, тлен...— Всё это носилось в воздухе, в жизни городка,— и всё это делало летнее пребывание мое здесь не особенно веселым...

Кроме такого похоронного настроения, господствовавшего в городке, под самым боком у нас происходило нечто еще более неприятное, чем это похоронное настроение. Мы жили в доме, который представлял собою тоже обреченное на гибель чиновничье гнездо, как на грех одаренное непомерною живучестью, волчьею жаждою куска и поставленное обстоятельствами также в необходимость погибнуть измором. Главою этого дома была какая-то старая отставная надворная советница, госпожа Антонова; ей принадлежал дом, ей принадлежали какие-то деньжонки, которые она отдавала под проценты,— и вот вокруг этой женщины, пропитанной насквозь запахом жирных подачек, взяток, вообще запахом каких-то денег, падающих с неба, без трудов и хлопот, около этого центра, как около старого, гнилого пня, словно куча червей, копошилась тоже куча всякой родни, зятьев, свояков и проч. Это было действительно гнездо животных, кажется, родившихся уже с открытою, приготовившеюся глотать пастью. Никогда мне не приходилось испытывать более отталкивающего, даже отвратительного впечатления от физиономий, какое внушали мне физиономии почти всех представителей этой семьи. Редко, почти никогда нельзя чувствовать продолжительное отвращение даже к самым непривлекательным, к самым неискренним физиономиям; всегда, рано ли, поздно ли, вдруг проглянет черта, которая объяснит сразу и неискренность и отвратительность, и объяснит, как по крайней мере знаю я, всегда в лучшую, в добрую сторону. Ничего подобного не удалось мне приметить в этом гнезде надворной советницы: кроме чего-то наглого, плотоядного, в полном смысле этого слова, я никогда ничего не замечал ни в одном из этих обитателей гнезда... Всё это был здоровенный, плодущий народ, с лоснившимися, гладкими, как налимья кожа, лицами, с жадными глазами, толстыми подбородками и холодным взглядом (большей частью у них были черные глаза), который вдруг делался рабским, сверкая радостью голодной собаки перед куском мяса, когда кто-нибудь из должников приносил проценты, или

когда вообще где-нибудь близко пахло деньгами... Весь этот народ, несмотря на то, что был молод, уже успел проворовраться и быть под судом: так велика у них была жажда глотать, и так они были приготовлены десятками лет подьячества... Почти мальчиками, не учась, они поступали на разные должности и тотчас же принимались за свое дело. Но, должно быть, они были слишком щедро наделены инстинктами грабительства, или так же, как и Пастуховы, не знали, «как это делается» в нынешнее время,— только, проглотив по куску, тотчас же и попались... Тот слишком поторопился запустить руку в кассу на какой-то станции железной дороги, этот подделал, да тоже «не как следует», вексель, а тот прямо перекусил пополам какого-то мужичонка, над которым ему была дана власть и которого он должен бы был истощать медленно, как паук муху... Словом, все они попались на первом же глотке — и, имея понятие о свойстве их натур, потрудитесь, если можете, представить, что за зрелище представляло это семейство. Аппетит у них был раздражен в высшей степени; воспитание и среда развили его в ужасных размерах; тот маленький кусок, который им удалось отведать на своем веку, был хорош и манил, тянул отведать еще, да и ко всему этому самым раздражающим образом действовало на всех постоянное созерцание пахнувшей удачным грабежом маменьки... Запах этот злил их и ссорил между собою ежеминутно, и ежеминутно они боялись пикнуть, боялись громко сказать словечко, чтобы не потерять во мнении главы этого клоповника, и шипели поэтому друг на друга, как змеи.

Иметь за стеной такое соседство, знать, что тут, за нашей спиной, копошится что-то злое и жадное,— ощущение было в высшей степени неприятное и, вместе с унылым настроением духа всего городка, делало пребывание в нем далеко не отдохновением; повторяю, нас спасали только поездки за город, в деревню, после которых можно было на некоторое время позабыть все скучные и дрянные мелочи, окружавшие нас... Но и несмотря на эти поездки, я бы не мог прожить

здесь долго, если бы меня, в этом самом отвратительном гнезде госпожи Антоновой, не заинтересовала одна личность, жизнь которой навела меня на некоторые, в конце концов очень утешительные, относительно повсюду свирепствующего уныния, размышления.

С этим субъектом я и познакомлю теперь читателя.

II. Рассказ.

В один из первых дней после моего приезда в городок, когда мы, отобедав, отдыхали — один в одной, другой в другой комнате — и когда в доме, на дворе и на улице царствовала невозмутимая тишина, в пустом зале вдруг раздался голос:

— Иван Иваныч, а Иван Иваныч!

— Что вам?— отвечал мой приятель из своего кабинета.

— Да мне бы два словечка хотелось...

Говоривший, повидимому, стоял на улице или на дворе и говорил в отворенное окно.

— Что такое, какие словечки?— шлепая туфлями и направляясь к окну, говорил мой приятель.— Здравствуйте, отец дьякон!— Какие словечки?..

— Доброго здоровья... Да я было хотел...

— Вы вот что скажите прежде всего,— перебил его Иван Иваныч:— бросили вы пить или нет, и принимаете ли железо?

— Бросаю...

— Бросаете? Прекрасно... А железо?

— Да вот я об этом и хочу с вами потолковать.

— Что же такое?

— Да вступает ли?

— Что вступает ли?

Как ни прискорбно, а надо сказать, что приятель мой, попав в такую непроходимую глушь, как этот несчастный городок, и видя постоянную бедность и невежество самые поразительные, стал чувствовать себя и по своим знаниям

и по средствам неизмеримо выше всего этого люда и усвоил себе некоторую покровительственную развязность в обращении со всем этим народом. Не знаю, виноват ли он в этом.

— Что такое,— продолжал он, усаживаясь у окна,— что такое «вступает»? Что вы тут толкуете? Куда «вступает»?..

— Да железо-то... Точно ли, мол, вступает в это, как его...

— В кровь, что ли? В организм?

— Вот-вот... в это самое... Точно ли, мол?..

— Ах, отец Аркадий, или как там вас, отец вы или кто, уж не знаю... Сколько раз я вам говорил — да! да! вступает! И именно вступает в кровь! За каким же чортом, спрашивается, я вам его прописывал? Ну, скажите ради бога, за каким чортом?..

Отец дьякон кашлянул.

— Вы,— продолжал доктор, отделяя каждое слово,— вы пили, кровь у вас теперь — не кровь, а сусло... Понимаете... Сусло, а не кровь...

— Позвольте,— перебил дьякон:— господи помилуй! Да разве я об этом? Конечно, пьешь. Да нешто я об этом? Сусло! Я и сам знаю, что сусло.

— Ну, так что же тут, о чем же тут разговаривать? Принимайте железо — и всё!

— И то есть уж в самый корень вступит?

— Я не знаю, что это за корень... Вам куда надо-то?

— Да по мне бы в самую настоящую точку...

— Еще куда?.. В корень, в точку, еще куда?

— То есть чтоб в самую, например, в жилу...

Дьякон ждал ответа.

— Знаете, что я вам скажу, отец дьякон?— довольно строгим тоном заговорил доктор.— Так говорить нельзя... Помилуйте! Да этакого разговора сам чорт не разберет... Что это значит — в самую точку? Где самая жила, а где не самая? Ведь это — просто чорт знает что такое! Что такое вы говорите?..

Дьякон засмеялся.

— Чорт ее знает, в самом деле, плетешь языком не весть что...

— Ей-богу, ведь это невозможно!.. В точку, да в жилу..

— Ха-ха-ха!..— хохотал дьякон.

— Ей-богу, невозможно!..

После незначительного молчания, во время которого доктор, надо думать, смягчился, разговор возобновился вновь.

— Я вам говорю,— начал доктор спокойно и категорически:— железо вступает в кровь! раз!

— Так!

— Поправляет и укрепляет нервы!

— Два!— тоже категорически отчеканивал дьякон. Далее?

— Да чего ж вам еще?

— А в душу?

— Что в душу?

— Да в душу-то вступает ли?

Этот вопрос снова как будто встревожил доктора.

— Знаете, батюшка, что я вам скажу... Мне кажется, что вы — большой охотник разговаривать! Вы сначала попробуйте — перестаньте пить да полечитесь, а потом и увидите, что будет с душой...

— И возобновляет?

— Нет, отец Аркадий! Это невозможно! Это... Это... Так вы хотите, чтоб я вам душу возобновил, что ли? Так? Да?..

Доктор, очевидно, озлился.

— Да какой же мне, помилуйте,— тоже, повидимому, ощетинившись, заговорил дьякон,— какой мне расчет там нервы, эти самые, ежели оно не попадает в самую точку?

Доктор бегал по комнате в очевидном гневе и молчал.

— Никакого мне нет расчету его пить, ежели оно только обапола болезни ходит, там, в эти в нервы в разные, а в самую, значит, суть-то — и нет!..

— Нет! Ради бога, оставьте! Я не могу. Я не могу больше разговаривать так... Делайте, что хотите.

Дьякон замолк и кашлянул. Взволнованный приятель мой, большими шагами ходивший по комнате, вдруг повернул в мою и проговорил:

— Как тебе нравится такого рода разговор? Слышал?

— Да,— отвечал я.— Кто это такой?

— Не в том дело,— перебил меня озлобленный друг:— но представь себе, какова пытка, каждый божий день слушать объяснения в таком роде: «нельзя ли в самую жилу», «не пущает» — и так далее. Извольте их лечить!.. У одного не пущает, у другого какой-то, изволите видеть, растет в сердце горох... Что такое? Что за чертовщина? А это — порок сердца... так в Москве сказали,— горох, говорят...

Нечего сказать, любит провинциальный деятель, поймав терпеливого слушателя, порассказать о своем самоотвержении, терпении и о множестве других достоинств, которых не видят и не ценят. Добрые четверть часа слушал я эту похвалу собственным достоинствам моего приятеля, излагаемую им в виде фактов невежества окружающих,— невежества, переносимого им вот уж пятый год и за такое ничтожное жалованье (и об этом была речь). Наконец, он как будто устал, потому что остановился.

— Ты спрашивал, кажется, кто это такой?— вспомнив мой вопрос, переспросил он и, принявшись возиться с своими карманными часами, заводить их, прикладывать к уху, продолжал.— Это какой-то сельский дьякон. Теперь он под судом за что-то. Кажется, за пьянство — хорошенько не знаю. Когда мне с ними пускаться в откровенность? Н-ну, знаю, то есть по крайней мере слышал, что жена ушла от него и, кажется, где-то учится в родильном доме, или что-то в этом роде. Потом отлично знаю, что пьянствует и поминутно лезет с разными нелепыми разговорами, с точками с разными да с жилами. Надоел он мне ужасно!

— Иван Иваныч! а Иван Иваныч!—робко послышался опять голос дьякона.

— Как? Вы еще здесь?— совершенно утихнув и успокоившись, изумился доктор и пошел в залу.— Что вы тут делаете? Я думал — вы уже ушли.

— Не сердитесь бога ради, Иван Иваныч! Что ж такое! Мне надо разузнать, в чем дело...

— Я вовсе не сержусь,— мягко заговорил Иван Иваныч,— а повторяю вам, что так нельзя говорить, и всякий вам скажет то же.

— Ну, я больше не буду. Следовательно, на том дело стало — принимать?

— Что такое?

— То есть — железо-то, принимать, стало быть?

— Конечно, принимать...

— Превосходно! Стало быть, так и будет. Только я вас еще хотел спросить об одном,— робко прибавил дьякон.

— Сделайте милость, спрашивайте.

— Изволите видеть,— тихо, убедительно заговорил дьякон.— Теперь вы говорите порошки там, нервы, например, органы и всё этакое — ведь это физика?

— То есть как физика? Я не понимаю, что вы хотите сказать?

— То есть — материя, но не дух, вот как я думаю?

— Порошки-то не дух?

— Не порошки, а например, всё прочее, весь состав?

— А-а, ну, хорошо, ну, материя.

— Изволите видеть... даже и в «Русском Слове» не сказано прямо так, что, мол, это всё одно... Ежели бы так, то взять палку — вот тебе хребет, обмотал бичевкой,— нервы, еще чего-нибудь наддал — и хоть в мировые посредники выбирай: только шапку с красным околышем одеть...

— Ишь как у нас, отец дьякон-то! Остроты отпускает!

— Да ей-богу, ежели так-то.

— Продолжайте! продолжайте... Н-ну, материя? Ну?..

— Ну, а дух, я говорю, следовательно,— часть особая. изволите видеть?

— Положим, особая. Далее?

— А далее, вот я и сомневаюсь, чтобы оно на пользу было... например, для духа...

— Это, кажется, вы опять начинаете старую песню?— перебил Иван Иваныч, и, должно быть, так ясно выразил нежелание слушать эту песню, что собеседник его почти тотчас же и во всю мочь своего голоса заговорил:

— Нет! Ей-богу, нет! Иван Иваныч! Сделайте одолжение! Не о порошках...

Он как будто останавливал этими торопливыми и крикливыми фразами намеревавшегося уйти доктора.

— Как не о порошках? Ведь опять договорились до того, что «вступает» и так далее?

— Перед богом, не об этом! Куплю,— ей-ей куплю, сию минуту...

— Так об чем же в таком случае? Я, ей-богу, вас не понимаю!

— Два словечка! Позвольте, дайте мне досказать, я сию минуту объясню вам. Сделайте ваше одолжение!

Коротко и резко стукнул стул: доктор, очевидно, сел и решился слушать.

— Как материя,— с расстановкою и тоном отвечающего на экзамене ученика начал дьякон,— как материя имеет на свою пользу разные специи, так равно и дух их имеет...

И замолк.

— Всё?

— Всё.

— Очень приятно, по крайней мере — коротко.

— И так как...— начал было дьякон тем же тоном.

— Да ведь всё?

— Только еще полслова! Сделайте ваше одолжение! то есть чуть-чуть... И так как для тела, следовательно, есть разные порошки или там примочки, то для духа они пользы не дают. То, следовательно....

— То — что «то»?

— То, что дух имеет свои, например...

— Примочки?

— Примочки не примочки, а тоже средства... Порошки для тела, а для духа — надо другое... Вот какое дело! Я, как перед богом, вам говорю, сейчас куплю железа этого, а для духа-то нет!..

Надоело ли доктору слушать всё это, только он на этот раз не придирался к собеседнику, а довольно кротко сказал:

— Что ж такое для духа, по-вашему, надо?

— То-то и мудрено — «что»? Об этом-то и разговор.

— Ну, об этом вы посоветуйтесь с кем-нибудь другим, я тут уж — пас!

— С кем же мне советоваться! Да тут во всем городе ни один человек не знает, что у него есть дух и есть тело... Им бы только жалованье получать... Мне спрашивать об этом некого...

— Ну, и я вам тоже не могу помочь.

— А чтение, например? Как вы думаете?

Доктор барабанил пальцем по подоконнику и молчал.

— Ежели, например, основательное чтение?.. Ведь, я думаю, оно восстановляет? а? как вы думаете?

— Конечно...— совершенно рассеянно отвечает доктор.

— Ей-ей? Я так и думал!.. Порошки для тела, книги — для духа? Да пить перестану?

— Это-то самое было бы лучшее...

— Ей-ей, перестану. Будь я проклят! Вот как! а? как вы думаете? И порошки, например, и чтение, ан, может быть, и восстановится?

— Очень может быть! — вовсе не интересуясь этим разговором и думая о чем-то другом, пробормотал доктор.

— Ей-богу? Ну, и отлично!.. Иван Иваныч! будьте отцом родным! батюшка! — жалобно заговорил дьякон.

— Что такое?

— Одолжите книжечек! Сделайте милость!

— Какие есть, берите, хоть сейчас.

— Я сейчас, и железо сейчас...

— Заходите.

Скоро в комнату вошел тщедушный, худенький человек, в истасканном подряснике, и робко, на цыпочках, направился вслед за Иван Иванычем в его кабинет; проходя залом, он обернулся в мою сторону, и я увидел прежде всего крайне странные, не то восторженные, не то испуганные, даже сумасшедшие глаза, ярче всего выдававшиеся на худом, бледном, еще не старом лице, с жидкими длинными белокурыми волосами и маленькой бородкой, которую он постоянно щипал, пробираясь на цыпочках в кабинет. Тщедушное, робко согнувшееся тело, это больное, испуганное лицо и глаза, полные чего-то пугливого и неопределенно оживленного, производили впечатление чего-то жалкого и хилого.

— Вот всё, что есть, выбирайте!.. Вам какие книги надо?— спрашивал мой приятель, когда они очутились в кабинете.

— Да мне бы пофундаментальнее...

— Ну, вот, выбирайте... Вот журнал не хотите ли?

— Это всё мимолетное.

— А вам надо не мимолетного? да?

— Да уж, что-нибудь по... того,— поздоровей.

— Поздоровей?..— роясь в книгах, болтал доктор: —поздоровей вам? Не хотите ли взять вот Шлоссера: это, я думаю, будет довольно здорово...

— Это что такое — Шлоссер?

— История.

— Сделайте милость,— это мне в самый раз...

— Ну, так вот и берите...

— Мне бы только, Иван Иваныч, уж с самого начала... что-нибудь...

— Да вот, что тут? «Греки»... Вот тут с самого начала...

— Очень вам благодарен... То есть, как вы говорите — с самого начала? С самого начала только греческая история?

— Только одна греческая... А вам что же?

— А раньше греков нет ли чего?

— Разумеется, есть. Вот история Индии... Это раньше греков.

— А еще чего не было ли раньше?

— Уж я, ей-богу, не знаю... Да зачем вам?

— Да мне бы хотелось уж, чтобы начать, например, с самого корня...

— Опять самые корни?

— Да ей-богу, Иван Иваныч, что ж мне хватать верхушки? Уж ежели поправляться, так надо как следует. Вновь. С самого, например, с кор... с корня... Что вы смеетесь? Ей-богу, право... Что ж так-то...

— Да так, так... Только я не знаю, что ж бы такое?.. Не хотите ли «До человека»?

— Это — книга такая?

— Книга... Понимаете — до!.. Уж тут самый корень.

— Вот, вот, вот!— как-то даже сладострастно зашептал дьякон:—до! Это самое и есть — «до» всего еще?

— То есть — до всего на свете!..

— Ну, ну, ну... Это мне и надо... С самого...

— С самого, с самого!— Нате, берите!

— Ну, дай вам бог здоровья... Сейчас примусь! Вот это мне и нужно...

— Очень рад.

— Очень вам благодарен! А то что ж мне, ей-богу,— журналы там... Мне уж надо всё наново... Иначе что ж так-то? Уж ежели...

— Ну, ладно, ладно!

Поблагодарив и бормоча всё то же, то есть, что — «ежели поправляться, так надо не как-нибудь»,— дьякон поспешно, с явным намерением сейчас же приняться за дело, вышел из кабинета, перебежал зало и направился к бане, держа под самым носом развернутую книгу.

— И представь себе,— заговорил приятель, вновь появляясь в моей комнате:— ведь такие разговоры у нас с ним идут чуть не каждый божий день... «А вступает ли?», «а что душа», «в душу» — чорт знает что... Часа по два битых тиранит меня, а кончится ничем... В тот же вечер напьется и наделает разных гадостей.

— Он какой-то чудной!

— Пьет... куралесит,— дела расстроены, да и жена бросила,— ну, вот и хочет, «всё вновь»... То порошками, то книжками... Да изволите видеть, чтоб в самую жилу... в точку... Надоело. А что, не пойти ли нам погулять?

Скоро мы отправились за город и воротились очень поздно. Был душный летний вечер. Во время нашей долгой загородной прогулки меня не покидала мысль об этом бедном человеке, думающем вылечить свою душевную боль книгами и порошками. Что это за душевная рана? Что это за боль? Как? откуда нанесло ее на беднягу? Всё это очень занимало меня. Я решил непременно найти случай поговорить с ним, расспросить его.

III. Вечерком в глухом уголке.

Рассказ.

Два или три дня, следовавших за разговором под окном, я почти не видал дьякона. Он сидел в своей бане, должно быть, прилежно занимаясь чтением сочинения «До человека», сидя до поздней ночи, и только раз или два во все эти дни, и то на минуту, подбегал к окну спальни моего приятеля, чтобы задать вопрос и уйти...

— Хелиасты, Иван Иваныч, что такое?— спрашивал он.

— Хелиасты?

— Вот тут сказано: «*так же, как тысячелетнее царство для хелиастов...*»

— То есть, как же это — «так же»? Надо прочесть всю фразу...

Дьякон прочел какой-то очень сложный период, спотыкаясь на каждом шагу,— точно плелся он без дороги по какому-то изрытому полю, не зная, что сзади, что впереди...

По прочтении этой фразы доктор принялся соображать, а дьякон стоял и ждал молча...

— Чорт ее знает!— наконец, произнес мой приятель.— Да вы это просто пропускайте...

— Ну, уж что ж это — пропуск!..

— Ну, я не знаю... Читайте дальше, там будет видно...

— Гм!— сделал дьякон, помолчал и пошел.

В другой раз он поймал Ивана Иваныча в ту самую минуту, когда тот совсем было ушел на практику.

— Вот,— прямо начал он, входя и держа раскрытую книгу:— «*или, почему взрослое животное лучше новорожденного*?» Почему, Иван Иваныч?

— Что такое? Какое животное?

— Вообще, тут сказано, например, так, что яйцо, например... Да вот: «*или, что лучшего в новорожденном животном*?..»

— Дайте сюда книгу! Где это?

Дьякон подал книгу, указал и ждал.

Минут пять читал Иван Иваныч указанное место, перевертывая страницы вперед и назад — и наконец сказал:

— Ведь я так не могу — выхватить прямо из середки и объяснить. Чорт его знает, что это такое? Так нельзя!

— Гм!— опять сделал дьякон.

— Я должен прочесть по крайней мере несколько страниц, чтобы знать... Яйцо какое-то!.. Вы придите завтра после обеда, мы прочтем.

Дьякон помолчал, перелистовал несколько страниц и задал было еще вопрос:

— А что вот еще означает «комбинации форм»?

— Не теперь,— перебил доктор.— Я сейчас ухожу. Приходите завтра на целый вечер, мы всё это разберем.

— Ну, ладно... Уж и трудно же написано!..

— Ничего, после!..— торопясь уходить, говорил Иван Иваныч.— Приходите!

Дьякон помолчал, повертел страницы и пошел, сказав, впрочем, что придет, «непременно придет».

В назначенный для ученого разговора вечер произошло, однако, совсем не то, что должно было произойти. Отправив-

шись по обыкновению за город, мы совершенно забыли, что «сегодня вечером» должен прийти дьякон, и спохватились только тогда, когда на дворе была почти ночь.

Спохватившись, мы торопливо пошли домой.

В комнатах нашей квартиры было темно, окна отворены, и со двора доносился какой-то шум.

Оказалось, что «*ругаются*»!

В будничной жизни глухого русского уголка нет, как мне кажется, других более тягостных минут в течение целого дня, как те, которые определяются словами: «посидеть вечерком на крылечке», «отдохнуть вечерком»,— словом, побыть *так*, ничего не делая, несколько вечерних часов. Везде, где есть настоящая жизнь, хоть и трудная и неприглядная, в самых глухих уголках европейских больших городов, на каторжных фабриках, вечер — действительное время отдыха, потому что день — действительно время тяжелого труда, время устали, и как ни труден этот рабочий день, но вечер весел или по крайней мере тих... Совсем не то в глухом русском уголке. Притворяясь по чьему-то приказанию городом, уголок заставляет невольно притворяться всё, что ни живет в нем. Притворяется начальством — исправник и всё чиновное, всё распоряжающееся,— притворяется потому, что не над чем в сущности начальствовать и нечем распоряжаться. Притворяется учитель, знающий очень хорошо, что наука его плоха и проку от нее мало, и т. д. И вот всё это, не могущее по совести не сознать, что прожитый день был — «одна канитель», «помаявшись» этот день кое-как, чувствует вечерком, когда прекращается эта «тягота маяты», потребность облегчить душу от ига призрачной деятельности, призрачной жизни... Повсюду — тихо, везде заперты ворота и ставни, нигде не видно огня, и кажется, что глухой уголок спит мертвым сном. Ничуть не бывало — напротив: везде в темных спальнях, на «крылечках», куда обыватель выполз «посидеть» после ужина, идет шопотом, во имя потребности облегчить душу, сваливание душевной дряни друг на друга... «Завез в какую гибель!—

шепчет молодая жена.— Да что это? Да лучше я в монастырь уйду. Али у меня женихов не было?»... «А из-за кого бьюсь? Из-за вас, чертей, всё ж и бьюсь-то!.. Был бы я один,— сердито шепчет отец семейства,— так стал бы я тут торчать, в этакой пропасти?» Там, в темноте кто-нибудь пьет и проклинает свою участь; в другом темном, как смоль, углу кто-нибудь пьет и молчит... И везде за этими запертыми ставнями, в темных душных спальнях, под темным душным небом, на крылечках — уездный люд пилит друг друга, пилит тихо, чуть слышно, как чуть слышно зудит пила, которою перепиливают человеческие кости.

Вот именно такого рода «отдохновение» происходило и на нашем дворе, где на крылечке отдыхала после ужина вся подсудимая семья госпожи Антоновой... И увы! в общем шипеньи этих зверей друг на друга громче всех раздавался голос дьякона, голос, в котором не было ни тени недавнего подобострастия и робости. Напротив, нагло, грубо и до последней степени пьяно звучал он теперь, ругательствами обрушиваясь на всех и на вся...

— Что это? — заслышав знакомый голос, произнес Иван Иваныч, появляясь в моей комнате.— Пьян?

Чтоб убедиться в этом, он стал прислушиваться. Дьякон ругал госпожу Антонову и зятьев, благочинного, свою жену, книги, журналы, словом — всё, в ужаснейшем, невообразимом беспорядке осаждавшее его пьяную голову...

— Акушерство! — кричал он.— Акушерство! Нет, взять бы хорошую дубину... Как-кая силоамская купель, скажите пожалуйста... Эх, вы-ы... акушерки...

— Отец дьякон!— перебил его речь Иван Иваныч.— Вы что ж это? Опять?

— Да!— твердо и вызывающе отвечал дьякон.

— Отлично!

— Превосходно! А вы полагали, что дурака нашли? Перед обедом и перед ужином по порошку?.. На-ко — вот, съешь!

Сконфузило это Ивана Иваныча. Он так и не ответил ему ни слова, а стоял и молчал.

— Эх вы-ы,— продолжал между тем дьякон:— ученые... Что ни спросишь — ничего не знаете... Какого вы чорта смыслите!.. Порошки... Дубье вы со всеми вашими книгами... У человека душа болит, а вы, прохво...

— Затворите окно!— сказал Иван Иваныч, очевидно, совершенно разгневанный.— Пусть его! Это постоянно... А завтра опять прилетется...

Долго за запертым окном слышался голос ругавшегося дьякона... «Эх вы, акушерки-молодки...» «Порошков бы вам, ворам, принять железных, авось вы перестанете красть...» «Хелиасты поганые!..» «Почитай-ко, что у Бокля сказано — свинья!.. «Ох, если б Бисмарк вас распалил!..»

— Только уж больше я с ним разговаривать не буду! Нет!— говорил Иван Иваныч.— Нет, это мне надоело...

На следующий день, как того ожидал Иван Иваныч, готовившийся отделать дьякона за вчерашнее, последний не показывал глаз. Не было видно его и вечером, причем семейство Антоновой ругалось одно, собственными средствами. И только через два дня, вечером, я снова увидел его.

Он был худ, еле жив, грустен, болен. Долго сидел он молча на приступке дверей своей бани, не отвечая ни одного слова на остроты, направленные из полчища отдыхавших на крылечке подсудимых, хотя последние, видя, что он совершенно бессилен сегодня, направили на него весь запас ненависти, которую должны бы были сегодня израсходовать друг на друга. Вследствие этого обстоятельства они были очень веселы.

— Принять бы и мне порошок!— говорил кто-то на крыльце.— Авось, меня из-под суда освободят...

— Что ж, попробуй. Вон отец дьякон принимает... говорит — совсем, говорит, поправлюсь...

— Да, ловко он третьего дня поправился!..

— Не ту положил препорцию... Надо бы политоф — и порошок, политоф — и порошок. А он политофов-то выпил штук шесть, а порошок-то один... Вон оно и...

— Да-да-да! А то бы и ничего?

— Чего ж лучше! Вполне облегчает... Даже так, что и жена опять возвращается к мужу...

— О-о-о! Какое чудесное лекарство...

— Не веришь! Ей-богу!.. Отец дьякон! Сделайте милость, скажите... Что ежели, например, заняться чтением и, например, штофа четыре...

Смех не дает говорить. Долго хохочут. Дьякон молчит и трет лоб.

— А что, супруга опять же к вам возвратится?

— Чего-с? — сиплым голосом спросил дьякон.

- Супруга, говорю, возвратится к вам?

-- А зачем ей в этом хлеву быть, позвольте узнать?

- Вы, значит, это ее колотили, чтоб она в хлеву не была!

— Значит, из хлеву гнали по шее-то ее?

— Да замолчите ли вы, мерзавцы, наконец? — вне себя вдруг больным, надорванным голосом заговорил дьякон, вскакивая.— Что это такое? Когда меня господь вынесет отсюда!.. Господи! Бил, бил я! Мерзавцы этакие! От этого я и боле-ен! О-о! господи! Да это — омут!

Хохот не прекращался. Омут чувствовал, что он — действительно омут и, сознавая в себе это качество, был безжалостен.

— Колотит жену по шее, а сам болен! Какая удивительная болезнь!

— О, господи! Изверги!..

— Ха-ха-ха...

- Отец дьякон! — не вытерпел я.— Подите сюда, пожалуйста!

Участие постороннего человека сразу прекратило сцену. Омут ужасно пуглив: заслышав чей-то чужой голос, увидав чье-то постороннее вмешательство, он сразу струсил, притих и помаленьку-помаленьку стал расползаться.

— Это вы животные!— кричал дьякон, направляясь ко мне.— Не понимаете, что вы — свиньи, я-то знаю!.. Вот уж именно животные... Да помилуйте,— торопливо вбегая

ко мне в комнату, весь бледный и дрожащий, продолжал он. — помилуйте! Я и болен от свинства, от чего ж это я лечусь-то, как не от свинова элементу? Господи помилуй! Да не только бил, невесть что творил! Вспомню только — и моря водки мало, чтоб залить это... А они, негодные, еще разжигают...

— Отдохните, отец дьякон! Сядьте!..— сказал я.

— О, господи... Я и не поздоровался!.. Да что! Совсем пропадаю... Ей-богу... Ничего не поделаешь!

Он сел к столу, устало наклонив голову и тяжело дыша.

— Что ж такое?

— Да совести ужасть сколько надо... а душа-то у нашего брата свиная, вот и разрываешься на части!.. Это зачем я порошки требую? Всё для этого!.. И книжки тоже, всё для того же...

— Для чего?

— Да душу-то хочу свою из свиной в человечью обратить... вот для чего!.. Ну, и начнешь... Индия, обезьяны какие-то... горшки подземные... нет, не убавляет свинова элементу!.. Примешься лечиться, пьешь-пьешь, и перед обедом и после обеда, и вдруг пожелаешь сделать гадость — ну, и конечно, и всё бросишь и... вон как третьего дня — напьешся и проклянешь всех... О-ох! странное дело — совесть! И сколько она теперешнее время народу ест!.. Страсть!

— Как теперешнее время, а прежде?

— Прежде этого не было. Это только теперь стало.

— Будто?

— Верно вам говорю. Что такое новое время, позвольте узнать, как по-вашему?

— Говорите — вы!

— По-моему так — правда, во всем, чтобы по чистой совести, вот!.. А прежнее — кривда, кривая струя... вот как... Ну, и помираешь!..

— Почему же?

— Да не прям, а крив, и душа крива, и совесть — туда-сюда, и к свинству любовь...

— Будто любовь?

— А то что же! И я это всё вижу, и ничего сделать не могу... А отчего? От совести! Совесть проснулась в душе и, как ключ под навозной кучей, развезла эту кучу по всему двору, стало всё расползаться — грязь! Умирай! И мрут, страсть как мрут...

— Отец дьякон! — перебил я его.— Не можете ли вы рассказать мне, как всё это случилось с вами?

— Как случилось? — переспросил он и задумался.— То есть, как совесть-то проснулась и как куча-то расползлась?

— Да! Всё, что было с вами?

— То есть, вообще про болезнь?

— Ну, да!

— Извольте!..

— —

—...Видите, как я заболел-то... Видите, как... Надо вам сказать, что случилось это со мной годов пять тому назад. Был я в то время не таким прохвостом, как теперь, не пьяницей, не распутником, не запрещенным, был я тогда, как следует быть отцу дьякону: степенно, солидно ходил в рясе, имея молодую, здоровую жену, и читал с полным удовольствием многолетия — словом, жил, и во сне не видал стать пропащим человеком... Было у меня в детстве, в семинарии, когда я был мальчиком лет семнадцати,— было у меня что-то грустное, тяжелое на душе, что-то как будто садняло... Тянуло меня куда-то прочь; но что-то другое, чего я еще не знал и что потом оказалось свиным элементом, держало и не пускало... Садняло, говорю, от этого на душе, и так даже было однажды, что купался я, схватила меня судорога, пошел я ко дну и думаю: «Вот-вот, этого мне... Как хорошо — не жить!..» Ну, вытащили. Помню, принесли меня на квартиру чуть живого — и, как на грех, в ту самую минуту приехал из деревни мой отец, тоже дьякон, старый-престарый... Как увидел я слезы его (когда он узнал, что я тонул), как представил я всю его жизнь, с пирогами, крестинами, со всеми мучениями его ни с чем не сообразной жизни, мне

стало так совестно, то я хотел умереть, что и сказать не могу! И не то, чтобы жить мне захотелось, или жалко стало отца — нет: у меня только перестало саднить на душе и перестало меня тянуть куда-то, и мне представилось, когда я припомнил жизнь отца, что и мне почему-то нужно тянуть ту же лямку, что она для меня почему-то неизбежна... Мне стало покойно, и я стал тянуть эту лямку... Первым долгом женился я так, кой-как; любви тут не было никакой, а свинство было. Когда я увидал невесту,— мне не понравилось ее лицо. Какая-то тень мечтаний зашевелилась у меня в голове: не такую невесту представлял я своею... Но это было не долго... «У нее дом!» — сказали мне, и мне стало легче... И стало мне легче, и пробудилось во мне что-то еще: не понравилось мне у невесты лицо, глаза, но стали нравиться мясистые плечи, шея белая и толстая... Я вам говорю уж всё по чести.

— Пожалуйста...

— Уж что ж... Я даже не говорил с ней, а уж чувствовал, что могу обнять ее, и — что-то жадное приятно текло в крови... словом, свиной человек преоборол и победил... Это — первое. Второе явление свинова элементу было в посвящении в дьяконы, и тут на первом плане более важным и существенным казались мне такие вещи, как то, что мне достается «дом» и «сад», что доход хорош, чем то, что налагает на меня сан, чем мои нравственные обязанности... Помню, когда посвящали меня, мне пришло в голову: «Не грех ли это? Не бессовестно ли?» Но дом да сад, да жирный бок жены... он представлялся мне во время посвящения, в церкви... упругий, молодой бок этакий — и сомнения исчезли... Видите, как было мало совести-то у меня! Да у всех-то больше ли ее было? Всё, что жило тогда вокруг меня, было воспитано уважать дом, землю, деньги больше, чем правду своей души... «По крайности дом, по крайности деньги» — говорил всякий оправдывая какой-нибудь, глубочайший проступок против своей совести. И никому это неказалось удивительным. Теперь пошло как раз на выворот... Ну, да что...

буду рассказывать как было!.. Вот как попрал я таким манером свою совесть-то, стал я жить поистине припеваючи. Правда, когда я ехал с молодой женой после посвящения в село,— случилось со мной что-то вроде прежнего: засаднило будто опять. Оглянулся я так-то на нее (сидели мы в телеге),— и думаю: зачем? Хочу сказать ей что-нибудь — и вижу, что нечего... потому, что совсем чужой человек со мной сидит... Хотел подумать об этом, тяжело как-то стало, страсть как тяжело, заломило во всех суставах... взял и обнял ее... и легче... Это случилось только раз. А потом, как только приехали, устроились, всё пошло как по маслу. Мой начальник,— отец Иван, священник,— сильно успокоил меня и сразу установил меня на настоящей точке... Руб, гривенник, «бумажка»— словом, деньги во всех видах и качествах: это был его бог, это была его подлинная вера, надежда, любовь и софия-премудрость — всё! Он, отец Иван, есть не более, как кошелек,— я думаю, он и сам так представлял себя — кошелек одушевленный. Это был кошелек. да и сам он, если не считал себя кошельком, то не отказался бы от этого прозвания, а вся вселенная, всё. что есть между небом и землей, всё это не более, как вместилище разного рода крупных и мелких денег, которые частию должны перейти в кошелек отца Ивана. И как только какая-нибудь монета, вращавшаяся во вселенной, попадала к нему, он был счастлив и доволен, и цель его жизни поддерживалась как нельзя лучше. Любо было смотреть на его маленькие глазки, когда в руках его оказывался руб, гривенник... Он сам был маленький, грязненький, толстенький и неряливый человек; но, когда ему попадала бумажка. всё грязно и сало и масло, которыми он был пропитан и пахнул, таяло, сверкало и расплывалось от тепла душевного. Уже одна эта искренняя радость при виде денег необычайно успокоительно действовала на меня: миросозерцание делалось определенным, особливо если принять в расчет, что разговоры отца Ивана, разговоры искренние, без сомнений и колебаний, тоже были исключительно о д ньгах и действовали по-

этому не менее сильно... «Вот он, червь-то!» — говорил он, пряча рубль, полученный с мужиков за молебствие против червя, и, добродушно улыбаясь, звонким поворотом ключа запирал его в столик. И мне было так легко, когда я глядел на него в это время. В самом деле, что же могло выйти из всей истории о черве? Кто прав в ней? Мужики ли, которые служили молебен, или отец Иван, запиравший рубль? Разумеется, он... Я теперь ни за что, кажется, не сумею пересказать вам, как он изощрил свой ум на то, чтобы знать, видеть, где и как и у кого можно получить копейку... И как он был приспособлен достать ее!.. Как он извивался перед помещиком, как грустно упрекал мужика в нерадении к храму божию, как искусно притворялся перед начальством, выпрашивая пособие на учебные принадлежности, как добродушно и ядовито улыбался, запирая в столик деньги, полученные от барина, как самодовольно поглаживал бороду, когда растроганный мужик, радея к храму божию, целый день возил, например, из лесу дрова на двор к отцу Ивану. Всего не перескажешь; но по совести скажу, что этот человек, с такими определенными, непоколебимыми взглядами на божий свет, как на рубль или гривенник, а главное — искренность этого взгляда, произвели на меня самое успокоительное впечатление. Мало-по-малу я стал терять возможность иначе смотреть на белый свет: всё устроено, чтобы нам получать, и не нам одним, а всем. Тревоги этого получения — труд, а жизнь — это отдых с женой, еда, сон... Вот и всё! Положение мое в денежном отношении было недурное: у жены был дом и деньги; жили, мы одни, потому что вдовый отец ее пошел в монастырь доживать свой век. Жажды к копейке у меня не было, да я и не нуждался в ней... Я даже мог, как бы сказать, либеральничать над теорией отца Ивана,— но что теория эта настоящая, я не мог, или перестал, сомневаться.

Стало мне очень покойно...

Любо мне было, завалившись с женой на кровать, проспать до утра, потом отправиться с требой, поесть, попить

и воротиться с деньгами... Серьезно вам говорю — есть, знаете ли, жрать — было приятно. Выпьешь водки, поешь и ляжешь... Вот какое животное... Разговаривать идешь к отцу Ивану — и тут тоже хорошо проводишь время... Сидит какой-нибудь гость, с загорелым лицом, с талией, перетянутой ремнем, человек, очевидно, практический (у отца Ивана знакомые всё — практичные люди), и ведет какой-нибудь разговор,— ну, например, такой...

— И стал он, как полая вода, ездить на лодке по моему лугу и рыбу ловит... Думаю, ведь, луг-то мой... да и вода-то, стало быть, хошь она и полая,— тоже моя, ежели она на моей земле, а следовательно, и рыба ведь тоже моя... Так ли я говорю?

— Тва-ая! чистое дело, твоя! — глубоко убежденно вторит отец Иван.

— Н-ну,— продолжает собеседник,— ну, судари мои, думаю — ведь надо бы мне с него взыскать?.. За рыбу-то... Думал-думал — нет! Поймать ежели — насильство!.. Честью говорить — не даст ни копейки!.. Что же ты думаешь?»

Замирали мы с отцом Иваном в такие минуты. Ожидаешь какого-то чуда, чего-то восхитительного... А восхищал нас процесс поимки рубля, который, повидимому, совершенно не дается...

— Что ж ты думаешь? Ведь придумал!..

Тут обыкновенно рассказчик останавливался; он знал, что доставляет нам удовольствие, что длить это удовольствие — вещь приятная, и припостанавливался. Вся потная от жару и от чаю, попадья наливала новые чашки, батюшка вскочил и захлопнул дверь, чтобы не мешали цыплята, и всё приготовилось слушать, у всех настоящая жажда, даже в горле садит от предстоящего удовольствия. Наконец, рассказчик начинает, но не сразу.

— Думал, думал,— говорит он опять,— ничего не придумал, не выходит! Так ежели взять — попадешься, а так — промахнешь!.. Что тут делать?.. Советовался там-сям...

заплатил одному адвокату три рубля... Помямлил-помямлил — путевого ничего нет... Погоди ж, думаю!..

Опять перерыв, с самым напряженным ожиданием.

— Взял я...— по словечку, точно по золотому, даря нас, медленно и отчетливо говорил рассказчик,— взял я и засадил луг-то яблонями... пять яблоночек посадил...

— А-а-а-а...—шипит отец Иван, прищурнвая глаз и догадываясь.

— И вышел у меня,— тоже шопотом, тихо-тихо и тоже прищурнвая глаз, захлебывается рассказчик,— и выш-шел у меня — сад!

— Хха! — точно к студеному ручью припадая в жгучей жажде, издает отец Иван.

— Да как пришла полая-то вода,— возвышая голос с каждым следующим словом, продолжает рассказчик,— да как поехал он, сударн вы мои, по лугу-то лодкой, и наткнись на дерево, да и сломай!..

Это слово рассказчик крпчит, потому что это означает победу...

—Ну, и...

Рассказчик не продолжает. Мы и так уже понимаем в чем дело. «Ну, и...» это значит: ну, и подал к мпровому, что в фруктовом саду поломано деревьев на сумму, примерно, до полутораста рублей пятидесяти трех копеек...— и т. д.

Договарнвать этого нечего и незачем.

— И много ли ж?— спрашивает отец Иван.

— Пять-де-сят рублнков!..

— Барзо!— говорит отец Иван.

И смеемся мы потом за чайком довольно весело. Любо нам толковать о том, как «*он*» не хотел платить, вертелся, изворачивался, а всё-таки заплатил... Любо было знать, что мало того, что заплатил, да и еще сколько денег извел — беда!.. Иной раз — верите ли?—вспомнишь теперь, так просто страшно!.. Точно разбойники собрались или волки — такие у нас бывали зверпные разговоры...

— Да заплатит ли?— спрашивает отец Иван.

— Запла-атит.

— Да есть ли деньги-то у *него*?

— Пятнадцать тысяч в банке!

— Справку, что ли, делал?

— А то как же? Известно, справился...

— А ну, как упрется?

— А в острог не хочешь? Ведь он — надворный советник, неужто захочет на старости лет под арестом сидеть? Отдаст!

— Много ли ты с него кладешь?

— Пятьсот!

— Ничего... Хорошо, как отдаст-то...

— Отдаст! Подведу под обух, так отдаст!.. У меня шрам-то, как ударил, посейчас цел... Отдаст!

— Дело хорошее!..

Вот таким-то родом зверинствовали мы. И говорю вам, что в это время по совести, потому что совесть-то моя оказалась свиною, по совести полагал я, что только рубль — настоящее дело. Что только кусок в желудке да жена ночью рядом — настоящее удовольствие, а всё остальное — *только так*... Как ни совестно, а скажу вам, что и на свои служебные обязанности я смотрел только так... Для виду, казалось мне, устроена школа, ибо чувствовалось мне, что никакой науки не надо, и всё это — средство только «получить со школы» что-нибудь. «Только так» разъезжает посредник и другое начальство, а что крестьянин, мужик, работал, воротил и зяб, так это мне казалось вполне законным. Я ни капельки не думал об этом, потому что мужик так был сам пропитан сознанием своих обязанностей, что не давал труда подумать о нем, особливо человеку с такими свиными наклонностями, как у меня. Я не приневоливал его давать мне свои деньги, своих кур, свои пироги, не приневоливал его служить молебен от червя; он не обижался на меня, если молебен не помогал ему. Отслужив и получив с него деньги, я, в случае неудачи, ничуть не чувствовал на душе

укора, потому что ни разу не слышал я от мужика упрека себе в этой неудаче моей молитвы. Напротив, он, мужик, приписывал неудачу своему греху, считал себя виновным, недостойным милости божией, а я, дьякон, вместе с отцом Иваном, — мы ходатайствовали за него.— «Не умолили царицу небесную!» — говорил съедаемый червем крестьянин.— «Да,— грустно говорил ему отец Иван,— прогневался на вас господь, и отчего? — прибавлял он. — Всё оттого, что не радеете к храму божию. Ты бы вот, ежели бы, конечно, был в вас бог, взял бы да подсобил когда-нибудь отцу-то твоему духовному. Ан бы и зачлось у бога... А то вот тогда только и приходите в сознание, когда уже господь совершенно разгневается и нашлет кару».— «Это верно!»— говорит мужик.— «Ну, то-то и есть, поди-ко вон да перевози мне дубки из Егоркиной рощи, ан и легче будет».— «С моим удовольствием!» — говорит мужик, и действительно с великою охотою принимается возить дубки, веря, что через это он угождает богу. Поглядишь на эту непритворную охоту, желание возить дубы и ворочать камни для тебя, посредника между деревней и небом, и право поверишь, будто всё это так и надо.

Коротко вам сказать, через пять-шесть лет и совесть и сердце мое сильно позатянулись толстым слоем равнодушия ко всему... Уважать я уже почти никого не уважал, зная, что почти все плутуют, норовят поддеть друг друга, чтобы больше захватить самому. Был доволен, что и мне отведен на земле участок и дана возможность не оставаться с пустыми руками. И более не думал ни о чем и не верил ничему, что не было простым свинством... И в такой-то девственной душе вдруг проснулась совесть... Не чистое ли это наказание божие?

IV. Учительница.

— Случилось это совершенно неожиданно. Еще бы годик — другой, и на моей совести наросла бы такая кора, которой не прошибить бы никакими пулями. Но вышло иначе. Дело

произошло самым простым манером. Приехала к нам в село учительница в земскую школу, госпожа Абрикосова. Фигурка из себя довольно поджарая, хлябковатая... и *из новых*. Очень это нас смешило с отцом Иваном. Привыкнув смотреть на все людские дела и помышления, как на средство получить кому-нибудь с кого-нибудь рубль, мы не могли без смеха видеть того, кто думал иначе. Кроме того, всё *новое* само по себе нам уже казалось глупостью. У нас были примеры помещиков, затевавших в своем хозяйстве новые порядки и кончавших разорением, при всеобщем смехе соседей и всех опытных людей. У нас были перед глазами тысячи нововведений правительственных, которые оканчивались ничем, или подтверждали только нашу теорию. то есть нововведение было *только так*, а суть состояла в умены, во имя этого нововведения, как можно больше получить пособий, прибавок, разъездных, подъемных и, наконец, награду,— конечно, если можно, денежную. *Только так* смотрели мы и на крестьянскую школу. «Всё рублнков пять дай сюда» — говорил отец Иван, определяя этими словами и цель существования школы и личные к ней отношения. Судите теперь, как было нам смешно смотреть на госпожу Абрикосову, которая на наших одеревянелых, свинцовых глазах стала добиваться чего-то от сельского общества, суетилась, бегала из угла в угол и роптала. Очевидно, она хотела произвести какое-то нововведение, а мы, глядя на то, как к ней относилось сельское общество, тоже смотревшее на ее нововведение *только так*, как оно надувало ее и сердило, могли только хохотать, сидя за чайком, и удивляться вновь прибывшей учительнице.

— Получала бы себе свои десять рублей да сидела бы смирно,— говорили мы.

— Чего еще?— говорил отец Иван.— Десять рублей — хорошие деньги!

— Еще бы!.. Задаром-то!..

— Это и я бы, пожалуй, взялся так-то... Право... да что же! — говорил отец Иван.— Всё — *дай сюда*!

Вот этаким манером смотрели мы на госпожу Абрикосову. Кроме того, и из себя она, как я уже говорил, была не очень, чтобы... Так что вообще — была она у нас в полном равнодушии.

Не помню, как, когда и по какому случаю, только однажды зашел я к ней. Общество отвело ей сырую и разоренную избу; ни лавок, ни скамеек не было, ничего еще не приготовлено, хотя давно было всё обещано. Застал я ее в таком виде: сидит на полу,— разостлан платок этакой, ковровый, на полу,— закутана от холоду в какие-то тряпочки, а кругом ее штук десять ребят — и мальчики и девочки. Тоже укутаны кой-чем; должно быть, это госпожа Абрикосова их укрыла, потому тряпки-то не деревенские были. Сидят они таким манером и учатся. «Что вам, говорит, угодно, отец дьякон?»— «Я мол *так*». — «Ну, извините, говорит, теперь мне некогда». И продолжает. Это меня озадачило. Всё же таки, как бы там ни было, пришел человек, очевидно, в гости и этак... Хороший человек, по-нашему, сейчас бы разогнал всех этих мальчишек и девчонок, сейчас самовар бы, да перед чаем по рюмочке. А тут как-то довольно сухо и этак... неприятно... Даже я заскучал от этого. Сел, сам не знаю зачем, на пол и сижу. Сконфузился я весьма. Так ведь что ж вы думаете? Битых два часа ни словечка с гостем не сказала — всё учит. Толкует, толкует, раз двадцать одно и то же повторит, да рассказывает-то всё что-то непонятное. Утомился я, себя не помню. Голод стал чувствовать; захотелось закусить, водочки, селедочки, на желудке ворчит, а она всё — ду-ду-ду... Встать уйти — не могу, уж очень я сконфузился от приему, а слушать устаешь, не привык долго быть без угощения! Просто, смерть! Разломило всего, в боках боль, пот!.. Такая меня взяла досада на ребятишек на этих — так бы всех и разогнал по шеям. Наконец, уж кое-как кончили.— «Ну, говорит, идите теперь по домам, а вечером опять приходите, кто хочет, — сказку буду читать!»— «Все придем!»— закричали и стали с ней целоваться, говорят: «милая Марья Васильевна», «желанная». Точно родная

семья. И это мне очень неприятно показалось, очень нехорошо. То есть, хорошо-то хорошо, я вижу, что так и надо, а н-неприятно как-то... И даже как будто не в душе, а на желудке у меня стало неприятно; у меня тогда всё на желудке больше обозначалось. Что-то вроде как саднит... Ушли все.— «Вот теперь, говорит, пожалуйте ко мне!» Пошел. За перегородкой стол и кровать. На столе книги. Окно всё в снегу.— «Вот, говорит, тут я сама работаю!» — «Дурное, говорю, у вас помещение. Вы бы, говорю, сударыня жалобу *на них* (на мужиков, конечно)». Засмеялась. Стало мне несколько легче. Оправился я, почувствовал в себе развязность, говорю:— «Да, в самом деле, что *на них* смотреть?.. *Им*, говорю, смотри в зубы-то!.. Вот как приедет посредник да разузнает, как следует, так и явится всё. Нет, сударыня, говорю, тут без палки ничего не будет». Смеется всё. А у меня еще более прибавилось развязности, и стал я в юмористическом этаком роде описывать ей, как мы христа славим; изобразил этак ей, что вот мол и в нашем духовном деле нельзя без этого обойтись. Придешь к иному, отославишь — хвать, в избе никого нет: хозяин спрятался, за дверью где-нибудь стоит, вытянулся.— «А, говоришь, друг любезный, ты что ж это так-то почитаешь отца своего духовного!» — «Прости, говорит, батюшка, ей-ей ничего нет». А между прочим, курица по сеням бегает, что уже явный обман... Естественно — ухватишь курицу и уйдешь; только таким манером с ними и можно.

Излагаю я это всё в юмористическом этаком виде, в насмешливом, веселом тоне, и вижу: таращит на меня глаза и уж не смеется.— «Неужели, говорит, это правда?»— «Истинная правда», говорю,— да и еще ей этаким же манером, в юмористическом же, в этаком игривом тоне, изобразил ей несколько шутливых анекдотов. Заключение вывел ей такое, что смотреть *им* в зубы — невозможно, что надо с ними не очень, чтобы тонко... И вдруг, не давши мне окончить,— «батюшка, говорит, да ведь вы проповедуете прямой разбой!..» И встала вся зеленая.— «Это — денной грабеж»,

говорит. И забегала по горнице. У меня в зобу ровно кол засел от этого.— «Как разбой?» Разинул я рот и не понимаю. Главное — в совершенно шутливом и юмористическом тоне происходил рассказ, и так неприятно поразить человека, с этакою неделикатностью прямо ему, можно сказать, в морду.— «Как, говорю, разбой?» — «А как же, говорит:— вы проповедуете просто грабеж. Рекомендуете мне жаловаться посреднику, чтобы с них взыскать силой — мне, которой они из последних копеек платят жалованье, когда, говорит, им приходится работать, работать на всех, платить в сотни мест, когда еще отец их духовный придет и возьмет последнюю курицу. Неужели же это не денной грабеж?» — «Как же иначе-то? Как же, каким манером, говорю, получишь за труды? Ежели человек за свои труды не получает, то каким же родом иначе? Следовательно, говорю, если описывают, по приказанию начальства, имущество неплательщиков — и это грабеж? Да ежели бы не этаким манером, так и вы бы, говорю, вашего жалованья, сударыня, не получили вовеки. Ежели бы, то есть, без понуждения...» — «Да неужели ж, говорит, вы думаете, что у меня руки подымутся взять с них хотя медный грош! Я сама готова отдать им всё, что у меня есть,— и это жалованье и всё, что я заработаю. Брать с них! С этих босых детей, с этих отцов, которые прячутся за дверь от духовного отца! Брать с них!.. Да неужели это возможно? Неужели серьезно, в самом деле, вы можете схватить курицу? Вы шутите, батюшка, не правда ли?..» — «К прискорбию, говорю, хватаем и кур... когда видишь уклонение...» — «От чего уклонение?» — «От вознаграждения». — «За что?» — «Да за труд, сударыня, за труд...» — «Да что такое именно вы делаете, за что вам надо платить?» И опять у меня от этого вопроса стало очень неприятно, как-то даже досадно. Отчего — и сам не знаю. Даже взбесило это меня. Да, в самом деле, неужели не трудно человеку встать до свету, к заутрени? Иной бы преотлично почивал с супругой, а тут из теплой-то постели да на мороз... Да с требой по холоду, да «к боли», ночью, в слякоть. Как же

не брать за труды? Попробовала бы мол ты сама этак-то, так и узнала бы, как это кур ловят. Разозлила меня.— «Как знаете, говорю, сударыня. Очень неприятно, что огорчил вас». И ушел. И так мне было неприятно. Главное, что внезапно случилось. Шел себе человек *так*, просто попить чаю, например, и вдруг ему этак... чуть не «вор»! Поплелся я от нее в этаком расстроенном положении: и так, будто стыдно, и сердишься. В очень скверном был я от этого визита состоянии. Но как только рассказал я отцу Ивану, так всё и прошло — и не стыдно ничего, и опять очень весело. Отец Иван сразу разобрал это дело так: во-первых, всё это — не более, как *штука*. Денег она брать не будет, положим,— бывали такие примеры, но это только подвох, чтобы быть на виду, потом забрать в руку что-нибудь почище, выскочить в прогимназию и уж там зацапывать сколько хватит. Во-вторых, это — земство делает контру начальству; посредник Гамлетов сам будет платить учительнице, чтобы она отказывалась от жалованья, чтобы тем пробраться... И тут отец Иван сплел удивительный, тонкий, как кружево, план, по которому посредник, по его мнению, должен был путем разных штук пробираться к чему-то такому, где можно зацапывать сколько влезет. Наконец, уж ей-ей не могу вам теперь рассказать, как, на каком основании, только все мы,— я, отец Иван, жена отца Ивана и моя жена,— все мы поняли и решили, что учительница — просто любовница мирового посредника. Почему? Да потому что *из-за чего же* ему платить ей свои деньги? *Из-за чего же* ей отказываться от своего жалованья, если у ней с посредником нет стачки, помощью которой он и она вытаскивают друг друга к каким-то выгодным местам. Так тонко плутуют только преданные любовницы. На этом мы и порешили. Нам необходимо было порешить на чем-нибудь таком, отчего бы нам было попрежнему покойно. Непременно нам хотелось и на душе и на желудке сохранить то же благополучие и ту же ясность, что была у нас всегда, и нам надо было придумать что-нибудь, чтобы неприятный факт был подлажен под наши взгляды. Подладили мы его,

как сами видите, очень топорно; но для нас было и это хорошо. Правда, в ту же ночь, когда мне случалось проснуться, мне, несмотря на составленную нами насчет госпожи Абрикосовой теорию, становилось как-то неловко. Точно сон какой-то дурной видел. Припоминалась она мне в ту минуту, когда, позеленев от гнева, сказала: «да это — грабеж...» Припоминался ее горький вопрос: «да неужели вы хватаете кур?» — и другой вопрос: «да точно ли вы, в самом деле, дело делаете? точно ли мол вам надо платить». Становилось мне от этого как-то очень и очень тоскливо, тяжело, как будто что-то мелькало в глубине совести, что-то начинало чуть-чуть светиться там, едва обрисовывая какие-то неопределенные, безобразные фигуры. Я торопился улечься опять в постель под горячий, неподвижный, как каменная стена, бок жены — и, чтобы успокоиться, задавал себе вопрос: *из-за чего же она-то*? И так как вопроса этого *я не мог*, положительно *не мог*, разрешить чем-нибудь, кроме выгоды, то и возражения госпожи Абрикосовой на мои мнения о понуждении мужиков, и ее гнев за курицу, и бескорыстие — казались мне не более, как штуками. Если это — не штуки, думал я, так *из-за чего же* бьется она с утра до ночи с мальчишками и девчонками; *из-за чего* она не требует себе хорошего помещения, а зябнет в каком-то хлеву; *из-за чего* не берет жалованья?..

И вот этого-то *из-за чего* я тогда уже не был в состоянии понимать. Сердце-то мое уж обухло, и совесть-то попримерла... Порешив таким манером, мы с полным спокойствием продолжали смотреть на продолжение учительницею ее штук. Скоро мы даже забыли о ней, забыли и о том, из-за чего всё это происходит, хотя на наших глазах штуки ее завоевывали на ее сторону всё крестьянское население, хотя на наших глазах не умеющие ничего сделать без палки крестьяне устроили ей школу в новом помещении и снабдили всем необходимым. «Хитра штучка»,— говорил отец Иван, и я думал то же, то есть что хитра, должно быть. В таком положении было состояние моего духа, когда

случилось новое неожиданное обстоятельство, заставившее всех нас снова обратить внимание на госпожу Абрикосову...

Сплетничали мы раз так-то с отцом Иваном и с каким-то практическим гостем за чайком, и между прочим зашел разговор и об учительнице. Все мы посмеялись над ней и порядочно таки загадили своими соображениями ее поступки...

— Да какая это Абрикосова госпожа?..— спросил гость.— У нас в губернском городе был купец Абрикосов...

— Это — не тех! — сказал батюшка.— Те Абрикосовы — известные богачи, я их довольно хорошо знаю... Один из них женат на молодой, тоже богачке, дочери купца Овсянникова, Васплья Иванова, известного мошенника и кулака... Это — не тех, те — богачи... Куда тем в учительницы...

— Ох,— сказал гость,— не тех ли?.. Овсянникова-то, про которую говорите, что выдана была замуж за Абрикосова, ведь она от мужа-то ушла...

— Что ж такое? Уж наверное же она ушла с любовником и с капиталом... У тоей капиталу тысяч пятьдесят своих... А у этой один шиш... Станет этакая госпожа да сидеть в конуре... Нет, это — не тех Абрикосовых, это — так какая-то, должно быть, из проходимок...

— Ох,— говорит гость,— не та ли?.. Что-то мне чудится, что она и есть... Как звать-то ее?

— Марья Васильевна.

— Ох, что-то как будто она самая и есть!.. Ей-богу, право...

— Нет, быть не может,— говорит отец Иван.— Из-за чего ей итти в такую трущобу? Посуди сам! Или каким манером уйдет она без капиталу, кто может бросить свои деньги? Спрашивается, *из-за чего* я брошу пятьдесят тысяч и пойду к мужикам работать за десять рублей? Посуди сам! Ведь это только с ума сойдешь, так тогда разве... Да нет, не может быть... Это — не та Абрикосова, эта — так какая-нибудь, из мелких...

— Так-то так,— твердил гость,— а что-то мне чудится...

— Нет, нет...

— Может, и нет... Да вот я в городе буду, поспрошу...

— Ну, вот спроси... Увидишь, что не та!..

Каково же было наше удивление, когда недели через две тот же самый гость, снова посетив нас, привез нам известие, что госпожа Абрикосова, теперешняя наша деревенская учительница, есть именно та самая Абрикосова, о которой он думал, та самая Марья Васильевна Овсянникова, дочь богача, вышедшая несколько лет тому назад замуж тоже за богатого купеческого сына Абрикосова... Мы узнали, что, пожив с мужем год или два, она ушла от него, ушла не к родителям, богатым купцам, а в какое-то чиновничье семейство, и не только не захватила с собой денег, но не взяла даже ни одной тряпки... Узнали мы, что у нее есть и деньги, и дом, и что всё это она бросила и ушла.

— Да не может быть! — совершенно изумленный, даже побледневший от изумления, говорил батюшка.— Это что-нибудь не так... Собственный дом, говоришь?

— Двухэтажный каменный дом и лавки...

— Это невозможно! Это что-нибудь неправильно. Дом, лавки... Нет, тут штука какая-нибудь... Дом!.. Неужто дом?..

— Перед истинным богом... Каменный двухэтажный, лавки, например, и питейные дома...

— И не касается?..

— Ни-ни-ни, ни боже мой!..

— Да это — не та Абрикосова! Это ты не то.

— То, те самые!

— Да нет, не те... Из-за чего, посуди ты сам, бросить ей дом и биться из-за куска хлеба?.. Лавки! Питейные дома!.. Нет, это неправильно... Это — не та...

Несмотря на недоверие батюшки к словам гостя, последний уехал, упорно утверждая, что это — та самая Абрикосова, которая имела богача-отца, потом богача-мужа и которая, бросив теперь и богатых родителей, и богатства

супруга, и доходные кабаки, сидит в бедной деревенской школе и учит бедных деревенских ребят.

— Нет!— очевидно, ничего не умея сообразить, говорил отец Иван по уходе гостя,— нет, это — не тех Абрикосовых, это — не та...

И, помолчав, прибавил:

— Нет, это что-нибудь не так. Иначе из-за чего же?.. Нет, это не так...

Почти уж вполне согласный со взглядами отца Ивана на вещи, я тоже думал, что это была не та Абрикосова... Я тоже не понимал, из-за чего это можно бросить дом, деньги, лавки и сидеть в деревенской школе... Но уверенность гостя, утверждавшего, что это — именно та самая Абрикосова, невольно заставляла меня задумываться над труднейшим для меня вопросом: из-за чего?.. И опять что-то, вроде каких-то зарниц, пробегало у меня в темной ночи моей совести. Бросить дом, деньги, питейные дома, итти в бедную деревенскую избу, сидеть день и ночь в душной атмосфере, с полураздетыми ребятишками, отдавать им свое трудовое жалованье, негодовать на захват кур во время христославленья, называть это грабежом... всё это вместе не один раз припомнилось мне, и стало мне думаться...

Вот с этого самого времени, должно быть, я и заболел. Стало мне думаться, что есть на свете люди, которые живут не из-за своей только выгоды, как мы с отцом Иваном, что есть что-то другое, кроме наших утроб и кошельков. Стало мне очень тяжело от этого: главная причина — думать совершенно отвык, то есть собственно и не привыкал думать-то. И уж так-то мне стало тяжело! Словно вот камни ворочаешь двадцатипудовые, когда начнешь думать,— болит всё, ей-ей; и в поясницу хватает, и на желудке садится. Так что всеми мерами ухитряешься не думать, либо как-нибудь так отделаться от этого всего... Водки, например, выпьешь рюмок шесть,— ну, и уснешь.

Полегчало мне немного, когда отец Иван придумал еще новую историю для объяснения поведения госпожи Абри-

косовоїї. Изобразил он это дело так, что якобы она ушла от мужа с любовником и зацепила при этом деньги. Любовник же деньги от нее, конечно, взял, а самое госпожу Абрикосову прогнал: вот она и поджала хвост на десяти рублях, ибо к мужу боится уж показать нос. По нашим свиным взглядам, объяснение это было очень, можно сказать, удовлетворительным, так что день или два, благодаря ему, я вновь как бы вошел в настоящие мои аппетиты: и на желудке стало спокойно, и ночью спал хорошо. Но «дом, лавки» вдруг припомнились мне и всё расстроили. Припомнились они мне как-то вдруг, ночью, впросонках... «Уж ежели бы госпожа Абрикосова была распутница, то не только бы не оставила втуне собственного дома, а зацепила бы с помощью любовника и чужих домов и лавок столько, сколько бы можно было захватить...» И припомнилось мне ее лицо худое, больное, уж вовсе не распутное; и припомнилась мне первая встреча, когда я застал ее на полу в избе, окруженную ребятами. И припомнился мне ее гнев за христославную курицу, и сразу так опять стало скверно, так скверно, что даже злость взяла меня за сердце. Разозлился я на отца Ивана за глупость, которую он сочинил, разозлился на курицу, которая заставляет силою хватать себя, разозлился на то, что вот ночь, добрые люди спят, а ты вот тут, чорт знает отчего, лежишь с вытаращенными глазами, думаешь обо всякоїй дряни... Встал я с кровати, выпил рюмки три водки, походил, поглядел в сени, заглянул на двор,— а на дворе кучи навозу, и в сенях кучи сору, и корыто с помоями, и грязь повсюду. В первый раз я это заметил и удивился: зачем, мол, вокруг нашего брата такая гибель навозу? Ей-ей, в первый раз подумал:— точно свинья, мол. И еще больше огорчился... Выпил даже еще рюмки четыре — заснул и проснулся злее злого чорта... потому что пил не от удовольствия. Целый день потом я бесновался: орал на работников, на жену, придирался ко всему. И ведь что вышло-то: стал ругаться за навоз, за нечистоту; гляжу, что ни шаг, всё больше и больше грязи. Платье на жене — хуже грязной тряпки. В чаю

волосы попались, кровать — и не говори!... Вижу — действительно, свиной хлев!.. А и не замечал этого, так пригрелся к навозу! А за этою грязью, глянку, лезет другая. «Авось, мы — не господа!»— возражает мне жена, то есть насчет того, что только у господ всё вылизано и вытерто, на то там и лакеи... «Авось, мы — не господа!»— эти слова показались мне столь глупыми, что жена вдруг как бы совершенно мне опротивела. Главное, что при свиной моей жизни никогда мне не было надобности ни в уме ни во взглядах жены... Нужен был только теплый бок. А тут, как коснулся я этого предмета, например, ума,— и вдруг сообразил, что в уме этом бог знает сколько всякой дряни. Одна фраза сразу припомнила мне всю умственную дичь и чушь, господствовавшую между нами, и я свету не взвидел от отвращения. В первый раз я жестоко поругался с женой, и она не уступила мне в умении ответить значительным запасом всякой словесной грязи. Хорошо, что во время этой перепалки позвали служить напутственный молебен отъезжавшей за границу нашей помещице. Это меня отвлекло. А то бы я и опился бы со зла и изозлился бы вконец. На молебне я рвал и метал; отец Иван и помещица несколько раз оглядывались на меня, как я швырял кадилом, чуть не по мордасам присутствовавших... Но как вы думаете, что меня усмирило? Деньги! Ощутив в руке две рублевые бумажки, я почувствовал вдруг какую-то нежность в душе. Тепло какое-то... И почти сразу опомнился. Думаю:—«что это я натворил? из-за чего?..» И затих. И с женой помирился... Правда, воротясь я застал ее хоть и злою, но уже в чистом платье и в прибранной комнате. И на ней отозвались добром эти лавки и дом, покинутые Абрикосовой!.. Вот какое умиротворяющее влияние имели на меня материальные блага!.. На неделю или даже больше вновь освинел и успокоился я, благодаря этим двум рублевым бумажкам.

Но увы, как бы я ни желал этого, совсем успокоиться и освинеть в той мере, как это было недавно, я уже не мог. Меня побуждала думать на этот раз та грязь домашняя, ко-

торую я разрыл совершенно случайно, благодаря тоске, заброшенной в мою душу небывалою потребностью понять небывалый факт. Тысячи разного рода мелочей, на которые я уже совершенно привык смотреть, как на неизбежное, стали вдруг почему-то тревожить меня. «Иди что ль спать-то, до которого часу будешь сидеть!»— скажет мне из-за перегородки жена, и, сам не знаю отчего, станет ужасно скверно как-то... А прежде этого совсем не бывало... Стала захватывать мою душу какая-то пустота... Какая-то слабость в теле одолела меня, зевота... Ни спать, ни есть, ни пить не хочется. Кто что ни скажет, всё не так, не по мне. А как именно надобно — не знаю!.. И стало со мной с каждым днем всё хуже и хуже. Раз так пришло, что думаю: «Хоть почитать что-нибудь!» Надумал пойти к учительнице, книжечки попросить. Кое-как собрался, пошел. Прихожу. Сидит, пишет.—«Помешал мол?»—«Нет, говорит, успею, я устала. Давайте, говорит, пить чай...» Принялась ставить самовар, и у меня как-то хорошо стало на душе. Вижу, и она не имеет злобы. Ставила самовар и говорила: «Я, говорит, сегодня очень довольна, можно и покутить.»—«Чем же так?» — спрашиваю.— «А, говорит, очень много поработала, на четвертную, кажется, наработала-то; рублей, следовательно, на двадцать на пять, этак вот». —«Деньги, говорю, хорошие!»— «Я рада, говорит, что моим ребятишкам будут и книги и карты, да гостинцев немножко купим. Ах, если бы, говорит, можно было еще работы достать! То-то бы мы зажили с ребятами. Чулки бы у нас, говорит, были бы, и сапоги, и рубашек бы мы нашили себе». И стала тут убиваться, что нет работы, окроме что с иностранного, да и ту, говорила, расхватывают... Еле-еле ухватишь, говорит, какой клочок, и то хорошо, что знакомые есть в Москве, присылают кой-когда хоть немножко, а то бы и совсем ничего не было. «И не знаю, как бы тогда я на ребятишек смотрела. Я бы, говорит, не вынесла их нищеты». Тем временем поспел самовар. Пьем мы чай и говорит она: «Расскажите, говорит, отец дьякон, что-нибудь про крестьян. Вы, говорит, должны их знать».—

«Да что это, говорю, сударыня, у вас за охота до всего до этого? Вы уж очень, говорю, убиваетесь.»—«Ах, говорит, батюшка, по-моему, так всем, в ком есть совесть, надобно только об этом об одном и убиваться. Из-за чего же жить?» — говорит.—«Как из-за чего?— говорю.— Вот, говорю, рассказывают, не знаю, правда ли, нет ли, будто бы дом у вас каменный и лавки... и, например, нужды, следовательно, мало, собственное хозяйство.» И разъясняю ей так, что и в хозяйстве хлопот довольно, окроме что с мальчишками (чуть было не брякнул: «с этими, с поросятами»). Засмеялась она на эти слова и вздохнула.—«Нет, говорит, батюшка, думать о своем хозяйстве — это будет чистый грех, когда...»—«Да ваш ли, говорю, дом-то?»—«Мой!»—«И лавки?»—«И лавки, говорит,— и кабаки, и лабазы».—«Так что же вы, говорю, этак-то?» У меня даже под ложечкой заболело от зависти.—«Как же я, говорит, могу взять чужое? Всё это мой отец и отец моего мужа нажили чужими трудами, как же я могу взять для себя хоть грош?.. Ведь это — кровь и пот...» И тут загорелись у нее глаза, и вся она ровно бы в лихорадке какой принялась объяснять... И что ж? Час, по малой мере, толковала она, и, ей-ей, так явно увидел я, что это правда...—«Где же, говорит, у людей совесть-то после этого? А бессовестно я поступать не могу... Вот, я и бросила все эти лавки...» Так верно объяснила она мне, что я не мог ни единого слова возразить ей.—«А супруг, говорю, ваш?»—«А супруга, говорит, я оставила потому, что не любила его.»—«Ну, говорю, а брак-то?»—«Что ж, говорит,— брак требует любви... Что ж мне делать, если я не люблю, а лгать я не могу.»—«Так и ушли?»—«Так, говорит, и ушла».—«И от приданого отказались?»—«Да, от всего отказалась».—«От всего?»—«Да, всё оставила мужу, лишь бы он не трогал меня. Кроме того, говорит, он наживает деньги тоже не честным трудом, и, стало быть, он — мой враг».—«Так неужели, говорю, из-за этого?»—«Да, из-за этого! Я не могу притворяться... Я не люблю мужа и ушла от него; мне страшны деньги, нажитые неправдой,— и я бро-

спла их... Я сознаю, что всю душу надо отдать на помощь бедному, и что могу, делаю для него... Но я, говорит, почти ничего не могу сделать, а если бы вы знали, как это меня мучает...»—«То есть, из-за чего же мучаетесь?»— спрашиваю.—«Да мне больно смотреть на бедных, и я так мало могу сделать для них.»—«Собственно из-за этого?»—«Да!.. Да вы думаете, это не стоит мук?» В первый раз у меня заныло сердце... Всё, что она рассказывала, я видал сотни раз, но никогда не пришло мне в голову подумать о том, точно ли это всё так должно быть... А тут она всё мне вывернула наизнанку... Я сидел и слушал, точно пойманный вор, и не знаю, когда бы я ушел от нее, если бы на грех не позвали «к болп». Именно случилось это на грех. Наслушавшись ее разговоров, я чуть не заревел в мужицкой избе, где помирал старик. Вся семья ждала смерти его, с трудом делая плаксивые физиономии и думая о том, кто из наследников возьмет новые ременные вожжи, кому достанутся ульи и кто захватит гнедого жеребца. Отец Иван притворно-умиленным тоном читал отходную и думал о том (я это знал как дважды-два), сколько ему перепадет в руку. И, тяжело дыша, лежал труженик, всю жизнь работавший, не разгибая спины, всю жизнь прикованный к земле цепями нужды. Хрипело у него уж в груди, и дыхание по временам почти прекращалось, остатки мысли еще не совсем угасли, и по временам старик что-то шептал. «А хомут... Ивану...— открывая полумертвые глаза, хрипел старик:— а мерина... чтоб без ссоры... без свары...» И на этом старик умер. Эта смерть, которых я видел сотни на своем веку, ударила меня ножом в сердце. Сколько умирает тружеников с мыслью о хомуте, о мерине, как о чем-то глубоко дорогом, доставшемся неусыпными трудами!.. Вспомнились мне эти неусыпные труды, из которых и я, наряду с множеством другого рода охотников до готового, тоже рвал куски и на свою долю. Вспомнилось мне всё это — и захватило дыхание. Даже деньги не порадовали меня. Я чувствовал тяжесть в кармане, где лежали они, хотя это были только два серебряных дву-

гривенных. Я унын глубоко и, сидя с отцом Иваном в телеге, всю дорогу молчал. Теперь тоска моя была уже не на желудке: я теперь уже ясно видел — *из-за чего*!.. Да, милостивый государь, госпожа Абрикосова живет во имя правды, а наш брат жил во имя утробы... Это я теперь очень хорошо понял!»

V. Болезнь.

—... Вот таким-то манером и настигла меня, милостивый государь, беда, мучения и болезнь... Нежданно, негаданно в освинелую мою душу вдруг влетело что-то божеское,— и стала мне чистая смерть от этого... И откуда бы этому всему взяться? Что такое эта госпожа Абрикосова? Истинно говорю вам — никогда она не представляла для меня интересу, и нехороша, и всё... А вот поди ж!.. Нет, уж это, надо думать, время такое настало, что совесть начала просыпаться даже и совсем в непоказанных местах... Примерно взять ежели мою душу: место тут для чистой совести весьма неудобное,— ни стать, ни сесть,— а ведь пришла же! И на госпожу Абрикосову тоже как-нибудь нашло. Этаким манером, хоть как и на меня... И ее выгнало из каменных палат... Такое время... судебное...

Как бы там ни было, а засела у меня в голове мысль о правде... И стал я по ночам не спать — думать... Даже без ужина ложился. А это в нашем свином обиходе очень много означает, не поужинавши лечь... По ночам не спишь... Чешешься беспрерывно... Что значит, например,— мысль!.. И надумал я так,— что нет во мне правды ни на единый волос... По совести ли я взялся за духовную часть?— Нету... По совести ли вступил в брак?— Нет... Исполнил ли обязанности мои, как лица духовного, да и просто, как человека, которому господь дал сердце и совесть,— исполнил ли, говорю, их относительно своего ближнего?— Нет и нет... Заныло, заболело мое сердце — отроду не чувствовал я такой боли. И с каждой минутой всё сильней становилась эта боль, потому что думалось всё дальше и больше... Рад бы, всей бы

душой рад был я думать меньше, даже бы совсем не думать — еще того было бы превосходнее,— нет! Лезет вот всё дальше и дальше, без всякой жалости... Что говорят, не слышу, поддакиваю, в церкви стою с кадилом, как сумасшедший, и не понимаю — что это у меня в руках такое медное?. Ей-ей!.. Страсть, как я мучился в ту пору...

Долго ли шло это, коротко ли — только почти что без остановки думал я до самого корня: выходило так, что надо бросить всё: дом, имущество, духовное звание — и во вретище итти, в поте лица своего вырабатывать хлеб... Вышло это совершенно для меня явственно и обстоятельно, то есть вот как на ладони. Оставалось только взять котомку на плечи, сделать всё, как следует, как по мыслям то есть выходило — и шабаш. Вот тут-то и проснулся во мне свиной человек... Как стал я думать, что придется мне с тачкой, например, где-нибудь, на пристани возиться — тут свиной-то человек и объявился...

— Да что ты, говорит, очумел что ли? У нас теперь дом, покой, всё слава богу — а ты бросишь всё да в поденщики...— Да так смешно мне представил, что просто-напросто покатился я со смеху... Ха-ха-ха!.. Что я, в самом деле, за дурак!.. Да за что же это я спокою-то своего лишусь? И стало мне представляться, как это хорошо дома, с женой, и всё прочее такое... И отец Иван вдруг представился чистый агнец (а то я его видеть не мог), и всё прежнее так мне понравилось, что не расстаться — да и полно! Повеселел я так-то, аппетит получил, и уж так-то весело было мне у отца Ивана, что и сказать не могу.

Вышло таким образом, что сильна была совесть, измучила она меня в какую-нибудь неделю, а свиной человек был во мне еще сильнее ее. Так и пошло. Только я было обрадовался, что не думаю, что нету такого беспокойства, какое бывает у человека, ежели зашумит совесть; только было стал думать, что всё пойдет по-старому, что пусть *это* делает кто-нибудь другой, а я, мол, отказываюсь,— а на деле-то стало выходить еще хуже да хуже... Трудней да трудней.

Не бросил я ни должности ни семейства, как выходило по совести, и стал поэтому притворствовать. Теперь уже я знал, что поступаю бессовестно, а всё-таки поступал... Стал я поэтому чувствовать себя не просто свиным человеком, а обманщиком, обманщиком и правды и кривды,— и такая завелась на душе у меня гадость, что и пересказать вам ее, право, нет никакой возможности... И с каждым часом становилось всё гаже и хуже, потому что совесть стала кричать всё громче и громче, да и свиной человек — тот стал наравне с совестью неистовствовать... Совесть-то меня вон куда вознесет, а свиной человек — низвергнет... Больно мне, мучительно, несказанно было больно!.. Кажется, чего бы проще — взял да и сделал бы по правде, вот как госпожа Абрикосова: не выходит по совести,— взяла и бросила всё!. Нет! Свиной человек такие мне аппетиты разожжет, что и не пошевельнешься свернуть с дороги. Совесть-то уж больно коротка.— А ведь больно, перед богом больно было, жестоко больно... Что же делать-то? Как облегчить?.. Естественно, начинаешь извинять себя, валишь на кого-нибудь. Вот таким манером я и стал валить все «на соседа». Во-первых, ближе всего жена,— на нее; потом на отца Ивана, на мужиков... Но на жену, конечно, валил я больше всех. А так как чувствуешь, что виноват-то сам, что если они животные, то ты только посодействовал им быть ими, а не что-либо другое сделал,— чувствуешь это и пьешь, конечно... Вот откуда и пьянство началось. Ну, а потом меня и жена бросила. Тут уж я совсем растерялся. Надо вам сказать, что между пьянством и ругательством частенько-таки бегал я к госпоже Абрикосовой, жаловался на свою участь. Принимала она во мне участие, и так как мне очень грустно было жить на свете, то вот я к ней и хаживал... Жена ж, с которою я ежеминутно почти ссорился, принимала это за любовь. Бесновалась и была для меня в тысячу раз хуже, чем прежде. Уж и мучил ее я — надо мне отдать честь. Всё, что в самом скверно, всё это я открыл в ней и за всё это ругал. Впоследствии оказалось это ей на пользу; но тут как-то вышла она

из всякого терпения и пришла в неистовство, грозилась жалобой архиерею и обещалась изуродовать госпожу Абрикосову собственноручно. Вражда поэтому была между нами смертная, ибо я заступался за госпожу Абрикосову, что еще более разжигало нашу взаимную ненависть. Вот раз, после хорошей схватки, супруга, не долго думая, и в самом деле явилась к госпоже Абрикосовой. Явилась она с намерением драться, но, вероятно, оробела, зато осыпала ее всякими ругательствами. Главное, разумеется,—«отбиваешь мужа», и «архиерею», и этакое... Та, то есть госпожа Абрикосова, тоже взбесилась... Потому — уж очень было всё это несправедливо — и погнала мою жену вон... Та не пошла — а ревмя заревела. Стала жаловаться на свою участь, на меня, на мои неистовства и зверства, и госпожа Абрикосова так этими ее рассказами растрогалась, что и сама заревела и стала ее целовать и успокоивать...

С этих пор пошла между ними неразрывная дружба... Обо они отшатнулись от меня,— и остался я один, со своими свинскими наклонностями да с водкой... Жена моя, которой очень много досталось от меня горя, стала даже благодарить меня за эти ругательства мои, обличения ее дикости и грубости... Это ее подготовило понимать то, что ей стала толковать госпожа Абрикосова. А как только она поняла всё, то и ушла от меня... Она моложе, в ней меньше грязи,— да и то, что есть, жестоко обличено мною. Вот она и ушла — учиться... Ну, тут я совсем ослабел и упал... Тяжело это даже рассказывать...

Оставаться среди общества отца Ивана и его практических знакомых — мне было не по себе, скверно... Уйти — коротка душа. Поэтому остаюсь — и лгу. Напьюсь — высказываю всё и ругаюсь. А главное, после того, как ушла жена,— мне еще виднее стало, что я-то не уйду, что именно не могу уйти.

Захотелось умирать...

А как только увидал я, что надо мне умирать,— тотчас страсть как захотелось мне жить. И тут я, очертя голову, пустился во все тяжкие. За бабами, например...

Пошли доносы: в пьяном виде обругал отца Ивана, ругался в храме, бесчинничал на свадьбе с бабой... Ну, и выгнали и засудили...

Под началом, в монастыре,— я отрезвел как будто, и стало мне в самом деле ясно, что — либо помирать мне, либо — всё вновь. Вот я и думаю: возможно ли какими-либо манерами фундаментально излечить и душу и тело? Тело, например, восстановлять медицинскими специями; а душу — одновременно чтением?.. Как вы полагаете, не возможно ли будет этими средствами себя возобновить, дабы вновь уже жить честно и благородно?

На этом вопросе окончился рассказ дьякона. Предоставляя решение его знатокам, я, как простой наблюдатель нравов современной жизни, могу обратить внимание читателей на существование в этой глуши небывалой доселе болезни. Эта болезнь — мысль. Тихими-тихими шагами, незаметными, почти непостижимыми путями пробирается она в самые мертвые углы русской земли, залегает в самые неприготовленные к ней души. Среди, повидимому, мертвой тишины, в этом кажущемся безмолвии и сне, по песчинке, по кровинке, медленно, неслышно перестраивается на новый лад запуганная, забитая и забывшая себя русская душа,— а главное — перестраивается во имя самой строгой правды.

VI. НЕ ВОСКРЕС.

(Из разговоров про войну.)

I.

...Поезд, увозивший в Россию русских добровольцев, отошел от Базиаша на Пешт часу в десятом вечера; на дворе было темно, и шел проливной дождь; не было поэтому никакой возможности облегчить грусть-тоску чудными видами, открывающимися по обеим сторонам дороги, на Дунай, на горы,— тьма была кромешная... Волей-неволей приходилось убивать время в разговорах; но висевшее над всеми соотечественниками сознание непреложности факта возвращения на родину отбивало охоту от веселой болтовни... Всякий знал, что... «всё равно» приедем в Россию. Что-то очень близко подходящее к тоске гимназиста, возвращающегося в гимназию после каникул, тяготило и возвращавшихся на родину добровольцев... Такие ли были они, когда ехали на войну! Новизна положения делала тогда всех смелыми до дерзости, веселыми до... ну, хоть до безобразия, храбрыми до зверства... Геройство, храбрость, мужество, подвиги великодушия, жертвы — всё это трогало сердце и воображение каждого... А теперь — поди-ко вот опять в тот самый департамент обиняков, из которого с такою радостию, месяца два — три тому назад, пошел на смерть... Изволь-ка теперь опять

пожаловать в лоно супружеского счастья, к пяти малолетним соотечественникам... Поди-ко теперь опять поклонись такому-то и сякому-то и попроси его, чтоб он опять принял тебя на низший (и то дай бог) оклад!.. Русская земля припоминалась всем в виде какого-то недоразумения, чего-то не имеющего результатов, но ужасно трудного,— и вот почему поезд, наполненный добровольцами, был угрюм и скучен... Не веселило его также и всё то, что он во время сербского каникулярного времени узнал сам о себе... Прежде он думал, что он, русский человек,— жертва интриг, несправедливостей, притеснений, жертва людской неблагодарности, жадности, бедности, и был твердо уверен, что освободись он хоть на одну минуту от всех вышеупомянутых бед, так сейчас же, сию минуту, все увидят, как он добр, благороден, великодушен, вежлив, щедр, непоколебим и честен... А теперь вот после этого долгожданного отдыха он чувствует что-то совсем другое...—«Был дан тебе отдых, или нет?»— вопрошает его совесть.— «Был!» — должен ответить он.— «Как же ты воспользовался им?..» — «Безобразно!» — «Свинья!» — говорит совесть и продолжает:—«Дали тебе денег?»—«Дали.»— «Много ли?» — «Очень довольно.» — «Послал ли ты жене, как обещал?»—«Н-нет...»—«Куда ж ты их девал?..»—«Так...»— «Нет,— пристает совесть,— ты говори, куда именно: это — деньги кровные, это — копейки, гроши, данные на святое дело. Куда ты их девал?» — «Пропил...» — «Еще?» — «Ну... там...» — «Свинья!» — еще раз утверждает совесть и опять продолжает:—«Еще куда? Не все ж ты «там»... оставил...»— «Как можно!— почти вслух восклицает унылый доброволец и хочет высчитать по пальцам...— Сапоги...— припоминает он с удовольствием.— Шутка сказать — три дуката!.. Потом? Чай, сахар, табак... ну, это вздор, пустяки... А еще что, куда же я дел?...» И увы, кроме сапог, капитальных приобретений никаких нет возможности припомнить...—«Неужели я всё это там?..» — «Свинья!» — заключает совесть.

Унылый доброволец выпивает из горлышка бутылки несколько глотков вина и, освежившись немного, решает,

что прошло мол— не воротишь... Но совесть не молчит и тотчас же вновь затягивает песню... — «Ты зачем ехал-то сюда? За что ты деньги-то взял?...» — «Давали! Я брал... За славян!» — «За что?» — «За... в пользу славян...» — «Это ты в пользу славян дебоширничал-то?» Ничего не может ответить доброволец, но с глубоким огорчением чувствует, что хорошо бы было, если бы его убили там...— «Велика важность!» — говорит совесть.— «И вправду!» — решает доброволец со вздохом... и молча смотрит в темное окно, по которому льют и льют струи проливного дождя...

— А хорошо, право хорошо жилось в Сербии!..— произносит кто-то со вздохом.

Унылый доброволец под влиянием этих слов начинает припоминать что-то действительно хорошее, приятное... но совесть и тут осаживает его...—«Смотри, смотри... вот в Россию приедешь, так там, брат...» И мечтания немедленно прекращаются...—«Выпей, брат, и смотри в темное окно, да уж молчи!»— сжалившись, советует совесть. Доброволец, действительно, тотчас же выпивает и твердо решается ни о чем не думать —«Все одно,— решает он,— приедешь!» Некоторое время опыт не думать удается ему, то есть некоторое время он ровно ни о чем не думает, но скоро из стука колес по рельсам, из звона цепей, сцепляющих вагоны, начинает довольно явственно выделяться как бы шопот чей-то, ежеминутно повторяющий что-то вроде: «свинь — свинь — свинь...»

И доброволец волей-неволей опять начинает неприятную беседу с своей совестью.

В том отделении вагона, где пришлось сидеть пишущему эти строки, было бы, пожалуй, благодаря присутствию необычайно унылого человека, еще скучней и тоскливей, если бы присутствие двух вполне счастливых соотечественников не парализовало тоску и уныние, распространявшиеся от унылого пассажира.

Эти двое были веселы и счастливы, каждый по-своему: один только вчера выиграл в карты порядочный куш и,

ухватив его, на всех парах рвался в Вену, в веселое место, расправить кости, попить, погулять на все руки, на все деньги... Его словно лихорадка какая трясла всю дорогу: так и тянуло — скорей, скорей, к веселому венскому разгулу; заснуть он не мог, и хотя закрывал глаза и откидывал голову к спинке, но видно было, что он не спал, а грезил и волновался предстоящими удовольствиями, поминутно прерывая свои попытки заснуть насвистыванием мотивов из Оффенбаха... Другой довольный пассажир был доволен покойно, солидно, основательно; это был военный, не менее майора чином, плотный, здоровый человек; он возвращался к семье, был доволен, что попадает к Рождеству и привезет с собою, кроме полного здоровья (ранен он не был), еще и три сербских ордена. Еще на станции, в Базиаше, объяснив всем желавшим с ним разговаривать причину своего благополучия, что вот мол еду к Рождеству, слава богу здоров, ордена получил все и т. д., он уж не входил ни в какие другие разговоры, а просто распространял вокруг себя своим здоровым и довольным лицом покой и благополучие... Войдя в вагон, этот счастливый человек уложил по местам свои вещи, плотно и удобно сел и, поморгав немного глазами, стал их закрывать с таким предвкушением непробудного, детски-покойного сна, что даже и неугомонный любитель венских удовольствий поддался было снотворному влиянию своего соседа и пробовал дремать... Эти двое довольных, счастливых смягчали несколько то тягостное впечатление, которое производил третий, необычайно унылый пассажир.

Он был точно потерянный: исхудалый, щеки ввалились, нос вытянулся, взгляд казался пугливым, даже вполне испуганным, костюм плохонький, холодный не по погоде и надетый кое-как. Не желая спать, я поневоле должен был довольно часто встречаться глазами с этим унылым человеком, тем более, что он сидел как раз против меня, и только после многих часов езды мог признать в нем человека, который мне отчасти знаком, которого я несколько раз в жизни уже видал, хотя и с большими, большими промежутками. Было

ему теперь лет тридцать пять или около того, но не больше; несколько лет тому назад я встречал его за границей в разных городах, и главным образом в кружках русской заграничной молодежи. Долбежников (такая фамилия была у унылого пассажира) хоть и вращался в тех же кружках, но был как-то чужд всем им и всем и каждому из лиц, их составлявших. Какая-то печать уныния и тогда уже лежала на его нездоровом, худосочном лице, и что-то гложущее его душу тяжело всегда действовало во время его посещений, всегда, впрочем, кратких, торопливых и большею частию ненужных: придет торопливо, озабоченно, как будто хочет что-то сказать очень важное, но не может ничего — и вдруг как-то соскучится, раскиснет и уйдет. В руках его постоянно была какая-нибудь книга, читал он много, что-то писал, но никто его не расспрашивал о его работе, и вообще им мало интересовались.—«Был Долбежников!»—«Ну, что же?»—«Ничего... Ушел.» Вот и всё, что можно было сказать о нем в то время после каждого его посещения. А между тем нельзя было не заметить, что его что-то мучает, что хотя он и не возбуждает ни в ком симпатии настолько, чтобы кто-нибудь тронулся его измученным лицом и разузнал подноготную его души, тем не менее нельзя было сомневаться в том, что он настоящим образом мучается... По некоторым отрывочным выражениям, помнившимся мне, и по характеру людей, с которыми он знался, можно было думать, что он человек убеждений крайних. Так я по крайней мере думал о нем тогда, лет пять назад, и был, признаюсь, несказанно удивлен, увидав этого самого унылого, измученного человека месяца два тому назад в Белграде, в костюме добровольца, с длинной саблей и, что особенно поразило меня, в самом цветущем виде, без всякого подобия чему-нибудь, что бы напоминало его прежний страдальческий вид. Долго, помню, смотрел я на него, встретив случайно в одной из белградских «кафан», вместе с толпой других сабле-гремящих и веселых офицеров, и не мог поверить, чтобы это был Долбежников, «тот самый». Откуда этот цвет лица, этот некоторый форс, эта развязность

военного, любующегося звоном своих шпор, своей саблей?.. Несомненно было, конечно, то, что всё это было «напущено» на Долбежникова обществом военных, среди которых он теперь находился, но несомненно было также и то, что и сам Долбежников значительно изменился; он поглядел на меня — тогда, при встрече в кафане,— узнал, слегка кивнул с высоты величия (ясно начертанного на всем его ликовавшем лице) — и тотчас присоединился к веселой компании, которая шумно расселась вокруг круглого стола, застучала ножами, солонками, стаканами и потребовала три бутылки самого лучшего неготинского... Долбежников, к удивлению моему, также стучал ножами и стаканами и, как мне казалось, даже желал показать именно мне, как человеку, знавшему его в унылом виде и в другом обществе, что вот мол теперь и он стал молодцом и что ему мол всё равно, что будут думать о нем в «том», в заграничном обществе... Правда, смешноват был немного этот худощавый, длинный и всё-таки болезненный человек среди румяных, громкоголосых, здоровых и сильных новых своих товарищей, но сравнительно с тем, что он был, лично мне он казался вполне переродившимся, необыкновенно поздоровевшим, расцветшим, словом — человеком переделанным «наново». Я порадовался этому, хотя и удивился этой перемене, ввиду убеждений, которые я ему приписывал... «А! вот,— подумал я,— отчего он стонал и страдал... Ему надо было шпоры, саблю, да разливанное море военной стоянки...» И, признаться, не очень радовался этой способности русского человека необычайно резко переменять свои взгляды и, глядя на пирушку Долбежникова с товарищами, невесело думал о том, что способность эта есть и не в одном Долбежникове...

Оставив Долбежникова, под влиянием этих размышлений, пировать в кафане, я ушел и до сей минуты, то есть до встречи в вагоне, на возвратном пути в Россию, не видел уж его нигде. И опять он меня тут изумил: куда девался его расцвет, его бодрый дух, бодрый вид? Что скомкало его опять в комок, скомкало в тысячу раз больше, чем он был скомкан прежде,

до своего расцветания? Вид его был такой убитый, измученный, жалкий, что, повторяю, если бы не те два пассажира, которые распространяли от себя покой и жажду удовольствия, так было бы просто тяжело смотреть на человека, который, казалось, вот-вот что-нибудь над собой сделает,— так ему скверно и трудно.

Задернутый синей занавеской фонарь наполнил вагон полумраком, мешая мне, вместе с переменою, происшедшею в Долбежникове, узнать его лицо; но когда я узнал, что это именно Долбежников, то мне стало его как-то ужасно жаль, и захотелось разузнать наконец, что такое происходит в этом человеке, отчего он расцветает и отчего вянет. Я заговорил с ним... Он обрадовался и тотчас же сообщил мне, что он уже давно узнал меня, что он меня помнит, что он меня видал там-то и там-то, и в мельчайших подробностях припомнил те редкие минуты, когда я случайно сталкивался с ним — пять лет назад (избегая почему-то белградской встречи); припомнил тотчас же, и тоже с мельчайшими подробностями, всех прочих наших заграничных знакомых, с какой-то жадностию расспрашивал — где такой-то, что с этим, что с тем,— и вдруг с каким-то страстным порывом произнес:

— Ах, какие это люди!.. Это именно необыкновенные люди!

— Необыкновенные?— переспросил я.

— Необычайные!— возвышая голос и широко раскрыв как бы помешанные глаза, произнес он.— Необычайные,— это верно, я теперь это узнал... Все решительно они — необычайные...

— Кто же именно? — Я назвал несколько фамилий.

— Все до одного... Все, кто «там»!

— Все, кто «там»?..— переспросил я.— Сколько знаю, никаких особенно крупных дел...

— Вот никаких-то дел,— перебил он меня, уж совершенно как сумасшедший, схватив за плечо:— вот именно — вот кто дел-то никаких не делает... вот все они и необыкновенные и передовые.

— И передовые?

— И передовые!.. То есть, именно вот те!..

Говоря последнюю фразу, он необыкновенно волновался и положительно казался мне сумасшедшим.

— После этой войны я только их и считаю настоящими героями... Уж и в том непомерный подвиг, что они не пристают к этому свинству, как вот я пристал... Можете себе представить, ведь я убил человека... За что, скажите пожалуйста?

Последнюю фразу он проговорил так, как будто бы совершенно не понимал случившегося с ним.

— Убили? Кого?

— Турка убил.

— Так что же? Ведь вы были волонтером, военным, а ведь на войне убивают...

— За что?

— За Сербию, я полагаю, вы убили его.

Долбежников смотрел на меня во все глаза и молчал.

— За Сербию?— переспросил он.

— Я думаю — да!

— Нет, не за Сербию.

— Не за Сербию? За что же?

— За сви-ни-ну!

— Как это так?

— Да-с, за свинину...

Я сказал, что не понимаю его, и Долбежников пустился мне самым подробнейшим образом разъяснять свой взгляд на сербскую войну. Сербским купцам оказывалось нужным отделаться от торговых трактатов, которые до сих пор заключала с соседними державами Турция, как опекунша Сербии; трактаты эти были до сих пор такие, что сербским капиталистам нельзя было дать ходу своим капиталам, нельзя было иметь фабрик, заводов, нельзя было выделывать кож... Можно было торговать сырьем, которое возвращалось в Сербию выделанным продуктом и стоило втрое дороже. Так вот теперь, говорил Долбежников, купцы и хотят приоб-

рость оружием право получать больше барышей, то есть продавать свинью, которая теперь продается только сырая, и продается крайне дешево,— продавать ее копченою и получать дороже. Оружием они хотят добиться этого права, потому что при мирных переговорах необходимы уступки вроде предоставления иностранцам права приобретения поземельной собственности, что сразу даст возможность хлынуть в Сербию иностранным капиталам, и, разумеется, местные капиталисты не устоят.

Когда он, наконец, окончил довольно длинное изложение своего взгляда на войну, то спросил:

— Ведь из-за свинины?

Действительно выходило, как будто из-за свинины вышло всё дело...

— Ну, вот видите... Я... убил человека... Да сколько там убито народу!..— с каким-то ужасом произнес он, прижав ладонь к виску, как бы от боли.

— И я,— продолжал он уж сам с собой,— смел когда-то критиковать «тех», придираться к мелочам, к вздорам... Нет,— оживленно произнес он, обращаясь ко мне:— не верьте никому, кто бы он ни был, если он скажет, что... кроме, конечно, мужика (всемирного мужика... не только русского, прошу заметить) — что есть что-нибудь лучшее...

Длинный панегирик прочитал он вслед за этими словами. Не напускное, а что-то болезненное, ненормально страстное было в его словах. Необыкновенно было странно смотреть на этого, очевидно, изломанного человека, убивающегося о какой-то свинине, о турке и волнующегося страстными порывами любви к каким-то людям, которые, по его же словам, тем и пленительны, что ничего не делают. Странно было смотреть на этого больного чудака в виду детски-спокойно спавшего майора, возвращавшегося с той же самой битвы и не только не убивавшегося об убитом турке, но, напротив, получившего за то же самое ордена и чувствовавшего детское удовольствие от этого, знавшего, что удовольствие это разделит с ним вся семья, к которой он поспеет

«как раз на Рождество...» Закинув голову на спинку дивана и полураскрыв рот, военное дитя спало сном невинности... Легкое дыхание, легкое, как пар, только слегка колебало кадык, едва заметный среди плотных, жирных мускулов шеи... А тут рядом сидел исхудалый, зеленый человек и, не смыкая глаз, мучился тем самым, от чего сосед его был совершенно счастлив... А оба были из той же святой Руси.

Панегирик был так длинен и запутан, что я решился прервать его и спросил:

— Вы теперь куда ж направляетесь? К ним?

— Ни-ни-ни...— как бы даже с ужасом прошептал он.— Я теперь так благоговею перед ними, что ни за что не приближусь к ним, по крайней мере на тысячу верст...

— Отчего же так?— с удивлением спросил я.— Благоговеете и не хотите видеть? Это трудно понять!

— Боюсь видеть; боюсь жить с ними... с кем бы то ни было... Не умею жить!... Вот именно — жить не умею. Непременно выйдет какой-нибудь вздор и скука.

Я не понимал его и смотрел на него молча, думая, не скажет ли он чего потолковее.

— Я знаю,— говорил он, глядя в сторону:— я урод. Это я знаю самым прекрасным образом... Но таких уродов, как я, много... По крайней мере я, то есть лично я, видал таких уродов: не умеют жить, да и полно!.. Я сам происхожу из купцов... то есть из среды (да и все наши среды такие же), где как-то уж в крови лежит убеждение, что «мы как-нибудь обойдемся», где не живут (вспомните Островского), а как-то «бьются» об жизнь. Деньги еще кой-как держат этих людей на свете; но выньте оттуда, из любой такой семьи, деньги — всё развалилось, все беззащитны, одиноки, потеряны... Я вот из такой идеально-неживой семьи... Семья эта из тех, которые валятся, расползаются... Я отбился от нее больше всех... Случай ли, или что другое нанесло меня на разные думы, на книги... Думы понесли меня к людям — и тут-то я и узнал, что не умею жить... Представьте себе, что вот я

обдумал такое-то дело, или кто-нибудь другой обдумал, или затеяли дело, которому я сочувствую, которое люблю, считаю верным и т. д. Если только (он говорил, отделяя каждое слово) в это дело войдет три, четыре человека таких, как я,— всё пойдет к чорту, то есть не только даже обличья дела не будет, а будет непременно вздор. Совершенно детское непонимание жизни, совершенно детское неуменье жить сейчас даст себя знать... Обижусь какими-нибудь пустяками, не захочу быть дружным с тем-то, потому что... ну, хоть потому, что манеры мне его не нравятся... нос скверный... И так этот вздор начинает гнести меня, тяготить, начинает завладевать мною всем, что я хочу бежать... бежать... И сам я отвратителен себе, да и в другом пробужу своей мелочностью тоже дурные и мелкие черты — ну, и пошло... И выйдет вздор... Я так всё и бегал... Я уж узнал себя... Всё бегал... Меня брат, купец, назвал даже «пассажиром» за эту беготню. «Не человек ты, говорит, а пассажир». И правда... Вот и теперь я боюсь ехать туда. Я знаю: приеду и начну замечать носы... да разные вздоры, да обижаться пустяками, да отыскивать в человеке скверное... Вот еще ужасная черта!.. Сам плох, и в другом, в самом лучшем,— точно чтоб себя успокоить,— только и ищешь вздоров, чтобы сказать себе: «да и он такое же тряпье...» Нет, нет, ни за что не поеду!... Издали, когда меня жизнь не трогает... мне лучше...

Подошла какая-то станция. Доброволец, выигравший деньги, и мы двое (военное дитя продолжало спать) вышли из вагона и выпили по маленькой бутылочке жидкого венгерского вина. Вино не развеселило нас: Долбежникову, хотя он и поуспокоился немного, всё-таки, видимо, было тяжело после безотрадных наблюдений над самим собой, а мне было тяжело смотреть на выложенные им передо мною больные внутренности... Спать не хотелось. Стали опять разговаривать.

— Как вы в Сербию-то попали? Что вы там делали?..— спросил я.

— Как?.. Да вот всё от того же!.. Представьте себе, каково должно быть состояние духа у человека, если этак лет пять кряду ни от себя ни от других не выносишь ни одного доброго впечатления... Я встречаюсь с самыми лучшими людьми (теперь я знаю, что это — самые лучшие люди), с людьми, которых — не живя с ними, а, как я вам говорил, издали, размышляя о них — я уважал, благоговел... Но сойдясь по-людски — для простого ли разговора, для маленького ли дела — терялся!.. Позабывал даже их достоинства, позабывал их значение, потому что они были обыкновенные, живые люди... Этого уж довольно, чтобы я тотчас охладевал... начинал бы цепляться за мелочи... и так далее,— не доводил бы дело до того, что и меня никто не хотел видеть, да и я был зол на всех... Ну, лет пять такой жизни измучили меня... Я переполнился наблюдениями таких вздоров (он вдруг озлился, ударил себя кулаком по коленке и воскликнул: «И отчего я только и способен наблюдать вздоры!..»— плюнул, и долго молчал, тяжело дыша от гнева)... Ну, и сам опротивел себе, и всё мне опротивело... смерть!— Смерть в это время показалась мне таким наслаждением, таким удовольствием... буквально лакомством, что я сию минуту даже и не подберу сравнения... именно лакомством... И, разумеется, я бы покончил с собою, если бы не эта история с нехристями...

— Почему же *именно эта* история спасла вас, оставила вас живым?..— спросил я, особенно налегнув на слова «именно эта».

— *Именно эта*,— тоже налегая на эти слова, отвечал Долбежников,— история помогла мне остаться в живых потому только, что никакой другой истории с подобным драгоценным для нашего брата свойством в ту пору не было... А свойство этой истории то, что она из глубины народа... Это значит, что народ наконец взялся... А раз он взялся — вывезет, будьте покойны!.. Удивительное дело...

(рассказчик остановился)— под этим разломанными деревянными крышами, в этой глуши, холоде, бедности, живут же вот какие-то идеи, спасающие общество от гибели! Чем они живут — решительно непостижимо! По двадцати, тридцати лет их буквально ничем не кормят, никто об них не заботится, не беспокоится... Живут они под сгнившими или разнесенными ветром крышами, как мужицкие клячонки, тощие, маленькие, некормленные, сущие одры... Кормят их изредка, эти одры-идеи, захожие солдаты, богомолки, кормят старой соломой, такой старой, что я вот, благородный человек, и ног-то об нее не оботру... Живет!.. Благородный человек, сотрудник дождя и ветра, разрушающих соломенные крыши, ни на клячу, ни на крышу, ни на владельца того и другого обыкновенно не обращает никакого внимания; заполучив что ему надо, он знать не хочет, что делается там, под этими крышами, полагая, должно быть, что можно танцовать, отрубив собственные свои ноги,— и, разумеется, ошибается, гибнет... Отказавшись признать своими и главными интересами интересы этих крыш, этих крупинок собственной своей кровп, и полагая, что он может прожить (и еще веселей) *сам*, сотрудник ветров и дождей оказывается недолговечным, и в двадцать лет обыкновенно успевает только расточить эту собственную кровь чорт знает на что... Щедрою рукою раздает ее актрисам, проматывает за границей, душной пылью сыплет в несметном множестве на возню с собой, одиноким в бессодержательной семье, покуда, наконец, настанет истощение... Человек обессилел, весь вывалялся в грязи, не знает, что с собой делать... «Вывози!— вопиет:— спасай!» И глядишь, мужик запрягает одра... В такую ужасную для сотрудников в разрушении крыш минуту сотрудник начинает откармливать одра уж не старой соломой, а жирной газетной трухой, и глядишь — одер отъелся в одну неделю...—«Гляди, барин!— говорит хозяин:— как бы худо не было... Лошадь у меня стоялая, дернет с места — держись только».—«Ничего, ничего, там поддержут...»—«А ежели, примерно, мы Европию твою

кишками, например, завалим человечьими, и это ничего?»— «Заваливай,— кричит сотрудник дождей,— заваливай! Только вывози!..» И откормленная газетной трухой одер-идея, напутствуемая ударами кнута, выхватила погибающего из грязи и поставила на сухое место... Кишек, разумеется, выпущено без сметы — уж об этом говорить нечего... Слава богу, что барин-то не утонул и опять вышел на дорогу... А как только вышел — и опять говорит: «Теперь ты веди своего одра куда хочешь, а я *сам* дойду...» И, разумеется, не дойдет вовеки-веков... Я это говорил к тому...

Рассказчик остановился и, переменив тон, сказал мне:

— Вы слышали, что я говорил?

— Слышал всё.

— Ну, как вы находите?.. Правильно я... то есть по крайней мере хоть во внешнем-то отношении прилично ли я... излагаю?..

— Что ж тут неприличного?..— не понимая, спросил я.

— Нет, я хочу знать: можно ли, слушая такую речь, подумать, что я хоть сколько-нибудь народом заинтересован?

— Без всякого сомнения...

— Ну, так вот: сию минуту я именно так и думаю и действительно сокрушаюсь... А пойди я сейчас же с такими самыми мыслями в деревню — и вздор выйдет... начнут действовать на нервы дырявые лапти, грязь, ухабы — чорт знает что... Кончишь злостью и бегством... Будешь проклинать и себя и раскрытые крыши... Не понимаешь живых людей... Не умеешь быть живым... Ведь вот какая скотина!— вновь сверкнув озлившимися глазами и возвысив голос, заключил он и прибавил:— Нет, лучше я после... Надоело! Такая скверность... Не человек ты, а пассажир! да! именно не человек!..

—

Разговор возобновился через несколько часов, когда уж совсем рассвело и когда мы уже проехали Пешт... Рассказчик был спокойней и чувствовал себя гораздо бодрее, чем вчера.

— Ну, так вот — на чем я остановился? Да!.. Мужик начал вывозить... С детства воспитанная привычка, чтобы за нас делали дело другие, привычка к «прими», «подай» — откликнулась во мне в эту минуту как нельзя более сильней. «Что ж, думаю:— вывози, брат, и меня»,— решил я, зная наверное, что, раз взявшись вывозить, одер непременно *куда-нибудь* да вывезет... Мне было теперь всё равно, хоть куда-нибудь... А убьют — что ж? Я и сам хотел умереть... И вот, ввалившись в мужичьи дровни, я сразу почти совершенно успокоился...Все, что меня мучило, всё, о чем я думал, читал, разговаривал, всё, что меня бесило, злило, волновало в себе и других, я, раз решив, что «теперь не мое дело»,— всё это позабыл, точно ни разговоров, ни планов, ни беспокойств, ни мыслей беспокойных и не бывало... Обо всем этом я перестал думать, положившись на кого-то, кто теперь занялся моими делами, и с каждым днем стал чувствовать себя лучше и лучше... Тем и хороша война, что раз произнесено это слово, миллионы людей прекращают думать, беспокоиться, прекращают трудные попытки решать роковые вопросы, к которым привела мирная жизнь. «Война!»— Никто не отвечает за себя, за свои поступки; миллионы людей получают разрешение ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться; никто не взыщет, да и не может взыскать, потому — война! то есть такое положение дел, в котором никто ничего не понимает, никто ничего не рассчитывает, никто ни за что не отвечает... Словом, положение, при котором люди начинают ходить распояской, неумывкой, неодевкой... Всё, что за неделю еще было напряжено, измучено, запутано, тайно страдало, ненавидело,— всё выпущено этим словом «война» на волю... Купец не платит по векселям — и невиноват, не отвечает... Он может разогнать свою фабрику,— и разогнанный народ не пикнет, зная, что война... Ничего не стоит в такое время вчера еще очень аккуратному человеку взять чужое, поймать чужого гуся и съесть... Кто тут будет разбирать? Война!.. Его гуси точно такие съедены неизвестно кем... Непрочный семейный союз, держащийся только

общественными приличиями, распался, развалился сам собой...Разве виновата жена, что к ним в дом нахлынуло такое множество офицеров, да еще молодых, охваченных влиянием времени, в которое никто ни о чем не думает и не беспокоится ни о чем!.. Она — слабое существо... А это, посмотрите, какие верзилы... Наконец, завтра этих верзил и след простыл. К тому же и муж, освобожденный от срочных уплат, смотрит на белый свет посмисходительнее; не проходит дня, чтобы он не был под хмельком... и почти не живет дома... На улице такая гибель нового: то войска вступают, то выступают... музыка то веселая, то грустная — гремит то и дело... Гостиницы, кофейни битком набиты... Всякий говорит: нет никаких дел, всё стало — «война!..» И тратит накопленное...— «Будь что будет!»— сказали себе миллионы людей и отдались случайности... Сотни и тысячи смертей, как ни странно это кажется, не только не развивают чувствительности в живых (о живых я только и говорю), но, напротив, приучают глядеть на смерть совершенно хладнокровно. Не диво становится каждому смотреть на кровь, слушать стоны, видеть оторванные руки, ноги, пробитые головы. Жизнь человеческая начинает цениться ни во что — и в человеке, еще недавно обремененном именно человеческими-то заботами, сладко потягиваясь, просыпается зверенок... Эта атмосфера, созданная войной, охватила меня тотчас, как только я ступил на сербскую землю. Правда, в первую минуту появления моего среди нового для меня военного общества я одно только мгновение почувствовал, что предо мной совершается что-то необыкновенно старое, завалящее, что-то такое, про что все давно забыли, потому что выросли... Одно мгновение мне показалось, что я словно начал читать Еруслана Лазаревича, после книг, касающихся трудных философских и общественных вопросов. Но я это отогнал от себя; да и без моего участия военная атмосфера, окружавшая меня, сделала то же дело — очень скоро. «Не думай ни о чем»,— говорила она, и здоровье мое стало быстро улучшаться. Я стал отлично спать, потому что ни

о чем не думал — не мое дело; будет так, как будет, решал я и спал сном невинного младенца... «Ожидать приказаний» — тоже вещь для меня новая пришлась мне по вкусу и много способствовала улучшению аппетита и поправлению здоровья. В самом деле, о чем мне беспокоиться? Как прикажут... там знают!— Не мое дело... «Завтра выступать!» Ладно, выступим... завтра так завтра. И выступаешь, не думая, куда, зачем. Как легко, отказавшись от всего прошлого, не имея никакой тяжести на плечах, птти куда-то, по новым местам, птти к неизвестному!.. Уставать, есть, спать и ждать приказаний... Какой-то раздраженный военный, всю дорогу брюзжавший на начальство, на неполучение какого-то пособия, представлявший какие-то проекты, планы, критиковавший военные операции и т. д., до того был противен всем «порядочным» людям, в общество которых я попал, что с ним решительно никто не хотел говорить. Его определили как мелочного человека, интригана, проныру и бросили. Так была в эту пору странна для всех (по крайней мере мне так казалось) всякая попытка о чем-нибудь думать, что-нибудь объяснять, о чем-нибудь беспокоиться... В таком блаженном состоянии был я несколько недель сряду... Я поздоровел, пополнел, одеревянел, даже одурел, если хотите, но расцвел вполне, чувствовал себя необыкновенно здорово и весело... Словом, я совсем воскрес и жадно держался за это новое, неведомое мне состояние духа, и с каждым днем воскресение мое становилось для меня яснее и ощутительнее. Тотчас по приезде, как я вам говорил, я почувствовал было, что вместо книг принимаюсь за чтение Еруслана Лазаревича, Гуака, но, с выступлением на позицию, этого ощущения не осталось и следа — всё прошло, потому что я всё забыл. Тут, на позиции, случай завладел мной окончательно: тут не только не нужно было о чем-нибудь думать, беспокоиться, а просто невозможно было делать что-нибудь подобное. Тут не знаешь ни дня ни часа, в онь же хлопнут тебя пулей в голову,— и конец; стало быть, оставь всякую надежду на какой-либо смысл... Вот в это-то время я и турка

убил. Приехали к нам на позиции товарищи, привезли лютой ромии, вина, жареного поросенка. Выпили, поболтали... опять выпили. (Пил я, празднуя свое воскресение, много, но пьян не был.) Стали стрелять, пробовать берданки. У одного из товарищей, помню, была очень хорошая берданочка. Так вот ее пробовали. Стали пробовать, разумеется — в людей, в турок... Убить турка — точно так же, как и турку убить серба,— ничего не значило. Для обоих было неизвестно, зачем всё это делается; но оба, раз отказавшись думать, верили, что бить друг друга надо. Ну, стреляли, пили, ели поросенка... и я выпалил и убил... И у нас у одного у офицера оторвало ногу — так с куском поросенка в руке и повалился... Ни то ни другое убийство не оставило ни в ком почти никакого впечатления. Все были так искренно деревянны и искренно бессмысленны, что самое сожаление — по крайней мере мне — казалось уже фальшью. «Я тут не виноват, это не мое дело» — вот что война пробудила в каждом и чем каждый жил в эти минуты... На позиции я пробыл недели с полторы — и, не помню зачем-то (кажется, по какому-то делу, что-то вроде заказа сабель или покупки каких-то веревок — что-то в этом роде), приехал в Белград. Состояние духа было превосходное. Свежие-недумающих людей было вдоволь; их радость — перестать думать и жить, веря пробудившемуся зверушке,— еще более подкрепила меня. Помню один вечерок в такой веселой компании... Хорошо, чудесно провели мы вечерок этот... Последний (с сожалением сказал рассказчик), последний веселый день моего воскресения.

— Что ж случилось?— спросил я.

— Случилось нечто очень знаменательное... Нечто такое, что разбило, расшибло меня, мое окаменение в мелкие дребезги... Вот как это было. Часов в одиннадцать ночи вдруг пришлось нам, то есть веселой нашей компании, ехать в Землин. Поехали на лодках... Орали, конечно, песни пели, захватили вина, пили... Сцена тут с австрийскими солдатами произошла, не хотели пускать на берег, но, на счастье,

у нас были русские паспорта и большая готовность вступить в открытый бой... Пропустили... Пошли мы по Землину, взбудоражили две-три гостиницы и т. д.— словом, провели время весело, то есть вполне по-свински... На утро я, не знаю почему-то, проснулся довольно рано; в первый раз почему-то заныло у меня сердце: оттого ли, что много пил вчера, оттого ли, что погода была серая, пасмурная, только какая-то болезненная тревога зашевелилась во мне... Как-то скучно стало мне в нумере, переполненном спавшими богатырями франциль-венецианами. Я поспешно оделся и пошел пройтись. Было еще довольно рано, гостиницы были заперты, негде было достать ни вина, ни кофе. Вы были в Землине? Это — чистенький, маленький городок, расположенный на низменном берегу Дуная. Узенькая, низкая набережная, усыпанная черною пылью каменного угля, тянется вдоль по Дунаю почти как по нитке. Я пошел по этой набережной. Никого почти не было на ней; только на судах, стоявших у берега, видны были поднимавшиеся на работу люди. Выбрав на набережной сухое местечко, я сел, протянув по траве ноги, и стал курить и смотреть... Дунай был мутный и серый; медленно шевелил он привязанные к берегу лодки, на которых обыкновенно (пароход ходит только два раза в день) происходит сообщение с Белградом рабочего люда. Мелкий дождь, как сквозь сито, сеял беспрестанно, чуть-чуть шумел по листьям дерев, которые кой-где растут по набережной. Я сидел и, кажется, ничего не думал, просто смотрел. И вижу: на берегу, в нескольких шагах от меня, опрокинута лодка — ее чинят; один бок ее и дно заделаны новыми досками, кругом валяются стружки. Рабочие еще не приходили, и представилось мне, что под этой лодкой что-то или кто-то есть. Что-то как будто стукнуло изнутри, зашевелило стружками и затихло. «Вероятно, собака забралась туда от дождя!»— решил я и продолжал молчать, курить и смотреть. Ни шороха ни звука уж не слышно было в лодке. Так прошло более часа. Часов около семи народ вдруг повалил на пристань; я встал и пошел в

кофейню, находящуюся тут же. Но не успел я выпить чашку кофе, как услыхал в отворявшуюся беспрестанно дверь какой-то пронзительный крик, доносившійся с улицы. Крик был раздирающий душу и резал по сердцу точно ножом... Я не допил кофе и вышел посмотреть, что такое. Большая толпа народу стояла около тої самої лодки, под которої я слышал шорох. Я пробился сквозь ряды деревенских женщин, дам и мужчин, собиравшихся в Белград на первом пароходе, купцов, солдат и полицейских, молча столпившихся на берегу,— и увидел следующую сцену.

Два здоровенных немца, в пиджаках на овчинном меху, в высоких сапогах, тащили из-под лодки маленького семилетнего мальчика, отбивавшегося от них и руками и ногами. «Майко, майко (матушка)!»— кричал он, кажется, всеми своими внутренностями. Двое рабочих, простые крестьяне, помогали немцам вытащить ребенка из-под лодки, загораживая ему дорогу с противоположной стороны. Немцы делали свое дело молча, систематически, ползая на четвереньках вокруг лодки,— и, наконец, одному из них удалось поймать худенькую грязную детскую ногу... Поймав ребенка за ногу, немец потащил его стремительно и вытащил тотчас же, обеими руками схватив за худенькую детскую руку, которая судорожно сжимала какой-то крошечный узелок. Другой немец также обеими руками схватил за другую руку и — тут началась поистине ужасная сцена. Маленькое существо собрало всё, что могло противопоставить силе этих двух верзил... Ни на минуту ребенок не переставал кричать, до того, что минутами у него захватывало дыхание: его старались поднять с земли; он висnул на руках, употреблял все силы, чтобы сесть; его несли, он упирался, с нечеловеческими усилиями напрягая свои худенькие ножонки,— и вдруг, когда он видел, что его тащат-таки, хоть и с остановками, и волокут, он в полном отчаянии делал попытки вырваться,—попытки уж совершенно бесплодные. При виде, как его худенькое тело всё извивалось змеей, при виде тисков этих двух немцев, из которых нет возможности выбиться,

слеза прошибла меня... Мальчик-серб — узнал я в толпе — отдан был матерью дня три тому назад в ученье к немцу-слесарю и хотел убежать назад к матери в Белград. Под лодкой он просидел всю ночь, думал как-нибудь пробраться на пароход... В узелке он унес свою рубашку... Теперь хозяин поймал его и тащил домой, тащил, как собственную свою вещь, тащил «силою», на законном основании... «Вот война-то настоящая!— мелькнуло у меня.— Поди-ко, герой, которому ничего не стоит быть убитым и убить, не думая об этом. не отвечая за это,— поди-ко, подумай об этом мальчике, отвоюй его, заступись... Поди-ко постой — сознательно постой — за права этого человека, за права его сердца, переполненного любовью к майке, за права ребенка, которому еще нужно играть, а не задыхаться в мастерской, поди заступись, положи-ко вот тут свои кости!..» Деревянное благополучие покинуло меня... Что я делал? Что я делаю?— зашумело во мне, но мальчишка не дал хлынуть скорби широким потоком в сердце, так как приковывал к себе всё мое внимание. Обессилев, он как будто решился итти. Хозяин и его помощник, обрадовавшись этому, проворно пошли вперед, почти побежали... Мальчик тоже бежал... Его узел был в руках хозяина... Прошли так шагов двадцать, как вдруг малый вырвался... и понесся... Понесся — куда глядели глаза... Соскочил в канаву, в грязь... За ним бросился хозяин, помощник, полицейский, какой-то мужик... Они кричали, горланили, звали помочь... Мальчишка несся молча, закусив удила, не помня себя... Бедное маленькое существо!.. Поймали! Не буду больше говорить об этой ужасной сцене, об этом ужасном терзании ребенка, об его отчаянном крике, беспомощном сопротивлении... Сцена была в полном смысле ужасная, зверская и прямо ударила меня в сердце, сразу пробудила во мне всё, что я старался забыть, о чем я хотел не думать, сказав себе: вывози!..— «Ты,— говорил я себе, чувствуя, что меня душат слезы,— ты, которого бесконечные, неисчислимые жертвы научили понимать беды человеческие, которому поставили великие задачи,

трудные, громадные хлопоты,— как ты мог успокоиться на забвении всего, что выстрадано, вымучено для тебя?.. Жалкая, отвратительная тварь! Чтобы чувствовать себя живым, легко живущим, тебе надо поддерживать вещи, которых никто уже сознательно не считает нужными, разумными. У тебя есть задачи, полные глубокого значения, и если они владеют хоть одною каплей твоей крови, стой за них, потому что всё другое — вздор, старый хлам, тряпье... Ты измучился скучать, ты измучился от продолжительных размышлений, не имеющих результата, так начинай же жить, бейся за то, о чем ты думал. Воюй за твою мысль, за движение твоего сердца, которое воспитано или по крайней мере приучено страдать за ближнего...» И тут мне представилась эта новая война... В самом деле, думалось мне, если бы я вздумал защитить этого мальчишку, то есть действовать так, как говорит мой просвещенный (это слово он произнес иронически) разум, посмотрите-ко, какая масса сил, какой героизм, стоицизм, какая энергия нужна бы была мне... Истинно — поле битвы, страшнее в тысячи раз всякой свалки, в которой избивают тысячи человек в несколько минут и которая якобы кого-то освежает!.. Положим, что я пошел бы и ударил этого немца, взял бы мальчишку и отдал матери; немец за обиду тянет меня в суд, штрафует, сажает в тюрьму. А главное — против меня является свидетельствовать родная мать ребенка; она, заливаясь слезами, скажет, что мальчик поступил к немцу по ее желанию, что она — вдова, мужа убили на войне, у ней пятеро детей,— и меня посадят под арест, а мальчика опять отдадут немцу. Если я человек верный своей мысли, я отсидел срок — и вновь берусь за то же дело. Я начинаю действовать путем печати, рассуждать вообще... Представьте себе, какую гибель трудностей должен преодолеть я здесь... Издателей штрафуют, и не всякий поэтому решится напечатать... Я же не хочу, чтобы статья печаталась в искаженном или смягченном виде... После тысячи мытарств, раздраженный и взволнованный издательской трусостью, я пишу мою

защиту «силою» попираемых мальчишек отдельной книгой и выпускаю в свет, истратив всё, что имел. Книгу берут, уничтожают, меня приговаривают к тюрьме (предполагается, что всё это за границей происходит) и делают это как раз в то время, когда у меня больна жена... Я сажусь в тюрьму, она остается без средств, болеет, умирает... Я выхожу на свободу одиноким, обнищалым, поруганным; но сил на борьбу у меня больше. Я хочу, чтобы слышали об этих неправдах, чтобы опомнились... Ну-те-ко, сочтите, сколько надобно трудов, ума, хитрости, настойчивости,— словом, сколько надо геройства, непоколебимости и преданности своей идее, чтобы преодолеть всё это, добиться права публично, громко, в течение не более десяти минут (больше не дадут), говорить о том, из-за чего я бился... Что ж это не поле битвы? Это не война? Не герой я, если выдержу этот подвиг? А задача постоять за мальчишку разве мала, разве может она итти в сравнение с задачей завоевать право коптить со́лено ветчину или дубить кожу?.. Мальчик разбил всё мое спокойствие, всё мое здоровье — всё, в одну минуту... Товарищи, спавшие в нумере, были для меня невыносимы. Я просто не мог их видеть теперь. Мысль, что теперь нужно совсем иное, была мне совершенно ясна. Я взял лодку и один переехал в город... Раз сорвавшись с высоты своего благополучия, я стремительно несся в бездну тоски, горя, тяжести мысли... Всё приняло в моих глазах другой вид. Мне представилось, что самый последний из самых не думающих, простонародных добровольцев наших дерется с турками не потому, чтобы ненавидел их, как бусурман, а потому, что измучился совершенно другим и хватается за бусурмана потому, что не сообразит, не в силах и не может сообразить всей тяжести тяготящих ум вопросов... Не даром, думалось мне, наши пьют перед дракой водку, а турки — опиум, и лезут драть друг другу животы в пьяном виде... В трезвом — все давно уж не звери. У всех накипела на душе бездна страданий, нужды, но никто не поможет разобраться. Вам знаком, конечно, очень часто встречающийся в русской крестьянской

жизни факт ожидания страшного суда? Вот сию минуту, когда я рассказываю вам свои подвиги, непременно в какой-нибудь русской глухой деревеньке бедные, робкие люди ждут страшного суда, второго пришествия, ложатся в гробы, рыдают... Завтра будут ждать в другой. Это какие-то припадки вдруг овладевающего народом глухой деревеньки отчаяния... Откуда это отчаяние? Из чего оно слагается? Мне кажется, что этот припадок есть результат обилия неразрешенных сомнений, неразъясненных мыслей, глубоко чувствуемой неправды, накоплявшихся необычайно долго, но ничем, никем не уясненных, не приголубленных... Тут гнезда идей, гнезда глубоких душевных страданий, не распутанных, не имеющих возможности развиться... Человека вдруг охватывает ощущение какой-то глубочайшей неправды в себе, в других, во всем свете; он вдруг на одно мгновение видит узы жизни, и ему кажется, что настал конец света... Когда я представил себе, что самая глухая деревушка волнуется тем самым, чем волнуются самые первые великие умы, за что пролито столько крови и слез, мне стало просто ужасно. Не бесстыдство ли поддевать жаждущую света душу живого человека на чем-то таком, что делает его зверем, что из его жажды жить, жертвовать собой, преследовать зло — делает какую-то бессмысленную тварь, которая проткнула штыком живот другому, такому же человеку, и видит геройство в том, чтобы поднять этого человека на том же штыке да перевернуть его на нем раза четыре, чтобы всё разодрать у него внутри? Нет, это неправда, обман, ложь...Никто не хочет быть таким, никто не хочет быть зверем...

— Когда я переехал Дунай и вылез из лодки на другом берегу, у Белграда, я уже не узнавал ни других ни самого себя. Я был раздавлен сознанием моего ничтожества перед громадностию пробужденных во мне мальчиком задач жизни и, признаться, полным негодованием, даже презрением к моим недавним приятелям. Я не мог слышать звона сабли, не мог видеть этого гарцующего молодца. Ни в чем не было смысла, всё было безжалостное бессердечие и глубочайшая

неправда, бессовестность и притворство...Разумеется, я уже больше не служил. Я снял мундир, оделся вот в это старое тряпье и стал жить только тем, что терзался собой и другими... Конечно, на меня стали смотреть, как на сумасшедшего.

Рассказчик замолк.

— Ну,— помолчав, снова начал он,— вот в это время я и вспомнил *тех*...

И опять Долбежников прочитал длинный панегирик. Я приводить его не буду, скажу только, что благоговение его было так велико, что он и бездействие возводил в подвиг.

— Хоть и мыслию-то продержаться из-за мальчишки, продержаться всю жизнь — и то какое мужество, когда кругом всё против тебя, даже иной раз те же самые мальчишки!..

Гензендорф — станция, с которой поезда идут в разные стороны: одни на Вену, другие на Варшаву.

— Ну,— спросил я Долбежникова,— куда же вы?

— Ей-богу, не знаю.

Вид его был необыкновенно жалок; зеленый, иззябший, испуганный, он был так одинок, так беспомощен...

— Ей-богу, не знаю, куда и деться!— прибавил он, помолчав.

Сказал он это и замолк. Молчал и я...

VII. ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ.

...Плохой клубный ужин был съеден, плохое клубное вино выпито; но небольшое общество, успешно совершивши и то и другое, не расходилось и продолжало сидеть за жиденьким клубным столиком.

Пять человек, сидевшие за этим столом: медицинский студент, его сестра, сельская учительница, неудавшийся и скучающий своим фраком и белым галстухом адвокат, проклинающий свою газету фельетонист и так «просто человек», служащий в банке,— всё это общество испытывало по окончании ужина только Петербургу свойственное, вялое утомление — результат суетливого, но ни капли не интересного дня... Вяло велись разговоры, поминутно перерываясь длинными паузами и касаясь тысячи разнохарактернейших предметов, что не только не способствовало оживлению беседы, но, напротив, делало из нее какое-то несносное, не имеющее цели бремя... Так тянулось довольно долго, когда случайно кто-то из собеседников заговорил о самоубийствах. Грустная тема эта — как ни странно это покажется — вдруг оживила разговор: в самом деле, в последние годы мания самоубийства черною тучей пронеслась над всем русским обществом, и едва ли в нем найдется кто-

нибудь такой, которого бы эта беда не интересовала, помимо беды общественной, еще и с личной точки зрения. У каждого беда эта унесла кого-нибудь, с кем была близкая или дальняя связь родства, близкое или дальнее знакомство.

Оживившийся разговор пяти клубных посетителей сразу показал, что вопрос о преждевременной смерти занимал каждого из собеседников едва ли не более всех других вопросов, которых в таком обилии касался сегодняшний вялый, скучный разговор за ужином. Оказалось, что всякий подумывал об этом деле, и подумывал не раз, и у всякого был матерьял, разработанный каждым на свой образец, и разработанный довольно тщательно.

Случайно подвернувшаяся тема была так всем близка и интересна, что немедленно и единогласно было потребовано еще две бутылки клубного вина, что предвещало всеобщее желание толковать, и толковать обстоятельно, то есть предвещало еще две или три бутылки в окончательном результате.

Поддерживаемый первыми бутылками разговор пошел оживленно и бойко; припоминались случаи, виденные, слышанные, приводились всевозможные объяснения: ревность, любовь, запутанные дела, оскорбленное самолюбие и проч. и проч., и вместе с тем пытались взглянуть на дело вообще, подвести итог своим наблюдениям, своим мыслям по этому предмету.

Крайне разнообразны были общие взгляды на коренные причины эпидемии самоубийств; но то обстоятельство, что мания эта могла появиться и разрастись только в настоящее время,— это всеми признавалось единогласно. Все были согласны, что новое время русской жизни было главною причиною к тому, чтобы началось это поголовное самоизбиение, и что главная, существенная черта этого нового времени — необходимость жить своим умом, самому отвечать за самого себя, необходимость, осенившая сразу сотни тысяч народу, благодаря крепостному праву со всеми его многочисленнейшими разветвлениями, в виде всевозможных родов

дармоедства и дармобытия, не имевших ни возможности, ни сил, ни умения распознать в себе образ и подобие божие.

Фельетонист, проклинающий свою газету и свою профессию, утверждал, и притом самым настоятельным образом, что холопство, вбитое в русского человека,— главная причина и корень всех ненормальных, безобразных явлений современной действительности. Несомненно одностороннее мнение это фельетонист обставил рядом нахватанных оттуда и отсюда доказательств, из которых вышло примерно следующее: русский человек до такой степени лично уничтожен, что совершенно отвык видеть в себе человека, то есть разумное существо, созданное, как утверждают, по образу и по подобию божию, имеющее право жить, дышать, думать и поступать; он утверждал, что замордованный русский человек ценит в глубине души только жестокость, несчастие, палку, полагает кровью и плотью своею, что нечто постороннее, жестокое, трудное и, главное, мало или даже почти непонятное — есть его единственные и самые подлинные жизненные руководители, его судьба, предопределение; что замордованный таким образом русский человек, поставленный новыми порядками русской жизни в необходимость обдумать собственное свое положение, должен был потеряться, так как моменты, когда надо самому за всё отвечать, в настоящие дни возможны, по крайней мере относительно мелочей личной жизни; мысль эту, то есть потерю русским человеком почвы под ногами, потерю им сознания законности и цели своего существования, охватывающую его в минуты, когда над ним не гремят громы небесные, когда его «не нужают» справа и слева,— фельетонист обставил примерами, взятыми и из личных наблюдений и из фактов общественной жизни, знакомых всем слушателям по газетам. Сгруппированные им факты производили впечатление не столько, правда, глубиною и тонкостию наблюдений, сколько поспешностью, с которою г. фельетонист выбросил их, один за другим, пред заинтересованной публикой. Он указал между прочим

на ту страшную черту, вообще господствующую во всем русском обществе, вследствие которой оно, это общество, не замечает и совершенно не видит, не слышит таких явлений, которые стоят у него под носом сотни лет, и вдруг начинает видеть и слышать всё это, как только разрешат... «Почему это,— спрашивал он,— разные комитеты обнаружили такую страстную жажду делать добро болгарским и черногорским бедным отцам и нищим детям, когда у них на глазах явлений, могущих трогать те самые струны сердца, которые пробуждаются бедствиями Болгарии,— великое множество, и притом сотни лет и каждый день? Одних подкидышей в том самом городе, где живут они, сколько мерзнет на церковных папертях, в подворотнях богатых купцов, сколько мрет детей по деревням, по крестьянским избам! А какое обилие нищих шатается по городу! Каждую субботу непременно какой-нибудь благодетель раздает по копейке на каждого нищего, и каждую субботу можно видеть тут, под боком, какое обилие этого народа, как он жаждет копейки, как он терпелив, ожидая ее, и как он зол, когда ее перехватят другие...Кто не видал, как *в кровь* дерутся из-за этой копейки? А это беспрерывное нытье за окном: „па-а-адайте... христа... ради... слепенькому... погорелому... убогому... нищему...“ Ведь этот тихий стон слышит каждый из нас всю свою жизнь; ведь об этих подкидышах, об этих слепеньких и погорелых всякий из нас знает испокон веку — и что же? всё это ни капли не трогает, точно так это и должно быть.— Я сам,— прибавил фельетонист,— очень хорошо помню, как однажды в провинции я сам закричал даже на какого-то солдата, который охал у меня под окном в то время, когда я сидел за работой, компилируя французскую книгу о лионских работницах. Я семерых послал в кухню, и этот восьмой вывел меня из терпения... Отчего вот на такие, под самым носом совершающиеся, бедствия я молчалив и терпелив? Отчего даже и на черногорцев и герцеговинцев я стал жертвовать только тогда, когда пришел квартальный и сказал: „можно!“ Да потому, мне кажется, что я именно себя-то

и потерял... Только чужое мне, постороннее, и действует на меня — будь это приказ квартального, газетная горячая статья или книжка о лионских рабочих... Без этих посторонних приводов мое существование неподвижно, тупо и равнодушно. Собственно *я*, без палки, без указки и тумака («ну, это — уж очень!»— заметил кто-то из присутствовавших), так отношусь к явлениям жизни: вот герцеговинцев режут, вот нищие ходят, вот дети умирают на папертях и подворотнях... Я-то тут при чем?.. У меня даже мысли нет, что бы такое следовало изо всего этого. Но я делаюсь совершенно другим, когда на меня заорут: „Ты что ж это на герцеговинцев-то не жертвуешь? Ты что ж это не спасаешь погибающих детей?.. Ты что ж это (так и так) нищих-то развел? О лионских мастерских пишешь, а тут, под боком, люди расшибают себе лица в кровь из-за копейки серебром, из-за бутылки, выкинутой в помойную яму?.. Эй!..“ Тут я вдруг очнусь, и всё доброе откроется у меня во всю ширь! „Можно!“— завопию я всеми суставами и ринусь... Но и тут еще надо указать мне, куда ринуться и как... Надо с точностью научить, что пожертвования принимаются там-то и тем-то, всё надо перечислить по пальцам, а то я постоянно буду затрудняться разными совершенно бессодержательными вопросами: например, можно ли чулки пожертвовать болгарским детям, или нельзя? Хотя я очень хорошо знаю, что дети эти без чулок, что чулки им нужны и что, наконец, кроме этих чулок, мне жертвовать нечего. Даже самое понятие-то слова „пожертвование“, отлично мною понимаемое, я считаю настоящим, подлинным пониманием не у себя, а у тех, кто мне разрешает...»

Протест большинства присутствовавших за клубным столом лиц, усумнившихся было в действительности существования в русском человеке странной любви к палке, был заглушен всё более и более разгорячавшимся фельетонистом помощию усиленной торопливости, с которою он перешел к новому ряду доказательств, не дав хорошенько разобрать и обдумать только что сказанное. Коснувшись сербской

войны и объяснив эту русско-сербскую толкучку именно тем, что тут соотечественники пытались попробовать сделать дело сами, без указки и без палки, и не дав по обыкновению никому возразить, он тотчас перешел к ежедневным явлениям современной жизни и стал выхватывать одни примеры за другими. По его словам, неуменье жить без неприятностей видно повсюду. Он знал супругов, которые не могли ужиться при самых благоприятных обстоятельствах и отлично жили при неблагоприятных. Вот образцовая пара: оба добрые, умные люди, оба сошлись не из расчета, а по любви, и согласны по мысли... И что ж? скука, тоска, холод... Ни одно дело не удается, ничто в прок нейдет. Разошлись наконец. И глядишь: сошелся супруг просто с немкой Каролиной Карловной, у которой только одни потребности: иметь на руке мешок с деньгами и елико возможно больше извлекать этих денег из всего мироздания,— и всё пошло как по маслу. Каролина Карловна каменной тучей своего грубейшего непонимания висит над человеком, над его развитием и умом, человек этот ропщет, но ожил, бегает по вселенной, «достает»,— и уж, поверьте, никогда не уйдет от этой каменной тучи. «Сам», своею охотою, не уйдет. Потому что бессмысленные, нестерпимые условия, в которые попал человек, благодаря этой женщине с каменными мозгами и сердцем, он считает подлинными, заправскими, а доброту, ум и простоту прежней привязанности считает только сном детским, из которого ничего не выйдет и с которыми страшно и холодно жить на свете. Не запряженный, пущенный на волю русский человек пропал, погиб в большинстве случаев, и единственное спасение ему — крепкие оглобли, тяжелый воз... Так привык, так заезжен. Продолжая не слушать возражения собеседников, тщетно спрашивавших: «при чем же тут самоубийство?»— автор теории любви к палке выдвинул еще новое наблюдение: именно, он сказал, что даже так называемые новые идеи и дела для многих-многих россиян важны и значительны только как бремя, как упряжка, как постоянная борьба с самим собой, постоянное мучение,

испытываемое в этой борьбе, происходящей от полного разногласия всего существа субъекта с требованиями новых идей. Иной и рвется к ним, потому что исповедывание их почти для него невозможно... В подтверждение этого положения он рассказал про одну девушку, долго и безуспешно отбивавшуюся от своего истинного призвания — быть хорошей хозяйкой и матерью многочисленного семейства, забывшую в один день всё, что выдолблено ею в год, вроде экзамена на сельскую учительницу, и никогда не выучившуюся понимать и различать общественные дела от необщественных. Нужно было видеть, что это была за мученица! Она едва не умерла, как вдруг вышла замуж, родила ребенка и расцвела, то есть всё забыла и стала тем, чем должна была быть, влача иное, свойственное ее натуре, бремя хозяйства и домоводства. Рассказал он еще и про одного мужчину, своего товарища по гимназии, который отдался новым идеям, тоже как будто с испугу и тоже потому, что в натуре и существе его именно и не было ничего нужного для того, чтоб идеи эти были живыми в живых людях. Испугавшись раз, в первые дни приезда в круг молодежи одного провинциального университета, он уж стал потом всё делать с испугу и поступал во всем против собственных желаний. Женился потому, что жена решительно ему не нравилась и потому, что именно это обстоятельство (жена была из новых) делало его причастным к тем кружкам, идеи которых были для него почти невозможны... Словом, человек этот раз узнал, что в нем нет материала для исповедывания новых идей, испугался самого себя и стал поступать против себя во всем.

Собеседникам показалось всё это до такой степени трудно постижимым и неудобоваримым, что несколько голосов нашли нужным прервать рассказчика вопросом: «Да при чем, наконец, тут самоубийство? Зачем вы приводите таких уродов, идиотов и глупцов?» Фельетонист, очевидно, хвативший в последовательности своих наблюдений через край, категорически объявил, однако, что этих глупцов, этих людей, желающих ярма, так много на русской земле, что изучение

странной любви к ярму можно считать достойным внимания образованного российского общества и что к самоубийствам всё вышесказанное также имеет отношение довольно близкое, именно: самоубийством непременно должен кончить всякий из таких, умеющих жить в ярме, как только жизнь поставит его в необходимость почерпать силу жизни в собственном желании и мысли. Такой человек в такие минуты с ужасом видит, что в нем нет источника жизни и почерпать не из чего. Умирают такие люди собственно «от испуга»... самих себя.

Этими словами, показавшимися всем похожими на правду, наблюдатель окончил изложение своих наблюдений, залпом выпил стакан вина и обещал всё это разработать в своем фельетоне, прибавив:

— Вот тогда увидите...

— Нет,— перебил его медицинский студент,— я вот чего не понимаю... Я не понимаю, как можно умереть с голоду... Мне понятно, что в минуту отчаяния, испуга, как вы говорите, можно пустить пулю, принять яду, но морить себя десять, пятнадцать дней голодом, умереть от самовольного истощения — этого я не понимаю... Какой тут испуг? Вообще, я не понимаю тут ни капли...

— Болезненное состояние...— произнес было банковский чиновник...

— Я об этом не говорю; я спрашиваю только: каким путем доходят до этого состояния?..

— Тоже от испуга...— нерешительно произнесла сестра студента, сельская учительница.

Это была одна из тех много думающих, но робких девушек, которые в редких случаях, и то вспыхнув от сознания неловкости, решаются произнести свое словечко.

Обыкновенная форма разговора этих натур такая: «Мне кажется... я думаю...» Начнет она — и тотчас замолчит. — «Говорите же, что вы думаете?.. Говорите пожалуйста».— «Нет, я так... Я ничего не понимаю...»— «Что за вздор! как ничего не понимаете?.. Говорите, ради бога.» — «Я думаю... Нет, я — дура...»

И только, после многих ободрительных слов, большею частью в ту минуту, когда уж и не ждут никаких от нее объяснений, она вдруг выскажется торопливо, кратко и верно.

Так было и на этот раз. Все присутствовавшие знали, что словечко, сказанное этой девушкой, не будет пустым, и разом налегли на нее с требованием сказать, что именно она думает, когда на замечание брата о том, что ему непостижимо, кого и чего можно так испугаться, чтобы морить себя голодом, мучить самым жестоким образом, вместо того, чтобы пустить пулю в лоб, она ответила обычным порядком, то есть начала словами: «мне кажется» — и кончила тотчас выражением: «нет, я так... я не понимаю...» После усиленных и всеобщих настояний из этого молчаливого существа было извлечено мнение, что с голоду умирают, испугавшись — «*всех*» и «*всего*...», то есть и себя и всего белого света; кроме этого, она сказала, что знала одного человека, который именно *так* и умер,— и, повидимому, неизвестно зачем прибавила: «Он был крестьянин...»

— Ну,— перебил ее брат,— положим, это-то... уж ничего не значит...

— Нет, значит... Я знаю, что такое деревня и крестьянская жизнь... Ни для кого так не страшна действительность, как для крестьянина... В его жизни нет прикрас и снисходительности ни в чем... Всё — от неба, которое хлынет градом, от земли, которая не уродит, до отца и брата, которые не пощадят его, если не будут сами пощажены,— всё может раздавить его в мгновение...

— Ну, рассказывай лучше,— перебил брат.— Кто такой это твой знакомый... Рассказывай всё обстоятельно...

Запинаясь и конфузясь поминутно, девушка рассказала одну очень простую историю, которую я и записал так, «как понял», не ручаясь за точность и подлинность выражений.

На Оке, в одной деревеньке, где останавливаются пароходы, на краю селения, много лет тому назад жила солдатка с маленьким сыном. Жили они у самого берега, в нищенской лачужке и в страшной бедности: ни кола, ни двора, ни курного пера... Чем жила эта женщина?.. Некрасивая, худая и оборванная, ходила она на поденщину,— на поденщину деревенскую, где гривенник за целый день — деньги громадные... Когда же приходили барки и заночевывали в деревеньке, в хибарке солдатки слышались гармония и песни: пели и веселились такие же, как она, нищие люди, бурлаки... Такие грехи солдатки, весьма понятные в ее положении и случавшиеся только ради ее крайней бедности,— грехи, дававшие ей возможность только-только не умереть с голоду, однако, ставились ей строгим деревенским крестьянством в вину и даже вредили ей в поденной работе...

Долгие годы билась она так, как рыба об лед, работая и голодая, гуляя с бурлаками и тоже голодая, и никогда не имела ни средств ни времени ходить за своим ребенком. Рос он без всякого призора, голодный, буквально раздетый, вечно выброшенный на улицу: на улице ёрзал он, когда у матери пили и гуляли гости; на улице торчал, когда она где-нибудь мыла полы, или стирала, или работала какую-нибудь другую поденную работу. И тут и там он мешал, корявый, неуклюжий и совершенно дикий. Он мешал даже и в детской компании — его гнали прочь, потому что он всему завидовал и тянул к себе, а когда не давали, то ревел. Ни о чем никаких понятий он не имел; не было ни одного человека, который бы сказал ему слово. Всем было видно, что ни матери его ни ему жить нечем. И вот жестокая русская действительность: ни в чьем внимании, ни в чьей заботе ни он ни мать не занимали ни капельки места.

Никому не было жалко их, точно это — не люди, а гнилое, захудалое дерево, которому нечем жить и которое засохнет непременно. Эта жестокость имеет свои основания хотя уж в том, что всякий из крестьян живет в таких же условиях и твердо знает, как про себя, так и про других, что «если

у него *ничего* нет, то *никто ничего* ему и не даст», никто ничем не поможет... Но об этом распространяться нечего долго... Словом, полное одиночество, одиночество необитаемого острова... Хуже! Что необитаемый остров! Необходимость пищи заставляет там думать, искать, наблюдать... Тут же и мысль не смела действовать, потому что обитавшие место люди взглядами, отношением говорили, что — твое мол положение самое беззащитное; ничего у тебя нет, ничего не будет — и дело твое пропащее вконец. Слабая, едва-едва теплившаяся надежда, что вот мол воротится из полка отец,— одна только, и то как неосуществимый сон,— мелькала иногда у матери дикого ребенка и передавалась ему также в слабой, чуть-чуть слабой степени... Он, как и все его односельцы, уже ребенком маленьким, только начинающим ходить ребенком, знал, что ему надежды нет ни на что, что ему никто ничего не даст и что сам он ничто... Голая земля под ним и голый он сам на этой земле: вот его положение, средства, надежды — всё.

Как-то на лето приехали в деревню господа, очень долго жившие за границей и в столице. Тогда только что началось вполне выясненное теперь и очень смутное в ту пору стремление слития и проч. и проч.... Поденщица попала к господам на работу и, как людям чужим, посторонним, за два, за три дня работы рассказала свое горемычное житье, всё в подробности... Изумились, растрогались, сжалились, набавили целый рубль, дали мальчишке старые сапоги своего сына, накормили... Тонко наблюдателен голодный народ! И мать дикаря-мальчишки увидела, что надо пользоваться добротой господ: «подай барчуку лопаточку»... «повези колясочку»... «прогони собаку, видишь — барин пужается»...— стала она поминутно твердить своему неуклюжему волчонку.

— Да ты присылай его к нам играть с Мишей! — был результат этих стараний голодной матери.

С этого дня Федор (так звали волчонка) стал ежедневным посетителем барского дома, ничего не понимая, зная только, что там ему лучше. Молча возил Федюшка колясочки, таскал

песок для пирожков, отгонял собак и терпеливо ждал новых и новых приказаний, зная, что его дело — их исполнять; его кормили здесь, и он тотчас убегал домой, когда ему ласково говорили: «ну, ступай, уж поздно — тебя, должно быть, мать ждет...» Федюшка хорошо знал, что это ласковое внимание к матери означало — «ты больше не нужен, Миша будет спать», но ни капли этим не обижался, потому что и мысли не мог допустить, чтобы он был что-нибудь значащее. Он был брошенный на улицу опорок, свалившееся с возу полено, словом — никому ни на что ненужное создание. Спасибо, что хоть кормят. Он служил за корм, за воду — и ничего не понимал даже в окружавшей его обстановке барского дома: это всё было чужое...

Скорей на несчастье, чем на счастье Федюшки, это сознание себя чужим не только в барском доме, но вообще на всем белом свете, было мало-по-малу, по капельке разрушено матерью ребенка, которому Федюшка услуживал в благодарность за еду... Барыня эта была одна из тех странных матерей, которые никак не могут пользоваться тем, что дано их детям природою, тем, что в них есть и что может быть. Еще до рождения составила насчет своего будущего сына (иные прямо определяют, что у них родится сын, непременно сын, или непременно дочь, и бывают ужасно недовольны всю жизнь, если выйдет иначе) самые определенные планы: определила цвет волос, цвет глаз, походку, выговор, склад губ и длину носа; она крайне была обижена, когда, по рождении ребенка, приметы и качества его оказались вовсе не такие, о каких она фантазировала: ни волоса, ни нос, ни рот не соответствовали предначертаниям предусмотрительной матери — всё было другое, других размеров, цвета и выражения... Не такой был голос, не такою оказалась походка, когда он стал ходить, словом — всё не то. Это до того огорчило мать, с первого дня рождения ребенка, что она, несмотря на то, что ребенок принадлежал именно ей, никогда не могла уничтожить (да и мало об этом старалась) в себе какой-то холодной к нему отчужденности. Раз

сказав себе, что — «это не то, это — не тот ребенок», она не могла отделаться от этого странного мнения и ровно ничего не понимала (а впоследствии привыкла не понимать) в том, что дано было ее ребенку, и в том, что он по своей натуре совершит... Все дни этого мальчика были испещрены недоумевающими вопросами матери: «Что он делает? Что это за фантазия? Откуда это? Я не понимаю — ззач-чем? Что ты хочешь?» И в конце концов: «Ужас, что за ребенок! Я просто не знаю в кого... на что... что такое?..» Что бы он ни сделал, что бы ни сказал, куда бы ни пошел — всё выходило не так, не то, не туда, всё было не так, как предположила мать и как поступил бы ее предначертанный сын... Обыкновенно такие матери вконец задергивают своих детей и делают их своими заклятыми врагами. И в маленьком Мише вместе с забитостью уже развивались семена злости и мести.

Как ни странным это покажется, однако, случилось, что Федюшка, дикий, ничего не понимающий, голодный желудок, голодный и неуклюжий, и неразвитой, выступил неожиданно в новой роли — не простого служащего господскому барчуку, не простого поденщика, таскающего, по барчукову приказу, лопаточки и тележки,— нет, он внезапно выступил, как *пример* этому барчуку... Чего только ни выдумает иная сообразительная мать!

Федюшка — *пример* господскому ребенку!— это так же правдоподобно, как если бы седло было примером для коровы, или если бы господский ребенок был примером для всех Федюшек на свете. А между тем вышло же, что Федюшка стал примером, образцом ума, изящества, словом — образцом всевозможных добродетелей. Конечно, добродетели эти приписывались ему, как деревянному болвану, как кукле, которой, как говорят, бывает больно, когда ее бьют, которая будто пришла в гости и т. д. Федюшка так это и понимал, и долгое время смотрел на себя не иначе, как на деревяжку, когда его ставили примером какого-нибудь хорошего качества. «Посмотри, как Федюшка... Видишь, какой умный

Федюшка... Как тебе не стыдно! вон Федюшка даже смеется. Правда, Федюшка, как это не хорошо? Да? Ну, вот видишь: Федюшка говорит...» Бесчисленное количество таких указаний на Федюшку, на Федюшкин ум, понятливость и прочие хорошие качества последний, в качестве деревянной куклы, переносил с величайшим терпением, памятуя, что всё это его не касается и что слава богу, что кормят.

Но через год-другой (господа стали жить в деревне даже по зимам) такие уверения в каких-то превосходных качествах Федюшкиной особы, по капельке, на мгновение начали протачивать его с детства обезнадеженное сердце. Однажды во время таких похвал белое, бесцветное лицо его вспыхнуло, и он, не позволявший себе сказать никогда ни одного своего слова, произнес ко всеобщему удивлению, как-то необыкновенно радостно и торжественно: «*ко мне батька вот придет шшо!*» Даже на лбу при этих словах у него загорелось красное пятно, точно звезда. Никто не мог сообразить, какая связь между мнимыми похвалами мнимым качествам деревянной куклы и необычайным восторгом этой последней, ввиду того, что у нее есть какой-то батька, который *шшо вот придет.* А связь была несомненная. Федюшка, постоянно одобряемый, впрочем не раньше, как через два года этих непрерывных одобрений, стал позволять себе верить, хоть на мгновение, на один миг, что он — не совсем пропавшая тварь, что он на самом деле такой же человек, а может, еще и лучше, чем другие Федюшки... Ведь говорят же ему об этом каждую минуту?.. И вот, чтобы самому себе доказать, что он — непропащий, он припомнил, как уже известно, единственный серьезный резон, имевшийся у них с матерью, связывавший их, хотя очень отвлеченно, с обществом живых людей и дававший хотя какое-нибудь объяснение их горемычнейшему, безнадежнейшему существованию... И вот почему он неожиданно буркнул о своем отце. Он хотел сказать, что не даром его хвалят: он ведь в самом деле настоящий, не кукольный Федюшка, к нему даже еще отец вот придет, тоже настоящий... И звезда у него во лбу загорелась оттого, что он на

мгновение позволил себе узнать, что он — не кукольный Федюшка...

Повторяю, только мгновениями в сознании мальчика мелькало что-то похожее на уверенность, что он — не ничтожество, не бросовый ошметок... Да и трудно было укрепиться этой уверенности. Каждый день, исполнив амплуа «примера», Федюшка возвращался вечером в лачугу матери, в атмосферу всё той же безысходной бедности, которая выняньчила его и вскормила. Каждый божий день ему представлялась необходимость убеждаться, что настоящее-то его существование — именно в этой лачуге, в этой бедности, одиночестве, а вовсе не там, где, хоть для примера, смотрят на него, как на живое существо. Сознание, что он, Федюшка,— ничто, было так глубоко вкоренено в нем, так глубока была его уверенность в том, что он только для примера имеет право быть в другом мире, дышать другим образом, что даже некоторое развитие, некоторое понимание, приобретенное им в господском доме, он считал также принадлежащим не ему, а кому-то другим, чужим. Он, например, давно уже выучил, стоя за спиной господского барчука, не только азбуку, которой того учили, но склады, знал, как надо читать, но не мог бы прочесть ни строки ни слова, так как всё в нем твердило ему: это — не твое дело, это — дело чужих людей, не таких, как ты. Не знаю, как выразить и выяснить лучше это состояние: не яснее ли будет оно, если я скажу, что Федюшка смотрел на незаметно приобретаемое им развитие, как на чужую собственность, и не умел обращаться с этой собственностью, употребление которой могли знать только другие...

Но в редкие минуты, когда у него на низком маленьком лбу, закрытом редкими, белыми, шершавыми волосами, загоралась звезда радости, он вдруг, изумляя всех и сам изумляясь едва ли не более других, вдруг обнаруживал и узнавал, что он уж давно знает читать и что умеет прочесть слово в какой угодно книге...— «Да он отлично знает читать!»— уже не как о кукле, а с явным удивлением, про-

изнесли однажды родители Миши, когда Федюшка, сам не помня и не понимая, что с ним делается, задыхаясь от радости, вдруг без ошибки промахал целую страницу и мгновенно доказал, что он в самом деле способней и умней господского Миши, что он в самом деле может на этот раз служить ему неподдельным примером. Но если бы Федюшку заставили читать самого, то есть делать свое, а не чужое дело (уметь читать — чужое дело), он бы спутался, всё перезабыл, потому что самому ему суждена иная участь и на роду ему написано пресмыкаться в ничтожестве... И сознание этого постоянно бы мешало ему быть так же свободным в своем деле, как совершенно свободен он в чужом.

Однако развитие Федюшки, несмотря на его забитость, несмотря на то, что свою горемычную участь он с каждым днем мог различать яснее и яснее, шло да шло понемногу, и звезда во лбу, вопреки всяческим резонам, представляемым суровою действительностью, загоралась всё чаще и чаще... Разгоралась она, несмотря даже на то, что, кроме горемычного существования, с некоторого времени на его пути стала новая беда: понемножку, с крайнею деликатностью и гуманностью, ласковое обращение господ с Федюшкой начало изменяться в худую сторону... Нет ничего хуже, жестче и неумолимей родительского сердца, раз оно тронуто за живое... А Федюшка не раз трогал его... Уж одно то, что он выучился читать, будучи куклой, раньше, чем настоящий Миша выучил азбуку,— уж это одно как обидело барыню и барина, несмотря на то, что для барыни сын ее был не настоящий, не тот, которого она желала! Едва только Федюшка оказался в самом деле Федюшкой, а не куклой для примера, тотчас проснулось родительское сердце и тотчас ожесточилось: сначала на судьбу, которая дала вовсе не того ребенка, какого следовало (тот бы заткнул за пояс всех этих Федюшек), потом на ненастоящего ребенка, который ставит мать постоянно в неприятное положение, и, наконец, на Федюшку, который бог знает зачем тут толкается и только еще более делает неприятностей и так уж огорченной матери...

Потом уж по особенной логике вышло так: Федюшка только мешал, и только от Федюшки Миша и не успел в ученьи...

И отец Миши и мать одинаково сознавали, в те минуты, разумеется, когда Федюшка изумлял их появлением во лбу звезды, что он тут — лишний, что он мешает... Но так как они были люди совестливые и гуманные, то и не прогнали его, а продолжали пускать в хоромы, только деликатно давая заметить, что он, Федюшка, не бог знает что такое... «Не сопвай, пожалуйста... Ты, Федя, постоянно мешаешь... Ты видишь, Миша учится, а ты стучишь... Иди на улицу стучать...»— и т. д. Понемножку, по капельке, Федюшке стали доказывать совсем другое: то есть, что он — вовсе не пример и что он — мужик и неуч и что настоящее место его вовсе не тут... Всё это, разумеется, в высшей степени деликатно...

Но что поделаешь с раз начавшей разгораться во лбу звездой! Правда, и лоб-то этот был маленький, низенький, весь заросший по краям и сверху белыми, шершавыми, как солома, волосами, и звезда-то в нем разгоралась редко, светила робко, робко... А всё-таки, раз начав светить, стала светить, несмотря ни на что: ни на то, что горела она в лачуге, разрушавшейся всё более и более, что пред ней была непроглядная тьма будущего и что ее застилали, кроме того, холодные тучи в виде холодного господского равнодушия...

И случилось с замореннным, обреченным на явную гибель существом нечто весьма странное, хотя случающееся на Руси именно в настоящее время с великим множеством простого народа... то есть он прямо от складов принялся за чтение книг, отвечающих самым настоятельным и насущным требованиям мысли... У господ не было ничего, кроме книг, которыми интересовалась тогда вся грамотная Россия. На просьбы Федюшки дать ему «книжечки почитать» барин и барыня обыкновенно говорили: «Какие ж тебе книжки? право, ничего нет такого!»... И давали ему первую попавшуюся под руку книгу, будь это — иностранный роман, политическая экономия или последняя книжка журнала.— «На вот,—

прибавляли они,— ведь не поймешь ничего...»— «Мне так!»— говорил Федя, которому действительно книжка была нужна просто так... так как звезда не меркла во лбу... Но какую бы книгу тогдашнего времени (а господа были «следящие») они ему ни сунули, достаточно вспомнить самый тон времени, чтобы понять, что всякая тогдашняя книжка, независимо от формы, в сущности своей отвечала именно Фединому положению, говорила, хотя и робко и нежно, о его бедовом житье-бытье...

И вот к таким-то книгам Федюшка перешел прямо от складов, минуя Еруслановн Лазаревичей, псалтырь, жития святых, минуя сонники и письмовники — и т. д. и т. д. В настоящее время, когда псалтырь и часослов уже не составляют главнейших оснований грамоты, грамотному простому человеку приходится прямо переходить к газете,— к «Ведомости»,—так как существующая литература, ни лубочная ни так называемая изящная, одинаково не могут служить пособием для дальнейшего, после новой школы, развития, а главное — не могут попадать новому грамотному в руки: лубочная литература — по своей глупости, изящная — по дороговизне и, пожалуй, некоторой ненужности: всё в этой литературе посвящено чуждым интересам, иному миру, чем мир грамотного пахаря. Единственными пособниками являются газета и трактир, дающий право даром читать эту газету всякому, кто пришел выпить пару чаю. Пересмотрите дешевые газеты, попадающие в дешевые сельские трактиры, да и не одни дешевые, а дорогие и длинные современные газеты, припомните их ревностное стремление «угодить» нешпрокпм вкусам почтеннейшей публики; припомните их вилянье, их вообще неправдивое, неискреннее, недельное направление,— и вы не без сожаления подумаете, что это — очень и очень плохая школа для начинающего быть грамотным народа.

Но вернемся к Федюшке. Что мог понимать он в тех книгах, которые в то время писались и которые он брал от господ? Вопрос этот весьма любопытен, ввиду того, что

книги того времени действительно имели влияние на тугой, неразвитой, мало способный и забитый ум Федюшки,— тем еще более любопытен, что, развиваясь на этих книгах, Федюшка ровно таки ничего в них не понимал. Он «разбирал слова», как Петрушка, разбирал их целыми десятками, сотнями страниц, не находя между ними ни смысла ни связи, а развивался, и именно в том самом направлении, каким книги были проникнуты. Тайна такого непостижимого умения развиваться книгой, ничего в ней не понимая, заключается в том, что развитие тут идет не помощью ума или понимания, а исключительно помощью сердца. Сердце автора подает весть сердцу непонимающего «слова» чтеца. Кто и когда из самых завзятых знатоков писания понимал не только доподлинно, а так, хоть из пятого в десятое, что такое читается в церкви? Какая начетчица понимает, что такое написано в псалтыри, который она зудит по годам? Что такое написано в «Апостоле»?— Никто никогда, ни один самый завзятый начетчик и грамотей крестьянского звания не мог и не может рассказать (разве что вызудивши дело дотла). о чем таком ему читают, но всякий знает, в чем дело, потому что сердцем понимает сердце автора, будь то царь Давид, апостол, сам Христос... Скрытое в глубине и массе слов чувство, руководившее автором книги,— только оно и улавливается слушателями или чтецом, и, уловя его, чтец или слушатель продолжают только чувствовать в данном сердцу направлении, думая о себе. Попробуйте спросить вот этого старого старика, всхлипывающего на печке от чтения псалтыри, такого чтения, в котором никто ничего разобрать не может, потому что тут нет ни остановок ни связи, тут разделяется пополам одно слово и произносится так, что один конец прилипает к предшествовавшему слову, а другой к последующему,— спросите этого плачущего старика: что такое растрогало его в этих, как развеленный плетень, натыканных его внуком словах?— То, что он вам ответит, будет непременно годиться в горбуновский рассказ; непременно выйдет что-нибудь вроде: «Наслежу, говорит, следов (плачет),

а ты... гов... (плачет) говорит, по ним и ходи... (рыдает)». Словом, выйдет непременно какой-нибудь смешной вздор, сразу обнаруживающий, что рыдающий старик глуп, как пробка... А между тем, он рыдает теми слезами, какими рыдал и царь... Сердце его так же мучается своими прегрешениями, как мучилось также своими прегрешениями и сердце пророка... Оба одинаково страдают, каждый о своем... Старику передалось только направление книги; он только почуял, что мучился человек, который писал, и простое сердце отвечало слезами...

Таким порядком читают в трактирах и газеты; не понимая ни этой «фанатизмы», не зная, что Царьград, Стамбул и Константинополь — одно и то же, не понимая, что такое пишется в романе, переведенном с французского, что такое поется в Театре-Буфф и в Ливадии,— словом, не понимая почти никаких слов газет, еле грамотный чтец отлично-хорошо чует общее шаромыжнически-практическое и плутовски-улыбающееся сердце газеты и отвечает ему смелостью, с которою шаромыжничество возрастает в народе в значительной степени. Точно так влияли непонятные книги и на Федюшку. Рассказать прочитанное и передать своими словами он не мог — выходил всякий вздор,— но сердце книги он чуял, понимал, а сердце в то время было у книги чистое и доброе... Оно было открыто именно только Федюшкину горю.

В плохо кормленном, плохо развитом, малосильном, малоспособном этом человеке, выросшем в холодной и неприветливой обстановке,— человеке, отчаявшемся в своем праве на жизнь,— зашевелилось в сердце от этих непонятных страниц непонятных книг что-то похожее на жалость... Жалко как-то ему стало делаться всё сильней с каждым днем... И мать жалко, и себя жалко, и жаль, что господа его бросят непременно, и жаль, что на него с матерью никто и глазом не взглянет... О боге, о его воле в делах человеческих он не знал; матери было недосуг, а господа тоже мало бога помнили, как вообще все господа... Не имея поэтому

возможности объяснить себе своего положения указаниями провидения, Федюшка — теперь уж Федор (ему уж было четырнадцать лет, когда началось его жалостливое состояние) — только убивался. Не понимая, отчего и что, он жалел, скучал и сокрушался сердцем... Нежное что-то было пробуждено в этом засыпанном снегом горя сердце, нежное, как подснежный цветок... Эта нежность, ласковость обнаружилась по отъезде господ на матери. Уж как он старался ей помогать: и чемоданы таскал с пристани, ходил по дворам, собирал старые бутылки... Благодаря непонятным книгам, пробудившим жалость и сожаление к незаслуженным страданиям, только эта жалость и оживляла его, только она и росла в нем... Придет время — перестанут на нас рычать и сердиться соседи, перестанут бранить мать, станет он учиться — и в благодарность за то, что никто не сердится на них, сам никогда не будет сердиться. «Все будут ласковы друг к другу; за копейку, за бутылку драться не будет никто... Стоит только всем быть добрым...» Так у него ныло в сердце, несмотря на то, что по отъезде господ у него даже и книг не было. Помогая матери, он и ее-то вывел из безнадежно-голодного состояния, и она стала скучать, и у нее стало мелькать: «за что это?»— и она, как Федюшка, чувствовала, что это всё неправильно и, должно быть, когда-нибудь переменится... «Вот, придет отец!» Эта мысль после отъезда господ стала единственной мыслью их обоих; этот приход был бы, уверили себя они, началом освобождения; отец поможет им выйти из-под гнета всеобщего презрения, а они, и в особенности он, Федор, покажет тогда, как он добр, как он всякому рад. Тогда все узнают, что были к нему жестоки, несправедливы, и, раскаявшись, сделаются добры и мягки. Будет тогда всем и легко и весело.— «Вот только пусть придет отец!»

С годами мысль об отце,— мысль довольно фантастическая, ни на чем не основанная,— стала делаться и для сына и для матери чем-то почти реальным. Потребность подняться из бездны, заставить людей оглянуться на них, заставить

их раскаяться и понять, что «мы с мамкоїй» ни в чем не виноваты, делалась всё настоятельнее и сильнее. Только приход отца, этого по всеї вероятности сильного, справедливого человека, которого все будут уважать сразу, с первого дня,— только его приход и помощь могли помочь им выйти из беззащитного положения и добиться от людеї того, чтобы они раскаялись, смягчились, сделались добреї... Бывали дни, когда и мать и сын, оба вместе, и именно сегодня, ждали прихода избавителя... «Что-то думается мне, как бы батька твой не пришел? Что-то уж мне стало очень скучно... Право, поди, не пришлось бы... Пора б прийти-то». Федюшке самому было тоже так скучно, что он ни капельки не сомневался в справедливости предположеній матери и твердо был уверен, что отец придет непременно, того и гляди.

Было Федюшке шестнадцать, лет, и вдруг сбылись предчувствия и надежды. Отец в самом деле пришел-таки, и пришел в ту самую минуту, когда им стало скучно, так скучно...

Пришел — и не прошло двух дней, как при всем честном народе, перед целым сходом, на площади, между волостным правленіем и кабаком, несчастный, измученный мальчик был жестоко выпорот по желанию своего долгожданного родителя... Два ведра вина, которые родитель не поскупился поставить миру, сделали свое дело: Федюшку выпороли на славу; дюжие руки, укрепленные сивухоїї, не жалели худых Федюшкиных ребер и засыпали ему в худые бока без счету... «Хорошенько!— вопияла пьяная орда: — заслуживай, ребята, Силанью Ивановичу!..»

Пусть читатель сам представит себе, что должно было произойти в душе Феди от такого неожиданного оборота дела, покуда я скажу несколько слов в объяснение того, как могло случиться такое несказанно-жестокое дело.

Воротившийся отец оказался вымуштрованным, вышколенным, хорошо откормленным бульдогом, едва ли уж умевшим понимать какие-нибудь профессии, кроме профессии вцепляться своими крепкими зубами в чье-нибудь горло. Это была одна из тех жестких, тупых тварей, которые невесть

за что готовы съесть родного отца... Верный и жестокий, как пес, он был золотым человеком там, где нужно было караулить, ловить, не пускать, вообще *исполнять* какой угодно бесчеловечный приказ. Приказ, и именно трудный, жестокий, как нельзя лучше приходился по его жестокой, сухой, бульдожьей натуре. Эти собачьи качества, эта собачья выдержка, неумолимость и верность сделали ему хорошую карьеру на службе у богатых господ, которые не нахваливались им в то время, когда «свой брат», простой человек, загрызаемый им без всякой пощады, смотрел на него, как на бешеную собаку. Несколько раз его собирались убить, стреляли в него из ружья, когда он караулил у одного богатого помещика лес: под его хищным взглядом нельзя было унести ни одного сучка, сорвать ягоды — всё видел, всех хватал, связывал, представлял куда следует и разорял иной раз дотла целые семьи крестьянские из-за этого сучка, из-за этой ягоды. Сам он был безукоризненно честен; всякий рубль, нажитый им, нажит за верную, беспощадную службу, себя он на этой службе «не жалел», бесстрашно лез в огонь и в воду, если только было ему велено. Он и домой-то не шел так долго, потому что считал бесчестным оставить *так*, без присмотру, то или другое врученное ему дело. Всякую службу он дослуживал до конца, до последней точки той цели, с которой его брали на службу.

Вот такой-то железный и прямой, как железная палка, человек, устав служить чужим людям, пришел домой. Не было в нем нежности никогда, а поведение его жены, сделавшееся ему ясным с первого дня прихода, еще более окаменило его каменное сердце. Она, по его мнению, не должна была бесчестить его распутством, как он не бесчестил ее. Она была бедна — да ведь и он нищим вышел из полка; однако он прожил честно, а она опозорила его на весь свет. Он всю жизнь бился для того, чтобы добыть им же,— отчего же не билась она? Живут же люди без распутства.

Начались с первой минуты свидания жестокие, зверские сцены. Разозленный и обиженный зверь вгрызался в про-

пащую женщину без всякого милосердия... Он и мстил этим, и одновременно хотел поднять свою репутацию, сразу поставить себя среди земляков на хорошую ногу. Как ни покажется это странным, а было действительно так: солдат доказывал, что он — не кто-нибудь, а человек, знающий порядок, знающий, что значит жить честно, благородно. В одну из таких семейных драк Федюшка, изумленный и ошеломленный неожиданным появлением такого зверя, не помня себя, вцепился ему в нафабренные бакенбарды — и вот бульдог отомстил ему. Два ведра вина, как уже сказано, сделали дело. Мир выпил их и выпорол, на славу выпорол, несчастного Федюшку... Солдат требовал беспощадного дранья — и мир, исполняя это требование, понимал, что этой жестокостию, обрушившеюся на жену и на сына, солдат доказывает собственное свое превосходство над их грязной и позорной жизнью и поведением, доказывает, что он честен, порядочен и почтенен и что этим уж очень высоким пониманием своей чести он даже и семью свою хочет оградить от всякой тени позора. Решительно не нахожу слов, которые бы могли с достаточной ясностью представить читателю то, что испытал Федор от этих вдруг постигнувших его жестоких, бесчеловечных неожиданностей. Он весь был раздавлен ими, сломан, скомкан в комок. Ничего не чувствуя, не понимая, он весь как бы задохнулся и окаменел...

Через час после ужасной сцены у волостного правления Федор, не зная как, очутился на одной из барок, стоявших на реке, и, трясясь всем телом, на все расспросы барочников слабым, до смерти испуганным шопотом мог произнести только: «бо-юсь! бо-юсь!..» К нему нельзя было в это время прикоснуться пальцем: немедленно шопот превращался в отчаянный крик. «Боюсь!» — взвизгивал он, бросаясь в сторону и расшибая голову о дрова, о что попало, точно до него дотрогивались не пальцем, а каленым железом. Как он ухитрился спрятаться на барке, я не знаю: только барочники, не зная о том, что он скрывается у них, увезли его с собой, направляясь к Нижнему. Испуганный и трепещущий,

два дня без пищи просидел он в самом глухом, неприметном углу барки, покуда случайно не открыли его там. Поругав и покормив, барочники оставили мальчишку, решив: «пущай!» — и не обращали уж больше на него никакого внимания. Истерический ужас, в котором мальчик очутился на барке, начал понемногу проходить, заменяясь совершенно определенным испугом перед всеми и перед всем. Всё для него было страшно и жестоко. Люди, весь белый свет испугали его — неизлечимо, навеки веков. Как мог он понять и объяснить себе всё, что с ним случилось с первых дней детства?.. Он — комар, которого, не задумываясь и не беспокоясь, убивает всякий, кому он мешает! Но чем, кому он мешал? Он ничего не мог понять и знал одно — что неведомо почему его все хотят уничтожить, раздавить, стереть с лица земли... Нет спора, что жизнь может напугать всякого, что всякий может иной раз почувствовать ужас своего существования на белом свете, но так испугаться белого света, как испугался его Федор, едва ли приходится или приходилось кому-нибудь другому. В нем навеки запечатлелся страх, испуг и уверенность, что ни от кого ничего он не имеет ни права ни возможности ждать, кроме жестокости, непонятной и необъяснимой.

— Что ты? Куда ты? Ай ты угорел?— окликнул Федора один барочник в то время, когда подошли уже к нижегородской пристани и ночевали там.

— Утоплюсь!— отвечал Федор.

— Ребята! глянь-ко, что малый-то вздумал!..

Несколько человек проснулось и обступило Федюшку.

— Это — что ж ты, паршивец, делаешь? а? Это ты за нашу хлеб-соль-то нас хочешь подвести под спикурс? Ах ты, дурья твоя порода!— загалдели вокруг него барочники.

— Захотел топиться, шут тебя возьми,— пошел топись!

— Да не пачкай компании, к ответу не подводи.

— Мало тебе места-то, корявой дубине?

— Прогнать его, шельму, прочь!

— Пшол, пшол!

— Обыскивать его, анафему!

Стали обыскивать; оказалось, что Федор, для лучшего выполнения задуманной операции, наклал за пазуху под рубашку множество камней, кирпичей и туго подвязал под ними пояс. Ему казалось, что так он скорей пойдет ко дну.

Всеобщий гнев заменился смехом, а Федюшкин испуг разрешился слезами. Он объявил, что не пойдет топиться, что виноват. Проспл, чтоб его не гнали, спрашивал — куда ему теперь?

— Иди в половые... ноне ярмарка стоит... еще деньги наживешь.

Какой-то добрый человек свел его в одно из бесчисленных в ярмарочное время трактирных заведений, и Федор стал половым за харчи и за доходы какие случатся, но без жалованья. Ежеминутно чувствуя себя совершенно чужим на белом свете, чужим между всеми этими орущими, пьющими и дерущимися людьми, он решительно не замечал, что такое кругом него творится, и работал, как неустанная машина.

Так прошла вся ярмарка.

У Федора вдруг оказалось рублей тридцать денег,— сумма, накопившаяся незаметно,— и Федор тотчас, как только сосчитал деньги, вспомнил о матери. А как только вспомнил о ней, так и о себе вспомнил, и в пришибленном мозгу опять замелькал какой-то светлый луч... Опять ему стало ужасно жаль... Жаль «всего этого», жаль до слез. И ревел он над своими деньгами долго-долго. Хозяин даже отобрал у него эти тридцать рублей себе под сохранение, прибавив:

— Так-то оно лучше будет, меньше будешь нюни-то разводить.

Федор, однако, и без денег нередко обливался горючими слезами; во сне он плакал каждую ночь и кричал, причиняя посетителям нумеров постоянные беспокойства; тем не менее хозяин держал его у себя и после ярмарки, дорожа его покорностью, выносливостью и бескорыстием.

Федор жил, не думая о будущем. Вновь пробудившаяся жизнь сердца сильней, чем в первый раз, овладела им... Его уже не просто брала жалость к себе и ко всему, что с ним случилось,— мысль его пошла дальше: он стал понимать, что все эти насмерть испугавшие его люди — такие же испуганные, как и он, что кто-то или что-то исковеркало, изуродовало их, и ему еще жальче стало всех их, чем было жалко прежде.— Ведь надо же как-нибудь им узнать это? Как же это так? За что они бьют, губят друг друга? Ведь тут только два слова сказать — и ничего не будет. Как же можно всё это оставлять так, зря? Вот, примерно, какие стали волновать вопросы этого некрасивого полового, подающего кипяток. Он крайне удивлялся, что как это ничего никто не скажет? Отчего это не придет какой-нибудь умный человек и не растолкует?.. Что растолковать и как — этого Федор не знал... Речь, которую он предполагал в устах умного человека, имеющего прийти, в голове Федора никак в порядок не приходила.— «Вы что же это, ребята? Так ведь невозможно...»— Эту фразу хорошего человека он слышал ясно, но дальше не знал, что будет хороший человек говорить. Дальше были только вопросы: как? зачем это? да разве это хорошо?— и т. д.

От этих вопросов Федор решительно не мог отделаться и — как бы вы думали?— стал писать...

Заведение запиралось в два часа ночи; только к трем успевали убраться и вывести запоздавших гуляк, и с трех до бела света Федор, не смыкая глаз, при свете сального огарка, выводил карандашом по клочку бумаги, положенному на колено, каракули печатными буквами. Писал он стихами и плакал... Не берусь передать, что это были за стихи. По всей вероятности, кроме непонятной чепухи и безграмотности, они не представляли бы никому ничего интересного. Тем не менее Федор крепко берег их и тщательно прятал в тайные места.

И с каждым днем необходимость передать бумаге накопившиеся думы овладевала Федором сильнее и сильнее. А вместе с этим, сами собой, выросли и думы.

Не менее года просидел он на чердаке и выработал довольно смелый, довольно нелепый, но довольно понятный план: ехать с этими сочинениями и думами в столицу; тот, кто пишет книги, тот человек (так выдумал Федор) и есть тот самый хороший человек, который один только и может сделать добро. Федор знал это по себе; он писал по ночам, потому что ему было жаль людей, потому что он хотел, чтобы люди не пугали друг друга, как пугают людей бешеные собаки. Так и все, кто пишет книги. Он знал, что сочинения его плохие, что пишет он не хорошо и что даже почерк у него бог знает какой (хотя в течение года он с невероятными усилиями выучился писать по-«писанному», а не по-печатному),— всё это он знал; но жизнь так страшно обошлась с ним, он так ясно видел, что она запуталась, что в ней какая-то фальшь, от которой людям нет житья, что, несмотря на всё, не покидал этого плана. Он полагал, что там разберут, испугаются, когда он расскажет, и закричат на весь белый свет: «Что вы, ребята? Разве так возможно? Это, братцы, не модель! Что вы, полоумные, очумели, что ли?»

Еще через год он осуществил этот фантастический план. Как он это сделал — не знаю. Знаю, что целый год он копил пятаки и гривенники, сколотил деньги на покупку сюртука, шапки, сапогов и жилета и проч. и проч.— и почти уродом прибыл в столицу. Корявый, маленький, пугливый, дикий, в платье, которое было сшито на чужой рост, он был и жалок, и неуклюж, и вообще ужасно странен.

В это время его и узнала рассказчица, девушка, готовившаяся тогда в сельские учительницы. Он ютился в углу меблированных комнат, работая по ночам, когда все уже спали, и приводя в порядок свои сочинения.

С полгода шуршал он своими бумагами, порядочно-таки надоедая жильцам; наконец, выступил в поход: понес рукописи в газету. Воротился он, весь сияя, и сам первый вступил в разговор с рассказчицей, рассказал ей всю свою историю и в заключение всех перерассказанных несчастий радостно произнес:

— Отнес!

Так он сказал это слово, как будто невесть какое счастие случилось с ним...

— Велено прийти через неделю.

Через неделю между Федором и редактором происходил такой разговор:

— Это всё — один стих?— стоя полуоборотом к Федору и тыкая в корявую рукопись пальцем, небрежно спрашивал редактор.

— Всё один...

— И это он же тянется?

— Это? Он — он.

— Какой же это — стих? Разве такие бывают стихи? Это — шест, а не стих!.. Этим шестом только голубей гонять.

— Там дальше и короче есть... вот извольте...

— Неудобно, не годится.

Редактор ушел.

Глубоко был опечален несчастный поэт. Как убитый, сидел он по крайней мере целую неделю на окне в коридоре, покуда его не ободрил какой-то добрый человек, узнавший, в чем состоит его горе. Человек этот подарил ему книгу о стихосложении, и с этих пор, еще не менее, как на полгода, Федор вновь отдался своему задушевному делу. К шуму бумаги, нарушавшему сон жильцов по ночам, на этот раз присоединился какой-то непрерывный стук то ногой, то рукой: это Федор учился стопосложению, вгонял свои длинные, как шесты, строки в надлежащие границы и вытягивал, как вытягивают подошву, короткие... Как он мучился, как он трудился, как он страдал — передать нет возможности. Часто на него нападало полное отчаяние, так как перерубленные пополам и вытянутые вдвое стихи его явно утрачивали цену правды, которую он в них только и видел.

Наконец, кое-как оболванив свои произведения, он вновь пошел в редакцию, и на этот раз уже с замиранием сердца ожидал рокового дня.

Через неделю, по обыкновению редакций, день наступил. Дрожа, как лист, Федор отправился за ответом.

Не скрывая презрения, редактор с первого же слова почти завопил на Федора.

— Да что вы хотите? Что такое вы тут выводите? Что вам хочется сказать?

— Я...

— Что богатые богаты, бедные бедны? Да?

— Я...

— Что бедные — такие же люди, как и богатые? Так? а? Да?

— Так...

— Что несправедливо обижать, заедать? Да? Это? Потом — кисельные берега, молочные реки... Всеобщий лимонад-газес? Так?

— Я этого не писал... Я там...

— Так я вам скажу,— вне себя завопил редактор, чуть не по носу хлопая Федора его рукописью,— что, во-первых, всё это давно всем надоело и без вашей белиберды, а, во-вторых, за эти идеи... вы знаете — что за это?

И он прибавил внушительным шепотом таких два словечка, от которых Федор вновь ощутил приступ необычайного испуга и едва не закричал, как помешанный: «боюсь!»

Отчаяние овладело бедным малым в сильнейшей степени. Он шатался по коридору меблированных комнат, никого и ничего не замечая, ничего не видя и не слыша; и только по временам, останавливаясь, как вкопанный, перед первым встречным, бормотал:

— Всем известно! Кабы всем было известно, ничего бы не было.

Или что-нибудь в таком роде:

— В тюрьму!.. Да хоть в каторгу... Известно!.. Совести-то в тебе нет!..

Чтобы мало-мальски помочь ему, успокоить его, рассказчица, со слов которой написана Федорова повесть, пыталась вступить с ним в разговоры, пыталась успокоить

его тем, что не с ним одним такие неудачи, указывала ему, как умела, на больших, крупных поэтов, великих людей... Федор, не произнося ни слова, напряженно-внимательно вслушивался в ее речи — ведь ничего он этого не знал. Не знал он, что и до него писалось,— и боже мой! сколько!— стихов на те же темы, что и до него были люди, знавшие беду и желавшие помочь общему горю... Ничего он этого не знал и только ужасался, слушая эти рассказы. Когда рассказчица прочла ему два-три сильных стихотворения, касавшихся поглощавшего Федора предмета, он заревел и проговорил:

— И ничего!

— Что ничего?

— Так ничего и после этого...

— Покуда ничего...

Федор ревел.

Чтобы успокоить его, она приводила ему еще более сильный пример неудачи, рассказала ему почти все главнейшие события истории — и, вместо успокоения, только ужасала его и ужасала...

— И тут ничего не вышло?

— И тут... Да еще что!..

Корявый, безграмотный, измученный человек с каждым словом своей собеседницы всё неотразимее убеждался, что он — ничто, мразь, ничтожество сравнительно с теми, кто и до него печалился о делах света белого. Рассказы девушки доказали ему всё его бессилие, всё его бесправие, всю безнадежность его существования.

Испуган он был прошлым и еще больше испугался теперь, узнав, что «покуда ничего не вышло».

Он окончательно ошалел, и все жильцы комнат думали, что он худо кончит... Как помочь ему — никто не знал. Как уверить его, что он не безграмотен, что у него есть будущее, что ужас прожитой действительности можно забыть и что есть какая-нибудь возможность сделать то, что на чердаке нижегородского трактира задумал делать Федор?

Многим было жаль его, но все молчали и ждали... Наконец, дождались.

Однажды Федор неожиданно исчез с утра и воротился в два часа ночи, с шумом подкатив на извозчике. Он был жестоко пьян. Полагали, что косушка и будет прибежищем этому нескладному несчастливцу: однако, вышло не так... Очнувшись, Федор стал что-то смутно припоминать, и, по мере того, как память восстановляла ему прошлый день, им начинало овладевать что-то ужасное, какой-то необычайный испуг... Такого полного бессмыслия, в которое впал несчастный, с ним никогда не было. На расспросы рассказчицы он только отвечал: «Свинья!.. Продал!»— «Кто, что продал?— «Я... Всё! Всех!» Потом, после новых продолжительных попыток привести его в сознание, он пробормотал:— «Он мне сам сунул... в руку...»— «Что сунул? кто?»— «Да этот... злодей... надоело всем... вот...» — «Редактор, что ли?»— «Он сам сунул...»— «Что сунул-то?»— «Деньги... Я так шел... он мне ткнул... Свинья, христопродавец я...»

— Я,— говорила рассказчица,— несмотря на все старания, ничего более от него не могла добиться. Но думаю, что дело было так: шел он, должно быть, по улице и наткнулся на редактора, который так его недавно озадачил. Быть может, вид его был очень жалок, или редактор был в хорошем расположении духа, только последний мог предложить, «сунуть» ему бумажку... Почему-нибудь, очень может быть что по рассеянности, Федор взял ее,— по рассеянности и не соображая, что делает, выпил, напился... И вот теперь, очнувшись и сообразив, что сделал, ужаснулся. С его точки зрения, поступок этот, в самом деле, должен был казаться ужасным. Взяв деньги от человека, который объявил ему, что ему надоели все эти страдания, о которых Федор болел душою, Федор продал свое право страдать за людей, сам оказался дрянью, которая может от рюмки водки забыть двадцать лет возмутительной неправды... До этой минуты он знал, что он — ничтожество, знал, что он беззащитен на белом свете и что нет защиты у этого света ни от кого;

теперь он убедился, что об этом ничтожестве и хлопотать-то не стоит... Прежде он был испуган людьми, а теперь испугался сам себя. Теперь он всего испугался и в таком испуге не замечал, что не пьет, не ест и умирает с голоду. Я думаю, это было так. Впрочем, может, и ошибаюсь...

На этом рассказчица кончила.

Третий звонок торопил клубную публику выходить из зал. Собеседники стали прощаться, унося домой невеселое впечатление.

VIII. ТРИ ПИСЬМА.

(Из воспоминаний «безнадежного».)

I.

— Вы что это пишете?

— Письмо...

— Кому это?

— Матери...

— О чем?

— Да так, обо всём.

— Уж что-то вы больно долго!..

Такие вопросы, ровно пятнадцать лет тому назад, в один скучный осенний вечер, самым недовольным тоном задавал я моему сожителю по комнате. Дело происходило в Москве, на Живодерке, в одном из несчастнейших деревянных домишек, в оборванных, грязных, нищенских комнатках которого обитало великое множество народа. В этот памятный мне вечер (почему он мне памятен, читатель узнает ниже) я был особенно расстроен и ворчлив. Не последнее место в этом состоянии духа занимало то, что из дому вот уж второй месяц мне не присылали денег, и это обстоятельство, понемногу раздражая меня напрасным

ожиданием, наконец, довело до значительного расстройства, именно в тот унылый осенний вечер, пятнадцать лет тому назад. Всё мне было противно пошло, тоскливо и враждебно. Отвратительны были всхлипывания квартирной хозяйки, доносившиеся из кухни: эта старая дура вот уже шестой месяц, то есть всё время моего пребывания в ее скверных комнатах, «разъезжается» с своим возлюбленным, хромым портным; подряд шесть месяцев они каждый день напиваются пьяны, плачут, ругаются и засыпают тут же в кухне, поникнув головами на стол, а с утра вновь начинаются упреки, слезы, похмелье, пиво, словом — полное прощание.— «Иди! иди! сделай одолжение!» — утирая нос грязным подолом, хрипела хозяйка...— «И уйду! Раззорительница моя! Уй-ду!..» «Иди! иди!» — «Уй-ду! У-у...» И это с утра до ночи, и никто не уйдет, и оба целый день пьют и в самом деле разоряются.

Так бы вот пошел и разогнал их в разные стороны... Сердила меня и эта засаленная нищенская комната, и эта кровать, на которой нельзя было повернуться мало-мальски либерально, чтобы не провалились либо ноги, либо голова; скверно действовал и этот тусклый свет низенькой лампы, и табачный дым, и холод, и низкий потолок, и дождь... Но более всего возмущал меня мой сожитель по комнате, терпеливо скрипевший пером вот уж без малого третий час и решительно, казалось, не чувствовавший, не понимавший того, что я испытывал, лежа на кровати. Когда-то, лет пять-шесть ранее этого скучного вечера на Живодерке, мы учились с этим человеком (его называли в гимназии «иностранец», так как отец его был швейцарец, хотя сам «иностранец» родился в России и от русской матери); в гимназии мы провели вместе четыре года, до четвертого класса, но потом я перешел в другую гимназию, в другой город, уехал по окончании курса в Петербург в университет — и, прошатавшись целый год (зиму, весну и лето), перебрался в Москву... Если читатель припомнит, какое впечатление могли произвести на провинциального гимназиста 61-й и 62-й годы, то он

поймет, разумеется, что, явившись после этого года «посвящения» в Москву «для продолжения моего образования», я не столько был объят желанием посещать университетские лекции, сколько стремлением — увы! в высшей степени неопределенным — стремлением к деятельности. Чтобы не вводить читателя в обман, скажу прямо, что из меня не вышло деятеля (это всё будет ниже) и что, следовательно, ему нет никаких резонов рассчитывать на то, чтобы на нижеследующих страницах были воскрешены в его памяти какие-нибудь минуты тех дней. Пишущий эти мемуары не оправдал надежд на самого себя и в смысле «деятеля» ровно ничего представить не может... Но пятнадцать лет тому назад ожидания эти у меня были и, сливаясь вообще в представлении о необходимости «деятельности» и притом где-то не здесь, в пошлой и мучительно глупой действительности, а где-то там, неизмеримо выше ее, заставляли меня с большим пренебрежением смотреть на мелкую людскую гомозню. «Все связи,— как я тогда был совершенно уверен,— со всем этим — я порвал». Для меня не существовало ни родителей, ни родины, ни желания выбиться в люди и для этого ходить на лекции, словом — не существовало ничего «старого»; всё это осуждено было в виду чего-то громадного, нового, которое принадлежит не «им», а «нам»... «Они» пожалуй могут высылать мне несколько денег «пока» — но и только... Так казалось мне в первые, самые ясные минуты моего пробуждения, и вот в таком-то настроении встретился я на одной из московских улиц с этим «иностранцем». Я был рад старому товарищу, рад был порассказать о чудесах, которые я видел, снисходительно пропуская мимо ушей его рассказы о гимназическом начальстве, но очень скоро оказалось, что он меня «не удовлетворяет». Правда, он также не ходил в университет, но не потому, чтобы «презирал», а потому, что у него не было денег, потому что он должен был давать уроки, посылать ежемесячно деньги матери, которая также жила уроками в том же городе, который я уж из головы выкинул... Какая-то узость цели и притом

однообразие недель и дней, посвященных на ее достижение, свидетельствовали о несомненной ограниченности этого человека... Правда, не получая из дому денег и не посещая университета, я не делал ничего другого, как сопровождал этого же самого ограниченного человека по Москве в его поисках уроков, поджидал его где-нибудь в садике или просто на улице, покуда он заходил в тот или другой дом, согласно объявлению в «Полицейских Ведомостях», вызывавшему учителя; правда также и то, что я был очень обязан ему за то, что он внес за меня деньги хозяйке, что я курил его табак, пил его чай и т. д. и т. д.; но всё это — и эти одолжения и это праздное мое шатание — я ставил под рубрику «*Пока*» и не придавал ни тому ни другому особенного значения. Я не ставил себе в вину и этих праздных ежедневных прогулок по Москве, потому что в продолжение их я ни на минуту не прекращал выяснять (насколько понимал сам) мои новые взгляды, надежды и ожидания — и вовсе не замечал, что уже третий месяц «шатаюсь», да еще «по Москве». И не то чтобы несочувствие к моим разговорам и новым стремлениям обижало меня в этом «иностранце»,— нет, он, напротив, ни разу не прервал меня, ни разу не поспорил со мной, скажу даже более — он, казалось, даже внимательно прислушивался к каждому моему слову; но я видел, к великому моему огорчению, что слова мои ни на волос не изменяют ни его поведения, ни его взглядов, ни желаний... Слушает, слушает, кажется, внимательно, потом неожиданно вздохнет и скажет: «ах, уроков, уроков!» — точно обдаст холодной водой. И притом каждый день одно и то же: утром чем свет — чтение «Полицейских Ведомостей», трехкопеечная булка с чаем в прикуску, потом беготня по адресам, рассказы самые подробнейшие о том, кого он видел, что ему сказали, когда велели прийти,— и затем описание всей этой скуки то матери, то брату, то сестре... Кажется, никакими барабанами нельзя было, хоть на единую минуту, расшевелить эту ограниченность, заставить его почувствовать всю прелесть предстоящей всему моло-

дому деятельности. В редких случаях он иной раз вздохнет и как будто задумается, но это еще неизвестно, потому ли он вздыхает, что восчувствовал, или всё потому же, что нет уроков. Глядя на эту неподвижность мысли «иностранца», я тогда же решил, что из него ничего не выйдет, «выйдет» учитель и больше ничего,— а уж это что ж за будущность и что за поприще!.. Все его знакомые, посещавшие нас, тоже крайне меня стесняли, так как блистали также ограниченностью: это были какие-то иностранцы-портные, чуть не сапожники, служащие в каких-то конторах и т. д. Все они говорили про места, кто сколько получает, бранили хозяев, все поголовно желали прибавки на скромные суммы, рублей в пятнадцать, в десять, звали в свободное время в портерную — и только; узость их целей и желаний была ниже всякой критики. С этим народом я не находил возможности сказать ни единого слова, а между тем «иностранец», повидимому, так сжился с ними, что иной раз покидал меня, и покидал в самые патетические для меня минуты, когда мне непременно нужен был слушатель,— покидал для того, чтобы итти к какому-нибудь из этих провизоров, этих портных на свидание для разговоров о каком-то письме, полученном от родственников, или для получения сведений насчет тех же уроков. Я уж давно подумывал разойтись с этой «утомительно-узкой» сферой взглядов, в которой мне пришлось быть, благодаря «иностранцу», его приятелям и безденежью, но безденежье, а главное что-то хорошее, что я не трудился определить в ту пору, невольно как бы связывало меня с ним, даже влекло к нему... Возвращаясь домой, в тех случаях, когда я не сопровождал его, он всегда радовался совершенно по-детски, что я дома... — «Ели?» — всегда был первый вопрос, который он мне задавал, входя в комнату, и всегда вслед за этим с сияющим лицом вытаскивал булку и колбасу или яйцо. Он всегда расспрашивал меня о том, что со мной было, пока он уходил, а потом уже начинал рассказывать, что делал он сам и где был. Что-то нежное, женское проглядывало в бесчисленных мелочах,

и, должно быть, эта-то черта и смягчала мою к нему холодность, потому что бывали минуты, когда я, «разорвавший со всем», уже чувствовал холод одиночества... «Есть ли у вас платок? Есть ли табак? Полотенце там и мыло там!» — указывал он и спрашивал меня непременно всякий раз, когда уходил на поиски; выглянет в дверь и спросит: «всё есть?» — и только получив утвердительный ответ, уйдет, сказав: «ну, прощайте!» — и после того еще непременно раза два второпях воротится: «если уйдете — приходите скорей!..»

И я почему-то, в самом деле, уходя без него из дому, торопился прийти «поскорее», а встретившись, не мог иначе, как с нескрываемым неудовольствием, выслушивать его рассказы, как он пришел, как позвонил, кто вышел и т. д. И вот этого-то неудовольствия, как мне тогда казалось, он и не замечал во мне, весь погруженный в свои уроки и разные мелочи.

Но в тот памятный мне осенний вечер я был так раздражен всем и всеми, что ни в ком и ни в чем не мог видеть что-нибудь привлекательное. Тем более мне был ненавистен этот человек, который имеет терпение чуть ли не пять часов к ряду скрипеть пером над моим ухом, не обращая внимания на то, что мне надобно откуда-нибудь слышать хоть какое-нибудь человеческое слово для того, чтобы поговорить и тем облегчить кипевшую раздражением грудь. Никогда этот человек не представлялся мне в такой степени рутинным, сухим, думающим только о себе самом, о каком-то вздоре, который никому не нужен и никому на свете не интересен.

Так я бесновался внутренно, а он всё скрипел пером и пускал клубы дыма.

— Да об чем вы можете так много писать? — не вытерпел я.

Я проговорил это громко, неожиданно и сел на кровать, приготовляясь завязать обличительный разговор. «Иностранец» покраснел, как маков цвет, и, не поднимая головы от письма, как-то жалобно улыбнулся.

— Ей-богу,— продолжал я: — вот я бы... Я бы решительно не знал, что мне писать, если б пришлось писать так много... матушке... Тут непременно надо врать что-нибудь, то есть писать то, что вовсе не интересует...

При слове «врать» жалобная, как бы извиняющаяся улыбка, лежавшая на его лице, чересчур ярко освещенном низенькой лампочкой, исчезла. Какая-то грусть легла на нем, и он с легким неудовольствием в голосе произнес:

— Как врать?.. Я думаю, вашу матушку также интересует всё, что с вами делается?..

— К несчастью, то, что со мною делается, я думаю, не очень-то может ее интересовать! — язвительно произнес я, радуясь возможности освежить среди томившей меня тоски главную причину моего «особенного» положения на белом свете, то есть того, что я «со всем этим разорвал».— Ее не только не интересуют мои интересы, но, я думаю, если бы я был так же откровенен с ней, как вы с вашею матушкой,— я бы наверное привел ее в ужас... Я был бы источником мучений и слез... А то, что интересует ее, ни капли не занимает меня, и вот почему я бы должен был врать...

— Ну, а у меня с ней,— перебил меня «иностранец»,— одни интересы...

— А!

Это «а» я произнес, как я думал, самым пренебрежительным тоном. Но в то же время я почувствовал, что я совершенно сконфужен, и не только сконфужен, а даже как будто еще и завидую этому обуянному всяческими мелкими «интересами» и всякими пустяками человеку... Да, я позавидовал ему, и позавидовал тому, что он мог сказать такие слова,— позавидовал и почувствовал еще большее раздражение и злость.

Сказав «а», я не находил ни единого слова, которое мог бы прибавить к нему; слова: «у нас с ней интересы одни» — лишили меня всякой возможности подсмеиваться и иронизировать, и я, как самый плохой провинциальный актер, с самым фальшивым ироническим дрожанием в голосе,

с великим трудом мог произнести после значительного молчания:

— А! — Ну, это другое дело... Но всё-таки уж чересчур что-то... Я не знаю...

Я чувствовал, что мне ничего не остается, как замолчать, и раздумывал, как бы совершить это неприятное дело с большею или меньшею беспечностью. И «иностранец», казалось, также понял неловкость моего положения, потому что опять закраснелся, подергал свою бородку и несколько раз поправил свои белокурые, густые, в русскую скобку обстриженные волосы и еще ниже наклонился над своей бумагой, шопотом перечитывая написанную страницу и, очевидно, стараясь показать мне, что он совершенно занят «своим» и не замечает моего неловкого положения. Несмотря на то, что я всеми силами также старался не выказать своего смущения, для чего довольно развязно подошел к столу, за которым писал «иностранец», и медленно принялся набивать папиросу, несмотря на то, что я старался удержать в себе мысль о мелочности этих «ихних» общих интересов, что я старался представить себе всю громадную разницу между тем, что волнует меня, и тем, что держит на свете «его»,— я никак не мог победить в себе чувства зависти к нему, не мог почему-то не чувствовать, что он с своими мелочами прочней меня чувствует себя на белом свете, и ясно видел, что ему теплей и веселей жить, тогда как мне и холодно и даже — обидно...

Я набивал папиросу, он писал, и оба мы молчали... Неловкое было это молчание... Его прервал какой-то шум и разговоры за дверью, и вслед за тем с шумом распахнутая полуньяною хозяйкой дверь впустила в комнату двух незнакомых лиц: мужчину в енотовой шубе и даму.

— Здесь... объявляли? уроки?..

— Это к вам! — сказал я «иностранцу» и вышел в коридор, чтобы не мешать их разговору. Несмотря на сумрак, распространяемый лампой, я, идя к двери, мог заметить, что мужчина походил на какого-то дьякона или священника—

так оброс он волосами и в таком беспорядке они были. Рост его был громаден, но глаза не выражали здоровья и силы: что-то вялое, тупое и будто полупьяное виднелось в них. Сопровождавшая этого господина дама была очень маленького роста, широкоплечая и плосколицая, с плоскими белесоватыми глазами, выражавшими, однако, какую-то ненатуральную игривость... Чересчур маленькая шапочка, сидевшая как-то набекрень, и в то же время явные признаки недостатка зубов, выражавшиеся в старческом складе губ, всё это производило неприятное впечатление аляповатой искусственности, какой-то вычурности, рассчитанной на очень плохие вкусы...

Едва я вышел в коридор, как тотчас же послышалась немолчная речь дамы, еще более усилившая дурное впечатление, так как голос ее звучал какой-то разбитой хрипотой... Мужчина только покашливал и молчал. Переговоры продолжались добрый час, в течение которого я то ходил по коридору, то выходил на деревянную лестницу с стеклянной галлереей.

«Что если он кончит с ними и уедет?» — думал я, смотря сквозь разбитые, кое-как склеенные стекла галлереи, по которым лились потоки дождя, в непроницаемую тьму осеннего вечера.

И мне было жалко его, сам не знаю почему... Потому ли, что я оставался один в этой противной квартире, потому ли, что он добился своего, хоть и ничтожного дела, а я еще как будто и не начинал моего большого,— не знаю. Но когда, в самом деле, «иностранец» после ухода посетителей сказал мне, что он уезжает, что дело кончено, я с невольной грустью спросил его:

— Когда же?

— Завтра, непременно!

Я почувствовал, что мы надолго расстаемся, что пойдем по разным дорогам, и скоро мысль о «моей дороге» разогнала мою грусть. Да не только разогнала, а еще заставила меня додуматься до обвинения этого же «иностранца» в

том, что я столько времени ничего не делал; происходило это именно оттого, что я связался с совсем неподходящими мне людьми и оттого осовел.

— Ну, счастливой вам дороги! — сказал я уж совершенно спокойно, чувствуя в себе силу, без всяких посторонних пособий в виде булок, табаку и т. д., выдержать предстоящую мне борьбу.

— Спасибо вам,— сказал «иностранец», возившийся над чемоданом: — я вам очень, очень благодарен...

Это было сказано так искренно, что я невольно смутился.

— За что?

— Так! Очень, очень... спасибо!— затягивая веревку, бормотал он.

Вечером мы роспили, на прощанье, не одну бутылку пива, каждый говоря «о своем» и не мешая этим друг другу, а на другой день простились.

II.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Мы, точно, шли разными дорогами — но что ж оказалось? Оказалось, что я не только не осуществил ни одной крупицы из моих обширных планов, но, напротив, в ту минуту, когда пишутся эти воспоминания, я вижу единственную возможность существования для себя — только под условием «хлопотать только о себе»; а переполненный мелочными интересами, мелкими заботами и прочими ничтожными качествами «иностранец», ни на минуту не изменяя этим качествам, этим «мелочам», делал и делает то самое дело «не для себя», о котором я мечтал в дни юности и которое теперь заменилось, как я уже сказал, желанием жить, никому и ничему не позволяя себя трогать, сознанием, что исполнение этого желания есть удовольствие, и очень, очень большое удовольствие.

Как же это могло случиться? И отчего?

Я уже сказал в начале этого рассказа, что считаю себя из совершенно бесцветных людей последнего периода рус-

ской жизни, но при всей моей неважности я если и не был «избранным», то «званым» был, и вместе с целыми такими же толпами этих непзбранных начинаю новую эру русской жизни, жизни *только* на себя, только в своем углу, только под условием: «не мешай мне, а я мешать никому не буду...» Я вот очень, очень рад, что сообразно моей незначительности я всё-таки имею обеспечивающее мои труды место, щелкая счетами в с-м банке губернского города N, и очень рад, что мне почти не приходится «жить». Я хожу в должность, возвращаюсь домой, ем, сплю, читаю, сижу в театре, в концерте, бываю в гостях, разговариваю о чем придется и т. д. и т. д.; но, как ни однообразно и пошло всё это,— я всё-таки не перестаю во всех этих пошлых действиях и поступках чувствовать удовольствие от сознания, что всё это, во-первых, не жизнь, а так что-то, что меня не трогает, и, во-вторых, что во всем этом я решительно могу не тревожить своей мысли. Существовать среди людей, смотреть на людей и сознавать, что если ты не захочешь сам, то тебя никто из них не тронет, вот в сущности в чем состоит мой теперешний идеал и, как надеюсь, идеал великого множества русских людей того же самого калибра и нравственного совершенства, как и я.. Что такое влияние или направление вторгается под разными видами в русскую жизнь, в русскую мысль — в этом я не сомневаюсь, иначе я бы и не решился излагать моих размышлений по этому случаю. Нечто враждебное ко всем этим мечтаниям и опытам молодости слышится повсюду — и, главное, от тех же самых людей, которые именно и предавались этим мечтаниям всей душой. Именно у этих-то людей, у этой-то толпы, когда-то «вытолкнутой» на свет божий из тьмы, и отыскиваются доводы, доказывающие бессмыслицу, глупость, даже подлость всевозможных мечтаний; именно в этой-то толпе и вырабатывается, конечно, прикрытая разными соображениями,— теория «апатии»... Теория основательная, прочная и обещающая большие успехи в будущем, так как в основании ее лежит совершенно непритворное и притом продолжительно испытанное «страдание».

Ради вот только этого-то основания новой теории — «жить, по возможности, не зная людей» — я и осмеливаюсь говорить о себе, о своих ничтожных мечтаниях и размышлениях... Да, и меня и всех мне подобных привел к этому безотрадному выводу опыт, переполненный всякой му́ки, всякой горечи, всяческого страха и ужаса перед самим собой — и это главное. Я рад, что могу целое утро щелкать счетами, а вечером разговаривать с знакомыми всякий вздор, потому именно рад, что это — вздор, что это меня «не касается», так как где бы и что бы меня ни коснулось — мне везде и всё больно... Но так как и у самого трудно-больного бывают минуты облегчения, просветления ума и бодрости духа, то иногда и меня посещает сознание того, какое я ничтожество со всеми своими страданиями, со своею боязнью жизни. И то, что прожито, то, что когда-то «безрассудно думалось», начинает казаться мне куда как хорошим, чистым и умным сравнительно с теми жвачными взглядами, которые я теперь исповедую. В такие минуты всё прошлое представляется мне необыкновенно завидным, и я начинаю предаваться воспоминаниям этого прошлого, припоминаю лица, события, горькие, гнусные, гнусные минуты — и всё, и горькое, гнусное, и глупое, начинает казаться мне гораздо лучше того, на что я теперь смотрю, что делаю... До того лучше, что иной раз мне приходит в голову мысль: «взять да уйти!» Но эта мысль приходит только на мгновение, только на миг, так как «уйти» значит вновь вступить в жизнь, а «жить» — для меня так страшно, так мучительно, что представление о возможности нового повторения того, что я испытал уж, мгновенно прекращает всякие смелые мысли вроде «уйти», и я вновь съеживаюсь в своем углу; вновь радуюсь, что я один, что окно занесено снегом, что, несмотря на раннюю пору вечера, на улице нет уж ни единой живой души... «Слава богу,— думаю я: — я теперь один... никто меня не тронет, никого не трогаю и я...»

Но сознавая всю приятность такого положения, я никак не могу не видеть, что к нему привели меня страдания,

всякий раз ярко выступающие в моем воображении, как только я задумаю что-нибудь посмелее; и я не могу не думать о них, не искать им причины, не объяснять самому себе: отчего такое обилие страдания и такой полный нуль в результате?

Когда я думаю о прошлых годах, я вспоминаю великое множество разных лиц, между которыми, однако, нет «иностранца»; но как только в сознании моем выступает роковой вопрос о том, почему я так много и так бесплодно страдал и так мало получилось в результате, образ «иностранца» тут как тут...

Кстати сказать, выводя в этом очерке «иностранца», я не имею никакой иносказательной цели. Так случилось, что на известные мысли наводит меня эта фигура, и так случилось, что фигура эта — «иностранец», и больше никакого особенного значения она для меня не имеет, потому что на те же самые мысли мог бы меня, как увидит читатель, так же легко навести росписянин, как и «иностранец», стóит только быть таким же, как этот последний, живым человеком... Да, он, этот мелочной, «ползком» живущий человек, оказался точно и «живым» и «человеком»... Это я теперь подлинно знаю, после того, как не один раз передумал в тяжелые минуты и свою и его жизнь, а главное — после последнего его письма, полученного мною на-днях через какого-то крестьянина: из письма этого оказалось, что «иностранец» живет поблизости того города, где и я обрел успокоение, и что он совершает и уж совершил — не переставая быть тем, чем был,— то дело «не для себя», о котором я, смеявшийся над его мелочностью, стараюсь забыть. Какое это дело — читатель узнает, когда я буду продолжать мой рассказ об «иностранце»; теперь же я никак не могу не сказать несколько слов собственно о себе, так как близость этого когда-то осмеянного человека особенно настоïчиво побуждает меня вспоминать прошлое.

Итак, отчего же?

При этом вопросе мне прежде всего припоминается описанный уже осенний вечер. Потому «прежде всего», что именно с этого вечера мы разошлись надолго по разным дорогам, а главное — потому, что никогда в другое время я не чувствовал между мной и «иностранцем» такой существенной разницы во всем — во взглядах на людей и жизнь — и никогда, наконец, не была между нами так выяснена одна из главных причин этой разницы, которая привела нас к таким неожиданным результатам: меня — к нулю, его — к живому делу.— «А у меня,— сказал тогда «иностранец»,— интересы с семьей одни». А я еще тогда гордился, что «разорвал всякую связь»! Теперь же я нахожу корень моего поражения именно главным образом в этой разнице наших семей.

Семья «иностранца» жила на той же улице, где жила и моя семья; обе семьи были велики, мы были побогаче, они победней. Мой отец служил, его отец,— да и не только отец, а и мать, и старший брат, и он сам, «иностранец», о котором идет речь,— все они давали уроки, причем сыновья должны были и учиться, ходить в гимназию, и давать уроки, заработывать хлеб. У нас было не то. У нас ни мать, ни бабка, ни родственницы и родственники, ни тем более дети,— никто не знал, как получаются деньги, каким трудом они достаются, откуда берется эта лошадь и т. д., и отец не только не открывал секрета, но, напротив, тщательно скрывал свою битву с жизнью за хлеб. В этой битве не мог принимать никакого участия никто из домашних, не мог, стало быть, жить сознательным участием к человеку, работающему на целый дом, а всякий только понимал, что его «кормят» и что это трудно; но как трудно — никто не знал. Не было, стало быть, главного основания для того, чтобы уважать друг друга, по разумному основанию взаимной помощи, не было развивающей понятие о жизни связи живых людей. Всякий, напротив, чувствовал нечто утомляющее, именно от непонимания, почему всё это делается. Скучновато было готовить обед и скучно его есть, и как будто еда, пропитание, хотя и довольно жирное, и было единствен-

но понятным для всех, связующим звеном. Все как будто жили вместе только потому, что никому и нигде в свете нельзя было найти другого места, где бы можно быть в тепле и сытым без всяких к этому затрат труда, ума, знания, каковые тут, в этой семье, и не требовались, потому что тут были иные (всеми, впрочем, считаемые обузой), только родственные, оффициальные связи, а внутренней живой связи людей, сошедшихся по взаимному вкусу, даже по расчету, определяемому людьми живого общества,— этого-то и не было. Живя в такой органически некрепкой семье, можно было только получить скуку к жизни, зависть и даже ненависть к людям, которые не страшатся жизни, и приобрести очень прочное убеждение в необходимости иметь только деньги. Вот почему, когда новое место, новые люди, новые идеи и взгляды обступили меня по приезде в Петербург, мне необходимо было порвать «связь» с самым воспоминанием об этой жизни в семье. Я знаю очень хорошо, что отец не откровенничал, потому что ему было стыдно, и что он полагал, накопив денег, окружить своих детей всеми удобствами; но я знаю, что именно от этого я не понимаю и не интересуюсь живыми людьми, вообще человеком, потому что вся жизнь самого близкого мне человека, то есть именно такого человека, от которого я и мог иметь понятие о жизни, она-то была сокрыта от меня и бесчисленных мне подобных. Теперь я вижу, что все такого же рода, как наша, семьи старались и хлопотали именно только о том, чтобы отгородиться от людей, чтобы обстроиться такими заборами, чрез которые не перелезешь, не схватишь, не достанешь, и, в самом деле, огораживались всеми правдами и неправдами, такими неправдами, что об них даже нельзя было знать. Самое понятие о том, что в людском обществе надобно «жить», а не только делать туда экскурсии, чтобы выхватить что-нибудь на молочишко, притащить это «что-нибудь» домой и съесть,— самое понятие это было не воспитано. Вот почему, при мало-мальском просторе, при мало-мальском знакомстве с тем, что есть в действительности,

тотчас же, в один день, в один час, можно было совершенно бесследно забыть и десятки лет жизни в семье и решительно всех так называемых близких, и, не понимая людей, не уважая посторонних живых существ, исповедывать теорию любви к человечеству, как это и было со мною.

Не знаю, точно ли я выразился, но именно в этом и вся беда. Не принять, не проникнуться этими идеями не было возможности, потому что в них была правда, радость и жизнь, потому что они были воздух; но приняв их, я и тысячи мне подобных позабыли, что мы не умеем жить, не умеем уважать человеческое существование, что мы, напротив, воспитаны во враждебных отношениях к человеку, к тому вот, который ходит по улице, к себе самим. В одно и то же время и самая полная, ничем не стесняемая ширь взглядов, и самая широкая невнимательность к соседу, именно к тому, для которого эти широкие взгляды и нужны, с которым и надо жить этими взглядами.

Совсем не такая семья и не такая закваска была у «иностранца». Они тоже бились из-за куска хлеба, но в этом не было не только неприличной к обнародованию тайны, но, напротив, был связующий интерес, источник взаимной связи и взаимного уважения. Всякий знал про всякого, и всякий видел, что обязан работать столько же для себя, сколько и для других. Да и столкновения с посторонними людьми основывались у них не на том, что тот или другой человек мне «подвержен» по моему месту и должности, а на том, что человек нуждается во мне и нуждается не по какой-нибудь бумажной глупости, а потому, что в самом деле знает, что я ему могу сделать добро. В то время, когда в нашей семье таинственно приобретенный достаток вел только к тупой скуке, к какому-то у всей семьи скрытому, подавленному страданию, вел (для отдохновения) ко всенощной, напоминал о смерти, напоминал о том, что хорошо бы для облегчения отслужить по всем умершим родственникам какую-нибудь грандиознейшую панихиду, словом — вел к мысли о смерти и о том, что всё — суета сует и что

не суета — только деньги в кармане,— в это же время в семье «иностранца» жило ясное, всем понятное убеждение, что жизнь вовсе не кладбище, но что свободные часы дороги, что ими надо пользоваться и жить. Они читали, сам отец играл на скрипке; они любили цветы, животных, испытывали удовольствие водить компанию с людьми, с которыми приятно, а не только потому, что эти люди «приходятся» нам родственниками, или просто «нужны», или просто «подвержены».

И как ни мелки, как ни малы, может быть, были интересы этой семьи, но в ней была «жизнь», а не «терпеж» жизни, как в семьях, подобных моей. В ней можно было узнать, как трудно достаются маленькие минуты счастья, в ней можно было познакомиться с необходимостью и удовольствием жить для ближнего, для другого, а не только для себя. Не боясь жизни и не ограничивая отношения свои к ней «захватыванием» кусков съестного и питейного, эта семья должна была отлично знать свою связь с остальным белым светом, уважать в этом белом свете всё, что уважала в себе. А в нашей семье это не могло быть, так как никто по совести друг друга не уважал, да и на других смотрел тоже без уважения.

Благодаря всему этому, в моем «иностранце» было именно всё, что нужно для того, чтобы жить между людьми, понимая их нужды, их радости так же, как и свои, и поэтому уважая их. У меня же именно не было ничего этого, то есть не было никаких резонов уважать себя, не было уменья жить и понимать чужих людей; поэтому и оставалось, не существуя для себя, существовать для идеи, отрешая их от себя. Словом, я бы мог жить, чувствуя себя свободным и ощущая под ногами почву только в том случае, если бы мне всю жизнь пришлось стоять вне людской толкучки, фигурировать *над* нею; тогда как он, «иностранец», умел и мог жить только с ней. В отношении личной жизни я мог жить, кое-как скомкав в кучу все личные желания, симпатии и с тем же пренебрежением относясь к подобным же

желаниям и симпатиям населяющих белый свет людей, лишь бы мне быть уверенным, что я исполняю нечто высшее; напротив, «иностранец» жил именно так, как лично ему казалось нужным, честным, совестливым. Из моей породы выходят «слепые» исполнители великих и малых идей, из породы «иностранца» выходят «живые люди».

Вот в этом-то и была между нами коренная разница.

III.

— Пишите! — говорил я «иностранцу», расставаясь с ним.

— Непременно, непременно! Вы-то пишите, ведь я бог знает куда заеду... Пишите, что думаете, что нового... о ваших делах — всё!

Я обещал, но так как это было мелочь и вздор («о чем я буду писать?»), то я и забыл, конечно, свое обещание, так забыл, что когда через три месяца пришло на мое имя письмо, из самой глубины оренбургских степей, то я долго не мог догадаться, от кого бы оно могло быть.

Письмо было длинное-предлинное и так аккуратно и четко написано, вытянуто в такие правильные, прямые строчки, уставленные мелкими буквами немецкой архитектуры, что мне тотчас же припомнилась вся сухая мелочность «иностранца» и стало скучно. Но так как до появления письма мне было еще скучней, то я принялся за чтение, хотя и без должного внимания.

Вот это первое его письмо:

«Простите, что до сих пор ничего не написал вам о себе...»

— Ведь этакое идиотство! — подумал я не без злости.— Человек уверен, что я жду не дождусь знать о нем всевозможные подробности! Извиняется, что «о себе» меня так давно не уведомлял... Решительно, кроме себя, ничего не видит и не знает...

«Всё время я испытывал такие незнакомые мне ощущения, видел такие удивительные вещи, что и сам не мог опомниться и сообразить как мне быть...»

— Три строки и три раза «мне» и «сам»!

«Я уже...»

— «Я»! опять!

«...Я уже думал было совершенно отказаться от места, но взятые мною вперед деньги, семьдесят пять рублей, тому препятствовали... Часть из них я из Нижнего (в Москве не успел) отправил матери в К., другую же часть...»

Но тут я пропустил, не читая, почти полстраницы; мне было ненавистно это подчинение рублю серебром в то время, когда человек готов был «уйти». Начав затем читать от точки, опять наткнулся на фразу: «И не столько деньги, сколько...» Слово «деньги» опять заставило меня пропустить еще большой кусок письма, и, только перевернув целую страницу и убедившись, что на следующей странице уже не упоминается о деньгах, я стал читать далее.

«... Прежде всего необходимо вам сказать, что я попал в самое безобразное семейство, какое только можно себе представить. Много на своем веку, давая уроки, я видал и самодуров-купцов, хотя бы, например, Псунова, вам известного, который устроил у себя на дворе гипподром и заставлял скакать на купленной в цирке лошади беременную жену; но всё это не то, или, по крайней мере, не производило на меня такого тяжелого впечатления. Эти безобразники были самодуры купцы-тузы, стало быть, специалисты всякого буйства. Семья же, в которую я попал, не принадлежит ни к тузам ни к самодурам, но нравственное разложение в ней необыкновенное. Псунов после пьяных безобразий вытрезвлялся и опять начинал «делать дела», наживать капитал; здесь же я не заметил не только способности делать какое-нибудь дело, но даже и соображать что-нибудь. Нееловы — помещики, обладающие тысячами десятин степей, которые, впрочем, стоят очень мало. Два года тому назад, когда русские двинулись за границу целыми стадами, из башкирских степей выехали и мои патроны, заложив всё, продав всё, что было покупаемо, заняв у всех, кто давал,— и теперь в буквальном смысле без копейки, с громадными

долгами, сделанными за границей, возвращались домой, повидимому, на явную смерть. Семьдесят пять рублей, которые я от них получил, были последние деньги, если не считать небольшого количества десятков рублей, которого едва хватило на полдороги. Всё это обнаружилось немедленно же по выезде из Москвы. Муж, которого вы видели и который походил на неповоротливого медведя, в мало-мальски трезвые минуты делался каким-то зверем и не мог сказать жене слова без самого страшного раздражения. Жена не только не уступала ему в ненависти, но, как мне кажется, превосходила его, стараясь даже по возможности делать ему неприятности, неприятности самые глупые, вроде того, что — „снимите ваши сапожища: вы мне ногу раздавите, мужик!“— „Сама ведь любишь,— отвечал обыкновенно муж,— чтоб мужчины наступали тебе...“ —„Не такие балбесы, как ты...“— „То-то вот, если б поменьше с этими не-балбесами, у нас бы и было что жрать...“ Во время этих разговоров муж смотрел на меня, ища поддержки и указывая наклонением головы на жену, как бы говоря: „какова штука!“ — а жена делала то же самое, указывая на мужа, с тою разницею, что она в эти минуты пожимала плечами и закрывала глаза, как бы говоря: „это ужас, что такое...“ Признаюсь вам, оба они для меня были отвратительны, так как взаимное отвращение их друг к другу было поистине беспредельно, и в особенно острые минуты они не совестились говорить при детях и при мне, постороннем человеке, такие вещи, которые заставили бы покраснеть... я не знаю кого... И что всего удивительнее, мадам неоднократно заводила речь об освобождении женщин. как бы о праве — так понял я по крайней мере — подставлять свою ногу под те именно мужские сапоги, владельцы которых нравятся... „Никогда, Лизе, не выходи замуж“,— советовала она своей дочери... И тут же шла речь о „подводных камнях“, даже о труде, чего уж я и понять не мог, потому что привычки, и его и ее, в особенности ее, были такие, что исключали всякую возможность представить

себе, чтобы они могли что-нибудь делать. Чтобы вылезть из тарантаса и влезть в него, необходимо было сначала подозвать трех или четырех мужиков, и при этом возня продолжалась четверть часа, сопровождаясь бранью, писклявою и неприятною... Ни он ни она не умели даже уложить детей спать, и если делали это, то с таким раздражением, с таким тиранством, какого я не видывал нигде. Слова: „наказание! это проклятие, а не дети!“ — слышались при этом поминутно. Трудную обязанность ухода за детьми я должен был взять на себя, хотя дети мне также ужасно не нравились, о чем я скажу после. Деньги, бывшие у меня, были отобраны не дальше как через сутки по выезде из Москвы, так что я с большим трудом удержал при себе небольшую сумму для матери. Жажда *тратить* была у обоих пожирающая. Впрочем он тратил более на водку и был почти постоянно пьян; она же тратила бог знает на что: даже в глухих деревнях, у маленьких деревенских лавочек, где нет ничего, кроме баранок,— и тут мы непременно останавливались: ее тянула лавка, как магнит притягивает железо. Однажды даже девочка, маленькая ее дочь, сказала ей: „Ну зачем ты покупаешь, мама? Ведь от этих пряников тошнит!“— „Мама глупая!“ — сказала она в другой раз,— очевидно, наслушавшись ругательств родителя. И хотя нельзя сказать, чтобы эти суждения был резонны в очень испорченной девочке, но они были правильны: вся эта женщина была какая-то смесь разгильдяйства и детства самого раннего, интересующегося куклами и пряниками.

«Никаких умственных способностей, даже никакой умелости думать о чем-нибудь, я не замечал в них довольно долго — и, признаюсь, не мало удивлялся причине существования на свете подобных людей. Они оба не умели ответить ни на один детский вопрос: „отчего тучи“, „отчего ветер“ и т. д. Если и случалось кому-нибудь из них обмолвиться одним или двумя приблизительно справедливыми ответами на один или два детские вопроса, то третий вопрос уже утомлял их и всегда, решительно всегда, вместо ответа

дети получали что-нибудь вроде: „отстань“; „отвяжись, несносный“; „заладил: зачем? зачем? — сиди смирно и молчи...“ Единственное дело, которое они делали не только легко, но с удовольствием, с истинным дарованием, как самые безукоризненные артисты, это было — лганье. Лганьем они успокоивали плачущих детей, говоря, что — „вон-вон, видишь? какая летит птица...“ Или: „вот сейчас приедем, там будет музыка, игрушки“ — и т. д. С обещаниями всевозможных подарков и удовольствий, которые должны быть „завтра“, они укладывали их спать. Затем лгали поутру, когда дети не видели исполнения обещаний, и лгали целый божий день, как бы умышленно стараясь дать не настоящий ответ — иной раз самый обыкновенный — а непременно вздорный и лживый. Эта черта не мало мучила меня в течение первых дней дороги: я видел, что им гораздо было легче врать самые несообразные вещи, чем говорить правдиво и выражаться точно о вещах самых обыкновенных. Но — чем дальше в лес, тем больше дров. С каждым днем талант лганья стал выказываться в них не только по отношению к детям, но в несравненно бо́льших, грандиознейших размерах, убедивших меня, что в людях этих не один только сон, аппетит и лень, но есть и ум, и ум довольно острый, хотя не могущий проявляться ни в чем, кроме лганья.

«Первые признаки этой удивительной способности стали обнаруживаться с той минуты, когда на какой-то из почтовых станций у нас вышли все деньги. Не было возможности доехать не только до места, но и до ближайшего губернского города, до которого оставалось верст сто с небольшим. Как только обнаружился факт отсутствия денег, тотчас и отец, и мать, и дети даже (!) как бы соединились в какой-то общей заботе, общем старании выйти из затруднения и сосредоточились на изобретении средства к выходу из затруднительного положения. Они молчали, не говорили ни друг с другом ни со мной ни слова. Но видно было, что у них что-то созревало... И точно... Когда мы приехали

на станцию, с которой нам далее не было возможности ехать, я не узнал наших растерях и разгильдяев. Это были принцы, князья, которых надо было выносить на руках, которые были всем недовольны, капризничали и на всех прикрикивали; относясь ко мне всю дорогу с истинно-мужичьей простотой, тут вдруг стали обращаться со мной как с лакеем, придавая голосу какой-то небрежный оттенок и говоря непременно по-французски, даже при мужиках. Оказалось, что эта грубость и свинство, расточаемые ко всем (чтобы дать всем понятие о том, что это господа „хорошие, строгие") были только фундаментом для предстоявшей постройки грандиозного вранья. За чаем (который тянулся чуть не полсуток: барыня не могла ехать, она была нездорова) или расспросы, так, мимоходом, у смотрителя станции, у его жены, у старосты, у проезжих и т. д., повидимому, о самых ненужных пустяках; но в то же время (расспросы вел сам Неелов) как-то незаметно, благодаря этим пустякам, оказывались самые для меня невероятные вещи: оказывалось как-то, что губернатор — родной брат жены моего патрона, что жена — фрейлина двора, что в городе у моего патрона сложено 200 тысяч четвертей ржи — и бог знает что... Жена, которая лежала в другой комнате, по временам слабым, изможденным голосом привирала что-нибудь от себя, задавая какой-нибудь вопрос, вроде того, что — „Николя, спроси у него — с кем ты там говоришь — в городе ли мой брат?.. спроси просто — дома ли губернатор?.." Я сидел и не знал, что сказать, что думать,— но, к удивлению своему, видел, что это наглейшее вранье производит впечатление. Что всего удивительнее, так это то, что и дети поняли тон родителей, поняли в один миг, и держали себя на той высоте положения детей богатейших родителей, которое было ловко (судя по впечатлению) создано лганьем их родителей. В разговоре с отцом и матерью они стали также употреблять французские слова, произнося их с отвратительным пришепетыванием, сюсюканьем и тому подобными оскорбительными для уха и сердца

приемами притворства и фальши. В конце концов я был совершенно огорошен и уничтожен; не умолкая в лганье, мой патрон неожиданно указал на меня старосте и произнес с улыбкой: „Вот везу детям француза — три тысячи счистил, бусурман...“ — „Ссссс“,— прошипел староста, поглядев на меня, как на человека, который умеет обчищать „нашего брата русского“. Я вспыхнул до корней волос от этого разговора; у меня захватило дыхание, и я не мог сказать ни единого слова даже и тогда, когда патрон прибавил: „Ничего не поделаешь! дети... ведь им нужно выходить в люди...“ — „Чего тут! Рубашку отдашь последнюю“,— прибавил староста, и опять поглядел на меня, но уже суровым, даже как бы враждебным, взглядом и переспросил: „Француз?“ — „Чистый француз...“ — „Ишь ты, дьявол какой... И цена-то ему двугривенный, а поди-ко — три тыщи... тьфу ты, каторжный!, По нашему-то знает?“ — „Н-ни одного слова!“ Всё это было так поразительно, так одуряюще-изумительно, так просто-нагло, что я буквально не мог раскрыть рта, не мог сообразить, что это такое, как мне быть и что делать. А когда я опомнился, понял, что всё это врут обо мне, и врут самым наглым образом,— я также молчал, но молчал от страха. Я испугался. Мне стало страшно за них всех; я бы не перенес сам той сцены, которая могла бы последовать, если бы я вдруг сказал, что всё это вздор и всё это врут, и что всё это я понимаю. Я испугался этой сцены и боялся проронить слово. „Нельзя, батюшка! — сказал мой патрон по уходе старосты: — назвался груздем, полезай в кузов!... Ничего не поделаешь! Уж вы молчите“. Это было сказано так просто, было так им всем понятно, что и я не мог не чувствовать необходимости исполнения этого требования. Я видел, что делается дело, которого я не понимаю; понимал, что я хожу в какой-то тьме, где не знаю, что сулит следующий шаг — ровное место или яму,— и должен был отдать руку проводнику, который шел впереди меня и, очевидно, знал дорогу. Но я решился тотчас по приезде в губернский город уйти; я решил отправиться

в гимназию, попроспть у директора уроков и остаться жить где-нибудь в маленькой квартпрке, распродав из своего пмущества всё, что можно. Задавшись этим решением, я молчал и ждал, но считал себя уже совершенно чужим и ему, и ей, и детям; я ждал-не дождался приехать поскорей в город, но всё-таки не понимал, как это может случиться? Мало, что мы не имели ни копейки, мы еще наели и напили у станционного смотрителя на громадную сумму (конечно, громадную при отсутствии денег). Мне с ужасом представилась минута, когда должно было открыться, что нам нечем платить и что мы всё врали и лгали. Но, к удивлению моему, всё это вранье, лганье, все эти беспрестанные требования то того, то другого, требованья совершенно не нужные, сделали свое дело. И станционный смотритель, и жена, и староста, и мужики, и бабы, толпившиеся вокруг станции, поняли, что едут бестолковые, нерасчетливые господа, прихотники, что их можно обчистить, поживиться. И, благодаря этому, едва только больная madame объявила, что она не поедет на почтовых, а хочет ехать на вольных, едва она пожелала, чтобы ей отыскали вольных ямщиков — у которых такие широкие, просторные и покойные тарантасы,— как немедленно вся станционная комната была запружена этими ямщиками, наперерыв предлагавшими услуги. Толкая друг друга, они лезли на барина и кричали: „Я... меня... Василия-то!“ Барин не торговался и не хотел никого обидеть; до сей поры мы ехали в одном экипаже, теперь понадобилось два: один для него и больной, другой для меня с детьми. Барин взял эти два экипажа от разных владельцев. В сущности, дело было в том, что, желая укрепить за собой работу, ямщики совали свои задатки, и барин взял с двух по красной бумаге, то есть по десяти рублей, тогда как возьми он оба тарантаса от одного, у него было бы в кармане не двадцать, а только десять рублей. Таким образом неистовое лганье выручило нас из беды и, кроме того, давало деньги, которых у нас копейки не было. „Дивны дела твои, господи!“ — подумал я, усаживаясь вместе с

детьми в покойный, просторный тарантас... Толпа народа, провожавшая нас, весело желала счастливого пути, низко кланяясь; смотритель, староста, жена смотрителя — все говорили: „дай бог вам!“ — всем хватило одной красненькой, полученной от ямщиков.

«Едва мы выехали за селение, как меня от детей позвали в экипаж господ... Ни злобы, ни ненависти, ни вражды не было у обоих ни капли. Они действовали, работали, благополучно окончили предприятие и были в самом веселом расположении духа... Извинившись передо мной и насулив мне в будущем золотые горы, которым я уж, конечно, не верил, они наперерыв друг перед другом старались расположить меня к себе, засыпали разговорами и воспоминаниями о заграничной жизни... Не могу представить, что это были за воспоминания! — „Ах, Париж! — говорит мадам, хватаясь за голову от восхищения и внезапно прибавляет, обращаясь к мужу: — помнишь, у Вефура маленькие птички и такая поджаренная штучка... что это такое!..“— „А вино-то, а вино-то, а вино-то?.. Ах, а-ах, ах, ах...“ И целый поток вин, счетов, туалетов, перемешанных с винами и едами, имен кокоток и очаровательных мужчин, перемешанных с туалетами и винами, и, наконец, сплошное и длинное признание во всевозможном распутстве. В этом они оба как бы сливались воедино, были нераздельны, великодушны друг к другу, гуманны и человечны до последней степени. В этом-то потоке воспоминаний, к удивлению моему, поминутно то он, то она произносили что-нибудь вроде: „чувство не может быть стеснено“... „никто не имеет права распоряжаться чужим сердцем“ — и т. д.; и к каждому такому изречению то он, то она присоединяли рассказ, от которого я горел со стыда... а они, прямо сказать, облизывались. Под конец они до такой степени изумили меня избытком взаимной преданности друг к другу, что я поторопился перебраться в тот экипаж, где были дети.

«Когда я подошел к детям, они о чем-то оживленно разговаривали, друг друга перекрикивая, громко смеялись,

„заливаясь смехом", но завидев меня, замолкли, сохраняя возбужденное выражение лиц. — „Что же вы замолчали? разговаривайте!.." сказал я. Дети переглядывались друг с другом, хитро улыбались и молчали.— „О чем вы разговаривали? расскажите мне". Некоторое время они молчали, но один из них не выдержал и торопливо проговорил: — „Как мы были влюблены!.."— „Кто мы?" — „Мы все... Я, Вася, Лиза..." — „Я только раз,— сказал Вася, мальчик, как мне показалось, угрюмо-туповатый,— а Федя — пятнадцать, тридцать, миллион!" (Вася был девяти лет, но не умел ни считать ни читать и по развитию был не больше четырехлетнего ребенка).— „У мамы тоже тридцать миллионов!" — прибавил Федя (старше Васи двумя годами).— „Глупый",— сказала Лиза и состроила скромное лицо.— „А у самой тоже семь мальчиков!" — сказали оба мальчика... Лиза, девочка по одиннадцатому году, понимавшая больше всех детей и более всех зараженная фальшью, только было хотела сделать обиженное, презрительное лицо, как Вася, откровенный, хотя и дубоватый, торопливо заговорил, обращаясь ко мне: — „А моя мама меня, раз случилось, забыла в фиакре... Вы знаете Шарль?"— „Нет, не знаю".— „Это из контуар... Папа называл его «карамора»... Они меня и забыли... Поехали о-буа, там такой есть кафе... из маленьких рюмочек пьют... Они пили, а я захотел спать... Шарль взял и снес меня в фиакр, а потом они ушли пешком и забыли... Я проснулся у солдат. Вот так смешное".— „Смешное?" — „А как тебя домой привезли?" — напоминала Лиза.— „Я у них был два дня... На третий день пришел папа... и взял... Тогда было страшно, теперь нет..."—„А папа вывалился из фиакра...— заговорил Федя: — а я сижу, испугался, плачу... Его ударила Камиль..."— „А он?" — спросил Вася.—„Он упал и лежит. Потом его посадили опять и повезли, привезли в церковь — вызвали людей и стали спрашивать, где живет мосье, а папа спит... Меня тоже Алиса ударила. Я не бранился, и папа не бранился... А потом я ее ударил за бисквит..." — „А Лиза! — опять

начал Вася.— Так ее били, страсть как,— и Пьер, и Фред и консьержев Андре... дубина чистая, а ей нравится... Этакая вертушка!" — „Какие ты всё говоришь глупости. Неприятный мальчик!.. И мама ведь упала с лестницы, помнишь? а на меня говоришь".—„Мама плакала, а ты рада. Ты говоришь: вырасту — поеду к Андре, и он тебя изобьет палкой. Уж Фред — вот чудо, как у мамы этот беленький, Антуан... до-обрый, а она его обругала... Она тогда сердилась... А папа — так тот никогда не бил... Только раз палкой ударил лакея... Помнишь (обращался он то к Феде, то к Лизе)?.. У обезьян... Помнишь, пбпсы?.. — Кра-а-а-сные!.."—„Розовые,— поправила Лиза,— и голос у них, как в медный таз бить палкой... громко звенит!" — „Нет, вот слон,— сказал Вася,— лев, бегемот; у бегемота, знаете,— голова с этот тарантас..."— „Ну, уж врешь!" — „Нет, будет, и он в воде и весь в..." — „Какой отвратительный мальчик! — скорчив неприятную гримасу сказала Лиза: — всё у тебя на уме гадости".— „А у тебя консьержев Андрюнька-горюнька..." При этой фразе Васи все захохотали, не исключая и самого Васи.— „Что же это значит: влюбиться?" — спросил я.— „Целоваться! — сказал угрюмый Вася категорически. — Еще есть там штуки".— „А мама,— неожиданно произнес Федя,— ведь любит папу, она его только так бранит... он пьет... А когда его посадили в... знаешь?.. Она плакала... Помнишь, мы ходили? Высоко-высоко... А потом поехали все — я, мама, Федя, Лиза — пить шеколад на бульвар, а там уж «карамора» и есть... И нас всех угостили..."— „А еще мы видели,— начала Лиза,— верблюда!" Мальчики покатились со смеху.— „Вот так заговорила! Говорили об одном, а она бог знает о чем... Верблюд! Умна! Очень умна!.."— „Дурак и отвращенье! — сказала Лиза со злостью.—Я скажу маме про то... помнишь?" (Это было сказано угрожающе.) — „Говори! Всё ты врешь. А я про тебя скажу. Что ты делала?.. Помнишь? а? Небось! Ну, говори, говори..."— „Лгунишка, гадкий мальчик!.." — „Она, знаете, что делала? (это уж Вася обращался ко мне.)

— Я вошел в кабинет-туалет: вдруг...“ — „Ни! ни! ни! ни!“ — не сердясь, а лукаво улыбаясь и грозя пальцем, как колокольчик, зазвенела Лиза.— „То-то!“ — „А ты лучше представь, как папа зовет гарсона, когда придет поздно“. Вася тотчас же сделал осоловелые, пьяные глаза, искривил стан и во всю мочь, самым *толстым,* как говорят дети, голосом проревел раза три: „гарсон“ — с каждым разом всё более и более выражая нетерпение и даже злясь... „Это он в темноте,— прибавил Вася,— так гаркнет — весь отель проснется...“ — „А мама?“ — подсказал Федя.— „А мама совсем по другому... Не ори, пожалуйста! — жеманясь, кокетничая, проговорил он: — ну, можно ли так орать (это она папе) — это ужас... дай я...“ И, подняв голос до самого высшего подобия птичьему, Вася, ко всеобщей потехе, необыкновенно смешно произнес то же слово, растягивая его и стараясь придать ему самый утонченный тон, и, окончив, прибавил: — „И у обоих тут (он повертел пальцами у лба) шумит...“

«С тех пор, как я твердо решился оставить их, я смотрел на них, как на чужих, посторонних мне людей, и не мог надивиться: ни родители, ни дети, казалось мне, не знали, да и не думали о том, зачем они существуют на свете. Эта семья была какой-то гриб, выросший на гнилой и жирной почве крепостного права; жизнь для них — грубое удовольствие, вечное отдохновение от ничегонеделания... Что ожидало их в будущем? На это я не мог дать ответа.

«Весь этот день мы, то есть семейство Нееловых, было очень весело; на следующий день, по мере приближения к городу, где предстояло расплатиться с ямщиками, вновь всё семейство сосредоточилось и притихло. Папа не был особенно хмелен и, очевидно, что-то соображал; мама тоже о чем-то крепко думала. А ямщики, между тем, чем ближе к городу, тем веселей прикрикивали на лошадей, тем звончей звонили колокольчики,— и весь наш мрачный, обремененный черными мыслями поезд с свистом и гарканьем мчался в какую-то темную даль неизвестного.

«Приехали мы поздно вечером и остановились в лучшей гостинице города. Ямщикам дали рубль на чай и велели приходить завтра поутру, в девятом часу. По удалении их немедленно потребован был чай и ужин в самых широчайших размерах: вся прислуга в гостинице сбилась с ног, подавая то то, то другое. Все суетились, норовили услужить, угодить, наперерыв друг перед другом: умерло крепостное право, но не умер барин, умеющий „барствовать“, и лакей, умеющий угодить барину.

«Под конец этого ужина мне стало страшно за всех их — и, признаюсь, частью даже жалко. Но утром я решился объявить им о том, что оставляю место. Однако, проснувшись в девять часов, я уже не нашел ни папы ни мамы. Мальчики, в одних рубашонках и босиком, выглянули ко мне из другой комнаты с веселым утренним смехом и скрылись назад, толкая и щекотя друг друга и шлепая по голому полу босыми ногами: — „Они ушли!..“ — отвечали мне они все трое из спальни и вновь принялись смеяться и хохотать, толкать друг друга и бросаться подушками... В корридоре, куда я вышел, чтобы попросить принести чаю, толкались два мужика, выражая на лицах напряженное ожидание и держа шапки в обеих руках, как бы приготовляясь напялить их на голову и уйти,— конечно, получив деньги.— „Скоро ли придут господа?“ — спросил я у лакея.— „Ничего не изволили сказать-с... Надо быть, скоро; ямщики вон вчерашние их дожидаются... велели прийти“. И оставив поднос на столе, слуга удалился, на этот раз, как мне показалось, уже с оттенком недоверия во взгляде. Дети кой-как оделись и принялись за чай. Глядя на их шершавые, запущенные головы, их неряшливость, неразвитость, мне стало очень жаль их; но делать было нечего, надо было итти.— „Я пойду, — сказал я детям; — а вы побудьте смирно. Я попрошу к вам девушку; если что будет нужно, спросите у нее“.— „Мы привыкли одни! — отвечали дети хором.— Только вы приходите скорей“.

«Я взял свой небольшой сак-вояж, тотчас же заложил его у первого закладчика, отыскал комнату в три рубля, уговорился насчет обеда, по пятнадцати копеек за раз, и отправился к директору гимназии. Здесь мне пришлось прождать его приема до половины третьего, до тех пор, пока не кончились уроки. Причину моего появления в чужом городе я старался высказывать в более мягкой для моих патронов форме, сказал о размерах моих сведений, и директор дал мне слово похлопотать об уроках.

«Зашел я на новую квартиру, поел и отправился в гостиницу, чтобы объявить о своем решении и взять назад мои документы. Сцена, которую я застал там, ошеломила меня совершенно... Еще снизу я услыхал какой-то нечеловеческий рев и топот — и, к ужасу моему, узнал в этом реве голос моего патрона. Поднявшись во второй этаж, я увидел, что патрон, сильно пьяный, весь красный и нечеловечески злой, орал, гнал вон и лез с кулаками к ямщикам, которые были окружены тесным кольцом прислуги и праздных зрителей. Все, не исключая и этих зрителей, принимали участие в галдеже, сливавшемся из самых разнородных звуков. Тут было и поминутное упоминание слов: „нет, не такое время!“, „коротки руки“, „не имеешь права“ и „правов таких нет“, „какое ты имеешь право?“ С другой стороны, раздавались и резко отчеканенные ругательства вроде: „барррин тоже... губернаторский племянник, шут его знает!..“ И просто: „в морду тресну!..“, или — „расшибу!“ и т. д. Весь этот хор, увеличиваясь поминутно новыми участниками, с каждым мгновением вырастал в отношении безобразия и рева, в котором до хрипоты надсаженный голос моего патрона не умолкал ни на минуту. Я осторожно пробрался в нумер, куда тотчас же вслед за мной явился и патрон, хлопнул за собой дверью и произнес: „жалуйся!“ — слово, которое он не успел договорить в коридоре... К удивлению моему (не помню, почему я тогда удивился этому), он был во фраке, белом галстуке, словом,— он был одет безукоризненно, хотя и безукоризненно пьян... Он вошел в комнату до того стреми-

тельно, что едва не сбил с ног свою дочь, которая робко толкалась у двери, слушая, что делается в коридоре.— „Ты что тут вертишься?“ — с тою же разъяренною хрипотою накинулся он на нее, едва произнес слово „жалуйся!“ Девочка попятилась и молчала под влиянием неописанного страха.— „Что ты толчешься у дверей?“ — стиснув зубы, прошипел он и, наступая крошечными шагами, пальцем задел ее — и зло и больно — по виску... — „Э! — э!..“ — злясь все более и более и, как кажется, сам не понимая, что делает, мычал, он, замахиваясь уже рукою... Вдруг раздирающий плач двух мальчиков, наблюдавших молча эту сцену, к которым немедленно присоединилась и девочка, огласил всю комнату; но это не только не остепенило его, но, напротив, точно подлило жару.— „Вы что тут, канальи?“ — напустился он на мальчиков и с сжатыми кулаками направился к ним. Мгновенно все разбежались с визгом и ревом.— „Беж-жать!..“ — и с этим словом патрон ринулся за ними и скоро из другой комнаты раздался удар, за ним другой... — „Папа! папа! папа! аи, аи!..“ — „Молчи! молчать! не пик-кнуть...“ К этому требованию молчания примкнула и мать, голос которой с неменьшею злостью выкрикивал из спальни: „Сейчас замолчи! Сейчас выгоню на улицу...“

«Не берусь во всех подробностях представить эту сцену; ничего более возмутительного и варварского не видал я в течение всей моей жизни. Битье, оранье, топанье, несмотря на то, что я вступился и оттаскивал несчастных детей от этих безжалостных родителей, продолжалось, как мне показалось, бесконечное количество времени. Дети, найдя во мне защитника, вцепились в меня со всех сторон, не отходили, дрожа и всхлипывая: они были избиты и исщипаны. Так мы целой неразрывной группой и сидели, не расставаясь ни на минуту, и слушали ужасную, бесстыдную брань между родителями, в которой уже раз замеченное мною в них взаимное отвращение выразилось в самых невозможных размерах... Я сидел с ребятами, чувствуя вокруг себя их колеблющиеся от нервной дрожи маленькие пальцы, и думал:

„Что же я буду делать? Уйти от них?...“ Но я не мог уйти, они держались за меня обеими руками, и мне было их жаль. „Остаться? Что тогда будет со мной, с сестрой, с матерью?..“ Ни того ни другого вопроса я не решил и сидел, уже не думая о себе, а только чувствовал, что детей мне бросить нельзя, что я этого сделать не могу, что это будет злое, бессердечное дело... Так я и сидел с ними. Я молчал, и они молчали. Я их уложил спать, остался с ними в комнате, ночевал с ними, а на утро уже чувствовал, что решительно не могу уйти от них. Не потому чтобы я полюбил их, но мне просто было ясно, что нельзя сделать этого, что, сделай я это, я уйду с сознанием злого дела на душе. Я понимал очень хорошо, что с этой семьей мне предстоит гибель, что такая же гибель ожидает и бедную мою матушку и сестру: всё это я понимал как нельзя быть яснее, но какая-то новая, высшая обязанность, какая-то новая, высшая сила взяла меня в свою власть и приковывает неразрываемыми цепями к участи этих детей... Оставить их — я не могу.

«И вот я в деревне. Как добрались мы сюда, какие фортели выделывали мои патроны для того, чтобы продолжать путешествие (заем денег у архиереев, в монастырях, продажа 200 тысяч пудов несуществующего хлеба, телеграмма от министра о награде — и т. д. и т. д. до бесконечности) — этого я вам описывать не буду. Всё это гнусно в высшей степени. Теперь же мы живем в холодном, растасканном, пустом доме, без денег, почти без достаточной пищи, в непрестанном ожидании полиции, которая неминуемо должна увековечить различные эпизоды нашего путешествия в виде протоколов и судебных взысканий. Ни малейших следов европейской цивилизации незаметно ни в обстановке ни в нас самих: ходя по комнате в валенках, „сам“ не снимает ни шапки ни полушубка даже за обедом, „сама“ в мужских калошах, с подвязанными щеками, с миллионами капризов — и вообще в таком непривлекательном виде, что подробно я вам изображать не желаю. Ссоры и брань, угрюмые, хладнокровные,— ежедневны и ежечасны между обоими

супругами. Дети не отходят от меня, осаждая тысячами вопросов, и обнаруживают при этом в себе сущих дикарей. Ни книг, ни бумаги, ни перьев в достаточном количестве нет. Вчера удалось добыть у священника целую десть — и вот я строчу вам это письмо. Завтра, или вообще на-днях, я напишу вам еще письмо, в котором мне хочется предложить на ваше обсуждение несколько вопросов, тем более, что они возникли отчасти благодаря вам. Помните мы шли в Лефортове, я заходил по адресу „Полицейских Ведомостей"? Вы тогда сказали, что у меня на уме только я, да моя мать, да рубль. Ну, так вот по этому поводу... О жалованье теперь ни патрон ни патронесса — и не говорят даже, не упоминают ни слова, да и у меня язык не повертывается сказать. Что меня ожидает — решительно не знаю, но знаю, что у меня есть значительные обязанности, которыми я не могу манкировать. Пожалуйста, ответьте на мое письмо, которое получите вслед за этим, и будьте здоровы...»

Но ни «на-днях», ни через месяц, ни чрез год я не получал от моего «иностранца» никакого письма и не имею об нем вообще никаких известий. Правда, не прошло и полугода после разлуки с «иностранцем», как я сам покинул Москву, но в те месяцы, которые прошли после получения первого письма, я не раз встречался с его знакомыми, немецкими портными и т. д., и спрашивал их о нашем общем знакомом. Все они отвечали, что ничего не знают... Так я и забыл его, отдавшись течению личной моей жизни, или вернее — моей личной каторге,— и только через два с половиною года, в одном из глухих уголков русской земли, я неожиданно получил письмо от забытого мной «иностранца». Письмо долго странствовало по русским городам и весям, всё было исписано справками и измято штемпелями почтовых контор. Оно было так же длинно, так же аккуратно написано, но содержание его на первых же порах вовсе не напоминало мне того расчетливого, аккуратного, с ма-

маленькими потребностями маленького уютного сердца, каким мне казался «иностранец» в былое время.— «Вот уже два года, как мы расстались,— писал он: — и сколько перемен и удивительных происшествий в моей жизни! Во-первых, я более полутора года женат на m-me Нееловой; ее муж умер через полгода...» Прочитав это, я не верил своим глазам. «Что это такое? — спрашивал я самого себя.— Женат на той особе, которую он изобразил такими красками и которая никак не могла внушить ему не только любви (я вспомнил ее вид, манеры, голос, жеманство — всё, что видел в тот осенний вечер), но и уважения. Как же могло произойти это?» Письмо должно было разъяснить мне эту тайну, и я принялся за него.

IV.

С величайшим недоумением принялся я за чтение письма, в котором «иностранец» извещал меня о своем невероятном браке, стараясь поскорее добраться до уяснения себе причин такого поистине неблагообразного союза.

«Пишу вам,— говорилось в письме,— об этом событии так подробно потому, что, кроме вас, у меня нет человека, который бы мог понять и беспристрастно посмотреть на этот поступок. Ни мать ни сестра естественно не могут смотреть на это дело иначе, как на мою собственную гибель, и, разумеется, напиши я им подробно «обо всем», я заставлю их только плакать и уж не знать покоя... Вы не поверите, как я опечален этим для матери и сестры „несчастием“, как мне нужно теперь постороннее, разумное, доброе слово — не одобрение, нет,— а просто словечко сочувствия. Это мне необходимо для того, чтобы оправдать в моих собственных глазах то жестокое дело, которое я сделал с матушкой, и укрепить во мне веру в трудное дело, за которое я взялся. А дело точно трудное: надо много воли, надо много терпения, терпения окаменелого, не на день, не на месяц, а на десятки

лет, то есть до старости, до конца жизни... Вы пишите мне. Поддержите, будьте другом; пишите бога ради побольше о служении, о презрении к мелочам жизни,— мне дорого иметь теперь катехизис самопожертвования: я выдолблю его наизусть, наполню им и ум и сердце — отдам всего себя... А вы так много и так складно рассуждали на эту тему... Вы можете написать мне хорошее письмо... и вы его пишите скорее, как можно скорей... Я буду его постоянно хранить при себе, как спирт, для тех минут, когда закружится голова... А она у меня часто кружится; но покуда я еще не падал в обморок, покуда держусь на ногах и продержусь еще долго, потому что надо...

«Трудное дело это я взвалил на свои плечи всё потому же, почему, думая бежать с дороги, не мог это сделать и остался, приехал в глушь,— то есть потому, что ко мне привязались покинутые, одинокие, одичалые дети. В этом всё. С каждым днем по приезде в деревню я убеждался, что только во мне они находят внимание к их бесчисленным детским нуждам и интересам и что только от меня зависит не погубить их. Я могу их оставить; у меня есть к этому все основания — я должен помогать матери, сестре; кроме того, я не виноват, что на свете есть тысячи взбалмошных отцов и матерей, не сознающих своих обязанностей к своим детям; наконец, я, как живой человек, должен жить и для себя; мне тоже хочется больше знать, любить, хочется выработать себе некоторые удобства жизни, хочется иметь возможность оплачивать моими трудовыми деньгами такой уголок, где бы я мог отдохнуть от трудного дня, где бы мне было тепло... И, без всякого сомнения, я могу всё это сделать, всего этого достигнуть. Для этого стоит только нанять лошадей за полтора целковых до города, подождать там денег от матери (на это освобождение она наверное достанет необходимую сумму) — и вновь быть свободным... Однако мог ли я это сделать? Мог ли уехать? Чтобы сделать это — я должен бы был оставить на произвол судьбы три человеческие существа, три человеческие души... Я должен был их бросить,

сказав им, примерно, следующее: „Милые мои ребята! Я должен вас оставить, но вы на меня не сердитесь; я не виноват, что судьба послала вам таких безумных родителей, что вам грозит в будущем нищета, невежество и что единственным спутником и пособником вашим в жизни будет только громадная лень, воспитанная в вас примером ваших родителей. Не виноват я также в том, что вы ничему никогда не выучитесь, что будете праздными ртами и что, может быть, желание и привычка жить не трудясь доведут вас и до преступлений. Очень может случиться, что вот ты, Федя, в трудную минуту не задумаешься стянуть у калашника калач, у пьяного — деньги; что ты, Вася, способный, сообразительный мальчик, быть может, станешь шулером, подделывателем чужих подписей, а ты Лиза... Во всем этом, милые друзья мои, я не виноват; обвиняйте в этом ваших родителей, но меня пустите; у меня есть матушка, которой я должен помогать; я хочу жить для себя, учиться, больше знать. Посудите вы сами, за что ж я отдам вам мою жизнь? А чтобы спасти вас, чтобы оградить вас от угрожающей вам праздной, а, может быть, и позорной жизни,— нужна моя жизнь, жизнь, не виноватого ни в чем человека...“ Не правда ли, что я мог бы в оправдание своего удаления привести множество самых веских доводов? Ведь весь же свет живет, повинуясь правилу: „Я иду мимо твоих страданий потому, что не я причинил их тебе“. Отчего ж мне-то не поступить таким же точно образом, тем более, что ведь я прохожу мимо чужой беды не только во имя собственного спокойствия, но главным образом во имя спокойствия моей старухи-матери, во имя необходимости дать покой ее больным костям? Ведь эта старушка трудилась всю жизнь, ела трудовой хлеб; каждый кусок булки, каждая ленточка на ее изломанной шляпе — ведь это всё добыто варварским трудом учительницы, которой нужно было всю жизнь бегать по купеческим домам и в то же время вскармливать, учить, выводить в люди трех собственных детей. Могу ли я жертвовать ею для этой семьи дармоедов, праздных ртов, людей лени, желудка и

животных удовольствий?.. Моя труженица-старушка — не чета этим расхлябанным, развинченным, бессодержательным людям: она — живой, любящий человек, а это — грибы на крепостной куче, и, кроме погибели вместе с кучей, на которой они выросли, им ничего не предстоит в будущем, да и не может предстоять... Такие соображения, как видите, вполне основательные,— да и не соображения даже, а искренние движения сердца, исполненного глубокой любви к моей дорогой старушке,— однако, разбивались вдребезги при мысли о том, что — точно ли „не может“ выйти ничего путного? Я ясно видел, ясно как на ладони, что „не может“ выйти только тогда, когда я уйду. Я видел, что я буду причиною гибели трех человеческих существ, которые только на меня и надеются, только во мне одном и чают спасенье. Я видел, что, повинуясь движению собственного сердца и покидая ребят, я с минуты отъезда из деревни делаю сразу трех человек, могущих быть честными людьми, людьми праздными и вредными; эти три несчастные существа стали на моей дороге, загородили мне путь, и я должен бы был спихнуть их, отогнать от себя, чтобы открыть себе путь туда, куда мне надо... Мне так представилось это: я отрываю от себя их тоненьки ручонки, вцепившиеся в меня из страха упасть в бездну, отрываю потому, что мне тяжело от них, что я сам могу упасть вместе с ними,— и вот один за другим, плача и жалуясь, падают и без звука исчезают в темной бездне эти маленькие люди, мое иго и бремя... И тогда я, облегченный от ноши крестной, беспрепятственно продолжаю „мою“ дорогу. Можно ли было сделать это? Хватило ли бы у вас, у кого хотите, духа сделать такую жестокость, и что же бы была тогда моя жизнь, мои труды для спокойствия старушки-матери, если каждый миг, каждый час я должен бы был чувствовать на душе тяжесть трех смертей? А что это были бы действительно три нравственные смерти, три невинно убиенных — это я знал, видел. И вот отчего я не уехал. Не правда ли, как всё это странно, удивительно? Что мне они? Чужие, не мной рож-

денные, не мной испорченные люди... Надо бы итти мимо, пожалеть, посочувствовать — и уйти... А поглядите поближе — и окажется, что если в вас есть стыд, не уйдете, потому что „нельзя“ уйти, нельзя уходить, потому что на эти-то чужие дела, несчастия, ошибки и надо отдавать свою жизнь... Ведь так? Ведь правда это? Вот вы меня тут-то и поддержите! Напишите мне об этом что-нибудь сильное, что-нибудь такое, что бы высоко поднимало душу над всем человеческим муравейником... Пришлите, если можете, мне книг о мучениках, о самопстязателях, о людях, которые не пикнут, если их жгут каленым железом, загоняют им под кожу деревянные занозы, о людях, которые умирают за других, которые за чужое благо томятся в тюрьмах десятки лет, о людях, от которых остались скелеты, прикованные к стене тюрьмы цепями... Всё это мне надо, всё это меня укрепит и всё это умно, хорошо, всё это нужно... Я ведь вам рассказал только цветочки моей теперешней жизни, то есть только мою привязанность к детям,— и вы не поймете, почему я говорю о каленом железе, до тех пор, покуда я не расскажу вам других обязательств, которые я уже „должен“ был принять на себя, раз у меня не хватило духа скинуть с моей дороги троих ребятишек. Вот про эти-то другие, более трудные, обязательства я и поведу теперь речь.

«Шли дни за днями, и моя личная жизнь всё более и более переполнялась заботами о чужих людях и о чужих интересах. Мне выяснились характеры моих тюремщиков-ребят, их желания и нужды, и мысль моя незаметно, но последовательно стала работать над этими желаниями и нуждами. Сегодня, например, меня огорчает какая-нибудь зверская, дурная привычка в том или другом питомце, и я думаю о том, как мне выбить ее из него. Завтра я обрадован открытием необыкновенной наблюдательности в Лизе, и также не могу пройти молча мимо этого открытия... А чего стоит любовь к вам детей и их взаимная ревность! Право бывают минуты, когда стоит подумать, и подумать крепко, о

равновесии их душ, не дать одному заедать другого, не дать их детской хитрости, детской практичности пользоваться моим влиянием во вред своему товарищу. Всё это заботы, тревоги, всё это требует наблюдения и напряженной деятельности. Как доктору надо помнить лекарство, которое он дал больному месяц тому назад, так и мне надо помнить каждое свое слово, потому что иначе меня обличат три свидетеля, которые отлично помнят каждое мое слово.

«Таких забот, таких тонких, едва заметных, но крепко опутывавших меня нитей прибавлялось с каждым днем всё более и более, так как всё больше и больше я и дети оставались одни, без всякого вмешательства родителей. Отец был близок к смерти, и мать,— может быть, и не из одного только приличия,— была при нем почти всегда. Неелов собственно умирал, или старался умереть со дня возвращения в деревню; единственной силы, которая давала ему жизнь — денег,— не было и не предвиделось. А без них он был пуст и холоден, и только водка держала его на ногах и поддерживала кой-какие надежды,— конечно, фантастические и только в пьяном виде возможные. Но месяца через три-четыре по приезде он слег; с ним сталось что-то вроде белой горячки, не бешеной и шумной, а тихой, жалобной, с робким, безмолвным выражением грусти в глазах. Необычайно жалок был он в эти минуты, жалок, как умирающее кроткое животное. Оно не понимает, почему оно прожило жизнь так, а не иначе; оно не раскаивается и не жалеет жизни, потому что наверное чует смерть... Быстроте приближения смертного часа в особенности помог местный врач, человек холостой, пожилой, давно утративший веру в науку и признававший только водку, которая его, однако, никогда не была в силах свалить с ног, хотя он употреблял ее беспрерывно. Его пациенты — купцы, чиновники, приказчики и т. д.,— особенно любили его за то, что он, несмотря ни на какую болезнь, позволял всё. „Вот так доктор — уж прямо сказать ха-ароший человек! Поди-ко вот к немцу: он тебе ни рыбы, ни грибов, ни квасу, ни капусты — ни боже

мой! Пост не пост — он внимания не обращает,— ешь скоромное, пакости душу! Ну, этот не то! У этого всё можно, всё позволяет...— А капусты можно, ваше благородие? — Можно! Жри, говорит, всё, что хочешь! — Вот это так... Ну, конечно, что рублик лишний надо уж наддать за позволение, уж без этого нельзя, зато — всё ведь можно, ни в чем нет остановки!" Такую же систему лечения он применил и к Неелову. Он лечил его от пьянства, давал лекарство, но сам же при каждом визите требовал водки и приглашал принять в ней участие своего пациента.— „Да не вредно ли ему?" — спросит жена.— „Ну вот! с доктором-то вредно! Ведь я тут! Пей, любезный друг, не прерывай. Обрывать хуже!" — „Обрывать хуже!" — шепчет умирающий и следует совету. Визит оканчивался только по опустошении всего, что бывало в доме питейного, спиртного. Умирающий, не поднимавшийся с кровати, засыпал свинцовым тяжелым сном; румяный, с налитыми водкой щеками, доктор уезжал лечить какого-нибудь другого больного тем же самым способом. В утешение, на прощанье, он обыкновенно прибавлял что-нибудь успокоительное: — „Пусть спит, это хорошо!.. Испарина... Накройте потеплее, а потом лекарство дайте... Ничего! Завтра я заеду". А завтра опять спаивал больного.

«Неелов умер после одного из таких визитов, умер во время тяжелого, пьяного сна... Похороны его раскрыли для меня новый, неведомый мир — народное пониманье, народную доброту... Кажется, чем бы, кроме худого, помянуть этого барина, который сумел всё расточить, всё проесть, который буквально только „проедал" — сначала души, потом выкупные свидетельства, оброки, земли и леса... Кажется, чем помянуть, как не худым, человека, который, имея в руках бездну средств, не сделал ближнему ни капли добра и только под пьяную руку давал на водку, и то тоже пьяным. А между тем вышло всё иначе: вся деревня не только не негодовала на него, но жалела, понимала, что этот урод-барин не мог прожить жизни как-нибудь не так, как прожил. Все жалели, что „на роду" этому человеку было

написано такое праздное существование. Но праздная, бестолковая, беспутная жизнь никем не ставилась ему в вину, как калеке или слепому не ставится в вину слепота и хромота. „Крест“, „несчастье“ — вот как определили они причину и смысл существования покойного барина. Не было во всей деревне ни одного мужика, ни одной бабы, ни одного подростка, который бы не пришел проститься с ним и простить его. Мне кажется даже, что они и приходили, уже простив его: так тихи и добры были их лица, так усердно они молились у гроба, как бы стараясь помочь своими молитвами этому несчастному человеку на том свете... Нечто глубоко-умное и доброе было внесено толпами простого народа, приходившими на панихиды, в пустые комнаты барского дома, в которых до сей поры не жило ни одной, ни доброй ни худой, мысли... Вопросы об наследстве, об имуществе, о том, кому достанется стол, кому сани и т. д., обыкновенно целой тучей возникающие вокруг всякого мало-мальски не нищенского гроба и наполняющие, кажется, самый воздух комнаты, где лежит покойник, каким-то трудно-сдерживаемым злостным и жадным раздражением,— эти мелочные вопросы были подавлены, уничтожены теми глубокими философскими и религиозными мыслями, которые вносили безмолвные толпы простых крестьян. Их усердные молитвы заставили всех задумываться над уродливою жизнью покойника, заставили думать о жизни вообще, напоминали о прощении, о невольности прегрешений,— словом, заставляли думать не о санях, не о стульях и лошадях, а о чем-то высшем, хватающем за душу и развивающем ее.

«Я не знаю, сумел ли бы я и не в такое время, как три-четыре дня панихид и похорон, заставить ребят с такою серьезностью задуматься над словами и понятиями: „жизнь“, „хорошая жизнь“, „жизнь худая, неугодная“, „доброе“, „злое“,— как это без всяких усилий сделали крестьяне в эти короткие три-четыре дня. Ребята мои после смерти отца заметно стали серьезней, задумчивей, да и лично в моем сознании с этих пор народ стал занимать почти такое

же место, как и ребята. „Не обязан ли я,— стало приходить мне в голову,— изменить отношение будущих господ к этим умным, трудящимся в поте лица людям?“ Это было только начало тех идей, к осуществлению которых, как увидите впоследствии, привела сама жизнь, обстоятельства и притом самые-самые будничные, простые... Теперь же, в виду смерти человека, бесплодно и неумно пользовавшегося положением, мы, то есть дети, только задумывались над предстоящею нам задачею жизни, хотя уже и сознавали свое сравнительное бессилие и начинали стыдиться.

«Обстоятельства, однако, скоро рассеяли это неопределенное ощущение стыдливости за свое малосодержательное существование, потому что очень скоро представился случай думать о своих отношениях вполне определенно. По смерти отца моих ребят надо всем именем назначена была опека, и опекуном был сделан дядя покойного помещика, один из соседних владельцев. Это был в полном смысле слова делец-крепостник, не барин, а скорей кулак, человек, умеющий молотить рожь на обухе. Собственное его имение процветало, то есть он получал много доходу и не растрачивал этот доход, а копил и копил, хотя был человек вдовый и имел от покойной жены только одну дочь, девушку, не менее его практическую и холодную. Народ звал их антихристами и жидоморами, господа считали примерными хозяевами. Я видел в нем несомненную любовь к труду,— впрочем, только к такому, в результате которого непременно получался доход, деньги. По виду это был человек громадного роста, громадной силы, с красным, с синими веснушками, лицом, маленькими веселыми глазами, с белыми тараканьими ресницами, с грузным, но крепким корпусом и тяжелой поступью. Он явился в наше имение на другой же день по назначении его в опекуны и тотчас принялся за дело, то есть с 6-ти часов утра в разных концах деревни стал раздаваться его хриплый, перерываемый свистящим кашлем голос, грозивший, прикрикивавший, обрывавший, распекавший и т. д. Буквально целый день он пробыл на

ветру и дожде в своей демикотоновой шинели, осматривая сараи, конюшни, погреба, чердаки, отдирая доски от дому и ударом топора в бревно сруба удостоверяясь в прочности постройки, определяя сколько простоит и т. д. Вечером за чаем он тем же сиплым голосом с неподдельным негодованием разругал всех и вся: покойника, его вдову, мужиков, приказчиков, бесцеремонно указывал на глупость хозяев, на подлость подчиненных и т. д. Мы почувствовали, что это настоящий хозяин и барин, что этот человек принимается за дело „серьезно", невольно подчинились его строгому на всех нас взгляду и притихли. Очень скоро и нас и мужиков он взял в ежёвые рукавицы. Величайших трудов стоило вытребовать от него самое незначительное количество денег на самые необходимые нужды; но, к удивлению нашему, он сумел из имения, в котором, казалось, ничего не оставалось не проеденным, извлекать доходы в размерах, поистине неожиданных. Он „приструнил" мужиков, потянул с них недоплаченные оброки, восстановил забытые обязательства, откопал и разузнал о таких участках, которые принадлежали Неелову и по нерадению последнего находились в пользовании у крестьян, завел десятки процессов о порубке, о потраве и выигрывал все до одного и притом в самые короткие сроки. В два-три месяца такого управления крестьяне оказались на законном основании почти неоплатными должниками, людьми закабаленными: на каждом, кроме долгов денежных, лежали долги рабочих дней и на ином доходили до громадной цифры — 100, 150, даже и до 200. Наложив таким образом на всё население медвежью лапу, опекун делал всё, что хотел, и доходы потянулись к нему.

«И крестьяне и мы — „господский дом" — очутились в одних и тех же ежёвых рукавицах, одинаково чувствовали над собою хозяйскую власть и волей-неволей сближались, входили в положение друг друга. И делалось всё это, как видите, без всяких предвзятых идей насчет „сближения". Дело происходило совершенно просто: мужики стали посещать нас с жалобами, рассказывали про то, как он их

разоряет, просили защиты. Защиты мы, конечно, дать не могли,— напротив, мы сами жаловались мужикам на этого же самого кровопивца,— но, не делая разоряемым людям добра, мы — по крайней мере, я и дети — на самом деле узнавали историю того куска хлеба, который мы ели... Все эти описи имуществ и распродажи крестьянского добра, все эти моментальные решения в пользу нашу разных судов и инстанций, и годовые, десятками лет тянущиеся дела, затеянные крестьянами,— словом, вся эта процедура хозяйства — всё это невольно, но неотразимо доказывало нам, что так жить и делать, как делали до нас хорошие и нехорошие хозяева, нельзя. Я, по крайней мере, а за мной и дети — не могли себе представить, не могли понять, где, в каком месте человеческого сердца может находиться источник той хозяйственной жадности, которою, например, обладал наш опекун. Мы не понимали, совершенно не понимали, что за соображения, что за логика руководит всеми этими хорошими хозяевами в их неусыпных трудах по притеснению и озлоблению посторонних им людей? Что поддерживает в них, в этих хороших хозяевах, неутомимость во всех этих неприязненных действиях? Одним словом, и я и дети — мы одинаково недоумевали, как можно всю жизнь быть сердитым; вставая в 6 часов утра, тотчас же начинать злиться, жаловаться, притеснять для того, чтобы вечером с ругательствами выпить рюмку водки и с сознанием тяготеющей над собою неприязни сотен людей тревожно заснуть до 5 часов другого дня, чтобы и его ознаменовать такою же самою изобретательностью всяких неприятностей для ближнего. Нам так была ясна бессмысленность, глупость, а главное — пошлость такого рода отношений к людям, что мы не имели надобности ни в каких гуманных книгах, ни в каких „печатаных“ доказательствах несправедливости подобных порядков. Убеждение в этом вошло в меня и в ребят так же просто и залегло в душе так же прочно, как входит в понятия ребенка убеждение в том, что зимой нужен снег, а летом цветы, что собаки не ходят

в птичьих перьях, что рыба не бывает покрыта шерстью. Словом, сознание неизбежности с нашей стороны прекратить всё это залегло в самую глубину чувства, родилось и стало жить без разговоров, без доказательств, без определений и разъяснений.

«Интересы, надежды и радости» деревни до такой степени оказались важными и действительно правдивыми интересами, что в самом непродолжительном времени отодвинули на самый задний план все интересы нашего господского дома. Наравне со всей деревней мы сегодня ожидали сходки и с таким же нетерпением интересовались ее решением по какому-нибудь деревенскому делу; наравне со всей деревней мы желали, чтоб начатый деревней процесс против опекуна был выигран мужиками. Мы вместе с деревней тосковали накануне описи и продажи, перебирая и разбирая характеры и натуры разных кулаков, которые нахлынут завтра на мужиков, делали предположения, кому что достанется, кто что купит... Словом, мы жили тем же самым, чем жила и деревня. Благодаря ей, получилась совершенно определенная цель и для наших учебных занятий. Мы стали учиться уже не просто для того, что нужно быть грамотным и вообще нужно знать, а для того, чтобы, выучившись, сделаться мировым судьей и решать дела по справедливости; мы учились для того, чтобы поступить в адвокаты и защищать, а денег за это не брать. Лиза должна была выйти замуж за министра и сослать опекуна в Сибирь. Это были самые первообразные планы; в моих ребятах еще не угасло сознание своего привилегированного положения, и при полном сочувствии чужой беде они полагали, в качестве барчат, помогать этой беде как-то со стороны, и вовсе еще не подозревали, что червь любви к ближнему, раз он стал точить сердце человеческое, насквозь проточит его и докажет, что сочувствие со стороны — не вся правда. Во всяком случае я верю, да и вы сами видите, что зародыш любви к ближнему в ребятах моих — не выдуманный, не напускной, и он будет расти, хочешь-не-хочешь, как и всякое зерно...

«Пишу вам такое громадное подробное письмо, потому что мне надо, для самого себя надо и необходимо, объяснить крупный факт моей жизни, мой брак, а этого сделать нельзя без всех изложенных подробностей. Постараюсь, однако, рассказывать покороче. Наши отношения с госпожей Неелово всё время были самые обыкновенные отношения чужих, хоть и знакомых друг с другом людей. Так по крайней мере относился я к ней; я живу у нее для детей, живу потому, что не могу бросить их; она понимала это, не мешалась и, казалось, была очень довольна и покойна. Но „мужчина“ — не семья, не любовь, а именно представление, понятие „мужчины“ — играл в ее миросозерцании и жизни значительную роль: повдовев месяцев шесть-семь, она стала по временам заводить со мной речь на ту тему, что мол вся прошлая жизнь ее была какой-то дурной сон, а теперь вот начинается нечто новое, „новая жизнь“. Выходило даже так, что теперь только и начинается собственно жизнь, а прежде было бог весть что. Рассказывала она в таких случаях о своем браке, о том, какой молоденькой девочкой выдали ее за покойного мужа, который не смотрел на нее иначе, как на молодое животное. Оказывалось, что и сам покойник не был ничем иным, как животным... Вот теперь, оставшись без этого дурного влияния дурного мужа, она только начинает жить, понимать жизнь, сознавать свои обязанности; она с ужасом видит, что ничего не знает, ничему не училась,— и не раз говорила мне, что теперь бы она охотно села за книжку вместе с своими детьми... Всё это было справедливо, верно, и я бы охотно сочувствовал ей, если бы не видал, что начало „новой жизни„ она связывает не столько с „книжкой“, сколько с „новым“ мужчиной. Она „сейчас будет другая“ — так можно было понять, зная ее натуру,— но только рука об руку с другим, новым мужчиной. И это бы всё ничего, но за неименьем мужчин, ни новых ни старых, в наших глухих местах, я видел, что она не прочь была пойти в путь и со мной... Однажды как-то вышло так, что она нашла предлог прийти ко мне в комнату,

когда я уж собирался спать, завела речь о своей горькой доле и заплакала; потом с ней сделалась истерика, потом обморок, среди которого она, однако, могла еще сделать мне указание и слабо произнесла: „расстегните!“ Я расстегнул ей платье, но почему-то придал всему этому иное толкование, которое и она, должно быть, поняла, потому что сердилась и не говорила несколько дней кряду. В виду всех этих обстоятельств я хотя и понимал ее положение, и прошлое и настоящее, но держался от нее в стороне, был с нею чужой; жажда личной свободы хоть в этом-то отношении как-то особенно была сильна во мне после того, как я отдался чужим интересам. Именно это-то право также в свою очередь итти с кем-нибудь рука об руку я и хранил за собой, как единственное, что осталось от моего *я*. В довершение всего она мне не нравилась, была физически мне неприятна, не говоря о несимпатичности, которою веяло от ее душевной изломанности. В самом деле, чего-чего не было пережито этим праздным существом в эти праздные и растленные годы замужества! Если бы кто-нибудь сказал мне, что обстоятельства *заставят* меня быть мужем этой женщины, что я должен буду жениться на ней,— уверяю вас, я бы только засмеялся, так это было невероятно, глупо и подло. „Уж этого-то я не сделаю никогда, что бы со мною ни случилось...“ Да я и представить не мог, чтобы кто-нибудь или что-нибудь могло „отдать“ меня в мужья... Ну, возможно ли это, посудите сами?

«А ведь „отдали“! и опять всё те же ребята!

«И отдали так скоро, что я до сих пор еще не опомнился!.. И как всё просто вышло!

«Опекун стал ухаживать за вдовой. Два или три раза он приехал „так“, не по делам, разговаривал со вдовой о „постороннем“, даже — представьте себе! — „о Париже“. Волчье лицо его улыбалось ровно полчаса; полчаса губы у него были сдвинуты на сторону: это он желал понравиться. И как ни покажется это невероятным, а он имел успех у вдовы... Волк этот делал, конечно, „свое же дело“: он до-

бирался до имения, желал быть полным хозяином,— отчего ж не повенчаться на этой дуре, которую, конечно, он сумеет привести к одному знаменателю? И любительница итти рука об руку с первым встречным нимало не возмутилась мыслью о подобном браке. Посредники между опекуном и ею, явившиеся немедленно вслед затем, как сам опекун обнаружил свои намерения получасовой улыбкой, сумели выставить на вид, что дети при таком хорошем хозяине будут обеспечены на всю жизнь, что сама она вновь вступит в свет, который отворачивался от нее, помня ее заграничные экскурсии, но главное, что выставлялось на вид, было то, что опекун — мужчина свежий и что, живя с ним, она по-прежнему „ничего не будет знать“... Отсутствие всякой соображательности и благоговение пред словом „мужчина“ стали быстро укреплять в пустой голове моей будущей жены мысль о браке с волком... И я с ужасом увидел, что мне необходимо разрушить этот план, этот брак; но я не мог иначе этого сделать, как женившись на ней сам.

«Что я не уживусь с опекуном, когда он женится на моей теперешней жене,— это было ясно; он начнет всё по-своему и прогонит меня. Что он поведет детей иначе — это также было ясно. Ясно было, что он их забросит вместе с матерью; что деревня, мужики будут разоряемы свободной рукой — также не подлежало сомнению. Как тут быть?

«Добрые семена, посеянные в сердцах моих ребят, он непременно будет „искоренять“, он будет им отцом, перед которым „не смей пикнуть“, он „пристроит их к месту“ и покорит непокорных... Представьте себе, что может сделать такой волк с детьми, что он сделает с мужиками, с деревней, сделавшись „полным“ хозяином.

«И опять мне представился случай уйти; теперь уж я бы мог уйти с полным сознанием моей невинности: я не мог давать ложной клятвы в любви... Не правда ли, как честно и благородно! А честно оставлять на съедение трех честных людей? Честно обрывать начавшее пробуждаться в них сознание любви к ближнему? Честно покидать этого

ближнего, для которого на моих руках растут три добрые существа?

«Подумайте!

«Я подумал и женился. Чего мне это стоило и как случилось — я в подробности рассказывать не буду. Я женился с тем, чтобы самому быть опекуном (теперь я уж добился этого) и также быть полным хозяином в тех добрых отношениях, которые установились между мною, детьми и деревней... Но могильный холод оковал мою душу... Я зарезал себя, и меня теперь нет на свете... Когда я стоял под венцом и когда услыхал слова „расстоящая соединивый“, я думал о соединении не себя с моей женой, людей видимо „расстоящих“ друг от друга, а о чем-то другом — и радовался умом, хотя сам был мертв и даже зяб от внутреннего холода... Я радовался тому, что, умирая, соединяю „расстоящая“—моих ребят и деревню — в общей симпатии друг к другу, в сознании общего труда, общей жизни... В самом деле — зачем им быть „расстоящими“? Разве это справедливо? Разве не в этом вся неправда, всё зло?

«А ведь они были бы „расстоящими“, если б я не зарезал самого себя... Теперь этого не будет... Вот этим сознанием и живу я, и радуюсь, и веселюсь всякий раз, когда только представляю себе, сколько было бы сделано зла, если бы я пожалел самого себя...

«Не велика беда, что меня нет в живых,— зато сколько растет живого, хорошего на моей могиле...

«Однако, бога ради, бога ради, пишите...

«Ваш...

«P. S. Делаю небольшую приписку о том, каким образом пошли наши дела, когда стал опекуном я. На другой же день моего вступления в должность — имение перестало давать доход. Совершенно перестало. С Ивана Абрамова следует получить оброку 32 р.— но у Ивана Абрамова всего на всего 1 р. денег, и он должен лавочнику восемь с полтиной,

а ресурсов на уплату того и другого — корова и телушка. Точно так же во всех дворах... Вместо пяти тысяч рублей, которые в течение одного года сумел „извлечь“ прежний опекун, мы теперь получаем рублей 15 в месяц, и то когда рубль, когда полтинник... Однажды я целый вечер шлепал по грязи, просил во всех дворах тридцать копеек — „нету!“ говорят. Так и воротился ни с чем... Вообще я вижу, что „хорошая доходность„ имений находится в прямой связи со строгостью. Чтобы был доход, необходимо ежеминутно кому-нибудь и об чем-нибудь „жаловаться“. Хорошо также и судиться — тогда урожаи получаются сам-100. Но всё это, к сожалению нам с ребятами „не подходит“. Таким образом, видя невозможность, и притом самую полную, получать какие-нибудь мало-мальски определенные доходы, мы уже не фантазируем ни об адвокатуре ни о замужестве с министром.

«Мы не можем уже и мечтать о гимназии — нет денег! Волей-неволей приходится выбирать профессии попроще».

V.

«Не выдержит!» — решил я, дочитав письмо до конца, а спустя несколько дней написал «иностранцу» ответ, в котором старался доказать всю трудность и, с моей точки зрения, бесполезность жертвы, взятой им на себя. Я изложил эту мысль по возможности в самых мягких, не обидных выражениях, так как не мог не слышать, читая второе письмо, что «иностранцу» моему крепко трудно, крепко больно... Мне не хотелось делать ему еще больней. Я рассчитывал только дать ему возможность прийти в себя, очувствоваться, посмотреть на вещи здраво. Доказательства бесполезности единичных жертв, приводимые мною, были всё больше аллегорические: необходимо изменить порядки, а с ними изменятся и люди; изменять людей, не изменяя порядков, всё равно, что на каменистой почве сеять рожь и т. д. Бесплодность «иностранцевой» жертвы была доказана самым явственным образом, и в конце концов я рекомендовал ему,

предварительно расхвалив его душу, его сердце,— отдать себя общественному делу.

Ответа на письмо я не получил... Теперь я знаю, что «иностранец» ожидал от меня не такого письма, не такой поддержки. Теперь я знаю, что он «в самом деле» не мог разорвать естественно возникавших в его сердце связей и привязанностей, именно потому, что он был живой человек. Тогда же мне казалось, что он просто запутался, «втюрился», так как я сам не понимал еще достаточно того, что лично мне присущая легкость жертвовать «мелкими» интересами людей, с которыми сталкивает меня судьба, во имя интересов общих,— есть несовершенство, неразработанность моей нервной системы, моего человеческого достоинства, а вовсе не признак высшего развития, высшего порядка моих убеждений... Я охотно бы облагодетельствовал весь род человеческий, но только под условием, чтобы он беспрекословно повиновался моим повелениям, чтобы он не пикнул, не стал со мной торговаться, желать чего-нибудь такого, что я считаю вздором... Вся русская история научила меня ни во что не ставить отдельную личность и ее мелкие человеческие интересы. Во мне самом та же история воспитала и отсутствие уважения к самому себе с моими «ничтожными» интересами и отсутствие не только уважения, но даже терпимости к тому же в других; мы привыкли сливаться в плотную массу обыкновенно разрозненных, бессодержательных атомов — только в какой-нибудь посторонней, не от нас пришедшей, заботе, вроде ига, вроде войны, голода и т. д. Но как только такая подавляющая, со стороны нахлынувшая тяжесть событий переставала давить нас, переставала возбуждать в нас деятельность ума и сердца, как только мы оставались «сами по себе» — прекращался всякий интерес жить на свете, наставала пустота, тоска, самогрызение и нетерпеливое ожидание вновь какого-нибудь удара, какой-нибудь беды, тяжести, чтобы чувствовать, что, свергая ее, живешь... У таких людей, как я, еще нет нравов, нет разработки своей личности...

А между тем, время всё более и более идет к «человеческому образу жизни», всё более требует, чтобы человек-то был хорош, чтобы личность-то берущегося за дело человека была хороша... Увы!.. подобных личностей оказывается покуда вовсе не такое количество, какое бы требовалось даже в самых скромных размерах. Откуда они возьмутся— я не знаю; но знаю наверное, что мое личное несовершенство (подобное такому же несовершенству множества моих двойников) было причиною того, что мы, начав за здравие, всеобщее здравие, кончали упокоем собственным своим в банках, в железнодорожных правлениях и во всякого рода учреждениях, приносящих пользу... только уж не знаю кому...

«Иностранец» был не таков, и он «выдержал» вопреки твердой уверенности моей в противном. Я и мемуары-то эти принялся писать именно потому только, что «иностранец» «выдержал» и заставил меня задуматься и о нем и о себе... Убедило меня в этом третье письмо «иностранца», полученное мною уже здесь, в г. N, на месте нового моего служения отечеству, или, вернее,— наживающему деньгу купечеству.

Несколько дней назад, возвратясь из «должности» домой, я нашел коротенькую записочку на серой бумаге:

«Наш деревенский мужик, бывающий по делам в вашем банке, сообщил мне вашу фамилию, говорит: „служит“. Вы ли тот самый (следуют мое имя, отечество и фамилия), с которым мы когда-то жили, помните, на Живодерке? Если вы, то я очень, очень этому рад и счастлив... Как нам повидаться? В городе я бываю редко. Не приедете ли в свободный денек — посмотреть на наше житье-бытье?.. Надоест ведь сидеть в банке-то... А до нашего обиталища близко — третья станция, и от станции семь верст, деревня Залесье...

Ваш N. N.»

Как он мог попасть сюда? чем «кончился» этот брак? где дети? — все эти вопросы невольно возникли по прочтении этой записки, и желание видеть «иностранца» овладело

мною в самой сильной степени. Я решил непременно съездить в первое же воскресенье, но не выдержал и уехал в субботу вечером.

Часов в одиннадцать ночи лошади привезли меня в бедную нищенскую деревушку, к бедному низенькому в одно окно крестьянскому дому. И деревня и домишко спали мертвым сном.

— Кто там? —на стук в дверь, низенькую и квадратную, отозвался молодой, басистый голос.

Я назвал себя и произнес фамилию «иностранца».

— Здесь, здесь!.. Я его сейчас разбужу... Подождите в сенях, я вынесу свечку, а то вы тут спотыкнетесь...

Огарок осветил сени, заставленные досками, только что сделанными ящиками; вся стена, у которой стоял верстак, была увешана разными столярными инструментами: рубанки, пилы, шершебели, навертки и т. д. Молодой парень, босиком, одетый в парусинную блузу, сонно и молодо улыбаясь, проговорил, указывая на всю обстановку сеней:

— Всё хлам!

И провел меня в избу.

«Боже мой! Это ли тот «иностранец», молодой, приличный, рассудительный, здоровый!» Я не верил глазам, увидав перед собой совершенного старика. В красной полосатой фуфайке, какие носят дворники, плотно обхватывавшей его стан, он походил на скелет,— так был он худ; длинные худые ноги, худые руки, редкие волосы с сильной сединой и длинная, узкая, также с значительной сединой, борода — всё это говорило о том, что человек был сломлен и разбит, что прожитые им годы были мучительно трудны...

Тихим, ослабевшим, но таким же мягким, женским, как и в старые годы, голосом он говорил мне, как он рад меня видеть, как хорошо, что мы встретились; радость неприторная светилась в его добрых, простых глазах, слышалась в голосе.

— Где же ваши дети? — спросил я.

— А вот один из них,— указал он на парня, который отворял мне дверь.

— Это Федя,— прибавил он.— А Василий учительствует... Девочка Лиза учится в фельдшерских курсах... И потом — сюда...

— В земстве будет служить?

— Нет, просто будет сама... Нельзя брать неисполнимые обязанности только потому, что дают жалованье. Будет жить с нами и делать, что возможно...

— А средства?

— Ну, что дадут... Яйцо, курицу...

Федор, оставаясь попрежнему босиком, возился около самовара...

— А вы с Федей?

— А мы, вот видите... столярничаем... Есть тут крахмальный завод, мы поставляем ящики...

И затем он рассказал, как попали они сюда.

— Мы разошлись,— сказал он коротко,— с женою... Нельзя было жить там, не было подходящих заработков... Мы продали крестьянам, что можно было, и вот я вздумал вернуться в наши края... Отсюда ведь близко до города, где мы с вами когда-то учились... Вот мне там и посоветовал один человек арендовать лоскуток земли,— здесь земли немного, только самим хлеба, правда, хватает, но мало всего другого. Лизе надо, Василию не всегда хватает... Да и нам...

Я не решился расспрашивать его о супруге, так как в этом преждевременном старчестве, одряхлении человека брак его несомненно играл большую роль... Впоследствии я узнал, что она живет у богатых родственников. Не решился я расспрашивать «иностранца» и о том, как он находит свою теперешнюю жизнь, но не потому, чтобы находил эти вопросы нескромными для него, а потому, что не было в них надобности: в самом «иностранце», теперь походившем на старого русского крестьянина, не было никакой тени сомнения в том, что положение его могло бы быть какое-нибудь иное, чем то, в котором он находился; к этому

положению привела его жизнь, его убеждения и необходимость, а как же противиться необходимости? Не было ни в нем ни в Феде и мысли о каком-либо ином образе жизни... Глядя на эту спокойную покорность результатам, к которым привела самая жизнь, не было никакой возможности завести каких-нибудь теоретических разговоров.

Неудивительно поэтому будет, если я скажу, что после нескольких минут первого свидания, наполнявших нас оживлением и радостью, я скоро стал ощущать некоторую скуку. С большими промежутками молчания пили мы чай, говорили о мелких ежедневных трудах... и, увы! — опять припомнилась мне мелочность «иностранца»! Ничего ни смешного, ни остроумного, ни громкого. Нет, всё однообразно, бледно и так неинтересно, как неинтересно заказчику платья или сапогов быть долгое время в кругу портных и сапожников, долгое время слушать их портновские разговоры. Так и мне неинтересно было сидеть со столярами, потому что «иностранец» и Федя были в самом деле столяры... *только* столяры!

«Чужие мы друг другу!» — решил я. На другой день я с трудом дотянул до вечера, когда надо было уезжать... Вся великость подвига этого человека утратилась для меня, когда я увидал те скудные формы, в которые вылился этот подвиг... «И всё-таки и тут ограниченность!» — опять решил я, уезжая... Но когда на меня нападает гложущая, самобичующая тоска, я невольно опять склоняюсь пред сердцем и делами «иностранца» и стараюсь помнить только одно: «Он возвратил в трудовую массу трех человек, которые приготовлялись быть дармоедами».

IX. БОЛЬНАЯ СОВЕСТЬ.

I.

«—Не советую вам встречаться за границею с русскими...» Когда я ехал прошлый год за границу, эту назидательную фразу мне пришлось слышать от многих соотечественников, уж бывавших там и, стало быть, имевших понятие о европейской жизни. Все причины, которые приводили мне в объяснение необходимости быть в стороне от соотечественников, решительно, по моему мнению, ничего не значили; говорили: «неприятно», «скучно», «да вот увидите сами...» — словом, ни одной основательной причины на мой взгляд не было, и я уехал, совершенно забыв эти советы. И что же? Впоследствии, когда я поглядел на чужие нравы, я невольно должен был вспомнить этот совет, ибо я на самом себе испытал какую-то душевную боль, что-то саднящее, какую-то наваливающуюся на душу массу — боли, желчи, тоски... всякий раз, когда только «видел» русского, даже не разговаривая с ним ни слова; и уверен, что и моя особа, тоже русская, производила на другого соотечественника то же самое ощущение...

Определить это ощущение каким-нибудь одним веским словом решительно невозможно; оно приобретается тогда

только, когда длинный ряд чужеземных картин, даже самых непривлекательных, сделает с вами великое чудо: именно заставит вас выздороветь, если вы были больны, заставит вас успокоиться, если вы были обеспокоены,— словом, когда чужая сторона сделает на душе у вас хорошо... Теперь, сидя в глуши и опять заболевая понемногу какою-то мнимою болезнию, я с особенным удовольствием припоминаю этот процесс, по которому на душе становится хорошо.

Ни длина и дешевизна немецких буттербродов, ни чистота немецкой прислуги, ни роскошь и дешевизна извозчиков, у которых всё по таксе (какая прелесть!), человеческое достоинство которых делает то, что они едут потише, когда их просят ехать пошибче, ни газовые рожки, ни вообще какие бы то ни было таксы, цены и проч. и проч.,— ничто подобное не будет предметом нижеследующих заметок: ни одною из этих прелестей я не посмею пленять читателя. Да не только не посмею пленять именно вещами подобного сорта, а просто нахожусь в полной невозможности пленять его хоть чем-нибудь, если только он хоть мало-мальски заинтересован в современных порядках и хочет, чтобы они хоть чуть-чуть были поновей. С этой точки зрения я по совести могу сказать, что там *всё хуже* нашего, ибо там всему делу корень; с этой точки зрения я даже и говорить не могу ни о чем, кроме самых-самых неприятных вещей, но в конце концов — как бы ни было дурно то, что попадается вам на глаза,— на душе будет хорошо...

В самом деле, только переехали вы границу, только было стали облизываться от дешевизны буттербродов,— хвать, стоит Берлин, с такой солдатчиной, о которой у нас не имеют «понятия» и которая заставляет вас сразу терять аппетит ко всем этим прелестным газовым рожкам, мостовым, «по таксе» и т. д. Палаши, шпоры, каски, усы, два пальца у козырька, под которым в тугом воротнике сидит самодовольная физиономия победителя, попадаются на каждом шагу, поминутно; тут отдают честь, здесь сменяют караул, там что-то выделывают ружьем, словно в помешательстве;

а потом с гордым видом идут куда-то... В окне магазина — победитель в разных видах: пропарывает живот французу и потом, возвратившись на родину, обнимает свое семейство: бакенбарды у героев расчесаны совсем не в ту сторону, куда бы им следовало... У иных одно лицо сделано величиною в аршин (из мрамора, из металла), причем усы, как бычачьи рога, стремятся вас запороть, положить на месте. Насмотревшись на это, пойдите укрыться в портерную, но и там то же: сабли и палаши ездят по ногам, повсюду шевелятся усы, одни другим отдают честь — и все вместе вновь пришедшему... Но существеннейшая вещь — это полное *убеждение* в своем деле, в том, что бычачьи рога вместо усов есть красота почище красоты прекрасной Елены. Спросите любого из этих усов о его враге и полюбуйтесь, какой в нем сидит образцовый сознательный зверь. Проглотивши такую заграничную картину, невольно думаешь: «Нет, уж этого у нас нет!» И в темноте вагона припоминается наш солдатик Кудиныч, который, прослужив двадцать пять лет богу и государю, теперь доживает век в караулке на огороде, пугая воробьев... Он тоже весь изранен, избит, много дрался и имел врагов из разных наций, а поговорите-ка с ним — враг ли он им?

— А поляки? Как?..

— Поляки тоже народ ничего, народ чистый...

— Добрый?

— Поляки народ, надо сказать, народ добрый, хороший... Она, полька, ни за что тебя, напрпмер, не допустит в сапогах... например, заснуть ежели...

— Не допустит?

— Ни боже мой!.. Ходи чисто! благородно!

— А черкесы? Ты дрался с черкесами?

— Эва? мы черкеса перебили сметы нет! Довольно нам черкес известен; лучше этого народу, надо так сказать прямо,—не сыщешь.

Все его враги — добрые люди, неизвестно зачем бунтуют... Всех он усмирил — и вот теперь сидит в караулке,

тачает что-то, разговаривает с собачонкой и, вспоминая прошлое, говорит: «Ох, грехи, грехи тяжкие!» Какое же сравнение: здесь доброта,— там свинство и зло.

Нет, у нас лучше.

Благодаря превосходно устроенным путям сообщения, не успели вы еще простыть от умилительного воспоминания о Кудиныче, как чужая земля предъявляет вам новый сюжет для размышления. Поезд остановился на какой-то маленькой станции — кажется, в Бельгии: немецкие деревеньки с зеленью и беленькими домиками, выглядывающими из нее, давно прекратились; давно уже пошли каменные глыбы с боков дороги, горы (буквально) золы, облака дыму, тысячи труб, изрыгающих дым и пламя,— и исчезли всякие следы деревни; видны только фабрики и казармы для рабочих — узенькие, низкие одноэтажные здания, с крошечными окнами, маленькими дверцами, обвешанные всякою рванью, просушивающеюся на солнце; людей стало почти не видно, они все где-то под землею, в огне и дыме... Изредка у дороги увидишь женщину-сторожа — она босиком, в рубище, изможденная и худая. Это точно Бельгия. Поезд останавливается ночью. Повсюду зарево пылающих горнов; вот вдали на какой-то широкой трубе, из которой вылетает белое пламя, толчется какой-то человек: черная скорченная фигурка его то подскочит к огню с каким-то шестом, то отскочит назад, очевидно — от нестерпимого жару, и потом опять лезет туда... Слева, немного ниже насыпи железной дороги, расположилась фабрика; под прорванной и прогорелой железной крышей, держащейся на столбах, в огне и дыме, в тучах разлетающихся искр копошится масса рабочего народа, худого, оборванного, измученного. Сколько тут детей, совершенно голых, без рубах!.. Вот один тщедушный мальчик, без рубашки, босиком, нагнувшись головой чуть не до земли и ухватившись руками через плечо за конец длинной железной полосы, раскаленной почти до половины, тащит ее с видимым трудом, раздувая свои голые бока с отчетливо обозначившимися ребрами. Да, тут рабо-

тают в поте лица, тут виден страх смертп, если только руки выпустят этот молот... Представляя себе хозяина этого ада кромешного, вы никак не сочтете его другом всех этих голых людей. Да, вы убеждаетесь, что выколотить из этого «хозяина» прибавку в копейку серебром можно только кровью, дракой, невыносимым взрывом ненависти... У нас нет ни такого дыму, ни такого огня, ни такой злобы рабочего и хозяина (говорят, будет), ни этой злости в работе... Хозяйский приказчик Куприянов, правда, ходит между рабочими и покрикивает: «Поспевай, ребята, поспевай»; но потом присядет на обрубок дерева и скажет: «И история тоже, ребята, вчерашнего числа вышла со мной... Тут смеху было, боже мой... Иду это я... Федот! ты что это чешешься-то?.. Надо бы, купидончик, поспевать... Иду это я, вчерась, от кумы...» — и пошла история, от которой, глядишь, идет смех по всей фабрике... Под историю и «поспевать» легче. «Уж и плут только этот Куприянов, братцы,— разговаривают фабричные: — ну, одначе, человек, надо говорить прямо,— человек ничего...»

Нет, у нас лучше!

Мы в Париже. Тут уж я не знаю, каким орудием таскать массы всяческого безобразия... но чтоб уж до конца в этих сопоставлениях мое отечество являлось в лучшем против *них* виде, приведу суды. У нас суд скорый и правый, а там идет какой-то скорый и быстрый разбой, но не суд. Я говорю о версальском военном суде. Нижний этаж неряшливых солдатских казарм в Версали кое-как, на скорую руку, перегорожен досками на маленькие клетушки, совершенно такого же изящества, как деревянные, на два дня устраиваемые, по случаю сельской ярмарки, «выставки водок»,— и в каждой этакой клетушке заседает военный суд и печет приговоры десятками в минуту. Из-за этих перегородок (которые далеко не достигают до потолка) раздаются резкие, скорые, очевидно, для проформы задаваемые вопросы, робкие ответы, преимущественно — «нет», на которое не обращается никакого внимания... Посмотрите на эти лица, заседающие за красным столом, под запыленным маленьким распятием

из кости над их головами,— это такая коллекция удавов, какой, пожалуй, и в Берлине скоро не подберешь. Стоит взглянуть на этих судей, чтобы понять, что подсудимый, тщедушный мастеровой, совершенно напоминающий нашего отечественного портного, работающего «перешивку на дому»— что этот испуганный человечек, с трясущимися пальцами рук, протянутых по швам (я такого именно и видел),— что он вовсе даже и не подсудимый, а прямо «попался» в волчью яму. В две-три минуты допросили десять свидетелей, которые все показали, что он вполне невинен, что он не мог не держать в руках ружья, когда ему его навязывали под страхом смерти... Словом, дело такого рода, что у нас бы непременно его оправдали, и денег еще собрали бы. А тут — нет: прокурор, стуча кулаком, прямо объявляет, что он знать не хочет ничего, кроме того, что подсудимый взят с оружием. Повернув, по французскому умению говорить, эту фразу на разные лады раз двадцать, он умолкает в большом негодовании; за прокурором встает защитник, очень изящный молодой человек в военной форме. «Ну,— думаете вы,— вот тема-то разойтись...» Ничуть не бывало. Защитник с крайним сожалением объявляет, что вина преступника так несомненна, что ему остается только просить о снисхождении, он знает, что есть милосердие;— и затем совершенно спокойно садится без малейшего стыда и жалости. Невиноватый ни в чем человек был приговорен к пяти годам работ в крепостях. Семейство разорено, и вся жизнь целого семейства пошла к чорту... Несомненно, что у нас в России никто ничего подобного не видал.

Но довольно примеров. Один мой соотечественник из простонародных, попросту русский мещанин, волею божией попавший в Париж и проживающий здесь около пятидесяти лет,— соотечественник, о котором будет сказано обстоятельно ниже,— говорил мне за верное, что здесь во Франции, особливо в Париже, «все порядки приведены в большую огромность». В доказательство того, что это правда, он весьма оригинально указал мне на статуи великих людей,

расставленных по площадям европейских городов и Парижа в особенности... «Это отечество,— говорит он,— становит тому, кто ему делал добро, установлял порядки... Почему у них у всякого в руках либо палка, либо сабля, либо дубина? Потому — «не бить — добра не быть», бабушка говорила... У иного просто бумага в руках, а тоже ровно треснуть хочет... А потому — на пользу; от этого-то здесь и чистота... Одному только Нэю на Сан-Мишель поставили монумент за измену...» При таком прочном насаждении порядков можно бы было здесь представить читателю великое множество таких цветов этих порядков, которых у нас не только нет, но дай бог, чтобы и не было их; но теперь покуда довольно будет рассказать окончание последнего примера с судом, чтобы можно было видеть, отчего даже такие мерзости, как этот суд и другие, мною вышеуказанные, поучительны и чем именно они не мерзки...

Окончание истории с судом было таково:

После того, как по обыкновению именем французского народа был произнесен приговор (подсудимого в это время нет в зале суда), публика, находившаяся в камере, вышла на двор, заставленный пустыми пушечными станками, и обступила растерянную жену несчастного. Публики этой было очень немного: два-три свидетеля, в том числе две женщины, семинарист-иезуит с толстомясым лицом и флегматически сложенными назади руками да два-три иностранца. Женщины ахали, советовали что-то, жена подсудимого плакала, прочие стояли и смотрели. В это время, по случаю перерыва заседания, прокурор и защитник, да, кажется, кто-то и из судей неправедных, вышли на крыльцо курить и болтать... Зная наши отечественные добрые нравы, я подумал: «А вот сейчас эти прокуроры и судьи подойдут к несчастной и станут соболезновать ее горю... ну, хоть из приличия...» Мне потому пришло в голову, что у меня есть множество приятелей прокуроров, которые именно так поступают; эти мои приятели — они вовсе, например, не злы на мужика, который вырубил дерево и которого нужно

засадить в острог, *в сущности* они душевно жалеют этого мужика. они научились любить народ, и если иной раз упекут в Сибирь, то это по обязанности, а *сами лично* они даже жалеют, дают деньги... Один из моих приятелей был даже так огорчен каким-то делом в этом роде, что мало того, что дал упеченному денег, а даже... подал прошение о переводе в другой город... Когда мне всё это пришло в голову, я того и ждал, что эти звери, теперь, когда заседание прервано, вдруг сделаются не-зверьми (как мои приятели) и покажут нам свои лучшие светлые стороны... «Вот, сейчас».—думал я. Но они стояли и курили, заложив руки в карманы своих красных панталон. «Да что же это такое? — стало приходить мне в голову.— Неужели они даже и в перерывах заседания остаются такими же зверьми?..» Мне показалось, что на нашу группу они смотрят не с сожалением, а с каким-то веселым сарказмом в глазах... «Да неужели же они считают себя правыми?» — думал я в недоумении. И, чтобы удостовериться, сделал даже некоторое неприличие — попросил у одного из них закурить (хотя простонародный соотечественник и внушил уже мне, что французские порядки требуют, чтобы спички держать свои). Мне хотелось послушать, что такое они болтают; я нарочно возился с сигарой, склеивая ее, перевертывал другим концом, чтобы протянуть время. И что же? Один из них ругательски ругал коммунаров, а другой предложил на будущее время просто «сбривать им головы с плеч»— и, сколько я мог заметить, сказал это с подлинною ненавистью... Тогда я убедился, что они действительно злы и делают так, а не иначе, именно потому, что злы.

II.

Таким образом и версальский неправедный судия, и берлинский зверь, и все, кто в вышеприведенных заметках являлся, дурен ли, хорош ли,— все они делают только то, к чему влекут их личные нравственные требования. Неправедный версальский судия, убивая в коммунаре ненавист-

ную ему идею, делает это потому, что, допустив идею врага, он должен отказаться от своей, которою он живет и которую от *считает справедливою*... Зверовидный берлинец потому так охотно исповедует религию пропарывания кишек ближнего, что вследствие множества мельчайших причин, о которых можете прочитать в книжках, эта религия составляет идею его личной жизни; она ему нужна за кружкой пива, за трубкой. С своей точки зрения он может представить тысячи по его голове совершенно логических доводов, которые его совершенно оправдывают. На своем знамени в данную минуту он может написать такое словечко, которое ему дороже жизни. Вам, постороннему наблюдателю, он может показаться сумасшедшим, но он лично совершенно прав, честен пред своею совестью, живет... Ощути он за своей трубкой, за своей пивной кружкой потребность не пропарывать кишек — и на знамени надо будет писать другое слово, а старым, пожалуй, не стащишь его с места. Заберись коммунарская идея в голову, в сердце, словом, в будничный обиход версальского неправедного судии — и, пожалуй, не он будет убивать, а его.

Негодуйте, сочувствуйте — как скажет ваша совесть. Что же делает мой приятель Петров? В зале суда он упекает крестьянина Андронова за порубку дубков, в перерывах заседания сочувствует ему и дает деньги, а дома является демагогом... Что тут правда, что тут настоящее, где тут результат, кроме того, что крестьянин Андронов отправляется в острог и благодарит прокурора за пожертвование — «дай тебе бог»? Что тут живого, по совести считаемого нужным?.. Я знаю одно, что версальский жидомор чувствует себя хорошо, а Петров скучает и хочет исцелиться, подав прошение о переводе... Да и мне, помню, с этим Петровым было необыкновенно скучно...

Где больше правды, в иностранном ли фабриканте, сгнувшем рабочего в дугу, или в другом моем приятеле, недавно умершем от скуки и от чахотки, помещике Федосееве, на винокуренном заводе которого распоряжается

известный уже читателю Куприянов?.. Фабрикант прямо смотрит на свою фабрику как на учреждение, которое должно дать ему деньги на жизнь, слагающуюся из потребностей, весьма определенных, удовлетворение которых ему необходимо и которые он, по свойственному всем чужестранцам крайнему эгоизму, считает выше всего на свете. Он — свинья (если так да позволено мне будет благосклонным читателем выразиться), но он лично полагает, что поступает справедливо, стараясь получить из рук голого рабочего больше, а не меньше. С господином же Федосеевым происходили следующие обстоятельства: он был, во-первых, человек «добрейший, честнейший и благороднейший»; винокуренный завод он открыл, сам не зная как («решительно не понимаю,— говорил он,— как могло мне прийти в голову»!), и, как утверждал он при жизни, видеть его равнодушно не мог... Когда доходили до него слухи, что Куприянов обсчитывает и грабит, с ним делались истерики, и он иной раз сам раздавал обсчитанным рабочим деньги—по пяти, по три рубля... Каждый год он собирался закрыть завод, но не закрывал, совершенно не зная, как это случалось... Завод между тем, управляемый Куприяновым, шел кое-как, приносил кой-какой доход, который барин принимал «с омерзением» (собственное его выражение) и собственно лишь для того, чтобы поехать в Петербург послушать хорошей музыки и вообще отдохнуть от всей этой слякоти. Спрашивается теперь, что в нем, в господине Федосееве, я, посторонний человек, могу считать действительным и живым: тонкое ли понимание собственно музыки, демократические ли его идеи или идеи фабрикантские? Я полагаю, что ни на один из этих вопросов ответить невозможно утвердительно. «Жду смерти, как избавления, как манны»,— сказал он мне однажды, и действительно умер с большим удовольствием... И действительно на душе у него должно было происходить бог знает что. А рабочий? Согнутый головой к земле, иностранный рабочий знает, кто его согнул; несчастный, он живет злостью, которая рано ли, поздно ли разогнет его!.. Положение же Андрона,

работающего на фабрике Федосеева, совершенно неопределенное. После того, как Куприянов обсчитал Андрона, а барин дал ему пять целковых, Андрон пьянствовал две недели, похваливая господ, и пропился до того, что жена Андрона сама пришла к Куприянову и просила его образумить пьяного дурака. И действительно Андрон крайне нуждался в какой-нибудь доктрине. Очнувшись, он решительно не мог понять, он ли, Андрон, виноват, Куприянов ли виноват, или барин... Но когда оказалось, что, напротив, барин ему сделал благодеяние, то мысли его до того перепутались, что он чувствовал себя дурак дураком и, говоря по совести, был в душе очень благодарен Куприянову, когда тот его образумил. Куприянов, во-первых, дал ему хорошую пощечину, потом повторил ее раза три-четыре и оштрафовал за все прогульные дни. «Дурак я был»,— думал Андрон, принимаясь за дело.

Кудиныч — старый воин и добрая душа! Я часто посещаю Кудиныча (он у нас караульщиком на огороде), веду с ним разговоры и решительно жалею его... Что за существование?.. Он обыкновенно сидит в своей караулке, что-нибудь тачает, или штопает, или жует свою печеную картошку, кровью выслуженную на войне, приговаривая всякий раз: «Господь напитал — никто не видал, а кто видел — не обидел...» Это человек, который сам действительно мухи не обидит. А сколько он обидел на своем веку народу — и всё народу, по его мнению, доброго, хорошего!.. «Много мы их тогда перебили... народ всё чистый, ладный народ, ничего!» — скажет он иной раз, заговорив о войне и о своих подвигах; но, отделавшись от них, он почти не интересуется ими и толкует о них редко. Отдыхая теперь на спокое, он живет сам по себе — и вот, послушав раз-другой его разговоры с мальчишками, я вполне убедился, что «сам по себе» он совсем другой человек... Посмотрим, что его интересует, какими небылицами набита его голова.

— И горит, братец ты мой,— рассказывает он босоногому мальчишке,— этот самый гац без фитиля и без лучины...

И как бы ты думал, откудова он идет, этот гац? — вопрошает он удивленного слушателя — и, долго помолчав, почти с ужасом произносит: — Из собаки! да! Из дохлой, из падали из собачей!.. Наберут дохлятины, сейчас ее в особое место,— в варку,— ну, а из варки она уж и выфыркивает полымем... Значит этот дух... например, жар... стало быть, эта сволочь самая...

Или рассказывает о том, что близ Ярославля один дьякон откопал мешок с тараканами; они лежали в земле тысячу лет—и живы!.. Дьякон будто бы тотчас же явился с этим мешком в собор и подал его архиерею на самом амвоне, за что вышла из Петербурга награда. Он верит, что в Киеве существует мост, на двадцать верст длины, вылитый целиком из железа, что если зайцу отстрелить хвост и зарядить этим хвостом ружье, то ружье будет стрелять без промаху.

Удивление его всем этим чудесам, в которых одна «премудрость», ничуть не меньше удивления его деревенских слушателей-ребят; да, он — ребенок, добрый, тихий, религиозный (в молодости он намеревался поступить даже в монахи)... Но все эти личные его качества — теперь на возрасте десятилетнего ребенка. Почему же им не суждено было развиваться? Почему в видах высшей пользы они должны были заменяться совершенно другими качествами... и притом какими?.. Я часто пытался разузнать, какая сила таскала его по черкесам и по венгерцам,— и признаюсь, кроме слов «там, брат, не разговаривают»,— я почти ничего не слыхал, объясняющего дело. Один только раз, как мне показалось, он произнес магические слова своего знамени. Это была солдатская песня такого содержания:

Мы с героем — дети славы
. . . . . .
Есть у нас своя семейка
Невеличка и добра.
С нею жизнь для нас копейка,—
Сухарь, чарка и ура!

Но когда я захотел потолковать с ним насчет этой песни, то оказалось, что он в ней понимает очень мало и сердится, так что разговор пресекся на первом слове. Прежде всего он произнес не «с героем дети славы», а с «херопм». Когда я спросил: что это значит? — он насупился и отвечал уже — «херуфь»; на вопрос, что означает это слово, он еще более насупился и забурчал:

— Как что значит? Вас учили в училищах?

— Учили...

— Так вы сами, кажется, должны понимать, что и в чем и как...

— Ей-ей, не понимаю...

— А видали в церквах...

— То хоругвь...

— Ну да. Я и говорю про то... Чего ж вам тут всё не к месту? Мы люди неученые... Небось, вас терли, терли мочалкой-то в науках...

Старик, очевидно, сердился, и разговор наш пресекся. Так что, по тщательном размышлении, знаменем всей его жизни должно было признать любимую его поговорку:

— Ох грехи, грехи тяжкие!..

Нет, берлинский зверь не скажет: «грехи, грехи!» А Кудиныч покорный вздыхает!

Таким образом, если счесть содержимое этих параллелей, окажется, что личная совесть любого из вышеупомянутых соотечественников как будто ровнешенько ничего не значит в великих делах, им совершаемых; она не развивает своих сил, не имея возможности питать их, и формы ее в высшей степени неопределенные, а велики или малы силы этой совести — сказать утвердительно тоже невозможно. Там, напротив, все дело в крайне малом—в эгоизме, и притом самом злейшем,— эгоизме каждой единицы, каждого сверчка, который за свой шесток (худ ли, хорош ли он — судить не мое дело) постоит крепко. Для нас этого очень мало; но ведь эта малость и делала явления, которые считают великими...

Здесь мне припоминается следующее обстоятельство.

В праздник троицы я вместе с известным уже читателю простонародным соотечественником моим отправился в церковь Парижской богоматери. Служба шла со всею торжественностью: служил парижский архиепископ, гремел орган, гудели виолончели и т. д. Но церковь мы нашли совершенно пустой; кроме небольшой кучки народу да иностранцев, шатавшихся вокруг пустых стульев и рассматривавших расписные цветные стекла,— хоть шаром покати. «Ослабела вера»,— заметил моей соотечественник. И что ж? При самом выходе из церкви мы натолкнулись на следующую сцену. Солдат под хмельком, с сигарой в зубах и под руку с подругой, болтая и смеясь, расспрашивал сторожа — пускают ли теперь посмотреть церковь? Он так с сигарой и в кепи пошел было в самый храм... Он — изволите видеть — идет «смотреть» церковь. Если бы мне пришлось видеть побольше фактов хотя такого рода, я бы мог заключить, что действительно ослабла вера, что ухо отвыкло понимать эти виолончели и хоры дискантов; но если мне будут попадаться факты вроде того, который я сию минуту приведу ниже, то я не знаю, в какой мере прочны и уверенны могут быть мои умозаключения. Года два тому назад ехал я по Волге из города С. На палубе попался купец-раскольник, которого я только что перед этим видел в том же С., во время публичных диспутов в С-ском соборе, разрешенных местным начальством. Диспут происходил между разными раскольничьими сектами и православным духовенством. Не трудно представить, что споры могли держаться на самых схоластических темах, на словах, никому не нужных уже, потерявших смысл и внутреннее содержание. Словом, кроме схоластиков-диспутантов, слушатели почти все скучали, сохраняя вид дела (черта наша). Здесь-то я встретил и купца, который тоже стоял и как будто внимал разглагольствию. Теперь мы с ним встретились опять на палубе и заговорили. Тут же на полу, под одеялами, совершенно как дома, на перине лежала жена раскольника, окруженная собственной своей чайной посудой.

Она слушала наши разговоры. Мы толковали о диспуте. Всё, что я ни говорил, купец всё подтверждал и со всем был совершенно согласен. «Ведь просто скучно»,— говорил я.— «Не приведи бог!— говорил купец.— Что ни слово скажут, меньше как четырехсот лет тому слову нет отроду! Заведут-заведут каинтель,— упаси господи».— «Разве дело в этих пустяках, о которых спорят»,— говорил я, например. И купец отвечал: «вестимо, уж какое тут дело» — и т. д. Словом, он соглашался со всем и даже, соглашаясь, непременно приводил свой довод, более высокий, в пользу моего мнения. Эти разговоры и дорога подружили нас. — «Пойдемте пить чай?» — сказал я. Купец начал мяться и поглядывать на жену — и наконец заговорил, улыбаясь: — Так-то бы так, чайку отчего бы... да...» Оказалось, что нельзя пить из чужой посуды.— «Да ведь, по совести,— ведь глупость это».— «Оно так, действительно не с большого ума... ну, как-то так уж...» Помолчав и подумав, он прибавил: — «Али уж мне тебя чаем напоить?» — «Ну, напой!» — сказал я.—«Напоить-то тебя я бы вот как напоил, да опять же нельзя тебя к нашей посуде допустить...» Словом, он знал отлично, что всё это вздор и глупость, всё понимал и со всем был согласен—и всё-таки делал что-то. Так как напиться чаю вместе нам оказалось невозможным, то купец со вздохом лег к жене под одеяло и закрыл глаза — будто бы спит, а я ушел. Чему тут верить? Что тут действительно нужно человеку и что не нужно, умерло? Ни на один из этих вопросов утвердительно ответить невозможно. Только скучно.

Если с этими вопросами подойти к любому из современных явлений русской жизни и, спустившись до отдельного лица, делающего это явление, встретить в этом лице вовсе не то, что он делает (чему я приводил примеры), если убедиться к тому же, что лицо это может делать как угодно, ни в чем лично не нуждаясь и будучи на всё готовым, то легко поймется томительная тоска, свирепствующая всюду, равно как и то, что причина этой тоски — несвободная, в грош не ставящаяся совесть.

III.

Имея намерение со временем рассказать кое-что из мира этой больной совести, ненужной личной жизни, я должен прежде всего указать на два типа, которые припоминаются мне теперь и личная жизнь которых, словно в укор мне, совершенно свободна и чиста.

Это, во-первых, тип, руководствующийся тем, что «всё бог», и совершенно спокойно живущий среди всевозможной сумятицы. Образец такого типа мне совершенно случайно пришлось встретить за границей, именно в Париже, — я говорю о моем простонародном соотечественнике, русском мещанине N. В двадцатых годах, когда этому соотечественнику было отроду не более девятнадцати-двадцати лет, какой-то русский купец, желая завести иностранную торговлю, завез его в Париж, но промотался и умер. Соотечественник остался в чужом городе и с тех пор живет там до настоящего времени. Профессия его — показывать русским Париж; он знает, кому какой памятник, где платок Наполеона, в который тот не успел высморкаться, сколько миллионов стоит дворец и т. д. Во время выставки он очень успевал во мнении московского купечества; если умрет в Париже русский, простонародный соотечественник непременно явится его обмывать, укладывать в гроб, читает псалтырь; кроме того, он постоянно служит сторожем при одном русском учреждении в Париже, и, благодаря этому, то есть тому, что учреждение это считается собственником, владельцем, в качестве представителя от этого владельца служил в национальной гвардии в течение всех крупных событий последних лет. Чего только, стало быть, не видал и не перенес этот честный человек, прекрасный семьянин. (Он женат на француженке и имеет уже взрослых детей, которые все пристроены к месту.) И вот под влиянием этих соображений я вступил с ним однажды в разговор; результатом этого разговора было то, что теория, основанием которой — «всё бог», уяснилась мне весьма обстоятельно, ибо находилась в этом человеке в самом чистом виде. Удаленный из России довольно рано, молодым парнем, он

не успел пропитаться более глубокими философскими взглядами, которыми живет и дышит, например, купец, получивший медаль, а за границей не мог по натуре усвоить чуждых взглядов,— осталось «все бог» в самом чистом виде.

— Да как же не бог-то?..— говорит он.— Зачем бы мне это надо в Париж из Курска — скажите, сделайте милость? А уж, стало быть, что так богу угодно было... Или теперь: у меня есть медаль за спасение погибавших, при Луи-Филиппе получил я... А по совести говорить, разве я знаю, могу, например, объяснить, как это я спас?.. Вы видите, какой я (он намекает на свой рост; росту он небольшого): как же я мог справиться с верзилой с этаким... да что! с двумя! Видите, как было. Шел я поздно ночью через Елисейские поля (тогда этого великолепия не было, темень). А разбойничьего народу — страсть сколько было... Иду так-то, слышу в кустах кричит будто кто-то... Ровно мне ущемило за сердце, как брошусь,— ке фет ву ля (так и так по-русски)? Хвать одного верзилу за шиворот, другой убежал, ну кричать: стражу! Сбежались, и тогда только я увидал, что они человека душили... Лежит человек без чувств... Я даже сам удивился... Поглядел на верзилу, обомлел даже — этакая махина, упаси господи! Потом в суд призвали свидетелем.— «Узнаете,— говорит председатель,— этого господина (которого я спасто)?» — «Нет-с, ваше превосходительство, не узнаю...» — «Да вы его спасли!» Тут он мне такую речь сказал, расхвалил меня: — «Вы благородны, честны... у вас добрая душа — человеколюбие... Что вы хотите, деньги или медаль?» — «Ничего, говорю, ваше превосходительство, я не хочу — потому я тут не при чем, и как тогда это случилось, не знаю... Ежели бы, говорю, теперича, вот сейчас при мне этакой верзила стал бы душить человека — ни вовеки-веков бы я не бросился спасать — мне, говорю, самому жизнь дорога... Стало быть, уж богу так угодно было...»

Помолчав немного и понюхав табаку, седой старичок этот, как бы в раздумье, прибавил:

— В Сену тоже бросился раз — человек тонул, вытащил... А дай мне сейчас тыщу франков — «окунись мол»— так и трех не возьму, да и миллионов мне не надо... Стало быть, бог всё... Или опять женился я — я из Курска, она из Бретани — судите теперича: чье это, как не божие, дело?

— Вы по любви женились?

— Как же мне это помнить? Этому сколько лет-то? у меня сын, милостивый государь, сорока лет, камивояжер,— мне об этом помнить нельзя было... я бился всю жизнь, всех воспитал...

— А не было скучно вам за границей?..

— Как не было скучно? Скучал... До женитьбы совершенно даже скучал; ну, а пошли дети — какая тут скука?.. Вся тут скука и окончилась... Разве мало хлопот-то? Тут норовишь для семейства, ан хвать — переворот какой-нибудь затеяли: бери ружье, стой!.. Уж как они меня, черти-французы, при Луи-Филиппе рассердили, так это забыть не могу!.. Внучка лежит больна, жена больна, а ты стой с ружьем. Думаю: ах, чтоб вам пусто было! что вас нелегкая поднимает... «Что вы, говорю, господа, всё беспокоите себя? Может быть, другим семействам от этого худо бывает... У меня вон всё семейство хворает, а вы тут революцию затеваете...» Уж тогда я бесился на них шибко... Да что! бешеный народ... Ему всё мало! Какого императора спихнули. безумные!..

— Какого?

— А Наполиона! Ка-к-кой император... Да и Луп-Филипп? Чего им еще надо?.. Вы знаете, почем была всякая провизия при Луп-то Филиппе, или хоть при Наполионе... Спросите мол, почем, например, стоил лук, овощ, мясо — и что теперь? «Репюблик, репюблик» — а поди-ка, прицепись, во что вогнали картошку... да!.. Нет, я так думаю, они и бога застрелют, попадись только во-время!.. Ее-ей... Кто им худо делает? сами себе...

— А немцы?

— Да что ж немцы?.. Немцы-немцы! — ругают, кричат все, а немцы во время осады сами нам пропитание доставили. Помню, сын у меня захворал, а купить нигде нет. Прошу христом-богом хоть капусты кочан, за что хочешь — нету ничего, нигде... А немцы дали; целый воз дозволили пропустить в город. И очень хорошо бы было некоторым семействам, ежели бы как следует рассортировать, а они что же? французы-то? Налетели на воз с капустой, растрепали всё, расхватали по листочку, никому ничего... Немцы всей душой хотели...

— Да! — заключил мой соотечественник.— Эти перевороты мне въехали довольно!.. Как зачуешь, что что-нибудь начинается...

— А как вы это узнаете?

— Как узнаешь? Чуешь!.. То же всё, как будто, а понюхаешь кругом — и нет, что-то есть... Порохом пахнет, народ начинает беситься... Ведь народ этот ничего, только с бесиной... Словно как найдет на него что... Уж я этого довольно нагляделся; теперь уж, брат, меня не оставишь без провизии, как при Луи-Филиппе или при Шарле-дис... Как, говорю, зачуешь,— сию же минуту капустки, репки, огурчиков, всего припасу,— пали! шут с тобой!

Так он откровенничает только с соотечественником — с французами же держит себя «по-ихнему», притворяется развязным, поддакивает, словом—представляет барина. Иной раз, желая вдуматься хорошенько в тамошние порядки, посмотреть на них не с точки зрения больной внучки и дороговизны картошки, он попробует высказать что-то, но на втором же слове остановится, махнет рукой и скажет:

— Огромность это всё... По крайности, слава богу, живздоров, и за то слава тебе, господи!

Вот каков мой простонародный парижский соотечественник. Сколько есть таких соотечественников, но еще больше есть другого сорта типов, которые живут, повидимому, тоже во имя — «всё бог», с тою только разницею, что формула эта переиначивается в такую: «бог не выдаст, свинья не

съест». Здесь под именем свиньи подразумевается весь род людской, среди которого живешь и с которым приходится делать дела. Парижский соотечественник — зверек тихий, смирный, волокущий в свое гнездышко по щепочке, по перышку,— «что бог дает»,— тогда как тип последнего сорта обязан вырвать у свиней то, что ему потребуется. Знал я на своем веку одну бабу-крестьянку. Она пришла в Петербург из Пинеги, потому что в Пинеге стало нечего есть. Это была грубая черномазая женщина высокого роста. В Петербурге она отъелась скоро, и так как «есть» до сего времени составляло всё, что ее держало на белом свете, то житье ей стало в Питере плохое. Она жила у немки в меблированных комнатах, била посуду, ибо — что такое посуда и зачем? Спала, как мертвая, и огрызалась, когда ее будили. Не могла упомнить фамилии того или другого жильца, не могла выучиться узнавать, который час. В церковь она никогда не ходила, потому что это ей было не нужно. Словом, это было создание, способное покуда только есть. За разгильдяйство ее колотили жестоко, но это ей было нипочем: она даже улыбалась, видя, как немка дует на руку, онемевшую от удара по каменному плечу Марьи. Иной раз она вдруг заскучает — сидит, плачет.

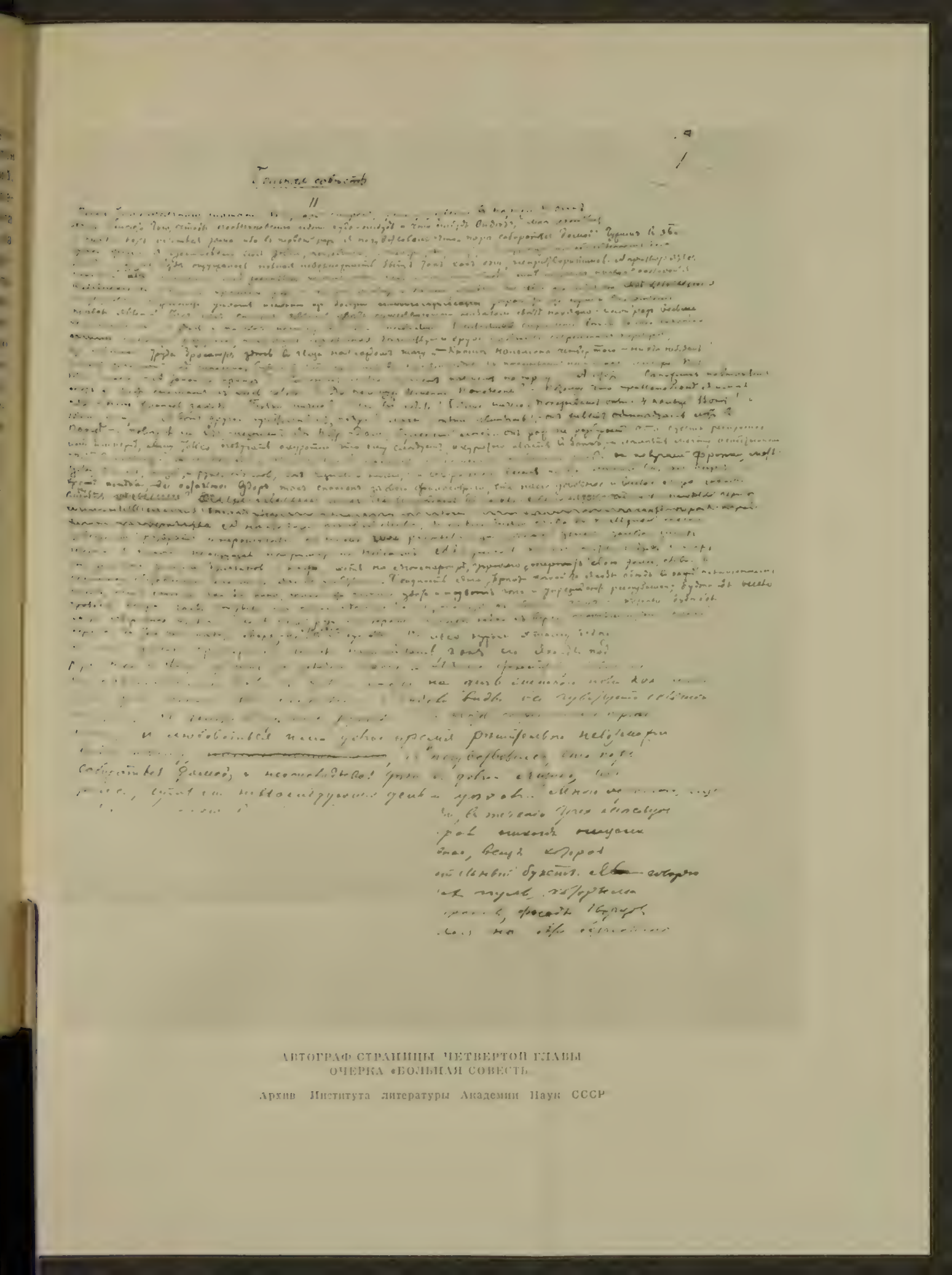
— Что с тобой? — спросят ее.

— Хлеб у нас пожалуй хорош уродился...

— Ну, так что же?

— Девки замуж идут...

Но вот в жизни ее случился переворот, именуемый любовью, хотя здесь это слово неуместно. Прислуга меблированных комнат утащила ее однажды на иллюминацию, а с аллюминации Марья возвратилась уже утром, и дня через два ее нельзя было узнать. В этом она сходна с парижским соотечественником, у которого скука прекратилась, как только пошли дети. Марья, почувствовав, что она будет мать, тоже как будто сразу скинула с себя лень и дурь и принялась обеими руками тянуть кусок из пасти свиньи, то есть всех, кто ей ни попадался. И фамилии жильцов она



АВТОГРАФ СТРАНИЦЫ ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЫ
ОЧЕРКА «БОЛЬНАЯ СОВЕСТЬ»

Архив Института литературы Академии Наук СССР

узнала, и знала, что у кого есть, и часы вдруг стала узнавать, и узнала, кто добр, кто зол из жильцов... «Теперь еще четвертый час,— стала она шептать: — господин Федоров приходят в пятом», — и она смело входит к г-ну Федорову в нумер; запустила руку в сахарницу, взяла сахару, отсыпала чаю, галстух валяется — и галстух взяла, спрятала... Или вот другой господин, «простой», подгулял с приятелями—и уж Марья тут; как оказывается, тонко понимает она этого «простого» господина! — «Сестра четвертый месяц в больнице... сумасшедшая... маленькая девочка у ней осталась, пить-есть нечего... Что на себе было, отдала»,— жалобно прпчитает она. И барин всё вынимает мелочь, всё вынимает...— «А кум ей голову прошиб, да еще говорит: убью...» А барин всё вынимает, и Марья примечает, где водится у барина эта мелочь, и когда барин спит, обыщет этот карман. Она стала изворотлива, как кошка; куда она прятала, что тащила,— никто никогда не находил. Отец будущего ребенка попробовал было ее разыскать и повидаться, но так как и он из числа свиней, которым надо не дать возможности съесть, то через десять минут и у него куда-то делся платок, в одном уголке которого был завязан рубль. С тех пор этот человек и глаз не показывал, что, конечно, еще более укрепило Марью в том, что «все свиньи». И вот она стала родить,— тащить с правого и с виноватого, перешивать и одевать ребят... Как она обращается с детьми? Любит, бьет и пичкает всем, что попало под руку, что нашлось «у господ». Когда отвозят ребенка в деревню, она плачет и потом удваивает свою хищническую деятельность...

Да, здоровый, настоящий человек и Марья,— а страшновато. Ну, а затем начинается великое море болезней и печалей ненормально живущего духа!

IV.

После трехмесячного шатания в чужой стороне, преимущественно в Париже, в один вечер, вместо того, чтобы по обыкновению итти куда-нибудь и что-нибудь видеть, мне

захотелось в первый раз остаться дома, ибо в первый раз я почувствовал, что «пора собираться домой». Чужим в этой чужой жизни я чувствовал себя давно, постоянно: в театре, на улице, в танцующей на общественном балу толпе,— словом, везде ощущалась полная невозможность быть так, как они, не притворившись... А что уже притворяться! Мне захотелось уехать, и не потому, чтобы мне надоела «правда», о которой я только что говорил и которая живет во всем, что видишь, и делает живым всё, что держится ею; я почувствовал потребность уехать именно из боязни утратить это хорошее впечатление правды явлений, так как самые явления, «ягодки» существующего на белом свете порядка, иной раз весьма непривлекательные,— здесь и подавно непривлекательны, потому что они «настоящие»... Настоящее стремление верить только в копейку, настоящий разврат, настоящая безысходная бедность и другие продукты современных порядков без особенного труда бросаются здесь в глаза на каждом шагу. — «Кроме Наполеона четвертого — никто не будет! — говорит знакомый мне сапожник (извините, что примеры всё простонародные) и показывает на пальцах четыре.— Вот! больше никого».— «А такой-то принц?» Сапожник молча черкает пальцем по горлу.— «А этот?» — Сапожник повторяет тот же жест снимания с плеч головы...— «Да почему же именно Наполеон?» — «Потому что при Наполеоне я имел пять тысяч франков доходу...» — «Больше ничего?» — «Чего вы хотите? Больше ничего (показывает опять четыре пальца).— Вот!— и больше никто!» А вот другой простолюдин, попросту мужик заграничный (опять извините!), — он живет одиннадцать лет в Париже,— и поверит ли кто?— не знает, где Нотр-Дам, Булонский лес... он даже не разбирает, что будет — республика ли или империя: ему бы только получать аккуратно что ему следует, аккуратно класть в банк и лелеять мечту о собственном отеле в провинции, чтобы получать и класть. Кроме лестницы с номерами по бокам, откуда он получает франки, кроме метлы, щетки, сапог, тазов и рукомойников, он не знает ничего — и совершенно весел на этой лестнице.

Жестами решает он все вопросы, посторонние копейке.— Что такое любовь? — Жест простой и ясный.— Что такое женщина?— Опять жест — и т. д. Он так верит, что, кроме копейки, всё остальное вздор, так спокоен за свою философию, что на его довольное и веселое лицо завидно смотреть. А настоящий, основательный, до последнего слова, до последней точки доведенный разврат и неразлучный с ним разлагающий «запах» денег, золота,— запах, которого я никогда не ощущал, например, на Невском!.. А бедность, которая тут же, в двух шагах от залитых золотом бульваров и кафе,— бедность, которая угрюмо «терпит» свою долю, словно в насмешку обставленную какими-то якобы удобствами... Бедность эта терпит какой-то якобы обед в кафе, освещенном газом, пьет какое-то якобы вино, такого же самого цвета и названия, что и у президента республики; будто бы весело проводит вечера, часы отдыха на пятикопеечных балах, танцуя с своими дамами, которые будто бы одеты совершенно прилично, хоть иной раз при хорошем взмахе юбки кверху оказывается, что, кроме ботинок да того, что надето сверху,— всё остальное в отсутствии... Сколько нужно этому бедняку иметь уменья притворяться, что он не замечает, как его якобы подруга, того и гляди, уйдет за золотом каких-то пьяных франтов, явившихся на пятикопеечном балу с целью охоты на «дичь» женского пола. Как мало этой дичи, однако! Всё обстрелено и видало виды, всё чувствует большой аппетит к чужому золоту... Да, цветов и ягод современного порядка много, и любоваться ими долгое время решительно невозможно; вот почему я и почувствовал, что пора собираться домой и, не откладывая дела в долгий ящик, собрался чуть ли не на следующий день и уехал...

Много хорошего и дурного видел я в чужом городе и равно благодарен ему как за то, так и за другое; да, даже и за другое, потому что если я человек, действительно любящий человека, то, видя перед собою «настоящее» положение дела, я могу еще более укрепить мою любовь, верить, что она нужна... И, кроме того, что значат эти бесчисленные следы пуль,

которыми простреляны зеркальные стекла, исцарапаны фасады дворцов, церквей, изборождены монументы, арки?.. Глядя на эти бесчисленные белые кружки с темным ободком дыма кругом, невольно представляешь себе, что в этих улицах и переулках находилась какая-то беснующаяся, сумасшедшая толпа, которая хотела, повидимому, разбросать, спихнуть, разрушить всё, что есть кругом. Чем виноваты, например, эти каменные триумфальные вороты, на которых изображены аллегорические фигуры царей, голых воинов, игрушечного вида и задора лошади, колесницы и т. д. Чем виноваты эти ничтожные воротцы? А между тем они сплошь, сверху донизу, исщелканы пулями, отбившими носы у древних царей, хвосты у лошадей и т. д. Очевидно, что здесь бился и метался какой-то обезумевший человек, и этот-то человек — тот самый, который задохнулся от крепкого букета вышеупомянутых цветов... Тут, в толпе этих сумасшедших, вышедших из терпения, был, наверное, и лакей, которому надоела метла и лестница, тут и камелия, которая могла бы и хотела быть матерью, сестрой, женой и которая зла на порядки, не давшие ей ни того, ни другого, ни третьего... Тут был, наверно, и бедняк, которому надоели якобы обеды, якобы жены, якобы семья — и который мстил за невозможность иметь это в настоящем виде и смысле, мстил, как сумасшедший, ломая и разрушая всё, что ни попадется под руку...

Глядя на эти пули, невольно думаешь и убеждаешься, что всему этому, пораженному старыми порядками, вконец ими испорченному народу жить так дальше нельзя, что ему не только скучно, так, как скучно вам, постороннему зрителю,— а просто нельзя, невозможно дольше жить, и, веря в правду явления, вы надеетесь, что действительно *так* продолжаться дольше не может... Уезжая, я думал, что всё будет лучше, правдивей, умней... Как же не благодарить за это чужую сторону!.. С этим хорошим ощущением я возвращаюсь назад, и дня через два снова вижу Петербург...

В тот же вечер, в беседе с приятелями, я слышу и от соотечественника моего тоже, что «так жить нельзя». Картину он нарисовал при этом раздирающую; материалу для того, чтобы нарисовать картину раздирающую, у приятеля были полны руки. Но потом как-то так вышло, что в тот же вечер тот же самый приятель мой нарисовал и другую картину — умилительную, с блестящим будущим,— ибо и для этой картины материалу тоже у него оказалось в руках довольно много. И обе картины были как будто справедливы... И вот, с легкой руки этого приятеля, пошли мне встречаться коммунары с возможностью довольствоваться и философией копейки серебром, пошли ретрограды, думающие в глубине души, что им бы следовало быть либералами, и либералы, которые, быть может, в сущности и не либералы... Потянулось, словом, что-то вроде ни да ни нет, ни два ни полтора, ни тпру ни ну...

Стало мне скучно.

Поехал я в деревню к приятелю. Здесь, правда, есть кое-что «настоящее», поучиться кое-чему можно, но и сюда уже проникает нравственное «ни да ни нет»... Встретил я здесь пьяного мужика, возвращавшегося с бабой из соседнего села. Баба не давала ему денег на водку; он пристал ко мне и, чтобы угодить, прочитал мне апостол (очень искусно) собственного сочинения, смотря в ладони, как в книгу,— но такого содержания, что баба ушла прочь, плюнув и обругав мужа «безбожником» и проклятым. И действительно, мужик был безбожник, если только чтение (которого я привести не могу) — собственное его изобретение... Ему всё трын-трава до такой степени, что я долгое время не мог опомниться и не замечал, что он уже давно ждет «награды».— «Станови, что ли,— говорил мужик.— Али не уважил? Хошь пива... Ей-ей, последние ноне отдал попу, нечем охмелиться...» — «Зачем попу?»— «Да ведь надо молитву дать этому щенку (у бабы был на руках ребенок) — али нет? Кажется, мы хрещеные... Поставь, барин!... будет тебе! Я тебе еще такую ли скажу!..»

Пожил я в деревне; показалось мне, что будто бы я заболел,— и вот поехал я будто бы лечиться на одни русские минеральные воды. Здесь в первый же день за общим обедом в гостинице попался бравый мужчина с нафабренными по-военному усами и баками и как-то невзначай проболтался о том, что он послан на минеральные воды одним отделением одной канцелярии для... «изучения народного быта...» Потом, после обеда, я собственными ушами слышал, как этот господин, желая изгладить не совсем удовлетворительное впечатление, произведенное на умы публики этим известием, отвел в угол одного молодого человека и, держа его за пуговицу, говорил: «Согласитесь сами, что ежели бы это было и так, то есть ежели бы ваше предположение было справедливо,— согласитесь, что гораздо лучше, если это гнусное (и по-моему совершенно справедливо!) дело будет находиться в руках честного человека... Согласитесь, что это так». Но молодой человек, повидимому, не высказывал согласия, по всей вероятности полагая, что гораздо бы было лучше, если бы гнусным занимался гнусный, а честный брался только за честное...— «В сущности,— пояснил бравый мужчина,— я сам глубоко презираю ту печальную необходимость... но...» — и т. д.

Стал я лечиться, а факты из области «ни да ни нет» всё не прекращались...

V.

Из ближайшего уездного города приехал тоже лечиться на воды один монах из благородных; он вел себя солидно, носил окладистую бороду и уединялся от публики с книгой, когда в саду играла музыка. Через два или три месяца он должен был постричься окончательно. (Прислуга его называла «неокончательный» монах.) Нам пришлось жить в одной гостинице; нумера наши были рядом, и потому будущий иеромонах часто заходил ко мне. Разговор шел о духовных предметах; монах рассказывал процесс будущего пострижения, довольно подробно и обстоятельно, мешая его с такими

взглядами и мнениями, которые среди духовных разговоров звучали как-то странно... — «Не могу жаловаться,— говорил он между прочим:— я пошел довольно хорошо по духовной части... В военной мне не повезло...» — «Вы были в военной?» — «Как же! я два с половиной года служил офицером в —ском пехотном полку принца Карла... Сами знаете, что за жизнь армейскому офицеру... Вознаграждения грош... а... Да, наконец, если бы была протекция... тогда другое дело... я бы, конечно, может быть, и не пошел бы... Но теперь по духовной части у меня есть рука довольно сильная... Настоятель меня любит... Кружечный сбор доходит до... всё готовое... И, наконец, мне давно хотелось уединения...» Уж и из этих объяснений можно было видеть, в какой мере прочны основания, на которых зиждутся взгляды отца Виктора насчет разных частей — «духовной», «военной» и т. д. Но это еще цветочки... Прямо из окна моего нумера видна была лачуга, с вывескою портного и с модными картинками, прилепленными к заплесневелым окнам; бывая у меня, отец Виктор часто посматривал на эту вывеску и часто спрашивал: «Какой-такой это Иван Купидонов, военный, статский и дамский?.. Уж не наш ли это дворовый? У нас был один Иван Купидонов и учился в губернском городе портновскому делу». Оказалось, что этот Купидонов — именно тот самый. Прослышав стороной, что тут близко находится барчук — монах из военных,— бывший дворовый явился повидаться. Свидание происходило у меня в комнате. Иван Купидонов, уже пять лет занимающийся своим делом «от себя», успел принять человеческий образ и с большими усилиями делал «рабское лицо» пред барином. Барин всё-таки остался доволен. Когда оба они вспомнили прошлое, пожаловались на настоящее, вздохнули по нескольку раз, дворовый стал жалеть и печалиться о барине.— «Эх, Виктор Сергеевич,— говорил он, покачивая головой с сделанным рабским лицом.— Охота вам было в монахи... То ли бы дело, ежели бы вы были попрежнему... танцы всякие... всё бы себе дозволить могли...» — «Будет,—

сказал барин вздохнув:— натанцовался».— «И без вас есть кому стоять на молитве... А уж костюм бы я вам уготовил — Шармер! ей-ей! Померяйте, вот сюртучок... (у портного был под мышкой узелок.) Чего вы опасаетесь? Кажется, сукно что на рясе, что в сюртуке,— один дар божий».— «Так-то так...» — «Так что ж! Гляньте, померяйте-ка». Отец Виктор помолчал и с улыбкой пошел примеривать сюртук. Просто *так*, примерить только. Я ушел куда-то. Вечером, часов в одиннадцать, ко мне входит Виктор, но уже обстриженный и в статском платье...

— Видите,— сразу начал он:— так как пострижения еще не было, то по уставам не возбраняется... по крайней мере ничего определенного нет... Если бы я шел по сбору, например,— прибавил он:— я имел бы право заходить в трактиры, в кабаки... Отчего же теперь я не могу быть в воксале, на концерте, на танцовальном вечере?.. Как вы думаете? Недурно сидит?

Сидело недурно.

— Я заказал белый жилет... ведь носят же жилет под рясой; отчего ж их не носить открыто... По крайней мере честно!

За жилетом пошло бритье бороды (на что было взято, однако, докторское свидетельство), нафабривание усов, натягивание перчаток, подыскивание места на железной дороге, не упуская в то же время мысли и о пострижении... Если место выходило, то Виктор Сергеевич говорил: «Хотя я люблю уединение, но уединяться можно и не надевая клобука, не загораживая себя каменными стенами... Бог везде... Да, наконец, велик ли наш кружечный сбор?»— и т. д. Если же надежды на место ослабевали — то речь шла примерно такая: «Да почему же вы думаете, что и в монастыре нельзя быть полезным обществу? Лучше же буду *я*, чем какой-нибудь отставной солдат, постригающийся исключительно ради даровых хлебов и толкующий бедному народу, что сам своими глазами видел дьявола. Во всяком случае я-то уже не скажу этого... Кроме того, предполагаются по-

стройки, и, наверно, будет поручено мне...» Словом, без особенного труда, без особенного соображения, по-русски воспитанный ум его мог являться совершенно готовым на всяк час. Он мне показывал письма разгневанных на его поведение родственников и настоятеля. Какое разнообразие взглядов, убеждений! «Ну, что ты мог бы получить на железной дороге, о которой бес вложил тебе в ум?— писал ему настоятель.— Много-много, ежели ты получишь триста рублей, но заметь— на своих харчах!... Дьявол настолько ослепил твой ум, что ты как бы совсем забыл о дороговизне жизненных припасов, тогда как, идя по духовной части, ты получишь помимо кружечного сбора...» — и т. д. «Враг рода человеческого (писала ему родственница), которому, без сомнения, принадлежат все содеянные тобою свинства, настолько опутал тебя, что ты уж не в состоянии ясно видеть, что карьера твоя должна ограничиться заботою о душе, молитвою, ибо князь Сергей Андреевич, как тебе должно быть хорошо известно, умер два года за границей, а без него, ты очень хорошо знаешь, тебе нет протекции ни в армию ни в штатскую службу... Молись и проси у бога прощения, зная, что на железных дорогах все места заняты и нигде тебе не дадут ничего...»

— Да что же это такое?— воскликнул я, когда, однажды, почему-то вдруг припомнилось мне всё виденное за последнее время.— Где же тут, во всем этом, в этих неокончательных монахах, изучателях народного быта, безбожниках и проч. и проч.,—где тут правда, совесть, могущая в искренности, чистоте и силе потягаться с совестью, например, вышеупомянутого лакея, то слепо верящего в копейку, то слепо идущего завоевать другую веру, когда копейки мало.

ПИСЬМА ИЗ СЕРБИИ

I. НАШИ ДОБРОВОЛЬЦЫ В ДОРОГЕ.

... Пароход из Пешта в Белград * отходит два раза в сутки: в 6 часов утра и в 11 вечера; утренний пароход я проспал; пришлось ждать вечера и кое-как убивать время. Бродя, от нечего делать, по улицам Пешта, городка хотя и не очень многолюдного (я был здесь после Парижа и Лондона), но устраивающегося жить совершенно по-европейски, позволяющего себе даже во внешнем убранстве улиц чисто парижскую роскошь, я тысячи раз невольно спрашивал себя: да неужели правда всё то, что пишут о начавшемся в русском народе движении в пользу славян? неужели правда, что на эти широкие, асфальтовые тротуары Пешта каждый божий день железная дорога высаживает толпы простых русских людей, добровольно отдающих свою голову за угнетенного?.. Я потому задавал себе такие вопросы, что долгое время жил за границею и за границею же прожил весь период возникновения и развития начавшегося на Руси возбуждения; я знал об этом движении из газет, притом на чужой стороне значение русского движения принимало для меня поистине громадное значение по своей, почти невозможной на белом

* Сентябрь 76 г.

свете, *жажде — жертвовать собою чужому несчастью*, которую так необычайно своевольно обнаружил русский человек. Устраивающийся по-европейски Пешт, то есть город, обставляющий свои дома, свои улицы не только всем необходимым или удобным, но и роскошным, прихотливым, поминутно должен был напоминать мне о народе, явно стремящемся к такому неудобству, какова смерть,— народе, находящем «свое удовольствие» в жертве, в трудах и бедствиях войны за чужое, но правое дело; на этом асфальтовом тротуаре, в виду этих великолепных кафе, наполненных народом, оживленно толкующим и думающим о *своих* делах, трудно было верить возможности такой наивной, юношеской затеи целого народа, и вот почему я поминутно должен был спрашивать себя: да неужели всё это правда?..

Можете судить после этого, с каким нетерпением побежал я на железную дорогу, когда часов в 6 вечера в мой нумер вошел еврей-комиссионер * и объявил на ломаном русском языке, что «сейчас приедут пятьдесят *россиянов*». Двор станции был наполнен каретами, колясками и комиссионерами, ожидавшими приезжих; кроме комиссионеров и полицейских, не было никаких других представителей чужой стороны, которые явились бы поглядеть или встретить наших чудаков; правда, они не мешают этим чудакам делать их странное дело, но уж удивляться этому делу и чудакам, которые взялись за него, у них нет времени. Только я один в нетерпении бродил по двору станции и рад был поглядеть на них своими глазами. Добрых пять минут, показавшихся мне пятью часами, прошло прежде, чем затряслась мостовая от въехавшего в вокзал поезда...

«Наши!» — подумал я, и действительно, гляжу — валит сибирка, гиганты-сапоги, узел в дерюге, в два двугривенных картуз... а за первой чуйкой так и хлынули мерлушки, полушубки, узлы и гремящие, как гром, сапоги...— «Наши, наши!»— твердил я себе, глубоко тронутый появ-

* Он был русский солдат, но остался в Венгрии после усмирения.

лением этих неказистых костюмов, этих не очень чтоб выразительных лиц, этих полушубков на европейских асфальтах, в виду этой роскоши и блеска европейского города.

Да, неказист был русский чудак-доброволец, явившийся на чужую сторону: неказист костюмом — все здесь одеваются лучше и красивее его в тысячу раз; неказист лицом и фигурой: волосы у него были подрезаны в скобку, и уж много-много обделаны, то есть словно топором,— на солдатский манер; сбитые в войлок бороды тоже не могли служить иностранцам образцом туалетного искусства; но всё это ничего, всё это исчезало в его чистом желании жертвы, заставлявшем забыть все его внешние несовершенства, притом же вполне понятные: ведь *бедность* у нас на Руси! — Всё это действительно и было бы забыто, если б он не привез с собою, помимо неказистой внешности, еще и других, тоже неказистых вещей! Мне пришлось проехать с партией добровольцев от Пешта до Белграда и видеть их здесь до дня отправления на поле битвы, и если я, с одной стороны, благодаря этому знакомству с разнообразнейшим русским людом, убедился, что русский человек жив, что в нем целехоньки самые юношеские, чистые движения души, то, с другой стороны, я также воочию увидел, как русский человек измучился, как много подломилось в его еще сохранившем добро сердце, как он «измят», изломан и как настоятельно необходимо для него крепко подумать о своем здоровье.

«Партия добровольцев» — это образчик всех классов, всех состояний и всех сортов понимания и развития, живущих на русской земле. Здесь зачастую попадались такие бриллианты искренности, доброты, простоты, самоотвержения, о каких в обыкновенное время никому на Руси не приснится и во сне. Кому неизвестно, например, что такое лавочник, лавочный мальчик, бегающий за кипятком в начале поприща, ворующий гривенники тотчас по вступлении в звание приказчика и обворовывающий хозяина в момент «полного доверия»? Вот этот мальчишка здесь, среди добровольцев, не в лавке, не с чайником; посмотрите же,

какое обилие негодования к неправде было скрыто в нем, скрыто так, что он и сам не знал об этом свойстве своей души; его не пускал в Сербию отец — он побежал топиться; его заперли в чулан — он сделал петлю и хотел повеситься; ему не давали денег — он ушел без копейки. Кто-то надоумил его обратиться в комитет, и там ему помогли выехать. Всю дорогу он только и думал о минуте, когда он будет колотить турок, всю дорогу ни на минуту не переставал расспрашивать каждого встречного и поперечного: «Где теперь драка? бьют ли турок?» По приезде в Белград он просит тотчас же отправить его на поле битвы, негодует до слез на то, что его заставляют ждать, негодует на сербов, про которых рассказывают, что они бегают в кукурузу, и не дерутся насмерть, как хочет драться он.— «Человека грабят, а я смотреть буду?» — говорит он в объяснение своего негодования и ничего другого, никакого другого довода, никакого другого соображения у него нет. Таких субъектов было много в каждой партии; те из них, у кого были средства запастись кинжалами (громаднейшими и острейшими), всю дорогу толковали о саблях, револьверах; по приезде в Белград, томясь скукою и изнывая от ожидания отправки, они не могли ничего придумать, ничем развлечься, кроме всё тех же разговоров и расспросов о том, где самая настоящая драка? где можно драться тотчас, как приедешь? Не случится, с кем можно вести такие разговоры,—опять принимаются за свои ножи, смазывают маслом сабли, просят оттачивать и без того отточенные до невозможной степени кинжалы (решительно понять невозможно, где они откопали эти страшилища!), поминутно надоедая полиции просьбами о подводах — и у всех одно и то же очень простое соображение: «Как же это, человека грабят, а я молчи?»

Были в числе «искренних» также любители, «специалисты драки», которым дорого не столько то, что они идут защищать ограбленного, сколько то, что есть «хороший случай раззудить плечо»; эти не оттачивали отточенного, зная, что и без того отточено хорошо, и не волновались ожидани-

ем подвод, зная, что «успеется», что от его «закуски» (тоже большею частью кинжал громаднейший) не уйдет никакая шельма. Были, наконец, в числе искренних любителей драки просто-напросто необычайные какие-то верзилы, гиганты, невероятнейшие силачи, которых никуда не решаются брать: в артиллерию — не умеет, горяч; в кавалерию — сломает лошадь; в пехоту — тоже не идет, странно как-то взять такого верзилу. Такие страшилища идут без оружия, чувствуя (да и постороннему это видно), что и с голыми кулаками они возьмут свое, что добром от них не отвертится ни один нехристь. Такой гигант-силач не предъявляет никаких объяснений своего волонтерства, кроме своей фигуры,— он идет, потому что куда же деть ему такую гибель силы? Всю дорогу он пьет, не шумит (потому что он сам боится своей силы:— «Боюсь ударить... убью ведь — потом не разделаешься!» говорит он и остерегается), таскает, на удивление всех (с улыбкою, чисто детскою, на лице), сундуки, пудов по восьми, одною рукою поднимает столы и т. д. Тут только силища. Но вообще весь этот род искренних вояк почти ничего не знал: ни что такое Сербия («*называется губернский город Белград*,— сердился один такой-то: — а извозчика не дозовешься!»), ни что такое всеславянство, а просто шел потому, что нельзя грабить человека, и не было у них предела негодованию на грабителя, благо за это негодование не будет ничего худого. С другой стороны, в числе «искренних» были еще и такие, которые надевали мундир только потому, что без него нельзя обойтись, но задачи которых широки и определенны. Были также простые русские люди, жертвовавшие собою «за свои грехи»: «за мои грехи мне назначено,— говорил мне старик-солдат:— вот я и иду!» Были фанатики, люди, покорявшиеся велению свыше, исполнявшие повеление божие, еще до рождения их на свет указавшее им этот подвиг. Один такой, отправлявшийся по повелению божию, всю дорогу постился, не пил, не ел, не отрывал глаз от евангелия. Много, удивительно много чудного, хорошего обнаружила эта сербская история в русском народе, но вместе с

тем должно сознаться, не мало обнаружила она и весьма печального.

До сих пор я говорил об искренних; но в каждой партии добровольцев были и «неискренние добровольцы». Не могу забыть одного чиновника, всю дорогу толковавшего мне «об афере», которую он сделал с «этой Сербией». Он высчитывал мне все выгоды этого предприятия. «Ну, и начальство взглянет — всё-таки в Сербии был... а в случае чего (то есть настоящего дела) можно сказаться и больным. Тем временем и жене идет пенсион, а месяца три протянется — и из эмеритуры выдадут... От комитета получил столько-то, да по званию моему капитана от сербского правительства... вот оно и образовалось кое-что... а там, может быть, и мир!»

При этом слове он весь засиял и, очевидно, ждал, что я приду в восторг от его ловкости, от его уменья всех — и начальство и историю — провести и вывести, купить и продать. Не могу высказать, до чего тяжело было видеть здесь этих представителей всякого вилянья и лганья во имя веры только в прогоны, суточные, двойные какие-то выдачи. Тяжело потому, что по необычайной точности и тонкости отделки этих плутовских дел вы не можете не заключить о том, что явление это существует на Руси, что уже есть породы, которые именно и видят «настоящее» дело и настоящую жизнь только в лытаньи от дела. Я бы мог привести подробности, но боюсь утомить ими читателя. Скажу коротко: в числе добровольцев были люди, видевшие в сербском деле случай положить в карман копейку (точно ли они кладут, я скажу ниже). Но, помимо этих тонких знатоков своего дела, этих прожженных обманщиков, совершавших всё на законном основании, то есть не ехавших из Белграда до последней возможности, управившихся на всевозможных льготах и т. д., были, кроме их, и простые проходимцы и даже просто пьяные люди, с удивлением узнававшие, что они каким-то образом попали в Белград: пьянствовал в Петербурге, пьянствовал в Москве, в вагоне, на пароходе,— и, наконец, очнулся с ружьем и в сербской куртке. Даже и такие были.

Но и те и другие, то есть самые искренние и самые фальшивые из добровольцев,— это только крайности; большинство, масса тоже, при разговорах и расспросах, полагала, что надо сократить безобразника (турка), но не будь ей обещано того-то и того-то, она, пожалуй бы, и не была в Сербии. У всего этого народа, очевидно, было и плохо и неладно в делах: не клеилась ни семейная ни служебная жизнь; весь этот народ был и беден и несчастен и не мог справиться с собою, и надоело биться ему — и вот он сказал себе: «пойду в Сербию, жив буду — ничего, а убьют — *всё один чорт*!» Поистине становится ужасно за это холодное состояние души, которое встречаешь нередко в русском человеке, особенно здесь... Плохо ему было дома, без всякого сомнения; расспросите кого угодно из этих людей об их жизни — всё переломано в ней и исковеркано: жизнь скомкана, растоптана; но всё-таки, как бы она ни была безобразна, там, на родине, у него было на что жаловаться; под хмельком находил он виноватого в жене — и буйствовал, отводил душу; ругал знакомого, злился на экзекутора — словом, имея возможность ощущать ежеминутно неудобства своей жизни, быть может, даже и привык к этой бестолковщине. Я даже собственными глазами видел в Белграде одного русского чиновника, который всегда оживлялся, когда начинались в его делах «неприятности»,— например, когда не заставал дома лиц, к которым у него было дело, когда он в пять дней *не мог добиться* чего-то очень нужного. Попав в эту бестолковщину, он вдруг заговорил, и заговорил довольно умно, браня того и другого, высказывая разные взгляды, забегая помнутно в кафе выпить,— всё второпях, всё «некогда», всё спеша, спеша нарочно даже, с желанием не застать, прийти не во время, чтобы опять роптать. В это время он был боек и разговорчив, лицо и глаза были оживлены. Но вот вдруг всё пошло как по маслу: всех он в одну минуту застал, всё получил — и... весь свет опустел вокруг него! Казалось, ни одной мысли у него не было другой, кроме ропота на «неприятности», «несправедливости», ропота, к которому

теперь не было никаких поводов, и он стал пить (другого не находил занятия), пить зря, без аппетита, без надобности, что-то пытаясь думать, но ничего не говоря, кроме — «всё один чорт!» Не в такой мере, но у многих «средних» русских добровольцев, русских простых людей, замечалось это незнание, неуменье, полная отвычка от того, чтобы быть самим собой как-нибудь иначе, чем в изломанном и изуродованном виде. Переезд через границу, мундир сербского войска, надетый им,— эти два обстоятельства отрезывали за ним всё худое, всё, что его изуродовало, исковеркало, и я с ужасом видел, что больше у него ничего нет, что для него «всё один чорт!» Без глубокой жалости, переходящей иногда в негодование, нельзя было видеть этих мучений человека, который не может, не в силах чувствовать в себе что-нибудь, кроме наковальни для разных «неприятностей».

Помимо неказистого костюма, неказистого лица, наш доброволец принес в чужую сторону и это отчаянное воззрение на себя и на других. Сколько я мог понять, у серба вследствие продолжительного угнетения выработалось нечто другое. Для него, говорю вообще, тоже «всё один чорт», начиная с соседа, но сам он, его «куча» (семья) — это другое, это для него всё. Один долго живший здесь русский характерную черту серба назвал мне «любовью к мужицкому кейфу», любовью к теплу, покою и удовольствию своей норы; он дошел в этой любви к норе, как говорят, до того же почти, до чего дошел парижанин, не считающий благоразумным иметь больше двух детей. Они мешают этому мужицкому кейфу.

Судите сами, какое впечатление на серба, любящего «кучу», должен был производить вновь прибывший брат, для которого — «всё один чорт» и который, напротив, бежит «от кучи», то есть от бездны всей массы условий его личной жизни, условий, которые заставили его находить удовольствие в смерти почти только потому, что «всё один чорт».

Этот-то в обыкновенное время кейфующий и даже изнеженный серб вдруг, в военное время, когда он сделал небывалую попытку, когда он решился оставить «кучу», когда у него умирают родные и знакомые на войне, стало быть, когда он грустен, огорчен, печален, испуган, словом — когда он вконец расстроен непривычным положением,— на каждом шагу встречает проявление нашего «наплевать!», этого неизбежного результата тысячи условий нашей жизни, и я никак не думаю, чтобы эти встречи действовали на него благоприятно. Сербам на каждом шагу приходилось видеть людей, не уважающих ни себя ни других, ни бога ни чорта.

В октябре 76 г. военный министр собрал всех русских волонтеров и просил их не заживаться в Белграде, уезжать в армию, не дожидаясь ни обмундировки ни оружия. Эту просьбу объясняли именно начинавшимся раздражением в белградском населении против таких поступков, в основании которых лежит принцип: «всё один чорт!» То-то и обидно, что всё это делалось невольно, «ни с того, ни с сего», единственно только оттого, что человек не знает, что значит чем-нибудь дорожить в себе самом. То-то и горько, что человек не дорожит ничем в себе, бросает самого себя во всякую опасность, потому что — «всё один чорт!», «наплевать!»

Право, я не знаю ничего трогательнее зрелища похорон такого русского добровольца. Эти самые улицы, по которым с музыкою и провожатыми несут его, были свидетелями его ежеминутных доказательств, что для него — «всё наплевать!» Ходил он тут и шумел, и дебоширничал, и безобразничал, удивляя всех и вся своим презрением к себе,— и вот умер, умер на поле битвы за правое дело. «Бедный человек!— подумал каждый при виде этого зрелища:— сколько в тебе было добра, если и изувеченный, доведенный до того, что тебе стало *всё один чорт*, ты всё-таки нашел в себе силу так благородно умереть!..»

II. НАШИ ДОБРОВОЛЬЦЫ НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ.

«Здешних», местных, причин, дурно влиявших на русского добровольца, было многое множество. Решаясь пти на смерть, русскій доброволец хотя и имел полное право утверждать, что для него «всё один чорт», но сознание, что это дело приносит ему «во всяком случае» «непременно» *честь*, играло в его решимости едва ли не такую же значительную роль, как и его изломанное прошлое. Так вот одна из первых причин множества неудовольствій, наполнявших сердце русского добровольца, состояла именно в том, что на первых же порах по прибытии сюда доброволец не находил почти ничего, что ласкало бы его самолюбие; дома, в Россіи, он в последние дни перед отъездом привык считать себя выше других, привык получать похвалы и восторги, пил, сколько хотел, и т. д. Этого же самого ожидал он в глубине души и подъезжая к Белграду, к Сербіи — и, к удивленію своему, ничего такого не находил; Белград не делал ему никакой «шумной и крикливой чести»... Доброволец как-то забывал, что Белград не только не «продолженіе» его торжеств, начавшихся в Россіи, но, напротив, полнейшее и решительнейшее их прекращение; забывал, что именно с этого пункта его путешествия и начинается «служба»,

«подвиг», «жертва», на которую он шел добровольно: забывал, что здесь лазареты наполнены ранеными, что здесь то и дело хоронят убитых, что здесь всё задумчиво и озабоченно и что, следовательно, нет никакой возможности требовать, чтобы так уныло настроенный город каждый день являлся на пристань и орал «живио» и делал бы угощения, овации... Ничего этого доброволец не принимал в соображение, полагая, что в Белграде, напротив, для него будет устроено нечто гораздо более забористое, чем то, что было устроено в Москве, в Саратове, в Харькове. Мало того, нередко даже обижался, если слышал, что ему, например, придется жить в *казармах*.

— Как в казармах?— удивляясь и негодуя, восклицал иной доброволец из благородных или состоятельных.

— Да так, в казармах, как все.

— Я-то?

— Ты! А что же ты такое?

— Да если они только посмеют упрятать меня в казармы, так мне чорт их возьми и с Сербией!— сейчас уеду назад... Чтобы я со всякой сволочью...

— Да ведь ты волонтер или нет?

— Ну, волонтер!

— И вот этот солдат — волонтер...

— Нет, разница!

— Никакой разницы нет...

— Нет, уж извини, большая разница!

— Никакой нет разницы,— ты теперь солдат, и он солдат... Какая же разница?

— И очень большая разница! Он свинья, а я...

— А ты что?

— А я со свиньей не хочу быть вместе, вот и всё! Чорт их возьми! в казарму?! Я еду на свой счет...

— Да ведь ты в солдаты идешь-то? Ведь ты солдат — ну, и иди в казармы... бери ружье!

Многие поистине с удивлением узнавали, что между одним солдатом и солдатом другим, третьим — нет никакой

разницы в правах и обязанностях и что быть волонтером — значит быть солдатом, значит переносить все трудности военной жизни. У иных, повидимому, образовалось представление о волонтере, как о существе, решительно ничем, никому и ни перед кем не обязанном: иному казалось, что раз он пошел в волонтеры, так это значит, что он получил право отклонять от себя какие бы то ни было обязанности, пользуясь, напротив, всевозможными правами.

— Я волонтер!— кричал один доброволец на начальника партии, к которой он был причислен: — мне никто не имеет пр-рава приказывать.

Многие из этих господ, свирепствовавшие все три тысячи верст своей дороги, полагали, что всё это «еще не то», не настоящее, *так*, от скуки, «в дороге», а что вот в Белграде — так там уже только держись, что начнется... А в Белграде-то именно — всё это и прекращалось.

На пароходной пристани при встрече добровольцев обычно не бывало никакой толпы, ни криков, ни оваций. Захлопотавшиеся члены «Красного Креста» почти молча вели прибывших добровольцев в небольшой домик, построенный на берегу, отделяли офицеров от рядовых, складывали вещи тех и других на полу и рядовых уводили в казармы, а офицеров в гостиницу — но тоже пешком. Наши ждали извозчиков, даже не простых извозчиков, а каких-то княжеских карет, в которых их повезут по трактирам и гостиницам, а тут иди пешком по темному, мертво спящему, плохому городу, по плохой мостовой, напоминающей наш уездный город, в такие гостиницы, где не только ничего не достанешь в такую пору (ночью), но и не достучишься — все спят и, повидимому, ухом не ведут, что приехали какие-то великолепнейшие люди.

Такой сухой прием, крайне неприятный тем, кто рассчитывал в Белграде «развернуться», вообще довольно уныло действовал на всякого русского. Уныло действовал и самый вид этого небогатого городка и эти похороны с музыкой, встречаемые почти тотчас же по приезде... Вся веселая сто-

рона волонтерства была уже изжита в России — здесь приходилось сейчас же браться за дело, и русскому становилось с первых же дней скучновато в Белграде: так был резок переход от ожидания дела к самому делу, к его сухой, прозаической стороне. Всем без исключения — и искренним и неискренним добровольцам — было скучно. Одни начинали поднимать свой дух возлияниями, результатом которых оказывались скандалы и всевозможные безобразия, другие рвались поскорее в армию, и вот тут-то, как на грех, сейчас и являются те местные затруднения, о которых я намереваюсь поговорить в этом письме.

Всякому русскому добровольцу необходимо было сделать в Белграде три дела: одеться в сербскую форму, получить оружие и затем вытребовать себе колу (подводу), чтобы уехать. Кажется, вещи нехитрые; но посмотрите, сколько тут являлось затруднений и всяческой путаницы, как мало было сделано для того, чтобы облегчить эти очень простые дела. Обыкновенно на одном пароходе приезжало несколько небольших провинциальных партий, вверенных славянским комитетом одному какому-нибудь лицу: лицо это было обязано заботиться об этой партии и руководить ею в Белграде, которого оно также не знало, как и любой отставной солдат-волонтер, находившийся в его партии. По прибытии партии ее размещали по казармам и по гостиницам, в каждой по нескольку человек,— в одной три, в другой семь, и т. д. Начальник партии также помещался в той гостинице, где есть пустая кровать. В результате выходило то, что ни начальник не знал, где его партия, ни партия не знала, где ее начальник. Проснувшись в гостинице, добровольцы начинали ходить по незнакомому городу, искать своих товарищей, а товарищи тоже искали их, совсем по другим местам и улицам; в то же время и начальник партии также бегал, разыскивая своих и, встречая их случайно на улице, в кофейне, где одного, где двух, решительно не мог добиться видеть их всех, чтобы всем одновременно объявить — что им надо делать. Большинство добровольцев, таким образом,

бороздило город безо всякого дела по разным направлениям и от нечего делать брело туда, куда им посоветует итти первый встречный. «Идите, господа, к министру»— и пойдут гурьбой, человек в пять-шесть, к министру, где им, разумеется, скажут, что не имеют о них никакого понятия. Скажет кто-нибудь: «идите в славянский комитет»,— пойдут туда, и там тоже скажут им, что ничего неизвестно... Так шатается вся партия по министерствам и комитетам, никого не находя и ничего не добиваясь; иным это приходилось «по натуре», как я уже и писал, но большинство утомлялось этим; помотавшись день, утомишься скукой, волей-неволей займешься «сатликом вина». Примите во внимание, что этот самолично, но бесплодно добивающийся и ищущий места, откуда отправляют в армию,— этот народ из тех, кто хотел дела, кто рвался к нему. Один день такой бестолочи неприятно действует на него, раздражает; не знать языка, не знать цены и названия денег, не уметь спросить поесть, расспросить дорогу,— всё это только усиливало раздраженное состояние духа, потому что поминутно заставляло человека чувствовать свое одиночество, свою заброшенность на чужую сторону, где никто не обращает на него внимания, никто не заботится о нем...

Понятно, что простой, не умеющий себя сдерживать человек (к тому же иной раз остававшийся без еды по целым суткам, благодаря чьей-нибудь оплошности) невольно должен был возроптать и на сербов и на своих. В то же время и министерства и комитеты не знали ни дня ни ночи покоя от этих посещений растерявшихся по городу добровольцев. По целым дням, таким образом, люди изнывали в беспрерывной ходьбе, в беспрерывном незаставанье, в неизвестности, что с ними будет, когда их ушлют в армию и куда.

Результатом такого порядка дел были толпы ропщущих добровольцев, тысячи неприятностей жителям города, сербам.

— Мы за вас, за каналий, кровь пришли проливать, а ты обсчитываешь? Мошенник!..

— Да на много ли он вас обсчитал?

— Чорт его знает, на сколько! Я знаю, что много... С Андреева он взял вчера две вот таких (показывает деньги), а с меня — вон какую кучу!

Рассмотрев и «вот такие» деньги и те, которые платил Андреев, вы увидите, что деньги эти разные, одни австрийские, другие сербские; по-сербски взята куча, а по-австрийски маленькая штучка — в сущности же взято с нашего негодующего добровольца как раз столько же, сколько и с Андреева.

— А чорт их знает, какие там у них, у подлецов, деньги!

Результатом этой бестолковщины являлась очень часто встречавшаяся фигура русского добровольца из простых, то есть живущих в казармах, которая ко всякому встречному обращалась с просьбой дать ему хотя один динар.

— Обещали мне выдать по приезде, а ничего нет! Думал послать жене, а теперь вот хоть самому умирать. Ну уж будет нашему брату, что вспомнить! Кабы знато да ведано.

Он, конечно, получит то, что ему следует (все получили!), но покуда это случится, покуда он случайно наткнется на человека, который получал сам и знает, как это делается, он в отчаянии, в негодовании, он ропщет и бранится и увеличивает собой толпу людей, точно так же ропщущих, недовольных, которые, запутавшись в этой бестолковщине, с тоски и с горя пьют, а в пьяном виде, с тоски и горя, делают бог знает что. Но это еще не всё.

К числу элементов, портивших кровь и дух русского добровольца на чужой стороне, следует отнести также беспорядочность в выдаче обещанных разными комитетами денег.

Один из добровольцев, например, всю дорогу рассчитывал, что столько-то рублей он пошлет матери, столько-то оставит себе. По приезде же оказалось, что из денег, которые он должен получить, ему ровно ничего не следует, или же причитается такая сумма, которую можно только пропить. Такие случаи встречались поминутно: «обещали сто рублей, а дали грош»— фразу эту я слышал очень и очень часто.

Повидимому, кто-то что-то такое обещал; быть может, об этих ста рублях доброволец слышал и не в славянском комитете, а где-нибудь в кабаке от случайного знакомого, не имеющего о деле никакого понятия, тем не менее слуху этому человек верил и, может быть, только веря ему, и пошел в добровольцы; когда же все мечты его оказались вздором, он, разумеется, не задумываясь, возвестил повсюду, что его обманули.

Усилению этих финансовых недоразумений много способствовало также и то, что провинциальные комитеты наделяли отправляемых имп добровольцев неодинаково: одни давали на руки, положим, по сту рублей, другие—по тридцати; одни давали на дорогу по рублю, другие — по тридцати копеек. Почему один получает больше, другой — меньше, хотя и один и другой одинаково оба отставные солдаты и одинаково служили по 25 лет и теперь одинаково едут умирать рядовыми,— наш доброволец понять не может, да и не хочет: «Тут,— думает он,— все равны, отчего же ему больше, а мне меньше?» Очевидно, кажется ему, что тут какой-то обман или несправедливость,— и ропщет. Бывает еще и так, что в одном и том же отряде люди наделены неодинаково: так, я ехал с добровольцами одного провинциального отряда и слышал жалобы на то, что вот мол пятерым выдали одеяла, а четверым — нет, а купечество мол выдало на всех. Такой беспорядок поселяет личную рознь и неудовольствие даже между людьми одной и той же партии, и действительно, редко можно встретить такую партию, где бы добровольцы не препирались всю дорогу друг с другом, именно из-за этих бесчисленных недоразумений и недосмотров власть имеющих.

И опять-таки это еще не всё...

Как видите, читатель, лицам, власть имеющим, было о чем позаботиться и что делать. Дела много, дела самого настоящего. Если б даже был устранен весь беспорядок делавшихся здесь дел, то и тогда, и при полном порядке, их хватило бы на всех по горло. Так вот — нет же! К этому

запутанному положению вещей поминутно присоединялись так называемые на Руси «неприятности», то есть совершенно ненужные и совершенно неуместные претензии, придирки, дерзости и т. д., на которые «и здесь», то там, то сям, поминутно натыкался не только русский, но и сербский доброволец...

— Вы почему же это, господа, не кланяетесь мне?— заявляет вдруг некоторое русское лицо, входя в столовую, где обедают русские же доктора. Любовь некоторых наших соотечественников, преимущественно «власть имеющих», итти наперекор делу и привычка усложнять его вздором или дерзостью, совершенно ненужною, поминутно заставляла «не добром» поминать русскую чиновничью школу. Слухи насчет этих ненужных деяний ходили в громадном количестве. Рассказывали о волонтере, просившем отправить его в Россию, человеке крайне больном, который, в ответ на свою просьбу, получил такое изречение: «взял деньги — так служи!» Я исписал бы несчетное количество листов бумаги, если б захотел передать всё, что говорили, что ходило в кругу добровольцев по поводу бывших здесь порядков, но довольно и этого. Не спорю, всё это, может быть, и вздор и ложь; для меня важно то, что все эти, быть может, ложные и вздорные слухи ходили в кругу добровольцев, принимались ими к сведению, влияли на них, на их состояние духа, раздражали их. Если вы дадите себе труд сосчитать всё, что перечислено мной, в объяснение дурного состояния духа русского добровольца, то, надеюсь, поверите (приняв во внимание, кроме того, и его жизнь дома), что, садясь в «колу», чтоб отправиться в армию, он не мог хотя на минуту не подумать о том, что «хорошо было бы теперь воротиться домой!»

III. ОТ БЕЛГРАДА ДО ПАРАЧИНА И НАЗАД.

19-го октября на измученных, истомленных противоречивыми известиями, получавшимися каждый день из армии, жителей Белграда точно громом грянули невеселые известия об оставлении Джюниса. Погода числа с 15-го из теплой и ясной круто изменилась в холодную и дождливую; резкий ветер, слякоть и холод (на котором в это время лежали в Топчидере раненые) вместе с неудачной войной сделали пребывание в Белграде весьма тягостным. У многих явилась мысль тотчас отправиться к Делиграду и своими глазами «посмотреть»— что же это такое там творится? В числе таких желающих был и я. Х — в, известный русский купец-путешественник, собиравшийся уехать в Делиград на следующее утро, предложил мне ехать с ним, чем я и воспользовался; доставать «объяву» на право получения почтовых лошадей и дожидаться этих лошадей при страшном разгоне по дню и более — дело скучное и надоедливое; у Х — ва же была какая-то особенная объява, по которой ему должны были выдавать лошадей немедленно. Решено было выехать на другой день, 20-го рано утром.

В 9 часов утра лошади уже были готовы, и, несмотря на дождь и грязь, мы тронулись в путь. Сербскую природу

и виды сербских городов и деревень, без сомнения, описывали столько раз, что я уже и не буду пытаться говорить о моем восхищении и людьми, и природою, и жилищами. Довольство, поистине незнакомое никому из русских, даже хорошо знающих Россию, даже имевших возможность видеть деревни «зажиточные»,— довольство, виднеющееся здесь повсюду,— вот что сразу и на первых порах поражало русских. Нигде, ни в России ни за границею, не приходилось видеть мне такого равного благосостояния, простора, достатка. Везде капризно разбросанные каменные белые дома, построенные просторно, весело, в зелени, в садах; везде большие прочные амбары, риги, точно маленькие помещичьи усадьбы. Можно с уверенностью сказать, что никто еще из русских, живших здесь и писавших о Сербии, не знал ни Сербии ни сербов; но и самые ярые противники сербов соглашались в том, что благосостояние их не подлежит никакому сомнению; иные «из сердитых» говорили даже, что сербы слишком богаты, слишком зажирели, заелись, и что не мешало бы поспустить с них жиру. Действительно, серб нежен, даже изнежен, нервен, капризен. Зарычать на него, оборвать, окрестить хорошим русским словом — значит заставить его упереться, заартачиться; к несчастью, этот последний способ понуждения к исполнению требований очень широко практиковался здесь нашими соотечественниками и сильно вредил им во мнении сербов.

Недолго пришлось нам любоваться природой и довольством; со второй станции нам стали попадаться плохо одетые, видимо недовольные и неохотно направляющиеся в армию группы новобранцев последнего призыва. О выступлении в поход было объявлено только день тому назад, 19-го октября. Часов в 5 вечера, когда начало уже темнеть, по Белграду в разных направлениях ходили барабанщики и барабанным боем созывали рекрут, читали им распоряжение военного министерства о немедленном вступлении в армию. Это 19-го вечером, а 20-го утром, часов с 2-х дня, мы уже встречали этих новобранцев на пути, верстах в 30—35 от

Белграда; чтоб пройти такой путь пешком, надо было выступить из Белграда в тот же день ночью,— можете судить по этому факту, точно ли правда то, что говорилось о сербской лени и неповоротливости.

Весь этот двигавшийся по размытой дождями дороге народ, очевидно, ушел, в чем был, не успев запастись теплым платьем, необходимой обувью и провизией; иные из городских мастеровых шли просто в одних сюртуках, довольно таки плоховатых, в обыкновенных городских уже промоченных и хлебающих грязь сапогах; тут были действительно все возрасты: и старики, явно дряхлые, больные, и мальчики, почти дети, иные моложе даже 20-ти лет. Некоторые из них уже успели получить оружие, и некоторые, слишком юные и слабые, изнемогали под тяжестью старого кремневого или пистонного ружья. Один такой мальчик, буквально изнеможенный, больной, весь в жару, плохо одетый и плохо обутый, до того разжалобил нас своим видом (он не жаловался никому ни на что), что мы упросили его возвратиться в Белград в русскую больницу,— что он и сделал после продолжительного раздумья.

Кстати сказать здесь два слова о больных, которые не ранены.— Вследствие холодов, недостатка одежды и дурного помещения (на позициях под Зайчаром сербские войска, в числе которых было много и русских добровольцев, двадцать четыре дня стояли под дождем и спали на голой земле, не имея другой одежды, кроме шинелей) количество больных внутренними болезнями увеличивалось с каждым днем в громадном количестве, и госпитали, находившиеся в Белграде, решительно отказывались принимать их, так как были завалены ранеными. Куда было деваться этим больным? Вы поминутно встречали на улицах Белграда добровольцев, еле передвигавших ноги, перебираясь из одного госпиталя, где его не приняли, в другой, где тоже не примут. Масса больного народа, из которых иные страдали лихорадкой, иных же мучили ссадины от кавалерийской езды, от седла, ссадины, превращавшиеся в громадные раны, люди про-

стуженные, кашляющие — всё это оставлялось на произвол судьбы и только по случаю попадало в госпиталь; большею же частию такой больной народ без всякого призора и внимания валялся где-нибудь в холодных казармах, леча себя собственными средствами, прикладывая к ранам и ссадинам всякую дрянь, или даже на улице, охая и трясясь от боли, перевязывал грязные, покрытые гноем, тряпки, которыми были обвязаны раны. По дороге от Белграда до Парачина поминутно встречались эти несчастные, громко вопиявшие о помощи, причитывая о своей двадцатипятилетней службе богу и государю, о своих страданиях на позиции и о том, что вот болен, и нигде не принимают, и есть нечего. Действительно, людей — из русских, у которых нет ни копейки, которым буквально есть нечего — встречалось по дороге (и туда и назад), и особенно в Белграде, великое множество. Шли они, сами не зная куда и зачем, проклиная свою судьбу и Сербию и жизнь свою распроклятую.

Дождь и ужасный холод заставили нас остановиться на одной из станций и ночевать, то есть три или четыре ночных часа продрожать в холодной, нетопленной комнате почтовой станции. Всё это время с дороги доносился скрип телег, к свету превратившийся в непрерывный рев колес и голосов. Тронувшись в путь, мы узнали, что навстречу несчастным новобранцам, направлявшимся к Делиграду, идут из-под Делиграда и Алексинца внутрь страны массы семей, выбирающихся из сожженных турками деревень; из расспросов оказалось, что, несмотря на перемирие, черкесы в полную волю хозяйничают и грабят в оставленной войсками стране. «Турци! турци!»— отвечали некоторые из бежавших и показывали на горло, как бы говоря: «режут». Переселявшийся народ был в самом жалком виде; видно было, что он действительно «бежит», хорошо не зная еще «куда» и захватив с собою всё, что первое попалось под руку, иногда совершенно ненужное и не ценное, например — дрова, кукурузную солому. Из этой соломы торчали детские головы, плохо прикрытые, а иной раз (и очень, очень часто) совсем

не одетые, мокрые от дождя и синие от холода лица. Переселенцы эти вообще представляли раздирающую душу картину, хотя и плелись молча, не говоря ни слова, еле передвигая усталые ноги. С каждым шагом далее нашей почтовой тележке (коле) становилось труднее подвигаться вперед; к шедшим в Делиград и переселявшимся оттуда стали всё чаще и чаще присоединяться группы солдат, возвращавшихся тоже из Делиграда. Боже милосердный, в каком были они виде, что был за костюм, что были за лица — зеленые, бледные, отеклые, обернутые тряпками! Буквально еле двигались они по глубокой грязи, в истрепанных мокрых опорках; почти в клочья изодранные военные шинели, от которых не осталось ничего, кроме лохмотьев и дыр,— вот, примерно, внешний вид возвращавшихся из Делиграда воинников. Один этот поистине нищенский костюм, весь мокрый, запачканный грязью, говорит вам, сколько они перенесли трудов, пережили трудных дней, а больные, зеленые лица говорили, кроме того, о страданиях, лишениях, болезнях. Плелись они буквально еле-еле, шаг за шагом, и иной раз нельзя было не заметить, что этим измученным людям не по силам даже такая тяжесть, как ружье, которое он несет на плече и которое гнетет его и гнет к земле.

Кофейни, попадавшиеся на дороге, были буквально переполнены народом, большею частию солдатами; всё это мокрое, рваное, без копейки в кармане, больное или заболевающее, теснилось к огоньку погреться, чтобы опять плепать по грязи и мокнуть на дожде. Среди такой-то безотрадной обстановки было поистине удивительно встретить двух россиян, которые как будто совсем не замечали, что тут такое делается. Это были певчие, тоже возвращавшиеся в Белград. Спокойно сидели они у столика в одной кафане, пили вино, говорили о своих делах.

— Вот часы выменял...— говорил один басом.

— Много ли дал?..

— Сам взял придачи дукат.

Рассматривают часы, хвалят.

— Куда вы едете?

— Да вот, *велено* здесь ждать!— весело, точно дети беспечные, отвечали басы — и, казалось, *ждать* для них — уже само по себе препровождение времени.

— Вот оцените часы, господа!

Точно никакой толкотни, ничего возмутительного, словом — *ничего* ровно кругом их не было, так были они спокойны, так спокойно попивали винцо и говорили о своих делах.

Ближе к Парачину поток людей, стремившихся туда и оттуда, шел буквально во всю ширину дороги. Целые ряды телег, запряженных волами и нагруженных разным скарбом, плелись в глубокой грязи по краям дороги; стада свиней и овец, которые переселенцы вели с собой, заставляли нашу колу поминутно останавливаться, и последнюю станцию, от Чуприи до Парачина, всего верст восемь-девять, мы ехали по крайней мере часа два, и с каждым шагом вперед, в эту всё более и более беспорядочную массу людей, телег и животных, терялась и потребность и возможность сообразить—что такое это творится? Лошади шли и люди плелись туда, куда их вели ноги, словом — всякий двигался туда, куда его двигали, чувствуя, что ни соображать ни хотеть поступить так или иначе для него нет возможности. Такое поистине бессмысленное положение увеличилось во сто раз, когда мы, наконец, въехали в самый Парачин. Здесь волны народа, направшего в Парачин со всех сторон, бурлили как в омуте, и никто не знал, куда итти, что делать, куда ехать, а ехал, погоняя лошадь, и шел туда, куда его несло... Не думайте, что в этом омуте, в этой толкучке участвовало что-нибудь вроде страха или раздражения — ничего подобного не было; была потеря всякой возможности о чем бы то ни было думать, что-нибудь чувствовать или о чем-нибудь говорить: стоит человек, стиснутый со всех сторон толпою, и ровно ни о чем не думает, словно чего ждет: толкнула его толпа, которую толкнула телега,— пошли.

и стоявший тоже пошел, и идет до тех пор, пока другая толпа не повлечет его назад. Терялось даже сознание, что надо есть, спать: всякий вспоминал об еде, наткнувшись на съедобное, о сне вспоминал только тогда, когда ноги заносили его куда-нибудь в совершенно чужой дом, в чужую комнату, к чужой постели...

Представить всю стихийность этой наполнявшей Парачин толпы я не берусь. Добрые пять часов по приезде в Парачин находился я в этом удивительном состоянии — без всякой воли и желания двигаясь то туда, то сюда, ничего не желая и ничего не видя. Только случайно занесенный в какую-то комнату, где была толпа русских, я стал приходить в себя и задумался о своем приезде в Парачин. Когда я ехал, мне что-то было нужно; теперь я решительно не мог припомнить, зачем я приехал, что мне нужно и что такое творится.

В холодной комнате, наполненной табачным дымом, вокруг стола с бутылкою «лютой ракии» и остывшим куском баранины, заседали почти в тупом молчании несколько офицеров; поминутно входили новые, совершенно незнакомые люди, которые садились на что попало и молчали. Каждый из вновь прибывших, усевшись на каком-нибудь чемодане, продолжал сидеть на одном месте час, два, три — словом, бесконечное число часов, ничего не говоря и, повидимому, ни о чем не думая. Никто не знал и не мог знать, зачем он здесь и куда пойдет отсюда. Если бы была возможность, я тотчас бы уехал из Парачина куда глаза глядят,— так с каждой минутой становилось тягостнее это бессмысленное положение.

Ужас объял меня, когда я вместе с другими поздно вечером вышел на улицу; темь была непроглядная, грязь — непроходимая; масса народу, людей конных и пеших; масса телег, скота продолжала наполнять улицу так же точно, как и утром. Всё это шло и ехало взад и вперед, натыкаясь и толкая друг друга. Слышались ругательства, в грязи валялись пьяные добровольцы и проклинали свою участь.

«И вот награда! И вот (крепкие слова) награда! Ах, вы (опять крепкие слова)...»

—«Арестовать его, каналью!»— слышался в темноте начальнический голос тоже с приправою русских слов... Нужно сказать, что, раз выйдя из тупой апатии, всякий делался зол и раздражителен. Таких озлившихся людей в обезмысленной толпе к вечеру было великое множество: всякий, кто вышел из себя, принимался отдавать приказания, арестовывал, ругался... Но и арестуемых, напившихся мертвецки, было тоже великое множество... В гостинице, где более всего столпилось народу (посреди Парачина, близ главной квартиры), слышался рев и визг: какого-то офицера, всего красного от злости и от лютой ракии, связывали и тоже хотели арестовать; он стрелял из револьвера в кого попало и колотил, кажется, тоже кого попало. Пьянство, холод, скука, злость, глупость, голод, дождь — всё это спутывалось в нечто поистине невыносимое, мучительное до последней степени. Передать это мучительное состояние так, чтобы оно было вполне понятно читателю, я, право, не берусь. Бежать, вырваться на свет божий из этой тьмы кромешной— вот было единственное желание всех волею-неволею сбитых в кучу в такой маленькой деревушке, как Парачин. Ниоткуда не было видно никакой надежды, чтобы кто-нибудь пришел и помог разобраться, найти что-нибудь, уяснить, что будет, что надо делать... В штабе, в квартире главнокомандующего, говорят, шла такая же свалка. Являлись за наградами. «А мне-то? Этому подлецу даете, а мне?»

Чем свет, продрогнув ночь в холодной собе (комнате), отправился я искать колу, чтобы ехать назад. Я потом раскаивался в таком поспешном отъезде, но это было уже тогда, когда я выехал и очнулся от ужасного впечатления. Находясь в Парачине, ничего другого, кроме желания уйти отсюда хотя к туркам, куда угодно,— ничего другого чувствовать не было ни малейшей возможности.

Лошади по всей дороге заезжены и разбиты совершенно. Передавать, что было за мучение эта тиранская езда,

тоже невозможно. Судите, что должны были испытывать раненые, которых также великое множество ехало по дороге к госпиталям, расположенным в Ягодине, Семендрии и т. д. Может быть, со временем, я найду в себе силы хладнокровно передать впечатления этих дней, но тогда этого невозможно было сделать. Тогда можно было только хвататься за голову и желать уйти из этого омута.

Между прочим опять пришлось встретить певчих. Сидят на какой-то станции вокруг столика, пьют, разговаривают...

— Куда вы?

— Едем в Семендрию, оттуда, *говорят*, на пароходе повезут.

— Как же вы сюда-то добрались?

— Попался мужичок, дал свою лошадь.

— Добровольно?

— Да, хороший человек, довез.

— А отсюда-то?

— Ждем вот... Доставят!

— Доставят?..

И не скучают, не скучая «ждут», попивая винцо.

Точно манна небесная такие физиономии среди этого ужасного пути.

В Семендрии все гостиницы были битком набиты народом, ожидавшим парохода. Кое-как мне удалось найти кровать на одну ночь за 5 динар; в комнате спало, кроме меня, еще два серба; я пытался разговаривать, но ни один из них не ответил мне ни одного слова, и я очень понимаю и вполне извиняю эту грубость и невежество.

Наконец-то мы дождались парохода. Все тут собрались, все великие и малые деятели, все знаменитости, герои войны и «сундучка», и всем было нехорошо и неловко.

Певчие также ехали на пароходе. X — в повелительном наклонении петь. Они уселись на палубе, на ветру, и отличными голосами запели какую-то малороссийскую песню. Пели превосходно.

— «Перинушку», «Перинушку»!— просили их, и они немедленно спели и «Перинушку». Толпы русских и сербских

оборванных добровольцев с удовольствием слушали строй-ное пение. Наконец, они спели «Боже царя храни». Всем страстно захотелось поспеть в Белград; по мере приближения пассажиры выбрались на палубу. Дунай был удивительно хорош при закате солнца... Какая гибель птиц налетела сюда! уток... нырков... Наконец, вот и Белград! Было совсем темно, когда мы приехали. Вся набережная была полна народа. «Ура! живио!..» — доносилось оттуда на пароход. И всё-таки было и больно и нехорошо на душе у всех.

IV. ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ.

I.

По заключении перемирия ни для кого не было уж тайной, что скоро последует и настоящий мир. Множество народу разом хлынуло назад в Россию, а остававшиеся в Белграде волей-неволей должны были присутствовать при неприятном процессе ликвидации всевозможных непорядков и недоразумений, накопившихся всюду и везде, во всех и каждом!.. Наряду с «отместками» за старые обиды, — отместками, иногда принимавшими размеры буйных свалок в кофейнях,— наряду с всевозможного рода ропотом, раздававшимся на всех и на вся, и притом повсюду,— кое-как, из пятого в десятое, шла сдача дел старыми уезжавшими начальниками новым, с раздражением и неохотою принимавшимся за испорченное дело. Писались отчеты, и как писались!

— Пишите,— говорит, например, составитель «такого» отчета фельдшеру, сидевшему с пером в руке.— Пишите: ножей пятьдесят.

Фельдшер пишет.

— В Чуприю — тридцать.

Пишет.

— В Иваницу — тридцать.

— Ведь это шестьдесят выйдет,— возражает фельдшер.

— Как шестьдесят? Ах да. Ну пишите так: в Чуприю— двадцать, в Иваницу — десять, в Прнявор... ну, хоть... штук восемь...

— Это вы так-то отчет составляете?— в изумлении спрашивает фельдшер, молодой впечатлительный человек.

— Да как же иначе-то? Я знаю, что столько-то ножей дали, а куда — могу и ошибиться... Пишете: доктору Д. клеенки тридцать аршин.

— Ну уж этого я теперь писать не стану!

— Отчего?

— До ведь я сам получил клеенку для доктора Д. и очень хорошо помню, что получено только десять аршин.

— Ну, пишите хоть и десять; я двадцать поставлю в Чуприю...

— Это чорт знает что, а не отчет!..

— А вы думали, в самом деле, что ли, я должен о каждой тряпке беспокоиться? Как же! Чорт с *ним* совсем, я *ему* такой отчет составлю, что сам чорт не разберет...

Тут есть, как видите, какой-то *он*; не общество, не общественные обязанности и деньги, а какой-то *он*, у которого утаскивают все эти ножи и клеёнки и которого обмануть даже прямо следует.

Наряду с таким составлением отчетов и получением наград шло получение денег на проезд, пособий, вспомоществований и жалованья. Получали все (по крайней мере офицеры), и — сколько я знаю — получили действительно всё до копейки, за все месяцы, и за проезд, и за приезд, и за отъезд,— и всё-таки на белградских улицах поминутно встречались разного звания добровольцы, которые на каждом шагу обращались к вам с такими вопросами:

— Вы русский?

— Русский.

— Скажите, пожалуйста, где раздаются деньги?.. Я офицер... Нельзя же так!..

Или так:

– Вы русский, кажется?

– Русский.

— Скажите, пожалуйста, не знаете ли, не раздают ли где-нибудь денег?

— Где-то раздают.

— Где? Вот именно этого и не добьюсь! Я знаю, что раздают: быть этого не может. чтобы не раздавали. А где? Скажите, ради бога!

Иной раз наскочит на вас где-нибудь на улице или в кафане до последней степени раздраженный человек и прямо возопиет:

— Да нет ли *каких-нибудь* денег, чорт возьми эту Сербию!

В конце концов, однако, можно сказать не ошибаясь. что получили решительно все и решительно всё, что следовало. Даже и те из добровольцев, которых прямо надо считать людьми состоятельными, богатыми даже, и те получили и жалованье, и пособие на проезд, и по даровому билету на каждого из этих богачей. Была ли какая-нибудь «раздача» каких-нибудь денег простым добровольцам, солдатам,— не знаю. Знаю, что *на руки* им денег не давали, а чтобы во время дороги скрывать их от глаз Западной Европы, чтобы не дать пищи насмешкам над русским некультурным человеком, их отправляли отсюда на баржах, прицепляемых к пароходу, как обыкновенно возят лошадей, телят...

II.

Пора было уже и мне собираться домой, а собираясь покинуть чужую сторону, чтобы возвратиться на родину, я невольно раздумывал и о родине, и о чужой стороне, и о «старшем брате», и о младшем. «Вот теперь,— думалось мне,— на дворе стоит ноябрь, даже конец ноября, а этот младший брат живет в тепле и приволье: «припадок» зимы, случившийся в октябре и продолжавшийся несколько

дней, прошел; теперь, в конце ноября, с 11 часов утра, смело отворяйте окна, и комната будет тепла от настоящего солнца, а не от дров. Теплый туман дымится по горам и рекам, теплый дождь мочит рыхлую, жирную землю... А старший брат, живущий, положим, в Петербурге, стоит теперь замерзлый, обледенелый; замерзли пятиэтажные дома, замерзли сверху донизу; снаружи замерзли водосточные трубы, внутри в стенах замерзли водопроводы; отвернешь кран — и из него несет 40-градусным морозом, гриппом... Замерзли двери, окна; замерзли, обледенели бороды, носы: птицы валяются мертвыми в еловых и сосновых лесах... А эта еловая или сосновая зелень, или, вернее, зелень, сделанная из елового и соснового дерева,— зелень на зиму и лето одна и та же (напасешься ли разнообразной и настоящей зелени на десятки тысяч верст, от Петербурга до Камчатки?)... Ух, как жутко жить старшему брату — от одного только климата! Не будь искусственных приспособлений, старшему брату, пожалуй, даже и жить бы нельзя было совершенно; младший растет на настоящем солнце, наш — на банном пару, дровяном тепле, на водке, которую также пьют «для тепла»,— словом, разводится так же искусственно, как искусственно разводятся цыплята, рыба и т. д.; помощью привозного образования — развивается его ум, мозг, которые без этого не много бы взяли, взирая и лето и зиму на сделанную из елового дерева зелень и мерзлых ворон... Иной раз, раздумавшись об этом предмете, невольно приходишь к мысли, что «весь старший брат» просто выдуман, искусственно разведен для уплаты иностранным банкирам процентов по займам... Конечно, такие мысли нельзя считать здравыми, но они приходят под впечатлением тех вообще довольно жутких условий, в которых живет старший брат и которые представляются здесь, в земле брата младшего, еще более жуткими... Уж одно то, что младший брат *может быть ленивым*, может не спешить, может думать об удовольствиях жизни, может прихотничать и франтить (полушубок у него расшит разноцветными узорами) — уж

одно это как не похоже на старшего брата, у которого постоянный недохват, недоимки выше головы, который постоянно виноват, постоянно в работе, постоянно «*гонит*» куда-то, который не только не имеет возможности отдыхать или лениться, но, напротив, почти зауряд обязан совершать подвиги, требующие сил и энергии, немыслимых для обыкновенного, не искусственно приготовленного человека... Младший брат, сытый и с ленцой, неспеша плетется на сытых волах, в «свою» светлую, полную довольства «кучу»... Старший «гонит» от «кучи», по чужой надобности, гонит не евши, гонит на некормленной лошади, а иногда умеет тысячи верст ехать *на одном кнуте*... Кто не слыхал этого выражения: «всю дорогу, братец ты мой, на одном кнуте ехал!» Это значит, что для выполнения надлежащим образом упомянутой езды необходима была какая-то сверхъестественная, могущественная сила — кнут, так как естественных сил ни в людях, ни в животных, участвовавших в езде, нехватало; они были ничтожны и, только благодаря кнуту,—вытянулись в струну, напряглись до сверхъестественной силы — и вынесли.*

Ввиду обилия вот таких-то мелочных черт в характерах и нравах двух братьев, черт, свидетельствующих о значительной между этими братьями разнице решительно во всем, кроме общей для обоих потребности освободиться от подчинения западно-европейскому ходу жизни,— причем младший брат отлично знает это подчинение, а старший, хоть кряхтит от убытка, но откуда он идет не знает, а полагает только, что виноват тут волостной старшина или пьяница-прохвост писарь, — ввиду вот этой-то сложности явлений, обнаруженных сербским делом, размышления мои невольно опять приводили к вопросу о том, каковы-то «мы» были во всей этой теперь уже окончившейся истории.

* Один русский «народный» балет, «Конек-Горбунок», весь построен на необычайных свойствах кнута. Здесь волшебная палочка обыкновенных иностранных балетов заменена кнутом, который в течение 5 действий лупит всех и вся и достигает изумительных результатов. <Примеч. Г. И. Успенского.>

Несколько лет тому назад, если помнят читатели, на Васильевском Острове, в Петербурге, было обнаружено варварское дело. Какая-то женщина, из личных расчетов, заперла другую женщину в темную комнату и продержала ее в ней целых пятнадцать лет. Только через пятнадцать лет кто-то совершенно случайно узнал об этом заживо погребенном человеке — и двери тюрьмы были открыты; заточенная женщина найдена была в ужасном положении; в грязи, одичалая, почти превратившаяся в скота... Я прошу читателя воспроизвести только впечатление, которое могла бы произвести на него эта женщина, если бы он сам увидал ее... Ну, так вот такое же впечатление произвел «средний» русский человек, хлынувший нынешним летом за границу... Повторяю еще раз, я прошу помнить только впечатление, производимое человеком, отвыкшим жить на белом свете, разучившимся жить, не говоря о причинах, которые отучили его от жизни — одичать можно и от страшного труда и от утомительнейшего бездействия, как одичала заточенная. Так вот именно, благодаря такой-то «одичалости», мне казалось, что большинство простонародных, да и благородных добровольцев, попав в чужую сторону, например, в Австрию, были как будто сконфужены за себя, как был бы сконфужен обыватель мансарды, неожиданно перенесенный в бальную залу. Он ничуть не хуже этих расфранченных танцоров и тузов; он знает хорошо, что он умней, даровитей большинства их, но он будет все-таки растерян, так как у него нет каких-то пустяков для того, чтобы, не насмешив общество, дать заметить всем свои неотъемлемые достоинства: у него нет манер, у него худы сапоги, плох костюм, у него нет привычки говорить светским языком, а тот, на котором он привык изъясняться, никому непонятен и смешон; наконец, он нервно расстроен до того, что и притворяться-то человеком, знающим себе цену, не может; он не выдержит пяти минут того пустого разговора, который светский человек ведет целые часы, потому что ему противно, глупо; в конце концов такой человек вместе с полным презрением к «пусто-

головым франтам», берущим внешностью, которая ровно ничего не значит, которую он, очень умный бедняк, мог бы легко приобресть, если б не был бедняк,—в конце концов такой действительно умный, действительно в сто раз более правдивый, честный человек—всё-таки будет чувствовать,что он подавлен прочностью самодовольства этих глупцов, самодовольства, не подлежащего для них ни малейшему сомнению.

Вот подобное-то ощущение, как кажется, испытывало за границей громадное большинство русских добровольцев. Они были сконфужены *прочностью* заграничного человека, его достоинством, его умеиьем жить; были сконфужены, как дети, как ребенок, которому не подарили таких же фольговых часов, какие подарили его приятелю-ребенку. Значительный процент ссор между добровольцами во время дороги можно положительно приписать этому неловкому ощущению человека без манер, попавшему в общество с манерами: по крайней мере количество людеи между простым народом, особенно нападавших на людеи, не умевших себя вести, было... да прямо можно сказать, что каждый нападал на каждого за то, что тот пьянствует и скверно себя держит.

— Срамят, чисто-начисто срамят партию!— душевно убиваясь говорит старшой.— Нешто это Россия? Ведь в ведомостях пишут, пьяная твоя морда!.. Вот наказал господь!.. Двадцать лет отслужил богу и государю, честно, благородно, а тут не знаю, за что наказал господь батюшка,— в старшины к эфтим мошенникам выбрали... Спи! Сеiчас спи!— ревет он на какого-нибудь мечущегося на нетвердых ногах по пароходной палубе добровольца. — Сеiчас, приказываю тебе — ложись!.. Срамники этакие!.. Не хочешь?.. Погоди я пойду графу доложу... Что это за наказание! Тьфу!..

И торопливо идет с палубы вниз, а здесь — буфет, где прежде, нежели попасть к графу, старшой, разгневанный поведением своих подчиненных, выпивает рюмочку, непременно, конечно, обругав немца за то, что немец долго ничего не понимал из русских разговоров и требований водки на русском языке.

— Шнапу! рюмочку... аль ты оглох? Им хоть говори, хоть нет!..

Явись граф или каким другим образом титулованный начальник партии, все начинают жаловаться друг на друга.

— Ваше сиятельство! Позвольте вам сказать... Как он смеет? Я стрелок... вот у меня ордена-то!

— Какой ты (такой-сякой) стрелок! — прерывает другой, ожесточенный голос,— ежели ты мараешь свою честь на чужой стороне?.. У тебя, у дурака, должон быть крест во лбу, а ты пакостничаешь в чужой земле!

— Сам ты, старая ворона, нализался вперед всех. Поглядн-ко вон на тебя-то как пялят глаза, на пугалу...

Явившийся разобрать дело начальник партии, если он не брал горлом (горлом-то брать стыдно перед иностранцами), непременно должен был уйти, ничего не добившись.

В продолжение дороги все пережаловались друг другу, друг на друга; я, человек посторонний, и то переслушал этих жалоб бесчисленное множество; всякому было противно неуменье вести себя не только в других, но и в себе, и всякий поэтому хотел убедить кого-нибудь, что он вовсе не похож на этого пьяницу; всякий норовил доказать, что он, хоть и выпил («Отчего не выпить для тепла, да ведь и то сказать: голову отдаем — авось, можно?»), но что он не кто-нибудь, и лезет непременно за орденами в карман... Убедившись в том, что ни от начальника партии, ни от посторонних, ни, наконец, от самих себя нельзя добиться никакого результата, положительно все стали объяснять дело тем, что «некому жаловаться...»

— Нешто это Россия? Кому тут жаловаться будешь?.. Это не Россия, жаловаться тут некому... Нет! кабы жаловаться было кому, так я б тебе показал... в чем она ходит!

А иные, самые благообразные, просто сновали по палубе и в виду широкого Дуная, как бы в отчаянии, расставляли руки и говорили:

— Вся причина — некому жаловаться, ничего не поделаешь!

Но если бы, на счастье, и было в чужой земле что-нибудь такое, что могло бы воскресить вдали от родины представление о бараньем роге и о прочем в этом же роде, то и тогда едва ли бы доброволец наш мог бы вести себя как-нибудь иначе, то есть без постоянного питья вина и рому (некоторые сумели пропить по 15 рублей в полторы суток от Пешта до Белграда, *пропить* буквально, не принимая пищи, как говорится, и «маковой росинки» в течение этих полутора суток), так как иначе нечем ему было занять себя; *проводить время* он не умел, так как никогда даже не знал, что это такое если не пьянство в кабаке или у Бореля — всё равно. Ведь вот тут же ехали прусские солдаты, ехали также волонтерами в Сербию, также готовы были умирать — а сумели о чем-то проговорить друг с другом полтора дня и две ночи (спать было невозможно за теснотою); а у наших, оказалось, не о чем разговаривать: все разговоры свои они оставили дома. Оставили дома мы ропот на свою горькую участь, на несправедливость батальонного командира, ропот против жены, против тещи; оставили дома всего Островского, всего Решетникова — и нету ничего другого, хоть шаром покати! Человеку так пусто, так дико и так одиноко, что он тащит вам, постороннему человеку, свои ордена, говорит: «ведь я не кто-нибудь... я кавалер»— чувствуя, что так просто он ничто, и никто его знать не хочет... Ордена вытаскивали после двух-трех слов первого знакомства положительно все, у кого только они были. Всякий объявлял, что это он только так, потому что за границей, в штатском, а в сущности вы, пожалуйста, не пренебрегайте им, он капитан... О Сербии, об общем, кажется, деле, почти не было разговоров (только под конец пути зашел разговор о славянском деле, и то потому, что на пароход сел серб, ехавший в Белград окольным путем из Болгарии с важными поручениями, и сам завел оживленную речь в общем смысле). Всякий был изломан и ныл про себя, чувствуя себя чужим среди иностранцев, которые (это обижало бессознательно) — также люди, да не те... Вот хоть мадьяры, простые мужики, целую ночь

хором пели, да как пели, артистически; наших забрало за ретивое: «давай, ребята нашу!»... Чуть не все сразу затянули «Вниз по матушке», и оказалось, что никто не знает песни не только до конца, а даже с пятой строки, то есть по окончании первого куплета, уж никто не знает, как дальше. Не в музыкальных школах спевались мадьярские мужики, спевались они, надо думать, в деревне; и наши тоже родились и жили в деревне, но, очевидно, некогда им было спеваться, заниматься пустяками, досуга не было... И затянули-то они кто в лес, кто по дрова... «Погоди, я им завинчу штучку!»— подзадоренный неудачей «своих» проговорил какой-то, повидимому, бывший военный писарь, и проворно стащив с плеч одеяло, которым наградило его славянское общество, крякнул и затянул:

В пол-денный жар в авраги на Капказ-зи
В груди моей с винцом дымилась кровь.

Но и этот на втором куплете осекся, а уж врал — не приведи бог!

— Ах, забыл, как дальше-то... Погоди!..— Писарь вновь было начал сначала, но его перебил громадного роста мещанин, необычайно вертлявый, бывший сыщиком, драгуном и монахом и оказавшийся впоследствии плутом...

— Будет тебе нищего-то через каменный мост тащить! Ты погляди-ко, как я их, немцев-то, сразу разодолжу... У нас — по-русски, живо!

И повернувшись на каблуках, он довольно таки бесцеремонно влез в самую середину мадьярского хора и, вопреки всяким смыслам, начал кричать кукареку... Мадьяры продолжали петь, не обращая внимания, думая, должно быть, что чудак опомнится, увидит, что мешает, и уйдет,— ничуть: чудак орал петухом и представлял всей своей фигурой поднимающегося на цыпочки и вытягивающего шею петуха. Мадьяры замолкли. Некоторые из наших — далеко, впрочем, не все — смеялись, а мещанин-петух также молчал и ждал. Мадьяры опять запели. Мещанин тотчас же опять заорал.

Кончилось тем, что один из певцов, как бешеный, подскочил к нашему артисту и обругал его самым громогласным образом; наш мгновенно схватил его «за бочка», как «друга-приятеля», но венгерец весьма энергически отстранил его от себя. Хихикая, с ужимками и обезьяньими изворотами наш таки убрался. Немедленно принялись его ругать за неприличие, и так, ругаясь, все вместе пошли в буфет.

Выручил всех солдат.

— Эх, вы!— сказал он,— певчие! Ну-ко — нашу солдатскую!— И, притоптывая каблучками и повертывая согнутые фертом руки, пропел какую-то песню, в которой слышалось беспрестанно:

Полковые командирчики,
Батальйонные начальнички,
И батальйонные начальнички,
Штаб- и обер-офицерики!

С точностию не могу припомнить слов песни, но помню положительно, что, кроме какой-то радости от обилия начальства, выраженной музыкой песни, в ней было одно только перечисление разных наименований этого начальства, даже жен и деток господ начальников.

— Вот как у нас!— окончив песню (эта песня была допета до конца), гаркнул солдат и, конечно, последовал в буфет.

По пути из Семендрии в Белград, как я уже писал ранее, мне удалось слышать «Вниз по матушке по Волге», пропетую чудовскими певчими. Что за слова чудесные, что за дивная музыка, но зато ведь чего и стоит чудовский хор московским купцам, но зато ведь и слушают их только за деньги. А так, в толпе, забываются и слова и музыка народных песен.

Так-то вот и скучно было русскому человеку на чужой стороне, скучно было ему потому, что и веселиться он не умеет, окроме как пить, к приятельству он не привык, окроме что тоже в пьяном виде, и живет он в лачужках, а не в таких деревнях-картинках, и разговаривать-то ему не о чем, окроме как жаловаться да искать места: нет ли где местечка, где можно было хорошенько пожаловаться на вольного

человека? Не зная, чем взять перед немцами, один из наших (конечно, в пьяном виде) съел, напоказ своей удали, целую солонку с красным кайенским перцем, и, обжигая рот каждым глотком, приговаривал (действительно, не моргнув глазом, не поморщившись):

— Вот как у нас... У нас нешто такой перец-то?.. Это разве перец?..

— Али съел?

— А то что же! Эй, ты, дай еще фляшу шнапу!

III.

Унылую эту картину позвольте заключить следующим отрывком из одного дневника.

«... А какие есть из них (из добровольцев) старые-престарые!.. По шестидесяти и более лет иным! Меня особенно заинтересовал один старик-доброволец, человек угрюмый, лет свыше пятидесяти, ничем не напоминавший солдата. Борода у него черная, по пояс; на голове сербская шапка, а весь остальной костюм — мужицкий, то есть мужицкий полушубок, мужицкие онучи, да сербские, тоже мужичьи, опанки. Поразило меня необыкновенно строгое и серьезное выражение лица,— куда как мало (не строгих, нет) серьезных-то, умом и мыслью, запечатленных лиц, да еще таких трезвых лиц, между нашим братом, русским добровольцем... Глянул я на его щетинистые густые брови и подумал: „ну, это, наверное,—настоящая Русь, беспримесная, нетесанная...“

— Сядь-ко здесь, родимый,— заговорил старик сам:— не слыхал ли чего?.. Как пишут-то: под туречиной христианству быть, али освобождение выйдет?..

Дело было в белградской крепости, где помещаются теперь русские добровольцы. Много их толпилось и сидело, как попало, близ казармы.

— Не знаю, дедушка, ничего не слыхать... Конференция, стало быть, совет такой, идет теперь: как этот совет скажет, так и будет...

— А как под туречиной оставит совет-то?

— Оставит, пожалуй, и под туречиной.

— А чего же христианство-то смотрит?

Поистине я глубоко смутился от этого простого вопроса, произнесенного хотя и старческим голосом, но освещенного искреннейшим гневом живых, умных, выразительных глаз. И что я мог ему отвечать? Подумайте-ко хорошенько, что я мог *серьезно* ответить этому серьезно проникнутому делом человеку, этой неломанной, нетесанной святсй Руси? «Что же христианство-то смотрит?»—этот поистине грозный вопрос и сейчас звучит в моих ушах.

— Ты, верно, не солдат, дедушка?— не ответив путем на его вопрос, спросил я старика, необыкновенно меня заинтересовавшего.

— С роду в солдатах не бывал... Хрестьянин...

— От комитета прпехал?

— Сам прпехал, на свои... Не бывал в комитетах... Своих собрал деньжонок, распродался, прпехал... Дорогой уж к партии пристал...

— Бывал в сражениях?

— Привел бог!

— Не ранен?

— Нет, бог миловал... Царапать, точно, царапали больно, до крови,— ну, а настоящих ран не получал, бог миловал.

— Как же так царапали-то?

— Да так; глянь вот, только снаружи... Вот погляди.

Он открыл плечо.

На плече был шрам, обложенный тряпицами; потом показал ногу (правую): икра ниже колена была прострелена.

— Впшь, как царапали-то! Всё наружу выходило, а так, чтобы нутренной раны — нет, не бывало... бог миловал.

Подивился я на эти царапины, оказавшпеся самыми настоящими ранами „навылет“.

— Что же ты в больнице-то не лежишь?

— Лежал было, да бог с ней совсем... Там теперь погляди-кось, заботы сколько: кому руку, кому ногу отнять...

страшно смотреть. Что мне! Моя болезнь — только всего грудь вот расшиб; ну, а в больницах не время этим заниматься...

— И грудь-то расшиблена?

— Грудь-то точно что расшиб я... Это с Дюниша бегли... Горы, друг ты мой, и боже мой, какие горы! А тут так вышло, бёг-то задом, всё палил, отбивался... Так-то пятил-пятил, да на камень, что ли, на древо ли наткнись — и полетел кубарем под гору... *Сам ничего,* а грудь, надо быть, расшиб (он поминутно кашлял)... Вот в баньку бы сходить... авось, отпустит...

— В больницу иди, а не в баньку... В больнице-то, гляди, и поправишься.

— Ну уж, чай, не справишь грудь-то... Лежал я... Страшно на мучения-то смотреть; нет, не пойду в другой... Чего там? Там и дыхать-то не свободно... Ишь тут-то каково любо... Вот Дунай-батюшка... Ишь, он какой!.. То-то гадал поглядеть-то... а теперь он всегда на глазах... Дунай-батюшка — великая, вольная река! да! Не запрудить тебя никому, право слово! Никому не запрудить, великий ты Дунай-батюшка!..

Мороз меня подирал по коже от того необыкновенно страстного тона, которым полна речь старика.

— Не то ты, Дунай великий, что малые реки... Те запрудят! Начнут кидать камни да песок, да навоз, да сваи вколачивать — и стала реченька...А великая река... Глянь-ко, эво место!

Старик показал на то место, где Дунай, сливаясь с Савой, разлился просторно и широко.

— Удержишь ли этакую-то силу господнюю в неволе-то?..

Какая-то необычайная сила охватила меня, расслабленного расслабленной сербской возней. В течение трех месяцев я в первый раз увидел, что есть смысл в деле, за которым я приехал сюда, в первый раз дело это показалось мне свято и велико. Каждое слово старика, который под

малыми и великими реками разумел нечто другое, точно волшебством каким укрепляло и оживляло меня. Широко и здорово как-то чувствовалось от этих простых речей.

— И народ-то — то же самое... Малый народ христианский в неволе, что речка малая. Запруди ее — и не вырваться ей из неволи-то... силушки-то нету у ей... Не хитро малые-то народы в неволе держать... А великие реки, хоть Дунай, хоть Волга великая река, как поналягут они на запруды, да на колы вбитые...

Старик долго, хотя и несколько тяжеловесно, но умно и убедительно вел свою параллель между великими и малыми реками и народами, но я не буду приводить ее здесь, так как и после трех-четырех строк стариковских речей, приведенных выше, мне уже читатель не верит.—„Таких стариков нет,— твердо произносит он и добавляет:— то есть, пожалуй, такие старики и есть, но уж чтобы разговаривать так о таких высоких предметах — уж это присочинено". Русский человек не верит, то есть отвык ценить свою собственную мысль, не верит, что она что-нибудь вообще значит, хотя для него самого; не верит даже, чтобы кто-нибудь, а тем паче простой мужик, мог рассуждать и поступать; русский человек знает, что рассуждай не рассуждай, а всегда выйдет по-другому, и вот эти-то другие (не свои) мысли он и считает настоящими... и, я убежден, „даже любит", когда всем его собственным мыслям и планам настоящие, „другие", мысли вдруг дадут, как говорится, „по шапке"... Я уверен, что он уж полюбил эти удары.

Солнце садилось; Дунай весь блистал золотом, слегка начинавшим затуманиваться поднимавшимися от воды вечерними испарениями.

— Вот под вечер дыхать-то уж и несвободно!— прошептал старик, задыхаясь от мокроты:— не пущает в груди-то!

Я проводил старика до казармы и, простившись, подошел к другим добровольцам, чтобы спросить — кто такой этот старик?

— Раскольник!

Все отозвались о нем с полнейшим уважением.

— Больше начальника почитаем!— сказал один.

— Вот грудь-то расшиб,— жалели другие:— расшибся-то весь — грех какой... Теперь уж, знамо, никуда не годится...».

Этим симпатичным типом добровольца-крестьянина я закончу мои беглые и невеселые заметки.

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ
СТАТЬИ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ РЕШЕТНИКОВ.

(БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

I.

Федор Михайлович Решетников родился в г. Екатеринбурге, Пермской губ., 5 сентября 1841 года. Отец его, до женитьбы, служил в этом городе дьячком и вел нетрезвую жизнь. Чтобы избавить его от погибели, родной брат, женатый и служивший в Екатеринбургской почтовой конторе, женил его на дьяконской сироте, девушке тихой и кроткой, после чего отец Ф. М. вышел из дьячков и поступил также в почталионы, но пить все-таки не перестал и жил с женой до того плохо, что когда брат его с женой переехали в Пермь, мать Ф. М., которому было в ту пору около девяти месяцев, не выдержала тяжкой жизни и вскоре ушла вслед за ними.

В Пермь она пришла во время страшного пожара и так была этим испугана, что заболела и умерла; девятимесячный мальчик остался на попечении дяди и тетки; отца же своего он *первый раз* увидал, будучи уже *десяти лет* отроду.

Таким образом, Ф. М. начал жизнь круглым сиротой. Но, кроме сиротства, ему, почти со дня рождения, суждено было испытывать непрерывное влияние материальной

бедности и великой нравственной забитости, запуганности окружавшей его среды. Бедность материальная в этом кругу была поистине потрясающая. В переписке близких к Ф. М. лиц, в письмах его самого к ним почти постоянно идут жалобы на крайне стесненное материальное положение: — «А об огурцах, — как бы в отчаянии неоднократно восклицает дядя Ф. М., — и не поминай!..» «Живу, плачу огромную сумму без чаю, а с чаем нехватает моего жалования»... «Лечиться времени нет, — пишет родной отец Ф. М.: — а о таком расходе, чтобы покупать масло (для леченья), дорого; почтмейстер денег не дал!»... «Не можете ли вы одолжить мне три копейки на пиво, *ежели у вас есть?*» — пишет к Ф. М. его знакомый и друг, а другой весьма серьезно доказывает, что на 15 р. *в год* жить нельзя. «*Живем между нищими и средними*»,— определяет свое положение в одном из писем дядя Ф. М., и определение это вполне верно.

Кроме бедности, всех этих людей крепко пригнетала запуганность перед начальством, которое, в сущности, хотя и возвышалось над ними не более как на вершок, но могло сделать всё, что хотело. В немногих письмах бедного отца Ф. М. эта сила маленького высшего начальства рисуется довольно ярко: «*Не знаю, за что* преследует почтмейстер с самого моего прибытия. Живу, как должно; как у денщика или у крепостного, сертук не слезает с плеч... Я месяца с три *всяко вытягался* для почтмейстера, а он меня так уважил... что лучше нельзя... А живу как денщик»... «Покорно прошу, любезный братец, — говорится в конце того же письма: — чтобы письмо это не узнал кто дальше, не услыхал бы почтмейстер наш, *то он меня съест*». Или в другом письме: «Почтмейстер просит, чтобы меня (отца Ф. М.) перевели к нему; *но сохрани меня небесная сила от такого ига; он там вдосталь из меня оставшийся сок вытянет*». Отрывки эти мы привели потому, что в них с полною искренностию высказана та беспомощность перед маленьким высшим начальством, которую испытывали все близкие родственники Ф. М. Все они «вытягаются» перед этим начальством, а начальство

из них «вытягивает оставшийся сок», и притом *неизвестно за что*. Все они ходят как сонные, забитые и убитые... «Так и живу, ни здесь ни там, ни здоровый ни больной... а лечиться времени нет... *поссму* прошу, любезный братец, выспросить у Г. Т., *как пить крепкую водку...*»

Подавленный бедностию, забитостию, этот круг людей «*между нищими и средними*» во всем полагался только на бога, на всевидящее око, о котором, в переписке родственников и знакомых Ф. М., упоминается чуть не в каждом письме, и главным образом — на *терпение*. «И верно уже такой рок, — находим мы в письме одного из самых *начитанных* людей этого круга, — что всё предвидится только сражаться с терпением и *хорошо бы было и то, ежели бы тому хотя* предвиделся *конец*, но ожидать того, по *моему мнению*, не предвидится никакой надежды».

Мы могли бы привести здесь множество примеров, доказывающих громадную, железную силу терпения и глубокую, искреннюю преданность провидению, которыми только и поддерживалась кое-как эта забитая и вконец обезличенная среда; но и приведенных выписок уже достаточно, чтобы видеть, в какой мере среда эта могла благоприятствовать умственному развитию Ф. М.

II.

Дядя и тетка Ф. М., ставшие его воспитателями, всецело разделяли как материальные, так и нравственные недостатки своего круга, с тою только разницею, что сам дядя-воспитатель смотрел на свое положение несколько определеннее других. Он не позволял себе иметь «мнений», хотя бы и о том, что «хорошо бы ежели бы терпению предвиделся конец»; не унывал так, как унывал отец Решетникова, не знавший, «*за что*» всё это суждено нести. Никаких колебаний мысли в воспитателе Ф. М. не было: из материалов, имеющихся у нас, видно, что человек этот раз навсегда порешил, что надеяться надо только на бога, что бедность и подневольность

неизбежны и что терпению конца не будет. Порешив с этим, он всю жизнь, неуклонно и не оглядываясь по сторонам, тянул служебную лямку, тяжким трудом зарабатывая кусок хлеба; и приняв на свое воспитание маленького Решетникова, не мог воспитывать его иначе, как в приучении к тому же терпению, повиновению, искренно веря, что для него, как для сироты, предлежит та же самая тяжелая забота о куске хлеба и та же самая жизнь «между нищими и средними», в которой «терпение» играет первую роль.

На беду питомец их, с первых дней детства, оказался мальчиком бойким, веселым, резвым, обнаруживая необыкновенную впечатлительность*. И с первых же дней обнаружения этой резвости воспитатели, побуждаемые, разумеется, не чем иным, как только желанием своему питомцу добра, стали искоренять эти врожденные в нем и непригодные, среди скучного влачения жизни, качества. И вот, благодаря тому, что Решетников уродился натурою одаренной, и тому, что одаренные натуры в этом кругу действительно совершенно ненужны, целые *десять* первых *лет* посвящены, со стороны воспитателей, самому тщательному и неусыпному *битью* и *дранью* их воспитанника. Кроме желания ему добра, повторяем, этими бедными людьми не руководило ничто другое; но в то же время нельзя не видеть, что это желание добра выражалось способом поистине варварским. В повести Ф. М. «Между людьми» автор, поместивший в ней множество случаев своей жизни, рисует картины своего детства весьма подробно и обстоятельно, и, читая их, нельзя не дивиться необыкновенной выносливости Решетникова. Били его положительно *за всё*, и притом *все*, кто хотел и считал нужным, а иной раз и без всякой надобности. Ребенок везде «лез», и колотили его тоже везде. Дядя принес лубочную картину и стал рассматривать, воспитанника разобрало любопытство, он потянул картину к себе и разорвал попо-

* Это свойство натуры перешло к Решетникову, повидимому, от матери; она заболела и умерла от *испуга*.<Примеч. Ф. И. Успенского.>

лам... «За это дядя так ударил меня по голове, что я ударился об пол; изо рта пошла кровь». Одна «Священная история ветхого и нового завета» с картинами, книга единственная во всем доме, сколько неисчислимых бед причинила Ф. М.! Картинки постоянно привлекали к ней маленького Решетникова, и постоянно, аккуратно каждый раз, как только книга попадала ему в руки, он непременно получал удар этой же книгой в голову. Чтобы отдаляться от нее, он засунул ее в печку; книгу вытащили, но — за это, — говорит Решетников, — «дядя *долго* меня *драл ремнем*». Били его также и за то, что любит сказки, а не молится за отца и мать, которых он никогда не видал. Захочет он, например, подделаться к дяде, оказать ему услугу, чтобы поехать за Каму «рыбачить», примется чистить ему сапоги, чистит и старается до тех пор, пока тетка не выхватит из его рук щетки и не ударит ею по голове. За такие же провинности колотил его весь почтовый двор, где он, так же как и дома, всюду лез, чтобы посмотреть, нет ли где «хороших картинок, хороших книг с картинками?» «Мне нравилось, — говорит он, — всё, что я видел в *первый раз — мебель, платье,* и вещь, особенно понравившуюся, я норовил припрятать». Недовольные им, проучив его у себя, на месте преступления, шли, кроме того, жаловаться к воспитателям, которые еще раз учили его за шалости у чужих. «Пес», «ножовое востреё», «балбес», «безрогая скотина» — вот названия, которыми величали его в это время все.

Словом, не будь натура Решетникова исключительна, он бы давно мог сделаться вполне забитым, заколоченным ребенком; но у него, в отместку за обиды, развилась злоба и жажда мести. Впоследствии он сам, вспоминая об этом времени, называет себя — «злое дитя». И действительно, природная даровитость его показала себя в выдумывании удивительнейших мерзостей, которыми он мстил. Ему ничего, например, не стоило засунуть в квашню или кадку с водой дохлую кошку, измазать в грязи чистое, развешенное белье, вытащить из самовара кран, забросить его через

забор и распаять самовар. Он сделался истинным божеским наказанием целому двору, истинным врагом всем и каждому; вскоре ему не было другого имени, кроме «вор», «поганая рожа»; его вихры, уши и щеки сделались общим достоянием. Били и ругали все, и он ругал всех, воевал со всеми, запуская камнями, кусался, бил врагов «по лицу» — и в то же время не уставал изобретать еще новые и новые пытки врагам своим. «Лишь только отдерут меня, — говорит Решетников: — я сажусь куда-нибудь в угол и думаю: что бы мне такое сделать? да так, чтобы не узнал никто?»

III.

Это обоюдное безобразие тянулось, как мы уже сказали, десять лет. По временам на маленького Решетникова находили минуты ужаснейшей тоски, он плакал и думал о том, чтобы «убежать отсюда». Десяти лет (1851 г.) его отдали в бурсу и, стало быть, к битью воспитателей и соседей прибавилось еще битье училищное, школьное. Переносить всё это стало уже решительно невозможно, и тайное желание избавиться от этого мучения определилось в Ф. М. как настоятельная необходимость — «бежать». И скоро Решетников действительно убежал. Прямо из бурсы он ушел на колокольню и просидел здесь целый день с раннего утра. К ночи его охватил страх; он убежал с колокольни на реку и здесь ночевал. Поутру, говорит Решетников, «я ходил как помешанный, от голода». В каком-то рыбачьем шалаше нашел он полковриги хлеба, взял его себе, и тут же, не зная зачем, провертел в лодке дыру, распластал невод, обрезал несколько удочек. «Этот день я провел хорошо, — говорит он в упомянутой повести, — прогуливаясь по траве и по лесу и напевая песни. Я радовался, что я на свободе, что меня никто не стесняет и я могу делать всё, что только хочу, я торжествовал над тем, что я один из всех бурсаков убежал далеко, что их дерут... „Пусть вас дерут!“ говорил я громко и хохотал. Я очень был счастлив и не находил счастливее себя

человека. Я думал: „а как хорошо! Ни за что я не пойду отсюда никуда, ни за что не пойду... Я и к дяде не пойду". Мне ничего не нужно было, хотя и казалось мне, что в каждом кусте дерева кто-то сторожит меня, а на некоторые кусты я даже и смотреть-то боялся. Когда проходил мой страх, я думал: а хорошо бы здесь состроить дом. Я бы тогда дядю и тетку взял с собой жить, они бы тогда *не стали меня бить*... Потом мне вдруг захотелось плыть куда-то дальше». Он сел в чью-то лодку и стал грести вверх, но силы были слабы, лодку несло вниз и прибило к берегу. Здесь, сидя в лодке и доедая остаток хлеба, беглец мечтал и поглядывал на город, как вдруг на него налетел с ругательствами и проклятиями какой-то мещанин и принялся тузить — *не на милость, а на смерть. На лице была кровь, голова страшно болела, волосы лезли.* Скоро, вслед за мещанином, явилась целая флотилия бурсаков, разыскивавших беглеца, и когда последний убежал от них, они настигли его, связали и безжалостно поволокли по кочкам в бурсу, награждая палочными ударами! В заключение этого странства беглецу, по возвращении в бурсу, была задана *баня*, после которой Решетников пластом пролежал в больнице *два месяца*.

Но этим дело не кончилось. Потребность бегства не умерла в Решетникове. Несмотря на всевозможные истязания, лежа в больнице, он уже обдумывал план нового бегства, и действительно, как только поправился, убежал опять. Прежде всего он отправился на так называемую «Мотовилиху» — завод, отстоящий от г. Перми версты за три. Бурсацкий сюртук свой он бросил в воду, чтобы не узнали, что он бурсак, вымазал грязью лицо, рубашку, панталоны и пошел по заводским домам и кабакам просить хлеба, «христа ради».

«Чей ты, парнюга?» — спрашивали его.— «Материн», — уклончиво отвечал бегун...

Долго он шатался здесь между простым народом и мастеровыми, которые давали ему кров и кормили его. «Много,— говорит он, — я заметил хорошего; мне так понравилась простота

ихняя, что я хотел на всю жизнь остаться у них...» Много в то же время он увидел и дурного, особенно в быту нищих, с которыми он невольно должен был столкнуться, как человек, бродящий без пристанища, которые, наконец, просто насильно таскали его с собою, заставляли плясать, поили водкой. Бывали минуты, когда он кричал и просил встречных, чтобы кто-нибудь спас его от них; но никто не давал помощи. На работу его не принимали без имени, а имя свое он скрывал. «И бог знает, что бы было со мною дальше, если бы не спасла меня одна женщина». Женщина эта, часто бывавшая у дяди в городе, узнала беглеца и привела домой. «Дело пзвестное, что было после этого»,— заканчивает Решетников историю этого побега, намекая на неизбежное дранье.

Эти два побега имели и на мысль и на характер Решетникова самое существенное влияние: во-первых, он познакомился с народною жизнью, узнал в ней *дурное и хорошее*, что дало много пищи его любознательному уму, который до настоящего времени истощался только на изобретение «злых проделок», — и во-вторых, за этими побегами неизбежное возвращение опять к тем же мучительным истязаниям и скуке заставило его сильно призадуматься о своей печальной судьбе и судьбе окружавших его людей. Целый год после второго бегства он провел в доме дяди, сидя в углу за дверью и думая о себе и своем прошлом, и здесь впервые зародилась в нем та симпатичная и дорогая черта его будущих произведений, которая определяется простым словом — «*правда*». Всеобщая ненависть, которою он был окружен после второго побега, и одиночество, как последствие этой ненависти, были так сильны, что подавили в бедном ребенке всякую возможность быть злым, а пробудившаяся мысль привела его к полному раскаянию перед всеми, кому только он делал что-нибудь худое. В нем начался процесс глубокого внимания к окружающим, близким к нему людям, принимавший благотворное направление *прощения их*. Понятно, что такая масса несчастия, хотя бы в виде всеобщего презрения, такая масса новых мыслей, полная бес-

помощность в разрешении их, отсутствие какого-нибудь утешения — до того измучили душу мальчика, что часто, сидя в своем углу, он рыдал. И в это-то время вдруг ему говорят, что он увидит своего отца, в первый раз. Не видя его никогда, он теперь, одинокий и всеми обиженный, возлагал на своего отца великие надежды, радости его не было предела.

И вот однажды вечером, когда Ф. М. уже лег спать, дядя привел с собою какого-то человека в почтальонской одежде, обрюзглого, с отекшим лицом. Человек этот постоянно болезненно кашлял и рассказывал о том, как он несчастлив, как к нему несправедливы, как его бьют. «Ты не поверишь, — говорил он дяде, — что этот смотритель каждый день топтал меня ногами, бил меня в грудь...» Страх и радость охватили Решетникова при виде отца, но когда сын подошел к нему, бедный отец не знал, что сказать... «Большой вырос», — пропзнес он. — «Что же ты не целуешь отца?» — «Да что мне его целовать-то?..» И больше ничего. На другой день, разговорившись с теткой о сыне, отец упрашивал ее: «Дери ты его, что есть мочи дери». Когда ему предложили взять сына с собой, он отвечал: «Куда мне с ним?.. не надо! Мне и одному горько жить». Уезжая совсем, он мог сказать сыну только: «Ну, прощай! слушайся!» — и пошел прочь. «Мне тяжело было, — говорит Ф. М., — что отец уехал, а я не высказал ему своего горя».

Таким образом, встреча с отцом не только не облегчила души маленького Решетникова, но, напротив, уяснив ему полное его сиротство и одиночество, сделала его еще более несчастным в своих глазах. Он так был подавлен всеми событиями последних лет, что на него напала апатия, равнодушие ко всему — и к науке и к порке. Он словно окаменел. Бежать он уже не думал, а когда драли (он опять стал с некоторого времени ходить в училище), каковое дранье производилось аккуратно в конце каждого месяца, то он старался только стать в конце шеренги, предназначенной к сеченню, потому что к концу ее сторож уставал. Иногда он отделывался гривенником, который зарабатывал, занимаясь

в почтовой конторе составлением крестьянам писем, что тоже не мало помогло ему узнать народную жизнь. От учителей он отделывался тоже своего рода взятками: он отправлял им задаром письма (благодаря дяде), доставлял письма, полученные на их имя, а главное, что впоследствии обрушилось на его голову целою грудой несчастий, таскал тайком с почты газеты, каковое таскание учителя поощряли тем, что оставляли измученного ребенка в покое. Такое апатическое состояние продолжалось довольно долго, и не имея попрежнему никакой поддержки, возбужденная предшествовавшими обстоятельствами мысль его могла бы заснуть понемногу и принять общее направление мыслей бедного, запуганного класса людей, его окружавших; но одно неожиданное обстоятельство не дало возможности умереть раз пробужденной мысли, хотя и разразилось над ним жестоким образом.

Неожиданно открылась покража газет и журналов в почтовой конторе. Таская эти газеты и конверты, * он, по прочтении их господами учителями, имел обыкновение забрасывать их чрез соседний забор в снег; бывали случаи, что он, со страху, забрасывал туда пакеты, не рассматривая и не читая их, и в числе таких-то нечитанных пакетов забросил один весьма важный манифест (1855 г.). Дело было не шуточное, виновника разыскали и предали формальному суду (Ф. М. был 14-й год). Дело тянулось два года.

Что же должен был чувствовать бедный Решетников, сидя эти два года в том же углу, за дверью? Сознание собственной виновности, пробудившееся, как мы уже упоминали, после первого побега, здесь возросло до высшей степени. Еще тогда, познакомившись с настоящей нищетой,

* В числе причин, объясняющих это таскание газет, Ф. М. между прочим упоминает о том, что ему *нравилась форма* конвертов, *гладенькая* бумажка, хороший почерк на конверте. Поощрения учителей сделали это баловство необходимостью, а потом привычкою. <Примеч. Г. И. Успенского.>

от которой, как мы видели, он кричал и просил людей *спасти его*, — Ф. М. стал чувствовать себя глубоко виноватым пред воспитателями, которые, несмотря на свою бедность, ограждают его от этой нищеты, его, не имеющего ни отца ни матери и, кроме зла, ничего не сделавшего для своих благодетелей. В самом деле, сколько переплатил бедный дядя Ф. М. за эти распаянные самовары, за украденные вещи, кваши, опоганенные всунутой туда кошкой? И тогда уже Ф. М. насчитывал на своей душе великое множество грехов и зла; что же должен был он чувствовать теперь, ежеминутно видя перед собою дядю, который лез из кожи, тратил последние копейки, чтобы помочь делу своего «злого» дитяти?

Эгоизм Ф. М. был совершенно раздавлен, разбит этим происшествием; на ругательства тетки он отвечал рыданиями и *бог знает, как был готов благодарить ее*; он удивлялся, как дядя и тетка *не боятся* держать его у себя. Он старался душою и телом услужить им, носил дрова, воду, исполнял всё, что ни прикажут.

Это происшествие, этот удар, как ни был он тяжел и неожидан, вывел Ф. М. из начинавшей одолевать его апатии, пробудил его мысль, снова обратил ее на путь внимания к человеческим поступкам. Сделав своим родным такое зло, какого ни один из них не думал делать ему, он, со времени этого происшествия, навеки сохранил великую и дорогую потребность — не осуждать ближнего, не верить личному впечатлению, если оно нехорошо, а разбирать его беспристрастно, правдиво, не урезывая в нем ни малейшей черточки.

Это была самая дорогая минута в развитии Ф. М. Мысль его была возбуждена до высшей степени. В самом деле, чтобы от ненависти к врагам дойти не только до прощения их, но даже до боязни, как они могут его держать, оправдать их и благодарить со слезами, — мысль маленького Решетникова должна была коснуться массы общественных вопросов, должна была работать над всем механизмом окружавшей его жизни. Минута, повторяем, была драгоценная для самого плодотворного воспринятия знания.

Но минута эта пропала даром, как впоследствии пропадало много еще таких минут; жизнь Ф. М., как бы на зло, постоянно и настойчиво не давала ему того, чего нужно, и надо удивляться, как еще уцелело в нем то непосредственное чувство правды, какое, после многих лет тяжких испытаний, с такою силою проявилось в его произведениях.

IV.

Уголовное дело, измучившее как самого Решетникова, так и его родственников, кончилось ссылкою виновника в Соликамский монастырь на эпитимию. Пребывание в этом монастыре было весьма неблагоприятно для хода развития Решетникова. Ехал он сюда, как сам говорит в одном месте записок, «с радостию печальною». Покидая, хоть и на время, место стольких страданий, можно было действительно ощущать некоторую радость, но печаль и раскаяние заглушали ее. Ф. М. рыдал, обливался слезами, расставаясь с своими воспитателями, и не переставал питать к ним глубокой преданности, называя их в записках своих «единокровными, милыми родственниками», «защитниками, *которые хотя и надоели своими ворчаниями, но всё-таки* всегда лучше *знаменитых властителей земли*». Задушевною мыслию его в это время было поступить в монахи.

Этим прекрасным возбуждением мысли Ф. М. родственники и воспитатели его не только не успели и не могли воспользоваться, не только не направили к знанию, но даже просто не дали своему воспитаннику опомниться, одуматься, отдохнуть. Квартирные хозяева, тоже приходившиеся ему родней, у которых он поселился в Соликамске, кроме бабушки, старой и больной, которая любила рассказывать своему внучку сказки, чуть не с первого же дня приезда не упускали случая упомянуть ему о его деле, грубо затронуть каким-нибудь грубым упреком. То, например, хозяйка квартиры советует своему мужу (родственнику Ф. М., служившему тоже по почтовой части), не класть его спать в кон-

торе, «а то он украдет пакеты»; то упрекают его в том, что он даром живет, курит хозяйские папиросы. От этих новых хозяев Решетникова не отставали и старые его воспитатели, к которым он в настоящую минуту питал такие благодарные чувства. Они именно принялись, что называется, *бить лежачего*, хотя, не скроем, всё с тою же целью и желанием ему добра. В каждом письме непременно идут вопросы о том, «не нужно ли тебе (т. е. Решетникову) чего-нибудь? есть ли чай? доволен ли? сыт ли?» Но зато самая большая часть этих писем посвящена самым жестким и оскорбительным упрекам за прошлое. «Подумай, — пишет ему воспитатель вслед за приездом Решетникова в монастырь, — чтобы тебе кончить курс ученья; знай, что ты, не кончивши курс, нигде не можешь поступить на службу коронную и должен записаться в податное состояние, а после того, по приговору общества и злых людей, отдадут тебя в военную службу, и тем опозоришь природу мою. Ты, имея дядю, который с детства твоего пекся о твоем благополучии и *науках*, не пощадил его! Даже и теперь еще пекусь, чтобы тебе доставить счастие; но если ты этого не чувствуешь, *то покажет тебя всевидящее око* за обиды мне нанесенные, и тем сокращаешь дни моей жизни».

Такого-то рода упреки, приходившие к нему в письмах чуть не каждую почту, не могли повлиять благотворно на его мысль; впечатлительность Решетникова начинает как бы грубеть от этих слишком уже частых толчков, и он по необходимости начинает примиряться со многим, с чем, незадолго перед этим, честно настроенная мысль его ни за что бы не примирилась.

«Когда я жил в Перми, — пишет он в своих записках,— я имел величайшее хотение, чтобы мне остаться в монастыре; но в Соликамске я в одну неделю познал нечестие монахов, как они пьют вино, ругаются, едят говядину, ходят по ночам, ломают ворота».

В другом месте тех же записок он пишет: «Жизнь моя стремилась к истинному познанию, чтобы быть истинным

христианином, но ожидания мои не исполнились; я ходил каждый день в монастырь и смотрел на их образ жизни, и все они, кроме (имена четырех монахов), не похожи на монахов и делают разные непристойности». В доказательство этих непристойностей Решетников приводит разговор:

«— Есть у тебя чем опохмелиться?

— На вот, я уж выпил всё.

— Неужели ты в ночь выпил ведро пива?

— Да у меня вчера был дьякон, и мы с ним погуляли славно!

— Ай да славно, проклятые, вы пируете, нет чтобы мне оставить!»

Сцены, приводимые Решетниковым, действительно не особенно привлекательны, но сам он так утомился от оскорблений и жизненных ударов, что готов был искать отдыха и в этом, не совсем опрятном, обществе и мало-по-малу стал проникаться его интересами. Учиться уже он не хочет; хотя его и принимают вновь в училище, но он не идет, он начинает якшаться с почтальонами, ходит с ними в *почтальонском сюртуке* собирать *новогоднее* и выпрашивает этим хожденьем деньги, сначала 1 руб. 15 коп., потом 45 коп. На эти деньги, не умея еще истратить их так, как тратили новые его знакомцы, он покупает себе помады, за каковой покупкой следует тотчас же грозное внушение от родственников.

«Осведомился я, — пишет воспитатель, — что ты взял в привычку шататься и в карты играть с почтальонами, и *примазываться помадой*, и свадьбы смотреть, а за этим откроются и другие пакости, за которые ты подвергнулся хотя и не тяжкому, но всё-таки наказанию и *до смерти твоей нарицанию и пороку*. Не лучше ли тебе было и будет заниматься науками, или ты хочешь быть и вести жизнь в дурацком положении, которое для тебя будет лучше, — выбирай то или другое. Я уж не могу тебе дать заочно какое-либо наставление, потому что ты и в глазах моих вот как уже насолил, что я по гроб не должен позабыть сделан-

ные тобою пакости, за добродетель мою, мое воспитание и хорошее содержание... Впрочем, ведь ты мне родной, и я еще не имею каменное сердце...»

Но как ни часты и ни энергичны были эти громы, они уже не могли отклонить Решетникова от удовольствия, которое он стал находить в обществе хотя и грубых людей, но в то же время таких, которые не оскорбляли его за прошлое (один монах, узнав его историю, даже расцеловал его), которые смотрели на него не только как на равного, но и как на человека, развитого больше, нежели развиты они. И вот начинаются у Решетникова с этими людьми дружба и панибратство. В дневнике его мы помимутно встречаем страницы, весьма ярко характеризующие этот период жизни Решетникова.

«13 числа 1857 года был на похоронах у станового пристава первого стана, у которого умерла мать Мария. Казначей позвал меня, чтобы я держал ризы, а Ивану не велел ездить, и я простоял обедню. По окончании литургии протоиерей К—в сказывал проповедь, похваляя жизнь новопреставленной усопшей Марии. С кладбища мы, т. е. я и... (здесь имена нескольких монастырских послушников), возвратившись в квартиру станового, сели за одним столом. Потчевали меня и ерофеичем и простой водкой. Тут еще В. прятал вино простое под стол, а П. почти один выпил графин ерофеичу, и уже пьян очень был, и они с М. кричали всю дорогу».

Вот какого рода было времяпрепровождение с этими приятелями. Этим заняты все три месяца, на которые был он сослан в монастырь, и о других занятиях его за это время мы не имеем никаких сведений, исключая того, что по временам он читал книги духовного содержания, пел на клиросе, за что, как говорит сам в записках, «снискивал любовь монашествующих». Под конец пребывания своего в монастыре он с каждым днем всё больше и больше привязывался к нему и к новым знакомым.

«И так я чудно и весело проводил время с монахами; они меня поили пивом, и я часто приходил домой пьяным.

Да и все меня любили сердечно, и я тоже питал свою любовь к ним. Иногда обедал и спал в кельях... Словом, очень весело я провел время с доброю братиею, и в особенности тогда, как пили пиво...» *

«Мрачно и печально, — пишет он перед истечением срока своей ссылки, — что я разлучаюсь с моими друзьями, *истинными христианами*. Но что делать, дядя мой единокровный хочет этого. Но я еще когда-нибудь могу поступить в монастырь, и мне хочется кончить жизнь там, где живут только мирно».

В бумагах Ф. М. мы находим письмо к настоятелю, отцу Леониду, в котором Решетников просит определить его в послушники. Вот это письмо:

«Ваше Преподобие,
Отец Леонид!

Мне желательно быть послушником Вашего монастыря... отца и матери у меня нет, а после 23 марта (после истечения срока наказания) я куда хочу, туда и поступлю на службу. Я еще давно этого желаю. Я даже клялся богу, чтобы по окончании дела поступить в монастырь. Итак, всечестный отец, прошу *придайте* мне благий совет...» — и проч.

Письмо это написано, по всей вероятности, во время самого разгара дружбы с монастырскими людьми. Несмотря на эту дружбу, через три месяца Решетникову пришлось расстаться с ними.

«В среду я простился с ...(имена друзей) и в 11 часов отправился из Соликамска. И тут, поровнявшись с монастырем, невольно слеза выкатилась у меня (когда я вспомнил), что я разлучаюсь навеки с монастырем сим и его доброй братией. И вот последний взгляд на этот монастырь — и, наконец, показались только крестики и потом совсем из виду потерялись».

* Пиво это обыкновенно настаивалось на листовом табаке. Это рассказывал сам Решетников. <Примеч. Г. И. Успенского.>

Ф. М. возвратился в Пермь в 1857 году. Ему в это время было 16 лет.

V.

Это трехмесячное пребывание Решетникова в монастыре имело весьма дурное влияние на его развитие. Помирившись по необходимости, как видели мы, с непривлекательными монастырскими нравами, он должен был невольно подчиниться и философии этих нравов, мудро примиряющей ломание заборов со спасением души; вследствие чего простота и искренность его суждений о людях, их поступках и самом себе на долгое время, лет по крайней мере на пять, затемняются вычурностию и неискренностию семинарской полуобразованности. Упомянув в своих записках, с полною откровенностию, о том, что пиво пить было весьма приятно, он тут же прибавляет: «*но видит бог*, что я, во время жития моего, хоть бы одну каплю вина выпил». Эта приписка, это воззвание к богу при упоминании только о вине, тогда как при упоминании о пиве воззвание это оказывается ненужным, — эта приписка явно монастырского происхождения; три месяца назад Решетников не написал бы этой лже-смиренной фразы. Таким странным оттенком отмечены все дальнейшие заметки его, писанные по возвращении в Пермь. Так, например, в доме дяди, где поселился он снова, жила девушка, дочь бедной вдовы, вместе с своею матерью. С этой девушкой Решетников был знаком с самого детства, и она ему очень нравилась. Впоследствии мы скажем об ней подробнее, так как она еще раз встретится нам в жизни Ф. М. Теперь достаточно сказать, что она ему нравилась. Но когда это заметили, и дядя в шутку сказал ему однажды, что он отдаст ее за него замуж, то Решетников, под влиянием лжецеломудренных монастырских взглядов, приходит в негодование и пишет: «Я не могу взять за пример женщин и не могу соблазняться примером их. Бог знает, что я имею усердие к его великой церкви и в век буду стремиться к его церкви, и будет время, когда я уйду в монастырь, в уеди-

нение, и там буду молиться небесной невесте, пресвятой богородице и приснодеве Марии...» Между тем как до монастырского житья он бы просто, искренно сказал, что ему «стыдно» толковать об этих предметах.

Жизнь в доме дяди и тетки пошла прежним порядком, и хотя о битье нет уже помину, но также не видно, чтобы с ним обращались особенно ласково. Решетникова опять отдали в то самое училище, из которого его услали в монастырь, и притом он должен был поступить снова в первый класс.

Вот отрывок из его записок, из которого читатель может судить о том, какова была жизнь Решетникова у родственников и, главное, до какой степени три месяца ссылки исказили в нем прежнюю искренность взглядов на себя, на родных и на товарищей.

«Здесь (т. е. по возвращении в Пермь) я видел всё неприятное. Опять тетка ругает меня, и бог знает, за что она меня ненавидит, насказывает дяде то и се, и тот ей верит, ругает и проклинает, и при сих-то горьких счастиях я дома всё молчал... я занимался богомыслием и терпел... когда уже чуть-чуть слеза не выпала из глаз. Когда-либо тетке скажешь слово, она говорит: „что ты на меня кричишь?“ — и ругается, что я неладно говорю и не могу ей лучше говорить. Как же тут не молчать, ежели я говорю неладно? Но ежели же молчать, то она ругается, что я молчу, и вот какое положение мое! Да еще не дают учить мои уроки: „делай то и другое“ — и потом ругается. Кто ни придет к ней, всякому наговаривает на меня, что я не говорю с ней, или не делаю ничего. Но ежели кто вообразил и был бы на моем месте, то узнал бы и поверил, в чем дело состоит; но они верят ее словам и думают, что это правда. Бог с ними, а пока у меня есть силы и возможность, буду терпеть и в молчании призывать моего господа и просить его милости, ибо к кому нам, грешным, прибегать, как не к нему. Боже, спаси меня ныне и даждь терпение мне во дни скорби моея, да не погибнет душа моя до конца; *спаси мя* и *тетку*, и обидящих мя, спаси и помилуй, и вечной их обители сотвори, помилуй по милости

твоея, *якоже* помиловал праотец наших *Адама* и *Еву*, да к тебе всегда воиием: помилуй нас, господи, владыко наш и благодетелю, и тебе славу воссылаем вовеки. Аминь».

«Но вот случилось в жизни моей происшествие. Не только в новейшее время, но даже и в древние времена, по заведению иностранцев, открыто и у нас в России играть в карты. Этим *основывается* наша публика господ. В этом кругу был и дядя мой, и он иногда для увеселения скуки занимался сим увеселением. Тетка очень не любила это. Странно очень то, что тетка, лишь мужа ее не будет дома, скучает и не спит, хоть он приди в восемь часов утра. Когда же он придет, она начинает его ругать, зачем он играл в карты. Кому такие выговоры, *особенно от женщины*, понравятся? Подумать надобно, сколько тяжело сносить тому укоризны, кто своим трудом кормит всё семейство! Не один мой дядя играет (он не играет, но еще учится), но и все почтальоны. *Что же учить женам мужей*, которые вполне по своему образованию, частию от наставников, частию от публики, могут дать тысячи наставлений и полезных предметов своей жене?»

Далее описывается весьма неприятная сцена, происшедшая между родственниками Ф. М., причем были и удары, наносимые *долготерпеливым и кротким* мужем своей жене, и требование последнего, чтобы жена шла вон, куда ей угодно.

«Но, — продолжает Решетников, — она *улестила* его и он *помиловал* еще ее. Я, *взирая на жизнь их*, жалел их обоих и *укреплялся на молитвы*, которые, может быть, помогут мне и ихнему прощению во грехах. (Смотри сочиненную мною молитву*)».

Далее вот что говорит он о своих училищных товарищах:

«Кроме того, печально мне смотреть на братию мою, учащуюся со мною: все наполнены хитрости, обмана и богохульства, что должно быть непростительно в наших летах.

* Молитва эта находится в приведенном отрывке. <Примеч. Г. И. Успенского.>

Но бог милостив еще к нам. Даже К. (ученик) уже прилепился к сетям дьвола. О, сколь ныне свет развратился! *Даже младенцы, недавно выступившие в свет божий, и те хулят имя господне и не страшатся суда всевышнего».*

Мы с намерением привели целиком эти отрывки, чтобы читатель сам мог судить, до какой степени упал и извратился в Решетникове даже и тот уровень его развития и понимания, который был заметен у него прежде. Мы могли бы привести здесь целые десятки страниц его рассуждений о грехах, которые он научился видеть чуть не на каждом шагу; его рассуждений о возвышеннейших предметах, изложенных им со слов монастырских послушников, если бы в этих рассуждениях было возможно понять хоть две-три строки, поставленные рядом. Читая эти страницы, совершенно понимаешь, почему тетка возненавидела Ф. М. Это была простая женщина, не понимавшая умозрений своего питомца, который, пожив в монастыре, настроился смотреть на таких бедных людей, как его воспитатели, свысока и безучастно, повторяя по временам: «боже, прости им, не видят бо, что творят». Такое искажающее влияние ссылки было тем особенно пагубно для развития Ф. М., что он искренно веровал в эту вынесенную из монастыря мораль и действительно полагал, что теперешние мнения и мысли его — сама истина.

От такого изуродования своей мысли Ф. М. освободился нескоро, равно как и от другого не менее губительного влияния — среды мелкого чиновничества, о котором мы скажем ниже.

В этих «богомыслиях и умозрениях» прошли 1857 и 1858 годы. Эти два года посвящены были чтению книг духовного содержания, переписке с одним из родственников по тем же возвышенным и обоим им недостаточно ясным и доступным вопросам. Мы не приводим этих писем, боясь утомить читателя, ибо, при неясности и запутанности самой мысли, изложение этих писем и рассуждений есть верх неестественности и вычурности. В продолжение этих двух лет

любимыми занятиями Ф. М. было ходить по церквам, петь на клиросе, слушать проповеди и сочинять такие же проповеди самому. Впрочем, даже и в это время, нельзя сказать, чтобы такое якобы религиозное настроение поглощало собою всего Решетникова.

Иногда любил он отправиться порыбачить за Каму, где сходился с народом и узнавал жизнь и нравы крестьян, бурлаков.

В 1859 году воспитатели его переехали в Екатеринбург, где дядя получил место помощника почтмейстера. Ф. М. поместился на частной квартире. Оставшись теперь на свободе, не затрудняясь ученьем, так как приходилось повторять старое, Ф. М. как будто очнулся, ожил; в записках его нет уже рассуждений о непостижимом, а напротив, идут живые очерки лиц, с которыми ему теперь пришлось жить одному. Он делается простым и спокойным летописцем окружающей его жизни, описывает городские происшествия, пожары *, ездит рыбачить за Каму, где с простым народом проводит целые ночи. «Часто, — говорит Ф. М., — случалось, что я, сидя на реке в лодке, глядел куда-нибудь вдаль; глаза останавливались на одном месте, в голове чувствовалась какая-то тяжесть и вертелись слова: «как же это? отчего же это?..» и в ответ — ни одного слова. Очнешься и плюнешь в воду; начнешь удить и думаешь: «ах, если бы у меня были деньги, я бы накупил книг много-много, я бы всё выучил!»

Эти немногие месяцы пятьдесят девятого года были весьма благотворны для него. Несколько извратившаяся мысль отдохнула на непосредственном восприятии жизненных впечатлений, из которых, быть может, вышли впоследствии лучшие его произведения. Но, к несчастию Решетникова, это благодатное время, когда мысль его начала было снова

* Во время пожаров, бывших в Перми в 1859 г., Ф. М. нанимался по ночам караулить дома обывателей, за что получал 20 коп.— «потому что,— говорит он,— у меня не было денег». От этой работы он «нажил» рубль двадцать копеек. <Примеч. Г. И. Успенского.>

выходить на настоящую дорогу, продолжалось не более полугода, а именно с февраля 1859 года по июнь. 25 июня он кончил курс уездного училища и «получил аттестат с отличными, хорошими, а из арифметики и геометрии достаточными успехами», после чего ему опять нужно было вернуться в дом родственников, живших в Екатеринбурге.

VI.

Ему, повидимому, сильно не хотелось этого; он хотел поотдохнуть лето, поглядеть на других своих родственников, живших в разных местах Пермской губернии; но в том кругу, который так хорошо характеризовал себя вышеприведенной фразой — «между нищими и средними», — для отдыха не было свободной минуты, и, следовательно, такие мечтания Ф. М. не могли осуществиться. Еще прежде нежели он успел окончить курс и получить аттестат, воспитатель поспешил разрушить эти мечтания письмом, в котором говорилось:

«Душевно радуюсь, что оканчивается учение твое, но теперь надо подумать об определении твоем, а не о гулянке. Тебе хочется повидать Алексея в Тагиле, но что из этого выйдет, я наперед скажу: то, что ты, на первый даже день, должен иметь свою пищу по случаю бедности и нетрезвости его... Думай-ко лучше о службе, а не о прогулке своей».

Таким образом, ехать в Екатеринбург и тотчас поступать на службу для Ф. М. было делом неизбежным, и на другой день по окончании курса, он, скрепя сердце, отправился в дорогу. «Не могу вспомнить,—пишет он в своих заметках,—в каком положении я находился. Ужасная скорбь и скука находили на меня каждый день. Мысль, что я лишился любимого мне города (Перми), может быть, навсегда, ужасно давила мое сердце... Всё любимое исчезло из моей памяти. Новый, чуждый город, новые лица, вещи, служба, *которую я не любил с самого детства*, всё это сделало Екатеринбург для меня отвратительным».

Почти тотчас по приезде в Екатеринбург он подал прошение об определении его в уездный суд (28 июля 1859 года) и стал заниматься в этом суде с жалованьем по три рубля серебром в месяц.

Мелкая чиновничья среда, в которой пришлось жить Ф. М., не менее среды монастырской повредила его развитию. Мысль его должна была тратиться на понимание мелких чиновничьих интересов, дрязг, забот, словом — всего «подьяческого» обихода, в то время, как известно, заплесневелого, затхлого. Мысли его стали волновать мелкие чиновничьи интриги, взятки, мелочные и беспрерывные огорчения и обиды. Как бы презрительно ни смотрел он на всё это, но, как человек, поставленный в эту среду необходимостью иметь насущный кусок хлеба, он невольно должен был проникаться ее интересами, должен был много терять от неразвитости и дикости новых товарищей.

Мы не приводим характеристик, которые делал Ф. М. своим многочисленным сослуживцам. Достаточно сказать, что все эти характеристики крайне для них нелестны.

Главным образом (как и в первых впечатлениях монастырской жизни) Решетников в своих новых сотоварищах был возмущен отсутствием понимания лежавших на них обязанностей. Как ни скучна была ему чиновничья жизнь, но в то же время он «гордился тем, что служит в таком месте, где решаются дела о людях», которым он может (как он полагал) сделать пользу, тогда как из канцелярских братий никто об этом и не думал.

Но покуда он переписывал бумаги, трудно было приносить пользу, и волей-неволей приходилось бесплодно негодовать на грязь и плутни окружающей среды. Жил он в это время у своего воспитателя, которому отдавал получаемые три рубля, помещаясь на полатях, куда по временам дядя адресовал ему: «Я тебя, шельма! Что ты там не сидишь смирно!..» Но и сидя смирно, Ф. М. мог сколько угодно думать, читать всё, что попадалось, вспоминать прошлое и обсуждать настоящее, словом — быть до известной

степени покойным, т. е. «одним». Результатом этого одинокого сиденья в 1860 году явилась поэма в трех частях, в стихах, под названием — «Приговор». Поэма эта, написанная совершенно неудобными для чтения стихами, как нельзя лучше изображает беспомощное состояние дарования Решетникова, связанного по рукам и по ногам всеми одуряющими влияниями целых девятнадцати лет его прошлой жизни. Содержание этой поэмы таково. В уездном городе, описанном довольно подробно и хорошо, живет судья; в доме у него живут дворник и воспитанница, и все эти три лица, т. е. судья, дворник и воспитанница, мрачны, скучны, угрюмы; а судья и дворник, кроме угрюмости, носят еще какую-то тайну в душе. Начало поэмы написано, очевидно, под влиянием последних, самых свежих впечатлений, вынесенных из знакомства с грязной чиновничьей жизнью, и потому герой поэмы, таинственный и молчаливый судья, является сначала простым взяточником, у которого на душе есть грешки и который очень хорошо знает, что есть так называемые ревизоры. Но, думает Ф. М., поэм на тему о взятках и притом таких таинственных, какую начал он, никто из настоящих писателей не писывал, да и наказать взяточника, обирающего народ, просто ревизором ему, глубоко возмущенному господствовавшим в то время грабежом, кажется малым, — и вот тут-то на помощь ему являются взгляды, вынесенные из монастыря, вследствие чего выходит, что дом судьи потому так мрачен, что воспитанница живущая у него и не знающая, кто ее отец, есть не воспитанница, а родная дочь, прижитая судьей с замужней женщиной, которая уже умерла. Этот грех мучает судью со дня рождения дочери. Дворник потому мрачен и «вздрагивает, оставшись один», что он помогал судье спровадить беременную женщину (мать воспитанницы) вместо богомолья в деревню, где она и родила. Всё это — мораль монастырская, и, судя по окончанию этой поэмы, нельзя не сказать, что мораль эта сильно изувечила простоту и искренность мысли Ф. М. Конец поэмы такой: на судью, который запутан во

взятках и в проступках против вышеупомянутой морали, автор насылает, во-первых, ревизора, во-вторых, в день появления ревизора, сгорает дом судьи, подожженный дворником. Мучимый совестью, дворник решился сжечь место, где было столько обманов, и потом сам удавился в лесу. Судью разбивает паралич и его отвозят в больницу. Воспитанница выходит замуж за штатного смотрителя, которого она давно любила, и перевозит судью к себе; последний, умирая, рассказывает ей (всё с ужасом и необыкновенно длинно), что она его дочь, и речь его постоянно прерывается появлением бесов с вилами, крюками. За минуту до смерти является частный пристав, тащит судью в острог, но судья умирает. Во время похорон его поднимается страшная буря, гроб срывает с катафалка, судья вываливается. Но и этого всё еще кажется мало: на могиле его потом постоянно видны две черные кошки.

Сам автор чувствовал, что всё написанное им не совсем ладно. «Любезный читатель! — пишет он в предисловии к поэме. — Прежде всего прошу у вас полного внимания к каждому предмету, и потом терпения, потому что я наперед знаю нетерпение с вашей стороны. Несмотря на огромный объем поэмы, *вы найдете всё ни к чему не годным*».

Причину, побудившую его к написанию поэмы, он изображает в том же предисловии так:

«Человек, любящий честность и правду, свидетель многих сцен в разных бытах человечества, может сказать что-нибудь о людях, достойных или похвалы или порицания. Стыдно мне показать «Приговор» в настоящем его виде, теперь, когда я думаю об его переделке. А много, много, *должно быть*, и лишнего, чего я сам не могу приметить, думая, что всё связано с предыдущим и последующим, поэтому-то я и прошу вас, читатель, быть снисходительным к «Приговору», читая, делать заметки, подчеркивая те слова, которые не нужны, грубы, без энергии и не обработаны рифмой, как это сделал один читатель в начале ее. Я прошу об этом читателя с истинным уважением. Судить умеет

всякий без различия, и я буду очень рад послушать мнение всех моих читателей».

Но на это воззвание о нравственной помощи отзывов последовало очень мало. Один читатель подчеркнул два слова карандашом, другой написал сбоку: «это что-то серьезное», а третий сделал весьма неопределенное замечание на словах. «К сожалению, — пишет Ф. М., — один читатель, прочитавши эту поэму, не сделал ни одной заметки, а только на словах сказал: «*в середине много лишку*», а что именно лишнее, того не потрудился указать. Это очень досадно для меня. *Я бы рад был сказать ему благодарность, если бы он положил зачеркнуть все строчки поэмы, что было бы для меня легче, нежели его чтение про себя, без всяких для меня нужных заключений*». В конце поэмы он просит читателя *пожалеть** его, если она плоха и если в ней много наврано.

Такой же характер трудной работы мысли носит и драма в *шести* действиях, написанная стихами (там же на полатях), под названием — «Панич» (фамилия действующего лица), с тою только разницею, что здесь монастырским взглядам дано гораздо менее места, чем в «Приговоре». Герой поэмы — злодей, разбойник и убийца, сосланный за грабежи и разбои на каторгу, возвращается благополучно на родину, с целию добить остальных своих врагов, и потом столь же благополучно уходит назад.

И всё-таки свободный угол на полатях сделал ему большую пользу. «Сидя смирно» в этом углу, Решетников получил возможность одуматься, прийти в себя. Хорошо уже и то, что он стал писать. Кроме упомянутых двух пьес, в письмах и дневнике его говорится еще о многих произведениях, которых мы не нашли в бумагах Решетникова и которые написаны всё-таки здесь же, на полатях: — «Черное

* ...Виноватого меня
Вы, ради бога, пожалейте!
(Окончание поэмы «Приговор»).
<Примеч. Г. И. Успенского.>

озеро», «Деловые люди». Эти произведения, насколько можно судить по дневнику Решетникова, имеют уже чисто обличительный характер и относятся, по времени, к 1860-му и началу 61-го года.

Переход в новых произведениях к направлению чисто обличительному совершился в Решетникове под влиянием перемены должности. В 1860-м году его определили, в том же уездном суде, помощником столоначальника горнорабочего стола. Это обстоятельство сделало его более самостоятельным, чем прежде, и дало возможность, хотя отчасти, применить на деле собственные взгляды на службу, на важность обязанностей перед людьми, участь которых он теперь мог решать сам. «Мне страшно казалось, — рассказывает Ф. М., — решать участь человека... и я стал читать бумаги и дела, заглядывал в разные места, читал разные копии, реестры и всё то, что ни попадалось на глаза. Когда я был дежурным, то рылся везде, где не заперто, и узнал здесь очень многое».

Натолкнувшись при этих поисках на множество плутней, послуживших потом темою для вышеупомянутых обличительных произведений, Решетников в то же время пополнил свое знакомство с народом, узнав из этих канцелярских бумаг всю подневольность простого человека, всю зависимость этого человека от маленькой высшей власти, подобно тому, как прежде, в побегах, при личном знакомстве, на Каме, на заводе и даже в школе, где он учился и дружился с детьми этого же самого простого народа, он узнал его бедность и труд.

Таким образом, благодаря относительной свободе, приобретенной им на полатях и в перемене должности, в сознании Ф. М. начинает понемногу выступать совершенно ясная цель и потребность — приносить ближнему *пользу*, помощью другой не менее сильной и настоятельной потребности — литературной деятельности. Сильное влияние относительно укрепления в Ф. М. этой потребности и необходимости *делать пользу* бедному человеку имел один мастеровой

Екатеринбургского монетного двора. Он очень любил Ф. М., знакомил его с бытом рабочего люда, советовал ему жить честно, не якшаться с пьянчужками и взяточниками. По мере того, как в нем укреплялось сознание, что помощью своих писаний он может сделать кое-что *полезное*, уездный суд и Екатеринбург ему стали надоедать, и явилось желание (которое, впрочем, едва ли не было у него с первого дня приезда в этот город) переменить службу и жить в Перми: там можно читать книги, там у него школьные товарищи, там, наконец, та самая девушка, которою он, два года тому назад, «не хотел соблазняться», но которую теперь, опомнившись от монастырского чада, снова любил так, как любил, когда она была еще ребенком. И вот он задумывает перейти в Пермь.

К этому времени относится длинное письмо Ф. М. к своему дяде, на время командированному из Екатеринбурга в Кунгур. В этом письме Решетников высказывает своему воспитателю вещи, которых никогда бы, по его словам, «не сказал в лицо».

Вот отрывки из этого письма:

«Простите меня, если я пишу вам огромное письмо; оно будет коротко (в сравнении) с тем, что я хотел бы написать, излив вам всё мое чувство, что я чувствую теперь, чего желаю, чего не сказал бы в лицо и что я в своем положении могу только написать...

Пишу вам то, чего вы не видели во мне, рассуждая обо мне людям напротив. В вас я более, чем в другом, вижу сторону рассудительности и потому хочу сказать то, что уже могу сказать. Я вижу в вас сторону добродушия, а иногда (может быть, и всегда) любовь отца.

Теперь я взрослый юноша и понимаю себя и других, и хотя не обучался в гордых салонах, и не знаком с паркетами, однако, могу по крайней мере писать не хуже других. А за это я должен отдать вам, любезный тятенька, справедливую благодарность и благодарить со слезами.

Вы знаете мою жизнь, как и я ныне ее узнал, и знаете, какое широкое поле горестей было в ней, сколько бедствий

извлекалось из одного источника этого зла, и зло это— я. Но вы исцелили всё это; теперь остается светлый путь впереди. Благодарю вас, благодарю...

Но посмотрим внимательнее на оставшееся семя этой горести и путь впереди.

Я освободился от несчастий посредством вас: направил себе дорогу к жизни вами, поступил в общество людей себе равных по образованию, служу с ними и заслуживаю любовь. Это внешняя сторона. А внутренняя? Совсем не то! Во мне нет тех наклонностей, какие были до 19-летнего возраста, когда я был обуздываем другими и не обуздывал себя; (теперь) у меня обязанности, неся которые на себе, я должен оберегать собственность других. — это обязанность служебная.

Но проступки наши наносят нам порчу и гнетут всю нашу жизнь. Так и со мной. Освободившись от бедствий, находясь уже на службе, и *чего бы кажется? всем доволен;* но когда вспомню прошедшее, то внутренно негодую на себя, за прежние годы, более за то, что они лишили меня, во-первых, вашей любви и, во-вторых, пути к просвещению, — *знать больше и всё.* В этом единственно виновен я, и если бы знал, что я должен быть чиновником через 6 лет, то, наверное, на 13-летнем возрасте не сделал бы того, чем теперь я душевно страдаю. Это другая сторона моей жизни. Я ею скучен при своем взгляде на вещи. В служебном отношении я чувствую еще более горечи. Во-первых, мне скучно. Не знаю, отчего скучать молодому человеку, *огражденному всеми средствами довольства.* Многие смеются над тем, что расстаться с милым городом не беда, что в нем давно скучно, что лучше искать новых приключений, что это глупо... Всё это, господа, я знаю, но кто может понять глубину моего расстройства? Во-вторых, я даже потерял всякую надежду на перемещение меня из Екатеринбурга в Пермь. Губернатор не был, да если и будет, то к нему не доступишься. Впрочем, я к доступам смел, но он едва ли будет в наш город...

Потом, служа в суде, я, кроме столоначальства, никакой не вижу впереди карьеры. Я вполне понял службу уездного суда, и она давно мне наскучила. Мне желательно знать больше в других местах, служить в виду губернского начальства. В низшей инстанции не научишься доброму, кроме взяток, которые марают нашу честь и совесть. Итак, вот в каком положении я нахожусь. *Не знаю, как мне вырваться из этого хаоса*!

Далее, домашняя жизнь не очень красна. Я не виню ни вас ни маменьки, зная, что всему виною я, но я давно исправился, и кажется можно (меня) полюбить. Не думайте, что я молчалив, то значит горд. Веселость моя исчезла вместе с горем, постигшим очень рано. Я уважаю и люблю вполне обоих вас, и не рассчитывайте на мое молчание, звуки голоса * и не печальтесь этим. Верете, я с вами не расстанусь, пока (живу) в Екатеринбурге, и если по вашему ходатайству я буду в Перми служить, то, поверьте, я никогда не забуду вас. Это моя верная и искренняя любовь, которой вы можете несомненно верить, и я ее сохраню до гроба».

Письмо это переполнено самыми нежными излияниями и признаниями в любви, обращенными к дяде и тетке в стихах и прозе. Несмотря на общий грустный тон письма, в конце его у Решетникова вдруг вырывается наружу целый поток самых живых, веселых желаний. Как будто забыв суровость своего дяди, который вообще не любил этих длинных разглагольствований, он начинает его расспрашивать, как живет такой-то дедушка, как живет его семейство, подросли ли и хороши ли собой какие-то девушки, которые живут в Кунгуре и которых он в детстве знал маленькими. «Теперь,— пишет он,—я думаю, они уже большие, или замужем; особенно та, которая, в наших детских играх била меня, конечно в шутку, по лицу. Напишите имена всех их.

* Т. е. не обижайтесь моим *молчанием*, суровым звуком голоса. <Примеч. Г. И. Успенского.>

Что эти девушки умны или глупы? Я думаю, вы взглядом можете отличить доброту и невинность, которая пленяет, ласкает собою человека... Ту прелестную улыбку, которая придает окраску хорошо сложенной голове, талии».

Таких задушевных, сердечных писем, в которых, помимо уяснения собственной личности, Решетников хлопотал о том, чтобы склонить дядю на согласие отпустить его в Пермь, — таких писем, судя по количеству ответов на них, должно быть было писано не мало. Но успех этих посланий, повидимому, был не велик, так как ответы на них были, примерно, такого рода:

«Неужели я-то думал, давая тебе по своей силе и возможности учение и образование, получать от тебя благодарность только излитую пером на бумаге, а не в лице моем и твоей тетки, которая няньчилась с тобою, оставляя все прочие попечения, и оба хотели нажить себе под старость утешение и замену в покойной жизни? А видим, что наклонность твоя явственно, как в письмах, так и лично нам говорит, есть от нас удалиться. Впрочем, и я принимал старания о приискании тебе должности в Перми, но всему делается препятствие; видно так угодно всевышнему. Прими себе в соображение, что неужели бы ты получил себе воспитание, если бы были живы твои родители? Право, это никак бы не могло случиться. Вот пример: посмотри в Тагиле на сына твоего дяди Алексея, коего он так хорошо воспитал, что и писать вовсе не умеет, и ко мне же преклонил голову, чтобы не сделать его прописным. Теперь он в поте лица трудится, тяжелою черною работою снискивает себе кусок хлеба и вдобавок еще оплачивает за себя подати и разные повинности. А ты у меня от этого ига и бремя изъят, да еще жалуешься на провидение всевышнего и судьбу и на то самое, что тебе дал я образование в низшем учебном заведении. Я не ладил и даже не желал *сделать из тебя поэта или какого-нибудь дурака*, а всегда старался сделать из тебя умного и образованного человека. Сознайся, не правду ли я теперь тебе пишу дрожащею своею рукою, которая, может

быть, столько на свете перевела чернил и бумаги, что я сообразить теперь себе не могу! А для кого именно? Ведь в том числе есть и на твое воспитание и ученье. Тоже и это всё уносило мое здоровье и сокращало жизнь мою, но я на то не ропщу, а прославляю бога, что он во всем этом мне помог!»

Такие письма, искренность которых Ф. М. никак не мог заподозрить, потому что хорошо знал, что дядя говорит сущую правду, что он действительно обманулся в своем воспитаннике и искренно огорчен этим, производил на Решетникова впечатление глубоко тягостное. Но несмотря на это, он никак не мог расстаться с своими мечтами и желаниями; они были точно так же искренни, как и огорчения дяди. Долгое время каждый из них отстаивал себя и свои взгляды, но, наконец, дядя понемногу начал сдаваться и уступать. Видя, что племянник продолжает еще прилежнее сидеть над своими сочинениями, он стал задумываться над этим несокрушимым постоянством, как будто начинал верить, что это племянник делает неспроста. Он уже не говорил ему — «какую черную немочь пишешь?», как говаривал это год тому назад, а кротко замечал: «Смотри, парень, как бы тебе не было худо». Мало-по-малу дядя до того озаботился этими непрестанными писаниями своего племянника, что решился пригласить и угостить какого-то местного литератора, лишь бы тот принял участие в угрюмом и мучающемся юноше, посоветовал бы ему, как сочинять. Сочинитель не посоветовал ничего хорошего, напротив, через несколько времени дядя узнал, что сочинитель, несмотря на угощение, задумал всех их, т. е. и дядю, и его жену, и самого Ф. М., описать в газетах. Это сильно разозлило дядю, он вновь вознегодовал на сочинительство племянника и однажды сгоряча «засветил ему оплеуху».

VII.

Почти целый год тянулась эта борьба племянника с дядей; наконец, в первой половине 1861-го года Федору Михайловичу удалось взять из уездного суда отпуск и уехать в любимую

им Пермь, на которую он смотрел, как на обетованную землю. Он надеялся отыскать здесь хорошее место, с жалованьем, которое даст ему возможность не нуждаться, с занятиями, от которых будет оставаться свободное время; это свободное время он надеялся посвятить ученью и сочинительству; кроме того, в Перми он рассчитывал найти строгих и понимающих литературное дело судей, которые бы дали ему благой совет, вывели его «из хаоса», в котором блуждали его беспомощная мысль и неопределившаяся сила.

Но Пермь, на первых же порах, плохо ответила этим надеждам.

По приезде в Пермь он поселился на квартире у какого-то родственника, отставного чиновника, и стал хлопотать прежде всего о месте.

До какой степени эти хлопоты, этот первый шаг к осуществлению заветных мечтаний, были трудны и утомительны, можно судить из того, что через два месяца по приезде в Пермь Ф. М. пишет в своем дневнике следующее: «Милый мне в Екатеринбурге губернский город стал теперь постылым». Мелкий канцелярский служитель, застенчивый, молчаливый, и притом без всякой протекции, он, в течение этих двух месяцев, с раннего утра терся без всякого толку в передних начальников разных канцелярий, испытывая на каждом шагу унижение от той же самой канцелярской мелкоты, которая позволяла себе смотреть на него свысока, потому что была мелкота «губернская». Обширный дневник Ф. М. на громадном количестве страниц переполнен описаниями этих мучительных скитальчеств по передним, вроде следующего:

«Целый час я дожидался пока отворят двери (в квартире председателя палаты государственных имуществ), и целый час ходил от одних дверей к другим, прося лакея отворить двери к его высокородию, но лакей говорил: «подождите!» Везде эта дьявольская фамильярность лакеев, чуть если видят — человек не чиновный, то и думают: — „Чорт тебя бей! Не великая ты штука, подождешь, а мне все-таки любо

смотреть, как я себя тешу, как ты поклоняешься мне!“ А ты стоишь да думаешь: — „Ишь ты как заважничался, собака этакой!“ Но что ни говори сам с собой, а всё-таки ждешь да ждешь — и наконец думаешь: „пожалуй, придется воротиться назад домой!“ Однако досадно... Лакей не пускает, а барин забился в кабинет, бреется поди еще, или пьет чай, как наш губернатор, целый час один стакан. Вот мука!»

Или вот другой отрывок:

«20 мая 1861 года. С рассветом мне представилось двадцатое число. Сегодняшний день был последним днем моего отпуска. Я ужаснулся тому, что я еще в Перми и никуда не определился. А между тем сколько было трудов и хлопот об этом переводе. В Екатеринбурге я надеялся на отпуск, как на отдохновение. Но здесь пришлось не до отдыха; постоянные заботы, ходьба к знаменитым лицам (надежда моих мыслей), отказы этих лиц со всеми неприятностями к моей личности и наконец бедственная известность об моей прежней подсудности, спавшей четыре года и проснувшейся вдруг, при моей просьбе о переводе, — подсудность теперь вполне известная в Екатеринбурге,— всё это ужасно сравнительно со всеми неприятностями службы в суде (уездном), где если и слышали о моей подсудности, но не верили. Это воспоминание надолго будет в моей голове, и надолго я должен стыдиться как товарищей моих по училищу, служащих в губернском правлении, так и товарищей по службе в уездном суде.

Но срок кончился и мне надо ехать обратно или подавать просьбу в казенную палату. Что если суд (Екатеринбургский) за просрочку поступит со мной по закону из недоброжелательности ко мне?»

Недоброжелательность суда, о которой упоминает Решетников в приведенном отрывке, возбудилась после его отъезда в Пермь по следующему обстоятельству. Мы уже упоминали об одном его произведении, под названием «Черное озеро»; это произведение было послано Ф. М. в Пермь, в редакцию «Пермских Губернских Ведомостей»; но там его

не поместили, и в отсутствие Решетникова из Екатеринбурга произведение это пришло назад, в тот же самый уездный суд, который, вероятно, узнал себя в этом произведении и возмегодовал, и потому, быть может, вслед за этим в Перми узнали о подсудности Ф. М. Это известие свалилось совершенно неожиданно. Он ходил в это время в канцелярию уголовной палаты и занимался уже там, хотя и без жалованья, как вдруг однажды один из его «врагов» (которые совершенно непонятным образом окружали в одно мгновенье всякого новичка, едва показавшего нос в мелкую чиновничью среду) явился в эту канцелярию и торжественно объявил всем сослуживцам тайну Ф. М. В описаниях своих встреч с людьми Решетников никогда не делал резких, необдуманных приговоров; никогда не поддавался личному ощущению, особливо негодованию, беспристрастно изображая вместе с дурными и хорошие черты встретившегося ему лица; но последнее происшествие, должно быть, так сильно потрясло его, что он не выдержал своего хладнокровия.

«Один раз,— пишет он в дневнике,— прибежал к нам в правление Г — н, эта шельма в белых брюках и жилете, как дьявол. Секретаря не было. Забежал в присутствие с докладной (Решетникова) запиской и кричит: „Вот какие люди к нам просятся. Смеют они проситься! Где секретарь? Пусть он выведет на справку его подсудность". И вывели подсудность без всяких постановлений!»

К этому огорчению, заставившему Ф. М. оставить службу в уголовной палате, присоединялись и огорчения от воспитателя его, который в письмах своих из Екатеринбурга продолжал доказывать, что мысль племянника служить в губернском городе и сочинять — мысль глупая и, кроме вреда, ничего последнему не принесет. На его жалобы относительно трудности достать место и на разные оскорбления, которые приходится терпеть во время этих исканий, он пишет:

«Ты бы должен принимать за благо уже и то, как с тобою обошлись председатели (таких-то и таких палат)...

Знай, что казенные должности ныне ужасно дороги, и я не советую тебе волонтерствовать из одного места в другое. Ведь волонтерство и ораторство ныне, право, мало в ходу; найдется несколько тысяч народа в сто раз ученее и умнее нас, (которые) тебе всё-таки прямо скажут: — „Мальчишка и даже болтун, помолчи“».

И вслед затем, не более как через два дня:

«Что же делать (что дела Ф. М. идут плохо), потерпи и перенеси с мое. Я вполне уверен, что тебя наполовину века моего недостанет, потому что *поэзия твоя для жизни служит вредом*»... «Я даю тебе совет,—с начальниками и старшими себе будь уважительнее и почитай их, а с товарищами будь развязнее. Если так же будешь обходиться в Перми, как жил в Екатеринбурге, то и там тебя не будут любить и уважать, и через это ты будешь несчастлив. Прощай — и много писем от меня не ожидай. Я принял тебя сорока недель, какие средства мне позволяли, по возможности, всё тебе доставил. Не ходил к родным помощи просить для твоего пропитания. Прощай».

В дневнике Ф. М., соответственно числу этого письма, помещено следующее:

...«Поэзия моя будто бы только вредит... Не знаю! Но если я пишу, то чувствую отраду... Я тогда спокоен и весел... Я пишу, не надеясь на барыши... Когда я умру, то пусть меня читают, судят, ругают... Если я пишу плохо, мысль моя необработана, везде сухо и горько, то пусть всякий поймет меня и мою жизнь, которую я испытал во всех видах... Что же делать, если я необразован, неотесан, груб, невежа, грубиян, забияка! Но что же делать, если неправда у нас ввелась уже в форму, люди сделались гордыми, своенравными...Остается только плакать. Молиться о них (о людях) не будет никакой *пользы*».

В этом отрывке Ф. М., несмотря на множество разного рода неприятностей, всё еще стоит за свое дело, за свое писанье; но история с «Черным озером» и последовавшее за ним открытие подсудности до того потрясли его, что он как

бы потерял и последнюю надежду на себя и свои литературные труды.

Воспитатель написал ему громовое письмо.

Вот отрывки из него:

«Я виделся с А. С. (сослуживец Ф. М. по Екатеринбургскому уездному суду), который мне объявил, что на докладную твою записку получено в полиции (уведомление), что, по случаю подсудности твоей, ты не можешь быть перемещен... Вдобавок А. С. сказал мне, что ты составил сочинение о «Грязном или Черном озере», где ты описал много поступков *губернских* начальников, за что тебя, этакого поэта, даже вызывали через прицензование в газетах...* *Из этого видно, к чему ведет наша поэзия, как не к погибели человеческой.* Напрасно строишь ты воздушные замки, которых нам состареться, а не видать; а этими неприятностями сокращались дни моей жизни. Неужели я с тою целию учил тебя, воспитал и определил на службу, чтобы из потомков моих кто-либо сделался клеветником на начальников? Поэтому еще нахожу средство последнее: окопировать тебя, и не желать себе более поэтов из племянников».

Это письмо, вместе с катастрофой в уголовной палате (когда г. Г—и объявил о подсудности),—письмо, полученное Ф. М. дня через два после происшествия, когда он еще не успел опомниться и прийти в себя, совершенно обессилило его.

Выписав подчеркнутые слова, он пишет в дневнике: «Поистине это правда... и подобные сочинения могут хоть какого отца огорчить и опечалить! Дурак С—в! Пусть это имя клеймит его!..Это письмо так поразило меня, что я весь день был в каком-то горе и печали... Даже у обедни, где служил архиерей, мысли мои блуждали по сторонам «Черного озера», готовили письмо оправдания дяде, рисовали образы бедных,

* Всё это выдумано, по всей вероятности, сослуживцем Ф. М. Описаны были уездные начальники, а не *губернские*; А. С. присочинил это ради того, чтобы через дядю, который знал хорошо чиновничью иерархию, посильнее отмстить Ф. М-чу. <Примеч. Г. И. Успенского.>

любимых моих тятеньки и маменьки! (О как я их люблю! Скучно без них.) В этой катастрофе я часто забывал о службе, и только громкое и хорошее пение здешних певчих выводило меня из этого хаоса моих мыслей».

Несмотря на огорченья, возвратиться в Екатеринбург, о чем не раз приходило Ф. М. в голову, было невозможно: одна мысль о возможности опять очутиться на полатях ужасала его, и волей-неволей он опять отправлялся искать места, и везде вслед за ним шла его подсудность. Из уголовной палаты она перешла по следам его в казенную, куда он уже подал прошение об определении, занимался там в канцелярии и ждал этого определения со дня на день.

Долго, утомительно долго тянутся эти хлопоты, эти беспрерывные отказы, это убийственное равнодушие, пустые, но мучительные придирки.

Наконец, после всевозможных мучений, Решетников пишет в своем дневнике следующее:

«10 июня 1861 г.

Слава богу, я определился. 9 числа об определении моем записали в книгу, касающуюся до службы канцелярских служителей казенной палаты, и вчера просмотрел прокурор. Наконец, мои многолетние желания исполнились, и я, с помощию божиею, определен в казенную палату по канцелярии. Один только бог был моим ходатаем. Ходатаем потому, что заступничеством его я, несмотря на все несчастия со мной, сколько враги мои ни старались не дать мне ходу по службе, и самый доступ к лицам палаты— он руководил теперешним моим переводом, вразумляя их о моем принятии. Эту руку милосердия его я признаю! благодарю его своей ничтожною верою в него, и верую с надеждою на будущее его покровительство, что всё это он делает к лучшему. Я восторгаюсь его благодеяниями и плачу от восторга, от тесноты чувств, вспоминая его ко мне милости».

Из этого отрывка видно, до чего измучился и исстрадался Решетников и с каким восторгом приветствует он

пристанище, добытое такими трудами. В довершение его восторга, даже воспитатель его, в ответ на извещение об определении, написал ласковое и радостное письмо, в котором между прочим говорится: «Наконец, поздравляю тебя с переменою службы; как ты желал, чтобы тебе быть и служить в Перми, — то и исполнилось. Но *пожалуйста поэзию свою оставь; она не совсем у места: и если надо за нее заняться, то совершенно основательно и с разбором каждое слово надобно одумавши вставить, так чтобы остатков от него не было.* Советую тебе заботиться о службе и уважать старших себе, на развратных людей не глядя, горячих напитков убегай, и будь ко всем вежлив и обходителен, тогда и тебя будут все любить и уважать. Одежу береги; на помощь мою не надейся, ты знаешь, что я тебя обучил» — и т. д.

Какую же собственно благодать приветствовали и Ф. М. и его родственники (есть письма других родственников), и чего же добился Ф. М. после стольких трудов и беспокойств?

Очень и очень немногого. «Меня посадили,—пишет Решетников,— в регистратуру. Вся моя работа не умственная, а машинная, состоит в записывании входящих бумаг, надписках на конвертах, отправляемых из палаты, и печатании их. Эта работа обременительна одному, и при получении пяти или шести рублей жалованья кажется вдвойне бременительной. Для ума же никакой нет пищи».

В конце того же июня месяца того же 1861 года он пишет: «за июнь месяц я получил 5 рублей серебром. Это неутешительно. Худо то, что работа машинная и не требует никакого ума». Наконец, в одной из последующих страниц своего дневника, он определяет свое положение одним, но весьма веским словом — «му́ка». «Думал было ехать в Екатеринбург, чтобы наглядеться на него, порыбачить. Но меня не пустили из канцелярии...» Все эти несчастные пять рублей он отдавал своему родственнику за стол и квартиру, оставляя себе несколько копеек на табак, который он курил постоянно. На книги, которых он так жаждал, у него не оставалось ни копейки, хотя в той же самой казенной палате

была библиотека, где книги отпускались для чтения с платою 1 р. сер. в год. Этот необходимый рубль Ф. М. приобрел, послужив еще месяц, за который ему заплатили шесть рублей. Жизнь его тянулась вяло, скучно.

«В палате мы сидим до 4-го часу и выходим только тогда, когда выходит председатель. Придешь домой, разумеется, после шестичасового сиденья устанешь — и как отобедаешь, невольно клонит тебя ко сну. Ляжешь и пробудишься часу в 6-м. Тут чай и опять тягость. Сядешь у окна и думаешь —что бы делать? Писать. И лишь станешь обдумывать, явится дедушка (так Ф. М. называл своего хозяина-родственника), начнет рассказ, или супруга его заведет с ним какую-нибудь сцену, невольно принужден будешь слушать и прослушать до 10-го часу, а там темнота. Надо заметить, что если дедушка начнет рассказывать, то вступлениям нет конца. Скучно слушать иной его рассказ, но должно слушать, не огорчая старика. Старик этот великодушен и таких милых характеров редко где можно найти. Со мною он добр до бесконечности, что видно из его ко мне расположения и ласк. Не знаю, что он чувствует внутренно, я (с своей стороны) всегда могу сказать ему: „О, добрый дедушка, лучше тебя я еще не находил людей!“ Только одно мне неприятно, что он смеется над моими сочинениями и *советует их бросить совсем*. По его понятиям я непременно должен сойти с ума. Я ложусь спать в 12 часов, а до этого времени хожу в нашем садике. Несмотря на тесноту (садика), я вечером хожу из угла в угол по маленькой тропинке, сделанной мною, или сижу на железном ведре. Любя уединение, я доволен и этою скучною, простою природою... В уединении душа настраивается, сердце бьется сильнее, самому кажется легче и свободнее, и в этой тишине, прерываемой разговорами соседей или бранью, ум работает и углубляется в беспредельное высшее; и во всем этом не чувствуешь утомления; когда же очнешься от этих фантазий, то чувствуешь силу сверхъестественную, силу поэзии, и тут непременно подумаешь, зачем не имеешь тех средств, кото-

рыми бы можно было жить сведя концы с концами; теперь же, получая жалованья шесть рублей, едва находишь в ящике какие-нибудь несколько копеек... А что подумать о платье, о будущем? Дрянь ты как есть и живешь не лучше нищего! Невольно приходит мысль: зачем я способен, и зачем в голову идут идеи и не дают покою? Всё-таки у меня надежда на бога. Пусть он делает, как знает и как его святой воле нужно... Утром в 5 часов я опять хожу по палисаднику, хотя есть одна неприятность — это роса, от которой мочатся сапоги и халат, но зато я хожу собственно уже для своего здоровья... Так и идет время... Если не слушаю рассказов дедушки, когда он молчалив и грустен, то читаю книги, книжонки и „Московские Ведомости", полученные недели три тому назад... От скуки рад заняться чем-нибудь».

Это однообразное времяпрепровождение изредка разнообразилось прогулками далеко за город за грибами, или на любимую Ф. М. Мотовилиху, в которой он узнал всю подноготную жизни заводского рабочего; прогулки эти сопровождались разными встречами и рассказами, которые Ф. М. описывает с обычною ему обстоятельностию и которые еще более обогащали его знанием жизни. Посещал он также своих знакомых, старых товарищей по училищу, сделавшихся чиновниками, и новых сослуживцев, и тоже подробно описывал эти посещения и встречи. Каждого встречавшегося ему человека он изображал в своем дневнике с полным беспристрастием, с полною любовью только к правде, инстинктивно боясь упустить какую-нибудь крошечную черточку. Но эта черта его ума, неизгладимо врезанная в него обстоятельствами жизни, в период самого раннего детства, черта, которая была у него еще тогда, когда ему было десять или двенадцать лет отроду, оставалась и до настоящего времени в той же силе, как была и в детстве. И тогда, прощая своих врагов, он умел уже относиться к людям так, как относился теперь. Десять лет, которые прожил с тех пор Ф. М. — в монастыре, в Перми и в Екатеринбурге, — не только не оплодотворили ее знанием, но, напротив, как уже видели

мы, постоянно искажали ее, заваливая разным хламом, из-под которого ей стоило великих трудов выбраться опять на божий свет.

Как видим теперь, не много помогла и Пермь.

Материального благосостояния, при котором бы он мог сводить «концы с концами», он не имел, и в этом отношении ему было даже хуже здесь, в Перми, чем на полатях в Екатеринбурге. Служба, от которой он всегда хотел научиться чему-нибудь, была самая мертвая, не дававшая никакой пищи уму, и, наконец, «знать всё», или хоть что-нибудь, — что собственно и нужно было ему, — на рубль серебром в год было едва ли возможно. Мечтания о «беспредельном высшем», которые могли быть определены и уяснены одним только знанием, продолжали попрежнему бесплодно волновать его мысль, мешая простому и сердечному взгляду на жизнь и на людей, который, как мы уже сказали выше, был у него и десяти лет отроду, был и теперь. Ничто с десяти лет в сущности не подвинулось в его развитии; ничто существенным образом не успело испариться даже из того, что забило и затормозило его развитие. Так, например, по-му свою «Приговор» он и теперь, будучи в Перми, считает чем-то, о чем можно долго думать, советоваться; это показывает, что в эту пору он не отделался еще окончательно от странной морали, вложенной в нее.

Несчастливилось ему также и насчет руководителей, которых он искал с терпением и настойчивостью, ничуть не меньшими тех, какие обнаружил он в необходимости найти место и кусок хлеба.

Необходимость узнать самого себя была также ничуть не меньшая. «Напишу П. К. П.,— пишет он в дневнике: — объясню ему свое положение (относительно жажды литературной деятельности) и попрошу его прочитать мое сочинение и сделать на него строгую критику, а более всего — сказать: могу ли я сочинять прозой или стихами?» П—в, бывший учитель Ф. М. в уездном училище и теперь служивший в одной с ним казенной палате, охотно согласился про-

честь произведение своего питомца, причем написал в ответ на его письмо следующую записку:

«Извините, что я несколько замедлил ответом на ваше письмо. Благодарю Вас за старую обо мне память и за то доверие, с которым Вы высказываете предо мной свои глубокие думы. Я с удовольствием готов прочитать ваши сочинения, но считаю в этом случае нужным предупредить вас, что мой суд, как суд очень обыкновенного человека, не должен быть для Вас путеводною звездою. Относительно внешней отделки я еще могу быть полезен Вам, что же касается до внутреннего построения, то здесь всякое стороннее влияние потребует переделки, а это излишний расход на труды, часто приходящиеся не по сердцу автору. Н. П.»

«...Слава богу! — восклицает Ф. М.: — я получил от П. письмо; теперь остается только отдать ему сочинение».

Сочинение это было — «Деловые люди», о котором, к несчастию, мы не знаем ничего, кроме того, что это произведение было обличительного характера*. В то же время другое свое произведение, «Приговор», он отдал на суд сослуживцу М., «который,— пишет Решетников, — очень дружен со мной, заметно любит меня, *зовет постоянно курить* и непременно что-нибудь расскажет о своей прошлой жизни или о палатской службе. Вот почему я и решился отдать ему прочитать «Приговор»... М—в похвалил поэму, сказал, что она ему понравилась, но что „надо убавить, много лишнего“».

Отзыв П—ва о «Деловых людях» был более обстоятелен и произвел на Ф. М. более благоприятное впечатление. Он сказал, что «прочитал и собирается написать рецензию, но всё некогда...» «Написано, говорит, порядочно—и высказывал свои заметки... Советует ее (комедию) положить пока,

* В рукописях Ф. М. мы нашли комедию «Судейкин». Комедия эта написана прозой и, судя по содержанию, очень подходит к «Деловым людям», о которых мы кое-что знаем из дневника. Одно ли это и то же, сказать трудно, но направление найденной комедии точно так же вполне обличительное. <Примеч. Г. И. Успенского.>

для того чтобы созрели мысли, и продолжать свое образование, пописывая что-нибудь... Советует писать лучше прозой... Впрочем, говорит, написана недурно, а всё-таки надо продолжать свое образование. Советует написать какую-нибудь статейку и послать в редакцию. Слава богу! — думал я, — один человек подал мне добрый совет в мою пользу. Теперь покажу ему другое сочинение, хоть „Приговор“».

Совет был действительно добрый, но к несчастию Ф. М., П—в, который даже и такими советами сделал бы для него несомненную пользу, очень скоро оставил службу в казенной палате и переехал в другой город.

Ф. М. глубоко сожалел об этом.

По отъезде П—ва он снова стал обращаться за советом к кому попало и иной раз попадал в ужасный просак.

В такой просак попал он, отдав свое сочинение председателю.

«Каюсь, — пишет он, в августе 1861 года, — что отдал ему (председателю) мое сочинение „Деловые люди“. Цель моя была та, что, во-первых, он обещался убавить жалованье, во-вторых, он, как умный человек, быть может, обратит на меня внимание и подаст благой совет. Поэтому я написал ему письмо, похвалил его за библиотеку, как за благодетельную меру для служащих, выставил свое бедственное положение, просил прочитать мои сочинения, из которых одно принес с собой, и, если можно, (просил) прибавить мне жалованья. К этому же меня понудило и то, что я собираюсь искать другую квартиру. 12 числа дедушка, бывши выпивши *и наскучив видеть, как я пишу сочинения, велел мне искать другую квартиру*. 14 числа я был у председателя и ждал его целых два часа. Он ходил на дворе, играл с собаками и смотрел в амбаре свои вещи, которые он продает, надеясь скоро уехать. Увидев меня, он спросил, что мне нужно? Я подал ему свое письмо. Он прочитал и сказал: „Мне, батюшка, некогда читать, я собираюсь в церковь, и вам советую тоже итти. Ступайте!“ — и он поворо-

тил меня. Я повторил ему свою просьбу на словах. „Мне некогда читать, — сказал он опять. — Я лучше вам советую заниматься, чем сочинять. Занимались бы больше в палате“».

Кое-как Решетников настоял-таки на том, что председатель взял его сочинение и обещал передать его для просмотра редактору „Губернских Ведомостей“, П—ну. Председатель приказал ему зайти за ответом через несколько дней, но когда в назначенный день Ф. М. явился к нему, то председатель сказал:

— Что вам нужно?

Решетников сказал.

— Мне некогда!— ответил председатель.— Вы видите— я занимаюсь? Ступайте к обедне... Я сам принесу (сочинение), — и не велел приходить. — «Дурак же я, — говорит Ф. М., — что отдал ему мое сочинение. Теперь он не только будет смеяться надо мной, но еще не обратит никакого внимания на мое бедственное положение. Пожалуй, еще и за этот месяц даст только 5 рублей».

Возвращая через несколько дней комедию, вместе с письмом, при котором была она доставлена Решетниковым, председатель сказал:

— Вы какие-то кляузы написали? Тут какая-то женщина учит мужа? Вам надо выбрать одно из двух: или сочинять, или служить.

Ф. М. всеми возможными способами старался скрыть от своих сослуживцев как свою просьбу к председателю, так и его суждения о его произведениях, но сослуживцы узнали и Решетников опять убит и огорчен.

«Ужасно тяжело мне было в этот день (день возвращения председателем рукописи). Сцена в палате (с председателем) мне и вечером почти не давала покоя. То слышались слова председателя: „кляузы“, то недоверчивость служащих. Всё вышло дрянь! Все говорят, что я глупец и больше ничего, да еще хочу выиграть перед начальством. Ах, если бы деньги! бросил бы я эту службу и все эти связи с служащим миром».

Вот какие были судьи и руководители Ф. М., которых он так желал и на которых так надеялся. В течение года он услышал одно доброе слово, от г. П—ва, а этот год был *двадцатый* в его жизни, и его не могла не угнетать мысль, что года эти проходят бесследно и дают ему одни только страдания.

Вот какими строками в своем дневнике заканчивает он этот год:

«Сегодня, 5 сентября 1861 года, я поздравил себя с двадцать первым годом моей жизни. А что я сделал в эти 20 лет? Ничего, кроме нескольких черновых сочинений... Кроме горя — ничего не было. Дай бог созреть моим мыслям и исполниться желаниям людей, читавших мои сочинения, и быть из них (сочинений) дельному, не для себя только, но и для пользы нашего русского народа. Дай бог мне терпение сносить ярем моей бедной жизни и жить в труде, без гордости, самообольщения, не увлекаясь мелькающими в воображении мечтами, а жить веря в провидение и так, как бог велит».

VIII.

Так прошел 1861-й год.

В течение следующего 1862 года материальная обстановка Ф. М., повидимому, стала еще хуже. С переходом на новую квартиру, к «чужим людям», получаемое им жалованье оказалось в высшей степени ничтожным. Вот его бюджет на новой квартире: «за квартиру — 1 р. 50 к. На говядину. 30 ф., по 3 к. сер. за фунт — 90 к. Хлеба на 60 к. и молока на 60 к. ... Буду жить, как бог велит».

«Служба становится трудная,— пишет он через месяц после вышеприведенной выписки: — сижу в палате до четырех часов, обедаю почти в шестом, да еще дома занимаюсь палатскими делами. А всё за 7 рублей. Дядя А—н писал мне: „Что за философия, что жалованья мало, я и женатый получал по 3 рубля, да жил же как-то". Поживи-ко ныне, попробуй! Впрочем, я доволен тем, что из семи рублей

у меня остается два с половиной рубля в месяц. *Зато я не ем уже ничего мясного*».

Не представляя никаких существенных перемен к лучшему в материальном отношении, 1862 год был для Ф. М. весьма полезен в отношении нравственном. В течение этого года ему удалось-таки найти двух весьма хороших критиков: одним из них была любовь.

Как и в прошлом году, продолжая в свободное от занятий время посещать своих старых знакомых и товарищей, Ф. М. однажды вздумал пойти в семейство той девушки, о которой мы раз уже упоминали по возвращении Ф. М. из ссылки, когда он «не хотел соблазняться примерами женщин».

Девушка эта жила с старушкой матерью довольно бедно, зарабатывая деньги шитьем на гостиный двор и занимая каморку. И мать и дочь обрадовались Ф. М. Он просидел у них целый вечер и, воротившись, пишет:

«Не знаю почему, а она (девушка) мне понравилась, в ней видна была робость, когда она глядела на меня, и если что говорила, то голос ее дрожал. Она ни о чем меня не спрашивала. Я долго любовался ее темно-каштановыми волосами, обвитыми вокруг маленькой головки, вспоминая время, когда она, бывало (в детстве), расплетала их и чесала. В простом сереньком платьице она казалась безукоризненно хороша.

В моей памяти мелькнули слова наших родителей, обещавшихся (в детстве) соединить нас навеки, отчего я тогда отстранялся... Я ужаснулся своего прошедшего. Зачем я дичился девушки, зачем ненавидел ее за ее длинные волосы, большие глаза?.. Мне сильно хотелось поговорить с нею наедине, но где и как — это трудно определить... И теперь, оканчивая записки, я вижу перед собой ее милый образ...»

С этих пор всякая новая встреча с этой девушкой, как бы они ни были редки и молчаливы, всё более и более укрепляет в сердце Ф. М. любовь к ней.

«Она мне еще больше понравилась,— пишет он после следующей встречи: — я начинаю на нее теперь поглядывать не шутя, и, кажется, я люблю ее...

...Я начинаю любить ее... Я ежедневно больше и больше думаю о ней...

...Вот уже двадцать дней, как я не видал ее; боже мой, как я измучился в первые дни, на первой неделе поста. Мне так и хотелось ее увидеть, отдать ей письмо, написанное стихами, в котором я объяснял, почему я прежде казался ей гордым, почему ныне стал чувствовать к ней влеченпе и что, несмотря на прежнее горе, я всё-таки любил ее, хоть и молчал об этом. Часто-часто из Екатеринбурга я переносился мыслью в их хижину, часто мне казалось, как бы хорошо полюбпть ее...»

Очень скоро, при содействии матери любимой девушки, дело любви было поставлено на практическую почву, и возник вопрос о женитьбе. При необыкновенно однообразных и утомительных занятиях, при сильном отвращении к образу жизни своих сослуживцев, таскавшихся по трактпрам, женитьба на любимой девушке могла бы казаться Ф. М. необыкновенным счастпем, нравственным отдыхом, и он наверное бы не устоял против этого счастия, если б в нем давно уже сильно и прочно не был вкоренен страх — опрометчиво решать «участь людей»... Жениться, взять девушку и, вместе с тем, взять на себя всё ее будущее — это казалось Ф. М. делом весьма серьезным. Потребность обсудить это дело основательно, беспристрастно, рассмотреть его со всех сторон, вновь воскресила в нем, опять-таки, ту же черту «правды», которая до настоящего времени продолжала теряться в мечтаниях о «беспредельном высшем», «сверхъестественном», в котором критики Ф. М. хоть и находили много «лишку», но всё-таки хвалили и за эти «сверхъестественные» мысли.

Любовь и мысль об участи любимой девушки отстранили весь этот хлам на задний план. И надо удивляться нравственной силе Ф. М., с которою он обуздывает свою страсть,

чтобы правдиво всмотреться в нее, в ее будущее, не церемонясь ни с собой ни с предметом своей любви.

28 мая 1862 года он между прочим пишет:—«„Я согласна (сказала мать девушки)... Я поговорю... Приходите завтра".

Великий господи!.. Постой! Постой! Дай опомниться! Я дома теперь. Не мешай пожалуйста, В. М. (сосед по квартире)! Ты уж больно выпил: кричишь, поешь, плачешь... Хорошо тебе, ты уже женат, живешь с женой, как живется, не чувствуешь сердечной тревоги. А я? Зачем как будто я не люблю ее? А как она прекрасна, мила! Два раза уговаривала остаться посидеть... как горячо, крепко пожала мне руку на прощанье! Зачем я не отдал ей письмо? Нет, я не пойду завтра! Я не хочу, чтобы мать сама устроила нас... Нет, я сам узнаю ее! Что мне в ее красоте?..»

Через несколько дней Решетников продолжает:

«Дай наперед посмотрю на нее как знаю... Она резва... В ее молчании заметно развитие... Из рассказов матери я заключил, что она успела воспитаться сама собой, иначе зачем бы ей пришла мысль итти в монастырь? Может быть, она только начинает любить меня. И вдруг слово о браке может удивить ее. Нет, ей не нужно говорить о браке. Ей скучно становится, если мать ее станет вспоминать мое детство. Ей надоело мое прошлое. Ей необходимо говорить со мной... Может быть, она ненавидит меня?.. Что за сватовство?.. И к чему оно?.. Я хочу только любить... может, всё изменится. Прав ли я, или нет? Сам не знаю. Что нужды! Пусть мы будем жених и невеста, пусть! Нам тогда будет свобода в разговорах. Что-то я, право, рехнулся совсем. Но она красива; я люблю ее... Но так ли я ее люблю, настоящею ли любовью? Нет! кажется, я мало люблю ее... Я только увлекаюсь ею. Я хочу ее любить истинной любовью... видеть в ней постоянного, настоящего друга... Я хочу, чтобы и она во мне видела такого же друга, чтобы нам не роптать... Пусть подумает. Через неделю я схожу, а теперь пусть подумает. За шитьем в молчании много можно передумать».

Этой критикой самого себя, своих ощущений, основанной на желании быть справедливым к другому человеку, переполнены страницы дневника Ф. М. в течение многих месяцев, в продолжение которых мысль его делается свежей и проще, желание определеннее. Наряду с любовью этой определенности и простоте мысли помогло еще и то обстоятельство, что Ф. М. в том же 1862 году удалось найти такого ценителя своих произведений, какого он сам всегда желал. Этот ценитель был некто Т., сослуживец Ф. М., человек отчасти знакомый с литературой и вообще понимавший больше, нежели все до сих пор бывшие судьи произведений Ф. М. Этот судья был хорош для Ф. М. тем, что хоть и любил ‹его› и был ласков с ним, но к произведениям его относился строго.

«В сочинении „Два барина“ Т. не нашел ничего хорошего. Разбирая каждое слово, он говорил: —„Вот тут нет стиха. Здесь непонятно. Нельзя понять, что такое *два барина*. Да и сочинение написано не стихами, а только под рифму“. Одним словом, он выказал много ума. Говорил о Лермонтове, Пушкине... а мое сочинение для печати не годится! О драматических сочинениях он сказал, что я еще не могу писать драмы, тем более стихами, каких (драмы стихами) никто еще у нас в России не писал. Советовал на первый раз написать небольшую повесть или рассказ... Советовал написать пока статью о библиотеке в казенной палате... Из его слов я замечал, что сочинения мои дрянь, одно увлеченье, без всякой цели... Не бросить ли их? Нет, я буду писать! Ах, если бы деньги! бросил бы я службу.

...Драму „Панич“ он не читал: „тут много написано, не хочется... Да вы оставьте их! Вы не можете писать драмы“».

Как ни суровы эти приговоры и как ни грустно было переносить их Ф. М., однако, он не может не сознаться, что в них есть доля правды.

«Т. прав,— пишет он через несколько дней после знакомства с новым критиком: — „Два барина“ дрянь... Они

давно мне самому такими казались. Еще когда писал, то думал бросить... Однако попытаюсь послать (в какую-нибудь редакцию), есть же и незанимательные стихотворения... Да! стихотворения, стихи,— а у меня-то что? Все говорят: не стихи и не проза... Что же такое? Господи боже мой! Как плохо быть бедному человеку со способностями!.. Опять: „со способностями". А кто знает, есть ли во мне способности? Может быть, это бред, глупость, как говорит мой дядя? О, если это скажет мне один из будущих моих редакторов и рецензентов,— я брошу всё и уйду! Буду жить в одной любви к всеблагому отцу моему и творцу...»

Есть строчки в дневнике Ф. М., где как будто проскальзывает обидчивость на приговоры Т., но скоро он убеждается, что Т. прав, и не может не слушаться его советов. Покоряясь им, он пишет рассказ *из заводской жизни*, повидимому, уж без «неестественных» фантазий, под заглавием «Скрипач»*, и статью о библиотеке, которую Т. переделывает по-своему. Эту статью Ф. М. несет к редактору «Губернских Ведомостей» г. П.—и приобретает в его лице нового советника, который хотя и «посмотрел с недоумением» на Ф. М., когда тот принес ему для прочтения свои драмы, но всё-таки был полезен ему, действуя в том же духе, как и Т. Он задал ему работу этнографическую: описать Пермь, ее нравы и обычаи, начиная со святок.**

Таким образом 1862-ый год в жизни Ф. М. можно считать одним из самых лучших. Любовь воскресила в нем и довела до высшей степени способность и потребность «не осудить» человека, а встреча с гг. Т. и П. направила эту способность на явления, которые толпились у Ф. М. перед глазами, на материал, которого у него было накоплено слишком много и который до настоящего времени Ф. М., повидимому,

* Этого рассказа мы в бумагах Ф. М. не нашли. <Примеч. Г. И. Успенского.>

** Статья эта помещена в 52 № «Пермских Губернских ведомостей» 1862 года. <Примеч. Г. И. Успенского.>

считал ненужным. Результатом этих влияний является драма в 5 действиях «Раскольник». Некоторые сцены в ней, правда, носят еще печать прошлых искажающих влияний. Так, речь раскольника написана стихами (чтобы стихи выходили вернее, Ф. М. купил курс стихосложения и проверял по правилам каждый стих), и в объяснении таинственной жизни этого человека в уединении, среди леса, примешана доля монастырской морали. Но Ф. М. уже тотчас по написании драмы сознается, что не совсем хорошо знает общественные и религиозные причины одиночества отшельника, говоря только, что он «слыхал, что есть старцы». Самая личность раскольника, впрочем, нужна автору для того, чтобы сгруппировать вокруг него недовольные типы из простого и рабочего народа, и здесь Ф. М. в первый раз является тем, что он есть. Заводские нравы, которым отдано в драме две трети места, изображены ярко, правдиво.. В побуждениях, руководящих этим народом в побегах с завода в лес к раскольнику, всё реально, просто, без малейшей примеси чего-нибудь из области «сверхъестественного».

«...„Раскольника“ я кончил,— пишет Ф. М. в своем дневнике.— Стихосложение Перевлесского мне много помогло, без него я решительно не мог писать стихов... *но всё-таки они не стихи*... Мне надо свободу! мне надо запереться для сочинений... Материала у нас очень много... Наш край обилен характерами. У нас всякий, кажется, живет на особицу (на свой образец), чиновник, купец, горнорабочий, крестьянин... *А сколько тайн из жизни бурлаков неизвестно миру?* Отчего это до сих пор никто не описал их? Отчего наш край молчит, когда даже и Сибирь отзывается?.. Я не могу в себе отличить таланта, пусть это скажут люди. Я знаю только, так по крайней мере мне кажется, что „Скрипач“ и драма „Раскольник“ написаны дельно. Это только для опыта. В них мало смелости. Пусть только эти два сочинения выйдут в свет, я буду знать, что я могу писать, и буду писать смело».

IX.

Из этого отрывка видно, что Ф. М. начинает, наконец, выбираться на ту дорогу, с которой он уже не сходил в течение всей последующей литературной деятельности своей.

Нам остается поэтому сказать еще очень немного о переменах во внешней обстановке жизни Ф. М., так как весь путь, пройденный его талантом, нами очерчен.

По мере того, как Ф. М. стал уяснять себе, что именно может сделать он своим дарованием, по мере того, как он стал верить, что дарование это у него есть, жить в Перми стало для него скучно и бесполезно. Явилась мысль ехать в Петербург, приняться за дело серьезно, учиться, служить.

Особенно пусто показалось ему в Перми после неожиданной развязки романа. По случаю приезда в казенную палату ревизора Ф. М. должен был проводить на службе дни и ночи, не имея времени часто посещать семью любимой девушки. Виделись они очень редко, хотя Ф. М. ни на минуту не забывал о предмете своей любви, продолжая анализировать свои к нему отношения. Среди этих-то размышлений и служебных хлопот он неожиданно узнает, что девушка, которую он любил, выходит замуж... «Господи! как мучительно и тяжело,— пишет он,— видеть ту, которую ты любишь, в тот день, когда подруги снаряжают ее к свадьбе, шутят исподтишка над тобой, и она сама вовсе не обращает на тебя внимания! Что я ее люблю, вижу из того, что каждый день думаю о ней, жалею, что не могу на ней жениться, потому что не узнал ее, хотя и писал в дневнике иной раз совсем другое... Быть может, она выходит замуж совсем не по любви?»

Чтоб удостовериться в этом, он отправляется в любимый домик; но визит этот был весьма неудачен. Мать и дочь приняли его так, что ему казалось, будто они хотели сказать: «зачем вы пришли?» Невеста была весела, а одна из подруг ее, кивнув на Ф. М., довольно громко сказала:— «всё еще похаживают?» Всё это глубоко его опечалило. Просидев молча четверть часа, он ушел и более уже не встречался с этой девушкой.

Пусто и одиноко стало ему в Перми. Единственная надежда на исход был ревизор, который полюбил Ф. М., занимавшегося у него на дому перепиской бумаг. Ревизор ценил в Решетникове хорошего писца и способного чиновника и обещал ему перевод в Петербург. Как и всякому, кого Ф. М. считал образованным и могущим дать ему «благой совет», он представил и ревизору для прочтения свои сочинения, прося похлопотать о помещении. В ответ на эту просьбу ревизор, уезжая в Петербург, сказал ему между прочим следующее: «Что касается сочинений, то вот что, Решетников, я вам скажу: *Вы писать не можете.* Я сам писал когда-то, но к чему это повело? Ровно ни к чему! Всех литераторов, таких как вы, ожидает нужда и голод... Вы не учились в высшем учебном заведении, вы нигде не бывали. Что вы можете написать? И для чего? Я не знаю, впрочем, ваших способностей, не знаю ваших сочинений, потому что вовсе не читал их». Ф. М. сказал, что он и жить не может без сочинений, что у него страсть.— «Мало ли что!— возразил ревизор.— Но надо надеяться и на рассудок». И в доказательство страсти, побежденной рассудком, ревизор привел себя, сказав, что и у него была страсть к картам, однако он преодолел, а теперь вот уже сколько лет не берет их в руки. Этот разговор кончился следующими словами ревизора: «Я вас постараюсь определить... Но теперь, через десять дней, вы должны сказать мне: будете вы сочинять или нет? Если вы будете сочинять,— вы останетесь здесь; если нет,— я вас переведу». Трудно было Ф. М. решить эту задачу. «Я не могу жить в Перми,— пишет он после вышеприведенного разговора: — мне надо новой жизни... Что сказать (ревизору)? Сказать, что я не буду писать — я должен его обмануть, и что тогда будет со мною? Сказать, что буду,— значит остаться в Перми... И бог знает, что будет со мною... Нет! скажу лучше: „не буду“— и стану ждать на это ответа... Сделаю для него всё, соглашусь, и тогда — будь что будет! Уеду... Но тихонько буду писать, *пока обстоятельства* службы и жизни *не прекратят* эту охоту... Ах,

если бы вы знали, что это за страсть! Что делать! Я так наделен судьбой, что не мог образоваться... Разве я не могу еще писать лучше? Я могу научиться... Мне хочется... Но служба? О, я не долго проживу этою мучительною жизнью!..»

Ревизор уехал в 1862-м году осенью. Целую зиму и весну Ф. М. терпеливо дожидался от него письма, скучая, волнуясь за будущность своего дела, с горечью вспоминая утраченную любовь. Наконец, весной 1863 года, долгожданное письмо, с разрешением ехать и обещанием места, пришло. Ф. М. распродал свои вещи, выпросил у родственников позволения разыграть свои часы, побывал у них, простился и, несмотря на то, что ему отсоветывали ехать, в июле месяце всё-таки уехал в Петербург.

«Когда я простился с друзьями,— пишет Ф. М. с парохода, на котором ехал в Петербург,— и когда пароход стал отплывать от берега, мне стало крепко грустно... От меня удаляется и милый город, удалялась милая река (Кама), которую я любил с детства, с ее бурлаками... Я любил на ней плавать, и когда рыбачил в детстве, подолгу задумывался над природой, мне чего-то хотелось, куда-то меня тянуло... На ней я провел горькую пору моей жизни, на ней узнал себя, сличая людей... Я был туп в то время, но я рвался быть лучше... В Перми я ничего для себя не сделал... Мое воспитание, забитость... даже любовь не принесла мне ничего хорошего... Был ли хоть один день с какой-нибудь надеждой? А любил я берег Камы, любил просиживать подолгу ночью у Архиерейского Ключика и любоваться тихою Камою, звездами и серо-темными тучами, отражающимися в воде; всплески рыболовов, закамские огоньки, лед, когда он шумит и ломает всё по пути... Да, любил я твою природу, Кама! Теперь ты катишь меня далеко, и бог весть — ворочусь ли я?»

В начале августа 1863 года Ф. М. приехал в Петербург, но и тут не сразу стало ему лучше; хотя, по протекции ревизора, он и получил занятия в одном из департаментов министерства финансов, но жалованья ему пришлось получать меньше, нежели он получал в последнее время в Перми,

а именно девять рублей вместо десяти пермских. Жил он поэтому в каморке, рядом с кабаком, и чтобы как-нибудь сводить концы с концами, стал писать небольшие очерки в «Северную Пчелу». Платили ему за них мало и неаккуратно. Один из сослуживцев его, брат Н. Г. Помяловского, уже умиравшего тогда в клинике, человек знакомый с литературным делом, надоумил его снести только что написанных «Подлиповцев» в редакцию «Современника», и с этого времени имя Решетникова сразу заняло высокое место. Материальные обстоятельства его изменились к лучшему, гонорар за литературный труд обеспечивал жизнь помимо службы, и, вследствие этого, скоро он вышел в отставку, а через несколько времени после того и женился.

X.

С тех пор, в течение восьми лет, он постоянно работал в больших и маленьких журналах, и каждое более или менее крупное произведение его возбуждало в обществе и литературе самые разнообразные толки. То он оказывался слишком большим, то слишком малым, то художником, то писарем, то мог — «проникать до корня», то оказывался необыкновенно поверхностным, скучным, длинным. Личное знакомство с Ф. М. для заинтересовавшегося в разъяснении этого запутанного таланта было почти бесполезно, а сам Ф. М. положительно терял некоторую долю своей литературной интересности. Он был угрюм, неразговорчив, необщителен, порой груб. От всех он сторонился, смотрел волком, ко всему и всем был подозрителен; редко-редко добродушная улыбка осветит это угрюмое лицо. Никаких блестящих фраз он не говорил, а если принимался рассказывать что-нибудь, то речь его касалась всегда предметов наобыденнейших, была длинна, расплывалась в мелочах и утомляла тем более, что Решетников говорил монотонно, «себе под нос», не выпуская из зубов коротенькой трубочки, отчего каждое слово отделялось паузой. Наблюдатель уходил ни с чем, чтобы потом, при появлении нового произведения Ф. М.,

удивляться попрежнему смешению в этом «совершенно обыкновенном» человеке великого и малого.

Теперь читатель, знакомый с прошлою жизнию Ф. М., видит, отчего был он угрюм, застенчив, боязлив; отчего потерял веселость, юмор, способность шутки. Жизнь посбила много дорогих цветов с его сильного таланта, ничем никогда не помогла ему развиться, хотя и дала взамен многого, понапрасну утраченного, полное знание народной жизни, уменье понимать ее глубоко и правдиво.

Не бросающаяся в глаза, скрытая, но истинная любовь к народу, желание ему пользы, добра были постоянными руководителями Ф. М. в работе. Вот что писал он Н. А. Некрасову, представляя ему своих «Подлиповцев»: «Таких людей, как подлиповцы, в настоящее время еще очень много не только в Чердынском уезде, Пермской губ., местности самой глухой и дикой, но и в смежных с нею — Вятской, Вологодской и Архангельской. Зная хорошо жизнь этих бедняков, потому что я 20 лет провел на берегу реки Камы, по которой весной мимо Перми плывут тысячи барок и десятки тысяч бурлаков, я задумал написать бурлацкую жизнь, с *целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам*. Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь в этом очерке невозможное для пропуска; по-моему написать всё это иначе значит говорить против совести, написать ложь... Наша литература должна говорить правду... *Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мной очерчивался образ Пилы во время его мучений*».

В бумагах Ф. М. мы нашли много подлинных доказательств этой истинной любви к человеку. Вот записка о каком-то пропавшем мальчике, с обозначением примет, выписанных из газеты, на случай — не удастся ли найти его; вот ненапечатанная статья о дурной пище чернорабочих, старающаяся кого-то убедить, что простому народу нужен свежий воздух. Между этими бумагами особенно интересно прошение, адресованное Ф. М. к санктпетербургскому обер-полициймейстеру. В прошении этом Решетников

рассказывает следующее. Вздумалось ему пойти однажды в концерт; прочитавши афишу и не заметив, что она вчерашняя, старая, он отправился в дворянское собрание, где, вероятно, в это время происходило уже что-нибудь другое. Городовой не пустил Ф. М. в подъезд; он пошел в другой, и там не пустили,— «прогнали прочь», по собственному его выражению. Ф. М. рассердился,— и когда на него прикрикнули: «куда ты лезешь? кто ты такой?»— «Мастеровой!» грубо отвечал Ф. М. Результатом такого ответа было то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый, без денег и кольца. «Довожу об этом до сведения вашего превосходительства,— писал он в прошении.— Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые — *не били народ*... Этому „народу“ и так придется много получить всякой всячины»... Из этих же оставшихся после смерти Ф. М. бумаг и записок видно, что ни на одну минуту его не покидало желание «научиться», развить себя. Он читал книги, делал из них извлечения, собственно для себя, и что мог — он сделал в этом отношении. А мог он уже очень немного: здоровье его было слабое; он уж в Петербург приехал больным, измученным... Смерть стояла не за горами, и 9 марта 1871 года он умер на тридцатом году жизни от отека легких. Вечная ему память от всех страждущих, «трудящихся и обремененных»!

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК.

(Страницы из одних записок)

I.

Года полтора тому назад печать и общество были, если помнит читатель, одно время сплыно заинтересованы так называемым куприяновским процессом, разыгравшимся в нашем богоспасаемом городе и сразу занявшим в ряду рязанских, харьковских и других, родственных по своему внутреннему содержанию процессов весьма почетное место. Подобно своим достойным сотоварищам начался он от совершенно ничтожного обстоятельства, так сказать, загорелся от копеечной свечи и, быстро достигнув громадных размеров, вытащил на божий свет великое множество самых темных и скандальных дел и делишек, совершавшихся, как оказалось, в среде так называемого образованного общества.

Я не имею намерения перечислять здесь все темные и скандальные дела этого процесса, так как, помимо утомительности этого труда, интерес скандала не имеет ровно никакого значения для предлагаемых читателю записок. Для пишущего их вся эта вереница обнаруженных безобразий интересна исключительно только относительно тех непривлекательных, но подлинных, неподдельных, ничем не

прикрытых желаний, целей, которые обнаружились, благодаря процессу, в человеке, обязанном, казалось, руководствоваться более широкими, более светлыми целями и желаниями...

Вялый, не всегда аккуратный исполнитель тех идей, за которые платит начальство, не сумевший наполнить своею личною волей даже тех пространств, которые отведены и дозволены для этой воли, слишком терпеливо скучающий с своими приватными идеями,— этот вялый, бесхарактерный человек вдруг оказался и смелым и сильным, ни пред чем не задумывающимся, ничего не щадящим на своем пути в таких делах и делишках, где не требовалось никаких ни оплачиваемых ни неоплачиваемых идей, где не требовалось ничего, кроме самых грубых, животных аппетитов.

Всё обилие скандалезных и темных дел процесса показывало именно всю ничтожность этих аппетитов, которые все сию минуту можно перечислить на трех пальцах, так их мало, так они просты и первобытны... Глядя на ничтожность той сферы, где интересующий нас человек является полным хозяином, невольно становилось страшно за микроскопические размеры, до которых доведена личность этого человека. Боже милосердный, как он мал, этот человек! Разумеется, с такими средствами и оплачиваемые и неоплачиваемые дела вечно будут оставаться без результата или очень остроумно сводиться на ноль...

Вот каков был смысл этого процесса.

Много было по поводу его шуму и толков, но ни на кого он не произвел такого сильного впечатления, ни для кого так много не значил, как для пишущего эти строки. Впрочем, быть может, и я бы, подобно другим, впоследствии позабыл его, если бы сам не попал в этот процесс каким-то свидетелем каких-то пошлостей и, благодаря этой неожиданной связи с очень маленьким человеком, не задумался о себе, о подлинных размерах моих сил, моих личных желаний,— сравнительно с теми, которые признавал я за собою до сих пор.

Я позволю себе два слова о том, чем именно был я до сих пор.

Лет шесть-семь тому назад один из моих деревенских соседей, человек, не отличавшийся никакими умственными богатствами, совершенно случайно так метко определил мою особу и мою профессию, что кличка, данная им мне, признана за мною всеми единогласно, и я ношу ее в моей семье и в кругу соседей даже до настоящего времени. Подъехав как-то вечером к воротам моего хутора, он попридержал лошадь и просто от нечего делать спросил дворника. — «Что дома ваш... *читатель-то*?» Случайно мне пришлось видеть из окна физиономию дворника: не более одной минуты на лице его было как бы некоторое недоумение, происходившее, очевидно, от незнакомого слова «читатель»; но это краткое недоумение почти мгновенно заменилось светлой улыбкой, какая бывает, например, когда у трудной загадки оказывается самая простая разгадка.— «Читатель-то? — весело переспросил он,— дома, дома, да вон они»,—и он указал на меня. Я видел, что это слово пришлось ему по вкусу,— отворяя гостю ворота, он продолжал улыбаться... «Читатель! — казалось, думал он: — вот что...» И он понял, что именно этого слова недоставало ему для того, чтобы разрешить себе все недоумения относительно моей особы. Ему стало ясно, отчего я не хожу по утрам в конюшню, не веду разговоров с лошадьми (их, впрочем, немного), не торгуюсь, не меняюсь, как делал бы всякий барин моих лет, не принадлежащий к особенно знатной семье. Ему стало ясно, почему это если и забредет этот барин в конюшню, то, вместо разговора о деле, продолжает смотреть в книгу, которую потом долго ищут по всему дому, пока сам дворник Петр не предъявит ее, объявив, что вот мол нашел что... Теперь он знал, что всё это оттого, что это не барин, а *читатель*... Подобно дворнику, с появлением этого меткого слова, поняли меня и жена, смотревшая на меня с каким-то недоумением чуть не с первого дня брака и, кажется, втайне считавшая меня за сумасшедшего, и теща, при всем ее уме, до сих пор затруднявшаяся

сказать обо мне что-нибудь определенное и невольно разделявшая, кажется, взгляды моей жены... «Читатель»! Это слово объяснило им всё: вот отчего я помещик, но не занимаюсь хозяйством, вот отчего я отец семейства, но как будто не забочусь о детях, муж, не выказывающий никаких, ни хороших ни дурных, качеств мужа,— теперь всё это стало понятно; скоро и соседи, когда до них дошло это слово, поняли, отчего им не о чем со мной говорить, отчего я не езжу в гости, отчего, когда эти гости приедут ко мне, вдруг, средн беседы, скроюсь и оказываюсь спящим так, что не могут добудиться... За соседями из благородных поняли соседи-крестьяне, и в очень короткое время кличка «читатель» осталась за мной навсегда. «Я у *читателева барина* пять с полтиной получал, что вы?» — торговался мужик, нанимаясь к соседу. «Ишь *читателевы* теляты-то как отощали!» — говорит другой. Пошли «читателевы хомуты», «читателевы родители» и т. д.

Особенно старательно занималась укреплением этой клички за мною матушка моей жены, женщина удивительно даровитая. Природный юмор ее вдруг проснулся от одного прикосновения этого меткого слова, и нельзя не сознаться, что она сумела разработать этот эпитет в самую смешную, нелепую сторону. Вот пришел дворник Петр и объявляет, что сегодня ночью пропали хомуты. «Давича с забором, теперь с хомутами! То забор завалился, то хомуты пропали!.. Пропали! — будто бы с негодованием отвечает на это заявление моя теща. — Неужели вы не можете понять, что барину вашему с одними заграничными делами только-только впору справиться, а не то, чтобы еще и этакой, прости господи, дрянью заниматься... Хомуты! Ты бы поглядел, как он, бедный, сегодня с приятелем всю-то, всю-то ночь убивались, успокоиться не могли до шестого часу: всё хотели сделать во вред французскому начальству... Иная какая-нибудь дура-жена прямо бы вышла да огрела бы по шее и гостя-то и барина-то, чтобы они не орали по ночам да не пугали детей, а мы, батюшка мой,— как можно!

Я вон как пьяная хожу, глаз сомкнуть не дали всю ночь, покуда у самих языки-то, должно быть, не окостенели. А ты лезешь с хомутами».— «Аль вы проснулись?.. — необыкновенно ласково и весело восклицает она, адресуясь иной раз непосредственно ко мне. — А тут гости приезжали и, представьте, какие невежи, обиделись! Ехали за пятнадцать верст, всей семьей, думали, как у других у соседей, чаю напиться, поговорить,— а вы спите на самом на парадном диване... Я подвела Ивана Ларивоныча:— „вот, говорю, до чего утомлен заграничными беспокойствами, что среди бела дня свалился...“ Говорю: „такие беспокойства имеет, такие беспокойства, что вот уж, кажется, спит, а и то весь в ведомостях, весь в газетах,— уж извините,“— говорю... Плюнул даже, невежа... А вы из этих, из газет-то, только личико свое прекрасное показываете, ровно вот как иной раз свиньи, ежели, знаете, зарываются в грязи...» Иногда она как бы выходила из терпения, и тогда юмористическая речь ее принимала оттенок некоторой серьезности. «А что, Иван Андреич,— как вы думаете, что ежели, храни бог греха, да как-нибудь ночью, нечаянно, вспыхнут эти ваши ведомости и депеши, что тогда — можем мы сгореть, или так пройдет?» Но неудовлетворительность ответов с моей стороны делала этот тон совершенно бесполезным, и ей оставалось одно — попрежнему только подтрунивать надо мной... «Что это какой я сон странный видела сегодня,— сидя за утренним чаем, начинает Марья Ивановна, искоса бросив взгляд в мою сторону.— Вижу, будто бы в детской потолок этаким манером провалился и всех ребят и нас — всех задавил... Что бы это значило? Уж не к плотнику ли? Да нет! Ежели бы за плотником посылать, так уж давно бы пора было. А то не посылаем... Нет! Стало быть, надо понимать на другой манер... Уж всё ли за границей благополучно? Помилуй бог!.. Иван Андреич! Нет ли чего об этом в газетах? Успокойте, пожалуйста...» И т. д.

Вообще кличка «читатель» имела в себе, несмотря на очевидную насмешку, некоторую долю правды. Иностранные

беспокойства действительно приобретались мною почти помощью беспрерывного чтения и рассуждения над вопросами, ничуть не похожими на рассуждение о пропавших хомутах, о проваливающихся потолках, о неудовлетворительности исполнения помещичьих, супружеских, родительских и тому подобных обязанностей. Мысль моя, под влиянием непрерывного и разнообразного чтения, постоянно держалась на такой высоте, что оттуда все эти обязанности, хомуты, потолки и другие будничные заботы и явления представлялись мне как бы в тумане или как вещи, которые теперь неизбежны, но которых не должно быть... Ждать этого, повидимому, я мог довольно терпеливо. На этой высоте, в этом далеке я не ощущал даже собственного своего веса, не замечал самого себя, до тех пор, покуда не брякнулся в куприяновское дело, которое и показало мне этот вес, поставив на одну доску с «очень маленьким человеком», вследствие чего вся прошедшая жизнь моя приняла совершенно другой цвет.

Мне стало приходить в голову, что обилие и превосходное качество идей, исповедуемых мною, ничуть, однако ж, не мешало быть мне самому вовсе не тем, чего бы требовали эти идеи. Так, не исполняя всех помещичьих обязанностей, я тем не менее был всё-таки помещик, жил на чужой труд, ел не заработанный хлеб — и не замечал этого... Я не замечал, как пропадали хомуты, не интересовался тем, кто подал прошение становому об розыскании воров, но не замечал также, что мне бы должно быть очень горько при известии, что хомуты найдены, а воры схвачены и сидят... Нет, стало мне казаться, мои идеи не составляли моей жизни, иначе как бы могло случиться, что вокруг меня, в течение тридцати пяти лет, во имя их не изменилось ничто ни на один вершок, что, как и тридцать пять лет назад, становой охраняет мою собственность, а рабочий своим трудом дает мне хлеб. Правда, во имя исповедуемых мною идей я постоянно желал предпринять нечто очень большое, но всякий раз находилось множество весьма основательных доводов, вслед-

ствие которых я не предпринимал ровно ничего. Единственное воспоминание, имевшее для меня кое-какое оправдательное значение,— шесть месяцев занятий в сельской школе,— представлялось мне такою ничтожною попыткою делать дело, что я охотно объяснял ее теперь простым желанием не делать ровно ничего...

Все эти соображения показали мне, что между мною и маленьким человеком существует самая неразрывная связь: обоим нам не пошли в прок ни дозволенные ни недозволенные идеи; ни в тех ни в других мы не были заинтересованы жизнью, довольствуясь очень малым, с тою разницею, что я был этим малым очень доволен и был вполне спокоен, а маленький человек выделывал разные штуки, проявлял в них удивительную природную даровитость,— в остальном мы были равны. Это меня глубоко опечалило... Под влиянием глубокого личного огорчения я невольно должен был задуматься и о других таких же маленьких, как и я, людях, у которых,— как доказали проделки процесса,— есть и сила, и ум, и воля, которые почему-то проявляются покуда только в области самого мелкого эгоизма, делающей жизнь скучною, мертвою, и, вопреки здравому смыслу, ровно ничего не делают в пользу тех идей, которые могли бы сделать жизнь — жизнью, которые носятся в воздухе, которыми нельзя не дышать даже самым отъявленным зверям куприяновского процесса.

Всё, что придумалось и припомнилось мне в ту пору, я и хочу теперь изложить в этих записках, соблюдая в изложении моих впечатлений тот порядок, в котором они следовали одно за другим.

II.

«Умереть!» — вот что сидело у меня в голове, когда я выходил из залы нашего окружного суда после того, как она огласилась рукоплесканиями по случаю полного оправдания всех подсудимых по куприяновскому делу.— «Зачем жить, зная, что ничего не можешь, что даже ничего не

хочешь?» — твердил я себе в каком-то столбняке, шлепая по грязи среди темной августовской ночи... Только что вынесенные мною гнетущие впечатления и темная неприветливая ночь, с мертвыми улицами и глубокими лужами, спирали дыхание, теснили грудь... Мне страстно хотелось воздуха, явилась неотложная потребность уйти куда-нибудь непременно, сейчас же... Как-то добрел я до гостиницы, где ожидала меня жена, что-то говорил ей в объяснение необходимости моего немедленного отъезда, и уж не помню, как очутился потом на пароходной пристани.

По счастью, у пристани стоял большой американской системы пароход, остановившийся ночевать, благодаря очень значительной особе, занимавшей на нем весь первый класс. Я мог уехать... Много народу спешило воспользоваться этим случаем и толкалось на пристани с узлами, подушками, чтобы пораньше занять местечко и залечь спать. Много народу плелось так, от скуки, поглядеть особу и выпить рюмочку. Меня долго толкали взад и вперед, и так как, пораженный столбняком, я вовсе не думал сопротивляться этим толчкам, то иной раз ноги мои заносили меня вовсе не туда, куда мне было надо. Я бы очень долго не попал на пароход, если бы случайно меня не втянула в свои недра кучка народу, направлявшаяся туда, и, подхватив меня под бока подушками и сундуками, не доставила прямо в верхний этаж, где помещаются первый и второй классы.

В первом классе с опущенными на окнах занавесками, пропускавшими довольно сильный свет, к которому лынули любопытные глаза, помещалась особа. Во втором классе было шумное общество. В табачном дыму можно было разглядеть несколько лиц, севших на пароход из нашего города. Всех, очевидно, занимал только что окончившийся процесс, о чем я тотчас же догадался, услыхав две-три знакомые фамилии с прибавлением не совсем лестных эпитетов. Эти толки не могли быть интересны для меня, которому процесс задал такую нравственную муку,— я ушел из каюты и, выйдя на галлерейку, идущую вокруг всего второго этажа,

сел здесь на лавочку... За спиной моей лежал по склону горы темный, скучный город, впереди тусклый отсвет Волги, которая по временам хлестала в пароходные бока, а в голове тянулся ряд нестройных тягостных мыслей. И вот что, сидя на этой лавочке и припоминая путь, по которому я достиг до куприяновского процесса,— вот что припомнилось мне о житье-бытье очень маленького человека, угнетаемого очень маленькими целями среди довольно больших идей, которыми пропитан воздух...

Прежде всего я должен сознаться, что общество, в котором возможны куприяновские истории, весьма понравилось мне при первом с ним знакомстве. Мне пришлось встретиться с ним после продолжительного пребывания в деревне, где у меня очень долгое время не было ни единого человека, которого я бы мог взять за пуговицу и, продержав таким манером около себя часа два-три подряд, излить на него все мои не подходящие к окружающей действительности и никем не разделяемые заботы.

И вот, наполненный этими заботами, однажды отправился я в город с весьма простыми хозяйственными целями: нужно было купить чаю, сахару, свечей и т. д., о чем у меня хранилась подробная записка, в конце которой была прибавлена убедительная просьба «не забыть и поторопиться», ибо иначе весь дом будет сидеть без продовольствия и освещения. Ехал я за покупками, думал, разумеется, о чем-то вовсе не соответствующем моей простой миссии — и прибыл в город, но о покупках забыл совершенно и вспомнил о них только через два дня после приезда.

Произошло это именно оттого, что общество, с которым мне пришлось познакомиться, произвело на меня самое приятное впечатление, отодвигавшее всякие мелочи на задний план. Закадычных друзей-приятелей у меня не было в городе, но было множество знакомых, которых я знал и которые меня знали.

Тотчас по приезде я случайно встретился с одним из таких знакомых; этот знакомый повел меня к другому

знакомому, ночевал я уже у третьего, а завтра шел с ним к четвертому; так прошли два дня, но я не заметил их — и вот почему именно: несмотря на разнообразие профессий, которые занимали посещаемые мною люди, все они, как мне показалось тогда, вполне разделяли вышеупомянутые мои заботы, которыми я, как «читатель», был постоянно проникнут, все они понимали их и даже как будто бы только что думали о том, о чем думал я. Положительно среди этих новых знакомых не было ни одного человека, который бы не высказал самых новых мыслей, и что особенно подействовало на меня тогда, так это то, что новые мысли разделялись людьми, профессии которых, повидимому, и были учреждены собственно затем, чтобы мысли эти прекращать. Мне, как человеку, удаленному от интересов действительности, было весьма удивительно видеть такое обилие свободно мыслящих людей, и самое противоречие между свободомыслием и профессиею казалось мне в то время еще бо́льшим доказательством успеха новых идей, которые, как я думал, проникают уже в сферы, явно им враждебные. Под влиянием этого-то свободомыслия я забыл совершенно о покупках, о продовольствии и уж не могу сказать, почему стал крепко подумывать о поездке за границу, во Францию. Впрочем, не один я задумывал об этой поездке — очень много людей, из числа моих новых знакомых, тоже хотело со временем ехать туда же...

Повторяю, я вспомнил о покупках спустя два дня после приезда, когда увидел перед собою некоего Федосеева и услыхал кое-что из его разговоров. Федосеев этот — человек просто голодный. Он нигде не кончил курса, нигде не нашел места, а между тем он здоров, молод, имеет огромный аппетит и очень мало средств к удовлетворению его. Аппетит его, разумеется, направлен к хорошему иску — но иска нет. С утра до ночи он бесполезно шатается по всем местам, где есть хорошие иски, где глотают хорошие куски, и злость его к окружающему возрастает с каждым днем. В стареньком пиджаке, плотно облекающем его плотное юное тело, он

мрачно пробирается в какой-нибудь суд или съезд с маленькой трубочкой какого-то копеечного векселя в больших красных руках, исподлобья оглядывая идущих и едущих; ему кажется, что каждый из встречных только что проглотил какой-нибудь очень жирный кусок, целую деревню, купца с пароходом и т. д. «Чем я хуже их?» — горько жалуется он своей старушке-матушке, и сравнивая *ихние* аппетиты, *ихние* приемы и взгляды на всё и всех с своими, находит, что ему нехватает только костюма, ибо в остальном он ничуть от них не разнится и всё понимает точно так же, как и они, хоть и не имеет на это диплома.

Я решительно не заметил, когда и как около меня очутился этот Федосеев, но помню, что он бродил со мною по всем моим новым знакомым и говорил про них, оставшись со мною наедине, что-то вроде следующего:

— Во Фран-ци-ю-у? Это Иван Иваныч-то едет? Ха-ха-ха! Да у него здесь пять содержанок... Чего ему еще?.. Или еще, может быть, каких-нибудь мужиков обделал, денег много сграбил?

— Каких мужиков обделал?

— Должно быть, каких-нибудь обделал,— мало ли их... Намедни вон с кузьминских пятьсот рублей неустойки взыскал,— полчаса опоздали с деньгами...

— Кто это взыскал?

— Да всё он же, Иван Иваныч,— я сам был тут, видел... Он им показывает часы — половина первого, а у ихнего ходока без пяти двенадцать. «У меня часы по суду поставлены». И взял... Я теперь эти деньги с него взыскиваю, — да что!.. Хоть бы в самом деле уезжали уж, что ли, во Францию-то...

Подобным образом Федосеев относился ко всем почти моим новым знакомым и всегда рассматривал их с какой-нибудь совершенно неожиданной для меня точки зрения. Взгляды его, разумеется, были крайне узки и пошлы, но хотя я и понимал это, однако настойчивость и постоянство, с которым Федосеев их высказывал, невольно незаметно

повлияли и на меня, и я волей-неволей должен был обратить на них внимание, так как и сам невольно припомнил такие мелочи, которые как будто бы подтверждали, что в этом свободомыслящем обществе есть какие-то шероховатости. Так припомнилось мне, что когда я входил в кабинет одного из весьма приятных молодых людей, последний вел какой-то весьма оживленный разговор, из которого у меня в памяти осталось несколько весьма отчетливо произнесенных слов, что-то вроде: — «Принес?» « —Ваше высокое...» — «Рта не открою, покуда все, сполна... А-а-а!» — приветствовал молодой человек меня, причем всё выражение его лица заменилось выражением гражданской скорби. — «Читали?» — с грустию указал он на газету, и пока я читал, он поспешно окончил разговор с мужиком в передней и, воротившись, начал, по поводу газетного известия, один из тех разговоров, которые так пленяли меня.

— Явите божескую!..— между прочим донеслось из передней, когда я брал газету.

— Сполна, сполна!

Припомнилось мне еще, что в другой раз, в другом не менее симпатичном для меня кругу, где шел разговор о женском вопросе, причем было много высказано самых новых мыслей, с которыми согласны были *положительно все* присутствовавшие, кто-то, во время закуски, упомянул о некоей девице, отправившейся в Петербург, в академию. «Н-ну,— проговорил еще кто-то, прожевывая бутерброд, после второй рюмки,— эти академии, батюшка, нам очень коротко известны: просто поехала родить...» Последовал хохот, после которого кто-то сказал: «Что за вздор, не может быть, я никогда не поверю». Я тогда не заметил этого, даже, кажется, сам засмеялся, когда расхохотались все; я не вник тогда хорошенько в эту болтовню за закуской, у меня было в голове что-то другое. Но теперь, под влиянием тлетворных разглагольствований Федосеева, мне все эти мелочи, и много-много еще других подобных мелочей, припомнились и заро-

дили во мне некоторое недоумение, очень тщательно поддерживаемое Федосеевым.

— Не поверит,—как же, так он и не поверил! — злобствовал Федосеев, припоминая слова того господина, который высказал недоверие, распространяемое невежами относительно женщин.— Подите-ка спросите у его жены, каков он насчет синяков, например.

— Что вы, Федосеев, с ума вы что ли сошли? какие синяки?

— Что мне с ума сходить! Синяки самые настоящие... какие же еще они бывают? Вы подите спросите у нее,— она вам порасскажет кое-что. Он ведь ее в Москве бросил, когда получил место-то сюда,— она из простых, из швей; ну, а здесь он как приехал, и стал ухаживать за Ломовой,— дочь богача-рыбника. Совсем было дело ладилось, вдруг эта московская-то и приезжает... Она вам сама расскажет...

С каждым днем разладица в состоянии моего духа делалась заметнее и ощутительнее, но всё-таки не было никакой еще возможности решить, чего больше в этих людях, веры ли в сундуки купчих Ломовых, или в женские вопросы, в судейские ли часы, или в право ближнего опоздать и не платить того, что по совести платить не следует.

Определить настоящее, подлинное покуда не было никакой возможности, потому что всевозможные грубые вещи, сообщаемые Федосеевым, объяснялись моими знакомыми с самой интересной и неожиданной точки зрения. Например. Не кажется ли вам несколько странным воспользоваться просроченными минутами и, не принимая в расчет ничего, кроме права получать деньги,— получить эти деньги? А между тем, когда вам объяснит это дело тот, кто его сделал, то оно выйдет совсем не то; по этому объяснению выходит что сдирание таким образом денег может благотворно повлиять на народ, который, изволите видеть, наконец сообразит же, за что это дерут с него и... ну, и т. д.! Вам странным покажется, почему это один из ваших друзей, занимающий довольно видное место в новом суде, решается

обвинять какого-то странного человека из религиозных теорий собственного сочинения, положившего себе быть молчальником, то есть просто молчать на все вопросы, обращенные к нему людьми какого бы то ни было звания, странным и несправедливым покажется вам, что это больное существо обвиняют в анархии, в неповиновении, и, благодаря ловко подделанным фактам, сажают в острог, или ссылают в Сибирь. Федосеев говорит, что это не в первый раз, что прошлым годом, когда в суде присутствовала знатная особа, имеющая власть, наш новый друг показал себя еще более ревностным слугою порядка,— но Федосеев — невежа, умеющий видеть только дурное, а сам автор этих анархий, сам он вот что говорит: это, по его мнению, тоже как и по мнению адвоката, единственный путь, единственная возможность расшевелить, заставить думать и т. д. Вот как умно и ловко объясняют они свои подвиги, и не знаю, как другие, но я, как «читатель», некоторое время верил этому и чуть не с умилением смотрел, как они, продолжая быть свободомыслящими людьми, ловили карманы на просроченных минутах, отыскивали анархии, получали крестики и т. д.,—даже попросил Федосеева больше не бывать у меня.

И несмотря на то, что этот злой дух оставил меня и не смущал более моего веселого расположения духа,— подлинные верования продолжали выясняться все более и более. Шила в мешке не утаишь! И кто же обнаружил, или по крайней мере дал мне возможность увидеть если не всю правду, то большую ее часть? Они же сами, мои новые знакомые, они выдали себя с руками и ногами. Как ни были они согласны друг с другом в объяснении своих дел (как видел читатель, анархию и просрочку они объяснили почти одними и теми же соображениями), но ни один из них не верит ни на волос словам другого. Едва я одному из моих новых приятелей объявил, что человек, напавший на молчальника, объясняет этот поступок так-то и так,— как тот, которому сказал я это, тотчас же усумнился.

— Ну, не думаю... — сказал он. — Это говорит Иван Кузьмич?.. Навряд, чтобы общественная польза руководила им... Я, конечно, очень и очень ценю его ум и вообще — но вот прошлый год какая вышла история...

История была такая, что оставалось только развести руками.

В свою очередь откапыватель анархий, узнав о том, как его друг объяснил геройски подвиг свой с просрочкой, произнес:

— Да, ловко!.. Молодец, право, молодец, но уж насчет просрочки-то он врет! Просто сорвать любит,— какие там идеи! Знаем мы... Третьего дни он тут одного армянина общипал, так это тоже из-за... Врет!..

Вот как они относятся друг к другу.

Да не подумает читатель, что такое недоверие друг к другу обнаруживается между очень маленькими людьми исключительно только в области идей приватных, в области свободомыслия,— увы! как только вы начинаете терять к нему уважение в области этих идей (а это доверие вы должны потерять очень скоро) и убеждаться, что в сущности он душою и телом предан тем идеям, за которые ему платят, тотчас же оказывается, что участь и этих последних ничуть не лучше участи первых!

Стоит только попристальней вглядеться в дело, чтобы убедиться в этом. Возьмите, например, моего недавнего знакомого, откапывателя анархий: он получает за ревностную и усердную службу награду; им очень была довольна важная, влиятельная особа, присутствовавшая в суде в момент самого процесса этого откапывания. Но ведь и я тоже был им доволен: я обманулся; обманулась и особа, полагая, что тут происходит ревностная и усердная служба: этого-то именно здесь и нет, хотя, быть может, откапыватель анархий, ожесточенно нападая на молчальника, объяснил влиятельной особе эту ярость примерно хоть тем, что мол, самое молчание свидетельствует о вредности этого человека для общества, ибо, не решаясь защищаться, он, очевидно,

имеет какую-нибудь личную выгоду, боится высказаться, проговориться, открыть сообщников и т. д. Начальство его хвалит, а в сущности, кроме глубокой несправедливости, здесь не сделано ровно ничего другого. Уважает ли свою профессию этот ревностный слуга отечества? Очень мало. Уважает ли он такой же ревностный поступок в другом, своем сотоварище? Почти никогда.

— Вы слышали, как недавно такой-то спас основы?

— Как же, как же... отличился! Теперь он, посмотрите, какую карьеру сделает... Дочь председателя...

— Но я говорю не про карьеру, а про то, что основы-то едва-едва не погибли...

— Какие основы! Чорт знает что! Просто обделал дело и всё... Знаем мы это! — и т. д.

Таких примеров можно было бы привести множество, но пусть это делает сам читатель, у которого в настоящую минуту под руками, может быть, более свежий материал, чем у меня, и он убедится, что у этого народа нет веры даже и в то, за что он получает деньги.

Во что же он верит, наконец?

Неужели в купеческий сундук и т. п., а не в женский вопрос, не в «единственный путь к расшевелению тьмы», не в колеблющиеся основы, не в необходимость спасать общество и т. д. и т. д.?.. Не решаюсь сказать определенно то или другое,— воспоминания мои происходят под слишком сильным гнетом личного огорчения,— но не могу не сказать одного, что верою в первые, очень простые желания сильно пропитан воздух, которым дышит общество, и жизнь, если только хватит охоты вглядеться в нее, дает много матерьяла, доказывающего, что всё, что вообще должно жить мыслью, новая она или такая, за которую платят деньги, всё это чуть живо, чуть дышит.

Вот семья, попробовавшая устроиться на так называемых новых началах — что же происходит в ней? Происходят в ней невеселые вещи, о которых общество узнает по какому-нибудь крупному и неожиданному происшествию,— выст-

релу, яду и т. д. И если есть у вас желание добиться сущей правды, то в конце концов, разбирая подробности этой истории, вы увидите, что идея, во имя которой устроилась эта семья, пожрана, так сказать, совершенно простыми аппетитами очень маленького человека, пробужденными временем.

То же самое случается и в другой семье, где есть глубокий аппетит к канкану и где пытаются устроить всё на основании основ, завещанных предками. Здесь, быть может, не будет яду, но отсутствие веры в эти основы будет непременно, иначе зачем бы сюда попал канкан, и потом разыгрался скандал, о котором «даже писали в газетах»?

А бывает и так, что во-время узнав себя, примутся люди делать какое-нибудь очень простое дело: наживать, «нравиться» — и все пошло как по маслу.

А учреждения общественные, не пускающие пуль в лоб и не принимающие яду,— живут ли они тем, во имя чего устроены, во имя чего требуют хорошего продовольствия? Осуществляется ли в жизни хотя сотая доля целей, во имя которых учреждение это сделано, не говоря о том, что при искреннем убеждении одушевляющая деятеля мысль непременно бы, так или иначе, старалась проникнуть иногда и за дозволенные пределы, как свет проникает в такие щелки, которых и не заметишь.

Итак, по мере более ближайшего знакомства с окружающей действительностью, я невольно, но тем не менее весьма основательно, должен был убеждаться, что ни приватные ни оплачиваемые идеи как будто бы не имеют ровно никакого значения в жизни «очень маленького человека», хотя он и не задумывается быть за панибрата и с теми и с другими, зная, что в сущности жизнью его руководят идеи самые простые, самые первобытные, даже самые не хитрые, достигаемые, однако, с удивительной энергией и настойчивостью. Как и зачем попадают сюда какие бы то ни было идеи — этот вопрос неоднократно приходил мне в голову, но всякий раз оставался без результата. Спустя только долгое время, при обстоятельствах совершенно иных, я мог, так или иначе,

ответить себе на него, и когда мне придется говорить об этих иных обстоятельствах, я изложу всё, что пришло мне в голову по поводу появления и исчезновения идей в обществе;— теперь же, сидя на пароходе и вспоминая куприяновскую свалку, мне не приходило в голову ничего стоящего, и казалось даже, что только отвиливание от идей и от дел, которые бы должны были делаться во имя их, и составляют если не прямую задачу, то всё-таки довольно характерную черту очень маленького человека. В этом отвиливании он дошел, как мне тогда казалось, до удивительного совершенства. В самом деле, посадить невинного человека в острог, сорвать просрочку и скрыть истинные цели этих поступков государственными или высшими либеральными соображениями, скрыть это от себя и от всех, да так скрыть, что никто не заметит и проглядит существеннейшую и самую ощутительную выгоду, которая осталась в карманах у вышепоименованных деятелей, это, как хотите, дело, достойное полного удивления.

Но как ни прочны результаты этого вилянья, как ни прочны, казалось бы, земные блага, достигаемые с такими ухищрениями и стараниями, положение каждого отдельного человека, дышащего этим воздухом вранья, поистине ужасное. Пробыть пять минут в обществе, которое устроил себе очень маленький человек,— чистое наказание. Земные блага приедаются, наскучают, наконец, нервы когда же нибудь да одервянеют, хотя на короткое время откажутся служить,— и что тогда должен ощущать человек, поставленный с самим собою на очную ставку? Душевное состояние его весьма нескладное,— и эту-то нескладицу, это неуважение самого себя (а уважать себя он не может),— человек переносит невольно и на соседа, на ближнего, проделывающего то же самое,— и, разумеется, ощущающего то же самое. Раздражительность, злость человека против человека — острою струею по временам проносится в воздухе, отравляя всякого, попавшего в область вранья, и эту злую струю ощущал, думаю, не один только я. Каждый как бы ищет слу-

чая вывести ближнего наружу и тем облегчить свою душу. Именно эта злость против человека, отсутствие веры в его слова и перетолковывание его поступков на свой образец — разрушает всякое дело, начатое во имя какой бы то ни было идеи. Потребительное общество распалось именно от неуважения людей друг другом, от того, что всякий считал другого лгуном, проповедывающим разные громкие идеи так, потому что чешется язык,— а ведь вся материальная часть дела не оставляла желать ничего лучшего: были и деньги, была и чудесная цель, а кончилось всё скандалом и мордобитием. Да одна ли история с потребительным обществом! А все эти клубные, семейные и общественные поволочки—что это, как не проявление того же неприязненного, неуважительного отношения к человеку, порождающее злость, ищущую ничтожного случая, чтобы вырваться наружу.

Итак, вот до какого нищенства душевного доведен человек, сделавшийся очень маленьким. Он утратил веру в мысль, он приведен к необходимости быть хозяином только в навозной куче дрянных побуждений — и, сознавая свое падение, негодует на себя и на всех...

Чтобы яснее показать читателю всю силу пропитывающей воздух злости, как результата полного душевного опустошения, я укажу опять же на куприяновскую свалку, которая никогда бы не всплыла на божий свет, если бы не существовало всего несчастия, о котором было говорено.

Вся эта унизительная комедия произошла, как я уж сказал, от одного совершенно ничтожного в нашей стороне обстоятельства: богатый купец Куприянов якобы переломил ребро солдатской дочери Перушкиной.

Эта продувная и смазливая девица, связавшись с родным братом богача Куприянова, так ловко повела свои дела и так ловко опутала этого простоватого парня, что тот решил вступить с ней в законный брак; свадьба должна была происходить в подгородном селе потихоньку, но брат-богач узнал эти планы и с толпою своих молодцов напал

на свадебный поезд, отбил жениха и в происшедшей при этом свалке будто бы переломил ребро. Началось дело; Куприянов стал платить; дело стало прекращаться и потухать, и несомненно потухло бы, если бы у Куприянова не было связи со всеми вышупомянутыми недугами общества. Во-первых, была связь по делам,— поставки, подряды, отступные и т. д. и т. д.,— дела, в которых вечно надо что-то заминать и тушить: он, Куприянов, тушил кое-что в делишках общества, и общество тоже «замяло» не одно дело в пользу Куприянова... Во-вторых, была связь в виде жены, взятой Куприяновым из благородного семейства за красоту. Эта связь с обществом была самая опасная. Жена его была женщина весьма красивая и весьма легкомысленная, неутешно страдавшая в золотых палатах невежи-рыбницка, жаждавшая настоящей оценки; оценить ее могли, конечно, люди образованные,— и действительно, Куприянов неоднократно заставал ее сидящею на коленях у людей, игравших весьма видную роль в общественной иерархии. Долго терпел купец эти просвещенные взгляды, будучи подвержен этой иерархии своими потушенными, темными и другого рода обыденными делами, но видя, что иерархия, занявшись эмансипацией его супруги, забывает и свои темные, мутные и других цветов дела, забывает эти поставки, неустойки и тому подобные детали будничных своих занятий,— не выдержал и однажды даже занес палку над особой весьма значительной. Особа ушла невредимою, но ненависть к купцу залегла в ее душе неизгладимая...

Вдруг является на сцену ребро; дело о ребре возникает и, повидимому, прекращается... На что же существует прокурор Протоклитов? — думает особа.— Протоклитов, который, повидимому, ухаживает за племянницей особы и норовит при помощи брака с хорошей фамилией, имеющей связи в Петербурге, сделать карьеру... И вот в тот же самый день, когда мысль о прокуроре пришла особе в голову, встретившись с Протоклитовым, особа намекнула ему, что вот мол у нас, что делается: толкуют о женском вопросе,

пишут,— а тут под носом не видят, что купец, мошна, ломает женщинам ребра, колотит палкой образованную женщину и живет как ни в чем не бывало... «Как же вы, молодые люди, хотите, чтобы после этого вас любили женщины, хе-хе-хе-хе-хе...» Протоклитов очень сочувственно отнесся к положению женщин вообще и тотчас сообразил, что, подняв женский вопрос судебным порядком, тем самым приобретет право на благодарность со стороны особы, а следовательно: «племянница...», «в члены...», «в товарищи председателя» и т. д., наконец, «Владимира четвертой степени» — и вот почти с быстротою молнии купец сидит в остроге: «Я вас не понимала,— сказала Протоклитову, вскоре после этого происшествия, племянница особы.— Я думала, вы злой!» Но теперь она почему-то поняла его и, зная, что он добр, просила кстати вывести на свежую воду Сергеева, который прежде все юлил вокруг ее дяди, а теперь связался с купцом и осмеливается делать дерзости с этой шлюхой, Антоновой, которая прошлый год в маскараде — и т. д., и т. д. Но и Сергеев, который, по словам племянницы, был кругом виноват,— едва только услыхал про то, что сделали с купцом, тотчас же, припомнив прошлое, сказал себе так: «Так вы вот как! Насчет женского вопроса изволите действовать? А забыли вы дело о подкинутии младенца мужеского пола к лабазу купца Куприянова?.. забыли?.. да еще воротишь морду? Нет, погоди,— слава богу, случай подвернулся, я вас выведу на свежую воду»,—и пристав к купцу, поднял в отместку *тем* пять, шесть таких дел, которые вдруг втянули в свалку человек пятьдесят народу...— «А,— говорит один из втянутых,— так ты так-то! А кто пять лет тому назад получил из-за границы прокламацию и съел ее? Слава богу, подвернулся случай...» И донесение о прокламации шло по форме... Злость закусила удила... Сначала, и то в самые ранние моменты свалки, можно было отчасти, и то на очень короткое время, видеть, что общество как бы распалось на две партии,— одна за купца, другая за особу,— но эта ясность была почти моментальная. С удивительной

быстротой эти две партии раскололись каждая пополам, потом еще пополам и т. д., и т. д.; накопившееся раздражение, неуважение друг к другу — не могли долго сдерживать потребности выйти на свежий воздух и вывести ближнего на свежую воду.— «Что я за дурак, что стою за него,— невольно думал всякий, приставший к той или другой партии.— Что я вру? Разве я не знаю, кто они...» И партия раскалывалась пополам, и в каждом уголке ее кто-то хотел вывести другого на свежую воду, кто-то доказывал другому, что он врет, что он вот что такое, а вовсе не то, что представляет... От ребра, как от центра, рассыпалось по окраинам мировых судов, съездов, апелляций много дел об оскорблениях, о пощечинах в публичном месте, об угрозе застрелить из револьвера, «о сдернутии меня с кресла за ногу в бенефисе г-жи Ленской, в опереттe „Прекрасная Елена“»... «о зашвырнутии моей галоши из швейцарской благородного собрания в дегтярный клуб дворянином Ерусланoвым, съевшим три прокламации» и т. д., без конца. Редкий из обывателей не платил адвокату и не имел где-нибудь дела, которое, по своей нелепости, отдельно взятое, не значило ровно ничего, но объясненное помощию вдруг возникшей в обществе потребности вырваться из болотной тины на чистый воздух, значит очень много. Общая зараза злости охватила и меня. Наглядевшись и насмотревшись на действительность, взбесился и я — и попал в свалку.

Одна только солдатская девица Перушкина и осталась в барышах от всей этой передряги. Так как корень процесса составляло всё-таки ребро, с которым неразрывно был связан карман Куприянова, в свою очередь связывавший с своим и множество других карманов, то показания девицы относительно того, переломлено ли ее ребро или нет, очень много значили для разных партий. Партии эти ей платили, и девица Перушкина, получая деньги, старалась услужить каждой из них, и ребро поэтому оказывалось то переломленным, то нет.— «Так переломил он его мне, что даже я решилась всякого аппетиту!» «Что вы, помилуйте,— кабы

переломил он мне, нешто бы я не сказала, а то нет, ни-ни... А это я так сказала, потому меня господин следователь напугали...» — и т. д. Переменив эти показания в течение процесса раз двадцать, девица Перушкина приобрела значительный капиталец и впоследствии, выйдя замуж за перекрещенного еврея, оказавшего ей значительную пользу во время процесса своими юридическими познаниями,— открыла вместе с ним на берегу Волги кафе под названием «Шато-де-Калипсо».

III.

Признаюсь откровенно, всё, что вспомнилось мне под влиянием неприятного состояния моего духа,— всё это крайне односторонне и вовсе не рисует настоящего положения дела. Я был слишком недоволен сам собой, чтобы раздумывать о таких вопросах, которые в более спокойном состоянии духа неизбежно должны бы занять мое внимание, как это и случилось впоследствии. Если бы мне пришло в голову подумать о том, что мысль, не пользующаяся правом жизни, должна неизбежно сгнить в уме, обладающем ею, должна пройти все фазисы разложения, то мне, наверное, стали бы понятны все явления куприяновского процесса, не относящиеся исключительно к желудку и карману. Мне бы стали понятны и злость, наполняющая воздух, злость на себя и на других, и желание на всё плюнуть, пустить в лоб пулю и проч.

Но тогда ничего подобного не приходило мне в голову. В ту пору я мог чувствовать только сумбур, царствующий в человеке и в том обществе, в которое я попал. Жизнь этого общества, так, как я мог видеть ее, представлялась мне каким-то балаганным, но тягостным представлением, кошмар которого мучил меня всю ночь.

Я то сидел на лавочке, на ветру, то уходил в каюту, где уже спали, но опять возвращался на воздух, подавляемый всё тем же сумбуром.

Проснулся я в каюте на койке, когда уже пароход шел на всех парах. День был превосходный. Волга сияла солнцем. Воздух был чистый, свежий и целительной струей лился в грудь. Я начинал было уже подумывать о том, какие, должно быть, глубокие страдальцы все эти люди,— но, к моему несчастию, и тут, на пароходе, то там, то сям я продолжал встречать кое-какие слова и речи, напоминавшие всё о том же кошмаре.

— Ежели бы мне сто-то рублей, как вот вы ежемесячно получаете,— говорит какой-то священник какому-то чиновнику,— я бы бога благодарил... Ни минуты бы не остался в духовном звании...

Чиновник возразил на это, что сто рублей вовсе не сладки, что за них надо переделать тьму таких дел, в которых сам чорт сломит ногу...

— А у вас что? — прибавил он.— Появился червь, пошел поп, отслужил молебен, мужики его угостили, денег дали,— чего ему? лежи да спи... А тут сиди, усчитывай там кого-нибудь...

— Червь! — воскликнул священник.— Рубль серебром вы за него получили, прекрасно; а позвольте узнать, стоит ли этот рубль того огорчения, которое он несет вам в душу?.. Да, я рубль этот получу, принесу домой, и могу лечь спать, но засну ли? — вот что!

— Отслужил молебен,— рубль взял, да и спи, вот и всё!..— твердил чиновник.

Ложь и вранье до такой степени мне опротивели, что я бог знает что бы дал в эту минуту, если бы мне пришлось увидеть что-нибудь настоящее, без подкраски и без фиглярства; какого-нибудь старинного станового, верного искреннему призванию своему бросаться и обдирать каналий, какого-нибудь подлинного шарлатана, полагающего, что с дураков следует сдирать рубли за заговоры от червей, словом — какое-нибудь подлинное невежество,— лишь бы

оно само считало себя справедливым... Я ушел с верхней палубы вниз, где сидел народ всё больше серый, черный даже, и скоро увидел, что желания мои могут быть удовлетворены весьма щедро.

Чтобы отдохнуть и дать отдохнуть читателю, я приведу здесь кое-что из слышанного мною в толпе, тем более, что со временем это слышанное мне очень пригодилось.

Я вошел в толпу и остановился где пришлось.

— Вот как перед истинным богом!— крестясь и снимая шапку, говорил мещанин двум девушкам, тоже мещанкам, ехавшим со старушкою матерью.— Умереть на месте, ежели вру хоть на волос!..

— Вот чудеса-то!— воскликнули девушки, как, должно быть, восклицают, когда действительно случаются какие-нибудь чудеса.— И где же это было?

— Околеть на месте: в Казани было!.. Видите, как: я, деверь, кума, золовка, шурин,— все мы ходили вместе туда. Приходим — а он ест ее!..

— Кошку? — привскокнув, воскликнули девицы.

— Ее-с! Живую кошку, как перед истинным Христом моим! — воротит шкуру с затылку и питается ее кровию... Так и на афише было сказано. За вход двадцать пять копеек взяли...

— Ну уж это удивление! — сказала мать девушек.— Именное удивление! У нас бы,— в нашем городе,— по три рубли платили бы, ей-ей..: Ну, и что же?..— как бы растерявшись от разнообразия и силы этого впечатления, продолжала она.— Как же он... Я думаю, ведь его не допустят к святому причастию после этого злодейства?

— С дозволения начальства! — сказал мещанин с покорностию в голосе.

— Что ж такое, что начальство дозволяет,— вмешалась одна из девушек: — он сам должен отвечать на том свете... Нешто можно есть кошек? Глядеть-то на это — и то грех перед богом.

Это было сказано с такой энергией и убеждением, что мещанин не пытался возражать и в раздумьи сказал:

— Так-то так...

— Отчего же смотреть-то? смотреть-то не грех, я думаю?— попробовала было вставить мать.

— Что смотреть, что есть — всё одно! — сказала дочь решительно. — Не платили бы ему денег, небось, не ел бы...

— Мату-ушка-а! — перебил эту негодующую речь какой-то старик, сидевший на полу.—Не платили бы, не ел бы и сам бы с голоду помер! Начальство и это дозволяет, да что хорошего!.. Ведь и ему есть-пить надо! Родная! Он бы, может, говядинки-то и охотнее бы поел, чем кошку-то, да нету ее... Чай, и самому не сладко...

— Это верно! — оправившись, вставил мещанин: — потому он из дворовых людей господ Елистратовых, а уж это через великую бедность за иностранца объявился...

— Бедна-асть! Бедность, матушка, кошек-то ест, она и виновата, она и перед богом ответит!..

Девушка даже вспыхнула, так подействовала на нее речь старика, вдруг осветившая совершенно новым светом все ее с таким искренним убеждением высказанные соображения.

Давно уже я не видал такой искренности, и теперь мне стало немного повеселей на душе.

— Да,— со вздохом произнес кто-то, продолжая разговор в стороне.— Тоже, трудновато наживать эту проклятую деньгу!..

— И-и-и трудно!..— тотчас же последовал ответ.— Кого деньги полюбят — сами к тому идут, а уж кого не полюбят, ну — уж тут, брат!

— Тут, брат, лучше человеку лечь да помереть! — сказал отставной солдат.

— Первое дело!..

— Нет,— весело проговорил молоденький купчик.— Нет, что-то я гляжу мало охотников помирать-то из-за этого!.. Вишь, вон кошек едят...

Смех.

— А не это,— продолжал купчик,—так и так как-нибудь, своим судом с ними справляются...

Говоря эти слова, он поглядывал на толстого угрюмого купца в лисьей рваной шубе, сидевшего поодаль. Купец как будто понимал, что в этих словах есть для него что-то очень неприятное и отворачивался в сторону.

— Вот у моего одного приятеля,— продолжал купчик, очевидно, намекая на этого же купца,— тоже денег долго не было, тоже они его не любили, а потом вдруг совершенно сделались в него как влюблены... Откуда что взялось!..

— Ну-ну-ну!..— сказал купец, отодвигаясь. — Очень влюблены!.. Глотка-то больно широка у тебя!..

— Нет, ей-богу, правда! — всё веселей и веселей продолжал купчик, очевидно, намереваясь произвести потеху.— Ей, ей, влюбилися... Я уж сколько раз его спрашивал: «Как, мол, ты, Иван Иваныч, разбогател?» — «От бога!» говорит.— «Да каким манером? — говорю,— ты вот что расскажи». Станет рассказывать, всё хорошо идет, покуда еще в мальчиках первые сто рублей наживал, всё богу молился, а уж за сотней и неизвестно что... Прямо говорит: «А как стало у меня денег тысяч двадцать...» — «Да как же это у тебя стало-то, седой шут?» — Ну, и «бог!»

—Ну-ну-ну... Эко глотка-то!..— ворчал купец.

— Нет, должно быть, что полюбили они его,— не унимался купчик.— Допрежь этого они всё хозяина любили, а потом вдруг все к приказчику повалили, а у хозяина-то ничего и не осталось. Это через влюбленность...

Все поняли, какая насмешка скрывалась в этом рассказе, и все захохотали.

— Чорт этакой! — негодовал обиженный купец.— Мелет, мелет, идол, не сообразится с умом... В бога не верит... Откуда вы только народились, ахаверники...

Но смех долго еще разносился из одной кучки людей в другую, каждый раз приправляемый каким-нибудь метким, веселым словом, от которого становилось еще смешней.

Осмеянный купец скрылся.

Все эти разговоры и шутки с большим вниманием и снисходительностью слушал седой старик, тоже, повидимому, из купцов, человек очень пожилой и серьезный. Рядом с ним сидел молоденький мальчик, одетый, как и старик, очень тепло и опрятно. Когда смех несколько поутих, старик, не обращаясь собственно ни к кому, произнес:

— А вы как же полагаете,— без божия, например, надзирания возможно человеку богатство приобрести?

— Да он просто хозяйские деньги нечисто в руках держал! — ответил за всех купчик.

— Н-ну, это дело не наше... Он дурно делал, и ему будет дурно, это дело его... А вот вы, будто бы, насчет бога...

— Какое! Это я так, подшутил.

— Да! Ну, только бог в ефтом деле — всё! Я верно вам говорю. Я скажу про себя... Я вот теперь, слава богу, имею достаток, а ведь начал — железного гроша не было, а кто помог и указал? — Всё бог! Как, например, мудры его указания, например... да, премудро даже! (Говоря это, купец выписывал что-то пальцем вокруг своего лба.) Каждый шаг, помышление, каждое, например, предприятие — всё по божию благословению.

Все внимательно слушали эти слова. Кой-где только мелькала веселая усмешка. Не смущаясь ею, купец продолжал:

— Всего этого я рассказать не могу, этого не расскажешь вовеки-веков. А вот хоть и то, примерно, вспомнить, как я дочь свою замуж выдал: так и это вполне удивительно, ибо единственно по божескому приготовлению. Извольте видеть, какое было дело... В начале всего надо взять материю из древности... Ехал я со всем семейством на жительство из одного города в другой,— все равно какие там города ни будут,— перебирался я на житье. Сами судите,— едем в новый город, к незнакомому народу,— что с тобой может быть?—Может, и разоришься, может, и сгоришь, помрешь,— мало ли что? Сохрани только и помилуй царица небесная всякого православного христианина! Вот едем мы и думаем

так-то. (А на переезд тоже было указание!) И думаем: — «что-то, мол, будет?» Стали подъезжать к городу,— так сердце и замирает... Дело было днем,— город виден, осталось только лесок миновать; только что мы с лесочком поравнялись,— слышу пение, вроде как с небеси ангельские хоры... Гляжу: из лесу выступает крестный ход,— с образами, с хоругвями, с певчими — и народ: несут икону Неопалимой купины, из дальнего монастыря в город, в этот самый, куда я еду. По положению так каждый год бывает, а я ехал — хоть бы вот раз об этом слыхал; как есть, как есть, ни от кого, ни единого слова,— и вдруг она, матушка, мне в сретение, потому мы как раз выехали ей навстречу. Боже милосердый — какая мне была радость! «Ну, думаю, означает хорошо! Во сретение! Следовательно, дело идет, слава богу!» Помолился я, повеселел, придударил по лошадям,— да как обогнали мы всю церемонию-то — и еще оказалось: в напутствии всё она же, матушка, за мной! И в сретение и в напутствие! Уж так я был доволен,— совсем осмелел, а через недельку бог мне послал хо-оррошую поставку в казенное место. Сразу! Видите, господь-то. Мало ли и без меня там купцов, охотников на это дело? — а я пришел, чужак, оглянуться не дал — и ухватил. Вот он, перст-то, где!

Старик был в большом волнении.

Публика удвоила внимание, и улыбок не было видно уже нигде.

— Погоди! — продолжал он: — всё ли тут. Тут еще пойдет не то! то ли еще будет! Как сцапал я у купцов этот подряд, все купцы тамошние ровно как затмились, ошалели... Тут торги, там статьи оброчные, леса,— но они вроде как в обмороке каком,— ничего не видят, не понимают, расчет потеряли... А я приду и возьму, приду и возьму... Нахватал я дел, слава богу. Думаю, надобно мне эту икону приобресть, иметь в своем доме. Стал искать по церквам; пошарил у себя в приходе — есть! И того же размеру и письма; приценился, говорят: «Образ местный! Ему цены нету». Толконулся

туда-сюда, — видят, нужно человеку, заламывают. Ну, думаю, бог с вами; стал ладить со сторожами,— авось, думаю, нет ли где простенькой, из старых... Мне дорога она не ценой, а памятью, следственно мне всё равно, в аршин она будет или в пять вершков, десять целковых я за нее дам или двадцать копеек, мне дорога память. Говорю: «пошарьте, ребята, на чердаках, в подвале...» Прошло с полгода. Вдруг, отцы мои, приходит неизвестный человек.— «Кто ты?» — «Сторож от Преображения, звать меня Степаном».— «Что тебе?» — «Так и так, батюшка наш согласен вам уступить за два с полтиной икону...» А я перед истинным богом божусь, ни батюшки этого в глаза не видал, ни у Преображения не был,— и вдруг сторож говорит: «уступает!» Показалось мне это странно. Думаю: уж не столь ли владычица вняла моему моленью, что сама пожелала ко мне в дом? Потому ни сторожу этому, ни священнику ни единого слова не говорил и мысли о них не имел,— пришли сами. «Что, думаю, ежели это указание? дай испытаю. Сама она или не сама пожелала?» Спрашиваю цену.— «Два с полтиной».— «Руб!» — говорю. Думаю: «ежели уступки не будет, не сама!» Что ж? Уступили ведь! Перед престолом господним говорю! Приносит икону: «Извольте, говорит, батюшка согласен!» Тут уж я ста целковых не пожалел, оковал ее в ризу, поставил в киоте, зажег неугасимую... И с этого с самого разу повалили к моей дочери женихи: офицеры, дворяне, купцы,— отбою нет. Свах вокруг дома, что воробьев вокруг овса,— сила несметная. Иной по виду и по разговору, кажется, уж такой человек, уж такой — лучше не надо, а помолюсь хорошенько, да поразузнаю, и окажется — либо промотался, либо пьяница, а то и вор!.. Всё бог хранил... Скажу одно,— год целый шли сватанья, всё толку нет. Правда, только один из всех показался мне мало-мальски ничего, а то всё шишголь. Обещался я подумать и дать ответ. Вот, други вы мои, думаю я так-то однова, вечерком, перед образом, прошу совета,— так мне скучно что-то, неладно, а ответ надо дать завтра... Домашние уж совсем порешили на «этом», и дочь-

невеста тоже на этого думала и даже имела в себе к нему любовь, но господь всё перевернул по своему произволению. Думаю я, думаю, вдруг слышу — стучат в ворота. Кто такое, думаю? Слышу, отворяют. Входит и — кто же? Отец Иоанн, Преображенской церкви священник, тот самый, который мне уступил икону. Что за чудо? Почему ему быть? И тут у меня мелькнуло, не указание ли? — «Что вам угодно?» Что ж он? Просит руки моей дочери для своего племянника, письмоводителя у мирового посредника! Как сказал он мне это, так ровно бы меня всего обдало варом «Она! думаю,— она» Она меня встречала, сопутствовала, через нее я получил достаток, она сама пожелала в дом мой быть и теперь вновь являет себя чрез священника той самой церкви, откуда самовольно прибыла она ко мне, ну,— явно! Да что еще-то? Еще-то что! Как пришел священник-то, я и думаю: уж не праздник ли забыл я какой! И вспомнил, что в тот день была память святому Стефану, да как сообразил после, что к чему шло, и вспомнил, что ведь сторож-то тоже Степан был, что икону-то принес... Как всё это, други любезные, вступило мне в ум,— пал я и говорю: «Быть ей за твоим племянником». И отдал!

Все слушатели находились как бы под влиянием какого-то столбняка: так были непреложны и вместе с тем неожиданны умозаключения старика.

— А дочь ваша? — спросил кто-то, спустя уже некоторое время.

— Что ж дочь! Они с матерью сдуру-то стали было ломаться, но как я открыл им, в чем дело, так и они поняли... И теперь слава богу. Так вот как премудро и как человеку надо соображаться, чтобы увидеть, где указания... А без указания — всё ничего не значит!

Этот рассказ еще более, чем искренность девушек, освежил меня: тут было так много самого искреннего убеждения, неразрывного с каждым шагом человека,— какого я тоже очень давно не видал... Я глубоко был благодарен этому старику...

IV.

Рассказ старика о «промысле» произвел на публику довольно сильное впечатление; по окончании его несколько голосов из разных углов ехавшей толпы подтвердило сразу, что всё это правильно, верно, и торопилось пояснить тот или другой памятный факт своей жизни наблюдениями, не уступавшими иной раз в точности и отчетливости наблюдениям старика... В каждом углу, под каждым полушубком и шугаем обнаруживались жизненные теории, если не всегда достаточно справедливые, то наверное пережитые и крепко обдуманные.

Последнее обстоятельство именно и было мне дорого.

С большим аппетитом вслушивался я в живую искренность излагаемой мопми спутниками чепухи, когда неожиданно услыхал мое имя, произнесенное кем-то в толпе.

Я оглянулся.

Передо мной стоял молодой мальчик лет шестнадцати, одетый так, как одет всякий крестьянский мальчик, приучающийся жить в городе: на голове, обстриженной под гребенку, была какая-то пуховая конусообразная шляпа, принадлежавшая, очевидно, другой, более обширной голове, ибо только растопыренные уши да нос мальчика удерживали ее в стремлении упасть прямо ему на плечи; красная рубашка с косым воротом, подпоясанная тоненьким ремнем, и сюртук, по размерам родной брат шляпе,— вот какой был костюм мальчика.

— Неужто не узнали? — произнес он, и сознавая, что шляпа, сидящая на носу, не может помочь мне вглядеться в его лицо, он приподнял ее и улыбающимися глазами глядел на меня.

— Федя! — воскликнул я, припоминая нечто знакомое в чертах его лица.— Неужели Федя?

— Я-с...

Всмотревшись пристальнее, я действительно узнал в нем Федю, одного из лучших учеников кратковременно существовавшей под моим руководством школы.

Мысль об этой школе явилась у меня года четыре тому назад, в один из тех моментов ясности в сознании действительности, которые по временам посещали меня. В такие минуты я замечал, и не только замечал, но видел весьма ясно, что я отец семейства, что вот эту щепку или кирпич пустил мне в голову мой собственный сын; что другой ребенок, который, очевидно, сидит у меня на шее, ибо ноги его свешиваются мне на грудь, и который, судя по довольно частым ударам в мой затылок, ударам, сопровождаемым криком: и-но-о! — очевидно, куда-то едет,— что это тоже мой ребенок, равно как и третий, который беспомощно воинет под диваном, высунув оттуда свое маленькое сплошь измазанное ягодами лицо... Увидав это и убедившись, что я отец, я не мог не видеть, что мне действительно надо об них позаботиться, ибо, так ли, сяк ли, а ведь это будущие люди... В такие минуты я замечал и потолки, которые грозят падением, замечал и сараи раскрытые,— словом, начинал видеть всё, что бы мне следовало видеть и чего я не замечал, будучи постоянно заслонен от этой действительности либо книгой, либо большущей газетой. Иногда в такие минуты на меня находил даже какой-то испуг, трепет: я ясно видел, что дела запущены ужасно, что надо хлопотать и поправлять их сию минуту, ни на час не откладывая дела... С быстротою молнии заняв деньги, я посылал за плотниками — подпирать потолки, за кормом собакам и лошадям, за чулками, башмаками детям и т. д. и т. д.; но вдруг случится что-нибудь за границей, как говорила моя теща, и глядишь,— я опять не замечаю, что творится под носом, не слышу,— хотя плотники своими топорами потрясают всё до основания,— не вижу, что вымытые и приодетые ребята давно уж толкутся вокруг меня с новыми азбучками и просят учить, что кто-то из них, не добившись толку и выдрав из азбуки все картины, предпочел снова ехать на моей шее, ехать куда-то очень далеко и очень скоро, ибо прут седока хлещет не только по́ затылку, но и по газетному листу, который у меня перед носом...

Не один, впрочем, домашние семейные дела и необходимости озадачивали меня в такие редкие минуты полной ясности сознания; очень часто сознание это распространялось и вообще на отечество, которое для меня, как для деревенского жителя, являлось в виде этих босых женщин, шлепающих по грязи под проливным дождем, с промокшими ребятами у груди, в виде лачуг, с вылезающим на улицу зипуном вместо окна, скотины, напоминающей по худобе самых породистых борзых собак, лишенной, однако, прыти последних,— словом, в виде бедности и невежества, искать которых никогда далеко не приходится... Под влиянием испуга я соображал всё ужасно быстро, и поэтому естественно, что едва мне приходили в голову вышеупомянутые признаки отечества, как я с ужасом чувствовал, что нужно делать сейчас же... С тою же быстротою, вслед за тем, я не мог не сообразить, что делать всего, что именно нужно,— невозможно потому-то, потому-то и потому-то сто тысяч раз. Оставалось *хоть что-нибудь* — надежное прибежище и тихое пристанище таких пугливых душ, как моя. Из довольно значительного числа разных *что-нибудь*, переполняющих все учреждения, заботящиеся о бедном брате, ничто, разумеется, не разработано с такой тщательностью, как народная школа и наука. *Что-нибудь* в этой сфере доведено до размеров почти «ничего», а с виду кажется почти серьезным делом. Знатоки этого дела, с часами в руках, о чем они не без гордости упоминают сами, высчитали, минута в минуту, все малейшие крупинки времени, остающиеся у народа для самого себя от ежегодной и ежедневной работы для собственного пропитания, для оплаты благочиния, благолепия ими... Такого свободного времени с часами в руках насчитано, кажется, около полутора года, и того меньше, во всю мужицкую жизнь; ни капельки не задумываясь об этакой ужасной тесноте, ибо полтора года на науку во всю жизнь — то же, что полтора аршина для прогулки или полтора глотка воздуха для легких,— поборники *чего-нибудь* сумели изобрести такую экономную науку, которая за ничтожную

цену пополняет это полутораршинное пространство битком сверху донизу; но так как эти поборники ужасно озабочены, чтобы бедный народ знал всё, и знал бы так, чтобы знания эти уместились в полутораршинном пространстве, не повредив ничего из того, что народ обязан исполнять в пользу благочиния, благолепия и т. д., то все знания приготовлены так, как готовятся консервы. Вот что-то величиной с булавочную головку: это порция науки на полчаса свободного времени, оставшиеся у бедного брата между рубкой леса на продажу для уплаты недоимок и ожиданием сотского, который через полчаса придет брать родителя этого самого брата за эту самую порубку. Невелико зернышко, но чего только нет в нем? Во-первых, естественные науки: что-то о крокодиле. Рассказано дело в трех строках, чтобы не терять времени, которое, как знает уже читатель, очень дорого: того и гляди придет сотский сажать. Крокодил, в Египте пирамиды, фараоны. Вот, примерно, всё дело,— здесь выпущены только предлоги и кой-какие глаголы. Но в этой же крупинке с булавочную головку не одни естественные науки: здесь есть еще и грамматика, тоже очень-очень крошечная: подлежащее — *крокодил*— есть, а сказуемое для краткости опущено; здесь есть и история — фараон (фараоны были цари, и один из них утонул); здесь есть и арифметика (пересчитайте все собственные имена. Сколько? — Два.— А если я прибавлю три нуля? — Пять тысяч! — А четыре? — —А пять?!); здесь есть и закон божий, и священная история, и много-много другого рода занятий, частию удовлетворяющих прямо невежеству, частию имеющих в виду цели просветительные. И всё это в одной крупинке, и всё это точно на почтовых.

Громоздкий груз науки, таким образом, приспособлен, приведен к возможности пройти сквозь игольное ухо. Второпях, разумеется, и я ухватился за этого рода науку. Народные беды были так велики, а времени так мало, что я принялся гнать, как говорится, по всем по трем. Показав, например, букву *А* на доске, я, чтоб не терять времени

и пользуясь свободной минутой, чтобы тронуть и воображение учащихся, которому среди недомок и прочих забот, разумеется, ходу нет,— я спрашивал почти тотчас же, на что она похожа? Если мне не отвечали (что в самом деле довольно трудно, ибо на что же она похожа, как не на *А*?), я старался придумать что-нибудь сам, например: дуга похожа на *А*; от дуги переходил к упряжи, от упряжи к коже, от кожи к кожевенному мастерству, так что иной раз, когда на следующий день я выставлял ту же букву и спрашивал, что это такое, то ответы были самые разнообразные: один говорил «кожа», другой «мастерство», третий начинал что-то вроде «кисло...кисло», стараясь припомнить, по всей вероятности, кислород, о котором тоже шла речь вчера.

Федя, которого я встретил теперь на пароходе, один только прежде всех привык опоминаться среди этой бешеной скачки в пользу бедных братий. Он почти один только из всех моих учеников мог отвечать мне, что на доске написано *А*, когда оно было написано, и не путался во мраке обилия сведений, которые я приплетал, желая в самое короткое время сделать как можно больше *чего-нибудь*. Это была умная, внимательная и понятливая крестьянская головка, успехи которой могли бы пробудить в душе самого неверующего соотечественника веру в существование вокруг него самых живых душ. Внимательный, серьезный взгляд его умненьких глаз, ясно выражавший жажду знать, один только, сколько помню, поддерживал меня среди толпы других моих учеников, большею частью совершенно не переваривающих обилия и разнообразия духовной пищи, мною им преподносимой. Федя являлся в школу раньше всех, уходил всех позже; у меня родилась было мысль исключительно заняться им одним, чтобы сделать *что-нибудь* (разумеется, «*что-нибудь* хорошее») для одного, но, к моему удивлению, он безжалостно разрушил мои планы насчет его будущности, вдруг как-то осовел, раскис, утратил напряженность внимательности к моим урокам и скоро исчез из школы совсем. Это меня

несказанно удивило и огорчило. Мне стало скучно в школе без такого ценителя, какого я ощущал во время своих лекций в Феде, и этого было достаточно, чтобы это предприятие на пользу общества приняло тот оборот, который принимали все мои предприятия на пользу собственного дома.

Скоро школа закрылась.

Встретившись теперь с Федей, я заметил, что юношеское лицо его носило тот же оттенок задумчивой сосредоточенности, какой бывал у него когда-то в школе.

— Где ты теперь? — спросил я его после того, как, поздоровавшись, мы отошли к стороне и сели...

— У Семен Сергенча теперь... Тут — недалеко по Волге село будет... Немудрово—знаете?.. Семен Сергенч там на фабрике механик... Я при нем...

— Что же ты делаешь?..

— Покуда еще только начинаем... Я вот к матери ездил, билет брал,— думаю, тут, у Семена Сергенча останусь...

— Что же этот Семен Сергенч—хороший человек?

— Страсть! — с увлечением сказал Федя.— Что он для меня делает, так это только подивиться... Каким я к нему пришел, и что я стал? Теперь же по крайности я могу со временем делать людям пользу.

— Что ж, это хорошо! — пробормотал мой язык, привыкший в том обществе, из которого я ушел, болтать ничего не значащие слова.

— Потому что,— продолжал Федя с прежним одушевлением и уверенностию,— я так думаю, что надо жить на пользу другим... Вы не поверите, сколько есть несчастного народу на свете... То ему надо помочь...

— Как же ты поможешь?

— Буду делать пользу!

Нельзя было не улыбнуться при виде несомненности, с которой была произнесена эта фраза.

— А те,— продолжал Федя,— которые есть не полезные люди, тех надобно искоренять, потому что от них вред... Ежели бы я прежде об этом знал, то другое бы было, а то

сколько лет прошло занапрасно, теперь только стал входить в смысл...

Лицо Феди сделалось совершенно серьезным.

— Я бы уж давно,— продолжал он,— мог бы что-нибудь искоренить, а теперь, может быть, еще года три надо дожидаться... А три года — это ведь сколько времени-то! К тому времени страсть сколько народу может погибнуть занапрасно, потому что я, сколько ни гляжу, не вижу старания на пользу ниоткуда, но более есть народу, который поступает не на пользу. Этого нельзя!

Последняя фраза была сказана с таким убеждением, что я не посмел засмеяться, хотя и действительно было чему. Господи, подумал я, такие ли еще вещи могу я понимать и говорить о пользе! Сколько знаю я относительно существующего «вреда» и как отлично и убедительно могу я изложить бесчисленные мысли мои по этому поводу,— а между тем я чувствовал и знал, что мое «этого нельзя» ровно ничего не значит, тогда как Федино — слово вполне живое, нераздельное с ним и поэтому непременно что-нибудь значит, а для него, для его развития значит очень много. Этого нельзя было не видеть и не слышать, глядя и слушая, как он говорит. Я не смеялся поэтому, когда Федя в дальнейшем разговоре принялся излагать более подробные взгляды свои на существующий вред, высказывая их в форме тех азбучных, так сказать, изречений: — «Бедный работает, но богатый только получает, почему? Этого невозможно. Разве бедный тоже не человек? Скажите пожалуйста! Кто это вам сказал? Нет, бедный тоже человек, это я вам могу вполне доказать, да» — и т. д. и т. д.

Слушал, слушал я эти азбучные, но вполне искренние слова, и образ деревенского Феди, того, который с босыми ногами сидел у меня в школе, размеры его тогдашнего понимания, и Федя теперешний, с теперешними потребностями мысли,— совсем оказывались непохожими друг на друга. Как случилась такая перемена?..

— Отчего ты бросил школу? — прервал я его.

Федя остановился не сразу: он еще несколько секунд продолжал договарпвать свои азбучные фразы, не имея возможности остановиться, так как высказать то, что владело всей его душой, ему было необходимо. Договарпвая, он смотрел на меня как-то странно, как на человека, который тоже «неполезный», должно быть. Но окончив и успокопвшпсь, он произнес:

— Отчего я тогда перестал в школу-то ходить?..

— Да. Ведь ты отлично учился...

— Скучно стало! — сказал он, улыбаясь мне прямо в глаза.

Мне даже стало неловко: «скучно!» — вот результат всех моих хлопот на пользу отечества. Это не много.

— Скучно? — зачем-то переспросил я.— Отчего же?

— Не по мне было... Я уж такой уродился: что мне не надо, мне сейчас скучно. Ведь я почему в школу к вам пошел? Мне бптву с кабардинцами захотелось прочитать самому... К нам в избу хаживал Андрюшка,— знаете, вор известный был в наших местах; он хаживал к нам по осени, либо зимой, когда вору плохо, и что же? За лето он всех обворует, целое лето за ним гоняются с дубинами, сторожат,— и попадись — убили бы, а зимой придет, и ничего, потому что он отлично сказки рассказывал... В избе темно-темно, скучно-скучно, а Андрюшка как начнет свою канптель, все так и притаятся... Глядишь, от соседа пришла за чем-нибудь баба, а стала слушать Андрюшку, да так и сидит с горшком на коленях часа два... Целую зиму его и прокормят. К весне мужики начинают подумывать, как бы его связать да представить в тюрьму, но он всегда уйдет так, что не успеют опомниться... Вот этот-то Андрюшка и корень всему делу... Страсть, как я любил его сказки... В избе у нас уж какая жизнь? Там ох, тут о-о-ох,— скука! А как придет Андрюшка да начнет рассказывать, так так башка и загорится вся... Какой-нибудь великан едет... срубил у змеи двенадцать голов, искоренил, я очень рад; хвать, а наместо двенадцати пять-десят выросли, тут нас всех ровно варом обдает,— что тут

делать? Чистая беда. И когда тот справится — так уж как хорошо-то!.. Тут Андрюшке — что хочешь! Словно бы он сам ото всего этого отбился... Ну, вот от этого мне и вошло в ум учиться, думаю, сам примусь обо всем об этом читать — больше узнаю; вот я и пошел в школу... Мне хотелось выучиться читать... Как я выучился азбуке, так мне и стало скучно у вас...

— Однако,— проговорил я, чувствуя себя слегка задетым за живое, — ведь я и кроме азбуки в то время говорил уже то, чему вот ты теперь только начинаешь учиться...

— То-то не так я был в то время налажен... Не шло мне тогда ваше в душу... Мечта действовала... Конечно, что всякий человек должен поступать по рассудку и не дозволять себе потакать в разных там пустяках. От этого может быть другим не польза, но вред (Федя произнес несколько фраз такого рода и доказал справедливость своих мнений), но в то время у меня орудовала мечта. Чтоб жгло бы внутри, вот... Я уж ждал не дождался, когда выучился читать, а выучился — и бросил школу... Потому мне стало скучно... У меня в голове одно, а вы, извините, как начнете пхать туда...

— Знаю, знаю! — сдавался я без боя. «Пхать»! — неизгладимо мелькнуло у меня в голове.

— Особливо помню под светлый день (ведь я ушел от вас под светлый день, на шестой неделе)... Мы все мальчики этот день любим,— сами судите, сколько тут чудес случилось. Так, бывало, сердце и изнывает, как начнешь думать об этом... Я думал, вы расскажете всё-всё подробно, а вы как начали пхать...

— Знаю! Помню! — второй раз сдался я и не без краски в лице представил себе этот урок, приноровленный заботливыми педагогами ко дню такого большого праздника.

Я представил себе, как ко мне собралась толпа детей, ждущих, что я расскажу им об этом празднике не так, как дома, в избе, рассказывает им старуха, а со всеми подроб-

ностями, со всеми чудесами, так весело гармонирующими с пробуждающеюся весной.

И что же делал я для удовлетворения желаний, с которыми пришли ко мне эти люди? По всей вероятности, я, дорожа временем, рассказал всю историю в трех строках и, не удовлетворив сотой доли любопытства моих слушателей, перешел к извлечению из этих трех строк того обилия знаний и сведений, которыми никто не интересовался... А между тем мне надо бы было тогда знать, что делается в душе моих слушателей, я должен был бы ответить на вопрос этих душ, а не «пхать», как говорит Федя... Впрочем, припомнилось мне, ведь с часами в руках высчитано, что у этих мальчишек, будущих мужиков, решительно нет времени на разглагольствия...

Последнее соображение не убавило, однако, конфуза, который я испытывал под влиянием речей Феди. Кое-как замяв воспоминания его относительно урока, после которого он окончательно оставил школу, я поспешил спросить его:

— Куда же ты делся, когда оставил школу?..

— Мне даже удивительно это сказать теперь вам, куда я делся... Как я выучился читать, то принялся за чтение. Отец меня, разумеется, колотил, я озлился... Дело было летом... Однажды я порешил, что больше дома жить не буду. Нельзя... И попадись мне в это время Андрюшка-вор... Что ж вы думаете? Сманил ведь! Мне было тринадцать лет, как я пошел с ним. Пошел я потому, что был сердит, а Андрюшка ежели воровал, то тоже не просто, а потому, говорит, что тоже «сердит» был. «Сегодня,— говорит,— вот куда пойдем,— к Илюшке-кабашнику в Старые Хохлы,— я на него еще с прошлого года сердит». В ту пору мне представлялось, будто все его дела справедливы, вот я и пристал к нему, и приказания его исполнял. Потому верно выходило...

Такая школа, заменившая собою ту, которую Федя только что бросил, признаюсь, нисколько не разъяснила

возможности появления в нем тех идей, какие он высказывал теперь на пароходе.

— Как же потом?

— Ну, а потом очень натурально попались в краже, попали в острог.

Я не удивился этому.

— Тут, я вам скажу, мне было вполне превосходно.

Этому я не мог не удивиться.

— В остроге — превосходно?! — воскликнул я.

— Редкостная была жизнь! Я говорю ведь правду, мне от вас скрывать нечего, я вам за азбуку век благодарен... Но верно говорю, отлично!..

— Да почему же? Что ж там кормят, держат хорошо?

— Вот,—корм! Нашли что! Я говорю — весело. Это было мне в ту пору по душе. Как сам я шлялся с Андрюшкой, то я шлющий народ знал, я их так понимал, как себя... От этого они меня приняли хорошо. Конечно, я всё перенес с первого началу, меня и били, и на лицо мне садились, но я не сержусь, со всеми то же бывает... Это как экзамен... И главное, что мне было весело, это, я вам скажу,— фальшивая монета! Ей-ей. Весьма было интересно! В первый раз я тут занялся прилежно... Дома по хозяйству, признаться, меня не тянуло; ну, что за интерес целый день, например, вколачивать где-нибудь кол? — окроме, что измучаешься, ничего нет. Или в лес ехать,— вырубишь на гривенник, а проедешь туда да назад — сутки... Не по характеру мне это, потому пользы нет, хоть целый год изо дня в день езди в лес да колы вколачивай — всё бедность... Ее лучинкой не подопрешь, не поправишь... Это я еще тогда чуял, от этого мне и скучно было... А тут, когда я при фальшивой монете состоял, совсем другое; тут я за свою братию стоял — первое, а второе, что наделаем пятпалтынных, всего накупим... Я так тогда понимал, что не грех обманывать лавочников, они богатые, и много народу, что в остроге сидели, были на них сердиты и меня подстроили. А я

в то время был согласен с ними... И они меня страсть как любили... Когда я вышел из острога...

Я подумал, что вот, наконец, где должна быть разгадка.

— ...Так заскучал, так зарыдал...

— Но как же ты,— не вытерпел я,— сделался таким, каков ты теперь?

— Да всё же через фальшивую монету! Ежели бы не она, я бы, кажется, прямо в родительский дом ушел, был бы простым работником, возил бы воду, не имел понятия. Но через фальшивую монету я получил большую пользу.

— Это очень любопытно. Расскажи, пожалуйста.

— Это я вам сейчас скажу. Видите, когда мы подделывали мелочь, мы ее, надо говорить прямо, подделывали искусно. Это уж говорить нечего. Был один изъян в нашей работе — звон; звуку не было. Ежели так ее взять в руку, настоящая вполне, а ежели об стойку брякнуть, в ней тону нет. Видите. Когда я вышел из острога, мне и пришла в голову мысль, думаю: «Дай я поучусь тои подпускать да опять как-нибудь попаду назад,— то-то, думаю, мне обрадуются...» А еще в остроге слышал я, что очень хорошее средство — стекло пускать в свинец; мы пробовали пускать, только нет, не выходило... Вот я и принялся искать человека знающего. Долго ли, коротко ли, говорят мне: «Сходи вот к такому-то, он может...» Вот я и пошел.— «Скажите, ваше благородие, сделайте милость,— говорю, я — не знаете ли, каким манером звон в свинце делать и сколько на какую часть свинцу класть?» — «А зачем это тебе, друг любезный?»— «А, говорю, в монету фальшивую...» Тот и обомлел.— «Как в фальшивую монету?» И глаза вытаращил. А я, признаться, не совсем аккуратно понимал, что такое фальшивая, что не фальшивая... Мне хотелось нашей братии острожной угодить.— «Как, каналья этакая, говорит, в фальшивую монету? Да кто ты? Да что ты такое?» — «Я, говорю, из острога...» — и всё рассказал барину, а барин этот и есть Семен Сергеич... Как рассказывал я ему, он даже ни словечка не промолвил и не обругал... Вот он-то и перевернул у меня

всё в уме...— «А что, ежели за твой пятиалтынный посадят, а то и в Сибирь сошлют, невинного человека? Что ж, ты пользу этим ему сделаешь?» С этой точки он меня и пробрал... Я два дня, кажется, слез не осушал, как с мыслями сообразился да по-новому и деревенскую и острожную жизнь разобрал...

Федя замолк, молчал и я.

— Вот моя жизнь, Андрей Иваныч! — прибавил Федя.— Конечно, я дурное делал, но я не понимал; как у меня душа говорила, так я и делал... А теперь всей моей душой не вред, но пользу хочу оказать, а зло искоренить... И искореню! — закончил он, сверкнув полными слез глазами.

V.

Второй день моего путешествия и пребывания на пароходе подходил к концу. Остановились на гладкой поверхности возле плота и барки и стоим неподвижно; только широкий и высокий вал пароходной волны, незаметно подбежав под неподвижно стоящий плот, коробил его с одного угла на другой, вместе с десятком человек народу, усевшегося без шапок вокруг чашки с вечерней едой. Вылетавшие из пароходной трубы клубы дыма подолгу висели во влажном и начинавшем холодеть воздухе. На мачтах остановившихся на ночлег барж засветились огоньки... Хорош был этот вечер, потому особенно, что на душе у меня было тоже хорошо и покойно, чему особенно много способствовал рассказ Феди, разъяснивший мне и в моем прошлом и в том, на что я теперь, в течение этого дня, смотрел и что слушал,— очень многое.

Я не намерен здесь передавать в подробности всё, что я переслушал, находясь с раннего утра до теперешнего тихого вечера в толпе. Я могу сказать положительно, что все рассказы и разговоры, слышанные мною в толпе, если не касались барышей, «дел» и т. д., блистали самою неподдельною дикостью и мракобесием; чего-чего только я не

наслушался здесь! Если бы записать всю эту дикость и мракобесие, отделив тщательно от рассуждений о практических делах, то читатель бы подумал, что я представляю ему дом сумасшедших, а не обыкновенный пароход, наполненный обыкновенными пассажирами. Я знаю многих из очень развитых соотечественников, которые, проехав верст три-четыре тысячи по русской земле, чувствовали себя словно в дремучем лесу, не находили человека, с которым бы можно было сказать слово, хотя сотни тысяч народу прошло и проехало мимо них, и были рады-радешеньки, когда, наконец, где-нибудь в пустыне отыскивали нумер «Сына Отечества», являвшийся при таких обстоятельствах истинным благодетелем, потому что, в самом деле, трудно себе представить, о чем только и как разговаривают эти сотни тысяч чуек, армяков, лисьих шуб и т. д. Не говоря уже об дикости понятий, в которых к тому ж и разобрать еще с непривычки ровно ничего невозможно: самый язык, которым говорят эти народы, преграждает всякий путь и надежду на какое-либо понимание их сумасшедшей чепухи.

Вот, например, кто-то из этих людей произнес слово «прокламация», а другой сказал: «с прокламациями» — и захохотал. Тот, кто захотел бы принять это слово в том смысле, какой оно должно иметь,— очень скоро должен бы был почувствовать себя не совсем ловко.— «Где прокламации?» Отвечают:— «В буфете!» В буфете сидят два купца, играют в шашки, один человек спит, один умывается,— а прокламаций нет как нет.— «Где же они?» — «А вот,— говорит с затаенным смехом буфетчик, указывая на того, кто умывается,— он с самого утра так-то полощется; уж чего-чего не было: вынул этакие щипцы не щипцы, ножи не ножи какие-то, эво сколько,— как принялся выделывать эти самые прокламации,— боже милосердый!.. И в нос к себе лезет и за ногтем роется... Купец тут рядом с ним спал, так весь даже в мыле проснулся».

Вот каким языком разговаривают эти люди; но, несмотря на то, что язык этот — верх безобразия, что идеи переполнены

дикости и мракобесия, вера в них и настойчивость, с которою они проводятся этими армяками, лисьими шубами и полушубками в жизнь, достойны полного удивления и доказывают, что между этими армяками, лисьими шубами и полушубками существуют массы сильных натур, могучих характеров. Как, например, последовательно осуществляет в жизни свои странные идеи старик, рассказывавший о неопалимой купине! С какой искренностью вспыхнули стыдом щеки девушки после того, как ее взгляды на казанского мещанина были разбиты вдребезги седеньким старичком! Глядя на эту искренность, можно было сказать с полной уверенностью, что после афронта, нанесенного девушке стариком, взгляды ее будут уж не те, что были, а несравненно лучше... Точно так же, если бы в жизни старика, так неразрывно сплоченной с указаниями неопалимой купины, произошло что-нибудь разбивающее стройность и целость его теории, он не стал бы придумывать пустяков и софизмов, а, может быть, либо умер, зачах, не видя более почвы под своими ногами, либо взялся за что-нибудь другое, что точно так же уясняло бы ему всё, как прежде уясняла неопалимая купина. «Дай попробую, узнаю,— говорил он в своем рассказе: — сама она или не сама хочет ко мне? Как цена?» — «Два с полтиной».— «Руб хочешь — бери!» С него взяли рубль,— стало быть, сама! И, действительно, всё пошло как по маслу... Ну, а если бы преображенский батюшка запросил не рубль, а, например, рубль шесть гривен? Оказалось бы, что «не сама», что во всей этой истории есть какая-то фальшь, что-то неладно; оказалось бы, что и «в напутствие» и «в сретение», в сущности, ровно ничего не значат, что подряд удачный попался не по божьей воле, а, может быть, по наущению дьявола, и т. д. и т. д. Я живо представляю себе состояние духа несчастного купчины после этого огорошивающего рубля шести гривен: всё семейство его ходит на цыпочках, потому что он сердит; всё ему «не так», потому что это «не так» сидит в нем; все домашние и служащие оказываются обманщиками и ворами потому, что он обманут

сам и вполне надут дьяволом... Наконец — запой и появление уж настоящих бесов.

«Но,— приходило мне в голову,— все эти удивительные характеры, все эти люди с необыкновенно прочными верованиями веруют всё-таки же в самую подлинную чепуху и, кроме непроходимого невежества, ничем в сущности не могут порадовать внимательный взгляд наблюдателя. Что же тут хорошего? При таком характере да при таком невежестве какой чепухи не сумеет сделать такой человек с своим ближним?» Такие соображения, несмотря на очевидную основательность, не особенно тревожили меня в настоящую минуту. Припоминая похождения Феди, я убеждался, что сфера невежества и дикости вовсе необязательна для хорошо сформированного характера. Мальчик, который ушел из школы воровать,— вор, сидящий в остроге, фальшивый монетчик; уж это ли не потерянное существо, уж это ли не человек, который более других способен наброситься на вас и схватить за горло? А на деле выходит совсем другое. Строго повинуясь указаниям своей мысли, он вышел сам собой на настоящую дорогу, прямо к свету... Этот путь к свету не заказан никому из массы чуек, армяков, лисьих шуб; этот путь даже неизбежен для всех их, и если области невежества и умственного вздора остаются для них обязательными, то причину необходимо искать не в них.

Рассказ Феди, хотя отчасти, указывает на эту причину. Выражения: «*мне* стало скучно, *я* хотел, *мне* не шло в душу»,— выражения, которыми был переполнен его рассказ, невольно пришли мне в голову... Повинуясь этому настойчивому *я*, он бросает школу, учреждение, несомненно, полезное, особливо сравнительно с подделкой фальшивых пятиалтынных, и идет воровать. Как это могло случиться? Стоит только припомнить намерения, с которыми Федя шел в школу, и сравнить с теми, которые с своей стороны имела школа, чтобы понять, что общего между теми и другими не было ничего, что Федя должен был непременно бросить школу, если хотел сохранить свою самостоятельность,

если не хотел пустить в душу того, что не шло туда само собой. Следовательно, путь к свету, предлагаемый школой, угрожал Феде потерею нравственной самостоятельности и заставил его уйти, быть вором, шататься по чужим амбарам, по острогам.

Что делать! Должно быть, только в этой темноте, в этих темных углах, где не видно ни капли свету, и возможна эта нравственная самостоятельность! Разве старик со своей купиной не напоминает филина на церковной колокольне, забившегося от людей в такую высь и такую трещину, куда до него не дохватит ни один камень? Быть может, и эта трещина сохраняет его нравственный мир таким, каким сам он считает его лучше и удобнее для себя. Иначе, вообще, почему же эти характеры прячутся по мурьям, по острогам, гнездятся где-нибудь в темном углу, как совы, которые видят только в темноте? Их тут не трогают и не мешают быть самими собою...

И опять образованные люди куприяновской свалки пришли мне на память. Все они, бесспорно, исповедывали лучшие идеи, чем эти чуйки, лисьи шубы, армяки; все они шли в своем развитии по более торным путям,— и что же? есть ли в них хоть тень той силы в своих убеждениях, какою обладают невежественные лисьи шубы? Вспомните процесс, и вы убедитесь, что он служит самым прочным доказательством отсутствия веры в эти убеждения. Неужели же в развитии их не было тех благоприятных условий, какие Федя нашел в своей странной жизни, или купец-филин, воспитывающий себя в глухой трещине под колокольней? Я припомнил ход своего развития, развития моих знакомых и товарищей и убедился, что на торных путях к свету нет в нашей стороне возможности сохранить характер и личность.

Федя ушел, как только ему «не пошло в душу»... Кто из нас, из всех этих «куприяновцев», уходил когда бы то ни было от этого «не идет в душу»? На торных путях нет никаких средств уберечь эту бедную душу на собственную

свою пользу. Едва она попала сюда, как тотчас же начинаются над нею эксперименты, не ставящие ее в грош и имеющие в виду цели, ей вовсе посторонние. Находясь еще в школе, она приучается то думать об известных вещах, то не думать, потому что это кому-то нужно. И затем эти акции и реакции мысли, не зависящие от вас, начинают действовать без остановки во всю последующую жизнь. Поставленный в необходимость раз двадцать в жизни переменить направление мысли, человек теряет к ней всякий аппетит и может завещать своему сыну только то, что все эти мысли в сущности вздор, потому что не прочны, потому что завтра могут быть другие. И прочным и неизменным остается только то, что делает человека очень, очень маленьким.

Мне пришло в голову и припомнилось великое множество населяющих русскую землю людей, жертв этих внезапных акций и реакций мысли, от самих людей не зависящих, и я бы непременно теперь же представил их читателю, если бы не произошло следующее.

Пароход, описывая полукруг и жалобно гудя в ночной тишине, стал подходить к какой-то пристани.

На склоне горы темнели бараки и белели церкви. Несколько огоньков светилось на пристани.

— Село Немудрово! — сказал капитан.

— Немудрово! — раздавалось по каютам, где лакеи будили заспавшийся народ, которому нужно было здесь вылезать.

Я не спал.

— Прощайте, Андрей Иваныч! — сказал, появляясь с узелком подмышкой, Федя.

— Куда ты?

— Я здесь вылезаю...

— Разве здесь твой Семен Сергеич?

— Как же, здесь... У того купца он на фабрике... У седова, что вы давеча слушали... Первый фабрикант и первый кровопиец... А вы куда едете?

Этот вопрос заставил меня подумать, куда собственно я еду. Оказалось, что, садясь на пароход, я не взял даже билета.

Удаление Феди и скука одинокой езды на пароходе, притом еще неизвестно куда, навели меня на мысль сойти в Немудрове...

Я так и сделал.

И хотя это обстоятельство прервало на некоторое время нить моих мыслей, зато, ознакомившись с жизнью большого фабричного села, я могу теперь рассказать не только о старых моих знакомых, но и о положении целой деревни, испытывавшей на своем веку те же самые, хоть и ненужные ей, но настойчиво приводимые в исполнение посторонние влияния.

ЗЛЫЕ ПОВОСТИ.

I.

Шестнадцать лет тому назад в жаркий июльский полдень на реке Черемухе, впадающей в Волгу, появился первый пароход. Медленно, сурово и вместе трусливо прокладывал он свой первый путь по этим девственным водам, между спокойно зеленевшими берегами... Целая армия мужиков с длинными шестами в руках толпилась на носу парохода; другая не менее значительная армия разного пароходного начальства наполняла капитанскую рубку... «Шше-сть!.. че-ты-ре-е!»— во всю мочь громкими голосами орала армия мужиков, поминутно выхватывая из воды мокрые и сверкавшие шесты... «Тп-шше! Сто-о-ой!» — гремели басы лоцманов,— и, повинуясь этим громким ни на минуту не умолкавшим крикам, пароход то притихал, сердито ворча, то начинал свистать, дымил черными клубами дыма и безжалостно ломал тихую поверхность реки.

Изумленные этим невиданным зрелищем, как вкопанные останавливались с граблями в руках толпы расфранченных, по случаю уборки сена, деревенских женщин, пестревшие по обоим берегам реки. Не понимая, что такое творится,

эти простые люди испытывали в то же время ощущение чего-то удивительно страшного и вместе удивительно веселого... И вот, развиваясь с каждой минутой, это ощущение страшного и веселого разрешалось в какой-нибудь из зрительниц тем, что она, сама не зная почему, вдруг затягивала звонкую песню, начинала подплясывать и бить в ладоши... А за одной принимался петь, плясать и бить в ладоши весь расфранченный луг... И пляшет и поет он, в такт стуку пароходной машины, долго после того, как пароход прошел мимо.

Это нервное состояние, производимое странным, непонятным и чудным,— повторялось по всему протяжению Черемухи, где шел пароход и где его видели люди. То же самое произошло и с жителями села Покровского, в котором пароход остановился на ночлег... Необыкновенное веселье и необыкновенный страх обуял жителей Покровского мгновенно, как только пароход остановился у наскоро (еще весною) сколоченной конторки, наполненной народом, раскачав ее своими волнами и разбросав по берегу лодки, тоже наполненные покровским народом; точно в лихорадочном жару стали метаться эти испуганные и обрадованные люди с конторки на берег и с берега на конторку; молодежь— парни, девки, ребята — лазили на четвереньках у самого борта парохода, желая разглядеть, что там делается, и когда один из таких наблюдателей увидал, что внизу, из какой-то дыры, как из окна, торчит человеческая голова,— на него нашло что-то до такой степени непонятно одуряющее, что он тотчас же пошел колесом и продрал таким образом на самый верх крутого берега...

Целую ночь, покуда стоял пароход, продолжалось это нервное, близкое к истерическому, состояние, и когда на следующий день чудный гость, засвистав и задымив, ушел дальше, всё, что жило в Покровском, чуяло, что случилось что-то новое, что теперь что-то стало не то, и действительно, впоследствии, спустя годы, всякий покровский житель стал считать день первого появления парохода —

днем, с которого в сельскую глушь начали являться разные злые и добрые новости. Пароход, снаряженный каким-то юным купеческим сыном,— быть может, пожелавшим шуметь на газетный манер,— «рбсчал» состарившиеся нравы захолустья, и вслед затем в эти дряхлые нравы, в эти маленькие дела стали входить новые элементы, новые черты... Не прошло и года после памятного дня, как из неясно сознаваемого покровцами «нового» совершенно точно и определенно и для всех видимо обрисовалось одно явление, совершенно новое. Это явление, пришедшее за пароходом, было — *деньги*. В глушь, в захолустье, в среду бедности, забитости пришли деньги, много, много денег...

— Такие ли еще деньги я на своем веку видал! — негодуя на новости дня, говорит покровский старожил.— Может, сотни тысяч через мои руки прошли, а не то, что... Какие это деньги? Тьфу, одно!

Речь этого старожила дышит неподдельным негодованием на новые времена. Но человек, близко знакомый с прошлым житьем-бытьем Покровского, посравнив его беспристрастно с настоящим, непременно должен сознаться, что негодование старожила вполне неосновательно. Да и в самом деле, за сколько бы сот лет мы ни углубились в историю села Покровского, мы всегда находим покровца работающим на кого-нибудь — на большого боярина, на сына боярского, на святую обитель, на господ злых, на владык добрых, на разбойников, приказчиков—и вообще на сотни и сотни разных сортов владык, которые поступали со всеми этими людишками как хотели: продавали их и закладывали, пропивали, проигрывали, забывали их на год, на два, а потом вдруг нагрянывали и требовали сразу всё за прошлое, да вперед за пять лет... Не мелея и не пересыхая, а, напротив, постоянно увеличивая свои воды, целые столетия лилась в этот уголок река приказов из Москвы, из Питера, из Парижа и бог весть откуда, и в редком из них не было повеления, чтобы — «которые людишки от нашего господского дела по лесам станут разбегаться и животы свои кидать, и те

животы брать на наш господский двор, да сыскав людишек, кнутом бить и к делу нашему боярскому ставить...» А над злыми и добрыми детьми боярскими и боярами, над беспощадными немцами-управителями и кровопийцами-приказчиками — стояла Москва, Питер, и тоже требовала: «да на зелейное... да на пушкарные... да посошные...» — не забывая всякий раз прибавить в объяснение законности этих сборов всё то же повеление: «сыскав, бить и деньги с него взять». Эти два потока приказов, стоявшие целые столетия у самого носа покровца, естественно давали очень мало времени покровцу подумать о себе, поработать на себя... — Чрез его руки, как говорит старожил, прошло несметное число денег,— но чтобы они были когда-нибудь в руках у него, чтобы он привык распоряжаться ими — этого сказать никак нельзя, иначе, как объяснить, что и до сих пор покровец не умеет рассчесть, не знает, где его выгода, берет грош за непстовый труд, а на пустяке думает ограбить и нажиться...

— Ежели вашему здоровью поскорея, — ломаясь, бывало, излагает предводитель целой толпы покровцев человеку, который *нарочно* приехал к ним из города на лодке по какому-нибудь делу,— ежели теперича поскорея вам надыть, то ближе, как двадцать пять... то бишь... шестьдесят рублев нам взять нельзя... Этаким вот манером!

Проговорив с полным апломбом эту речь, покровец оглядывался на своих товарищей, как бы спрашивая их: «ловко ли?» Но товарищи сами смотрели на него недоумевающими глазами и тоже как бы спрашивали: «нешто столько?» Общее недоумение разрешалось обыкновенно тем, что приезжий, изумленный глупостью обывателей, не сказав ни слова, только плевал на их речи и, не помня себя от негодования, шел назад в лодку.

— Назад поезжай! — говорит он гребцам, и те берутся за весла.

При виде этого покровцы начинали понимать, что попали «не туда»; они сразу снимали шапки и, толпой придви-

нувшись к берегу, оробевшими голосами кричали отъезжавшему:

— А ваша цена какая будет? Ваше спятельство! Говорите вашу цену.

— Я с дураками, — доносилось из лодки,— разговаривать не хочу!

Тут всеми покровцами овладевал панический страх; сразу поняв, что они дураки, и видя этих дураков один в другом, они принимались осыпать друг друга ругательствами и пинками и, как испуганное стадо, бросались к воде, а иные вбегали по колено и даже по шею в воду и орали...

— Двадцать... Пятнадцать, господин!..

— Десять... Пя-а-а-а-ть!..

— Я с дур-рраками,— гремел с лодки ответ,— и говорить-то не буду!..

— Три-и-и... два-а-а...— вопияли покровцы, захлебываясь и утопая.

— Рубль! — наконец с насмешкой отвечали с лодки, и на этот рубль бросались все.

— Я-я-я-я...—гудели над рекой, перемешиваясь с бранью, крики дравшихся и утопавших покровцев.

Задумав ограбить и нажиться сразу там, где этого сделать невозможно, покровец доводил, таким образом, цену своего труда чуть не до нуля... Он это понимал и хотел поправиться...

— Так за рубль? — спрашивает его воротившийся приезжий.

— Да уж...— бормочет он и робко шепчет: — за два с полтинкой... уж...

— Как за два с полтинкой?.. Полтинника не дам!

— Ну, извольте, извольте...

— Не дам!

— Ваше спятельство! Ваше благородие!..

Со зла приезжий человек был неумолим, и покровскому обывателю приходилось брать за труд уж настоящий нуль...

— Как перед богом, перед создателем скажу,— окончив работу, клянчил покровец пред нанимателем,— как есть — ни крохи не осталось... Лошадей задрал... Всю дорогу, сам суди, на одном кнуте ехал... Чисто подохнуть таперчи... Яви божескую милость... заставь бога молить.

И получив в подачку двугривенный, он уходил к своим задранным лошадям, утирая рукавом мокрое от поту лицо и говоря:

— Дай тебе бог... Сошли тебе царица небесная...

Такое, большею частью, знание — сколько, когда и за что надо взять, обнаруживал покровец в делах случайных, где ему приходилось заработать на себя, без постороннего приказу... Очевидно, это был ребенок, который, однако, и разбойником тоже быть мог. Не в лучшем положении находился его труд и для своего будничного прокормления и житьишка. Хлеб, масло, молоко, рыба, благо река близко, летом ягоды — вот чем тянуло свое существование село Покровское. Но город, стоявший на той стороне, верстах в трех ниже Покровского, куда последнее сбывало свои продукты, был плох, беден (пароход даже и не останавливался в нем), платил мало, прижимисто... Великого труда стоило поэтому покровскому жителю или жительнице вытащить из цепких лап городских торговцев какой-нибудь рублишко, да и тот чаще всего приходилось оставить в тех же лапах, задолжав еще полтину.

Бывало, целую неделю, не покладаючи рук, какая-нибудь покровская жительница сбивает масло; целую гору набила она его—и вот, наконец, везет в город.

Сидит она с своей кадушкой в самой середине громадной дубовой лодки. Три здоровенных парня, три родных ее сына, грохая в воду громадными дубовыми веслами, доставляют маменьку в город. Они без шапок; спины их черны от поту, и руки горят, словно их огнем обожгло...

— Ты мне, маннька, три копеечки, беспремешо дай... Я хоть квасу выпью! — говорит один из богатырей.

— И мне, маннька! — говорит другой.

— А мне,— говорит третий,— хушь копейку...

— Да как купец, касатики! — охая шепчет мать этих богатырей.— Приналегните, касатики... Захватить бы купца-то...

— Захватим! — дружно принимаясь за весла, произносят богатыри: — только ты нас не обидь...

— Да, хорошо, как купец...

— Н-но...рряб-бя... навались...

И несется дубовое чудовище, как стрела; часа через четыре плетется оно назад... Уныло бухают богатыри веслами, лица их суровы и злы...

— Чорт! — говорит один, адресуя это слово к купцу.— Право, чорт, прости господи...

— Идол этакой!..— говорит другой.

— И квасу не выпил... Всё нутро палит...

— Авось, и без квасу не умрешь! — произносит мать.— Хорошо хошь взял-то...

— У него, у собаки, сколько денег-то... Что ему дать?..— не унимаются богатыри.

— У него я сам видел — беда их сколько...

— Ну и пущай! — говорит мать.— Твои они нешто, деньги-то?

Богатырь молчит и потом произносит:

— Дьявол!

Другой прибавляет:

— Именно чорт!

И едут молча.

— О-о-охо-хо! — вздыхает старушка.— Хорошо, хошь взял-то!..— И в душе благодарна купцу; да и богатыри ее тоже недолго гневаются на него. Когда младший из них в тот же день вечером, лежа на полатях и болтая разутыми ногами, сочинил и во всеуслышание произнес стишок, в котором о купце говорилось, что

Он товар у нас берет
Ну — денег вовсе не дает, —

то все присутствовавшие в избе разразились громким хохотом и уж вовсе не сердились на купца. В сущности все давным давно знали, что — «хорошо еще, взял-то, а то и назад привезешь»... Во всяком случае, «купец» принадлежал к числу тех, которые дают покровцам хлеб, а не отнимают.

В таком положении находился труд покровцев, в таком положении было знакомство их с деньгами,— когда, за несколько месяцев до первого появления парохода, в Покровское явился приказчик от пароходного общества, чтобы уговориться с покровцами насчет пристани, дров и т. д. Этот приказчик был провозвестник новых времен, провозвестник массы новых способов труда и, главное, полной отмены старого способа вознаграждений за труд... Но неопытность, невежество покровцев в денежных делах и тут чуть-чуть было не испортили дела.

Во-первых, покровцы заломили с приказчика неслыханную цену за то, что он хотел осчастливить их пристанью. За носку дров цена тоже была заломлена непстовая. Выслушав монолог предводителей толпы покровцев, приказчик, по обыкновению, плюнул и поехал назад... Увидя это покровцы, тоже по обыкновению, стали проделывать всё, что они привыкли проделывать до сих пор, то есть неожи, данно узнавали, что попали «не туда» и кричали: «какая ваша будет цена? говорите, господин, вашу цену». Им отвечали, что с дураками не разговаривают, после чего они вступили по шею в воду, стали драться и ругаться— и в конце концов взяли грош.

Но как только стало известным, что за какой-нибудь час времени, покуда будет стоять пароход, будут платить три целковых, хоть и придется делить их между пятнадцатью человек,— тотчас же со всех концов Покровского поднялся народ, пожелавший участвовать в этом вознаграждении. Появились старые-престарые дворовые, доезжачий с переломленной ногой, отставные солдаты, прослужившие престолу-отечеству по тридцати лет и теперь

побиравшиеся в Покровском и окрестных деревнях. Весь этот народ, верою и правдою служивший своим начальникам и потом ими забытый, пришел требовать удовлетворения от трех рублей, объявленных пароходом за носку дров.

— Вам бы в гроб пора,— кричала на ветеранов голода и холода покровская молодежь, только что отыскавшая себе новую работу: — вы хлеб отбиваете...

— А вам-то, бесам, мало своего дела?..— отвечали ветераны.— Прорвы этакие... Н-н-нен-н-насытные!..

— Кто голодней-то?..— слышалось в другой группе спорящих.

— Мы!

— Нет, мы!

— А ну, давай...

Трудно было самим покровцам разобрать этот вопрос, и ветераны, как люди более опытные, покончили тем, что спустили цену против прежней вдвое ниже и овладели дровами.

Но немного капитан выиграл на этой дешевизне.

Как только старикам пришлось делать дело,— вдруг им стало обидно. Каждый из них имел либо медаль, либо помнил милости покойного графа, и вот этим-то заслуженным людям пришлось теперь делать это черное дело. Несмотря на то, что все они крепко и хорошо выпили перед началом дела, старые воспоминания не давали им покоя. Обхватив на груди дряхлыми руками три-четыре полена, еле плетется ветеран по колеблющимся сходням колеблющимися от старости и хмеля ногами и бормочет:

— При покойном графе, при Павле Петровиче... бывалушки, и-и....

— Неси, неси, чорт сивый! — гремит на старика капитан: — после будешь разговаривать... Эй ты,— продолжает он, адресуясь к другому ветерану, плетущемуся следом за первым,— старый дьявол! Что дрова-то роняешь...

— Дон-не-сем! Доннесем, куманек... И-п-и.. при ампирратыри...

— Что роняешь, сивый чорт! — побагровев, гремит капитан.

— До-нисем... ничего...— роняя поленья, бормочет старик, да вдруг спотыкнется и ухнет в воду совсем с дровами, не успев докончить своей речи, начинавшейся словами:

— А при ампирратыри...

Вследствие таких беспорядков с первой остановки парохода у покровской пристани над пристанью, над рекою и небольшим пространством в обе стороны стала раздаваться неистовая брань капитана. Он был из русских немцев, следовательно, мог на двух языках излагать свой гнев, но покровская бестолочь была столь велика, что и двух наречий было мало для выражения негодования. Эти падающие люди с дровами, эти разбитые лодки, которым не могли докричаться, чтобы они сворачивали, эти утонувшие люди и т. д. и т. д.,— всё это иной раз доводило капитана до того, что он метался по своей рубке как помешанный и кричал...

— Пропадайте вы и с пароходом! Чорт вас возьми всех... Пойду зарежусь...

Неизвестно, что бы сталось с этим новым делом, если бы ему пришлось продолжать свое существование исключительно при помощи старых покровских людей и понятий. Вероятно бы, оно прекратилось. Но новое дело не погибло, его поддерживало и укрепило появление новых деятелей. именно баб.

Этого никто не ожидал.

Неуспех в новом деле покровских старожилов заставил покровскую молодежь, оттертую от дела, быть вполне уверенными, что дело это придет к ним опять; но покуда они хохотали над стариками и издевались над падением людей и дров в воду, над неистовством капитана, к последнему явилась толпа покровских баб и умно, расчетливо, предложила ему задаром сделать это дело... «Понравится — хорошо, не понравится — как угодно»... И не прошло четверти часа после того, как капитан дал свое согласие, ни гнева ни на-

мерения утопиться и бросить пароход уже не было в нем. Бабы удивительно ловко и быстро сделали свое дело. Вместо того, чтобы таскать по три полена на грудп, они явились с носилками и перетаскали пятерик духом. Они не болтали о графах, не спорили, не перекорялись, не просили вперед гривенник, не просили прибавить, словом — делали дело и желали получить, что следует. Даже в получении денег они умели установить порядок и стройность: подходили одна по одной, не задерживали, уходили тотчас, —словом, делали всё проворно и ловко. Любо было смотреть, как капитан раздавал им деньги.

— Получай, отходи! — сказал он первой, вручив несколько медных пятаков. То же самое пришлось ему повторить и другой, но третьей говорить этого уже не приходилось: капитан видел, что бабы, все до единой, поняли идею нового рода труда, провозвестником которого был пароход:

— Получай и отходи!

И всё, что было следствием этого принципа, привезенного пароходом, всё досталось в руки баб.

Они заняли всю пристань столиками с съестным, назначили цену за рыбу, за яйца, за пироги, и пароход, налетев на них, съедал всё это и оставлял в их руках деньги.

— Да грех!— говорит робко покровская девушка сухой и востроглазой бабе, которая ей что-то нашептывает, притаившись за окном, чтобы не видали родители.

— Кому грех-то? Кому?

— Известно, мне...

— Тебе! Дура! Купцу грех — так. С него на том свете взыщут... Это верно, а не с тебя... На тебе греха нет; ежели б ты купца покупала, так тогда ты в грехе...

Девушка улыбается.

— А то чьи деньги-то? Кто деньги-то дает? Купец! Он, стало быть, тебя погубляет и за это ответит...

Но чтобы убедить девушку окончательно, к концу длинного монолога старая ведьма приберегает такой аргумент:

— Что тебе-то? Часок побывала — да назад... Нешто он тут навеки-веков? Он сел на пароход — и был таков, а у тебя, глядишь, целое приданое в руках, чистые денежки...

— А Вася?

— Ах, дура, дура! У тебя с Васей любовь, а с купцом что?.. Бери деньги — да прочь, любовь при тебе и останется...

И глядишь, в дрянной и дымный номеришко, где мимоездом остановились приехавшие на пароходе деньги в виде пьяного купца, отправляющегося по делам дальше с тем же пароходом, входит ведьма и говорит:

— Готово-с!..

А за ней девушка... Входит она и, по старой памяти, крестится на образ...

С непривычки случались большие беды... Одну такую несчастную, с деньгами в кармане ситцевого платьишка, нашли на утро в реке, у берега, и узнали, что утопилась... Но понемногу всё пошло лучше, и покровцы стали входить во вкус нового времени, пришедшего к ним. Стали продавать всё, за что платят, и не разговаривали.

II.

Вслед за пароходом так и повалили к нам деньги; скоро бабам никто уже не завидовал. В следующем, после парохода, году наехало в Покровское множество господ из столиц, и стали строить железную дорогу. Не говоря о том, что сами эти господа отличались необыкновенною щедростию и, не задумываясь, вышвыривали рубль серебра за курицу, чего отроду никто не видывал, они сразу дали работу и деньги бесчисленному множеству полуголодного народа... Рыть, копать, возить землю, делать насыпи,— для этого, кроме всего мужского населения Покровского, понадобились сотни и тысячи народа из других мест. Затем понадобились десятки, а, пожалуй, и сотни людей, которые бы смотрели, надзирали над этими тысячами,— и вот в Покровское повалил на-

род из губернского города: отставные военные, неудовлетворенные писаря и дьячки, а скоро город совсем притих и обезлюдел, потому что служащий народ бросился в Покровское занимать места на открывшейся железной дороге, а торговый люд стал перебираться сюда для торговых дел, чуя, что Покровское будет бойким местом.

И действительно, благодаря массе пришлого народа и массе нового труда, через пять лет физиономия Покровского совершенно изменилась. Не тот его внешний вид, не тот живет в нем народ: на реке свистят и дымят пароходы, за селом свистит и дымит машина, и возят они тысячи пудов товара и тысячи народа, волны которого, ежедневно перекатываясь через Покровское, всякий раз оставляли после себя деньги и деньги... Множество новых построек, выросших близ мест для новых дел, ничуть не напоминали развалившейся и покачнувшейся покровской старины; это были привлекательные на вид новенькие домики, где из каждого окошка глядело довольство в виде пузатого, блестящего и почти постоянно кипевшего самовара, в виде довольных и румяных лиц, восседавших за этим самоваром... Также ничуть не напоминал старого покровца тот обновленный покровец, который пристал к новым делам и стал жить-поживать в этих новеньких домиках. Нет тут ни босых ног, растрепанных голов, нет распоясанных сарафанов и рубах, нет забитых лиц,— напротив, всё новое и цветущее: платья туго накрахмалены, косы спрятаны под сетку, усеянную блестками, а у мужчин жирно намазаны подстриженные в скобку на жирном затылке волосы, рантовые сапоги сверкают и скрипят, а пальто или чуйка — прямо с иголочки, на вате и, повидимому, не имеют износу.

И всё это благополучие пришло потому, что явился труд, который как раз пришелся по вкусу покровцу; от него требовалось, чтобы он «воротил», «таскал», «вез», «стоял и смотрел» и т. д.,— вообще требовался труд мускульный, механический, вовсе не нуждавшийся ни в каких более высших способностях покровца, и за этот труд покровцу давали

деньги, и деньги порядочные, давали их прямо в руки и говорили: «ступай!».— «Куда хошь!» — прибавлял к этому торговец и чувствовал себя весьма хорошо. Тот самый богатырь, который в прежнее время бесплодно и без толку грохал по целым часам веслами, доставляя маменьку в город к купцу, который не платил, теперь с удовольствием ворочает на своей богатырской спине девятипудовые кули, с легкостию перьев таскает по чемодану в каждой руке: он знает, что вечером, после того, как он отворочает и оттаскает, в его горсти непременно окажутся деньги, с которыми — «поди, куда хошь...» Или как не быть в хорошем расположении духа вот этому гиганту, который из писцов земского суда, где он не знал, что ему делать с своим гигантством и силой, поступил теперь на должность надсмотрщика, где всё это пригодилось как нельзя лучше. Всё его дело состоит в том, чтобы смотреть за рабочими, все ли на местах, и ставить их на эти места...

И вот проснувшись часов в пять утра,— что для него не составляет никакого труда, ибо он мог пить по неделям, не смыкая глаз,— он идет к своему делу и начинает «ставить» рабочих... Слово «ставить» надо понимать буквально: рабочие, намаявшись, спят мертвым сном; их надо поднять и поставить на ноги. Для этого гигант поступает так: подойдя к первому из спящих, берет его могучею рукою за волосы, поднимает с армяка, ставит на ноги и, для полного пробуждения спящего, дает ему раза два-три по шее, а иногда и по щеке, после чего один уже вполне может считаться поставленным, и, почесываясь, идет умываться из лужи. За первым поставленным на ноги точно так ставится второй; если, паче чаяния, спящий субъект как-нибудь выдернет волоса из цепкой лапы гиганта, то гигант раза четыре так съездит его по спине кулаком, что и второй скоро вскочит как встрепанный и побежит к луже, почесывая спину; иные вскакивают оттого, что их сдергивают за ногу и хлопают головой об пол, другие (преимущественно мальчишки) от хорошего пинка в бок и т. д. «У меня очнешься, встанешь!»— с пол-

ным сознанием правоты этих слов говорит гигант и, подняв на ноги таким образом человек двести, «со свежим, как говорит он, аппетитом» идет «куда хошь». Жена его уж знает, что у мужа теперь аппетит, и поэтому всё уже готово и поставлено на стол.

— У меня встанешь! — выпив и закусив, говорит гигант и принимается за гуся...

Как ни прост этого рода труд, а несомненно, что при нем всякий получил возможность, сделав дело, «поставив», «стащив» и т. д., быть самим собою. «Как хошь», «как знаешь» — было одним из больших преимуществ нового рода труда, и тем большим преимуществом, что деньги, платимые за этот ломовой труд, давали действительно возможность иметь на деле то, что покровец мог пожелать.

Чего же захотел покровец, когда в руках его очутились деньги и когда получилась возможность захотеть «чего хошь?»

Припомнив прошлое покровца, его прошлые труды и удобства жизни, нельзя не признать, что единственным результатом этих трудов была вековая проголодь. Ввиду этого обновленный покровец, получив возможность «хотеть», решительно не мог захотеть ничего другого, как «жрать», то есть пить, есть и пробовать всё, чем голодал покровец так долго... Эту животную черту, развитую деньгами и нечуждую слоям общества более высшим, чем тот, о котором здесь идет речь, относительно покровского обывателя надо понимать почти буквально: да, он стал жрать, пробовать всё, что было приятно его голодному организму... Веселенький дом его стал полною чашей, у него всё закуплено на пять лет, всё свое, всего большой запас, и, несмотря на то, ему стало казаться мало, и он решительно не хочет дать ни куска ни деверю, который без места, ни свекрови, у которой муж продался в солдаты и она осталась без куска хлеба; и когда ему сказали: «что ж, издыхать, что ли, нам?» — он спокойно отвечал: «да хошь издыхайте» — и засел в свои запасы... Животная черта сильно поддерживалась в покровце и тем

народом, волны которого ежедневно наносили на Покровское машина и пароходы... И у этого народа было сильное желание отведывать всего, за что «без разговоров» можно было просто отдать деньги, а продавалось на деньги, как известно, всё: и водка, и женщины, и всё-всё... Трактиры, выросшие на новых местах в несметном количестве, были всегда полны народом; громко гудели органы, звонко пели цыганки и арфистки, и всё это пило, обнималось, дралось, целовалось, получало и платило деньги...

— Спрашивается,— сидя поздно вечером за бутылкой водки в одном из привлекательных на вид домиков, вопрошает себя гигант-кондуктор Петров,— спрашивается, в каком смысле, на каком основании народил я этих глотов?

Так именует он свое семейство, жену и троих детей, всхлипывания которых слышны за перегородкой...

— Вопрос,— продолжает Петров:— на какова чорта?

Он выпивает стакан водки, задумывается и произносит:

— Зачем, для чего, почему?..

И задумывается. Кроме всхлипываний за перегородкой, нет ему ответа на эти вопросы, но смутные мысли и воспоминания, несущиеся в его пьяной голове, разъясняют и «зачем», и «почему», и «для чего»... Петров из духовного звания... Не он выдумал это звание, он только родился в нем, и вот как только он родился, он уже знал, что люди, принадлежащие к этому званию, принадлежат к нему потому, что надо «пить-есть»... В семинарии он ничего «не понимал», тоже, вероятно, с голоду,— и его исключили «Что пить-есть?» — тотчас же возникло с неотразимым ужасом в его голове, и хорошо еще, что нашлось дьячковское место; «по крайности, — говорили ему,— не умрешь с голоду». Но чтобы не умереть с голоду, надо было жениться на дочери старого дьячка, который сдавал свое место тоже с тем, чтобы не помереть на старости лет с голоду и чтобы иметь кого-нибудь, кто бы кормил. И вот Петров с голоду женится, с голоду поет в церкви, подает кадило, родит детей,— всё ради пить-есть... Не пой он, не подавай кадило — есть будет нечего; не женись он,

правда, не было бы ребят и стариков, но не было бы и места, не было бы возможности получать праздничные пироги, водку, кормиться и кормить. И вдруг этому-то человеку выпала профессия, вышло место по вкусу, деньги и возможность быть «как хошь». Чтобы иметь место, где надо «ставить», «возить», «тащить», не требуется ни зятьев, ни деверьев, ни стариков. Не требуется ни жениться для этого, ни петь на клиросе,— словом, не требуется никаких уз, при которых бы место это только и давалось... И вот ему не нужны ни жена, ни дети, ни старики... Всё это было, чтобы «пить-есть», теперь они ненужны, они «объедалы»....В данную минуту они ему совершенно чужды, до такой степени чужды, что иной раз, в пьяном, конечно, виде, он как бы совершенно не узнавал своего семейства и не понимал, что это такое.

— Вы ч-чьи так-кие?— оглядывая осоловелыми глазами, спрашивает он.

— Ваши дети...— отвечали ребята.

— Ч-чь-и-и?

— Папины и мамины...

— М-мам-мины?.. Как-кой?..

— Вот этой...

Петров взглядывал на плачущую жену и в совершенном недоумении произносил:

— Не по-н-ним-маю...

Ребята смеются, жена ревет, а Петров пьет водку и бормочет.

— Перед бог-гом... Зачем? Вопрос: почему и опять? Не понимаю... ни-ни-ни.

Горю семьи Петрова много способствовало главным образом то, что жена его вовсе неспособна была так повеселеть и обрадоваться деньгам, как повеселели и обрадовались все обновленные покровцы, мужчины и женщины. Печать уныния, даже отчаяния легла на всё ее существо еще с детства; выходила она замуж за кого пришлось, лишь бы «кормил». Да и к корму она привыкла случайному, доставляемому крестинами, похоронами и т. д. Ела когда хорошо, когда

худо, когда и вовсе не ела... Да и до еды ли: выйдя за того, кто кормит, она стала рожать детей, об участи которых у нее целые года, дни и ночи, болит сердце. Она неряха (до нарядов ли ей); она розиня, растеряха, потому что не привыкла прятать ничего; была она постоянно грустна... В доме и хозяйстве Петрова не было того порядка, какой царствовал у других его товарищей,— всё шло кое-как, как шло в доме родительском: не прибрано, не готово, переплачено... Тогда как у других всегда всё готово, когда «сам» приходит со свежим аппетитом, всё запасено и всё куплено.

А тут, как на грех, так и вьется вокруг кондуктора, вокруг его жалованья, отопления и освещения буфетчикова сестра, перекрещенная жидовка. Она, как нельзя лучше, знает, как можно бы было распорядиться благосостоянием Петрова; зорко следит она за его очень большим аппетитом. Поминутно она докладывает Петрову, что жена его передала то на том, то на другом, а это всё равно, что подливать масло в огонь. Петрова раздражала всякая мелочь в его семье, особливо в его жене, потому что он уж был раздражен множеством других, более важных несчастий; он не любил жены, как это оказалось теперь: она была дурна, слезлива и ревнива к тому же... Жидовка составляла всему этому полный контраст: глядя на Петрова только как на сорок пять рублей в месяц с отоплением, она была совершенно спокойна, рассудительна, весела и в остальном не спесива.

И вот, попав на дорогу, где чувствовалось, что можно быть самим собой, Петров с каждым днем всё больше и больше стал хотеть всего, что захотел в последнее время покровец, и семья его, которая решительно не соответствовала духу времени, да и ему самому нужна не была,— стала ему вконец ненавистна.

Он пьянствовал, шумел, дрался, проклинал и гнал всех вон из дому.

Жена Петрова умерла, года через полтора, после того как Петров выбился из нищеты, получив место при новых делах. Дети, оставленные без призора, делали что хотели.

Сам Петров, несмотря на полное расстройство его семьи, повеселел, осолиднел, пополнел и свободно и легко отдался приятному течению времени.

Жидовка, разумеется, завладела им, но «не обижалась» скотским аппетитом Петрова, потому что была «понишняя». Но в ту самую минуту, когда всеобщему пированью, казалось, не будет конца, случилось совершенно неожиданное обстоятельство. Кондуктор Петров, не успевший и полгода проблаженствовать со своей жидовкой, опять поздним вечером сидит за штофом вина, размышляет и плачет...

— Милая! Милая!— твердил он, рыдая и обхватив голову обеими руками. Он вспоминает покойницу-жену...

— Убил! Убил! — шепчет он и свирепо взглядывает на притаившуюся и притихшую новую жену свою...

— Змея! — посылает он ей и пьет водку.

Видно, что женщина эта глубоко ненавистна ему. И действительно, за что, за какое сокровище, найденное им в этой жидовке, погубил он жизнь человека, который пятнадцать лет переносил самую неприветливую, непривлекательную жизнь, жизнь, полную обид, нищеты и горя. Припоминая всё, что перенесла она, Петров чувствует, что он — животное, самое настоящее, самое подлинное. Он плачет; долго плачет... Но вдруг слезы его начинают высыхать, и ему представляется собственная его жизнь: собирание алтынов и пирогов, вечное присутствие в передней, вечная нищета и неприятность дома — и т. д. Стоит ему только попасть на дорогу этих воспоминаний, и он не может не чувствовать, не может не видеть, что он тоже намучился, настрадался, что желание пожить он не выдумал, и не его вина, что животное так сильно пробудилось в нем.

Это состояние самоунижения, вместе с потребностию объяснить и обдумать всё это, с каждым днем развивалось в Петрове более и более, и когда смысл его принимал самооправдательный оттенок, он делался высокомерен, дерзок, знать ничего не хотел, на всё плевал... А когда мысли его направлялись в другую сторону, в сторону самообвинения,

он падал духом, терзался, ждал себе божия наказания— и в обоих случаях пил...

Окончание этой истории последовало очень скоро. Петрова сначала выгнали за дерзости, вследствие чего он стал пьянствовать еще больше и спился, а потом и совсем погиб...

Что ж такое вошло в среду, повидимому, безмятежного благополучия, которое стал ощущать покровец, благодаря некоторому материальному благосостоянию, порожденному появлением новых родов труда? Пришла мысль, пришла потребность думать,— другой, после денег, злой гость глухих мест.

Право думать о себе, о своем положении находилось у покровцев почти в тех же условиях, как и право выбирать труд и пользоваться, благодаря ему, достатком. Если читатель помнит, что сказано нами в начале этих очерков о непривычке покровцев к деньгам, то пусть здесь те же внешние влияния приложит он и к покровской мысли. Положение покровской мысли было едва ли не хуже положения покровских желудков и карманов. Покровец постоянно был обязан жить теми идеями, которые являются к нему извне, как обязан был покоряться прихотям купца, который, «ни то заплатит, ни то нет...» Мысли, которыми ему приходилось жить и осуществлять на деле, являлись, большею частию, всегда внезапно, нежданно-негаданно. «Нет людей!»— приходилось восклицать всякий раз, когда надо было осуществить в жизни покровцев какую-нибудь из подобных новоявленных идей. Очевидно, покровцы не ждали этого явления,— и вот почему не было и людей между ними. Кроме этого всем известного явления, когда в миллионах людей не оказывается ни одного человека, у которого бы мысль, явившаяся со стороны, родилась и жила в собственной голове,— прежде этого странного явления, внезапность появления идей в обществе доказывается другим явлением, тоже весьма странным: является новая мысль — и массы людей целыми тысячами делаются не нужными: мысль оказывается до такой степени

новою, неожиданною, что у целого еще вчера жившего поколения нет с нею никакой связи; поколение это должно исчезнуть, провалиться сквозь землю, жить ему долее невозможно, ибо все, чем жило оно вчера,— теперь, сегодня, не нужно.

Недалеко от Покровского есть хуторок, в котором живет мелкопоместный землевладелец Иван Андреевич Поленников. Это гигант, еще очень молодой, очень недавно служивший в военной службе. Теперь он не делает ровно ничего; каждый год объем его владений делается меньше и меньше,— это Иван Андреич понемногу съедает самого себя. Ибо делать что-нибудь из того, что делают в настоящее время другие, он не может, потому что не понимает, что такое это они делают; он не понимает, что такое земство, что такое новые суды... Словом, ни тут ни там ему места нет. И вот, съедая понемногу свои владения, в бедной конурке лежит он большую частию рядом с женой, которая постоянно беременна и худа как щепка.

В таком виде застают его все, кто вздумает посетить его, а посещают его зимой для охоты, летом для рыбной ловли. В обоих случаях он неутомим. Стоит только наехавшим повеселиться соседям обратиться к нему, например, с просьбою ловить рыбу, как он тотчас же, без возражений, слезал с кровати, надевал шапку с красноватым околышем и, почти не говоря ни слова, отправлялся за помощниками из мужиков, потом раздевался и лез в воду. В фуражке с околышем на мокрой голове и с бреднем в могучих руках он по целым часам бродил в воде, спотыкаясь по самую шапку в яму, спокойно отрывая от тела рака и не обращая внимания на то, что осока изрезала ему и бока и ноги... Этому телу нипочем, и всё оно оказывается ни на что никому ненужным, не знающим и не умеющим делать ничего, кроме весьма нехитрого съедания собственного имущества, лежанья да рождения детей, что тоже дело очень простое.

А между тем Иван Андреич ведь жил — и жил, по его мнению, очень весело и широко.

— Теперь что!— грустно говорит он, выпив рюмок пять водки (говорить он начинает не иначе, как после подобного количества вина).— Теперь одна десятая часть!

С своим семейством он никогда почти о прошлом не разговаривает. Для него нужны совершенно посторонние слушатели, какими и бывают большею частию соседи, явившиеся к Ивану Андреичу, чтобы половить с ним рыбы.

— Сотая доля осталась!— выпив шестую и седьмую рюмки, продолжал он.— Бывало, не можешь равнодушно на себя в зеркало взглянуть...

— Отчего ж?

— Отв-ра-ти-те-лен!.. Отвратителен самому себе — зверь, животное...

— По какому же всё это случаю?

— Ожесточишься... Я ведь про поляков говорю.— Я в Польше много их положил,— войдешь в азарт, чистое животное... А сила какая была, и-и-и...

И тут Иван Андреич, перемешивая свои слова с проглатыванием рюмок, начинал повествовать о своей силе. Раз он нес раненого солдата на своих плечах верст двадцать. Нес он его в деревню, надеясь, что там можно будет пристроить его на попечение помещицы; помещица, однако, отказалась принять; тогда Иван Андреич взял больного солдата за ногу и хлопнул им барыню. Но это еще что: однажды полковник заметил ему, что у него худ сапог; Иван Андреич тотчас же отправился в лес, встретил повстанца и тотчас же с одного маху отрубил у него ногу, обутую в хороший сапог. Затем он снял с отрубленной ноги сапог, надел его и явился к начальству. Но и это еще что! Шли однажды навстречу Ивану Андреичу четыре человека повстанца. Что ж сделал он с ними! Он обнял их всех одной рукой, а другой вынул саблю и срезал им всем головы, словно у пучка моркови или редьки, и т. д.

По мере того, как Иван Андреич увеличивает количество рюмок водки, отправляемых в собственный желудок.

фантазия его разыгрывается самым неистовым образом, и ничто уже не в состоянии остановить его: ни смех слушателей, ни конфуз целого семейства — ничто. Напрасно дергают его за рукав, напрасно шепчут ему со всех сторон: «Иван Андреич! Как не стыдно! Над тобой смеются!»— и т. д. Иван Андреич всё шире и шире распускает крылья своей фантазии, ни на минуту не покидая Польши, единственной арены его деятельности.

Врет он до того, что, наконец, всем станет скучно. Один по одному разойдутся слушатели. Проснувшись трезвым, Иван Андреич чувствует себя в высшей степени неловко.

— Что, шибко я вчера городил?— шопотом спрашивает он у кого-нибудь из вчерашних слушателей.

— Да порядочно...

— Простите, пожалуйста... Ведь это я сам не знаю,— язык мелет...

— Что эта далась вам Польша?

— Служил... Был вызов охотников... Ну, я и пошел. Мне всё хотелось чего-нибудь этакого...

Движением плеч и локтей Иван Андреич дает понять, что ему хотелось разойтись пошире.

— Чего-нибудь бл-лагородного!..— Здесь он делает движение кулаками.— Ну, я и стал зверствовать... А теперь я и сам вижу, что смешно. Что ж делать, я ничего не умею...

— Чего ж не умеете?

— Ничего... Ни земства не умею... Ничего этого, понимаете... Я сам чувствую, что глупо... Что ж мне делать? Я и то всё молчу.

И действительно, Иван Андреич принимается вновь лежать, съедать свое имущество и молчать. Он стыдится самого себя, потому что решительно не подходит ни к чему в окружающем. «Польша» переехала его как колесом, засела в нем навеки-веков и отравляет ему существование среди земства и других новостей, которых Иван Андреич «не умеет» и не понимает. Он не нужен теперь никому и ни на что, несмотря на то, что ему нет тридцати пяти лет. Но почему же

именно дикое зверство въелось в эту добрую, покойную натуру? Для понимания этого необходимо знать, что, помимо всего сказанного, в жизни покровского обывателя бывали моменты, когда вдруг, лет на десять, на пятнадцать, не было никакой возможности ни о чем думать, и тогда, при всей отвычке покровца от этого занятия, наставал такой нравственный голод, что первая так ли, сяк ли явившаяся к ним мысль проглатывалась вдруг сплошь и поголовно всеми... К этой просочившейся капле мысли бросались все с жадностию рыбы, пролежавшей несколько часов на голом песке, причем происходили вещи весьма комические: оказывалось вдруг, что какой-нибудь зверь, кулак и скопидом наглатывался в общей свалке либеральных идей и не знал, что с собой делать: язык болтал либеральные фразы, а руки тянулись грабить,— положение поистине трагическое, особливо при неумении думать и определить свои настоящие качества; и только после нескольких лет поистине невероятных душевных мучений субъект опоминался, узнавал, что всё вздор, и начинал действовать открыто.

Таким образом, право «думать» зависело у покровца от бесчисленного множества внешних случайностей, которые все, в общей совокупности, отучили его совершенно от необходимости считать это право чем-то неизбежным, серьезным и выработали из него человека, умеющего прилаживаться к каким угодно фантастическим идеям, выработали притворщика во всех почти проявлениях внутреннего мира, и притворщика ради одного «верного», ради куска хлеба или пирога, смотря по вкусу. Слово «притворщик» употреблено здесь не в смысле искусства притворяться,— покровец вовсе не искусник ни в чем,— а в смысле полного убеждения, что неправильность, самая угловатая, самая обидная во всех проявлениях личности, есть именно жизнь человеческая, причем человек-покровец привык себя представлять существом, которое именно и родится на божий свет для того, чтобы измаяться вконец, сгинуть, если не удастся перехитрить и провести этот свет с помощию разных экивоков.

И вот этот-то нравственный хаос осветила едва заметная звездочка мысли, явившаяся в массе, в толпе, благодаря тому, что новые роды труда дали возможность ей иметь три часа досуга в сутки, а главное, благодаря тому, что эти новые роды труда познакомили ее с состоянием человека, который, так ли, сяк ли, а «сыт». Нравственный хаос, который осветила эта слабо мерцающая звездочка, оказался поистине невообразимо ужасным... Много драм, почти не оставивших следа, произошло в наших глухих местах,— драм, которые молчаливо зарождались в той или другой голове, впервые задумавшейся «надо всем», и об них стоит поговорить подробно, что мы и сделаем впоследствии.

КОРМИЛИЦА.

(НЕ БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА)

... Родился ребенок.

Акушер говорит матери новорожденного, что по таким-то и таким причинам она сама не может кормить ребенка, что нужна кормилица и притом поскорее, потому что ребенок слаб, что ему нужно здоровое женское молоко.

Где же искать эту спасительницу маленького существа? Где отыскать эту рюмку необходимого в данную минуту молока, без которого маленькое существо попищит, попищит, да и замолкнет навеки? Если из общего числа рождений в одних только столичных городах мы отделим самую малую цифру для детей, нуждающихся в чужом молоке,— то и тогда в общей годовой сложности получатся во всяком случае тысячи.

И вот эти тысячи ежедневно и ежегодно нарождающихся на божий свет детей решительно не обеспечены, по крайней мере в Петербурге, ни малейшей общественной внимательностью.

В самом деле, где искать кормилицу?

В газетах, в адрес-календарях, в справочных листках — нигде нет ни малейшего указания на то, чтобы в таком гро-

мадном городе, каков наш Петербург, было правильно организовано какое-либо точно и заботливо отвечающее на упомянутый вопрос учреждение. Есть адресы докторов специалистов, есть адресы лечебниц для людей, для собак, для лошадей и т. д.; но учреждений для кормилиц, ежегодно необходимых тысячами,— нет нигде.

Приходится садиться на извозчика и *ехать прямо, куда глаза глядят,* останавливаясь у каждой вывески, на которой написано: *акушерка.*

Ответы получаются такие.

— Нет, нету,— отвечают одни.

— Бывают,— отвечают другие.— Теперь что-то не случается.

— Ах, как жаль! Сейчас была женщина, проспла — нет ли места. Какая досада!

— Где же она? Не знаете ли ее адреса?

— Нет, не знаю. Вот сию, сию только минуту ушла... И как это я не записала адреса!

В то же время по городу скитается великое множество деревенских баб, которые звонят у тех же самых дверей акушерок и обращаются к ним с теми самыми почти просьбами, как и господин, который только что ушел отсюда.

— Что, родимая, нету местов у вас?

— Каких местов?

— Да в кормилки!

— Нет, нету,— отвечают в одном месте.

— Ах, какая жалость! Сейчас был барин, искал кормилицу, а я и не знала и сама.

— Ах, матушка!

«Бывают и не бывают» — вот результат этих исканий, отнявший полсуток, во время которых маленькое существо пищит и, очевидно, желает кушать.

— Да вы поезжайте,— наконец советуют добрые люди,— в родильный дом, на некую улицу, там бывают у швейцарихи часто бабы.

У швейцарихи в Н-ском родильном доме вы застаете толпу разного народа, требующего кормилиц. Тут и военные и статские, и богачи и бедняки; все они находятся в полной власти этой дамы, спокойно кушающей в кухне, за кучей дров, свой кофей и принимающей от всех просителей прошения и деньги, которые суют ей поминутно. Ответы, изрекаемые этой дамой, таковы: «Бывают, а то и не бывают»; «Таперчи-то нету!.. Вот сейчас были бабы, пять часов сидели, никого не было — ушли»...— «Где они?» — «То-то адресу-то не знаем... Завтра будут, пораньше зайдите». — «А может, и не будут?..» — «Кто же их знает. Вы оставьте адрес, как будут, сейчас пришлю».

Вы видите, что весь новорожденный Петербург находится во власти этой дамы. Устроит вам дело — ребенок будет жив, не устроит — ребенок непременно умрет. Приходится платить еще, лишь бы хотя завтра да была кормилица, и пичкать ребенка тем, что найдется по части детской пищи в аптеке.

На следующий день, после ночи, в продолжение которой ребенок пищал от боли в желудке,— наконец, является кормилица. Ее приветствуют с распростертыми объятиями.

— И доктора смотрели, и всё; уж у нас будьте покойны,— расхваливает свой товар сопровождающая кормилицу дама:— и молока и... всё, в лучшем виде...

Дама хватает кормилицу за грудь (иногда обеими руками) и выдавливает молоко вам на показ.

Затем получает за извозчика и уходит.

Кормилица вымыта, одета и кормит ребенка.

Ребенок спит. Слава богу.

Через полчаса приезжает доктор, осматривает кормилицу обстоятельно и говорит, что ее нужно отослать — она больна или была больна..

Кормилица знала это, но ей некуда деться, выйдя из родильного дома, и она шла в кормилицы только затем, чтобы быть сытой и увести с собой чистую рубашку и юбку, которых с нее никто снять не решится.

Ребенок опять без молока, и опять на сцену является швейцариха. Браниться с ней, негодовать на нее — нет времени, да она и не доктор, чтобы знать — кто болен, кто нет. Единственное спасение — дать еще денег и умолять, чтобы на этот раз она прислала женщину здоровую.

— Вот бабу возьмите, только что из деревни,— рекомендует она.

На этот раз рекомендуемая женщина оказывается совершенно здоровой; молоко у ней есть, и ребенок, который у нее на руках, хорош и здоров. Сама она статная и красивая. Лучшего ничего желать невозможно.

— Вот только отнесу ребенка в воспитательный, и сама к вам,— говорит баба.

Но прежде нежели она отнесет ребенка, являются две-три женщины,— при вас и на ваших глазах,— которые покупают у нее этого ребенка на час, на два, чтобы явиться с ним в воспитательный дом. Впоследствии вы узнаете, что большею частию у женщин этих нет молока совсем, и, нанимаясь в кормилицы, они будут держать ребенка у пустой груди.

Но может случиться, что это будет замечено доктором,— и в таком случае, думает неопытный читатель этой заметки, ее не примут? Ничуть не бывало.

— У тебя нет молока?

— Как нет, помилуйте! Полны груди были, даже облило всю ночью.

— Отчего же нет теперь?

— Да всё высосал. Ишь, какой здоровенный!

Потрудитесь не поверить, глядя на здорового ребенка.

Кормилица без молока поступает в воспитательный дом; через два дня умрет ребенок, которого она будет кормить, и ее отошлют; но эти два дня она была сыта и ночевала в тепле, а тем временем какая-нибудь кума искала ей место горничной.

Возвратимся к нашей находке, к сокровищу, только что от благодетельницы швейцарихи.

Она приходит в ваш дом, как ангел хранитель. За ней ухаживают, угождают ей—как только возможно. Кормят ее хорошо.

Проходит неделя. Кормилица растолстела и лоснится от удовольствия, ребенок — похудел и позеленел. Что за чудо?

— Да у меня молока нету! — простодушно разрешает это недоумение деревенская красавица.

— Давно ли?

— Да уж третеводни было мало, а вчерась и вовсе ничего.

— Что ж ты не сказала?

— Да что ж мне говорить? Мне до месяца осталось всего неделя... Хоть за месяц жалованье получу... Ну, а таперчи —жалко стало.

— Отчего же это случилось?

— От пищи. У нас в деревне еда серая; как стала на хорошую еду — и пошла в жир... Оно будет, молоко-то... Только погодить бы с неделю...

Но годить невозможно. И опять розыски.

Деревенская красавица отправляется опять к той же швейцарихе, и та рекомендует ее в другое место, за что получает второй гонорарий. Она рекомендует ее куда-нибудь похуже, чтобы молоко не пропадало, чтобы какой-нибудь чиновничий ребенок оттягивал его — и вот, проголодав у этой пустой груди с неделю, где-нибудь опять умирает маленькое создание. Маленькое создание умирает тихо, незаметно; оно всё спало, крепким-крепким сном,—но не от сытости, как полагали родители, а от усталости, от долгого напряжения сил над пустой грудью. Наконец, кормилица привыкает к городской пище и, при посредстве той же благодетельницы, поступает к «генералу», в «хороший дом»... Рост и красота здесь очень много значат, и благодетельницы выручают за них большие деньги. Если же паче чаяния, несмотря на старание детей мелкого народа «оттянуть» пропавшее молоко, молоко это пропадает, и если к тому ж не найдется в день, в два какого-нибудь другого места, то и эта женщина покупает чужого ребенка и идет в Воспитательный.

— У тебя молока нет.

— Помилуйте, что вы — даже облилась ночью вся... Только что высосал всю грудь дочиста.

И еще маленькое существо отправилось на тот свет,— но кормилица всё же была сыта по крайней мере день.

«*Приют для кормилиц*»— совершенно случайно попадается вам на глаза во время ваших поисков за кормилицей. Таких приютов в Петербурге очень немного — три-четыре, не больше. Этими приютами заведуют большею частью немки, и тут существует некоторая аккуратность. Большею частию здесь дадут кормилицу хорошую, т. е. не больную и имеющую молоко, взяв предварительно за эту рекомендацию хорошую цену с прибавлением еще суммы за содержание кормилицы со времени ее поступления в приют и за одежду для нее, которую вы почти обязаны купить у содержательницы приюта. Но здесь бывает очень мало кормилиц, потому что деревенские женщины не знают о приютах, и если попадают сюда, то попадают случайно. Бывает, что и в приютах не найдется ни одной женщины, и тогда надо положиться на власть божию. Тогда уж дело пойдет как-нибудь через кухарку, через лавочника, через горничную, которая вчера встретилась с такой-то бабой и та хотела в кормилицы, и т. д.

Вот каких трудов и трат стоит рюмка здорового женского молока!

Не вдаваясь в разъяснение глубокой ненормальности самого запроса на чужое молоко, на отнятие пищи от ребенка, для которого она приготовлена самой природой, чтобы этою пищей воспользовался другой, тогда как первый почти всегда умирает,— не вдаваясь, повторяю, в разъяснение этой ужасной ненормальности, я говорю о факте, каков он есть. Убийца, преступник — тоже продукт ненормальных общественных отношений,— и для него строят тюрьму на общественный счет; в тюрьме не морят его с голоду; придумывают системы тюрем, придумывают труд... Городское управление столиц тратит сотни тысяч рублей на оздоровление городов, на водосточные трубы, на водопроводы, устраивает, как уже сказано,

лечебницы для собак, учреждает общества покровительства животным— и нет ничего в подобном роде для кормилиц, которых нужно ежегодно тысячи для тысяч будущих граждан — обывателей этого города. Ни в Петербурге ни в Москве, сколько я помню, ни разу не была никем, печатно или в общественном собрании, высказана мысль об устройстве какого-либо приюта для тысяч деревенских женщин, ежегодно идущих в кормилицы. А устройство такого приюта необходимо: смертность детей в столицах громадная.

Власть имущие, по нашему мнению, обязаны придумать средства правильно извлечь из рук швейцарих и другого сорта эксплуататорш те деньги, которые они выручают за свой невнимательный труд,— деньги громадные,— и устроить такое помещение, где бы всякая приходящая из деревни женщина, большею частию не имеющая ни копейки денег, могла иметь помещение, стол, здоровый и сытный, и не шататься по городу без пристанища; чтобы она не очутилась в громадном городе голодной и беспрютной и чтобы ей не было надобности из-за насущного хлеба, из-за дня или двух дней тепла и еды шарлатанить и убивать чужую жизнь, идя, например, без молока в воспитательный дом; чтобы ей не было надобности убивать жизнь ребенка своим больным молоком, всё ради того же дня еды и тепла. Чтобы дети этих женщин, отдаваемые в воспитательный дом, не умирали от голоду тысячами и т. д.

Средства ко всему этому есть — сочтите, во что обошлась первая рюмка здорового молока, и, приняв в расчет, какой массе народу приходится бросать эти деньги разным швейцарихам,. вы получите в итоге громадную сумму, правильное употребление которой могло бы спасти тысячи жизней. Женщины, устраивающие концерты в пользу бедных, раненых и голодающих, рекомендую вашему вниманию новых самарцев — ваших детей и детей ваших ближних.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ.

НЕКРОЛОГ

В начале 1864 года в бывшую редакцию «Современника», при посредстве кучера либо дворника, по просьбе какого-то крайне запуганного и нищенски одетого человека, была передана беллетристическая рукопись... «Я,— писал автор ее к Н. А. Некрасову,— приехал в Петербург нищим, надеясь помещать свои сочинения в каком-либо журнале... Я чувствую, что могу написать хорошее, но меня некому поддержать...» Это писал Решетников, рукопись была «Подлиповцы» и оказалась до того хорошею, открывала до такой степени много новых сторон в народной жизни и народной душе, что имя ее автора сразу обратило на себя всеобщее внимание. С тех пор, в течение более нежели семи лет, всякое новое произведение Решетникова, работавшего довольно много, возбуждало в обществе и литературе самые разноречивые толки: то он оказывался слишком большим, то слишком малым, почти ничтожным; то художником, то писарем; то он «умел проникнуть до корня...», то оказывался необыкновенно поверхностным, мелочным, длинным, скучным... Личное знакомство с Ф. М. для заинтересовавшегося в разъяснении этого запутанного таланта было почти бесполезно, а сам Ф. М. положительно терял некоторую дозу своей

литературной интересности. Он был угрюм, неразговорчив, необщителен и порой груб... От всех он сторонился, смотрел испуганным волком, подозрительным к самым искренним заявлениям уважения и дружбы. Очевидно, что он что-то знал про себя, не высказывался, выдерживая полное равнодушие к похвалам и порицаниям. Никаких особенно знаменательных изречений, которые можно было бы увековечить в потомстве, никогда он не говорил, а если и принимался рассказывать что-нибудь, то речь его касалась всегда предмета наиобыденнейшего, была необыкновенно длинна, расплывалась в мелочах, подробностях, утомляла, потому что Решетников говорил монотонно, «себе под нос», не выпуская изо рта коротенькой трубки, отчего каждое слово отделялось паузой... Наблюдатель уходил ни с чем, и удивленный тем же непонятным смешением великого и малого в новом произведении этого «совершенно обыкновенного» человека, привыкал думать, что «Решетников пишет, сам не зная что»... Нам приходилось видеть, как Ф. М. покряхтывал и почему-то начинал робеть от этих похвал и порицаний и как всё-таки потом продолжал делать свое дело, повинуясь исключительно каким-то внутренним требованиям своего оригинального таланта и говоря обществу ту подлинную правду о бедности, забитости, страданиях простого человека, глубокое знание и понимание которых невольно признано за ним всеми...

9-го марта нынешнего года Ф. М. Решетников умер.

Имя человека, сказавшего обществу так много правды, обязывает нас сообщить о нем всё, что мы знаем, хотя бы сведения наши были крайне незначительны.*

---

* Мы не имеем никакой возможности писать биографию Ф. М.; материалов для этого у нас почти нет. Правда, в бумагах, оставшихся после его смерти, нашелся «огромный дневник», веденный им более десяти лет к ряду и весьма важный для понимания характера и таланта Ф. М. Но по обстоятельствам, зависящим не от нас, пользоваться этим дневником мы не можем. Нам остаются только личные наблюдения, кой-какие записочки, письма и лоскутки, оставшиеся в бумагах,

Сильная впечатлительность, нервность обнаружились в Решетникове необыкновенно рано. В детстве он был большой шутник, насмешник, хохотун, умел представить и передразнить всякого, умел рассмешить и потом, на собственную свою потеху, разозлить... В характере обнаруживалось много игривого, веселого. Но обстановка, при которой предстояло развиваться этим качествам, была как на зло в высшей степени неблагоприятная.

Решетников начал жить почти круглым сиротой; матушки своей он не видал никогда, она умерла, когда ему было сорок недель; отца своего в первый раз он увидел только одиннадцати лет отроду. Отец его сначала был дьячком в Екатеринбурге и много пил. Чтобы избавить его от погибели, дядя и тетка женили его на дьяконской сироте, девушке тихой и кроткой, он вышел из дьячков и поступил в почтальоны, но пить не перестал, так что когда дядя и тетка переехали из Екатеринбурга в Пермь, где дядя получил место в почтовой конторе,— то вслед за ними ушла и матушка Ф. М. Сороканедельного сына (Решетников родился в 1841г.)она принесла в Пермь во время страшного пожара и так была этим испугана, что слегла и скоро умерла в больнице. Сведения об отце и матери Ф. М. получил от того же дяди и тетки, взявших его после смерти матери на воспитание, и не верил им: «Какая еще такая была у меня мать? И, говорят, какой-то отец есть, а я его не вижу! Врут, поди!..» Дядя и тетка были люди бедные, образованные плохо, держали воспитанника из сожаления, и хотя любили его, но по бедности своей не могли не смотреть на него как на обузу, лишнюю заботу...

и напечатанная Решетниковым в разное время в разных журналах повесть «Между людьми», в которой находится множество фактов, относящихся к самому Ф. М. Факты эти мы проверили при содействии людей, близких Ф. М-чу, и его близких знакомых, но все-таки не можем считать их полными, ибо повесть «Между людьми» печаталась в журнале как повесть, а не биография, и подвергалась множеству сокращений, переделок и чужих вставок. Мы предлагаем читателю только очерк и сознаемся, что он далеко не полон.

Маленький Решетников, не сознавая своего одиночества, своего подневольного положения, обязывавшего быть почтительным, — отдавался своим впечатлениям без размышлений; неугомонность его была изумительна: он везде лез, во всё совался, ему нужно было всё попробовать, рассмотреть, отведать на язык, напялить на себя... Везде он мешал, не понимая, что кругом него благодетели, злил, выводил из терпения... Его поэтому били беспрерывно, били любя, из желания добра, потому что они были действительно люди добрые по-своему, били с досады на непомерное баловство, упрямство и на собственные неудачи. Битье было поистине немилосердное: принес дядя лубочную картинку, изображающую войну, и принялся вместе с теткой рассматривать ее и обсуждать; у маленького Решетникова разгорелось любопытство, он не вытерпел — рванул картинку к себе и разорвал ее пополам... «За это дядя так ударил меня по голове, что я ударился об пол; изо рта пошла кровь». Единственная во всем доме «История ветхого и нового завета» принесла Ф. М. много бед. Книга эта была с картинками, которые весьма сильно интересовали самих воспитателей. Только что возьмутся они рассматривать ее — воспитанник лезет заглянуть через дядино плечо и самовольно перевертывает несколько страниц.— «Ах ты подлая рожа!» — и дядя хватается за ремень. Эта книга сделала Ф. М. так много зла, что ему пришла в голову мысль отделаться от нее; он выдрал из нее все картинки и засунул в печь; проделка не удалась, книгу вытащили и «дядя долго драл меня ремнем»... Определить границы этого битья невозможно. Били за то, что не знает молитв, а любит песни и сказки, которые с большим искусством рассказывала Ф. М. семидесятилетняя бабушка, торговавшая на рынке калачами... за то, что не знал, почему нужно молиться за отца и за мать,которых никогда не видал... Захочет он оказать услугу дяде, подделаться к нему, чтоб поехать вместе с ним рыбачить, примется чистить ему сапоги,— чистит и старается до тех пор, пока тетка не выхватит из рук его щетки и не ударит ею по голове... Велико было

это битье, но велика была также и потребность много видеть... Из дому Решетников отправлялся искать впечатлений у соседей, у чужих людей; на почтовом дворе, где они жили, было много народу, много семейств... Всюду он пробирался с теми же намерениями — высмотреть: «нет ли хороших картинок, хороших книг с картинками»!.. «Мне,— говорит он,— нравилось всё, что я видел в первый раз, мебель, платье и проч.»; вещь, особенно понравившуюся, он норовил утащить, стянуть,— за это его били и чужие люди, жалуясь, кроме того, дяде... «Пес», «ножовое востреё», «балбес», «безрогая скотина» и проч. и проч.— были самые обыкновенные для Ф. М. клички... Пять, шесть лет такого битья, уничтожавшего размеры впечатлительности, наконец озлили ребенка; добродушная наблюдательность превратилась в злость ко всем и каждому. Шестилетний Решетников чувствовал кругом себя врагов, чувствовал потребность мстить, и голова его стала исключительно работать над придумыванием всевозможных мерзостей, которые бы могли насолить этим врагам... И,— надо отдать ему справедливость,— он солил мастерски, без всякой пощады... Ему ничего не стоило засунуть в квашню или в кадку с водой дохлую кошку, измазать чистое белье, вытащить из кипящего самовара кран, забросить его через забор и распаять самовар и т. д. Он сделался истинным наказанием всем и каждому, истинным врагом; ему не было другого имени как «поганая рожа», «вор»... Его вихры, уши и щеки сделались общим достоянием; били и ругали все, и он ругал всех, воевал против всех: запускал камнями, кусался, бил врагов по морде и т. д. И неустанно продолжал выдумывать всё новые и новые гадости...«Отдерут меня,—говорит он относительно этого времени,— я сажусь куда-нибудь в угол и думаю: что бы мне еще такое сделать? да так, чтобы не узнал никто?»

В то же время душу его иногда охватывала какая-то тоска, хотелось уйти, и к десяти годам тоска эта стала нападать чаще и с каждым днем становилась тяжелее...

Девяти лет дядя отдал его в бурсу (1850 г.). (До этого времени Решетникова учил тот же дядя, посредством того же

ремня, привязываний к столу и проч. Потом отдал его к какому-то чиновнику, который сек детей до того «нежно», что родная сестра говорила ему: «Что ты мажешь?». Чиновник был большой оригинал — страстный любитель пения и птиц, которых у него было множество. Тут Ф. М. было хорошо. Но однажды, желая узнать, летают ли птицы по комнате и по улице, он растворил клетки, выпустил всех птиц, и обезумевший чиновник выгнал его вон.) «Сначала,— говорит Решетников про бурсу,— мне хорошо казалось жить с товарищами, и я вел себя очень скромно» — но не более как через неделю по поступлении началось дранье... В бурсе драли по принципу, бог знает за что; голова отказывалась понимать причины этого зверства; всё, что только накопилось дурного в привычках Ф. М., пробудилось с новою силою; товарищи ненавидели и били его за воровство у них булок, жаловались начальству, морили голодом, словом — травили его на всевозможные манеры... Душевная тоска, потребность уйти во что бы то ни стало возросла до высшей степени... Ему хотелось итти к дяде, пасть на колени, просить прощения, но уйти к дяде — было невозможно. Как быть? Оставаться в бурсе — не было сил... И Решетников ушел...

Сначала он ушел на колокольню и просидел здесь целый день, с раннего утра. К ночи его охватил страх; он убежал с колокольни на реку; здесь он ночевал... «Поутру я,— говорит Решетников,— ходил как помешанный от голода». В каком-то рыбачьем шалаше нашел он полковриги хлеба, взял его себе, и тут же, не зная почему, провертел в лодке дыру, распластал невод, обрезал несколько удочек... «Этот день я провел хорошо, прогуливаясь по траве и по лесу и напевая песни. Я радовался, что я на свободе, что меня никто не стесняет и я могу делать всё, что только хочу, я торжествовал над тем, что я один из всех бурсаков убежал далеко, что их дерут. „Пусть вас дерут!“ — говорил я громко и хохотал... Я очень был счастлив и не находил счастливее себя человека. Я думал: „А как хорошо! Ни за что я не пойду отсюда никуда.

ни за что не пойду... я и к дяде не пойду!"... Мне ничего не нужно было, хотя и казалось мне, что в каждом кусте дерева кто-то сторожит меня, а на некоторые кусты я даже и смотреть-то боялся. Когда проходил мой страх, я думал: „А хорошо бы здесь состроить дом. Я бы тогда дядю и тетку взял с собою жить, они бы тогда не стали меня бить". Потом мне вдруг захотелось плыть куда-то дальше»... Он сел в чью-то лодку и стал грести вверх, но силы были слабы, лодку несло вниз и прибило к берегу... В то время, когда, сидя в лодке и доедая остатки хлеба, беглец поглядывал на город, на него налетел с ругательствами и проклятиями какой-то мещанин и принялся «тузить *не на милость, а на смерть... На лице была кровь, голова страшно болела, волосы лезли...*» Скоро, вслед за мещанином, на реке появилась целая флотилия бурсаков, разыскивавших беглеца, и когда последний убежал от них, они настигли его, связали и «безжалостно поволокли по кочкам» в бурсу, награждая палочными ударами... В заключение этого тиранства, беглецу, по возвращении его в бурсу, была устроена такая *баня*, после которой Ф. М. пластом лежал в лазарете два месяца. Но этим дело не кончилось; потребность убежать, несмотря на все истязания, делалась всё более и более настоятельной. Лежа в лазарете, Решетников обдумывал план нового бегства и — действительно,— как только поправился, убежал опять. На этот раз местом бегства он выбрал завод, отстоявший от Перми в трех верстах. Бурсацкий свой сюртук он бросил в воду; вымазал грязью, чтобы не узнали, лицо, рубашку, панталоны и пошел по заводским домам и кабакам просить хлеба христа ради.— «Чей ты, парнюга?», — спрашивали его. — «Материн»,— уклончиво отвечал бегун. Долго он шатался здесь между простым народом и мастеровыми, которые давали ему кров и кормили его. «Много,— говорит он,— я заметил хорошего; мне так понравилась простота их няя, что я хотел на всю жизнь остаться у них». Много в то же время увидел он и дурного, особливо в быту нищих, с которыми он невольно сталкивался, которые, наконец, силою таскали его за собой,

заставляли плясать, поили водкой... Бывали минуты, когда он «кричал» и просил встречных, чтобы кто-нибудь спас его от них, но никто не давал помощи. На работу его не принимали без имени, а имя свое он скрывал.«И бог знает,—говорит Решетников,— что бы было со мною дальше, если бы не спасла меня одна женщина...» Женщина эта, часто бывавшая в городе у дяди, узнала его и привела к ним назад. «Дело известное, что было после этого».

Вот как знакомился Решетников с народным бытом! Ему тогда было только десять лет отроду, и с этого времени в жизни его начинается перелом. В течение десяти лет жизнь эта дала столько впечатлений и таких полновесных, что охота вновь обогащать себя ими пропала. С одиннадцатилетнего возраста Решетников крепко задумался о своем прошлом и будущем. Целый год после второго бегства Решетников почти безвыходно провел в доме дяди, сидя в углу за дверью. Со всех сторон он чувствовал презрение, знал, что все его забыли, даже товарищи; его укоряли отцом, собственными проступками. Голова была обременена впечатлениями виденного и слышанного и отупела; с полною ясностию было понятно лишь одиночество и беззащитность... Часто на сердце мальчика было до того тяжело, что он, сидя в углу, рыдал. Как за последнюю надежду помочь своей запутанной голове и измученному сердцу, он с неописанной радостью предался мысли об отце, которого в это время приходилось видеть первый раз. Это была единственная надежда. Он рисовал отца в своем воображении, как бедного, беспомощного человека, «горько плакал о нем, моля бога, чтобы он дал отцу счастия и благополучия...» И вот, однажды вечером, когда Ф. М. уже лег спать, дядя привел с собой какого-то человека, в почтальонской одежде, обрюзглого, с отекшим лицом. Человек этот постоянно и болезненно кашлял; рассказывал, как его бьют... «Ты не поверишь,— рассказывал он дяде,— что этот смотритель каждый день топтал меня ногами, бил меня в грудь...» Страх и радость охватили Решетникова при виде отца... Но отец не знал, что сказать... «Большой

вырос...»— сказал он.— «Что же ты не цалуешь сына?» — «Да что мне его цаловать-то...» И больше ничего... На другой день, разговорившись с теткой о сыне, он сказал: «Дери ты его... что есть мочи дери...». Когда ему предложили взять сына с собой, он сказал: «Куда мне с ним? Не надо... Мне и одному горько жить...». Уезжая, он сказал сыну: «Ну, прощай, слушайся!..»— и пошел прочь... «Мне тяжело было, что отец уехал, а я не высказал ему своего горя...»

С отъездом отца одиночество было полное; всё решать и обо всем думать приходилось одному. Ходил он в это время в уездное училище, но ничего там не понимал и был равнодушен ко всему, и к науке и к порке. Бежать он уже не думал, а когда драли (что происходило в конце каждого месяца), то Ф. М. старался только стать в конце шеренги, предназначенной к дранью, так как к концу ее сторож уставал. Чтобы заплатить этому сторожу гривенник, Ф. М. писал крестьянам письма (кроме училища, он ходил в почтовую контору; дядя хотел его приучить к почтовому делу). От учителей, спрашивания уроков он отделывался иным способом: отправлял им задаром письма, доставлял им письма с почты, а главное таскал * с почты газеты, каковое таскание гг. учителя, видимо, поощряли. Такими путями Ф. М. отвоевывал себе право быть одному и думать... Любимым занятием его в это время было отправляться с кем-нибудь за Каму и проспиживать там целые ночи у костра, думая «обо всем», не имея возможности разрешить ничего!.. И как ни запутаны были размышления, осаждавшие его голову в последние три, четыре года, тем не менее, они навсегда определили самые серьезнейшие стороны характера и таланта Ф. М.

* Причины этого таскания, по объяснению самого Ф. М., лежали в его впечатлительности к хорошему: «мне нравилась,— говорил он,— форма конверта, гладенькая бумажка, хороший почерк на конверте». Поощрения учителей сделали это баловство необходимостию и потом привычкою.

Еще в первое время после бегства, сидя в углу за дверью и с величайшим трудом разбирая окружавший его гнет, он чувствовал себя много виноватым, особливо перед дядей и теткой. Их он видел чаще всех, об них он чаще всего и думал. И мало-по-малу обиженный и обозленный ими ребенок *принужден был* оправдать их. Он много видел во время бегства, узнал, что значит бедность, и теперь принужден был высоко ценить дядю и тетку: они были люди бедные, однако не гнали его от себя, кормили, поили, одевали, тогда как имели полное право выгнать его вон... Сколько при своей бедности переплатили они соседям за эти распаянные самовары, утащенные вещи и т. д.? Что ими могло руководить, кроме любви? И сколько зла, взамен этой любви, сделал он им?.. Мысли эти уничтожали его, учили прощать, уважительно относиться к самому дурному явлению... По всем вероятиям, голова его много работала в этом отношении, т. е. в оправдании самых, повидимому, дурных явлений жизни: на что были противны ему нищие,— а обстоятельства заставили его и их простить и понять. Своего отца,— на котором была сосредоточена вся любовь,— он не иначе представлял себе (до его прихода), как нищим, одетым в рубище... На ругательства тетки он отвечал «слезами и бог знает как готов был благодарить ее». Он удивлялся, как дядя и тетка *не боятся* держать его у себя... Чтоб вознаградить их за обиды, нанесенные им, он старался душою и телом услужить им: носил дрова, воду, выливал помои, словом — беспрекословно исполнял всё, что ему ни прикажут. *Если* в центре этого примиряющего, оправдывающего жизнь взгляда стояла главным образом виновность Ф. М. против дяди и тетки, то судите сами, насколько виновность эта должна была увеличиться, насколько должно было уничтожиться собственное «я» Решетникова, когда последний свалил на голову их еще новую, поистине громадную беду. Внезапно открылась покража газет и пакетов, и похитителем оказался всё тот же их воспитанник.

Таская газеты и конверты, Ф. М. имел обыкновение, по рассмотрении и прочтении их учителями, бросать через за-

бор, в снег; бывали случаи, что он забрасывал не читая и не рассматривая, и однажды, именно в момент открытия пропажи, забросил какую-то важную бумагу. Дело было не шуточное: Решетникова (ему было 14 лет) отдали под суд... Такого зла не мог бы сделать отъявленный враг... Что же должен был чувствовать Ф. М. два года к ряду, сидя в том же углу за дверью, видя как преследуют дядю, как этот бедный человек просудил на племянника последние средства, как стал запивать «с горя», ругать жену и гнать вон из дому... Эти страдания Ф. М. выносил два года и по решению суда был сослан в Соликамский монастырь.*

Вот каким путем доставалось Решетникову беспристрастие в изображении жизни, понимание зависимости ее от мелочей и тщательное изображение факта со всех сторон, казавшееся растянутостию. Из бумаг, оставшихся после смерти Ф. М., мы знаем, что каждое лицо в его произведениях, все мельчайшие условия его жизни — были предварительно обдуманы им с величайшею тщательностию, до последней мелочи: фигура, лицо, года, цвет волос, глаз, платье, жилье, средства,— всё-всё до последней пылинки. В одном из писем, адресованных Ф. М. к Н. А. Благовещенскому из Перми (1865), он пишет: «Был я на четырех заводах, находящихся в Пермской губернии, работал на Мотовилихе, в литейной фабрике, да чуть меня на зашибло воротом... Работать можно только в крестьянской одежде; я работал под именем семинариста, готового поступить хоть в рекруты!.. Смеху надо мной было много».

В это время он писал роман «Горнорабочие». Он жил с рабочими Варшавской железной дороги вполне их жизнию, и вот — глава о петербургских рабочих в романе «Где лучше?»

И так в каждом мелком очерке. Это, по нашему мнению, не неуменье выбрать из массы материала то-то и то, а боязнь сказать неправду, упустив из виду хоть что-нибудь.

---

* Обращаем внимание читателей на повесть «Между людьми».

Эти четыре года навсегда определили направление таланта Ф. М., заставив его смотреть серьезно на жизнь. Этим годам он сам постоянно придавал большое значение: «веселость моя исчезла вместе с горем, постигшим очень рано»,— пишет он в одном письме к дяде. «Переворот в моей жизни,— пишет он в другом месте,— 14 -ти летний возраст, сделал для меня много... Этот переворот удержал меня от душевной гибели...» Остановившись на этих годах сколько возможно долее, о дальнейшей жизни Ф. М. мы не можем сообщить даже и таких подробностей. Постоянные размышления «обо всем», в которых Ф. М. путался едва ли не всю последующую жизнь, по выходе из монастыря усилились религиозным направлением. В монастыре он пробыл несколько месяцев; хотел поступить в монахи, о чем есть в бумагах письмо. «Я клялся богу,— пишет он к какому-то отцу Леониду, — чтобы по окончании дела поступить в монастырь». Почему-то, однако, в монастыре не остался, а по истечении срока снова воротился в Пермь к дяде и стал доучиваться в уездном училище (1857 г.). Наука училищная казалась Ф. М. пустяками сравнительно с тем, что предстояло передумать ему самому: он учился хорошо, через два года кончил курс и мог свободно проводить за Камой целые дни. «Я начинал приглядываться ко всему: к семейной жизни людей, к обращениям, ко всему, что ни попадалось на глаза. Работы в моей голове много было, я старался сам всё понять, но чувствовал, что я еще больно глуп и неразвит... Досадно мне было, и думал я в это время: хорошо бы мне умереть теперь: а то для чего я буду жить?!.. И не было у меня ни одного такого человека, с которым бы можно было, как говорится, душу отвести». Трудно представить другое, более беспомощное положение, чем то, которое пало на долю умственного развития Ф. М. Не ранее как девятнадцати лет, то есть когда он уже кончил курс в уездном училище, ему можно было безбоязненно прибегнуть к чтению; в первый раз он принялся читать после второго побега, случайно отыскал в сарае сундук с книгами, но за это его били, книги бросали в печку, да и не до чтения было ему в то

время. Но могло ли ничтожное образование в уездном училище помочь ему даже и теперь, при относительной свободе, которой он начал пользоваться, при возможности читать всякие книги? «Часто, —говорит он,— случалось, что я, сидя на реке в лодке, глядел куда-нибудь вдаль: глаза останавливались на одном месте, в голове чувствовалась какая-то тяжесть и вертелись только слова: „как же это? отчего это?..“ — и в ответ ни одного слова. Очнешься — и плюнешь в воду... начнешь удить и думаешь: ах, если бы у меня были деньги, я бы накупил книг много-много... Я бы всё выучил... Узнаю—*я других буду учить, пользу какую-нибудь принесу*, спасибо скажут, а то что я за человек, когда я ничего не знаю...»

Таким образом, с этого времени, то есть с девятнадцатилетнего возраста, к выработанной предшествовавшим периодом жизни потребности искренно относиться к ее явлениям начинает вырабатываться другая, не менее искренняя потребность — приносить *пользу*.

Поступив девятнадцати лет на службу в екатеринбургский уездный суд, с жалованьем трех рублей в месяц, Решетников радовался и «гордился тем, что служит в таком месте, где решаются дела о людях, хотя, повидимому,— говорит он,— никто из канцелярских братий не гордился этим...»

Вот как описывает Ф. М. в повести «Между людьми» свой прием присяги. «Я стал повторять слова шопотом, смотря в окно, клялся, забывая всё окружающее... Повторяя слова, я думал: „Зачем я изменю? Я буду верно служить, не так, как они, для пользы людей...“ Когда вечером я лег спать, я долго думал об этой присяге. „Не лгал ли я?“—„Нет, я клялся от чистого сердца...“» Не умея легко относиться к делу, писать доклады так, как писали его сослуживцы,—он видел, что в этих докладах и решениях он имеет «дело с людьми» — и стал поэтому серьезно изучать свое дело... «Мне страшным показалось решать участь человека... я и стал читать бумаги и дела, заглядывал в разные места, читал различные копии, реестры и всё то, что ни попадалось на глаза. Когда я был дежурным, то рылся везде, где не было заперто, и узнал здесь

очень многое...» Знакомый уже с народом (во время скитаний и бегств, при писании писем на почте), Ф. М. узнавал его подневольность во всем объеме. Сильное влияние в этом отношении на него имел один мастеровой екатеринбургского монетного двора; он сильно любил Ф. М. и знакомил его с бытом рабочего человека, укрепляя в Решетникове необходимость делать пользу для простого человека, жить честно, не якшаться с пьянчужками и взяточниками... С этого времени Ф. М. стал заниматься литературой.

Потребность высказывать накипевшее на душе посредством бумаги проявлялась у него очень рано. По возвращении из монастыря, в период религиозного настроения, он писал проповеди, потом стихи... Мы видели его обстановку в это время — при запутанности головы он терялся в возможности сосредоточиться на чем-нибудь, да и боялся обидеть дядю переводом бумаги. С поступлением на службу обстоятельства его улучшились, он чувствовал под ногами почву, а бумагу мог тратить, не обременяя дядю. Жил он попрежнему у дяди, который был переведен в Екатеринбург на почту, в помощники почтмейстера, и хотя угол для жилья ему был отведен на полатях, куда по временам дядя прикрикивал ему:—«Я тебя, шельма, что ты там не сидишь»— и проч., но, сидя смирно, Ф. М. мог сколько угодно предаваться сочинительству. Первое произведение, помеченное 1860 годом,— поэма в трех частях — называется «Приговор». Написана она стихами, без всякого размера, и носит все следы общей умственной сумятицы, касающейся всего, путающейся во всем... «Любезный читатель!— взывает Ф. М. с полатей к публике, в предисловии к этой поэме.—Прежде всего прошу вас полного внимания к каждому предмету, и потом терпения, потому, что я наперед знаю нетерпение с вашей стороны... Несмотря на огромный объем поэмы, вы найдете всё ни к чему негодным...» Причину, побудившую к сочинению поэмы, Ф. М. объясняет так: «Человек, любящий честность и правду, свидетель многих сцен в разных бытах человечества,— может сказать что-нибудь о людях, достойных или похвалы, или порицания...

Стыдно мне показать „Приговор" в настоящем его виде, теперь, когда я думаю о его переделке... А много, много, должно быть, и лишнего, чего я сам не могу приметить, думая, что всё связано с предыдущим и последующим, поэтому-то я и прошу вас, читатель, быть снисходительным к „Приговору": читая, делать заметки, подчеркивая те слова, которые ненужны, грубы, без энергии и необработаны рифмой, как это сделал один читатель в начале ее. Я прошу об этом читателя с истинным уважением... Судить умеет всякий без различия, и я буду очень рад послушать мнения всех моих читателей» и проч. На это воззвание отзывов последовало весьма мало. Один читатель подчеркнул два слова карандашем, другой заметил в одном месте: «это что-то серьезное», а третий сделал замечание на словах, весьма неопределенное... «К сожалению, прочитавши эти слова, один читатель поэмы не сделал ни одной заметки, а только на словах сказал: в середине много лишку... а что лишнее, того он не потрудился указать. Это очень досадно для меня; я бы рад был и сказать ему благодарность, если бы он положил зачеркнуть все строчки поэмы, что было бы для меня легче, нежели его чтение про себя, без всяких, для меня нужных, заключений...» В конце поэмы он просит читателя «пожалеть» его, если она плоха и если в ней много наврано. Настоятельная надобность в руководстве, в человеке, который бы научил, указал,—ощущается у Ф. М. постоянно. И что могло бы быть из этого таланта, если бы в течение двадцати лет хотя кто-нибудь подал ему руку помощи! Одно уже свободное чтение, лежа на полатях, кое-каких старых газет, кой-каких попадающихся в уездных городах книг, — настолько подвинуло его, что последующая за «Приговором» драма «Панич» (в 6-ти д.), помеченная 1861 годом, не имеет с ним никакого сравнения. И Решетников, чувствующий, что в этой драме есть что-то «настоящее», достойное всеобщего внимания, отдает ее на суд — кому бы вы думали?— уездному судье, своему начальнику, который на подчиненных кричит: «Эй, вы сволочь, не шуметь!» Хорошо, что судья похвалил,— хоть и отказался хлопотать о напечатании в журнале;

а если бы он обругал —не пришибло ли бы это Ф. М. еще года на два, на три!..

Похвала ободрила его (ни о какой другой похвале кого бы то ни было мы не имеем никаких сведений). С этого времени, примерно с 1861 г., он бредил сочинительством; ему хотелось быть известным и таким, «чтобы уважали» и чрез него дали бы хорошее место дяде. Дядя смотрел на это сочинительство как на вздор и злился, глядя, как племянник просиживает за писаньем целые ночи.—«Какую ты черную немочь пишешь?» — сурово говорил он Решетникову.—«Я свое пишу».—«Кому?» —«Да напечатать хочу...» —«Я вот те напечатаю. Гаси огонь, пошел спать!» — «... Вот судья тоже хвалил»,— ободряется Ф. М. Этими прикрикиваниями было трудно удержать стремление Ф. М. к писанию.

Потребность писать охватывала его с каждым днем всё более. Из писем к дяде, который, служа в Екатеринбурге, постоянно разъезжал из одного места в другое, видно, что в это время Ф. М. не знал, что делать с своей головой. «Мне желательно быть поэтом!— объявляет он в одном месте.— Посмейтесь мне, добрые люди, какой я глупец, приплетая себя в число других — один листок которых стоит всех моих сочинений...» — и проч. Как ни прост и ни индиферентен был дядя в литературном деле, а, однако, чуял, что племянник отдается писанью не шутя. «Смотри, парень,— говорил он снисходительнее:— как бы тебе худо не было». А потом даже стал помогать ему; знакомился с местными сочинителями, описывавшими уездное общество в столичных газетах, и знакомил с ними племянника, надеясь через них достать ему переписку, чтобы, таким образом, страсть его к писанью не пропадала даром.

В повести «Между людьми», на 101 странице, он подробно изображает посещение одного из этих литераторов. Дядя прибрал комнату для принятия дорогого гостя, извинялся пред ним, что принимает в плохом помещении, жаловался на почтмейстера, угощал водкой. Сочинитель объявил, что «простого не пьет», и дядя не пожалел бутылки

хереса, которую гость принял благосклонно. На всю эту сцену Ф. М. смотрел с полатей и не мало дивился, в первый раз видя «сочинителя». Дядя обходился с сочинителем крайне вежливо, хвалил его сочинения, ругал редакторов, не напечатавших его, не имея ни о чем подобном никакого понятия, и, наконец, решился замолвить словечко за племянника. «Он с большими способностями, сам что-то пишет...»— говорил дядя.—«А! Что ж он пишет? стихи?»—«Не знаю... Петенька, что ты пишешь?»—отнесся дядя на полати.—«Ничего!»—ответил племянник.—«Дурак! Тебя спрашивают!»—закричал дядя.—«Да я так... ничего... Я драму пишу...»—«О,— сказал сочинитель.—Ныне трудно писать драмы!.. Я послал одну драму — пропала в редакции...» Дядя просил сочинителя прочесть сочинения племянника и похлопотать о деньгах. Тот обещал и ушел. По уходе дядя обругал его: «Всю бутылку, шельма, выпил, а как запнулся за парня заступиться—и домой пошел. Сквалыга, право!..» От этого господина не только не было помощи, но, напротив, чрез несколько времени дядя узнал, что сочинитель задумал всех их описать. Это разозлило дядю; он вновь вознегодовал на сочинительство племянника и однажды даже «засветил ему оплеуху...»

Но Решетникова не могло остановить и это. Лежа на полатях, он продолжал писать постоянно.

Чрез два года по поступлении на службу Ф. М. опротивело жить в уездном городе. Материалу накопилось множество (под конец года он был сделан столоначальником горнорабочего стола и узнал горнорабочее дело)— нужно было свету и воздуху. Он задумал уехать служить в Пермь. Кроме желания увидеть побольше света, его тянула сюда сердечная привязанность к одной девушке. Он мечтал о семейной жизни «с таким другом, с которым бы легче было узнавать, чего не знаешь...» С величайшими трудностями выбрался он из Екатеринбурга — дядя и тетка были оскорблены тем, что он бросает их,— и приехал в Пермь, где поступил в казенную палату. Это было приблизительно в 1862—63 годах. В Перми Ф. М. было еще свободнее; он был самостоятелен, получая

12 р. с. жалованья в месяц, и мог писать сколько хотел. В это время написана им поэма «Два барина», другая поэма «Воля» и драма «Раскольник». Стих поэм хотя и лучше стиха, которым написан «Приговор», тем не менее показывает, что автору их не суждено быть стихотворцем; но зато содержание поэм, сцены и типы поистине превосходны. Поэма «Воля», в которой Решетников изображает день 19-го февраля, полна самых живых и оригинальных сцен между народом — в церкви, в кабаках, на заводах, дорогах, в избах и т. д. Драма «Раскольник», в 5-ти действиях, написанная стихами и прозой пополам, при грубоватости отделки, недоверии к себе, положительно доказывает, что не будь этого двадцатилетнего битья, отвечавшего Решетникову на все волновавшие его душу вопросы,— он бы мог написать «настоящую» народную драму. В «Раскольнике» виден большой художник, имеющий все права браться за изображение самых тайных и темных побуждений человеческого сердца.*

Помимо драм и поэм, Ф. М. в это же время написал вчерне много из того, что впоследствии было переделано и напечатано. Он работал неутомимо и много с жадностию читал. В Перми была к этому некоторая возможность: при казенной палате, где Ф. М. служил, была своя библиотека, можно было получать журналы и газеты, да и воззвания о помощи и указании не всегда уже оставались напрасными; находились люди, которые рассказывали Ф. М., как надо писать и принимали участие. Одно неизвестное нам лицо, по рассказам близких Решетникову людей, особенно много сделало ему добра в этом отношении... При содействии этого лица Ф. М. составил небольшую статейку в губернские ведомости о библиотеке казенной палаты и мог таким образом ощутить давно ожиданное удовольствие быть напечатанным. «Как же вы пишете, а меня не спрашиваетесь?»— сказал

* Имея в виду напечатать со временем оставшиеся после смерти Ф. М. произведения, мы тогда же передадим подробное содержание его драм и поэм, причем наилучшие сцены будут приведены вполне.

ему председатель палаты по напечатании статьи, однако ничего худого не сделал. Напротив, Ф. М. получил какую-то прибавку к жалованью и был выбран библиотекарем; он меньше стал чувствовать одиночества, презрения, у него было общество, смотревшее на него, как на человека... Казалось бы, настало полное счастье, но вслед за ним — за сердце схватила скука... Потянуло и отсюда вон...

Решетников захотел ехать в Петербург, чтоб «поучиться и поумнеть...» На что же рассчитывал он, не имея никаких средств? Говорили ему, что есть дом Демидова, где дают даровую пищу, и он принимал это к сведению, не боялся умереть с голоду... На литературу он надеялся, но крайне слабо, смутно, с величайшею боязнью, а кроме Демидова дома и собственных рукописей — не было надежды ни на что и ни на кого.

Спасителем явился ревизор, приехавший из Петербурга ревизовать казенную палату; Решетников попал к нему в переписчики и обратил на себя внимание. Ф. М. часто приходило в голову обратиться к ревизору с просьбой и высказать свои намерения; долго он колебался, наконец, изложил всё на бумаге, упомянув также и желание сочинять... Ревизор хохотал над этой претензией Решетникова, однако, решился «испытать» его и приказал ему выучить в течение двух недель рекрутский устав. Ф. М. исполнил эту задачу и получил обещание о перемещении на службу в Петербург под непременным условием бросить сочинительство навсегда, взамен которого ревизор рекомендовал заниматься, кроме департамента,— в квартале, «где вам дадут рублей восемь».

Решетников был в восторге.

Много еще предстояло ему хлопотать с дядей и теткой, которые не соглашались отпустить его в Петербург, считая это гордостью, глупостью и проч. Дядя обещал даже проклясть; наконец, дело устроилось. Ф. М. разыграл в лотерею все свои вещи, простился с сослуживцами и уехал.

3-го августа 1863 года он был в Петербурге, но и тут не сразу выбрался он на настоящую дорогу. Несколько недель

ему пришлось проходить без места. Потом, когда бывший ревизор определил его, то жалованья ему пришлось получать менее, нежели он получал в Перми, а именно 9 руб. Жил он поэтому в каморке, рядом с кабаком (на Знаменской улице, в Солдатском переулке; теперь этот кабак по ветхости необитаем), и начал писать здесь очерки в «Северную Пчелу». Денег ему там не платили... Наконец, написал он своих «Подлиповцев» и снес их в «Современник»...

Из этого беглого очерка прошедшей жизни Федора Михайловича хотя отчасти видны условия, образовавшие его талант и характер. Было от чего быть угрюмым, застенчивым, боязливым, больным. Было от чего потерять веселость. юмор, способность шутки. Жизнь обила много дорогих цветов с его таланта,— но, взамен этого, обогатила его полным знанием народной жизни, уменьем понимать ее глубоко и правдиво. Скрытая, но истинная любовь к народу и желание ему пользы — были постоянными руководителями Ф. М. в работе. Вот, что писал он Н. А. Некрасову, представив своих «Подлиповцев»: «Таких людей, как подлиповцы, в настоящее время еще очень много не только в Чердынском уезде Пермской губернии, местности самой глухой и дикой, но и в смежных с нею Вятской, Вологодской и Архангельской. Зная хорошо жизнь этих бедняков, потому что я жил в Чердынском уезде, провел 20 лет на берегах реки Камы, по которой весной мимо Перми плывут тысячи барок и десятки тысяч бурлаков,— я задумал написать бурлацкую жизнь *с целию хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам*. Я не думаю, чтобы цензура нашла в этом очерке что-нибудь невозможное для пропуска... По-моему написать всё это иначе,— значит говорить против совести, написать ложь... Наша литература должна говорить правду... *Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мной очерчивался образ Пилы во время его мучений...*»— и т. д. Решетников плакал о Пиле в то время, когда сам не знал,— что будет с ним далее и чем заплатить 12 р. хозяину.

В бумагах Ф. М. мы нашли много подлинных доказательств этой истинной любви к простому человеку: вот записка о каком-то пропавшем крестьянском мальчике, с обозначением всех его примет, на случай, не попадется ли он; вот ненапечатанная статья о дурной пище чернорабочих, — статья—старающаяся убедить кого-то, что мужику нужен свежий воздух, и т. д. Между этими бумагами особенно интересно прошение, адресованное к обер-полициймейстеру. В прошении этом Решетников рассказывает следующее: вздумалось ему однажды пойти в концерт; прочитав афишу в какой-то гостинице и не заметив, что афиша была вчерашняя, он отправился в дворянское собрание, где, быть может, в это время происходило что-нибудь совсем другое. Неказистый костюм Решетникова обратил на него внимание городового, и он не пустил его в подъезд, у которого стоял. Ф. М. пошел в другой, думая здесь раздобыть билет, его и тут погнали прочь. Он ответил,— на него прикрикнули.—«Куда ты лезешь?.. Кто ты такой?»—«Мастеровой!»— ответил Ф. М. на их расспросы. Результатом этого ответа было то, что Ф. М. ночевал в части и неожиданно испытал впечатления бурсы. Он воротился домой избитый, без портмоне, денег и кольца... «Довожу об этом до сведения вашего превосходительства, — писал он в прошении.— Я ничего не ищу; я только об одном осмеливаюсь утруждать вас — чтобы приставы, квартальные, их подчаски и городовые *не били народ*; этому народу еще много придется получить всякой всячины...»— и т. д.

Живя в Петербурге, Решетников не переставал работать над собой; он читал книги, делая из прочитанного конспекты; в бумагах его найдено много таких конспектов. Людей Ф. М. *узнавал инстинктивно,* но никогда не судил их сразу; но каждый шаг свой Ф. М., по обыкновению про себя, строго проверял... «Хозяин,— пишет он на одном лоскутке, найденном нами,— сказал, что он уж давно гонит этого офицера за неплатеж денег... но он нейдет... Живет он у хозяина в кабинете, весь день где-то ходит, приходит домой в 2—3 часа ночи... Вследствие всего этого хозяин пустился на

хитрость: он объявил офицеру, что тот может спать у меня (у Ф. М.) в комнате, так как у меня стоит свободный диван, а мне сказал, чтоб я не пускал его, ибо если только я его пущу, то он, хозяин, набавит на мою комнату платы еще 5 руб., что составит 15... Что мне было делать?.. Офицер действительно пришел ко мне,— я ему отказал... А это *нехорошо, подло,* потому, что ведь с горя он может утопиться, если только у него есть горе и он честный человек». Это Решетников пишет для себя, ни для кого более... Чтобы понять, что лишние пять рублей могли заставить Решетникова воскликнуть: «что мне было делать?»— надо знать, что в денежных делах Ф. М. был изумительно честен. Лишние 5 руб. могли заставить его написать что-нибудь только из-за денег, а этого он сделать не мог... В 1866 году, когда были прекращены почти все толстые журналы, Решетников, живя где-то за городом, часто, за неимением денег, сам ловил для обеда рыбу; зная, что бывшая редакция «Современника» открыла Решетникову кредит в книжном магазине г. Звонарева,— Решетников не мог брать денег, не заработав их... К Звонареву он прибегал только в крайних случаях, и в течение *двух лет* взял не более двухсот рублей...

Дневник Ф. М., без сомнения, много бы открыл нам относительно других сторон его скрытой внутренней жизни, что теперь мы сделать не можем.

‹ПРИМЕЧАНИЯ К «СЦЕНАМ ИЗ ДРАМЫ „РАСКОЛЬНИК“» Ф. М. РЕШЕТНИКОВА›.

Примечание ‹1-е›. Драма в 5-ти действиях с эпилогом «Раскольник» написана Решетниковым (1862-й г.) частию стихами, частию прозой. Мы печатаем в предлагаемом издании только сцены, отрывки из драмы, а не всю драму на том основании, что, во-первых, стихи Решетникова, по отзыву людей сведущих в этом деле,— вполне неудобны к печати, и, во-вторых, потому, что отсутствие основательного знакомства с ученнем и нравами раскольничьей среды заставляло Решетникова в изображении этой среды постоянно путаться в баснях и небылицах, существующих об этом предмете в толпе, и стараться выяснить эти не всегда основательные взгляды массы единственно помощию воображения. Нам показалось неудобным и ненужным знакомить публику с слабыми попытками еще только начинавшего писателя разрешить трудные вопросы веры [и нравственности], без основательного изучения этого [трудного] дела — после того, что в последние годы сделано по этому же предмету писателями, специально занятыми разработкою темных сторон русской жизни и мысли. В этих видах мы печатаем только те сцены драмы, в которых Решетников является знато-

ком своего дела,—именно сцены, происходящие на горном заводе, в среде горнозаводских людей, а всё остальное, неудобное к печатанию вполне, помещаем в сокращенном изложении.

Все нижепомещенные сцены происходят на одном из горных заводов.

‹. . . . . .›

Примечание ‹2-е›. 2. Вышеприведенные сцены составляют первое и третье действия драмы и помещены здесь вполне и без изменений; содержание действий второго, четвертого и пятого, написанных большею частию стихами, к печати положительно неудобными, по затруднительности чтения их,— мы передадим здесь в кратком изложении. Главным действующим лицом их является раскольник-скитник Кондрат, в котором автор, повидимому, желал изобразить страстную, протестующую натуру; скрытая ненависть ко всему и всем на свете, жажда мести — гложет его постоянно. В подземельях у него скелеты, кости; попав к нему в скит, трудно выбраться на божий свет,— приходится или умереть, или делать то, что он прикажет: чеканить фальшивую монету, делать оловянные ложки, которые потом единомышленники Кондратия сбывают доверчивым горнозаводским жителям под видом серебряных. Причины такой злобы на всё окружающее,— злобы, прикрывающейся почему-то поучениями о смирении, посте и молитве,— что вовсе не понятно, так как в этой пустыне весьма достаточно одной грубой силы, сосредоточенной в руках Кондратия, чтобы делалось так, как он хочет,— эти весьма важные причины, интересующие читателя в таком любопытном типе русского простонародья, разъяснены Решетниковым весьма слабо... Повидимому, корень всего — любовь. Когда-то Кондратий был женат,— имел от жены сына Герасима,— но жены своей не любил и убил ее, влюбившись в жену брата Панкрата; от этой любви произошла на свет известная читателю Палагея (которая, как известно, не помнит, кто ее отец). Любовница Кондрата, мать Палагеи, почему-то удавилась, Панкрат ушел в солдаты, а Кондратий после острога, куда попал

за убийство жены, удалился в глушь леса, где и живет в настоящее время. Сюда-то и убежал Фома. Пред появлением Фомы, в начале второго действия, Кондратий один-на-один высказывает желание, грызущее его постоянно: заманить в свой скит и истребить всю свою родню, оставшуюся в заводе, т. е. Степаниду Егоровну (тетку Палагеи), Тапсью Кирилловну и Татьяну, так как все они причинили ему много зла в ту пору, когда он любил мать Палагеи, жену Панкрата. Какого рода было это зло — в драме не упомянуто, тем не менее Кондратий пылает жаждою мести и воспитывает в этих взглядах живущего с ним мальчика Гришу, который есть не кто иной, как Герасим, не знающий, однако, ни своего происхождения, ни своего отца.

Как только в скит явился Фома, влюбленный в Палагею, на которой не позволяют ему жениться те же самые лица, которых ненавидит Кондратий, последний с радостью принимает его в скит: при помощи Фомы Кондратию является возможность осуществить задуманный план,— завлечь ненавистную родню в скит; Кондратий рассчитывает на то, что Фома, влюбленный в Палагею, скоро соскучится по ней и пожелает переманить ее в скит, ибо воротиться к ней, т. е. в завод, где его ожидают наказания, ему нет никакой возможности. Очевидно, что Фома должен сделать всё, что захочет Кондратий, который от своего имени действовать не может, зная что родня боится его и не поверит ни единому его слову. И вот, в ожидании того времени, когда Фома будет готов броситься в огонь и в воду, лишь бы свидеться с Палагеей,— Кондратий заставляет его поститься, молиться, учит его делать ложки, деньги... Фома скучает, видит, что ничего святого в этом скиту нет, раскаивается, что ушел с завода, спорит с Гришей, доказывая ему, что архиерейская служба лучше той, какая идет у раскольников, что надо писать Иисус, а не Исус, как утверждает Гриша, и т. д. Споры эти довольно часто оканчиваются дракой, после которой Фому доводят до раскаяния... С каждым днем ему становится скучней и скучней,— он плачет, просит послать за Палагеей,

так как срок, после которого она обещалась не ждать Фому, истекает. Наконец Кондратий сжалился над ним и обещает его женить на Палагее, если он, Фома, привезет вместе с нею в скит всю родню. Фома готов. Кондратий говорит, что Фома должен распустить слух, что он, Кондратий, умер, а наставником и начальником скита стал Фома, и что всё богатство Кондратия теперь у него... Фома соглашается на всё и уезжает за Палагеей и родней, в сопровождении одного из опытных скитников, назначенного следить за Фомой и увезти всё имущество родни после того, как Фома уговорит эту родню съездить к нему в скит погостить.

В этом состоит 2-е и 4-е действия.

В пятом действии — все планы Кондратия оказываются осуществленными. Палагея живет с Фомой, а родня попалась в западню. Из рассказов и разговоров скучающей Палагеи с Гришей видно, что Кондратий засадил всю родню в подземелье, из которого по временам выводит Таисью Кирилловну и Степаниду Егоровну и, привязав их к дереву, сечет веревками, после чего снова уводит в подземелье. Скоро, к ужасу Палагеи, в это же подземелье попадает и Фома: Кондратий не довольствуется всеми этими злодеяниями, но уже жаждет новых, еще более ужасных: он хочет жить с Палагеей, т. е. с родной дочерью, как с женой, и вот почему он заточил Фому. Палагея неутешна; она ненавидит Кондратия, плачет, зовет Фому. Кондратий остается неумолим. Единственным собеседником Палагеи остается Гриша, который скоро узнает от Палагеи свое происхождение, всю ложь, все злодейства Кондратия и делается его врагом. Палагея умоляет его бежать отсюда,— так как Грише уже известны тропинки, которыми можно выбраться из леса,— и объявить обо всем в заводе. Гриша некоторое время колеблется, но, наконец, бежит. В его отсутствие неожиданно является давно пропавший отставной солдат Панкрат, отец Гриши. Панкрат пришел в скит с очевидным намерением вывести Кондратия на свежую воду, но, к ужасу Палагеи, Кондратий и его заточает в подземелье. Палагея беззащитна:

Кондратий уже приступает к ней с своими гнусными предложениями, но в это время является Гриша, исправник, казаки, полицейские... Кондратий хочет удавиться, его схватывают полицейские; казаки выносят из подземельев трупы,— убиты все, в том числе и Фома; жив только солдат Панкрат благодаря сухарям, которые были у него в мешке!.. Кондратия ведут в острог. Все богатства его, повидимому, достанутся Палагее, и она выйдет замуж за Гришу. Этим оканчивается драма, задуманная, как видит читатель, очень широко, затрогивающая множество самых темных, плохо разгаданных сторон русской жизни. К несчастию, у автора не было никакой возможности выполнить задуманный план так, как бы он того хотел.

ХОРОШАЯ ВСТРЕЧА

(Отрывок из путевых заметок)

I.

Вода на Оке начинала спадать. Поминутно останавливаясь на мелях, еле-еле плелся по ней в жаркий июльский полдень маленький кое-как сколоченный пароходик, готовый, казалось, развалиться при каждом повороте собственного своего винта... Прелестные, удивительные виды, на каждом шагу открывавшиеся по обоим берегам реки, нимало, однако, не умаляли скуки, царствовавшей в пароходном обществе. Высшее общество первого и второго классов либо с глубочайшим достоинством хранило молчание по целым часам, либо непременно ругало кого-нибудь и что-нибудь, если разрешалось молчание по какому-нибудь случаю и начинался мало-мальски общий разговор. Обыкновенно для начатия этого разговора кто-нибудь примется бранить лакея за грязную тарелку, тотчас другой из молчавших до сей минуты припомнит, что за границей этого ничего нет, и при этом обругает лакея, да кстати заодно и хозяина парохода; третий, немедленно вылетающийся в разговор, так или иначе, найдет случай, не теряя своего первоклассного достоинства, обругать

лакея, хозяина, потом вообще мужика, потом Россию, потом земство — и т. д. Некоторое время всё это высшее общество бывает довольно оживленно, рассыпая слова негодования на всё и на всех.—«Я сам служу в земстве,— слышится иной раз во время этой брани:— но положа руку на сердце, откровенно скажу, что никто ничего не делает, а один Z... Что я!?»—«Позвольте вам заметить,— сочувствуя говорившему, вставляет свое сочувственное слово какое-нибудь новое лицо:— я служу в таком-то ведомстве, и чистосердечно скажу — все воры!» Третий из пассажиров, немедленно присоединяющий свой голос к начавшемуся хору ругательств, в самом непродолжительном времени, с двух—трех слов уже отыскивает какого-нибудь подлеца или мерзавца, которого он сам лично очень хорошо знает,— и т. д. Но переругав всех и вся, кроме себя, общество начинает терять нить, связывавшую его воедино в продолжение только что изображенной беседы. Кроме брани «на других», в обществе не оказывается другой нравственно связующей нити.

Кто-нибудь для поддерживания разговора попробует начать так: «Да, порядочные, я вам скажу, вообще мерзавцы...» Но общество уже истратило весь запас мыслей, и этот «мерзавец», произнесенный среди общего молчания, долгое время как бы висит в воздухе и пропитывает собой всё окружающее. «Мерзавец», «мерзавец», «мерзавец»— звенит у всех в ушах. Чтобы отделаться от этого звука, кто-нибудь пособразительней начнет разговор с соседом — о чем? Послушайте эти разговоры — и вы удивитесь неожиданности, и, так сказать, внезапности их содержания. Вдруг заведет кто-нибудь речь о том, что вот у него пятнадцать лет болят зубы и никакими средствами он их вылечить не может. Слушающий подтвердит, что действительно зубная боль неизлечима,— и вот эти два приятеля расскажут друг другу случаев по пятидесяти каждый, и во всех пятидесяти случаях— всё была неизлечимая боль. Это до такой степени надоедает самим разговаривающим, что они под конец даже отвора-

чиваются друг от друга и один садится подальше, к окну, а другой впоследствии даже уходит. Если же, паче чаяния, на язык не подвернется какое-нибудь плодовитое слово, вроде слова о зубной боли, то начинаются совершенно бесплодные расспросы друг друга о том—откуда, куда, зачем? Бывает так, что разговаривающие таким образом начинают казаться постороннему человеку почти помешанными.

— Что ж, дом имеете в Калуге?

— Нет, я только еду в Калугу. Там у меня дело.

— А вы не знаете ли в Калуге Кузьмина?

— Нет, не знаю,

— Хороший человек.

— Нет, я не знаю никого в Калуге.

— Отличный человек. Этакой высокий, плотный мужчина.

— Нет, не видал...

— Борода этакая окладистая,— лет ему сорок пять.

— Нет, что-то не случалось...

Долго еще описывает один другому Кузьмина, и другой долгое время отвечает: «нет, не знаю, не видал, я не калужский»,— пока сам из оборонительного положения не перейдет в наступательное и сам не задаст вопроса первому: а не знает ли он в Нижнем Куприянова? Этакий маленький,— аршина в полтора ростом? блондин?— и т. д. до бесконечности. «Не знаю. Не встречал. Я не нижегородец» — приходится теперь говорить первому, и дело оканчивается тем, что, наговорившись досыта, соседи замолкают, чувствуя друг к другу почти отвращение, а в воздухе остается какое-нибудь слово — или «брюнет, высокий...» или опять то же: «да, большой мерзавец».

«Мерзавец», «мерзавец»— звучит опять у всех в ушах среди мертвого молчания... Тишина. Стучит машина, шумит вода и дрожит еле плетущийся пароход...

В третьем классе, на палубе, общество было гораздо оживленней. Здесь всё шло начистоту и не было той натяжки в манере, речи и мыслях, которая делала бессодержательную беседу в первоклассном обществе поистине невыносимой.

Разговоры здесь шли без выдумок; какой-то мужичок рассказал во всеуслышание такой анекдот, от которого все женщины, присутствовавшие на палубе, покраснели, как раки, и не знали, куда деться. На полу, у борта парохода, сняв сапоги и мундир, сидел солдат и угощал мужиков водой: у него бутылка без горлышка, кое-как привязанная на веревке; он поминутно опускал ее с парохода в воду и, вытащив, говорил:

— Кто хошь, ребята? Вода первый сорт.— Некоторые из мужиков, молчаливой вереницей сидевших вдоль борта, протягивали руки к бутылке и, сняв шапку, пили.

— Передавай, передавай соседу,— командовал солдат.

— Иван! На, пей!

И безгорлая бутылка переходила из рук в руки.

— Благодарим покорно!— говорили мужики.

— Пей, ребята, валяй! Мне бутылки не жалко! Чего ее жалеть-то?..

Некоторые из мужиков принимали бутылку как бы нехотя и, видимо, пили только из приличия, так как солдат был необыкновенно радушен.

— Дуй, ребята, на доброе здоровье... Нн-и жалеть! Пей! — поминутно повторял он с веселым лицом, поглядывая по сторонам.

Радушие солдата было непритворное. Деловые разговоры, которые шли на палубе между народом коммерческим, тоже ничуть не походили на разговоры подобного рода в первоклассном обществе. Такого типа людей, который, получая с земства три тысячи, ничего не делает потому, что никто не делает ничего, и ругает всех, оставаясь каким-то негодующим нулем,— между этим народом не было. Иной целую станцию стоит на ветру и надсаживает горло и грудь, разговаривая с мужиками, стоявшими на плотах дров, мимо которых проходил пароход.

— Иван Петрович ту-та-а?..— во всю ширь легких вопиет он через всю Оку какой-то фигурке в синей рубахе, без шапки и сапог.

Фигурка показывает что-то рукой.

— Ишь! Нет еще... Ах, чудак человек! Того и гляди, Кузьминские прежде придут.

— Уж и езда на этом пароходе!— понимая беспокойство своего собеседника, присовокупляет другой коммерсант; и разговор, начавшийся о пароходных порядках, о том, что дело ведется плохо, не походит нисколько на ругательства против пароходного лакея,— ругательства, в глубине которых нет ничего, кроме желания заявить, что «когда я был за границей» и т. д.

Общих всем интересных тем для разговоров на палубе тоже гораздо больше, чем в каюте первого класса. Общий разговор завязывался часто на очень долгое время, и иногда в нем принимали участие все бывшие на палубе. Это случалось всякий раз, когда выступал на сцену какой-нибудь философский вопрос, какая-нибудь история, рассказанная в пояснение тайн мысли и жизни.

— Господь,— говорил кто-то по какому-то случаю,— очень хорошо может во всякое время затмить человека!

— Это вер-рно!— тотчас же раздается несколько голосов, и несколько новых человек придвигаются ближе к разговаривающим.

— Еще как затмит-то,— вставляет новый собеседник.

— Бывает, так затмит, что вовсе омрачишься, как собака.

— И ей-богу, верно! Да что я вам скажу; со мной что было в Калуге!

Начинается история с омрачением в Калуге. Внимание слушателей этой истории самое глубокое и непритворное: здесь никто не слушает, как иной раз в первоклассном обществе, друг друга из приличия, или притворяется, что слушает; здесь слушают *во всю*, и на каждом лице вы заметите, что мысль слушающего работает самым искренним образом,— и когда из рассказанной истории о затмении ума, бывшем в Калуге, вытекает умозаключение, вроде того, что вот, мол, как господь не дозволяет человеку, напри-

мер, мечтать — или что-нибудь вроде этого,— то суждения слушателей, начинающиеся по поводу этого заключения, покажут наблюдателю, что каждый из слушателей думает на свой образец, только так, как считает справедливым.—«Ну, нет,— говорит один:— это вы напрасно! Со мной тоже был случай, только тут просто вышло из-за частного пристава; бога тут мешать нечего!..» —«Как бога не мешать?— возражает другой.— Да позвольте вам заметить, кто выше: частный ли ваш пристав, или же, будем так говорить...?!»— и т. д. Эта работа мысли не похожа на газетные фразы, после предварительной цензуры расходящиеся по свету, которыми отделываются разговаривающие первоклассного общества, не имея на душе ничего, кроме апатии.

Но вообще как натянутые разговоры привилегированных пассажиров, так и чистосердечные беседы пассажиров непривилегированных невольно наводили на весьма унылые мысли. Слушая их, любой помпадур, власть имеющий, и благодетельствующий народу человек непременно должен прийти к той мысли, что он один только столп и опора, что только его усилиями, его мерами, его предписаниями и понуканиями держится всё это обширное здание, именуемое «обширное наше отечество». В самом деле, там, в первых классах, полное отсутствие общих интересов, значительное расположение смотреть на ближнего, как на дурного человека, подозревая в нем всевозможные гадости, сваливая на него, на его испорченность, всю беду и оправдав себя этим,— меланхолическое получение земских денег и ничегонеделание. Здесь, в третьем классе,— напротив, нет ни апатии ни бездеятельности. Здесь много труда, здоровья, искренности и стремлений к товариществу — по идеи, мысли... Несмотря на свою искренность, в самых лучших простонародных головах что это за мысли! Современному ученику уездного училища ничего не стоит в пух и прах разбить всю эту философию старца, рассказывавшего о затмении ума в Калуге. Каждая мысль, несмотря на то, что прямо, на собственных плечах вынесена из жизни, относит

образованного грамотного человека за четыреста, а то за пятьсот лет назад, в тьму времен. С каким трудом, с каким усилием строит эта мысль свои умозаключения, всегда отдающие для человека, мало знакомого с языком и манерою выражения третьеклассного народа, просто-напросто сущею чепухой!

Итак, что ж в конце концов? Там — апатия и дюжинность потребностей и мысли; здесь — здоровая и искренняя умственная чепуха, настоенная на двух-трех-четырехсотлетнем невежестве и вечном труде. Что ж те и другие сделают без хорошего помпадура, без постороннего двигателя, который бы по своему усмотрению прибирал бы к рукам и эту чепуху и эту апатию и своими стараниями, понуканиями и предостережениями придал бы хоть мало-мальски человеческий образ и подобие бесформенной и невежественной толпе?

Став на эту точку зрения и припомнив всё, что делали и делают разного сорта помпадуры на пользу белой и черной кости моего отечества, я не мог невольно не почувствовать к этой деятельности глубочайшего благоговения и сохранил бы его в своем сердце навсегда, если бы не произошло одного обстоятельства, которое значительно изменило направление моих мыслей.

II.

Когда после одной из остановок у какой-то деревеньки пароход снова тронулся в путь, я заметил на палубе нескольких новых пассажиров; в числе их внимание мое обратил на себя мальчик лет семнадцати или восемнадцати, лицо которого показалось мне знакомым. Я не мог, однако, припомнить, где именно я его видел. Одет он был в чей-то, очевидно — чужой, сюртук, под которым была красная выпускная с косым воротом рубашка. На голове была надета пуховая шляпа, тоже, очевидно, чужая, ибо если бы не уши, оказывавшие ей подпору, она наверное бы закрыла лицо мальчика до подбородка. В руках у него была книга.

«Где я его видел?»— думалось мне.

К счастью, мальчик сам стал вглядываться в меня, и потом, узнав и улыбаясь, быстро подошел ко мне и сказал:

— Я — Вася! Узнаете, Василий Петрович?

— Вася! Неужели?

— Он самый.

Я вспомнил и узнал Васю, о котором теперь же нужно сказать несколько слов. Лет восемь или десять тому назад мне пришла благая мысль поработать на пользу отечества, и я стал учить деревенских мальчиков. Как и всякий подобного мне сорта благодетель, я исходил, начиная это дело, из той мысли, что ежели мужик беден, нищ и т. д., то в сообществе с невежеством все эти недуги лежат на нем двойным бременем; лучше же невежество заменить просвещением, воспользовавшись для этого тем временем, которое остается от молотьбы, уплаты недоимок и тому подобных ежедневных крестьянских занятий, не нарушая, однако, их обычного хода. План благодеяния был составлен, как видит читатель, не особенно ясно, но подобно другим благодетелям я принялся за дело с жаром, поддерживаемый в этом жару тем, совершенно справедливым мнением, что *что-нибудь* лучше, чем *ничего*. Очень много народу желало в то время сделать *что-нибудь* (конечно, хорошее) своему меньшему брату. Но приняв в расчет, что науки никоим образом не должны были нарушать обычных крестьянских занятий (иначе что ж бы было?), я должен был, елико возможно, экономить временем, остававшимся в моем распоряжении после всех обязательных даже для крестьянских детей трудов и работ. В году таких свободных минут в общей сложности я мог насчитать всего каких-нибудь недель шесть, и этим временем я должен был распорядиться так, чтобы, не теряя ни одной минуты (*с часами в руках*, как говорит г. бар. Корф),* просунуть в головы благодетельствуемых мною ребят елико возможно большее количество науки. Читатель поймет (приняв в расчет тесноту, по которой мне приходилось про-

* В *VII* и *VIII*: один педагог.

бираться), что я должен был спрессовывать науку, как спрессовывают консервы, и давать ее дозами гомеопатическими, так искусно составленными, чтобы, попав в мозг, каждая такая пилюлька науки растворялась бы там пышно и хорошо, не вредя, конечно, ничему окружающему. Лекции мои были поэтому настоящей энциклопедией. Вот буква *А*. Чтобы ее запомнили, я говорю, что она похожа, например, на крутую хорошую дугу; чтобы не терять времени, которое дорого, я тотчас, придравшись к дуге, заводил речь об экипажах, об езде, оттуда недалеко до железных дорог, до пароходов, потом пар, потом вода, из которой делается пар и в которой —рыбы; от рыб перехожу вообще к устройству вселенной и т. д. и т. д.,— так что, начав с буквы *А*, мы заканчивали урок чем-нибудь совсем другим, на *А* вовсе не похожим. Я понимаю теперь, почему мои ученики, сидели, выпуча глаза, и никогда почти никто из них не мог повторить, что было сказано вчера. Это меня приводило в большое негодование, потому что, окончив лекцию, я обыкновенно чувствовал себя совершенно утомленным среди поголовного тупоумия своих слушателей. Один только Василий Хомяков — мальчик лет девяти или десяти — вознаграждал меня хотя отчасти за мои труды. Внимателен он был до последней степени. Глаза его ни на минуту не отрывались от доски и от меня, когда я говорил, и если на следующий урок он, по примеру своих товарищей, тоже не мог повторить всего, что сказано было в прошлый раз, то уж всегда знал, что буква, с которой началась лекция, была *А*, тогда как другие, сбитые с толку моим рвением, на вопрос — какая это буква — отвечали: один — рыба, другие — пароход, третьи — дуга и т. д. Василий Хомяков выучил азбуку очень скоро и скоро стал читать довольно порядочно; но в ту самую минуту, когда я, утомясь в борьбе с тупоумием остальных моих питомцев, хотел сделать свое знаменитое *что-нибудь* исключительно для одного Хомякова, сосредоточив на нем всю свою заботливость о бедном брате, этот бедный брат вдруг заленился, стал даже дремать во время урока и скоро совсем

перестал ходить. Это было весной. После святой того же года я охладел к школе, и осенью никакого учения уже не было. Я говорил себе: либо всё, либо ничего, а чего-нибудь не нужно, и укрепившись на этом глубокомысленном *ничего*, распустил моих ребятишек.*

Прошло около девяти лет, и Василий Хомяков неожиданно встретился со мной.

Мы были очень рады друг другу

— Где ж ты был?

— Сейчас был у матери, прощался... К Аким Петровичу на завод я еду. Вы не знаете господина Пазухина, Аким Петровича?

— Нет, не знаю.

— Ну, к ним еду... Надо быть, надолго... Хочу делать пользу.

Эту фразу Вася произнес совершенно серьезно.

— Кому?— спросил я.

— Конечно, всем,— с прежней искренней и юношеской серьезностью произнес Вася. Давно, давно я не видал такой храброй уверенности и искренности, какая проникала всё существо Васи и его фразу: «конечно, всем»...

— Потому что,— продолжал он,— в теперешнее время всякий делает зло, а зло надо искоренять.

— Конечно!— в свою очередь сказал я.

— Если мы будем только для себя жить,— философствовал Вася,— что хорошего? От этого сколько на свете бед, горя... и-и, боже мой!

— Да, много!

— Как много, как много!.. Я только недавно узнал, в чем дело. Мне этого теперь оставить нельзя...

Вася насказал мне еще великое множество вещей, которые я знал давным-давно; всё это были слова и изречения самые обыкновенные: о бедности, о несправедливости, какая идет по свету. Но эти обыкновенные мысли и слова в устах Васи

* Я говорил .... моих ребятишек.— в *У I*, *У II* и *У III* нет.

дышали такой удивительною силой, правдой, что становилось как-то стыдно и неловко — неужели я забыл эти фразы? И приходило на мысль, что действительно только во имя этих обыкновенных слов и стоит жить на свете, только их и надо сделать целью своей жизни... Глядя на Васю, с каждой фразой всё больше и больше одушевлявшегося, невольно верилось, что слова произносились им на один только вершок от настоящего дела во имя этих слов, как бы дело это ни сумасбродно и непрактично ни было... «Кто воспитал в нем эту силу? Кто поселил в его голове эти мысли?»— думал я,— и никак не мог приписать этой чести своей педагогической деятельности.

— Отчего ты бросил школу?— спросил я его, когда он немного затих.

— Тогда-то? Правду вам сказать?

— Пожалуйста!

— Скука! Такую скуку вы на меня тогда нагнали — страсть.— Меня несколько покоробило от этого определения моих усилий на пользу меньшему брату.— Я ведь страсть какой характерный — в деда, у меня дед тоже был железо! Что мне не по душе, уж меня за тысячу рублей не заставишь сделать. Вы знаете, отчего я к вам в школу поступил? Вы думаете, это я просвещения вашего желал, чтоб это мужик меня не обсчитывал там? И... совсем нет...

— Зачем же?

— А вот зачем. Был у нас в селе один вор — Егорка. Как началась весна, только, бывало, и слышишь — там пропажа, там пропажа, и всё — Егорка. Дебоширничает он так целое лето,— а зимой, глядишь, идет просить прощения у мужиков... И так умаслит, что подержат его в тюрьме, в холодной, неделю и выпустят, и глядишь — этот самый Егорка уж живет у какого-нибудь крестьянина, иной раз у такого, у которого прошлым летом по его милости овчины пропали или хомуты... Вся сила Егорки была в том, что мастер был говорить. Вы знаете наши зимние крестьянские вечера? На дворе — вьюга, в избе — скука, тараканы.

дым от светца... Все молчат. Кто-нибудь охает на печи... Вот тут Егорка был дорогой гость... Придет и начнет рассказывать сказку или какую-нибудь историю,— и так рассказывает, что мы все замрем, даже задохнемся от страху, так отлично рассказывал... Вот мне и захотелось читать книги,— я думал, там такие истории есть... Из-за сказок-то из-за этих я и поступил к вам в школу.

— А отчего ушел-то?

— Выучил азбуку — и никакого любопытства мне в школе не осталось... Как выучился я азбуке, вымолил у отца полтину, накупил в городе книг, стал читать — только ничего любопытного не нашел. Егорка невпример лучше рассказывал. Опять стало мне скучно... Не то, думаю, в монахи мне итти, не то с Егоркой убечь,— а дома мне никак нельзя было оставаться, потому уж в голове у меня разные мысли стояли... а дома что?.. Чем свет подымешься, поедешь с отцом в лес дрова рубить. Зябнем целый день, привезем к ночи воз поленьев — остается только поесть да спать, а на утро опять целый день — либо кол какой в плетень вколачиваешь, или снег от избы тоже целый день отгребаешь... А вбил кол, или отгреб снег,— опять только поешь да спишь с устали. Что ж это за жизнь? Я — человек, от этого меня и мутило: не то — в затворники, не то — в разбойники.

Вася улыбнулся и с легким смешком в глазах проговорил, глядя на меня:

— А тут вы мне и подсудобили вашим ученьем, ну, я и...

— Как подсудобил?..

— То есть совсем отшибли у меня охоту... Вы помните, когда я ушел от вас? Я вас бросил перед самой перед святой, и недаром...

— Почему же так?

— Вот я вам сейчас объясню... Мы, деревенские ребята, да и большие, ждали светлого воскресенья, как бог весть какой радости... Бывало, за целую неделю сердце от радости изнывает. В ту пору к тому же у меня, как я вам сказывал,

было склонение к монашеству, на подвиг,— стало быть, о божественном я думал крепко... Вот в таком-то расположении я пришел перед святой к вам в класс,— у вас было всё ко дням притрафлено, и приходилось так, что об христовом воскресении вам надо рассказывать... Вот и думал я, что вы нам, мальчикам, всё это подробно растолкуете: как Пилат, что Июда, и всё до нитки,— а вы что же?

Мне ужасно захотелось узнать, как именно я, думавший благодетельствовать меньшим братиям, угадал тогда желания, с которыми они ко мне пришли, и как я сумел их удовлетворить.

— Ну, что я?

— А вы, заместо того, свернули дело в три слова — ведь у вас всё было скоро, словно боялись, что нас в солдаты не поспеют отдать (Вася улыбнулся),— вот вы и обернули всю историю в одну минуту. Июда предал, Пилат, мол, распял, а через три дня вокрес, да потом сразу: где подлежащие, где глагол? подчеркни собственные имена... Подлежащие да запятые остались,— а радости никакой мне не вышло... Тут я на вас страсть как сердит был и перестал ходить... На грех началась весна, и Егорка собрался из деревни вон, на свои похождения... Скрывался он от нас каждую весну потихоньку, потому что к весне мужики всегда собирались его опять засадить, чтоб он летом не пакостил им... Как отбило меня от школы, да дома опять эта непроглядина-нужда отшибала,—сбил меня Егорка, ушел я с ним.

— Что ты делал?

— Как что? Что по моим мыслям выходило, то и делал. Сначала Егорка говорит: «Пойдем в Кривухино, надо наказать целовальника». И рассказал мне, за что его надо наказать. Целовальник был действительно человек самый бессовестный, с мужиков снимал последнюю рубаху... Как всё это он рассказал мне — то вышло по моим мыслям, будто наказание целовальнику дать надо. Пошли мы и дали наказание.

— Какое же?

— Сожгли ригу.

«Неужели,— стояло у меня в голове,— эта наука вора Егорки сделала его тем, чем он есть?»

Вася продолжал:

— Ну, от целовальника пошли в другое место, к мужику. Там овчины выкрали все до чиста, потому что и этому мужику, по Егоркиным речам, тоже нужно было сделать внушение... Егорка на него был сердит еще с прошлого года, когда этот мужик избил его не на живот, а на смерть... Ну, так и пошло. Всё по правилам поступали... Мы тут дела много наделали, и я полагал тогда, что это хорошо; а если бы не это — я бы давно отстал.

— Ну, а потом?

— А потом, конечно, достряпались до тюрьмы... Тут мне тоже было довольно интересно.

— В тюрьме-то?

— Да-а-а-с. Мне тут было очень любопытно.

И к моему удивлению, Вася рассказал мне великое множество самых непривлекательных острожных проделок, нисколько, повидимому, не обещавших в будущем такого бойца против неправды, каким был он в данную минуту. Слушая рассказ про его бродячую и острожную жизнь и не вникая в состояние его совести, можно было бы напророчить ему и ссылку и каторгу; но природная настойчивость, делавшая невозможным поступать против убеждения и выражавшаяся в его рассказе постоянными вставками фраз вроде: «тут мне показалось», «вот я стал», «захотелось мне» и т. д.— придавала всем Васиным злодействам совершенно иной характер. В этой тюрьме, в этих темных делах он как бы укрывался только от насилий над его совестью и с такою настойчивостью не изменял ей, что после его рассказа можно было жалеть об общем строе жизни, в которой надо искать темных углов для того, чтобы не быть изуродованным нравственно,— но сомневаться в искренности того, во что теперь Вася верил, не было никакой возможности...

Как же случился этот переворот?

По выходе из острога Вася встретил человека, который сумел заставить верить его в иные вещи, в иные мысли... Вася убедился, что Аким Петрович говорит верно — и выработанная в темных закоулках русской жизни сила убеждения вся обратилась на осуществление его новых верований. По крайней мере, когда, расставаясь, он снова повторил, что готов отдать душу за обиженного человека, и энергически прибавил: «и отдам! это верно!»— я видел, что это действительно верно, и что жизнь свою он отдаст.

III.

И стало мне, после разлуки с Васей, который скоро вышел на одной из пристаней, чтоб отправиться к Акиму Петровичу,— стало мне очень скучно и вместе завидно этому мальчику... Кто из нас, поставленный в счастливое положение не бродить по таким закоулкам, как Вася, мог рассчитывать на свободу в развитии своей мысли?.. Вася убежал из школы, а нас бы воротили и посадили опять и под конец «переломили» бы эту мысль... А сколько потом, после сломанного детства, после ломающей душу школы,— сколько потом идет этих переломов при выборе дела, труда?.. Сколько тысяч раз приходится покоряться целям, являющимся внезапно, и т. д.

Раздумавшись об этом предмете, я хоть и не чувствовал себя очарованным острожным способом развития характеров, но благоговение мое к заботам вышеупомянутого помпадура рассеялось как дым.

ОЖИВЛЕННАЯ МЕСТНОСТЬ.

...Благодаря пароходам, железным дорогам, капитал с каждым днем получал возможность проникать в более и более отдаленные и глухие местности русской земли и, как пишут, стал «оживлять» их, превращать мертвые капиталы в живые. Это необыкновенное явление обходится капиталу не очень-то дешево. Вот, например, с одной из промежуточных станций вновь проложенной железной дороги — двигается в эту, до сих пор мертвую глушь, трехсотпудовое чудовище — паровик. Везут его на тринадцати тройках, в сопровождении и при содействии двухсот человек народу и при непосредственном участии громадного количества водки... «Водкой везем»,— говорит хозяйский приказчик, сопровождающий паровик,— и, действительно, только при ее содействии оказывается возможным кое-как преодолеть трудности дороги, бессилие скота и непривычку народа в обращении с такими — благодетельными — чудовищами; только при помощи водки люди оказываются способными задирать до полусмерти свой скот и надрывать иной раз до смерти свои животы... И вот — сотни кнутьев по целым дням свистят вокруг этого чудовища, сотни людей орут и ругаются вокруг него неистовыми голосами,— и чудовище

сердито двигается «оживлять» мертвые капиталы. Правда, иной раз, свалившись и придавив до смерти человек трех мужиков, пьяных и ругавшихся,— оно подолгу лежит в какой-нибудь лощине или на провалившемся мосту, и ветер гудит в нем страшными голосами на страх всякому проезжему и прохожему крестьянину,— но новый прием водки, кнутьев и брани — и оно трогается и едет дальше и дальше...

Место, в которое едет это чудовище,— место весьма обыкновенное в России,— то есть глухое, заброшенное, как будтобы никому не нужное. Среди дремучего леса в глубоких берегах течет быстрая река,— а за лесом тянутся бесконечные поля, всегда пустынные, а среди полей виднеются бедные-бедные деревеньки. Летом всё это было зелено и мертво; лес делался в эту пору совсем дремучим и стоял в глубокой тиши... В глубине его было прохладно и влажно, а нога вязла в массе веками накопившейся и гнившей листвы... Зимой, когда всё занесено снегом,— только зайцы, лисицы да волки и ходят здесь. Изредка, очень изредка,— то зимой, то летом,— покажется здесь барин, владелец этих мест. Впереди его обыкновенно шныряла собака,— а вслед за ней, задумавшись о чем-то, шел барин... О чем думал он в то время, будучи постоянно тоскующим? Не знаю; но смело могу сказать, что не об этой глуши, не об оживлении этих громадных полей, дремучих лесов, черных и нищенских деревень... Не думал он об этом потому, что, несмотря на обилие всего жившего и произраставшего в этом лесу,— мужик, который захотел бы пользоваться этим, выводился из лесу (если только попадался)— со связанными назад руками, охотник уходил без ружья, и вообще всякий делался, или должен был по крайней мере чувствовать себя, «вором», если задумывал поживиться тем, что никому не принадлежало...

В таком положении было это захолустье долгие годы; было в нем всего много,— и быстрых речек, и плодородных полей, и темных лесов;— но пользы от этого не было реши-

тельно никакой и никому: барин здесь почти не жил, а крестьянин, живший под боком у всей этой благодати, мерз от холоду по зимам в своих черных развалившихся избах, нося известный и, повидимому, навеки закрепленный за ним титул вора и неплательщика. Повидимому, никому не нужно было это место — крестьянин, лежа на печи, говорил иной раз: «хоть бы прибрал Господь»,— или: «ох, смерть моя нейдет!» Барин хотел уехать отсюда навсегда. Но вот пришло новое время, произошло освобождение крестьян — и в воздухе пронеслась новая черта, доселе как бы небывалая. «Мое», «наше»— эти понятия, повидимому, родились на свет только по освобождении крестьян, родились вдруг (тоже повидимому)... Тоскливая апатия барина,— унылая широта его взглядов, планов, желаний,— тотчас окристаллизовались в понятие о моем и твоем, как только что-то из этой глуши, никому, повидимому, ненужной, «отошло» к кому-то «А ведь это, *право же,* мое!»— стал думать барин с каждым днем всё настойчивей и настойчивей.—«Наше, по божески-то ежели рассудить»,— стал думать крестьянин, потому что после того, как у них что-то отошло к кому-то,— понятие о «нашем» и о «вашем» тоже заменило собою апатию, желание помереть — и другие черты прежнего влачения жизни...

«Мое» и «наше» стали тянуть этот уголок каждый в свою сторону. Опомнившийся от продолжительной меланхолии барин стал на страже своего добра. Никогда не думавший о «своем» мужик тоже поднялся и, дав себе слово помереть, а не сдаться, убедив себя, что «наше дело правое», тоже стал на страже — и... стал действительно «помирать»...

— Согласу,— произнес он,— согласу нашего нет!

Забрав себе это в голову, он «не стал жалеть денег» и стал хлопотать в губернии, в Питере, доходил до царя, нанимал аблаката, который обещал привезти указ от самого царя и т. д.

И в то самое время, когда отставной солдат Петров сказал прямо на сходке, что «наше дело правое!», явился чиновник и объявил, что «вам вышло на пересел!»

— Вы пропустили сроки!..— объявил он и стал требовать подписки, о согласии к переселению в другие места.

— Согласу нашего нет!— отвечали крестьяне.— Наше дело верное.

И стали ждать какого-то «тайного» чиновника из Петербурга, который должен именно сказать и утвердить делом, что дело ихнее — правое.

Опять едет чиновник, не из Петербурга, а из уезда и говорит, что дело их вовсе неправое, и доказывает им, почему оно не право.

— Ведь сроки пропущены,— дураки вы этакие, что ж вы хотите еще!..

— Нашего согласу не было!

— Если бы не было согласия вашего, вы должны бы были апеллировать в законный срок, а вы срок этот пропустили...

— Это дело не наше, а аблаката.

— Ну, аблакат-то ваш и пропустил!

— Так его и суди!

— Да ведь вы ему дали доверенность-то, а не я, вы с него и ищите,— а переселяться всё-таки должны,— и деньги уж внесены... Ну, подписывайтесь!

— Согласу нашего нет! Наше дело верное... и нам легче помереть...

— Ну, помирайте, чорт с вами...

И продолжали мужики помирать...

Стали они доходить выше и выше, и стали к ним прпезжать чиновники и читать бумаги, в которых тоже как будто было, что дело их плевое,— но они опять доходили и опять начинали думать что их дело правое... И опять прпезжали люди с бумагами и опять докладывали им, что дело их не правое, а плевое.

Наконец, истекли все сроки мужицкой глупости. Явилась толпа рабочих, нанятых в соседних деревнях и на счет крестьян, стала переносить их в другое место. Прежде нежели начать ломать, руководители переселения не одну сотню раз повторили крестьянам, что лучше им бросить упорство,

а делать дело добром; но крестьяне, твердо помнившие, что согласу их на это не было,—говорили, что—«лучше мы помрем!» Тогда раздалось ужасное слово:

— Ломай!

В две недели, при постоянном вое баб и даже мужиков, молча смотревших на разорение своих гнезд, вся деревня была перетаскана за пять верст, в пустыню... Но так как «согласу нашего не было»,— то крестьяне все остались тут же на разоренных местах, жили в соломе, с детьми и скотиной, ели, что пришлось, а то и голодали,— и ждали уж не одного, а трех тайных чиновников, на этот раз из Москвы, которые повернут дело на их сторону...

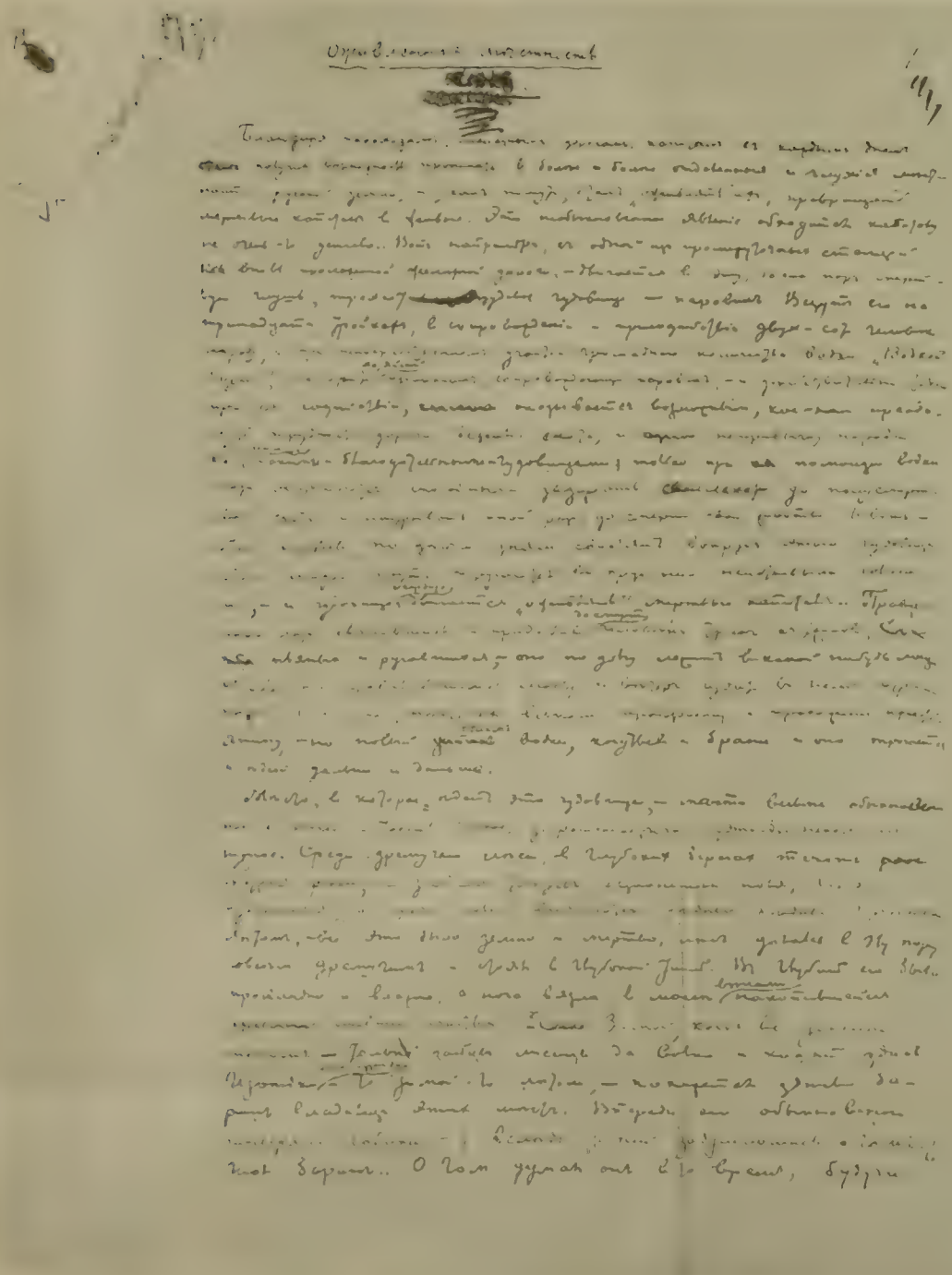
Пришла осень; полили дожди,— крестьяне мокли в мокрой соломе... Тайных чиновников не было, хотя за ними каждый день ездили встречать на станцию... Пришла зима... толпы нищих бродят по селам и деревням, прося хлеба и ожидая решения... Пришла весна,— нечего сеять, хлеба нет. На новых местах выстроились два—три домишка... На следующую осень случилось два — три убийства, грабежи, множество краж... И голод.

Вот каково было положение глухого места в древние времена, когда владелец был меланхоликом, и «ни до чего не доходил», и вот каким стало оно, когда владелец захотел «доходить до всего»... Стародавняя меланхолия томила крестьянина в курных избенках, пробужденное чувство собственности растаскало эти избенки по бревнам... На новых местах, куда перетащили эти избенки, селиться никто не хотел,— руки отваливались от работы, пахать *целину*, удобрять и ждать урожая годы и годы, чувствуя, что в течение этого времени будет расти и расти недоимка, в которой годовые труды — капля в море... Вялость, апатия, расслабленность — одолели нищенствовавших обывателей местности... Стали пьянствовать и пропивать одежду и скот... Кроме того, имущество и скот стали «описывать».

Вот в такую-то минуту двигалось спасать этот народ трехсотпудовое чудовище — паровик, а за ним шла —

«заработная плата», деньги, *имевшие намерение* брать всё, что отдается за них. Купец Кулаков, отделившийся от тятеньки, «снял» всю эту глушь со всеми ее природными богатствами у помещика за хорошие для последнего деньги,— и капиталом своим стал оживлять мертвое место. За тридцать копеек серебром «чистыми деньгами» в сутки, согнал он сюда сотни окрестных воров и недоимщиков и почти сразу превратил мертвое в живое: в неделю лес был вырублен на громадное пространство и превращен в сажени дров, в брусы, в срубы... Столетние березы были ободраны до верхушки на деготь и одиноко стояли красные, словно облитые кровью, между этими саженями и срубами... В быструю, совершенно обнажившуюся после срубки леса речку стали валить камни, строить плотину, вбивать сваи... Целые дни грохали *тяжелые бабы*, и «Дубинушка» с своими ядовитыми и унылым мотивами слышалась далеко в поле и гулко раздавалась среди вырубленного леса... Массы народа копошились в этом углу, купленные по известной цене за человека, за бабу, точно так же,как дрова продавались за сажень, деревья и срубы поштучно... Не прошло и году, как на том месте, где прежде только зайцы да волки оставляли зимой свои следы, где летом, сидя на дереве, спокойно грызла орехи белка,— кипела самая оживленная деятельность: стучала толчея, шумела мельница, дымил и свистал бумажный завод, изрыгая в чистые когда-то воды реки что-то такое,— вонючее и больное,— от чего на несколько верст ниже стал падать скот и мерла рыба... Бывшие воры и неплательщики битком набивали собою новые жиденькие стены фабрики, жарились на огне, задыхались в облаках пыли растрепанного тряпья, скупленного в больницах, с следами больного гноя и больной крови... Громко орали мужики, кашляли женщины и ребята; еще громче пелись песни, а громче всего стучали поршни машины, гудели колеса, шумела вода, свистал паровик...

Центром всей этой оживленной деятельности был небольшой домик, стоявший на горке, где поселился «новый хо-



АВТОГРАФ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОЧЕРКА «ОЖИВЛЕННАЯ МЕСТНОСТЬ»

Архив Института Литературы Академии Наук СССР

яин» этих мест, истинный благодетель этих людей... Удивительные личности эти благодетели. Это положительно какая-то особенная порода людей, пожирающих, уничтожающих всё, к чему они прикоснутся. Подойдет он с своими капиталами к лесу,— и лес исчезает, рубится, продается, а деньги кладутся в стол, или идут съедать другой лес, или идут на какой-нибудь другой «оборот», тоже всегда съедающий что-нибудь живое — скот, птицу, рыбу и т. д. Срубив, зарезав и продав, подобный представитель капитала кладет деньги в стол и — пьет чай. Какие надобно иметь нервы, например, хотя для того, чтобы присутствовать при резне двух тысяч купленных овец или свиней, т. е. при двух тысячах смертей, и уметь на каждую из этих смертей смотреть только как на рубль, на рубль двадцать, два с четвертью и проч. «штука»,— а потом, продав всё это и получив деньги, сидеть и пить чай.

Утвердившись с своими «делами» на новом месте, купец Кулаков без труда подчинил себе всю «округу», и, кушая «со сливочками» чай, получал деньги...

— Иван Иваныч! Побойся бога!— с раннего утра начинает раздаваться в передней его комнаты,— и возгласы такого рода продолжаются до ночи, когда прекращаются работы и получение хозяином денег. Это «побойся бога» произносится самыми разнообразными голосами на тысячу ладов... То хрипит «побойся бога» старик, кашляет и охает... То бодрым и свежим голосом поет его баба, со свежими щеками и веселым лицом... Иван Иваныч — тоже с раннего утра до поздней ночи — не закрывая рта, доказывает, что бояться ему нечего, что он не боится,— спокойно пьет чай, получает деньги и опять пьет чай...

Только ночью, когда прекращается стук, грохот и гам толчеи, мельницы и паровика,— Иван Иваныч, как тать, крадется среди сонных рабочих женщин... В эту пору он очень похож на волка... Глаза у него горят, и он сулит платки и деньги...

Как ни были нужны деньги в наших местах, но не сразу удалось ему приучить народ продавать свою честь, как

продавал он ему свои силы, свой скот, свой хлеб... Полный разврат настал в наших местах никак не ранее, как года через три... Только к этому времени женщины стали носить ситцевые сарафаны, а мужчины красные рубахи. Только к этому времени те и другие стали с удовольствием пьянствовать в выстроенном Иваном Ивановичем трактире, и только к этому времени Иван Иваныч, не боясь потерпеть фиаско, мог смело приглашать к себе соседних господ, обещаясь «угостить» их как следует.

ВАРИАНТЫ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В своде вариантов и в комментариях приняты следующие сокращенные обозначения изданий и рукописей, являющихся текстовыми источниками этого тома:

а) Печатные.

Глушь. Провинциальные и столичные очерки Глеба Успенского. СПб., 1875. Стр. 320+2	*Гл*
Отечественные Записки. Журнал литературный и ученый (годы 1871, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 и 1878; редактор-издатель — номинально А. А. Краевский, фактически — Н. А. Некрасов; с 1876 г.— ответственный редактор М. Е. Салтыков)	*ОЗ*
Из памятной книжки. Очерки и рассказы Г. Иванова (Глеба Успенского). СПб., 1879. Стр. 336	*ПКн*
Русское Богатство. Ежемесячный литературный, научный и политический журнал (год 1900; редактор-издатель Вл. Г. Короленко)	*РБ*
Русские Ведомости. Москва. Ежедневно (годы 1874 и 1875; редактор-издатель Н. С. Скворцов)	*РВ*
Из старого и нового (Отрывки, очерки, наброски) Глеба Успенского. СПб., 1879. Стр. 184	*СиН*
Сочинения Ф. М. Решетникова. Издание К. Т. Солдатенкова. Том первый. М , 1874	*Соч.Р*
С.-Петербургские Ведомости. СПб., Ежедневно (год 1876; арендатор газеты — Ф. П. Баймаков; редактор — П. С. Усов)	*С.-ПВ*
Сочинения Глеба Успенского. Том третий. Издание Ф. Павленкова. СПб., 1883 (То же, том четвертый. СПб., 1884)	*У I*

Сочинения Глеба Успенского в двух томах. С портретом автора и вступительной статьей Н. Михайловского. Второе, значительно дополненное, издание. Том первый. Издание Ф. Павленкова. СПб., 1889 — $У_{II}$

Сочинения Глеба Успенского. С портретом автора и вступительной статьей Н. Михайловского. Третье издание Ф. Павленкова. Том первый. СПб., 1889 — $У_{III}$

Сочинения Глеба Успенского. С портретом автора и вступительной статьей Н. Михайловского (при первом томе). Том третий. Издание Ф. Павленкова СПб., 1891 — $У_{1891}$

б) Рукописные.

«Некролог. Ф. М. Решетников». Отрывок черновой рукописи. Хранится в Институте Литературы (Пушкинском Доме) Академии Наук СССР, ф. 313, по научному описанию № 1 — $ПД_1$

«Больная совесть». Отрывок наборной рукописи. Хранится там же, по научному описанию № 2 — $ПД_2$

«Оживленная местность». Беловая рукопись. Хранится там же, по научному описанию № 176 — $ПД_{176}$

«Сцены из драмы Ф. М. Решетникова „Раскольник" с примечаниями Глеба Успенского» (запрещенная цензурою рукопись). Хранится там же, по научному описанию № 3 — $ПД_3$

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЗАБОТЫ.

Стр. 62

14 *После:* обремененные жалованием неплательщики.— *в ОЗ:*— Что, господа, проглотили вагончик-то?— совершенно внезапно раздается ядовитая фраза какого-то засаленного с головы до ног мещанина,— неизвестно откуда появившегося среди совершенно серьёзно ничего неделающих железно-дорожных тузов — и отрезвляет их хотя на мгновение.

Или вот еще так:

Устроилась ссудо-сберегательная касса, устроилась при посредстве людей хороших, с благою целию... Тут членом — священник, сказавший при открытии кассы добрую и теплую речь; тут и член совета в нагольном тулупе и с мозолями на трудовых руках; мирно и тихо делают они дело, несомненно полезное, и даже в столичных газетах ужь появилось теплое словцо об этих скромных гражданах, и вдруг, в эту-то тихую пристань, откуда кроме добра еще никому ничего не вышло, вламывается какой-то человек... Он и оборван, и пьян, и зол... И молится на образ, и белеет...

— Что вам угодно?— кротко спрашивают его добросердечные члены...

— Желаю получить ссуду!..— смело и нагло произносит фигура, заложив руки с шапкой назад и боком двинувшись к добросердечным членам...

— Что́ же-с...— несколько смущенно и тихо начинает один из них, но неизвестного звания человек не дает сказать слова.

— Да-с, ужь ваше высоколепие, потрудитесь... Ужь я в надежде, без сомнения, насчет коровы... А как было ваше удостоверение чрез ведомости, что на пользу, и для бедных, например, и упомянуто про бога-с и махонькой процент — в таком случае двадцать пять рублей серебром—в полном смысле одолжите-с!.. Да-с! И еще больше повернулся и надвинулся боком.

— Взнос надобен, поручители!..— говорят ему.

— Чи-во-с?

— Взнос! Поручителей нужно! да взнос!..

— Ну, этого нам неизвестно... А как на пользу ближнему и всё честь честью с водосвятием — то и соблаговолите выдать на коровку бедному человеку...

— Да чем же ты отдашь-то?

— Отдать мне нечем-с! — необыкновенно бойко произносит неизвестный посетитель.— Кабы у меня что́ было, я бы не требовал от вас,— а то нету... А как сказали, что, мол, ближнему — то и вручите-с!..

Настает молчание. Неизвестная личность наблюдательно взирает на добросердечных членов и смотрит на них почти через плечо. Члены в затруднении. Молчание продолжается долго.

— Этого нельзя!— решается произнести член из крестьян...

— Очень вам благодарны!.. Почему же-с?

— Боле ничего — что банк!.. видел?

— Помилуйте, мы видим-с, в высшей степени замечаем. Извольте рекомендовать далее...

— А далее — что́ есть кредит и дебит... видишь вот? Значит взял и отдай — понял?..

— Прпасхонна! Утверждайте далее!..

— Всё!

— И на этом благодарны. Следовательно, бедным не даете?

Опять настает несколько неловкое молчание.

— Да ка́к же ты не хочешь понять, что ведь нельзя этого, начинает батюшка:— Невозможно ведь! Посуди ты сам, какой же это будет банк, ежели ты придешь, другой придет — дай ему на корову! Ведь, это — не банк, а смех.

— А ежели у меня нет?

— Так банк-то чем виноват?

— Да я-то чем кого обидел?..

— Обижал ты или не обижал, а что... Ка́к же это можно? Да и где это видно?

— Следовательно, бедному, по случаю, что это банк — не возможно?

Опять молчание.

— И, следовательно,— освобождая из-за спины руки и вплотную подступая к добросердечным членам, отчеканивает неизвестный гость:—и, следовательно, у кого есть — тому даете, а у кого нету — не надо?..

Молчание...

— Потому, «дибет?»...

Продолжительное и грозное молчание. Все ждут чего-то не очень приятного, потому что глаза полупьяного посетителя светятся не добром... Но, вместо ожидаемой бури, неизвестный человек как-то вдруг теряет нахрап и грустно говорит.

— Э-эх господа, господа!.. Что́ вы пустословите-то! Ближнему!.. Э-эх вы, мельницы-ы!.. Я вот об чем — ты думаешь я дурак что́ ль, так залез к вам в самом деле за коровой?

Молчание.

— Эх-эх — вы-ы!..

И с силою тряхнув и надвинув шапку, быстро уходит непрошенный гость... Кусок щекотурки сваливается где-то в углу — так сильно грохнул он дверью... И в наступившей затем тишине остается что́-то новое, что́-то такое, что́ хотя на час на два непременно совсем выбивает человека из обычной колеи.

Является эта сущая правда везде, где неплательщики только что было спелись, только что привыкли к своему положению и приучили себя думать, что они заняты делом, является и мгновенно вносит в это пригревшееся гнездо такую кучу холоду, настоящего подлинного морозу, словом — подлинной, хотя грубой и отвратительным языком высказанной действительности, что неплательщиков долго после того подирает по коже мороз. Они не могут не сознавать, что это приходила правда, сущая правда...

Вдруг приходит эта правда, приходит на мгновение, приходит неизвестно откуда и исчезает потом навсегда, тоже неизвестно куда. Вот почему действие ее визитов, хотя и несомненно благотворное, не приносит существенного облегчения бедной душе неплательщика... Она потрясает ее случайно, мгновенно — и только; сила и первенство власти над этой душой остаются всё-таки за выработанной случаем атмосферой неискренности, надутых пустяков, растопыренного пищенства и т. д., словом—лжи... Упорство и настойчивость, с которыми эта душная атмосфера заполняет очень скоро все прорехи, делает то, что эти появления остаются почти бесследными...

Но откуда берутся они, эти явления «сущей правды?»..

Стр. 75

15 *Вместо*: Беру из моей книжки... назад.—*в ОЗ, ПКн* и *У1*: Беру из моей книжки два отрывка на удачу и выписываю их здесь в том самом виде, как пришлось записать их, то есть ничего не прибавляя и не убавляя. Нет в них ни начала ни конца, каковые, особливо конец, и соблаговолит придумать благосклонный читатель по своему усмотрению.

Вот что сказано в одном из этих отрывков (рассказ записан со слов одного русского, человека лет под тридцать, встреченного мною за границей года два тому назад).

Стр. 80

19 *После*: окончания моих слез.— *в ОЗ с абзаца*: Я воротился домой, не сделав по хозяйству ничего, но ужь боялся матери... Той искренней привязанности к ней, которая повела меня рано утром бегать «по хозяйству», я ужь не ощущал... То есть я любил ее столько же, сколько и всегда, но уже имел право судить ее, чувствовал, что у меня в душе что-то большее, чем у нее...

Стр. 127

28 *После*: вековой неправды!— *в ОЗ, ПКн* и *У1*: еще долго будет человек русский кричать и чувствовать боль от этих гвоздей, на которые, словно бы в самом деле на мягкую перину, уложил его так легко новый автор...

Стр. 218

20 *Вместо*: Среди, повидимому, мертвой тишины — *в ОЗ, ПКн и У1 с абзаца*: Тихо, сонно и скучно кругом нас всё, что только может видеть глаз... Не встает над поверхностью русской жизни ни одного крупного явления в области духа; кажется, что всё спит или умерло. А между тем, в этой тишине

Стр. 340

28 *После*: потому что злы.— *в ОЗ с абзаца*: Не мое дело критиковать здешние порядки — хороши они или худы и как бы им надо быть. В этом очерке речь идет не о том, что дурен или хорош

тамошний порядок, но о том, что он — *правда*, факт, на который смотрите и поучайтесь, потому что правда — это жизнь, и о том, что единицы, которые делают эти порядки, делают их, повинуясь требованиям только своей совести (как бы дурно ни была она направлена), делают только то, что считают справедливым; стало быть, тоже живут вполне...

Стр. 345

22 *Вместо*: Нет, берлинский... вздыхает!— *в ОЗ*: А берлинский зверь не скажет: «грехи, грехи!»; если б он знал и думал, что это грехи,— он бы пожалуй и не стал выпускать кишок. А Кудиныч выпускал и неизвестно зачем...

Стр. 353

29 *Вместо*: Да, здоровый... нормально живущего духа.— *в ОЗ*: Убей такая Марья человека (а я не ручаюсь, что это не может с ней случиться; в наших меблированных комнатах не на что было хорошенько разгореться глазам), что скажут присяжные? Она подавит их своею наивностию относительно непонимания, с их точки зрения,— всего, что есть на белом свете... Этот тип больше походит на настоящего зверя... И таких зверей — тоже не мало на Руси, но они всё-таки настоящие?..

Но затем начинается великое море болезней и печалей души.

Стр. 355

5 *После*: завидно смотреть.— *в ПД*$_2$: [А камелия? Это уже не женщина; тип этот доведен до такого совершенства, что уже ни одной черты <2 нрзб.>, вполне убежденная, что лучше ее положения ничего не может быть на свете, порода, выработанная до совершенства].

Стр. 361

29 *После*: копейки мало.— *в ОЗ*: Наконец,— что же значит вся эта нравственная каша [1], и отчего она?

Задавая себе такие вопросы, я стал тщательно заносить в свои записки всякие самомалейшие случаи, которые хотя сколько-нибудь проливали свет на вышеупомянутую кашу [1]. Случаев накопилось много и я предлагаю их в том порядке, как они записывались.

III.

К концу лечебного сезона на тех же водах появилась новая личность. Это была молодая, хотя и некрасивая женщина с ребенком (говорили, что она вдова), на которую в начале сезона неуспевшая еще соскучиться публика, по всей вероятности, не обратила бы особенного внимания; но теперь, когда всех томила скука, когда все пересплетничались и разузнали друг про друга всю подноготную,— появление всякого нового лица обращало на себя самое пристальное внимание публики. Такое пристальное внимание было обращено и на эту даму, которая к тому же еще более усилила его своим несколько странным поведением, благодаря которому почти с первого же дня приезда прослыла за нигилистку. На остриженных в кружок волосах

[1] *Исправлена опечатка*; *в ОЗ*: чаша, чашу.

она носила соломенную круглую шляпку, надевая ее как-то на бекрень; на танцовальных вечерах задумывалась словно бы погруженная в какие-то размышления; жала руку по товарищески всем, с ухарскими манерами разгуливала по саду, встряхивала в разговоре волосами... Она перезнакомилась очень скоро со многими,— и все находили ее очень странной и смешной. Познакомился и я, и с первых же слов заметил, что всё это ухарство,— все эти странности как будто бы напускные, не настоящие; что, судя по неопределенному выражению ее глаз, я начинал даже думать, что у нее не совсем в порядке голова... Быть может, скоро перестали бы публику интересовать и эти маленькие странности новой посетительницы вод, если бы она не постаралась сама подновить интереса к своей личности поступками, странными в высшей степени... Дней через пять после ее появления на водах, стали носиться слухи, что не дальше, например, как вчера, эта самая дама (звали ее Наталья Петровна) объяснилась в любви офицеру, который вызвался-было ее проводить до квартиры... Офицер клялся, что это сущая правда и ссылался на свидетельство добрейшего «нашего» Ивана Николаевича (о котором будет сказано ниже), который при этом присутствовал... Офицер, как благородный человек, от предложения любви отказался («как хотите, говорил он, она всё-таки же мать... как бы то ни было...»), но историю эту разгласил... Барыня оскандалилась, и была предметом самой злой насмешки всей присутствовавшей на водах публики... Не прошло и дня после первого скандала, как последовал второй... Один из докторов, человек скромный и тихий, под величайшим секретом, сообщил одной из своих пациенток, что вчера Наталья Петровна явилась к нему на квартиру, будто бы за советом, а по уходе ее, на столе оказалась записка, в которой она признавалась ему в любви... «Наш» добрейший Иван Николаевич сам провожал ее к доктору и записку эту видел... За доктором такое любовное послание было всунуто в карман какому-то петербургскому молодому человеку, за ним другому, третьему и т. д. Иван Николаевич был свидетелем всех этих проделок, на него ссылались все, и только он один не покидал оскандаленную женщину, так как по доброте своей, сопровождая ее с гулянья домой, иногда нес даже ее ребенка... Нужно много было благородства души, чтобы не покинуть оскандаленную женщину в то время, когда её похождения дошли до невозможной степени,— Иван Николаевич, имевший твердость и решимость сделать это, выиграл во мнении публики очень много... И до этого времени публика и дамы в особенности были к нему расположены. Это был человек молчаливый, грустный; он давал какие-то уроки (какие именно никто не спрашивал), жил в плохонькой квартирке и находил время безвозмездно заведывать общественной библиотекой... Дамы любили его за то, что он не болтает, а делает дело, какое именно — знать не было надобности... Его любили, потому что он никому не сделал неприятностей, никому не сказал резкого слова, и с ним всякий чувствовал себя не то, чтобы приятелем, а хорошим знакомым... И всё это «безкорыстно»— вот главное... Так что дамы с большим усердием предлагали ему протекции и носился слух, что ему выходит где-то место с большим окладом на железной дороге... И вот когда Иван Николаевич связался с такой

скандальной дамой, как Наталья Петровна, к нему со всех сторон понеслось всеобщее сочувствие, так же как к его даме,— всеобщая ненависть.—«Долго ли, говорили, такой нахалке и проходимке, как она, опутать такого доброго, прекрасного человека?.. Она погубит, разобьет в дребезги его жизнь, жизнь такого доброго, чудесного человека»...—«Что вам за охота?— говорили ему.— Разве вы не видите что это такое? Оставьте, бросьте...» Иван Николаевич или молчал (большею частью) или оправдывал себя тем, что мол она больная... И, увеличивая соболезнование о предстоявшей ему погибели, продолжал поступать столь же благородно, как и прежде, т. е. каждый день, несмотря на свои многотрудные занятия в библиотеке и на уроках, аккуратно сопровождал Наталью Петровну, куда она желала, по магазинам и по гуляньям... Он плелся за ней в этих путешествиях как привязанный за веревку, с опущенной вниз головой, в потертой шляпенке, и дамы, глядя на его жалкую фигуру, находили, что этот сорванец-женщина совсем его опутала. Чтобы отдалить ее от него, хлопоты об хорошем месте увеличились. Бедного Ивана Николаевича, соболезнуя, жалели все посетители и посетительницы вод...

И что же?

Я давно разучился верить своим глазам, но такого правдоподобия, которое скрывалось в добрейшем Иване Николаевиче и злейшей Наталье Петровне, я никогда не подозревал. Так как скандальные истории Натальи Петровны не прекращались во все время возраставшей репутации Ивана Николаевича, то с несчастной полубольной и оскандаленной женщиной стали обращаться без всяких церемоний. На дерзости она отвечала дерзостями, но под конец ее терпения не хватило и она ответила кой-чем посильней. Дело было так. Однажды за общим столом, в гостинице, среди вполне порядочного общества, вдруг появилась Наталья Петровна, в робком сопутствии Ивана Николаевича. Его никто не обвинял, он слишком добр, с ним можно делать всё... но она!.. Седая старая генеральша, с двумя молоденькими дочерьми, тотчас же встала из-за стола и в гневе вышла вон. Напрасно Иван Николаевич просил ее остаться, не оскорблять «больной» женщины, которая сегодня к тому же уезжает; генеральша не вняла... За генеральшей шевельнулось еще несколько высокопоставленных дам, но семьдесят пять копеек, уплаченные за обед, удержали их у телятины, хотя и с разгневанными лицами... Мужчины оскалились... Иван Николаевич побледнел, и шопотом на ухо упрашивал соседей пощадить... «Она больна!..» Ну что вы хотите... Она больна... «Она вас погубит!» довольно громко произнесла какая-то дама... Наталья Петровна сидела бледная как смерть и только напускные ухарские манеры, с которыми она пришлась за обед, заставляли думать, что она не замечает по своему нахальству того, что происходит. «Больна» и «она его погубит» раздавались шопотом, как за общим столом, так и на маленьких. Вдруг Наталья Петровна, потеряв свое напускное хладнокровие, встала, роняя вилку и ножик на тарелку и отодвигая стул, и произнесла:

— Чем я больна, Иван Николаевич? Что́ вы сочиняете?

— Ради бога!.. начал было Иван Николаевич, подбегая к ней,— но гневный взгляд Натальи Петровны остановил его.

— Скажите им, продолжала она, обращаясь, повидимому, ко всей публике:— что я не могу вас погубить, и не могу жениться вас на себе потому, что я давно ваша жена... Я ваша жена пять лет, скажите им всем! Меня вывели из терпения эти заплесневелые генеральши...

Среди мертвой тишины, вспыхнув и покраснев до слез, Наталья Петровна ушла из-за стола и почти выбежала, встряхивая своими стриженными волосами, на широкой балкон, выходивший в сад. Через минуту с балкона донеслись истерические рыдания; изумление было всеобщее... Ивану Николаевичу потребовалось тоже воды... Мужчины, которые всё лето были расположены к Ивану Николаевичу, почти столько же, как и дамы, вдруг что-то как будто сообразили и припомнили, и на основании этих припоминаний,—припоминаний о каких-то сущих пустяках, почти сразу порешили, что Иван Николаевич плут. Дамы, напротив, не поверили ни одному слову и крепко стояли за Ивана Николаевича. Они скоро увели его куда-то. Мужчины, напротив, столпились на балконе вокруг Натальи Петровны...

Я был тут же.

Сорвавшись раз, Наталья Петровна ужь не могла удержаться; с красными глазами, с стаканом воды в руках,—она громко повествовала совершенно незнакомым ей лицам подробности о Иване Николаевиче.— По ее словам, это был больше ничего, как самый обыкновенный обманщик; оказывается, что лет пять тому назад он был либерал из либералов, и Наталья Петровна верила ему, как богу,— а потом оказалось, что он ничуть не лучше ее мужа, от которого она ушла к Ивану Николаевичу, такой же деспот, злой,— и мучитель; пока были у Натальи Петровны свои деньги, все еще было ничего, а как пришлось трудиться (а сколько он о труде говорил), а как вышли деньги — стал говорить, что его губят и хохотать над ней, как над дурой... По словам Натальи Петровны,— она убедилась наконец, что просто ему были нужны ее деньги, что он никогда ее даже и не любил, так же точно, как никогда не был и либералом... Она заявила, что он ей давно опротивел и надоел, что ей противно смотреть, как другие его считают за что-то, и ей тысячу раз хотелось его разоблачить при всех... Она только жалела его... Оказалось еще, что пред появлением Ивана Николаевича на водах,— они порешили совсем разойтись, так как он обнаружился вполне: кроме денег он ни во что не верит, всех считает дураками, и всех надувает... Порешив расстаться, Иван Николаевич уехал на воды,— а она осталась жить одна с дочерью, но как только ей пришло в голову, что Иван Николаевич, испортивший в конец всю ее жизнь,— где-нибудь теперь обделывает другую какую-нибудь луру,— ей стало досадно, ее взяло зло, и явилось желание вывести его на свежую воду... Этим желанием ему отомстить она объяснила все свои скандальные похождения, изумившие водяное общество. Она нарочно делала все эти штуки при нем, и он не мог оставить ее, так как боялся, что она разболтает барыням, протежирующим Ивану Николаевичу, и этим повредит относительно выгодного места, которое ему доставали дамы... Она объявила, что и этих дам он считает набитыми дурами, а лебезит перед ними и скрывает, что у него есть даже дочь (которой для него хоть бы и не было), чтобы быть интересным...

и т. д. и т. д. Словом, Иван Николаевич был разрисован как нельзя хуже. По рассказам, он выходил какою-то ехидною, которая, либеральничая и делая какие-то будто бы дела, в сущности систематически пробирается к железнодорожному сундуку, при чем в публике послышалось негодование.

Результат этой неожиданной сцены был тот, что вдруг словно по щучьему веленью,— предобрейший и благороднейший Иван Николаевич превратился в преехиднейшего и презлейшего, а злая, противная Наталья Петровна превратилась в жертву... И как это мы смотрели и не видали, что этот молчаливый, яко-бы грустный человек очень ловко пробирается к какому-то железному сундуку, шушукается с дамами, и скрывает, что он женат... Такая простая канальская вещь, а мы и не видали ничего!.. Смеху было много.

Но не это именно занимало меня во всей этой истории. Намерение достигнуть сундука,— понятно; намерение устроить это при помощи дам,—еще понятнее; даже сокрытие супруги, в видах более успешного рвения дам, могло бы быть объяснено так или иначе,—да и такие ли встречались в наших местах истории.

Всё это не диво; не диво и то, что Наталья Петровна, наградившая своего мужа такими злейшими эпитетами, как обманщик и проч., которые в публике стали ходить под одним общим названием «подлец»,— не диво, что она, пробыв на водах, после этого скандала, еще полтора суток,— отреклась от этих эпитетов, словно бы испугалась того, что сделала, закончив свое отречение признанием, что ей просто «жалко» Ивана Николаевича, больше ничего... В Наталье Петровне, в эти полтора суток, исчезло всё напускное ухарство, из нахалки она превратилась в самую обыкновенную женщину, которая весьма бы хорошо могла жить замужем за нестарым и непьющим чиновником, ходить с ним в гости, ко всенощной, няньчить детей, и знать, что она не хуже других... Иван Николаевич, очевидно, выбил ее из этой предлежащей ей колеи, наваливши на нее разные направления, которые совсем ей были не нужны... Если бы эти направления имели в самом Иване Николаевиче некоторую твердость и основательность,— Наталья Петровна непременно бы подчинилась им и заимствовала бы хотя отдельные слова, которые бы пестрили ее речь, как заимствовала она ухарские манеры, которые были совсем не по ней... Но оказалось, что и самому-то Ивану Николаевичу направления эти не нужны, что он (который, по словам Натальи Петровны, и всё отвергал, и ничего не признавал) — теперь признает «деньги», то-есть повидимому, вещь всем направлениям противуположную... Убедившись в этом, Наталья Петровна, понятно, должна была чувствовать себя на воздухе, без почвы и могла поэтому быть очень зла... Это всё известно и понятно. Не особенно интересно также и то, что направления были в сущности не нужны и самому Ивану Николаевичу. Это встречается тоже поминутно,— но причины, почему этот человек наваливает на себя разные направления, и почему собственно они не держутся в нем,— вот что интересовало меня в истории Ивана Николаевича... А из раздраженного и, следовательно, несколько бестолкового рассказа Натальи Петровны, можно было всё-таки видеть, что в Иване Николаевиче перебывало этих направлений довольно... «Наверное, казалось мне,—

он и сам должен чувствовать себя не совсем удовлетворительно Наверно и он думал о каше, происходившей в его душе?»— и мне очень хотелось поговорить с ним...

Некоторое время после этого скандала он не показывался в публике,— сделал другую глупость; но долго ли, коротко ли продолжалось это, а нам увидеться всё-таки пришлось. За несколько дней до моего отъезда, в один темный, дождливый вечер, он сам зашел ко мне, тоже, повидимому, с целью поговорить, потому что мы действительно поговорили...

Иван Николаевич был невесел. Поздоровавшись, он присел к столу, облокотился на него, и стал чертить спичкой по столу, задавая вяло и лениво вопросы об отъезде, куда? надолго ли? Нас обоих занимало вовсе не то и поэтому скоро настало молчание.

— Каков скандальчик-то разыгрался?..— как бы мимоходом, не поднимая головы и продолжая чертить спичкой, произнес он наконец.

— Уедете, и всё пройдет...— ответил я.

— Оно конечно... Я сам тут поступил глупо... Я никак не предполагал, что она явится... И не говорил... Она там, говорят, монологи читала?..

— Она была в истерике...

— И насчет железной дороги?

— Да; говорила...

Помолчали.

— Что жь!— сказал Иван Николаевич:— я, действительно, убедился — что только с деньгами можно выполнить мою нравственную беспорядочность... То-есть просто я теперь знаю, что кроме денег мне серьезно ничего ненужно... Я только глупо несколько... в первый раз...

Я уж давно не осуждал его за эти желания, и поэтому не отвечал.

— Ну, а еще что она там проповедывала?..

— Проповедывала насчет любви...

— На счет того, что ее не было?

— Да! Она говорила, что вы не любили и сошлись...

Помолчав он сказал:

— Почти верно... Пожалуй, что собственно говоря и не любил... И еще?

— И еще на счет ваших убеждений... Она говорила, что будто бы вы исповедывали такие убеждения, какие вам совершенно нужны не были...

— Что же? Я ведь и говорю, что теперь у меня есть убеждение настоящее. По крайней мере, всеобщее стремление к деньгам пришлось по мне...

— А тогда... А тогдашние стремления?

— Ну и тогдашние должны были приходиться! «Должны были», Иван Николаевич произнес с особенным ударением...

— Почему же должны были?

— Да потому, что чем же бы я жил?

— Тем, что считаете нужным, справедливым...

— Собственно я считаю? переспросил Иван Николаевич.

— Конечно...

— Да ничего не могу я считать нужным и справедливым... с легким раздражением ответил Иван Николаевич, садясь пря-

мо и ломая спичку об стол... Потому что у меня нет силы, простой физической силы... Чтобы поднять фунт, пуд, десять пудов, вообще сколько бы там ни было,— нужно иметь силу в руках... Я тогда только подниму эти пуды, когда мускулы мои будут развиты крепко, стало быть, на чем-нибудь я должен их упражнять, прежде нежели употребить в дело... Если их у меня не будет, если я их не разовью, то я и не подниму этих пудов... Так ли?

Не дожидаясь ответа он продолжал:

— Так вот этой-то силы относительно убеждений, а не пудов, у меня и нет... Скажите, ради бога,— на чем было упражнять ее, когда ваши отцы, ваши деды и десятки поколений за вашей спиной жертвовались на то, чтобы утратить эту силу?.. Укажите мне, в вашем детстве, в вашем прошлом, в людях, под влиянием которых вы выросли, хоть какое-нибудь убеждение, верование, которое бы в ваши года было у них либо цело вполне, либо утрачено? Верил ли кто-нибудь из них хоть в то, что действительно есть домовой? Были ли они хоть действительно суеверны? Укажите хоть какую-нибудь нравственную черту,— дурна ли или хороша она, всё равно,— но которую бы они ценили в себе, зная, что они живые люди?.. Не знаю, как вы, а я не видал таких черт, ни в детстве, ни в школе, нигде... Да и десяти первых лет довольно пробыть в этой атмосфере, чтобы размякли мускулы... И они размякли так, что я, результат поколений, ужь, не знаю хватит ли у меня силы поднять ту или другую тяжесть, нужно ли мне это, или нет; словом, люблю ли я что-нибудь или не люблю... Ужь я этого не знаю... Я ужь только слушаюсь...

— Кого же?

— Да того, кто приказывает... Мои предки слушались квартального и без его приказаний ни на что были не похожи... Прекратись на день приказание и целый город наш не знал бы что делать: на улицах бы валялись дохлые лошади и собаки, горел бы дом и никто бы не тушил, и т. д. и т. д., потому, что «нам самим» мы не нужны... Ну, и я так вырос, что себе я тоже не нужен, а нужен приказанию... То было время с одними квартальными, а то стало время с направлениями... Литература стала приказывать, а я стал слушаться.. Какой же я подлец, как меня называют? Я просто послушный человек... Я вот теперь знаю одного господина, живущего в Камчатке... Ловил бы он бобров, да торговал, да наживал деньги, то-есть делал бы то, что ему следует делать по его обстоятельствам, а он вон ждет не дождется войны с немцами... Нужна ли ему она? Нет, не нужна, а пропитался он ею потому, что он послушен... приказанию... И я так был послушен. Ежелиб я не исповедывал либеральных убеждений,—что же бы я исповедывал? Ежелиб я не сочувствовал тому, чему сочувствовали, мне бы и дышать нельзя на свете минуты одной... Я из толпы-с, а толпа приготовлена отлично к этому... Делайте что угодно,— всё будет исполнено...

— Как же будет исполнено, ведь силы-то нет?..

— Да оно будет только как-будто исполнено... Как-будто будет сделано... Не взаправду, нет!.. Лошадь с улицы мы действительно уберем, это верно, но она гнить у нас будет во дворе... Обоняния у нас нет, либо плохо,— а что велят сделаем... О бедном брате и о женском вопросе, и о чем угодно, тоже я готов соблюсти всё,— но и это только так,— ибо каким же родом

я серьёзно могу любить бедного брата, когда я вообще не умею любить? Ведь силы-то у меня нет на это... Ведь она убита... ну, я и делаю как-будто...

Что вы ответите на эту логику бессилия?

— Бедная Наталья Петровна!— с сожалением проговорил он, помолчав:— она думала, что всё это взаправду... Ей постоянно нужно было хоть немного, по «взаправду»— и ничего!.. Ужасное положение!.. И ежели бы я знал себя тогда и всё это время так, как знаю теперь,—я, разумеется, давно бы, давно открыл ей глаза... Она бы не озлилась так... Главное, что не предвидел такого направления дела, какое пошло... То-то и беда, что ничего не заключишь о будущем по тому, что было... Быть может, бог знает что...

Я не передаю нашей дальнейшей болтовни, которая началась после того, как Иван Николаевич высказал всё, лично ему необходимое... Мы перебрасывались словами еще довольно долго. Перед тем, как Иван Николаевич собрался уходить, разговор снова вернулся к прежним предметам.

— Деньги,— вот это я понимаю... Это действительно надо... Положил в карман эту идею в кредитных билетах и пусть она выделывает что хочет... Я готов слушаться...

И потом,— ужь уходя он сказал:

— Какие школы, библиотеки!.. Это входило в план для барынь... Надеюсь, это не подлость? Стало быть и бранить меня ужь очень-то не за что. Право... Разве за то, что сплоховал... За это пожалуй... Ну, да ведь с непривычки...

Мы расстались.

Вот как объяснил мне Иван Николаевич,—«ни да ни нет», «ни то ни се», «ни два ни полтора»,— свирепствующие в душах соотечественников моих. Может быть, в его объяснении и есть известная доля правды, не смотря на его, повидимому, большую односторонность. В самом деле, нравственный механизм всех этих нелиберальных либералов, верующих безбожников, не подлых подлецов и т. д. и т. д. ни в каком случае не может быть иным. Он неизбежно должен быть бессильным, если ужь целыми поколениями приучен к тому чтобы действовать только от постороннего приказания... Приказание это может быть самое лучшее, самое благороднейшее и благодетельнейшее, но оно все-таки будет ничто для бессильного... потому, что у него нет вообще силы, личного аппетита, такого аппетита, который, например, есть всё у того же иностранного лакея, вполне сытого копейкой, и тотчас же увеличивающего порцию, как только почувствует голод. Слушаясь себя, он упражняет свой нравственный механизм, и возьмет свое в худом или хорошем... Слушающему чужой голос не начем попробовать силы, не начем развить ее, и поэтому и в худом, и в добром—он принужден быть ни тем ни сем... Всё это относительно вышеприведенных примеров может быть и правда,— потому, что в них действуют люди вполне несчастные... Впоследствии нам пришлось опять встретиться с Иваном Николаевичем, который разъяснил свою историю с женой более обстоятельно,— о чем современем мы расскажем.

ПИСЬМА ИЗ СЕРБИИ.

Стр. 373

33 *После*: умереть!..»— *в С.-ПВ: с абзаца*: Есть, впрочем, кроме тех условий такого положения дел, зависящих исключительно от того, что «привезено с собою», еще кое-что и другое. Об этих, здешних собственно причинах, не увеличивающих дружбы между братьями, в следующем письме.

Стр. 374

8 *Вместо*: Так вот одна... именно в том, что — *в С.-ПВ*: Эту черту душевного состояния русского добровольца я пропустил в прошлом письме умышленно,— желая представить вам поведение добровольца таким, каким кажется оно иностранцу, едва ли имеющему какое-нибудь право и какую-нибудь возможность подозревать, что вот в этом, бог знает как ведущем себя человеке есть что нибудь кроме водки и неуважения к себе и другим. Теперь, заговорив о местных неудобствах, встречаемых добровольцами на чужой стороне, я должен сказать, что

Стр. 378

28 *После*: по городу добровольцев.— *в С.-ПВ*: Вместо одного ответа или уведомления, которое министерство или комитет должны бы делать начальнику партии в 50 человек, они должны делать эти уведомления, давать ответы на разные вопросы пятидесяти человекам, каждому в отдельности, являющимся случайно, по одиночке.

31 *После*: в армию и куда.— *в С.-ПВ*: В последнее только время сербское правительство стало раздавать прибывающим из России волонтерам, тотчас по их приезде, книжки, в которых указано, сколько они должны платить за нумер, за кушанье, извозчиков и т. д. Что бы стоило прибавить одну только страничку с адресами — славянского комитета, министерства, русского консульства, красного креста. Неужели нельзя вывесить в гостиницах объявлений о часах приема в министерствах и коми-

тетах, и неужели неудобно назначить для этих приемов вновь прибывающих один какой-нибудь определенный час и во время этого приема объяснить порядок получения «объяв» на одежду и подводу? Этими развешанными по всем гостиницам объявлениями устранялось бы сразу великое множество бесплодных затруднений, делающих пребывание в Белграде русских волонтеров похожим на пребывание цыганского табора. Я не удивлюсь, если мне скажут, что добровольцы славянского комитета, или служащие в сербских министерствах чиновники сбились с ног и измучены бестолочью, которую внесли сюда русские. Можно, действительно, потерять голову, можно не вытерпеть, возвысить голос, закричать, даже выгнать вон; но все эти люди, на которых и здесь-то, на чужой стороне, начинают кричать, люди, едущие умирать и слышащие приказание —«подите вон — вас позовут, когда будет надо»— эти люди не простят таких обид и уж, во всяком случае, будут не очень хорошо чувствовать себя.

Стр. 379

29 *После*: комитетами денег.— *в С.-ПВ*: Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что там, в России, славянский комитет и его отделения недостаточно определенно выясняли отправляемым ими добровольцам. на какие именно денежные субсидии они могут рассчитывать.

Недоразумения в этом отношении влияют на состояние духа добровольцев очень дурно.

Стр. 380

После: его обманули.— *в С.-ПВ*: Позволяю себе посоветовать господам, принимающим в России заявления о желании быть волонтером, елико возможно тщательно определять каждому добровольцу денежные выгоды, ожидающие его в Сербии; я даже думаю, что и нравственная сторона русского добровольства значительно выиграла бы в общественном мнении, потому что в число добровольцев не попала бы такая пропасть народа, ожидающего получить в Сербии какие-то куши и поправить этим свои дела.

Стр. 381

После: русские же доктора.— *в С.-ПВ*: Как это вам нравится? Еще того лучше; это же самое лицо до сих пор отказывает в жалованье фельдшеру сербу *, служащему в русском госпитале с самого начала войны, человеку знающему, полезному несомненно уже тем, что знает сербский язык и постоянно служит переводчиком между докторами и больными (которые все сербы, 150 чел.), помимо постоянных работ при лазарете. Лицо это отказывает только потому, что этот серб определен другим лицом, с которым у лица,делающего «неприятности»,—ссора нли «контры», говоря петербургским, департаментским языком. Это же самое лицо (я вполне уверен, только *из любви затруднять* все живущее кругом него и ему подвластное) до сих пор, несмотря на самые настоятельные просьбы докторов одного госпиталя —

* Дело об этом сербе (Иваношевиче) находится у г. Баумгартена. *<Авторская сноска в С.-ПВ>*.

купить бочку для того, чтобы не носить воду из колодца, отстоящего от лазарета очень далеко, до сих пор не исполнило этой просьбы и не купило бочки. Не говоря о фактах, прямо напоминающих игумению Митрофанию — об этом будет сказано впоследствии; теперь дело идет только о любви некоторых наших соотечественников к привычке идти наперекор делу и привычке усложнять его вздором или дерзостью, совершенно не нужною.

Стр. 383

После: простора, достатка.— *в С.-ПВ*: Рядом с Парижем да и в самом блестящем Париже — кварталы непроходимой бедности, голода, рвани,— здесь ровно распределенное (как кажется) довольство, никаких признаков нищеты или чрезмерного благосостояния, богатства. В постройке домов, в костюмах жителей — полное однообразие, очень не нравящееся некоторым русским. И в Лондоне есть поражающие однообразием бесконечные кварталы, обитаемые бедным людом, но там однообразие нищеты, подавленности, одинакового недоедания, недопивания.

18 *После*: с них жиру.— *в С.-ПВ*: О, как бы я был рад, если бы в России завелась хоть одна такая жирная деревня, а уж как бы рад был пожиреть русский мужик — об этом и говорить нечего... Х-в рассказывал мне такой случай, свидетельствующий до чего богаты сербы. Одному русскому офицеру поручено было отвезти куда-то деньги; деньги эти на дороге пропали; подозрение пало на кучера; узнав об этом подозрении, кучер, простой мужик (здесь все простые мужики и только теперь приучают кой-когда и кой-где быть не простыми), явился к Черняеву и, представив залог за себя, ни более ни менее, как в размере 60 тысяч рублей, потребовал формального суда и следствия. Вообще все русские, и ненавидящие, и любящие сербов, согласны, что *за деньги*, т. е. из нужды или из любви к деньгам, или из привычки продавать и продаваться,— сербы никогда ничего не сделают для вас. Так, просто, по охоте или по обязанности, серб, напротив, в бесконечное число раз более аккуратный исполнитель возложенного на него дела, чем наш соотечественник, согласившийся сделать что-либо за деньги. Серб нежен.

Стр. 384

4 *После*: лени и непоротливости.— *в С.-ПВ*: есть что-то другое, что портит их желание быть исполнительными и точными, но что именно, я не знаю и достаточно удовлетворительного объяснения не слыхал ни от русских ни от сербов: одни не знают, другие не хотят откровенничать до поры до времени.

Стр. 385

17 *После*: свою распроклятую.— *в С.-ПВ*: Не хорошо и не толково сделано это дело. Вообще суметь заставить роптать и роптать громко, что есть мочи, роптать на всех и вся, без исключения всех русских добровольцев,— это, как хотите, не рекомендует русской распорядительности. А ропщут все поголовно...

Стр. 386

23 *После*: гнет к земле.— *в С.-ПВ с абзаца*: Покуда ничего «облагораживающего» в войне мне еще не пришлось встретить.

Напротив, глядя на эти картины испуга, измученности, нищеты становилось холодно жить на свете, чувствовалось что-то тяжелое, холодное, а главное — глупое и безжалостное.

Стр. 388

8 *После*: я не берусь:— *в С.-ПВ*:— да и времени у меня нет для этого. Я скажу только, что ощущение ничего не понимать и ничего не чувствовать и в то же время быть живым, ходить, глядеть и т. д.— испытано мною впервые, и вполне... Потом мною овладел страх, желание бежать,— но об этом после.

28 *После*: бессмысленное положение.— *в С.-ПВ*: Наконец, вяло тянувшийся разговор, состоявший весь из обрывков каких-то ташкентских воспоминаний, мало-по-малу стал сосредоточиваться на случившейся вчера с Черняевым неприятности и на заявлении русскими офицерами своего сочувствия главнокомандующему, сделанном сегодня. По прибытии в Парачин, Черняев (передаю то, что слышал из рассказов офицеров) отправился во дворец Миланa (маленький дом в Парачине). Караул, находящийся при этом дворце даже и в то время, когда в нем нет князя, с прибытием Черняева вдруг снялся, ушел, и дворец остался без караула. Прослышав об этом, русские офицеры явились к Черняеву и заявили о своем желании держать почетный караул из офицеров. Разговор об этой истории навел некоторых из офицеров на мысль послать телеграмму в русские газеты, как о том, что гг. русские офицеры сделали Черняеву овацию, так и о речи произнесенной г. главнокомандующим. Стали составлять телеграмму. Одни говорили, триста офицеров, другие — полтораста, третьи — сто; одни передавали речь Черняева так, другие — иначе, третьи упоминали о таких вещах, которых никто не слыхал. Тут я убедился, до какой степени вообще трудно иметь точные сведенья о том или другом событии. Составляли телеграмму *только* очевидцы, и когда, наконец, она была готова, когда пришли уже к согласию насчет цифр, насчет умолчания о том-то и о том-то, все-таки находилось много лиц из числа тех же *очевидцев*, которые говорили, что «всё это не так» (это та самая телеграмма, которая напечатана в «Новом времени» от 25 октября). Собрано было 150 франков на отсылку телеграммы и уже вечером, когда стало совершенно темно, отправились на телеграфную станцию.

Стр. 389

27 *После*: даете, а мне?»— *в С.-ПВ*: (буквальные слова Хлудова). Множество народа являлось за деньгами, и я сам видел, как иные из офицеров, пробыв в штабе с полчаса, возвращались с коробками дукатов; коробки эти такие же самые, какие продаются и в Петербурге с надписью «Tabac». Я могу даже назвать фамилии.

34 *После*: ни малейшей возможности.—*в С.-ПВ с абзаца:* При всех стараниях только к часу ночи можно было достать колу в одну лошадь, до Чуприи. Лошаденка еле плела ноги,— и несмотря на это, ей пришлось проехать с нами не до Чуприи, а до Ягодина, т. е. втрое более. «Неможно, господин, неможно!» поминутно взывал возница.—«Ну-ну-ну... трай, трай!.. динар! понимаешь? Динар, динар!».. Что это было за мученье — поведать невозможно.

Все так делали. «Ни за что не отпускают колы—ничего не найдете!» И кола, которой надо было проходить станцию, проходила три, четыре... с ежесекундными, в буквальном смысле, воплями возниц — не возможно, господин, и с ежесекундными понукиваниями то на чистом русском языке, то с обещаниями динара, точно динар — нечто всемогущее... Ах как верят иные наши в этот динар!!

35 *После*: разбиты совершенно.— *в С.-ПВ*: Ни за какие деньги достать невозможно. А главное — вслед за нами должен был ехать Черняев, которому требовалось (как говорил почтмейстер) двадцать две лошади.

Стр. 390

29 *Вместо*: Наконец-то мы... нехорошо и неловко.— *в С.-ПВ с абзаца*: В следующих очерках моих о русских добровольцах я постараюсь выяснить эту сербскую грубость и злость.

Утром я имел удовольствие видеть в гостинице «Льва» штаб генерала Черняева, который приехал ночью. Штаб поистине великолепный — бобровые шубы, золотые, широкие в ладонь галуны, обилие орденов, бодрых, бравых лиц — все это производит сильное впечатление.

Генерал Черняев отправлялся из Семендрии также на пароходе. Я имел удовольствие быть ему представленным и говорил с ним. Несколько раз, во время разговора, его как будто что-то передергивало, он хватался за лоб, за голову, так было ему самому трудно разобраться в этой куче неблагоприятных для дела явлений в русской и сербской жизни, среди которых ему пришлось действовать. Он казался очень расстроенным.

Стр. 391

9 *Вместо*: И всё-таки... на душе у всех.— *в С.-ПВ*: При выходе Черняева на набережную, где его ожидала коляска, присланная князем Миланом, и человек 20 гусар, которые должны были сопровождать генерала, крики «живио» и «ура» загремели по всей набережной...

Черняев поехал, гусары понеслись за его коляскою, народ пошел по домам...

Стр. 394

27 *Вместо*: II. Пора было уже... а этот младший — *в ОЗ*: Из Белграда. (Второе письмо невоенного человека.)

В прошлом письме, одновременно коснувшись самых разнообразных элементов, из которых сложилось то, что вообще называется «сербским делом», я, сознаюсь откровенно, разъяснил это дело очень мало, а в некоторых местах прямо запутал его, не договорив до конца того, что следовало договорить. Да простит мне поэтому читатель, если и в этом, втором письме, я вновь иногда возвращусь к тому, о чем уже говорено. Но, на этот раз, я обращусь уже к самим читателям, и прежде нежели передавать мои впечатления, спрошу их самих: что́ именно желательно знать им о Сербии? Хотят ли они знать, что́ такое сама эта Сербия, как она жила, чего добивалась, чего желала достигнуть в эту войну? Хотят ли они знать нравы, обычаи, характер сербов? Хотят ли они знать собственно военную часть

дела, или, напротив, не будучи специалистами в этом деле желают знать нравственную, психологическую сторону дела, или же, наконец, они интересуются только *нашим*, русским участием в этом деле, желают подробно и беспристрастно ознакомиться только с нами, с нашими характерами и нравами, узнать, каковы мы сами, какова наша-то собственная способность жить на белом свете, каково наше уменье делать свои собственные дела? Каждый из этих вопросов, как видит читатель, настолько важен, что едва ли найдется, по крайней мере, в скором времени, писатель, который бы одновременно мог дать по каждому из них обстоятельный и удовлетворительный ответ. Чего стоют и как много значат в этом сложном деле такие черты, о которых обыкновенно, в самых, повидимому, обстоятельных изложениях, говорится мимоходом, в нескольких словах, так сказать, больше для очистки систематической, научно выдержанной совести, например, хоть о климатических условиях, в которых жили до сих пор, со дня рождения эти родные братья, мы русские, старшие, и они — южные славяне, младшие? Вот сию минуту, когда пишется это письмо — последние числа ноября — младший

Стр. 396

29 *Вместо*: размышления мои... окончившейся истории.— *в ОЗ*: мы в настоящем письме постараемся договорить только то, что в прошлом не договорено собственно о *наших*, отлагая до более удобного времени рассуждения по другим, выставленным в начале этого письма, вопросам.

И так, каковы-то *мы*?

Стр. 397

19 *Вместо*: Так вот именно... мне казалось — *в ОЗ*: Одичать можно просто от специальности, и кому неизвестны типы «ученых», похожих даже по внешности — неряшливость и грязь — на упомянутую женщину... Об этой женщине, а не об ином типе одичалости, отвычки от живой жизни, я упомянул только потому, что — отчего-то она — а не какой-либо другой в этом же роде тип, вспомнилась мне при встрече с некоторыми чертами в поведении наших добровольцев за границей. За это резкое, грубое сравнение, я знаю, нападут на меня все решительно, но нападут именно только потому, что сравнения-то не выбрано более мягкого, хотя и выражающего ту же мысль. Я совершенно согласен с этим, и если до конца этого письма мне вспомнится что-либо не столь грубое и топорное, то я, разумеется, постараюсь тотчас же исправить мою ошибку. Покуда прошу читателя снизойти к моей ненаходчивости и запомнить из приведенного примера только выражение: отвычка от жизни, отвычка от людей, отвычка от сознания себя живым человеком, отвычка от потребности ценить счастие жить на белом свете. Я положительно утверждаю,

Стр. 407

5 *Вместо*: Этим симпатичным... невеселые заметки.— *в ОЗ с абзаца*: Да, это был раскольник. Такие люди встречаются только в глуши, в дебрях, окружающих торную дорогу, по которой шествует грамотная русская толпа. Как только из этих заброшенных, глухих дебрей выбрался на торную дорогу — так сейчас

и приходится опять описывать «бедность, да бедность, да несовершенства совести, мысли, даже просто организма». Все это, конечно,—последствия долгих влияний недавнего прошлого, и, как мне кажется, только теперь русскому обществу приходится переживать плоды этого прошлого и любоваться его махровыми, дорого стоющими, цветами.

Цветов этих в Сербии можно было видеть множество, причем иной раз попадались экземпляры, поистине, невероятные. Где, под какими влияниями развился и вырос, например, такой субъект: некрасивая, но молодая девушка, лет 17, является в Белград с целью поступить в какой-то эскадрон, формируемый одним из русских, для чего и носит мужской костюм — пальто, очень ей длинное и безобразное, панталоны, волочащиеся по земле, красную рубашку? Вообще, это,с первого взгляда— какой-то уродец· «куда тебе в эскадрон!» думает всякий, взглянув на нее в первый раз и выслушав ее желание; но, при ближайшем знакомстве, то есть почти тотчас же после изъявления уродцем желания поступить в эскадрон, вы начинаете убеждаться, что уродец приехал за чем-то другим, так как глаза уродца, какие-то почти пьяные, говорят вам каждую минуту, что «понимай-мол меня по другому»... И действительно оказывается, что этот 17-летний ребенок, это маленькое, слабое создание, с писклявым голосом дитяти, говорящего стихотворение родителю в день ангела, с манерами наивного ребенка, оказывается — кем бы вы думали? Да вот тем самым помещиком Измайловым, о котором недавно было так обстоятельно рассказано в *Древн. и Нов. России*. С каждым часом, с каждым днем начинало обнаруживаться — к всеобщему недоумению и удивлению, что этот ребенок до полного безобразия *поглощен* гаремным делом, бежит за ним из дому, толкается по трактирам, не брезгает ничем для того, чтобы добиться своего; презрение его к людям, помимо его дела, так велико, что он, этот уродец, чисто по детски врет двум рядом сидящим с ним лицам совершенно разное и об одном и том же предмете, врет, и всё это — пополам с французским языком, потому что характеры у лиц разные и, стало быть, разным манером можно действовать на них. Этому уродцу собрали 400 ф. денег и хотели отправить его в Россию (в одну из внутренних губерний), так как и жалко, и противно было смотреть на это уродливое создание. Несчастная не уехала и продолжала жить в Белграде, довольно быстро (дня в три) истратив деньги. Она ни капли не конфузилась этого и попрежнему являлась в общую залу, в ту самую залу и среди тех самых людей, которые собирали ей на дорогу. Всё — ложь и гадость, и глупость; нужны деньги для того, чтобы по-измайловски проводить время — вот мораль уродца, без просвету, без возможности что-нибудь прибавить или убавить в этой морали.

— Как же вы к родителям-то покажетесь теперь?— спросил уродца один из унылых людей русских, полагая, что не может же не отразиться, хотя бы на лице, обилие добровольных подвигов уродца.

— А вот отдохну в дороге и ворочусь.

— Как ни в чем не бывало?..

— Как ни в чем не бывало...

И это — детским голосом.

Где, как не в блаженной памяти крепостном праве, под его дыханием, отрицающем всякую *надобность* совести, стыда, правды и возводящем в задачу жизни *все остальное* — где мог иначе развиться и вырости этот гнилой ребенок?

Если не совершенно таких же (такое совершенство встречается редко), то принадлежащих к этому числу и точно также поклоняющихся «всему остальному» — великое множество и среди господ мужчин.

А вот еще другой урод. Вышеупомянутая девица желала поступить в эскадрон и выказывала наклонности Измайлова или Свидригайлова — а вот вам мужчина, который похож на камелию и на Плюшкина в одно и то же время.

Ему лет 25. Он высок, строен, имеет ордена, имеет родных в Петербурге, родных состоятельных, имеет связи в высшем свете... Манеры у него прекрасные, по-французски и по-английски он говорит отлично; но лицо (некоторым белградским дамам оно нравится) совершенно то самое, какое отличает женщин парижских бульваров и петербургских загородных садов; даже и волоса его причесаны как-то по женски, спутаны на лбу, и спутаны, очевидно, нарочно. Он постоянно напудрен и даже, кажется, нарумянен. Зачем он приехал сюда? Неужто хоть единую минуту такого рода франт мог думать о жертве собою народному делу? Оказывается, при более тщательном знакомстве, что задача, руководящая уродцем — деньги, ни больше, ни меньше. Уродец копит деньги, любит их, бережет, прячет. Он, раздушенный и расфранченный, постоянно нуждается; за него постоянно платят приятели: то ему не прислали, то он не захватил. Находясь в армии, он погорел: рассказывают, что у него сгорел сундучек с косметическими принадлежностями и погорелый франт принялся клянчить о пособии, которое и получил обманом два раза в один и тот же день — и от Черняева, и от Дохтурова, после чего и возвратился в Белград, пропев в Делиграде два или три напотвратительнейшего содержания романса. Здесь, в Белграде, он постоянно вращался в кругу людей состоятельных, продолжая попрежнему жить на чужой счет, и кончил неожиданно довольно смелым проявлением жадности. Х-в оставил его ночевать в своем N, и наутро не оказалось ни денег, ни таковского ордена. Несколько человек русских тотчас же сделали обыск в вещах нашего бедняка и нашли и крест, и деньги, и множество вещей, главным образом золотых — дамских колец, серег и т. д. Оказалось, что уже давно знали все знакомые этого господина, его любовь к чужому, к тому, что лежит плохо, и все молчали, продолжая с ним знакомство, как ни в чем не бывало, даже и после всем известного получения «на погорелое». После такой явной гадости, франта попросили уехать из Белграда, и он выехал в Землин, писал оттуда письма к знакомым и к русским и к сербам о высылке денег. Итак, вот каков этот урод; он ужасно, как Плюшкин, любит копить; он продается, чтоб распутничать, он не брезгает спрятать в карман все, что лежит плохо, не говоря о способности клянчить пособия и т. д.— все только из-за денег, из-за любви к монетам, к звону золота...

Наше недавнее прошлое поминутно, на каждом шагу наталкивает на типы такого свойства; поминутно, если не в такой поразительной ясности безобразия, попадаются люди, у которых

задача жизни .нечто очень простое, главным образом гаремное или плюшкинское.— все остальное только для того, чтобы добиться этого «своего». Тут одинаково хорошо могут служить поддельные векселя, разные вопросы, разные идеи, лишь бы благодаря тем, другим и третьим, была возможность удовлетворить себя, лишь бы были деньги без счету, без краю, деньги незаработанные, а так, вообще — *какие-нибудь* деньги; часто глядя на это обилие людей, которым надо непременно жить не трудясь, людей, у которых воспитаны звериные наклонности, я видел, что таких людей, с такими простыми задачами, с каждым днем, с каждым годом, будет больше и больше, и мне невольно приходило на мысль: чем же будут они удовлетворять своему плотоядию, когда окажется невозможным, хотя бы от простой усталости, рассчитывать на карточный выигрыш, на то, что плохо лежит, на всякий случайный сундук? Не придет ли на мысль всей этой армии махровых цветов крепостного права как-нибудь обеспечить за собою право на беспечальное житье и узаконить свою бессодержательность на вечные времена? Ведь, между ними есть люди, которые отлично умеют облечь свою плотоядную жадность в форму общественных вопросов, нужд, в форму требований целого общества, народа, и главное, ведь, они не задумаются добиться своего, раз сообразив, что дело верное в финансовом отношении...

Смелость, наглость, настойчивость и практичность этих людей, бьющихся из-за очень простых целей и аппетитов, делает то, что они всегда первые пробираются во всяком новом русском деле вперед к сундуку или к лицу, у которого во власти этот сундук. Черняев, мне кажется, именно затерт этими жадными элементами русского общества, и неуспех сербского дела именно произошел от того, что жадных людей в нем участвовало очень много, и их практическая суть умерщвляла всякую идею, разрушала всякие планы людей, надеявшихся, действительно, делать дело.

Белград, декабрь.

Г—с

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, СТАТЬИ.

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ РЕШЕТНИКОВ.

Стр. 411

4 *Перед:* I Федор Михайлович Решетников родился...— *в Соч. Р:*

«...Если я пишу плохо, мысль моя необработана, везде сухо и горько, то пусть всякий (желающий судить об этих писаниях) поймет меня и мою жизнь».

Эти строки мы находим в дневнике Ф. М. за много лет до появления в печати как его произведений, так и критических суждений о них, в которых иной раз не малое место занимали нападки на то именно, что, как видит читатель из приведенной вначале выписки, давным-давно слишком сурово и слишком беспомощно сознано было самим Решетниковым.

Теперь, когда произведения его являются вновь в полном собрании, и когда, следовательно, является возможность произнести о них более основательный и дельный приговор, мы хотим, насколько это возможно, ознакомить читателей с жизнью Решетникова, чтобы по возможности «понять» как его самого, так и его талант и те условия, при которых он развивался. Тогда, быть может, читатель не будет осуждать этот талант за то, чего в нем *не могло* быть, и остановит свою мысль исключительно на настоящих и ценных его достоинствах.

Стр. 436

24 *После:* уходит назад.— *в Соч. Р с абзаца:* В обоих произведениях читатель, если только он одолеет весьма тяжелый стих, которым написаны эти произведения,— непременно увидит, что у автора их есть и масса материала, и масса любви, и самородная, неудержимая потребность сказать свое слово; но нет ясности мысли, которая бы осветила надлежащим образом и матерьял этот, и силы самого автора, по рукам и по ногам связанного взглядами, приобретенными в ссылке, и интересами канцелярской мелкоты.

Стр. 448

15 *После*: мучительные придирки.— *в Соч. Р*: Мы не выписываем подробностей из дневника Ф. М.; они необыкновенно однообразны и занимают слишком много места. Читатель, быть может, сам знает, что значило и значит «хлопотать» о себе бедному, неловкому, неюркому человеку, которому на каждом шагу пересекает дорогу масса таких же бедных людей с одной стороны и олимпийское величие маленького высшего начальства с другой.

Стр. 458

14 *После*: полюбить ее...»— *в Соч. Р с абзаца*: Мы не будем излагать подробностей возрастания страсти Ф. М. к любимой девушке, так как для настоящего очерка важен только самый факт любви, по отношению к таланту Ф. М., и в этом смысле любовь была наилучшим критиком его сил и осветителем запутанного ума.

Стр. 468

23 *Вместо*: Вечная ему память от всех страждущих, «трудящихся и обремененных»!— *в Соч. Р*: Вечная память ему и вечное спасибо за простую и глубокую правду о простом русском человеке!..

ЗЛЫЕ НОВОСТИ.

В бумагах Успенского (ИЛИ АН СССР, ф. 313, оп. 2, № 83) сохранился первоначальный набросок заглавия и первых строк очерка:

ХОРОШО, ДА НЕ ОЧЕНЬ.

I

Пятнадцать лет тому назад по реке Черемухе, впадающей в Волгу, появилось доселе невиданное чудище — пароход; это был действительно первый пароход, в первый раз вступивший в эти девственные воды

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ.

Некролог

В бумагах Успенского (ИЛИ АН СССР, ф. 313, оп. 1, № 1) сохранился отрывок черновой рукописи «Некролога» (*ПД* 1):

... до появления в печати его правдивейших и поучительнейших произведений, достойно оцененных всяким русским человеком,

искренно скорбящим о скорбях русского народа.[1] Пусть теперь, когда смерть [прекратила] пресекла его жизнь и деятельность,— будут известны читателю также и те бесчисленные скорби и страдания, которые всю жизнь угнетали личность самого Ф. М.[1] [и как бы стремились погасить в его душе малейшие проблески искры божией].

Эти бесконечные страдания неотразимо доказывают, что никакие жестокости жизни не в силах погасить в доброй душе человека света той искры божией, которая спасает его от личного падения и,[2] освещая темный путь жизни светлым стремлением, дает силу жить скорбям ближнего [2] <предпочтительно> перед своими личными страданиями».

---

[1] Пусть будут известны [этому читателю] такому читателю и все те личные бесчисленные скорби и страдания <*1 нрзб.*> Ф. М.

[2] освещает темный путь жизни — светлым стремлением [предпочитать] внимать скорбям ближнего

КОММЕНТАРИИ

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЗАБОТЫ.

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

а. Печатные.

1) Очерки, рассказы, наблюдения и другого рода отрывки из одних записок. I. Больная совесть.— *ОЗ* 1873: II, стр. 557—574 (глава первая); IV, стр. 441—457 (главы вторая и третья). Подпись: *Г. Успенский.*

2) Из памятной книжки.— *ОЗ* 1875, IX, стр. 113—158. Подпись: *Г. Иванов.*

3) Люди и нравы. Очерки.— *ОЗ* 1876: IV, стр. 619—666 (I. Книжка чеков. II. Неплательщики); IX, стр. 121—159 (III. Хочешь-не-хочешь); X, стр. 381—428 (‹IV.› На старом пепелище). Подписи: *Г. И.* (кн. IV) и *Г. Иванов* (кн. IX и X).

4) Не воскрес. (Из разговоров про войну).— *ОЗ* 1877, II, стр. 283—304. Подпись: *Г. Иванов.*

5) Голодная смерть. (Отрывок из памятной книжки).— *ОЗ* 1877, VI, стр. 575—602. *Подпись: Г. Иванов.*

6) Три письма. (Из воспоминаний Долбежникова).— *ОЗ* 1878: III, стр. 101—128 (главы первая — третья); IV, стр. 349—367 (главы четвертая и пятая). Подпись: *Г. Иванов.*

7) Книжка чеков. (Эпизод из жизни недоимщиков).— *ПКн*, стр. 1—42 (по недосмотру автора или типографии не занумеровано).

8) Неплательщики.— *ПКн*, стр. 42—87 (занумеровано: II).

9) Хочешь-не-хочешь.— *ПКн*, стр. 87—160 (занумеровано: III).

10) На старом пепелище.— *ПКн*, стр. 160—251 (занумеровано: IV).

11) Больной.— *ПКн*, стр. 251—336 (занумеровано: V).

12) Не воскрес. (Из разговоров про войну).— *СиН*, стр. 1—33 (занумеровано: I).

13) Три письма. (Из воспоминаний Долбежникова). — *СиН*, стр. 34—106 (занумеровано: II).

14) Голодная смерть.— *СиН*, стр. 142—184 (занумеровано: IV).

15) Новые времена, новые заботы (I. Книжка чеков; II. Неплательщики; III. Хочешь-не-хочешь; IV. На старом пепелище; V. Неизлечимый; VI. Не воскрес; VII. Голодная смерть; VIII. Три письма. Приложение: Больная совесть).— *У*$_I$, т. I, стр. 1—375.

16) Новые времена, новые заботы (I. Книжка чеков; II. Неплательщики; III. Хочешь-не-хочешь; IV. На старом пепелище; V. Неизлечимый; VI. Не воскрес; VII. Голодная смерть; VIII. Три письма; IX. Больная совесть).— *У*$_{II}$, т. I, столб. 479—728.

17) Новые времена, новые заботы (состав тот же, что и в *У*$_{II}$).— *У*$_{III}$, т. I, столб. 479—728.

б. Рукописные: ПД$_2$.

ВВЕДЕНИЕ К КОММЕНТАРИЯМ.

1. В творческой биографии Успенского внимание исследователя останавливается, во-первых, на отношении писателя к каноническим жанрам романа и повести и, во-вторых, на судьбе этих жанров в творчестве Успенского. В т. III настоящего издания рассказана история неоконченного романа «Разоренье»; романы, за которые Успенский принимался в начале 70-х гг. (см. ниже) и в 80-е годы (см. т. VIII настоящего издания), также не получили завершения, да и вряд ли продвинулись достаточно далеко. И к повести Успенский также обращался неоднократно; правда, повесть 1874 г. «Очень маленький человек» была приостановлена цензурою (см. ниже), но и законченные свои повести 1870—1871 гг.—«Тише воды, ниже травы» и «Наблюдения провинциального лентяя»— Успенский впоследствии настойчиво называл «очерками». Создается представление, что у писателя сложилось предубеждение против канонических жанров романа и повести. И действительно, 9 мая 1875 г. Успенский пишет А. В. Каменскому: «На-днях Вы... получите мою статью. Называется она „Из памятной книжки“. Я решил все, что думаю и что есть у меня в башке теперь, привести в некоторый порядок и печатать так, как думается, в самой разнообразной форме, не прибегая к крайне стеснительным в настоящее время формам повести, очерка. Тут будет и очерк, и сценка, и размышление, приведенные, как я сказал, в некоторый порядок, т. е. расположенные так, чтобы читатель знал, почему этот очерк следует за этою сценой... Тут

будет при случае и Париж, и деревня, и Петербург. С романом мне некогда возиться, и я решился — кончить с этого рода работой».[1]

«Размышления» и «сценки», т. е. элементы публицистические и художественные, входят в очерки Успенского 70-х гг. и в позднейшие в различных комбинациях: то обрывается ткань художественного повествования, и оно непосредственно сменяется публицистическим текстом, стилистически близким к художественному, расцвеченным образами, тропами, лирическими отступлениями и проч. (переход от «Книжки чеков» к «Неплательщикам»); то, наоборот, обрываются «размышления», публицистика, и начинается художественное повествование («Хочешь-не-хочешь»); то «размышления» и «сценки» чередуются в одном и том же очерке («Больная совесть»). Образность публицистического жанра — такая творческая задача разрешалась Успенским в его очерках, «размышлениях» и «сценках».

С середины 70-х гг. художественная публицистика становится господствующим жанром в творчестве Успенского; и в этот и в последующий периоды очерки объединяются им под самыми разнообразными общими заглавиями. Кроме указанных выше, «Люди и нравы» («Люди и нравы современной деревни»), «Из памятной книжки» и проч., произведения Успенского в 80-е гг. печатались под заглавиями: «На родной ниве», «Из записок (вариант: «Из заметок») деревенского обывателя» и другими, в той же мере общими и не столь обязывающими. Одновременно, однако, появляются серии и с более конкретными обозначениями жанрового или фабульного характера («Письма с дороги», «Без определенных занятий» или «С места на место»), или же — ярко выраженного семантического: «Скучающая публика», «Концов не соберешь» и т. д. Объединяя свои очерки и рассказы в первом собрании сочинений, Успенский придает им, наряду с жанровыми и фабульными заглавиями, и смысловые; коммептируемая группа получила одно из самых выразительных и исторически осмысленных заглавий.

2. Было бы ошибочным полагать, что переход Успенского от жанров канонических к полиморфным художественно-публицистическим объединениям обусловлен бессилием писателя справиться с формой большого жанра — романа или повести: упомянутые выше повести, вошедшие в состав «Разоренья» («Тише воды, ниже травы», «Наблюдения провинциального лентяя»), представляют высокие образцы психологической повести, близкие к типу, созданному Тургеневым, но значительно отличающиеся от тургеневской повести своим социальным смыслом; к этому же жанру принадлежит и упомянутая выше

[1] Цитируется по публикации «Русского Богатства»: «Письма Гл. И. Успенского», 1912, III, стр. 181.—В дальнейшем сокращенно: «Русское Богатство» 1912, III.

повесть «Очень маленький человек». Обращение Успенского к «нестесни-тельным формам» вытекало из принципиального его отношения, с одной стороны, к старой традиции, связанной с дворянским периодом русской литературы, с другой — к так называемому «тенденциозному» роману, культивировавшемуся в благосветловском «Деле» и связанному с литературно-политической концепцией П. Н. Ткачева; Успенский одинаково отрицательно относился как к старому психологическому роману, обходившемуся «без присутствия на сцене мужика»,[1] так и к новейшему тенденциозному роману, выводившему героя «из каких-нибудь необычайных условий»[2] и тоже не интересовавшемуся «мужиком». Правда, перед Успенским были образцы западноевропейского романа с «присутствием на сцене мужика», — это был, с одной стороны, натуралистический роман Золя (ему предшествовали «Крестьяне» Бальзака), с другой — демократический роман Эркмана-Шатриана и др. Если натуралистическое направление Золя, в котором, по словам Успенского, «романиста начинает заменять зоолог»,[3] было органически ему чуждо, то демократический западноевропейский роман (Эркман-Шатриан, Джордж Эллиот и др.) привлекал писателя: он высоко ставил роман Эркмана-Шатриана «История одного крестьянина», в котором, по его мнению, авторам удалось в «избе французского мужика отыскать следы государственных переворотов в его стране».[4] Ценил Успенский романы Мало («L'auberge du monde»—«Всесветный трактир»), Лео Кладеля и т. д. В России главным героем литературы Успенский считал «мужика»; но здесь еще только ожидалась эпоха «переворотов», в которых русская демократия отводила крестьянину ту же роль, какую в истории своей страны, по толкованию эльзасских писателей и их русских критиков, сыграл французский крестьянин. И Успенский полагал, что русская жизнь еще не выдвигала героя из народной среды («какие там герои...»[5]) и что не пришла еще пора создания такого русского романа, в котором присутствовал бы на сцене «мужик».

Отношение Успенского к проблеме романа то же, что и отношение к этой проблеме Щедрина; примерно тогда же Щедрин писал: «...покуда арена, на которую, видимо, выходит новый роман, остается неосвещенною, скромность и сознание пользы заставляют вступать на нее не в качестве художника, а в качестве собирателя материалов. Это развязывает писателю руки, это ставит его в прямые отношения к читателю».[6]

[1] «На старом пепелище», в этом томе стр. 124.
[2] Там же, стр. 126.
[3] «Хочешь-не-хочешь», в этом томе стр. 63.
[4] «Наблюдения одного лентяя», в настоящем издании т. III, стр. 269.
[5] «На старом пепелище», в этом томе стр. 126.
[6] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений. Том X. Гослитиздат, Л., 1936, стр. 57—58.

Критика, начиная с 70-х гг., не уставала осуждать Успенского за переход к новому жанру — художественной публицистике. В 1878 г. некто Б. Д. П. (П. Д. Боборыкин?) писал в «Слове»: «...один из самых талантливых беллетристов... г. Глеб Успенский, имеющий в г. Иванове своего непосредственного продолжателя, страдает всего более эпизодичностью своих рассказов и очерков. Он точно нарочно не желает сосредоточиться, задумать роман или повесть на одну из тех реальных идей, какими он уже задавался, создать несколько выдающихся лиц, поддержать интерес сюжета, а главное — не пересыпать художественного рассказа чисто публицистическими рассуждениями от лица автора».[1]

Существующее в литературе указание, что преимущественное обращение Успенского к жанру художественной публицистики вызывало неудовольствие Щедрина,[2] документально не подтверждается, да вряд ли и соответствует действительности: Успенский разделял точку зрения Щедрина на роман и вместе с Щедриным является создателем жанра художественной публицистики.

В том же 1878 г. вопроса о жанрах Успенского касался и Н. К. Михайловский. «Почему этот несомненный талант так склонен к оборванным очеркам и к пересыпанию художественных образов и картин комментариями публицистического свойства?.... тут... не одна причина действует. Нынешний беллетрист прежде всего не так обставлен, чтобы сидеть целыми годами над одной вещью, постепенно обрабатывая и подчищая ее. Затем тут сказывается известная страстность отношения к делу....‹ беллетрист› хватает для выражения своих мыслей и чувств первое попавшееся оружие.... Голый факт понижения уровня беллетристики нельзя не признать. Но он свидетельствует о росте мысли, уяснении идеалов, сближении литературы с жизнью».[3]

Таким образом, отношение к жанру художественной публицистики у руководящей группы «Отечественных Записок» вытекало из принципиальных положений, выработке которых содействовала творческая практика Успенского и Щедрина. Утверждение, что Успенский под влиянием Михайловского обратился к этому жанру, шедшее из нововременского стана и поддержанное другими критиками (см. некролог писателя, составленный П. В. Быковым —«Биржевые Ведомости», 1902, № 83 от 27 марта), никаких оснований под собой не имеет.

[1] «Слово» 1878, VI, стр. 56, ст. «Мотивы и приемы русской беллетристики».— Г. Иванов — псевдоним Успенского, см. ниже.

[2] В. Чешихин-Ветринский. «Глеб Иванович Успенский. Биографический очерк». Изд-во «Федерация», М., 1929, стр. 95.

[3] Н. М‹ихайловский›. «Литературные заметки».— «Отечественные Записки» 1878, III, стр. 158—160.

3. В комментируемый цикл вошли произведения 1873, 1875, 1876, 1877 и 1878 гг., т. е. появившиеся в течение 70-х гг., после первой поездки писателя за границу. В ряду крупных циклов и серий Успенского «Новые времена, новые заботы» занимают место между циклами «Разоренье» (1868—1871; см. т. III настоящего издания) и «Из деревенского дневника» (1877—1879; см. т. V); последний рассказ комментируемого цикла —«Три письма»— одновременен средним звеньям «Из деревенского дневника». Из девяти очерков и рассказов цикла семь мыслились автором в различных не получивших завершения сериях 1873, 1875 и 1876 гг. Так, очерк «Больная совесть» был задуман как начало серии 1873 г.—«Очерки, рассказы, наблюдения и другого рода отрывки из одних записок»; серия эта, однако, продолжена не была. Более устойчивым оказался замысел серии «Люди и нравы», начатой в 1876 г.: под этим заглавием печатались не только четыре первые очерка комментируемого цикла, но и первые публикации цикла «Из деревенского дневника». Серийное обозначение «Из памятной книжки» (иногда вариант: *Отрывки* или *Отрывок из памятной книжки*) надолго сохранилось в числе серийных обозначений Успенского (иногда переходило в подзаголовок очерков и рассказов); под этим обозначением печатались не только произведения 70-х гг. (кроме вошедших в этот том, см. в настоящем издании фельетоны из «Русских Ведомостей» и очерки «В свое удовольствие», «Парамон-юродивый», «Овца без стада»), но и позднейшие: «Равненье под одно» (1882), «Кой-про-что» (1886—1887) и др.

В цикл «Новые времена, новые заботы» составляющие его очерки и рассказы вошли далеко не в том порядке, в каком они появлялись в печати. На первом месте оказались очерки серии «Люди и нравы» (1876), пятое место занял рассказ 1875 г. «Из памятной книжки» («Неизлечимый»), на шестом и седьмом — оказались произведения 1877 г. «Не воскрес» и «Голодная смерть» (первое примыкает к «Письмам из Сербии»— см. ниже, второе — к серии «Из памятной книжки», см. его подзаголовок в первопечатном тексте); первоначально, в $У_{I}$ цикл заканчивался рассказом «Три письма» (1878), а очерк «Больная совесть» (1873) не связывался с циклом органически, являясь приложением к т. III в $У_{I}$; второстепенное пояснительное значение этого очерка по отношению ко всему циклу было отмечено специальным его набором (без шпон); в $У_{II}$ и $У_{III}$ очерк был слит с циклом и занял девятое место.

Намерение писателя, выраженное в цитированном выше письме к А. В. Каменскому от 9 мая 1875 г., издать серию «Из памятной книжки» отдельной книгою было осуществлено в 1879 г. выпуском сборника *ПКн*, объединившего очерки «Люди и нравы» с очерком «Из памятной книжки» («Больной»); в том же году вышел.

сборник *СиН* с рассказами «Не воскрес», «Голодная смерть», «Три письма».[1]

В $У_1$ обе книги были объединены в комментируемом цикле, с выпуском «Парамона-юродивого», включенного в серию ранних рассказов и очерков —«Растеряевские типы и сцены» ($У_1$, т. I). и с добавлением очерка «Больная совесть».

Авторская правка очерков и рассказов цикла началась при первой же их перепечатке в *ПКн* и *СиН*. Но ни на этом этапе выработки текста цикла, ни на следующем, при комплектовании III т. $У_1$ правка не имела того радикального характера, какой мы констатировали, анализируя авторские исправления повестей цикла «Разорение» и других произведений конца 60-х гг. (см. т. III настоящего издания): здесь нет придирчивой ревизии лексического материала, нет той борьбы с диалектизмами, которая так характерна для правки более ранних произведений; впрочем, и самых диалектизмов в языке произведений Успенского 70-х гг. несравненно меньше, что несомненно связано с новыми методами творчества писателя. В работе над очерками и рассказами комментируемого цикла в 1879, 1883 и 1889 гг. преобладала мелкая правка, не влиявшая сколько-нибудь существенно на их стиль и структуру: простейшие словесные замены, замены грамматические (перевод глаголов из одного вида в другой, из одной формы времени в другую, изменения падежных или числовых форм склоняемых слов и т. п.), простейшие случаи уточнений (вставка личных и определительных местоимений, определительных наречий и т. д.), перестановки слов, исключения характерных для раннего Успенского «и т. п.» «и т. д.».

К числу наиболее значительных текстовых изменений очерков и рассказов цикла, появившихся в 1879 г., при подготовке к печати *ПКн* и *СиН*, принадлежат:

а) Изменения в заглавиях и подзаголовках очерков и рассказов: вставлен подзаголовок к рассказу «Книжка чеков», снято наименование к главе II рассказа «Хочешь-не-хочешь» («Без подмеси»— *ОЗ*), изменено заглавие рассказа: «Из памятной книжки» (*ОЗ*) — «Больной» (*ПКн*) — «Неизлечимый» ($У_1$); сняты, естественно, наименования тех циклов, частями которых первоначально являлись очерки и рассказы.

б) Некоторые изменения лексического характера, в том числе немногие случаи уничтожения диалектизмов: всё вм. всеё (стр. 37, строка 7[2]); очень вм. оченно (265, 12) и др.; вариант купеческой фамилии — Овсянников (206, 12) вм. Карбасников — возник, вероятно, по соображениям житейско-бытового характера: фамилию

[1] Кроме поименованных, в *СиН* входил рассказ «Парамон-юродивый» (на третьем месте).

[2] В дальнейшем сокращенно: 37, 7.

«Карбасниковых» посил петербургский книгопродавец и издатель, с которым у писателя были деловые связи.

в) Сокращения, в отдельных случаях очень значительные, выключавшие из текста целые сюжетные звенья. Так, исключен отрывок, развивавший тему о роли интеллигенции в руководстве «сельским банком» (купюра к стр. 62, 14); мотивы исключения этой удавшейся автору «сценки» не вполне ясны: сыграли ли здесь соображения цензурного порядка, или Успенский решил не повторять тему, развитую им в 1878 г. в очерках «деревенского дневника»,— установить не представляется возможным. Другие случаи сжатия текста (напр., 80, 19 и проч.) особого значения не имеют.

В 1883 г., при комплектовании т. III $У_I$, очерки и рассказы цикла претерпели меньше изменений, нежели другие произведения 60-70 гг.— «Нравы Растеряевой улицы», «Разоренье», «Из деревенского дневника»; поправки принципиального характера, значительные вставки или купюры места не имели. Заслуживают быть отмеченными некоторые случаи художественной доработки текста в отношении большей полноты (типа вставки: решительным движением мозолистой корявой руки — 18, 21), большей образности (замена: закусив удила — вм. окаменев, 239, 27) или точности (вставка — бесплодные усилия вм. усилия — 39, 15) и др.; рядом поправок (несчастнейший — вм. самый несчастнейший — 151, 20, и т. д.) достигалось общее улучшение текста, устранялись неудачные фигуры (после слова: читатель — в *ОЗ* и *ПКн* было: который, надеюсь, однако согласится, что Иван Кузьмич делал добро народу — 31, 18), редакционные дефекты (фраза: Масса распоясовцев, превращенных уже в «полтинники»— 30, 18 — сменила неудачное: масса других распоясовских полтинников — *ОЗ*). Лексические замены и здесь имели целью умерить количество диалектизмов; устранены: езжали (45, 6), кабачник (166, 27), неопрятно (в смысле неблагополучно — 172, 32), грамотник (вм. грамотный — 261, 14) и др.

Радикальной правке в 1883 г. подвергся очерк «Больная совесть», получивший функцию раскрытия проблематики цикла. В очерке оказалась вычеркнутой вся III глава (купюра 361, 29), ситуации и образы которой явно выпадали из темы о «неплательщиках», как она раскрывалась основными очерками цикла; возможно, конечно, что глава эта не удовлетворяла автора и в художественном отношении. Купюры 340, 28 и 353, 29 вызваны, очевидно, соображениями принципиального характера: оправдание западноевропейского «порядка», равно как и подчеркиванье в Марье зоологической морали,— в начале 80-х гг. могло показаться Успенскому спорным.

Новый просмотр цикла в 1889 г., при подготовке к печати $У_{II}$, сопровождался новыми исправлениями и купюрами: из характеристики допускавших «промахи» романов о «новых людях» выключен намек

на роман Чернышевского (127, 29); выключен из текста В. О. Португалов, как представитель вульгарно-материалистических воззрений на природу человека (на стр. 180. 26 было: даже и у Португалова — вм. даже и в «Русском Слове»); выключено из концовки рассказа «Неизлечимый» указание на отсутствие в русской жизни крупных явлений «в области духа» (купюра 218, 20). Не останавливаясь на других, не имеющих существенного значения примерах сжатия текста, отметим случаи художественной его доработки: по тексту *ОЗ* на пастбище оставались три больные овечки, пощаженные Иваном Кузьмичом, и столетний пастух при них; уцелевшие от ножа животные по тексту $У_{II}$ увозятся по железной дороге — 14, 9— в ранних текстах они «крепко-накрепко привязывались к телегам, причем веревка зацеплялась за нижнюю челюсть, за ногу, за шею и т. д.» (*ОЗ*, *ПКн*, $У_{I}$); цена мужней жены «зеленая» (32, 25) в $У_{II}$; в *ОЗ*, *ПКн*, и $У_{I}$— дай ему рубль; в целях большей точности, большей простоты и естественности меняются отдельные слова и образы (бревна вм. поленья — 13, 22; сердце «большое» вм. сердца «в два обхвата»— 67, 12 и т. п.); и на этот раз по каким-то соображениям фамилия «Собашников» явилась вместо фамилии «Соболевский» (114, 21).

Продолжалась правка текста и при подготовке к печати $У_{III}$; на этот раз она была совершенно мелкая и малозначительная.

На всех трех этапах правки текста устранялись его неисправности, результат недостаточно тщательной редакционной обработки текста автором или типографских искажений, пропусков и проч.; нередко дефекты текста появлялись вследствие неудачной или незаконченной авторской правки. Дефинитивный текст цикла, являясь текстом, наиболее отработанным автором, пестрит, однако, редакционными и типографскими погрешностями и нуждается в корректировании другими текстами, что и сделано нами в настоящем издании (список исправлений см. ниже).

4. 70-е годы Успенский считал новым периодом своей биографии; предшествующий период — 60-е годы — ушел на борьбу с самим собою, на «забвение» юношеской своей биографии, складывавшейся в зараженной тлением атмосфере последних лет существования крепостного права. «Строительство» нового в мировоззрении и настроениях началось на облитых кровью коммунаров площадях Парижа, под впечатлением экспроприированной капиталом бельгийской, а может быть,—и английской, деревни. «За границей я был... после коммуны,— вспоминал Успенский через десять лет об этапах «строительства» своей «новой биографии»,— причем видел избитый прусскими и коммунарскими бомбами и пулями город, видел, как приговаривают к смерти сапожников и башмачников; в другой раз я прожил там подряд два года, по

временам только приезжая в Россию. В это время я был в Лондоне. Я мало писал об этом, но многому научился, много записал доброго в мою душевную родословную книгу навсегда... Затем прямо из Парижа я поехал в Сербию и в Пеште встретил *наших*. И об этом я *мало* писал, но много передумал и навеки много опять-таки взял в свою душевную родословную. Затем подлинная правда жизни повлекла меня к *источнику*, т. е. к мужику».[1]

Размышления над судьбами западной Европы и России, над судьбою бельгийского рабочего и русского мужика породили мысль, что чаша страданий, через которые прошел бельгийский или английский крестьянин, могла бы, при известных условиях, миновать русскую деревню,— ту самую мысль, которую лелеял еще Н. Г. Чернышевский.

Когда в 1886 г. было опубликовано письмо Маркса редакции «Отечественных Записок», Успенский горячо воспринял идею этого письма, между прочим гласившего: «Если Россия будет продолжать... итти по тому пути, по которому следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя».[2] Взволнованность статьи Успенского «Горький упрек», не напечатанной при жизни автора, взволнованность его писем в связи с посмертным письмом Маркса — свидетельствуют, какие задушевные мысли затронуло в нем это письмо. Совершенно очевидно, что мысль о революционной расчистке путей для свободного развития русской деревни не была чужда Успенскому-семидесятнику, когда он пришел к выводу, что судьбы России связаны неразрывно с русской деревней. Отсюда и интерес его к русским революционерам-семидесятникам.

На глазах Успенского в начале 70-х гг. вновь оживало революционное движение в России: кружки молодежи (чайковцы, долгушинцы) от просветительных задач переходили к задачам революционным; на его глазах началось движение «в народ», и он был свидетелем разгрома царизмом крестового похода русской интеллигентной молодежи в деревню. В движении участвовали хорошо известные Успенскому люди — близкий ему П. В. Григорьев, его школьный товарищ Н. Е. Битмит — и другие; он был лично знаком и находился в дружеских отношениях с выдающимися революционерами-семидесятниками—

[1] «Автобиография». Цитируется по публикации Н. К. Михайловского: «Литература и жизнь»—«Русское Богатство» 1902, IV, стр. 131. (Перепечатано в издании: Н. К. Михайловский. «Последние сочинения». т. II. СПб., 1905, стр. 208). В дальнейшем сокращенно: «Русское Богатство» 1902, IV.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, стр. 376

С. М. Кравчинским, Г. А. Лопатиным, Д. А. Клеменцем, А. И. Иванчиным-Писаревым. М. П. Лешерн. В числе знакомых Успенского была В. Н. Фигнер, и, кроме нее, Иванчин-Писарев называет Желябова, Перовскую, Л. Тихомирова и др.[1] В Париже в 1875 и 1876 гг. Успенский находился в общении с парижской колонией русских народников-революционеров, в Сербии был вместе с Клеменцем. Придавая большое значение этим знакомствам и связям, он писал в 1888 г. В. А. Гольцеву: «Наша хорошая молодежь, среди которой я был ‹за границей›, окончательно прервала мои связи с пьяным миром».[2]

Характеризуя отношение современной критики к повестям «Разоренья» (см. т. III настоящего издания), мы отмечали борьбу двух фракций народнической критики и журналистики («Отечественные Записки» и «Дело»), в центре которой оказалось творчество Успенского. Непосредственного участия в полемике указанных двух журналов Успенский тогда не принимал, но был, конечно, на стороне «Отечественных Записок» и разделял проводившиеся в них литературные и политические воззрения.

Ориентировавшаяся на представителей революционной интеллигенции, ткачевская доктрина в литературной критике выдвигала так называемый «тенденциозный» роман, проповедывала культ героя-«развивателя», отрицательно относилась к идее зарождения в самой «нецивилизованной толпе» каких-либо прогрессивных идей и устремлений. «Если мы уж очень порочны... это ничего не значит,— издевался один из критиков ткачевского направления над идеей «самопроизвольного зарождения».— В конце концов выйдет так, что вдруг где-нибудь в гнили, в каком-нибудь зверином семействе окажется прелестная женская душа; потом в другой навозной куче появится молодец-мужчина, а там еще где-нибудь заблестит светлое явление...»[3]

В 70-х гг. эту проповедь неверия в силы народа Успенский оспаривал, создавая образы Феди в «Очень маленьком человеке» (он же Вася Хомяков в «Хорошей встрече»), Федюшки в «Голодной смерти», учительницы Абрикосовой в «Неизлечимом» и т. д. Герой «Неизлечимого» прямо заявляет: «... настигла меня, милостивый государь,.. болезнь... Нежданно, негаданно в осквернелую мою душу вдруг влетело что-то божеское,— и стала мне чистая смерть от этого... И на госпожу

[1] А. И. Иванчин-Писарев. «Хождение в народ». Изд-во «Молодая Гвардия», М.-Л., 1929, стр. 390—391.

[2] «Архив В. А. Гольцева». Том I. Книгоиздательство Писателей в Москве, 1914, стр. 63.

[3] М. Тар-ц (М. В. Дальмерт). «Фальшивый мотив».— «Дело» 1871, I, стр. 36.

Абрикосову тоже как-нибудь нашло... И ее выгнало из каменных палат... Такое время судебное...»[1] О влиянии идей 60-х гг. на интеллигентскую и полуинтеллигентскую читательскую массу Успенский рассказал подробно в «Голодной смерти»;[2] под их воздействием пробуждалось молодое поколение и в тех растленных семьях, которые пришибло «разоренье». «Прямо из семей, в которых целыми поколениями не было ни о чем думушки, кроме как о кармане, прямо из этаких-то семей стали выходить люди, вполне самоотверженные и ничуть, ни капельки о себе не думающие... Из этих омутов и болот появлялись молодые ребятки, девушки и юноши и — точно кто научил их — вдруг всё отлично понимали, принимались за работу...»[3]

Публицистика «Отечественных Записок» ни в конце 60-х гг., ни позже в своем направлении не была единой. Новые, народнические — в частности лавристские — тенденции сказывались в статьях Михайловского и Елисеева, и в то же время старые просветительские тенденции, шедшие от Чернышевского и «Современника», были ощутимы в творчестве Некрасова и Щедрина и в публицистических выступлениях последнего. Успенского нельзя числить ни в одной из народнических фракций. Признание рассказчика «Трех писем» в своих колебаниях между осуждением подвига «иностранца» по причине скудости форм этого подвига и его результатов, и преклонением перед этим подвигом, в силу моральной высоты и самоотвержения совершившего его, до некоторой степени отражают колебания и самого автора «Трех писем».[4] С другой стороны, в программу Успенского входило осуществление и «близких» целей в деревне, задыхавшейся в бедности, бескультурьи и жестокости. Вопреки народническим доктринам писатель не закрывал глаза на одиночество человека в деревенском мире, на жестокое равнодушие последнего к своим членам (см. рассказ «Голодная смерть»); помощь деревне, по мысли Успенского, была нужна немедленная; требовалась «черная работа» интеллигенции в деревне. И деревня, в свою очередь, была нужна интеллигенции, ибо она одна могла увести «неплательщика» от «пустого дела», от необходимости отдаваться «полуделам» и «якобы делам». Соединение «расстоящих» требовалось сейчас же, пока лозунг «человек-политика» не окончательно разложил деревню, пока «больная совесть» «неплательщика» не успокоилась на «сытей правде» бельгийского фабриканта или версальского судьи. Творчество Успенского привносило в политические лозунги народнических программ моральный элемент. В своих произведениях он стоял на уровне

[1] В этом томе стр. 214.
[2] В этом томе стр. 260 и след.
[3] «На старом пепелище», в этом томе стр. 154.
[4] В этом томе стр. 332.

революционно-демократической мысли 60-х гг. в критической оценке реформы 1861 г. и ее итогов.

Комплекс перечисленных идей лежит в основе всего творчества Успенского 70-х гг.; отчетливо подчиняется ему и комментируемый цикл. Цикл окончательно сформировался в 1883 г., когда социальный опыт Успенского был обогащен новыми наблюдениями («Из деревенского дневника»), новыми размышлениями о судьбах «родной нивы», когда Успенский достиг, наконец, «источника», открыл законы «власти земли» и средство нейтрализовать зоологическую стихию деревни «черной работой» интеллигенции, «слившейся» с деревней помимо всякого участия в этом слиянии «земского сундука».

Девять очерков и рассказов комментируемого цикла, повидимому, представлялись автору в наибольшей степени отражавшими движение его мысли в поисках выхода из тех противоречий, которыми полна была пореформенная русская жизнь. Отсюда наименование цикла, отсюда и порядок расположения в нем отдельных звеньев,—«чтобы читатель знал, почему этот очерк следует за этою сценой». Деревня, ограбленная помещиком, отданная Ивану Кузьмичу во власть и окончательно им разоренная; интеллигенция, либо сидящая вокруг «пустого места», либо гибнущая по причине душевной своей неустроенности; зарождение в сознании народа идеи о тяготеющей над ним неправде; «самопроизвольное» зарождение в сознании «неплательщика» идеи своего долга перед народом — это ряд логически вытекавших одна из другой тем и должен был привести читателя к кардинальной для автора теме: соединение интеллигенции с народом — единственное средство и к исцелению «больной совести» русского общества, к его возрождению на принципах подлинной правды. Только при этом условии та зоологическая «правда» жизни, которая потрясла писателя в западноевропейском человеке — бельгийце-фабриканте, версальце-судье и проч., не станет уделом русского человека и русской жизни.

Изложенная нами история цикла «Новые времена, новые заботы» представляет этот цикл не только как результат последней работы писателя над составляющими цикл очерками и рассказами, но и как стройное произведение, сложившееся в результате творческого объединения первоначально разрозненных очерков и рассказов, обрывков незавершенных циклов и серий. Этим оправдывается включение в настоящее издание комментируемых очерков и рассказов Успенского в созданном писателем в 1883 г. цикле.

КНИЖКА ЧЕКОВ.

1. Под этим же заглавием, вместе со следующим очерком «Неплательщики», напечатано впервые в *ОЗ* 1876, IV, серия «Люди и нравы» (см. № 3 в списке источников; авторские перепечатки указаны там же — №№ 7, 15, 16 и 17; подзаголовок впервые в № 7).

Рукопись неизвестна.

Печатается по *У*III.

2. Комментируемый рассказ был привезен автором в Париж в январе 1875 г. «В Париже,— вспоминал впоследствии Успенский,— я прежде всего направился к Ивану Сергеевичу Тургеневу... Я принес ему рассказ «Книжку чеков», где, правду сказать, был изображен уехавший за границу помещик, а управляющий сдавал участок земли под винокуренный завод, рубил лес».[1]

31 января 1875 г. Тургенев отправил рассказ Успенского М. М. Стасюлевичу: «Посылаю Вам... рассказ здесь обретающегося Глеба Успенского. Мне кажется, что он очень недурен и мог бы фигурировать на страницах «Вестника Европы».[2]

Очевидно, осведомленный об обстоятельствах цензурной катастрофы с майской книжкой «Отечественных Записок» за 1874 г., в которой немалую роль сыграла повесть Успенского «Очень маленький человек» (см. ниже комментарий к этой повести), Стасюлевич отклонил предложение Тургенева, и в конце февраля 1875 г. Успенский взял свой рассказ из редакции «Вестника Европы».[3]

15 февраля того же года в Париже в салоне П. Виардо состоялось литературно-музыкальное утро в пользу русской студенческой читальни; в афише этого утра было анонсировано, между прочим, чтение рассказа Успенского. Успенский сообщал Н. К. Михайловскому об этом утре: «Тургенев прочел мой рассказ «Ходок» и прочел превосходно».[4] В цитированной выше автобиографической записи Успенский вспоминал и это событие. Но ни под этим, ни под другим похожим заглавием произведение Успенского неизвестно, в силу чего в литературе устано-

[1] Мемуарная запись Г. И. Успенского «Мои дети».— Государственный Литературный Музей. «Летописи». Книга четвертая <«Глеб Успенский»> . М., 1939, стр. 200.

[2] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Том III. СПб., 1912, стр. 49.

[3] То же издание, т. V. СПб., 1913, стр. 239.

[4] Цитируется по публикации Н. К. Михайловского: «Литература и жизнь»,— «Русское Богатство» 1902, III, стр. 34.— В дальнейшем сокращенно: «Русское Богатство» 1902, III.

вилось мнение, что прочитанный «Ходок»— отрывок либо повести «Лентяй, его наблюдения и заметки» (отдельное издание, СПб., 1873),[1] либо комментируемого рассказа «Книжка чеков».[2] Приводимый в письме к Михайловскому диалог между автором и чтецом, относящийся к приспособлению текста для публичного чтения («А мерина можно оставить?» — и проч., стр. 28, 34 этого тома) делает более вероятным, что читался рассказ «Книжка чеков».

Отказ Стасюлевича печатать «Книжку чеков» понудил Успенского переработать этот рассказ для «Библиотеки Дешевой и Общедоступной». В судьбе этого журнала Успенский принимал живейшее участие (см. ниже). Рассчитывая «Библиотеку» на широкие круги читателей, нуждающиеся в более простом материале, чем тот, который предлагали толстые ежемесячники, Успенский упростил редакцию «Книжки чеков», смягчил ее в цензурном отношении и сделал началом целой серии рассказов об «оживленной капиталом мертвой местности».

Так возник очерк «Оживленная местность».

Цензура не разрешила напечатать «Оживленную местность» в «Дешевке», как называлась в литературных кругах «Библиотека Дешевая и Общедоступная», и Успенский вновь обратился к «Книжке чеков».

К осени 1875 г. «Книжка чеков» уже была в редакции «Отечественных Записок», но к напечатанию ее и здесь встретились затруднения. ...опять обращаюсь к Вам насчет моего рассказа „Книжка чеков“, — писал Успенский Н. А. Некрасову в октябре 1875 г.— Я хочу... напечатать его в Москве, в „Русских Ведомостях“, где уже однажды был напечатан мой рассказ, вырезанный из „Отечественных Записок“... если же хотя с переделками или измененным заглавием, напр. вместо „Книжки чеков“ — „Новый тип купца“ <можно печатать>, то оставьте рассказ у себя...»[3] «Книжка чеков» была напечатана в «Отечественных Записках» лишь в апрельском номере журнала за 1876 г.

Отказ Стасюлевича печатать «Книжку чеков», цензурное запрещение упрощенной редакции этого рассказа («Оживленная местность»), колебания Некрасова — все это результат цензурных обстоятельств,

[1] В. Чешихин-Ветринский. «Глеб Иванович Успенский», цитированное издание, стр. 114.

[2] А. С. Глинка-Волжский. «Глеб Успенский в жизни». «Academia», М.-Л., 1935, стр. 568.

[3] Цитируется по публикации В. Евгеньева: «К характеристике Гл. Ив. Успенского»,—«Русские Записки» 1915, XI, стр. 47—48. В дальнейшем сокращенно: «Русские Записки» 1915, XI.— Вырезанный из «Отечественных Записок» рассказ — главы IV и V повести «Очень маленький человек»,— см. ниже.

с которыми столкнулся Успенский еще в 1871 г. (см. т. III настоящего издания, стр. 696 и след.). Обстоятельства эти ухудшились в 1874 г., после упомянутой катастрофы с майской книжкой «Отечественных Записок»,— сожжения книжки,— причиной чему была, в частности, и повесть Успенского «Очень маленький человек».

Цензурные преследования Успенского объясняются общим политическим положением в России в первую половину 70-х гг.: в борьбе с широко распространившейся революционной пропагандой народнических кружков — чайковцев, долгушинцев и т. д.— самодержавие преследовало демократическую литературу, подозрительно относясь ко всему, что хоть в какой-либо мере могло быть использовано для агитационно-пропагандистских целей; подозрительно органы цензуры стали относиться и к Успенскому. «Глеб Успенский здесь и был сегодня у меня,— писал Тургенев Я. П. Полонскому из Парижа 25 января 1875 г.— Хандрит и жалуется. Да и есть отчего хандрить, коли у него цензура хлеб изо рту отнимает».[1] И действительно, с мая 1874 г. Успенский выступает в «Отечественных Записках» относительно редко: в 1874 г. после сожжения майской книжки «Отечественных Записок» он ничего не напечатал в этом журнале; в 1875 г. появились здесь «Злые новости» без подписи автора и «Из памятной книжки» впервые с псевдонимом «Г. Иванов», что вызвало в критике курьезные недоразумения. «Г. Иванов» надолго становится для Успенского обычною его подписью. «Я удивляюсь, как Глеб работает,— писала в это время А. В. Успенская Н. А. Долганову.— Не напечатают —пишет снова... В апрельской книжке <«Отечественных Записок»> напечатаны «Неплательщики»... и «Книжка чеков» и подписано: Г. Иванов. Он давно не подписывает своего имени — не пропускают. Да и эту статью всю ободрали в цензуре... плохо приходится из-за цензуры».[2]

3. «Книжка чеков»— одно из выдающихся произведений пореформенной демократической литературы, разоблачавших подлинный смысл крестьянской реформы. По яркости изображения «итогов» рассказ Успенского находится в одном ряду с произведениями об освобожденной деревне Некрасова, Щедрина, Флеровского. До «воли» распоясовец —«вор» и «недоимщик»; «воля» никак не соответствовала его мечте об освобождении и не улучшила его положения. Помещичья усадьба, упустившая в свое время случай переселить его на пески и болота, исправляет ошибку после «воли», использовав против распоясовца

[1] Первое собрание писем И. С. Тургенева. СПб., 1884, стр. 249.
[2] Цитируется по публикации В. Т<имофее>вой: «Из писем Г. И. Успенского к А. В. Бараевой, впоследствии Успенской»,—«Минувшие Годы» 1908, IV, стр. 9—10. В дальнейшем сокращенно: «Минувшие Годы» 1908, IV.

непонятный ему и строгий «новый порядок». Разоренный переселением распоясовец с головою выдан Ивану Кузьмичу: формула «человек-полтина» подчинила Кузьмичу физическую силу распоясовца, его нравственный мир, закабалила его самого и его семью. «Началась полоса закрепощения чумазовского»,— определил впоследствии Щедрин это положение пореформенной деревни («Мелочи жизни»).

Динамичность и драматизм картин и сцеп рассказа (распоясовские сходы и распоясовское разоренье, «подвиги» Ивана Кузьмича, движение в округу «чудовища», распоясовский разгул в построенных Иваном Кузьмичом кабаках и т. д.), эмоциональность рассказа, в частности юмор автора, любовный и мягкий в обрисовке распоясовской «глупости», и холодно-насмешливый в показе меланхоличного барина, образы беспомощных и темных представителей распоясовской толпы, в частности образ ходока Пармена, близкий образам Щедрина (см. «Историю одного города», глава «Голодный город» и сказки: «Ворон-челобитчик» и «Путем дорогою»),—все это придавало рассказу Успенского убеждающую пропагандистскую силу, и в этом отношении «Книжке чеков» уступали те произведения легальной литературы, которые в 70-х гг. считались пригодными для агитационно-пропагандистских целей.[1]

Именно этим объясняется отказ Стасюлевича от рассказа и колебания Некрасова в вопросе о его печатании. Только объединив «Книжку чеков» с очерком «Неплательщики», идея которого была сравнительно тщательно и искусно запрятана, Успенскому удалось добиться напечатания своего рассказа. Произведены были и некоторые цензурные смягчения текста, какие точно, мы не знаем,так как дожурнальная редакция рассказа до нас не дошла. В цитированной выше автобиографической записи Успенский говорит о несколько иной завязке рассказа, чем та, которую находим в журнальной редакции: управляющий живущего за границей помещика затевает процесс с распоясовцами по той причине, что представился выгодный случай сдать под винокуренный завод землю, находившуюся под распоясовскими усадьбами.

4. Спустя почти тридцать лет после первых цензурных затруднений, «Книжка чеков» вновь предстала перед судом царской цензуры: в январе 1903 г. А. Г. Успенский возбудил перед С.-Петербургским цензурным комитетом ходатайство о разрешении отдельного издания «Книжки чеков» и «Неплательщиков». 24 апреля 1903 г. цензор Н. М. Соколов докладывал комитету: «По небольшому объему статей и вероятной дешевизне предполагаемой брошюры на это издание можно смотреть как на издание для народа. Фабула и сюжет в этих статьях играют совершенно второстепенное значение. Сущность статей —

[1] См.: сборник П. И. Наумова «Сила солому ломит». СПб., 1874, «Дедушка Егор». СПб., 1873 и др.

обличительное отношение к экономическим основам современной деревенской жизни. Пользу для народа от этой резко критической брошюры едва ли можно было бы доказывать, в виду этого цензор полагал бы не дозволять эти две статьи в виде отдельного издания».

Комитет с мнением цензора согласился и брошюра к изданию разрешена не была.[1]

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ.

1. Под этим же заглавием, вместе с предыдущим рассказом «Книжка чеков», напечатано впервые в *ОЗ* 1876, IV, серия «Люди и нравы» см. №13 в списке источников; авторские перепечатки указаны там же— №№ 8, 15, 16 и 17.

Рукопись неизвестна.

Печатается по *У III*.

2. Точно установить время написания очерка «Неплательщики» не представляется возможным; очевидно лишь, что очерк — результат калужских наблюдений и впечатлений Успенского, очутившегося в роли служащего управления Ряжско-Вяземской ж. д. Написан он, надо полагать, после того, как Успенский оставил службу в управлении и выехал из Калуги, т. е. примерно в январе 1876 г.

Служба Успенского — одна из попыток как-либо привести в порядок свои жизненные дела. Мысль о службе всплывала неоднократно после женитьбы писателя,— так, еще в 1871 г. он готовился к сдаче какого-то экзамена: «Надо как-нибудь пристроиться осенью,— писал он А. В. Успенской 26 мая из Саратова.— Надоело это шатанье на волоске».[2] Отъезд семьи Успенского в 1874 г. в Париж был бегством от назойливых кредиторов. Но и парижская жизнь не принесла облегчения: в тиски нужды семья Успенского попала и там. Вновь явилась мысль о службе. У А. И. Иванчина-Писарева оказались знакомые в управлениях различных российских железных дорог: «от рискованных дел они уклонились, но сочувствуют им в пределах безопасности, и все страстные поклонники „Отечественных Записок".[3] Место писателю

[1] Центральный Государственный Архив внутренней политики, культуры и быта (Ленинград).— С.-Петербургский цензурный комитет. Собрание рукописей № 1079—1903.— В дальнейшем сокращенно: Центроархив (Ленинград) — и проч.

[2] «Минувшие Годы» 1908, IV, стр. 11.

[3] А. И. Иванчин-Писарев. «Хождение в народ», цитированное издание, стр. 312.

было предоставлено. «Александр Иванович дает мне рекомендацию к Мейнгарду, начальнику Либаво-Роменской дороги, а тот мне дает рекомендацию к Верховскому в Калугу».[1]

«Служу в должности»,— определял Успенский свое новое положение в письме к Н. К. Михайловскому.[2] Сначала провинциальная глушь, провинциальная «неплательщичья» среда вызывали профессиональный интерес: «На дворе мороз,— писал Успенский 22 октября 1875 г. А. В. Каменскому,— праздник Казанской, мужичьи дровни, сани; священник несет за заднюю ногу поросенка, точно удав поймал какого-нибудь зверка и тащит его жрать. Все это мне теперь в охотку».[3] Но скоро жизнь в «неплательщичьем» кругу стала невмоготу. «В Калуге с этими „хорошими людьми" жестокая скука»,— пишет он А. В. Успенской в Париж.[4] Необычайною тоской объяснял писатель впоследствии свое бегство из Калуги.[5] В письме его к Н. К. Михайловскому находим подробную мотивировку этого бегства:

«Место... я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле там, в глубине страны! Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогли эти острые двугривенные зубы, которые там, в глубине России, в глуши, пережевывают неповинного ни в чем обывателя».[6]

Эта оценка деятельности и морального состояния «неплательщика» и является основою комментируемого очерка.

3. Очерк «Неплательщики» отражает один из замечательных этапов в развитии пореформенной экономики России — железнодорожную строительную горячку конца 60-х — начала 70-х гг.: количество верст вновь открытых железнодорожных путей в пятилетие 1871—1875 гг. было более чем в любое другое пятилетие строительного периода 1861—1895 гг. Невмешательство правительства в хозяйственную и административную сторону управления частных железных дорог, а равно и их строительства, и в то же время правительственные субсидии концес-

[1] Мемуарная запись Г. И. Успенского «Мои дети», цитированная публикация, стр. 201.
[2] «Русское Богатство» 1902. III, стр. 47.
[3] Не опубликовано, цитируется по материалам т. XIII настоящего издания.— Ср. в этом томе стр. 39.
[4] «Минувшие Годы» 1908, IV, стр. 9.
[5] Мемуарная запись Г. И. Успенского «Мои дети», цитированная публикация, стр. 201.
[6] «Русское Богатство» 1902, III, стр. 47.

спонерам, либо гарантии, охватывавшие до 90% капитала концессионеров,— всё это вело к ажиотажу, к биржевым спекуляциям, к росту богатств железнодорожных королей (Поляков, Губонин и др.). Нерентабельность многих железных дорог, при строительстве которых в расчет принимались отнюдь не государственные интересы, приводила к борьбе между акционерными компаниями за грузы или к хозяйственному краху, что оканчивалось либо выкупом бездоходных дорог в казну, либо новыми субсидиями концессионерам. Ежегодный расход правительства на эту статью составлял до 50 миллионов рублей, тяжелым бременем ложился на государственный бюджет и разорял податное население страны, т. е., по преимуществу, то же крестьянство. Борьба с железнодорожными акулами входила в программу общей борьбы революционной демократии; началась она еще Добролюбовым, продолжалась Некрасовым, Щедриным. Очерком «Неплательщики» в эту борьбу включался и Успенский. Все суждения писателя о «внезапности» в провинциальной жизни таких явлений, как «железная дорога», строились на непосредственных и живых впечатлениях. Ряжско-Вяземская ж. д., захватившая Калугу, была открыта 15 декабря 1874 г. Только $^1/_4$ основного капитала этой дороги принадлежала акционерному обществу, ее владельцу; $^3/_4$ капитала находились в облигациях, удержанных за собою правительством; большей половине акционерного капитала была дана 15-летняя гарантия. Вокруг этого «пустого места», в интерпретации Успенского, и сидели интеллигентные «неплательщики», составляя ведомости о грузооборотах с многократно повторяемым «нет» и «не было» (или у Щедрина: «000».—«Пестрые письма»), пока Иван Кузьмич не поставил себе на службу и дорогу и интеллигентного «неплательщика», довершивши начатое «реформами» и продолженное «бюджетами» разоренье распоясовской округи.

ХОЧЕШЬ-НЕ-ХОЧЕШЬ.

1. Под этим же заглавием напечатано впервые в *ОЗ* 1876, IX, серия «Люди и нравы» (см. № 3 в списке источников; авторские перепечатки указаны там же — №№ 9, 15, 16 и 17).

Рукопись неизвестна.

Печатается по *У III*.

2. Начало третьего звена новой серии было у Некрасова в конце 1875 или в начале 1876 г.[1] Продолжение рассказа Успенский предпо-

[1] Январское письмо Успенского Н. А. Некрасову.—«Русские Записки» 1915, XI, стр. 47.

лагал доставить из Парижа, к апрельской книжке «Отечественных Записок», отложил до майской,[1] но намерения своего не выполнил, и только к августу весь очерк был в редакции «Отечественных Записок».

11 августа Успенский сообщал Некрасову: «Я послал в редакцию Отечественных Записок» статью всю до последней строчки».[2]

3. Критика отмечала тесную связь темы нового рассказа Успенского с общественным движением 70-х гг. «Автор взял на себя трудную хотя и благодарную задачу изобразить нравственную подкладку нашего современного социального положения и развивает эту задачу очень умно и последовательно, хотя, быть может, местами и слишком многословно»,— писал анонимный обозреватель текущей журналистики «Иллюстрированной Газеты» о третьем звене серии «Люди и нравы».[3] И действительно, рассказ убедительно доказывал неизбежность («хочешь-не-хочешь») для «неплательщика» с пробудившейся совестью ухода из своей среды — или в гущу народной жизни, или в «стан погибающих». Частные темы рассказа о зарождении в «неплательщичьей» среде сознания долга перед народом, как непременном условии благотворной деятельности в народной среде, и др.— хотя и отражали некоторые положения народнических программ, но общая тематика рассказа была шире последних, захватывая не только тему «опрощения», тогда только зарождавшуюся в писаниях Льва Толстого, но и тему неизбежности борьбы между двинувшейся «в народ» народнической интеллигенцией и буржуазно-дворянским обществом.

НА СТАРОМ ПЕПЕЛИЩЕ.

1. Под этим же заглавием напечатано впервые в *ОЗ* 1876, X, серия «Люди и нравы» (см. № 3 в списке источников, авторские перепечатки указаны там же — №№ 10, 15, 16 и 17).

Рукопись неизвестна.

Печатается по *У III*.

2. Рассказ, повидимому, написан в Париже, в августе или сентябре 1876 г.: более точными и подробными сведениями о времени и обстоятельствах написания рассказа мы не располагаем.

Рассказ «На пепелище» имеет автобиографическое значение и в этом отношении связан с первою повестью «Разоренья»: в нем дополняется и заканчивается история «птицынского» разоренного гнезда. Авто-

[1] Письмо к Некрасову от 7 апреля,—там же, стр. 49—50.
[2] «Русские Записки» 1915, XI, стр. 49.
[3] «Иллюстрированная Газета — Иллюстрированная Неделя» 1876, № 42 от 22 октября, фельетон «Петербургские письма».

биографическое значение рассказа впервые отмечено в работе Дм. Васина (Д. Г. Соколова, дяди Успенского), установившего связь образа «родоначальника группы» с главою разветвленной соколовской семьи — Глебом Фомичем Соколовым, дедом писателя с материнской стороны.[1] Выписав строки рассказа: «Глава семьи также происходил» и проч. (стр. 133, 11 этого тома), автор «биографической заметки» комментировал их:

«Вот это-то строгое педантичное преследование своей идеи, этот суровый взгляд на труд и жизнь вредно отозвались на всех членах семьи. Все дети были одарены... хорошими умственными способностями, все были крепки и здоровы, все хотели учиться и жить сообразно с своими склонностями и призванием и на всё это было наложено строгое veto отца.

„Бедный старик,— говорит далее Гл. И-ч,— глава семьи, только под конец жизни увидел (и умер от этого), что, кроме зла, он не делал ничего".

К сожалению, это горькая правда».[2]

Однако как в семье генерала Птицына («Разоренье») воплощены только некоторые типичные для эпохи черты семьи Соколовых, так и в биографии «главы громадного семейства», в комментируемом рассказе, отражены только некоторые черты бюрократической карьеры Г. Ф. Соколова. Сведения о нем, своем отце, сообщает в цитированной статье Дм. Васин. Глеб Фомич был сын священника, окончил Тверскую семинарию, сначала учительствовал в духовном училище, затем перешел на гражданскую службу и, после смены нескольких должностей, закрепился в ведомстве министерства государственных имуществ; есть сведения, что Г. Ф. принимал участие в разработке мероприятий графа Киселева по реорганизации управления государственными крестьянами. Успенский родился, когда Г. Ф. Соколов состоял в должности председателя Тульской палаты государственных имуществ. Успенский в своей семье насчитывал несколько литераторов, к ним относится и Г. Ф.: его перу принадлежат статьи, не только по специальным вопросам его ведения, но и общего характера — этнографические и мемуарно-повествовательные: «Этнографические сведения о государственных крестьянах Тульской губернии» («Тульские Губернские Ведомости», 1861); «Воспоминания старого человека» («День», 1863), «Рассказ очевидца о происшествиях в Новгородской губернии во время первой холеры» («Русский Вестник», 1865) и др.

«Глава семьи» в комментируемом рассказе — один из ранних об-

[1] Дм. Васин. «Глеб Иванович Успенский. Биографическая заметка».—«Русское Богатство» 1894, VI, стр. 48.

[2] Там же, стр. 52.

разов разночинца, преданного слуги монархии, «копья в руках власти»; через три года в тех же «Отечественных Записках» появится рассказ Щедрина «Больное место» и раскроет во всей полноте образ фанатика «государственной идеи», к концу жизни только понявшего, что, кроме зла, он не делал ничего.

3. Специальное суждение о рассказе цензура имела в 1903 г., когда А. Г. Успенским было возбуждено ходатайство перед С.-Петербургским цензурным комитетом о разрешении отдельных изданий рассказов «На старом пепелище» и «Родион-радетель». Упоминавшийся выше цензор Н. М. Соколов и на этот раз дал отрицательное заключение: «В обоих рассказах беллетристического элемента очень мало. Это скорее ярко окрашенные публицистические обличительные работы в народническом духе по обычным формулам Успенского. Для народа едва ли можно ждать пользы от этой обличительной литературы и народнической критики».[1]

Комитет согласился с мнением цензора и рассказ «На старом пепелище», равно как рассказ «Родион-радетель», к выпуску отдельным изданием был запрещен.

Рассказом «На старом пепелище» заканчивалась серия 1876 г. «Люди и нравы». В 1877 г. демократическая критика подводила итоги своим высказываниям о серии. А. М. Скабичевский упрекал «хитроумных ценителей», не заметивших этой серии очерков и рассказов Успенского, «тогда как во многих провинциальных закоулках очерки эти были прочитаны с восторгом...»[2] О том же писал и К. М. Станюкович («Пимен») в «Новостях»:

«...публика пропустила.... прелестнейшие очерки, печатавшиеся в прошлом году в «Отечественных Записках» под названием «Люди и нравы». Там нет описаний гостиных, нет описаний обедов, но там есть такие поразительные страницы, такие живьем взятые сцены из жизни людей, ничего общего не имеющих с миром будуаров, там художник ставит вам такие вопросы, после которых читателю, не потерявшему еще совсем совести, делается как-то жутко. Именно жутко. Жутко за прошлое, за настоящее и будущее. А публика и критика пропустили эти тонкие наблюдения г. Иванова, под псевдонимом которого скрывается один из любимых и симпатичных наших народных писателей».[3]

---

[1] Центроархив (Ленинград).— С.-Петербургский цензурный комитет. Собрание рукописей № 1069—1903.

[2] «Биржевые Ведомости» 1877, № 20 от 21 января, фельетон «Мысли по поводу текущей литературы».

[3] «Новости» 1877, № 23 от 23 января, фельетон «Воскресные очерки».

НЕИЗЛЕЧИМЫЙ.

1. Под заглавием «Из памятной книжки» напечатано впервые в *ОЗ* 1875, IX [см. № 2 в списке источников; авторские перепечатки указаны там же — № 11 (переименовано: «Больной»), 15 (переименовано: «Неизлечимый»), 16 и 17].

Рукопись неизвестна.

Печатается по *У III*.

2. Первое упоминание о рассказе в дошедших до нас документах относится к маю 1875 г. и содержится в письме Успенского к А. В. Каменскому от 9 мая. «На-днях,— сообщал Успенский адресату.— непременно и непременно получите мою статью. Называется она «Из памятной книжки».... хотите печатайте теперь, хотите в августе».[1] «Статья» предназначалась для «Библиотеки Дешевой и Общедоступной. Обещание выслать ее «на-днях», очевидно, было выполнено, — 9 июня Успенский послал своему корреспонденту продолжение рассказа: «Посылаю Вам еще 2 страницы... Теперь начинается самая интересная глава—рассказ дьякона».[2]

Май и июнь Успенский занят был проектом реорганизации «Библиотеки» в дешевый демократический журнал и много писал об этом Каменскому, обещая свое постоянное и исключительное сотрудничество в «Библиотеке» («я сам, что ни напишу, все будет принадлежать Вам»); но, посылая рассказ, писатель не был уверен, что рассказ появится в «Библиотеке», и давал Каменскому указания, как поступить с рукописью. Рассказ оказался в редакции «Отечественных Записок»; об обстоятельствах передачи его туда из «Библиотеки» сведений не имеется.

3. Рассказ вызвал отклик Щедрина который, прочтя его, писал 2 октября Некрасову из-за границы. «Повесть Успенского — прелесть. Жаль, что в конце концов видна некоторая небрежность, как будто писать надоело...»[3] Этот отзыв был вызван не только художественными достоинствами рассказа, но и близкой Щедрину идеей пробуждения совести у русской молодежи (см. сказку 1869 г. «Пропала совесть»). Однако анализировать новый рассказ Успенского со стороны этой его идеи и в связи с напугавшим правительство движением интеллигенции «в народ», критика, близкая «Отечественным Запискам», не могла. Этим, очевидно, следует объяснить, что Скабичевский в «Биржевых Ведомостях» принужден был лишь передать содержание рассказа и заняться второстепенною темой о литературе и новом читателе.[4]

[1] «Русское Богатство» 1912, III, стр. 181.
[2] Там же, стр. 187.
[3] Н. Щедрин [М. Е. Салтыков]. Полное собрание сочинений, XVIII. Гослитиздат, М., 1937, стр. 310.
[4] «Биржевые Ведомости» 1875, № 279, от 10 октября, фельетон «Мысли по поводу текущей литературы».

Ткачевская критика не отозвалась на рассказ Успенского, заостренный против основного ее принципа; но в роли ее партизана неожиданно оказался С. С. Окрейц («Дед Пафнутий» в «Петербургском Листке»). «Кто вам поверит, г. автор,— обращался Окрейц к Успенскому,— что богатая купчиха Абрикосова... бросит капитал, дом и лавки, бросит родных и... забьется в деревню, в сырую избу, учить за 10 р. крестьянских детей в сельской школе... Г-н Г. Иванов видел жизнь, которую описывает; голова его сохранила впечатление среды... но его попутали старые примеры: он захотел облибералить подмеченное им, подделать простую жизнь под тенденцию...»[1] В рассуждениях Окрейца не только не было той политической остроты, какая была свойственна критикам «Дела», но он, незаметно для себя, повторил рассуждения попа Ивана (ср. стр. 206, 28 и далее в этом томе).

Комментируемый рассказ был впервые подписан новым псевдонимом Успенского, и в обсуждении его имели место те курьезные выступления, о которых речь была выше. В «Новостях» А. Кущевский писал: «Рассказ этот является рабским подражанием жанру г. Глеба Успенского... но подражатель перенимает только слабые стороны писателя, так как возвыситься до всего хорошего он не может... у подражателя останутся только описания пьянства, глупостей и безобразий, с прибавлением какой-то тенденции».[2]

4. В начале 1903 г. рассказ «Неизлечимый» был представлен в цензуру в связи с ходатайством А. Г. Успенского разрешить новое отдельное издание рассказа. Первое отдельное его издание (О. Н. Поповой, СПб., 1897) затруднений не встретило. Выше отмечен ряд запрещений отдельных изданий очерков и рассказов Успенского в 1903 г.; отклонено было ходатайство и о новом издании комментируемого рассказа. Мотивировка запрещения характеризовала рассказ с новой стороны, как произведение, направленное против церкви и духовенства.

С.-Петербургский цензурный комитет признал, что рассказ «не может служить полезным чтением для народа» и новое отдельное издание рассказа не разрешил.[3]

[1] «Петербургский Листок» 1875, № 173 от 2 октября; фельетон «Обзор журналов и книг».

[2] «Новости» 1875, № 272 от 2 октября, фельетон «Новости русской литературы».

[3] Центроархив (Ленинград).— С.-Петербургский цензурный комитет. Собрание рукописей № 1080—1903

НЕ ВОСКРЕС.

1. Под этим же заглавием и с этим подзаголовком напечатано впервые в *ОЗ* 1877, II (см. № 4 в списке источников; авторские перепечатки указаны там же — №№ 12, 15, 16 и 17).

Рукопись неизвестна.

Печатается по *У III*.

2. Являясь органической частью цикла, развивающей все ту же «неплательщичью» тему, рассказ в то же время связан с печатаемым в этом томе циклом «Письма из Сербии», завершая очерки с театра военных действий, печатавшиеся в «С.-Петербургских Ведомостях» и «Отечественных Записках».

Раскрытый Успенским в этом рассказе смысл сербо-турецкой войны привлек внимание В. И. Ленина: в числе выписок из книг и газет, собранных Лениным в сентябре и октябре 1914 г. для брошюры «Европейская война и европейский социализм» (замысел осуществлен не был), имеется выписка из рассказа, сделанная рукою Н. К. Крупской, со слов: «...После этой войны я только их и считаю настоящими героями» (226, 5) и кончая словами: «Действительно выходило, как будто из-за свинины вышло все дело...» (227, 13); заголовок к выписке сделан рукою Ленина: «„Не воскрес“ Глеба Успенского». Выписка следует за выписками из «Weg zur Macht» («Путь к власти») К. Каутского.[1] Назначение выписки среди прочих ленинских материалов к ненаписанной брошюре очевидно: массам раскрывался истинный смысл буржуазных войн, вуалировавшийся буржуазными и социал-шовинистическими публицистами пышной фразеологией о справедливости, свободе, цивилизации и т. д.

3. Как и серия «Писем из Сербии», рассказ «Не воскрес» развенчивал обанкротившихся организаторов добровольческого движения и его вождей, имевших ближайшее отношение к правой печати в России,— в частности В. В. Комаров и М. Г. Черняев руководили постоянным антагонистом демократической литературы, газетой «Русский Мир», систематически предоставлявшей свои страницы реакционному критику 70-х гг. пресловутому Авсеенко. Генерал Черняев был собственником «Русского Мира» и в 1877 г., когда газета статьей некоего W подвергла критике рассказ Успенского. Всю обличительную и разоблачающую проблематику рассказа W сводил к образу Долбежникова, акцентируя психологизм рассказа: «Некто г. Иванов поместил в «Отечественных Записках» психологический очерк „Не воскрес“. Не знаем, был ли сам г. Иванов в Сербии, или только пожелал воспользоваться встречей с одним из добровольцев, во всяком случае читатель не найдет

[1] «Ленинский Сборник», XIV. ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. 38—39.

в его рассказе ни военных, ни этнографических очерков».[1] Так писали в газете «героев» сербо-турецкой войны, делая вид, что не узнают в «г. Иванове» автора колючих корреспонденций из Сербии.

ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ.

1. Под этим же заглавием и с подзаголовком «Отрывок из памятной книжки» напечатано впервые в *ОЗ* 1877, VI (см. № 5 в списке источников; авторские перепечатки указаны там же — №№ 14, 15, 16 и 17; подзаголовок снят в *СиН*).

Рукопись неизвестна.

Печатается по *У III*.

2. Сведений о времени и обстоятельствах написания и печатания рассказа в дошедших до нас материалах не имеется.

3. Появление рассказа было отмечено в «Русском Мире». Упоминавшийся выше W писал о рассказе, передав его содержание: «Не будем глядеть на него с литературной стороны, не будем смущаться его нескладицей, невозможной идеей и т. д. Рассказ этот, повидимому, не что иное, как наивнейшее подражание одной повести Решетникова, где действует почтальон, впавший в литературу, повести, имеющей автобиографическое значение».[2] Обозреватель отказывал Успенскому в силе и возможности «говорить о народе и за народ»: «Чтобы слово о народе и за народ,— демагогически заявлял он,— прогремело полным звуком, надо, чтобы произносящий это слово стоял очень высоко духом и мыслию».

Это выступление «Русского Мира» заслуживает внимания только одним своим пунктом — установлением связи рассказа с именем Ф. М. Решетникова. Но речь, конечно, должна итти не о зависимости рассказа от повести Решетникова или о подражании Решетникову,— связь устанавливается между комментируемым рассказом и написанной Успенским же в 1873 г. биографией автора «Подлиповцев» (см. статью «Федор Михайлович Решетников» в этом томе). Рассказ строился на той же идее, которая руководила Успенским и в создании биографии писателя-демократа,— на идее возможности, а в известных исторических условиях и неизбежности зарождения в «необразованной толпе» сознания невыносимости своего положения и стремления к борьбе за

[1] «Русский Мир» 1877, № 76 от 20 марта, фельетон «Литературное обозрение».

[2] «Русский Мир» 1877, № 179 от 5 июля, фельетон «Литературное обозрение».

лучшую долю. Этот тезис был основным в борьбе Успенского против ткачевской литературно-политической концепции. Можно указать ряд совпадений биографии Решетникова с биографией Федюшки из рассказа «Голодная смерть»: то же стремление «делать пользу простому бедному человеку» помощию литературы, то же стремление сказать громко, во всеуслышание правду о жизни народа, те же неуклюжие стихи, над которыми Федюшка просидел год на чердаке; наружность Федюшки напоминает Решетникова при появлении его в столице (стр. 271, 23), и даже книга о стихосложении, фигурировавшая в биографии Решетникова, введена и в биографию Федюшки. Но судьба Федюшки сложилась иначе, чем судьба его «прототипа», и Федюшка отказался от жизни.

3. Особенность художественной структуры этого рассказа сравнительно с рассказами на ту же тему («На старом пепелище», «Неизлечимый»,— развитие сюжета в монологе персонажа),—в том, что автор берет на себя задачу пересказа событий о жизни персонажа. Это дало писателю возможность избежать того дефекта, который критика отмечала в упомянутых двух рассказах, упрекая Успенского за то, что персонажи его (дьякон, Анна Федоровна) говорят языком автора. «Запинаясь и конфузясь поминутно, девушка рассказала одну очень простую историю, которую я и записал так, «как понял», не ручаясь за точность и подлинность выражений»— такой переход делает Успенский от пролога к собственно рассказу, отказываясь на этот раз воспроизводить монолог рассказчицы.

ТРИ ПИСЬМА.

1. Под этим же заглавием и с подзаголовком «Из воспоминаний Долбежникова» напечатано в *ОЗ* 1878, III и IV (см. № 6 в списке источников; авторские перепечатки указаны там же— №№ 13, 15, 16 и 17; подзаголовок изменен в № 15).

Рукопись неизвестна.

Печатается по *VIII*.

2. Сведений о времени и обстоятельствах написания рассказа в дошедших до нас материалах нет.

3. «Прототипы» рассказа раскрыты В. Г. Короленко:

«У Глеба Ивановича есть рассказ „Три письма“. В нем излагается история молодого человека, попавшего учителем в разлагающуюся испорченную барством дворянскую семью; говорили, что это — история Битмита, англичанина по происхождению, но давно сжившегося с Россией и даже принимавшего участие в народническом движении. Два

его воспитанника, по фамилии Качка, были теперь уже взрослые молодые люди, производившие очень приятное впечатление. Оба были хорошими рабочими, слесарями».[1]

Н. Е. Битмит — сверстник Успенского, его товарищ по Тульской гимназии; как сын англичанина, он действительно состоял в британском подданстве. Битмит несколько раз привлекался к дознанию в связи с участием в революционном движении. В 1879 г. был вновь арестован по делу об убийстве генерала Мезенцева и, как иностранный подданный, выслан из пределов России. Очутившись в Париже, Битмит, по рекомендации И. С. Тургенева, был домашним учителем у художника Н. Д. Дмитриева-Оренбургского.[2] Сведения, сообщаемые о нем Н. В. Дмитриевой, почти совпадают с сюжетом рассказа Успенского.

«До <высылки из России> был домашним учителем в Оренбургской губернии у некоего помещика Качки... Качка внезапно умер, и Битмит, чтобы не бросить его семью на произвол судьбы и не оставить ее без помощника, женился на его вдове, работал, как вол, и поддерживал семью, не имевшую почти ничего, так как Качка все прожил. Потом он уехал в Петербург и жил уроками, посылая все заработки семье».[3]

Вхождение Битмита в семью Качки относится, очевидно, к 60-м гг. Ко времени его высылки из России его приемыши-дети были уже взрослыми, и судьба не всех их сложилась так, как сложилась судьба воспитанников «иностранца» в рассказе Успенского. Прототип Лизы — Прасковья Качка — кончила не деревенской «черною» работой. Правда, она принимала участие в работе московских кружков, но судилась не за революционную деятельность, а за убийство из ревности.[4]

Первоначально «Три письма» были связаны с рассказом «Не воскрес»: в роли рассказчика первоначально выступал герой последнего рассказа — Долбежников. Рассказ «Три письма» имел подзаголовок: «Из воспоминаний Долбежникова» (со сноской в *ОЗ*: «См. „Не воскрес“»). Но единства образа не получалось, и Успенский подзаголовок в *У* 1 заменил: «Из рассказов безнадежного».

---

[1] В. Г. Короленко. «История моего современника». Книга вторая. Гослитиздат, М., 1935, стр. 302.

[2] «К биографии и переписке Тургенева» (сообщение Б. Л. Модзалевского).— «Литературная Мысль», альманах I. Изд-во «Мысль». Пгр. 1923, стр. 246.

[3] Там же.

[4] В. Г. Короленко. «История моего современника». Книга вторая, цитированное издание, стр. 305.

БОЛЬНАЯ СОВЕСТЬ.

1. Под этим же заглавием напечатано впервые в *ОЗ* 1873, II и IV, в качестве первого звена непродолженной серии «Очерки, рассказы, наблюдения и другого рода отрывки из одних записок» (см. № 1 в списке источников, авторские перепечатки указаны там же— №№ 15, 16 и 17).

Рукописный материал к тексту — *ПД*2 (см. ниже).

Печатается по тексту *У*III.

2. Материалом для комментируемого очерка послужили заграничные впечатления Успенского 1872 г. (Берлин, Бельгия, Париж); эти же впечатления обусловили и тот строй мыслей, который отразился и в этом очерке и в следовавших за ним произведениях 70-х гг.

Успенский выехал за границу с Н. Е. Павловским, сотрудником «Отечественных Записок», братом первой жены Н. К. Михайловского, который, по позднейшим воспоминаниям М. Е. Михайловской, стремился в Париж «может быть, по каким-либо планам участия в политической агитации».[1] По словам той же М. Е. Михайловской средства на поездку обоим путешественникам были предоставлены Н. А. Некрасовым, рассчитывавшим иметь для журнала материал о жизни французской столицы после событий 1871 г. Успенский уехал в Париж в апреле 1872 г., вернулся в июле.

В Париже Успенский рассчитывал начать работу для «Отечественных Записок»—«Парижские заметки»; «Заметок у меня накопилось очень много,— писал он А. В. Успенской 2 июня 1872 г.,— и работать мне будет весело над ними».[2] Под намечавшуюся статью или ряд статей он просил у Некрасова аванс.[3]

«Парижские заметки», однако, написаны не были; Успенского увлекала идея романа (см. ниже), и он, очевидно, работал над романом: «...если бы мне еще 500 франков, то, пробыв здесь еще месяц, я привез бы в Петербург готовую часть, которая пошла бы на осень»,— писал он Н. А. Долганову 15 мая 1872 г. о своей новой работе.[4]

Роман также написан не был (материалы его нам неизвестны); по возвращении на родину Успенский вновь обратился к парижским материалам, и замысел «Парижских заметок» перешел в замысел серии, началом которой и явился комментируемый очерк. Изменилось не только название серии: осложнился сюжет внесением в очерк и

[1] В. Чешихин-Ветринский. «Глеб Иванович Успенский», цитированное издание, стр. 91.

[2] Цитируется по материалам т. XIII настоящего издания.

[3] «Русские Записки» 1915, XI, стр. 37—38.

[4] Государственный Литературный Музей. «Летописи», цитированная книга, стр. 115.

других европейских тем и темы специфически русской — о «заболевании совести» у русского человека,— а вместе с этим изменился и жанр намеченной работы: из статьи-корреспонденции о чужой стороне вырос художественно-публицистический очерк о стране родной, насыщенный параллелями русской и западноевропейской жизни, параллелями психики русского человека и человека западноевропейского.

Известные заграничные письма Успенского 1872 г. к А. В. Успенской содержат большой материал, который предполагалось, очевидно, включить в «Парижские заметки»; в комментируемый очерк материал этот включен почти полностью. Так, строки очерка, посвященные Берлину (334, 27), соотносятся с строками писем автора «Больной совести» к А. В. Успенской — берлинского от 11 апреля 1872 г. («...военщина свирепствует, это всё какие-то краснощекие дылды с огромными красными воротниками, с камелиями под руку»[1]) и парижского от 15 апреля («...среди масс народа появляется солдатчина... ряды пуговиц, золотых орлов, киверов — повсюду... затем идут дворцы и караулы, дворцы и караулы»[2]).

К картинам Бельгии (336, 8) также имеется параллель в письме от 15 апреля: «Вся страна эта покрыта фабриками и заводами...нет уголка, где бы не было труб, дыма, свиста паровиков, и все это до того ужасно, что кажется, под землей, где все это идет, задыхаются массы, миллионы людей... В Бельгии, повидимому, полное безлюдье — весь народ на работе; деревень нет, а около фабрик — длинные казармы выстроенные фабрикантами для рабочих... Бедность тут ужасная, как мне кажется; а кругом каменные горы... и в щелях люди, как мухи, бьют этот камень».[3]

Судебные расправы версальских победителей с рабочими, участниками коммуны, уцелевшими в «кровавую неделю» в мае 1871 г., продолжались до 1876 г. Отнюдь не склонный к сочувствию побежденным коммунарам Ш. Сеньобос пишет: «Несмотря на то, что во Франции установилось обыкновение рассматривать связанные с гражданской войной проступки как преступления политические, караемые лишь ссылкой, и приговаривать к каторге только за уголовные деяния...военные суды без строгого разбора присуждали одних к каторжным работам, других к ссылке; 7500 осужденных были сосланы в Новую Каледонию».[4]

[1] Цитируется по публикации «Русского Богатства»: «Из переписки Г. И. Успенского», 1912, 1, стр. 237.
[2] Там же, стр. 239.
[3] Там же, стр. 241.
[4] «История XIX века». Под редакцией профессоров Лависа и Рамбо. Т. VII. Соцэкгиз, М., 1939, стр. 13.

Свидетелем одного из таких процессов и был Успенский в Версале. Процесс описан им в комментируемом очерке (337, 20), параллель к нему имеется в письме писателя к А. В. Успенской от 10 мая 1872 г.[1]

Всё в Париже напоминало о недавних казнях. В том же письме от 10 мая Успенский рассказал о пережитых им ощущениях на месте казни 450 коммунаров:

«...здесь <у Пантеона> на этом самом месте версальцы в прошлом году 21 мая расстреляли 450 коммунистов, вся площадка была залита кровью,— и теперь даже кровь так въелась в камень, что как ни отчищали ее, легие пятна видны. Я на этой площадке простоял час словно помешанный или в столбняке, ноги мои словно прилипли к тому месту, где умерло столько народа».[2]

И на этот раз и в последующие свои приезды в Париж Успенский с гневом возвращался к «подвигам» палачей Коммуны.

Параллель в письме от 10 мая имеется и к сценке у входа в «Notre-Dame» (346, 2): «Я попал туда в троицу; служба была торжественная, но народу почти никого не было, или было очень мало,— всё больше народ, который пришел поглазеть, посмотреть, один (франт) вошел даже в шапке и с сигарой, с дамой под руку». [3]

Но не все темы, намеченные Успенским в письмах к А. В. Успенской, получили отражение в очерке. Включив в него свои впечатления от бельгийской деревни, автор оставил неосвещенной французскую деревню, материал о которой у него, повидимому, был накоплен. Тема эта раскрывается только в письме Успенского от 15 апреля 1872 г.: «<Во Франции> я думал, что я попал в Россию, в Тамбовскую или в Тульскую губернию... поля — те же самые, болота гнилющие, необработанные—так же, деревни, хотя и каменные, но переполнены, с одной стороны, отелями, с другой — точно такими же, как у нас, развалившимися лачужками, буквально такими же, из навоза и соломы, с одним оконцем, с плетнем, который повалился, совершенно, как у нас... это бедность, действительно бедность... здешние лошади — совершенно наши почтовые, загнанные... Чем ближе к Парижу, тем больше нищеты».[4]

На западе Успенский усмотрел бóльшую, чем у себя на родине, обнаженность классовых противоречий, более острые формы классовой борьбы. Историческое чутье подсказало писателю, что и его родина вступила на ту же дорогу, которою шел запад Европы, но пока в России —«цветы»: вместо «ягод» — берлинской поенщины, бельгийского

[1] «Русское Богатство», 1912, I, стр. 249—250.
[2] Там же, стр. 248.
[3] Там же, стр. 246.
[4] Там же, стр. 242.

заводчика, версальского судьи — у нас Кудиныч, патриархальный Куприянов, фабрикант, оплакивающий судьбу своих рабочих, и сердобольные прокуроры. Все эти люди — «ни то, ни сё», «больные совестью», знамение только еще сдвинувшейся с места жизни. Более зоркий и более жесткий в своем анализе Щедрин обнаружил и в русской жизни не одних Кудинычей и сердобольных прокуроров, но и Батищевых («Переписка» — «Благонамеренные речи») и «полководцев», победивших «мятежных семеныевцов» («Превращение» — там же). Прав Щедрин, но прав, конечно, и Успенский: не раскрывшая еще себя вполне историческая действительность порождала людей «ни то, ни сё».

Образы этого типа русских людей запечатлевались в памяти писателя в течение многих лет,— так с прототипом «монаха» Успенский столкнулся еще в 1869 г. на Липецких водах (см. письмо его к А. В. Успенской из Липецка от 9 мая 1869 г.: «пойду в сад, публика все знакомая — монах, Екатерина Петровна...»[1]), но осмыслил их писатель только тогда, когда воочию увидел раскрывшийся вполне буржуазный общественный строй, изживший все остатки патриархальности в отношениях хозяина и работника, капиталиста и пролетария.

3. «Больная совесть» — первое выступление Успенского в художественно-публицистическом жанре — вызвала оживленные отклики печати. Параллель между «там» и «у нас», по определению Н. К. Михайловского, «очень тонкая и любопытная, хотя, к сожалению, и недостаточно разработанная», насторожила и заставила высказаться весь спектр антидемократической публицистики, от «фельдфебелей» «Русского Мира» до либеральствовавшего В. Буренина,— последний выступил после того, как Н. К. Михайловский отозвался на очерк в очередном своем фельетоне в «Отечественных Записках».

Высказывания реакционных «выжлятников и доезжачих» из «Русского Мира» были того же порядка, как и высказывания их за месяц перед тем по поводу очерка Щедрина «По части женского вопроса» («Благонамеренные речи»), — оскорбительные комплименты по адресу автора. Так, Авсеенко, клеветнически приписывавший демократическому лагерю литературы преклонение перед западной Европой и глумление над всем русским, сознательно искажал смысл зарисовок Успенского в «Больной совести»: в истолковании критика-реакционера Успенский якобы утверждал в этом очерке, что настоящее «царство прижимки совсем не у нас», что «русский человек добр и благодушен» — будь это отставной солдат Кудиныч или приказчик Куприянов. Смысл утверждений Успенского был, конечно, иной: если между Кудинычем и прусской солдатчиной автор «Больной совести» действительно усматривал разницу, то «прижимка» Куприя-

[1] Цитируется по материалам т. XIII настоящего издания.

нова ничем по существу не отличалась от «прижимки» бельгийца-фабриканта. Патриархальное благодушие Куприянова не заслоняло штрафов, обсчитываний рабочих и даже пощечин. Более развитые формы капитализма только резче оттеняли звериное лицо его слуг — будь то тер-салец-прокурор, победитель-пруссак или бельгийский фабрикант.

За Авсеенко похвалы Успенскому расточал другой обозреватель той же газеты: «Я давно ничего не читал с таким удовольствием, как новое произведение г. Успенского... Посудите сами: г. Глеб Успенский, тот самый г. Глеб Успенский, которого в прогрессирующем лагере произвели в гении за повесть «Разоренье»... этот г. Глеб Успенский во всей Европе только и находит хорошего доброго человека в России... на каждой странице то и дело повторяет «нет, у нас лучше!..»[1]

Вслед за «Русским Миром» примерно так же была прочитана «Больная совесть» и некоторыми другими реакционными газетами.

Выступление Н. К. Михайловского положило конец оскорбительным «комплиментам». То, чего достигла западная Европа, у нас в зародышевом состоянии, — таков исходный тезис Михайловского. Это наше состояние объясняет и все особые явления нашей жизни. Наш рост может пойти двумя путями: «будущий Кудиныч либо перестанет бить черкеса совсем, хоть его самого убейте, либо будет бить его, как вреднейшего человека и кровного врага своего».[2] Абсолютного общественного блага нет; то, что либеральная мысль считает благом, не всегда благо с точки зрения трудящихся классов. Не доброта Кудиныча, а опыт народов, вышедших из «зародышевого состояния», поможет нам в различении «пшеницы от плевел». Мы должны помнить, что пшеница «точно в руках фокусника, мгновенно обращается в плевелы, как только направлена не непосредственно на благо трудящихся классов. Только на этом и больная наша совесть может пока успокоиться, что будет дальше неизвестно».[3]

Выводы Михайловского несомненно политически острее круга идей Успенского, отразившихся в первом после заграничного путешествия очерке; тем не менее, конечно, Успенский ближе к Михайловскому, нежели хотелось бы его «хвалителям» из правого лагеря. Пройдет два года, и сам Успенский в очередном очерке «Из памятной книжки», рассказывая о пережитом в Лондоне, внесет в свою концепцию «там и у нас» и большую четкость и большую остроту: «там» — «борьба за жизнь более ясная и осязаемая», «там» — видна и понятна «бесцеремонная,

[1] «Русский Мир» 1873, № 57 от 4 марта, фельетон «Наблюдения и заметки».

[2] Н. М<и х а й л о в с к и й>. «Литературные и журнальные заметки». — «Отечественные Записки» 1873, III, стр. 163.

[3] Там же, стр. 165.

жестокая правда дела и поступков»; «у нас, в русской земле, она не так беспощадна... у нас есть народ, который любит действовать не в одиночку». И далее: «еще достаточно неизвестно, где скрывается настоящая сила — в курной русской избе... или в хоромах».[1]

ПД$_2$ — листок наборной рукописи очерка, автограф, содержит текст главы IV очерка со слов: «После трехмесячного шатания» (353, 33). Озаглавлено автором: «Больная совесть. Глава III»; размер — $^1/_4$ листа писчего формата, оборот белый. Левая нижняя часть листка (примерно восьмая доля) оторвана; отрывом испорчено семь нижних строк; последняя полная строка кончается словами: «Много хорошего...» (355, 31). Большинство вычерков сделано спиральною линией, и некоторые прочтению не поддаются.

Содержащиеся в тексте цикла «Новые времена, новые заботы» намеки, упоминания, цитаты и проч. раскрываются следующим образом:

Стр. 17, строка 27.—«... паневочка худая ровно три года гнила».

Полный текст песни см. в рассказе 1868 г. «Остановка» («Остановка в дороге» — т. III настоящего издания, стр. 423 и 657).

Стр. 17, строка 30.—«...с уверенностью говорила: „вырастешь велик, будешь в золоте ходить“...».

Мотив, повторяющийся в разных записях колыбельной песни. В тульской записи читаем:

Пойдешь в сад —
Разгуляешься
Да и с нянюшками,
Да и с мамушками.
Будешь в золоте ходить,
Много сѐребра носить.[2]

Стр. 31, строка 7.—«...Иван Кузьмич напал на камень и стал рыться за ним в глубь земли... оказалось, что и железа в этих местах видимо-невидимо».

[1] «Из памятной книжки. I. Там знают».

[2] В. В. Ш е й н. «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. д.». Том I, выпуск первый. Изд. Акад. Наук, СПб., 1898, стр. 4.— См. там же №№ 7, 8, 9 и 21 (последняя запись также тульская).

Действие рассказа приурочено к Тульской губернии. Каменный уголь здесь впервые был открыт в 1812 г.; новые месторождения находили и в 70-х гг.— см. сообщение «Горного Журнала» (1871, III) о результатах анализа образцов угля из деревни Липовка Епифанского уезда. Тогда же шли поиски новых месторождений и железной руды — см. сообщение «Горного Журнала» (1871, II) об анализе железистого песчаника из имения кн. Лобанова-Ростовского (также Тульской губернии).

Стр. 40, строка 32.—«...над головой нищей, на том же углу,— „Парижская жизнь"...»

Названная здесь оперетта Ж. Оффенбаха впервые появилась на сцене в Париже в 1866 г.; в России получила известность вместе с другими произведениями того же автора: «Орфей в аду», «Прекрасная Елена». Русскую сцену опереточный жанр завоевал к началу 70-х гг. Распространение его в России совпало с периодом железнодорожной строительной горячки и «бешеных денег», в связи с чем эротическое истолкование опереточного жанра было характернейшим обстоятельством, сопровождавшим первые шаги оперетты в России.

Указанными обстоятельствами объясняется отрицательное отношение демократической литературы к опереточным жанрам и Оффенбаху в частности (соответствующие статьи Михайловского, высказывания Щедрина и проч.)

Стр. 40, строка 34.—«*Вдруг*, нежданно-негаданно, налетит по железной дороге Рубинштейн, Давыдов...»

Речь идет, повидимому, о Н. Г. Рубинштейне и В. Н. Давыдове. Н. Г. Рубинштейн охотно давал концерты в провинции; Давыдов до поступления на казенную сцену был известным провинциальным актером и в описываемое Успенским время славился своими выступлениями в оперетте. Сведений о концертах Рубинштейна и спектаклях Давыдова в Калуге в описываемое Успенским время в местной прессе не обнаружено.

Стр. 44, строка 36.—«Он пять раз подходил к кассе и спрашивал билет в Оптину пустынь...»

Один из религиозных центров, собиравший в свои стены богомольцев из подмосковного района, монастырь Оптина пустынь находился в пределах б. Калужской губернии.

Стр. 50, строка 23.—«...под топором Ляпунова — Ивана Кузьмича —...»

Пародийное использование стиха из драмы Н. В. Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (акт V, вых. 8-й):

«Пей под ножом Прокопа Ляпунова!»

Стр. 63, строка 20.—«...когда романиста начинает заменять зоолог...»

Здесь отражено отношение писателя к французскому натурализму и к Э. Золя в частности. В письме к А. В. Каменскому от 9 мая 1875 г. Успенский писал о замысле статьи для «Библиотеки Дешевой и Общедоступной»: «Моя статья о Золя будет называться „Брем и Золя". Последним романом он завершил картину французского общества, т. е. не французского, а всякого...при настоящих условиях жизни, и кончил провозглашением, т. е. не нашел ничего лучшего, скотины, животного (Дезире). У него удивительный зверинец больных животных— от Тюльери до крестьянской избы. Вот почему я беру Брема».[1] «Последний роман» Золя — «Преступление аббата Муре» — 1875; Дезире — персонаж этого романа.

Стр. 65, строка 1.— «Потомок древнего рода, сотни лет воевавшего... и весьма ясно рисующими будущее».

Успенским намечена сюжетная линия западноевропейского демократического романа, в частности английского, отражавшего тенденции и идеи чартистского движения.

Стр. 72, строка 1.— «Корпус» — фирма Германа Корпус; известный петербургский магазин готового платья.

Стр. 118, строка 27. — «...принес роман „Похождения Рокамболя"...»

Серия романов Понсон дю-Терраля, бульварного романиста времени второй империи («Похождения Рокамболя», «Парижские драмы» и «Воскресший Рокамболь»), была издана в русском переводе в 11 томах в С.-Петербурге в 1867—1868 гг.

Стр. 119, строка 6.—«... более ужасного одиночества, в которое поставлен европейский рабочий, трудно себе представить... „теперь живи, как знаешь"».

Характеризуется положение и моральное состояние французского рабочего класса после подавления коммуны, в первые годы третьей республики. Характеристика эта, однако, не предвидела самого ближайшего будущего: «Через каких-нибудь шесть лет после подавления Коммуны, — писал В. И. Ленин в сорокалетнюю годовщину коммуны,— когда многие борцы ее еще томились на каторге и в ссылке, во Франции уже начиналось новое рабочее движение. Новое социалистическое поколение, обогащенное опытом своих предшественников, но отнюдь не обескураженное их поражением, подхватило знамя, выпавшее из рук борцов Коммуны, и понесло его уверенно и смело вперед при кликах: «да здравствует социальная революция! да здравствует Коммуна!». А еще через пару-другую лет новая рабочая партия и поднятая ею в стране агитация заставила господствующие классы

[1] «Русское Богатство» 1912, III, стр. 182.

отпустить на свободу пленных коммунаров, еще оставшихся в руках правительства».[1]

Стр. 121, строка 5.—«Воскресший Рокамболь».

См. примечание к стр. 118, *27*.

Стр. 122, строка 10.—«...похлопывает пальцем по обертке „Тайн мадридского двора"...»

Русский перевод романа Г. Борна под заглавием: «Изабелла, или Тайны мадридского двора. Исторический роман из времен новейшей Испании» — вышел в 1874 г. (М.).

Стр. 122, строка 35.—«На последнем придворном балу в Тюльери... за этими, ныне нашими врагами...» (123, 19).

Речь идет, очевидно, о «Современнике» («...один из старых номеров лучшего русского журнала...» — 122, *19*); приводимого Успенским отрывка в отделе «Моды» в книжках «Современника» за 1854 год не обнаружено.

Стр. 124, строка 32.—«Выводя на сцену самого лучшего человека тогдашнего времени... отвычкою от совести и любви!»

Речь идет о романе И. С. Тургенева «Рудин».

Стр. 126, строка 6.—«Надобно изолировать детство его от всех условий... бросается со скалы».

Отрывок отражает отношение писателя к так называемому тенденциозному роману (Омулевский, Бажин, Михайлов-Шеллер и др.). Отрывок этот имеет в виду Н. С. Русанов в своих воспоминаниях: «<Бажина>, в числе других тенденциозных беллетристов-шестидесятников, изобразил в печати и дорисовал в частных разговорах Глеб Успенский, комично описывая, как вся эта школа в сущности в десятый и сотый раз переписывала Рахметова, а потому и героев-то своих кормила не по-человечески: даст им фунт пороху, а потом фунт дроби,— и, конечно, начиненный таким образом субъект только и может, что совершать геропческие подвиги».[2]

Стр. 129, строка 17.—«N-ский справочный листок».

В Туле издавалась с 7 ноября 1864 г. по 1866 г. еженедельная газета «Тульский Справочный Листок»; издание частное. Газеты такого же типа и названия в 60—70-е гг. выходили в Астрахани (с 1866 г.), Самаре (с 1867 г.), Воронеже (с 1869 г.), Орле (с 1873 г.) и т. д.

Стр. 140, строка 10.—«... нетвердые пальцы и, очевидно, непослушные руки с большой поспешностью разыгрывали нечто из „Прекрасной Елены"».

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. XVII, стр. 115.

[2] Н. С. Русанов. «На родине. 1859—1882». Изд. Всесоюзного О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, М., 1931, стр. 221—222.

Оперетта Оффенбаха «Прекрасная Елена» (1864) впервые в России была поставлена в Петербурге на сцене Михайловского театра. См. примечание к стр. 40, 32.

Стр. 140, строка 14.—«...(читай Бекера)».

Имеется в виду книга С. У. Бекера, исследователя Африки: «Путешествие к верховьям Нила»; по-русски вышла двумя изданиями (Мамонтов в Москве) в 1868 и 1875 гг.

Стр. 149, строка 16.—«...урок-то по Ушинскому тверже».

Речь идет о педагогическом пособии К. Д. Ушинского к его книгам для начального школьного обучения: «Родное Слово. Книга для учащих. Советы родителям и наставникам о преподавании родного языка». 1-е изд. СПб. 1870.

Стр. 159, строка 15.—«Разговорились о чем-то... о какой-то книге и, разумеется, о том, что делать...»

Указание на роман Чернышевского «Что делать?»— См. стр. 160; 2: «Из мастерской сделали артель»— и проч.

Стр. 162, строка 24.—«...лавочник прислал новых книг: „Рокамболь-сын“...»

В списке русских переводов романов Понсон-дю-Терайля за 60—70-е гг. этот роман не значится.

Стр. 180, строка 26.—«...даже и в „Русском Слове“ не сказано прямо так, что, мол, это всё одно».

Статьи «Русского слова» — Ф. М. Флоринского («Усовершенствование и вырождение человеческого рода», 1865), Н. В. Шелгунова («Болезни чувствующего организма», 1864) и др.— трактовали вопросы высшей нервной деятельности человека и человеческого поведения с упрощенной вульгарно-материалистической точки зрения. Первопачально в тексте рассказа фигурировал В. О. Португалов. К теме рассказа Успенского близки статьи Португалова 1869 г., напечатанные не в «Русском Слове», а в «Деле»: «Источники болезней», «Беспредельность гигиены», «Последнее слово науки».

Стр. 183, строка 22.—«Не хотите ли взять вот Шлоссера: это, я думаю, будет довольно здорово...»

Речь идет, очевидно, о «Всемирной истории» Ф. Шлоссера; первые два тома этого многотомного труда вышли в издании Н. А. Серно-Соловьевича и Л. Н. Шелгуновой под редакцией Н. Г. Чернышевского: в дальнейшем переводы редактировались В. А. Зайцевым.

Стр. 184, строка 11; стр. 185, строка 23.—«Не хотите ли „До человека“?»;—«Хелиасты, Иван Иванович, что такое ?»

«До человека» — анонимная статья П. Л. Лаврова; напечатана в «Отечественных Записках» 1870, кн. I, II и III (отдельное издание неизвестно); о хилиастах упоминается не в этом сочинении Лаврова, а в «Исторических письмах» («Письмо второе», по изд. 1870 г.

стр. 26—27: «Безусловно лучшее существовало и для Прудона: истина, свобода, справедливость, и это безусловное становилось здесь целью и сущностью прогресса с такою же субъективною обязательностью, как тысячелетнее царство для хилиастов»).— С 1870 г. Лавров был в эмиграции, его имя было запретным, «Исторические письма» к печатанию и обращению после 1870 г. были также запрещены. Герой Успенского получил от доктора, очевидно, «Исторические письма»; упоминание статьи «До человека» и все речи об этой статье персонажей,—совершенно очевидно, цензурное прикрытие нелегальной книги Лаврова.—Изложение и критика хилиастических учений (вера в земное 1000-летнее христово царство) входили в курсы предметов, проходившихся в духовных семинариях: церковной истории, догматического богословия и др.

Стр. 189, строка 11.—«Почитай-ко, что у Бокля сказано — свинья!..» «Ох, если бы Бисмарк вас распалил!..»

Общая направленность «Истории цивилизации в Англии» делала имя Бокля популярным в некоторых кругах русской демократической интеллигенции 60—70-х гг. и позже. В конце книги Бокля читатель встречал следующее оптимистическое предсказание, совпадавшее с настроениями революционной демократии 60—70 гг.: «...как верно то, что ум человеческий идет вперед, так же верно и то, что наступит для него час освобождения. Быть может, он придет скорее, чем кто-либо думает, ибо мы идем вперед скоро и большими шагами. Знамения времени вокруг нас, и кто хочет читать да читает».[1]

Популярность, но другого рода, имени Бисмарка в демократических кругах объясняется тем обстоятельством, что в борьбе с реакцией демократическая публицистика очень часто обращалась к личности германского канцлера, как вдохновителя общеевропейской реакции (см. у Щедрина «Благонамеренные речи», «Культурные люди» и др.).

Стр. 234, строка 30.—«...словно начал читать Еруслана Лазаревича...»

Полное название популярной русской сказки — «Сказка о славном и храбром витязе Еруслане Лазаревиче»; списки этой сказки восходят к XVII в.; наиболее раннее из известных печатных изданий — 1790 г. (СПб.). Наиболее распространенная народная книга, выходившая ежегодно многими тиражами и в различных изданиях; в 1876 г. вышла у шести издателей лубочной литературы общим тиражом 80 тыс. экземпляров.

[1] Цитируется по изданию Ф. Павленкова, СПб., 1895, стр. 528. В 60-е годы книга переводилась и издавалась неоднократно; были распространены переводы А. Н. Буйницкого, К. Н. Бестужева-Рюмина и Н. Тиблена; имелось удешевленное издание.

Стр. 235, строка 28.—«,... принимаюсь за чтение... Гуака,...»

Полное название —«Гуак или непреоборимая верность. Рыцарская повесть». В «Росписи» Смирдина значится в числе оригинальных русских сочинений. Наиболее раннее из известных печатных изданий — 1789 г. <М.>. Также одна из распространенных лубочных книг XIX в.; в 1876 г. вышла двумя изданиями общим тиражом 34 тыс. экземпляров.

Стр. 237, строка 9.—«...спавшими богатырями францыль-венецианами».

Францыль Венециан — герой лубочной книги «История о храбром рыцаре Францыле Венециане и о прекрасной королевне Ренцывене». В «Росписи» Смирдина значится в числе переводных книг; наиболее раннее из известных печатных изданий — 1787 г. <М.>. Также распространенная в лубочных изданиях книга: в 1876 г.— два издания, общий тираж 13 тыс.

Стр. 244, строка 18.—«...кто-то из собеседников заговорил о самоубийствах... близкое или дальнее знакомство».

На 1875—1878 гг. приходится исключительно большой рост самоубийств в Петербурге; против 55 случаев самоубийств и покушений на самоубийства в 1866 г.— в 1876 г. их насчитывалось 199; тенденция роста самоубийств в столице превышала тенденцию роста их в стране на 263%.[1]

Стр. 247, строка 5.—«Почему это, — спрашивал он, — разные комитеты... сотни лет и каждый день?»

Агитация «за братьев-славян» охранительной печати и соответственно настроенных общественных слоев, в связи с борьбою балканских славян за национальное освобождение, имела своею задачей отвести внимание демократической интеллигенции общества от внутренней политики царизма и от бедственного положения масс внутри страны. По этой причине пользовалась поддержкой администрации и деятельность славянского благотворительного комитета, собравшего по подписке, кружечным сбором и другими способами огромные средства.

Стр. 262, строка 31.—«... будет непременно годиться в горбуновский рассказ; непременно выйдет что-нибудь вроде: „Наслежу, говорит, следов... а ты... по ним и ходи“...»

Имеются в виду юмористические монологи и сцены И. Ф. Горбунова: «У пушки», «Мастеровой», «Затмение солнца» и др. Приводимая из «Псалтыри» цитата — искажение, основанное на созвучиях слов— «наслежу», «следы» с славянским глаголом «наследити».

Стр. 263, строка 11.—«...не понимая ни этой „фанатизмы“...»

[1] Заимствовано из книги А. В. Лихачева: «Самоубийство в Западной Европе и Европейской России». СПб., 1882.

Имеется в виду тогдашняя газетная фразеология; «религиозным фанатизмом» газеты объясняли преследования славянского населения в Турции.

Стр. 268, строка 30.—«...подвести под сикурс».

«Сикурс» («сукурс») — военный термин петровского времени: подкрепление, помощь; в переносном смысле — подвести под удар, под неприятность.

Стр. 296, строка 33.—«И тут же шла речь о„подводных камнях"...»

Имеется в виду роман М. В. Авдеева «Подводный камень» (1860), трактовавший тему брака, свободу чувства в браке и проч.

Стр. 326, строка 11.—«...расстоящая соединивый...» — церковнославянское, слова молитвы при церковном обряде венчания.

Стр. 339, строка 8.—«Одному только Нэю на Сан-Мишель поставили монумент за измену...»

Памятник Нею на месте его казни (расстрелян правительством Людовика XVIII за переход на сторону Наполеона I во время «Ста дней») поставлен Наполеоном III.

Стр. 350, строка 23.—«...а вы тут революцию затеваете...»

Имеется в виду февральская революция 1848 г.

Стр. 351, строка 20.—«...при Шарле-дис...»

При Карле X (низвергнут июльской революцией 1830 г.).

Стр. 354, строка 17.—«Кроме Наполеона четвертого — никто не будет!»

Реакционная бонапартистская партия в 1874 г. провозгласила «Наполеоном IV» сына Наполеона III, «принца Лулу».

Стр. 358, строка 6.—«...одним отделением одной канцелярии...»

Замаскированное наименование «третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии».

Стр. 360, строка 3.—«Шармер»— модная портновская петербургская фирма 40-х гг.; существовала и в 70-е гг. в руках других владельцев.

В дефинитивный текст цикла «Новые времена, новые заботы», по которому цикл печатается, внесены исправления обнаруженных в нем погрешностей — типографских, влияющих на смысл и на язык текста, или редакционных; исправления произведены по другим источникам (шифры в квадратных скобках указывают источники, дающие правильное чтение); погрешности, проходящие через все источники, исправлены в соответствии с другими показаниями дефинитивного текста (ссылки на них см. в квадратных скобках) или по общему смыслу. Исправления явных опечаток не оговариваются.

Стр. 24, 27. Слова: не видал — *вставлены вместо слов*: не знал [*ОЗ, ПКн*].

Стр. 25, 4. Слова: прочел решение по этим бумагам, — *вставлены по ОЗ и ПКн.*

Стр. 25, 16. Слово: фальшь — *вставлено вместо слова*: фальш [*ОЗ, ПКн, У I, У II;* см. 22, 12].

Стр. 25, 26. Слова: оживили их и воскресили — *вставлены вместо слов*: оживило их и воскресило [*ОЗ, ПКн, У I , У II*].

Стр. 26, 21. Слова: и фразою — *вставлены вместо слов*: а фразою [*ОЗ, ПКн, У I, У II*].

Стр. 28, 11. Слово: грызлись — *вставлено вместо слова*: грызли [*ОЗ, ПКн*].

Стр. 29, 32. Слова: перед ним... вокруг него — *вставлены вместо слов*: перед нею... вокруг нее.

Стр. 29, 33. Слово: оно — *вставлено вместо слова*: она [*ОЗ, ПКн, У I*].

Стр. 30, 22. Слово: замолкало — *вставлено вместо слова*: замолкло [*ОЗ, ПКн, У I, У II*].

Стр. 31, 8. Слово: напал — *вставлено вместо слова*: попал [*ОЗ, ПКн, У I, У II*].

Стр. 34, 12. Слово: копать — *вставлено вместо слова*: ковать [*ОЗ, ПКн, У I*].

Стр. 36, 22. Слово: нахватала — *вставлено вместо слова*: нахватали [*ОЗ, ПКн, У I*].

Стр. 46, 25. Слова: отвертевшись благополучно от дела да съездив при этом тоже благополучно к Троице-Сергию,— *вставлены вместо слов*: отправившись благополучно к Троице-Сергию [*ОЗ, ПКн, У I*].

Стр. 51, 2. Слова: кража овчины, кража двух кулей ржи, кража подпояски — *вставлены по ОЗ, ПКн и У I.*

Стр. 62, 6. Слова: до 5 часов вечера ради своего рта, трудится — *вставлены по ОЗ, ПКн, У I и У II.*

Стр. 64, 20. Слово: разогнал — *вставлено вместо слова*: разгонял [*ОЗ, ПКн, У I и У II*].

Стр. 68, 14. После: каплю этой воды — *сняты слова*: да и той капли [*ОЗ, ПКн и У I*].

Стр. 76, 8. Слово: очень — *вставлено по ОЗ и ПКн.*

Стр. 81, 13. Слово: «карахтерный»— *вставлено вместо слова*: «характерный» [*ОЗ, ПКн, У I и У II*].

Стр. 81, 36. Слова: с крестом — *вставлены вместо слова*: крестом [*ОЗ и ПКн*].

Стр. 83, 19. Слово: взбудить — *вставлено вместо слова*: возбудить [*ОЗ, ПКн*].

Стр. 85, 21. Слово: Никифорова — *вставлено вместо слова*: Ивановой.

Стр. 86, 16. Слово: оживлявший — *вставлено вместо слова*: оживляющий [*ОЗ, ПКн, У I и У II*].

Стр. 86, 29. Слова: понимая то, что понятно, и не слыша вовсе того, что непонятно,— *вставлены вместо слов*: понимая то, что непонятно [*ОЗ и ПКн*].

Стр. 87, 33. Слово: казалось — *вставлено вместо слова*: оказалось [*ОЗ; ПКн, У I и У II*].

Стр. 92, 7. Слово: предположил — *вставлено вместо слова*: продолжал [*ОЗ, ПКн, У I и У II*].

Стр. 106, 25. Слово: отца — *вставлено по ОЗ, ПКн и У I.*

Стр. 121, 17. Слово: меня — *вставлено вместо слова*: мое.

Стр. 124, 5. Слова: все, что я так... В одно мгновение — *вставлены по ОЗ, ПКн и У I.*

Стр. 125, 29. Слова: новой жизни, новых людей, давайте — *вставлены по ОЗ, ПКн и У I.*

Стр. 134, 27. Слово: была — *вставлено вместо слова*: были.

Стр. 137, 31. Слово: древо — *вставлено вместо слова*: дерево [*ОЗ, ПКн*].

Стр. 142, 24. Слово: повторял — *вставлено вместо слова*: повторил [*ОЗ, ПКн, У I*].

Стр. 143, 15. Слово: вопиющих — *вставлено вместо слова*: воющих [*ОЗ и ПКн*].

Стр. 143, 23. Слова: И уехала — *вставлены по ОЗ, ПКн и У I.*

Стр. 144, 22. Слово: другого — *вставлено по ОЗ, ПКн и У I.*

Стр. 148, 26 и 28. Слово: было — *вставлено по ОЗ.*

Стр. 151, 14. Слово: спустя — *вставлено по ОЗ и ПКн.*

Стр. 159, 10. Слово: были — *вставлено по ОЗ, ПКн и У I.*

Стр. 161, 1. Слово: раз — *вставлено по общему смыслу текста.*

Стр. 164, 29. Слова: и у Тимофея — *вставлены вместо слов*: и Тимофея [*ОЗ, ПКн и У I*].

Стр. 174, 22. Слова: к самым непривлекательным — *вставлены по ОЗ ПКн и У I.*

Стр. 178, 33. Слово: обапола — *вставлено вместо слова*: обопало [*ОЗ, ПКн*].

Стр. 180, 17. Слово: Изволите — *вставлено вместо слова*:— Извольте [*ОЗ и ПКн*].

Стр. 188, 29. Слово: его — *вставлено по ОЗ и ПКн.*

Стр. 201, 28. Слово: устаешь — *вставлено вместо слова*: устанешь [*ОЗ и ПКн*].

Стр. 204, 34. Слова: что была — *вставлены вместо слов*: это было [*ОЗ, ПКн и У I*].

Стр. 205, 19. Слово: за — *вствлено вместо слова*: на (*ср. 209,18*).

Стр. 205, 29. Слова: о ней, забыли — *вставлены по ОЗ и ПКн.*

Стр. 209, 9. После слов: и почью — *сняты слова*: стало спокойно, и ночью [*ОЗ, ПКн*].

Стр. 223, 6. Слово: их — *вставлено вместо слова*: его.

Стр. 224, 36. Слово: скомкан — *вставлено по ОЗ, СиН и У I.*

Стр. 231, 36. Слово: поддержут—*вставлено вместо слова*: подержут.

Стр. 246, 26. Слово: мелочей — *вставлено вместо слова*: мелочной [*ОЗ, СиН и У I*].

Стр. 247, 18. Слово: какое — *вставлено вместо слова*: каково [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

Стр. 248, 35. Слово: доказательств — *вставлено вместо слова*: обстоятельств [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

Стр. 250, 7. Слово: забывшую — *вставлено вместо слова*: забывавшей.

Стр. 250, 9. Слово: выучившуюся — *вставлено вместо слова*: выучившейся.

Стр. 254, 36. Слово: там — *вставлено по СиН и У I.*[1]

Стр. 256, 30. Слово: всевозможных — *вставлено вместо слова*: невозможных [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

Стр. 257, 11. Слово: обезнадеженное — *вставлено вместо слова*: обезличенное [*ОЗ и СиН*[2]].

Стр. 257, 21. Слово: одобряемый—*вставлено вместо слова:* ободряемый [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

Стр. 263, 29. Слова: в сердце — *вставлены вместо слова*: сердце.

Стр. 264, 3. Слово: жалостливое — *вставлено вместо слова*: жалостное [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

Стр. 270, 13. Слово: удивлялся — *вставлено вместо слова*: удивился [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

Стр. 270, 24. Слово: вы — *вставлено по ОЗ, СиН и У I.*

Стр. 287, 12. Слово: однообразно — *вставлено вместо слова*: разнообразно [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

Стр. 288, 12. Слово: просветления — *вставлено вместо слова*: просвещения [*ОЗ и СиН*].

Стр. 293, 10. Слово: были — *вставлено по ОЗ, СиН и У I.*

Стр. 294, 13. Слово: было — *вставлено вместо*: были [*в ОЗ, СиН и У I*: была].

Стр. 296, 32. Слово: Лиза — *вставлено вместо слова:* Леля.

Стр. 297, 18. Слово: баранок — *вставлено вместо слова*: баранков [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

[1] *В ОЗ*: так

[2] *В У I и У II искажение*: обозначенное

Стр. 299, 15. Слово: проезжих — *вставлено вместо слова*: приезжих [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

Стр. 300, 29. Слово: всем—*вставлено вместо слова*: все [*ОЗ, СиН, У I и У II*].

Стр. 303, 8. Слово: Вася — *вставлено после слова*: сказал [*ОЗ, СиН и У I*].

Стр. 304, 18. Слово: консьержев—*вставлено вместо слова*: консьержен [*ОЗ и СиН; то же 357, 19*].

Стр. 306, 12. Слово: оставляю — *вставлено вместо слова*: оставлю [*ОЗ и СиН*].

ПИСЬМА ИЗ СЕРБИИ.

1. Источники текста:

1) Наши добровольцы в дороге. (Письмо из Белграда).— *С.-ПВ* 1876, № 285 от 15 (27) октября. Подпись. *Г-ский*. Дата. Белград 6 (18) октября.

2) Наши добровольцы на чужой стороне. Письмо 2-е.— *С.-ПВ* 1876, № 291 от 21 октября (2 ноября). Подпись: — *ский*. Дата: Белград 8 (20) октября.

3) От Белграда до Парачина и назад. 19, 20, 21 и 22 октября.— *С.-ПВ* 1876, № 313 от 12 (24) ноября и № 320 от 19 ноября (1 декабря). Подписи: *Глеб Успенский*. Дата (в № 320): 28 октября (9 ноября).

4) В Белграде во время перемирия.—*С.-ПВ* 1876, № 343 от 12(24) декабря. Подпись: *Глеб Успенский*. Даты: глава I — Белград, 22 ноября; глава II — Белград, 24 ноября.

5) Из Белграда. (Письмо невоенного человека.)— *ОЗ* 1876, XII, стр. 171—185. Подпись: *Г-в*. Дата: Белград, ноября 9-го.

6) Из Белграда. (Второе письмо невоенного человека.)— *ОЗ* 1877, I, стр. 107—120. Подпись: *Г-ов*. Дата: Белград, декабрь.

7) Письма из Сербии.— *У I*, т. IV, стр. 275—312,[1] отдел «Приложение».

8) Письма из Сербии. — *У II*, т. I, столб. 921—950.

9) Письма из Сербии.— *У III*, т. I, столб. 921—950.

Рукописные источники цикла неизвестны.

В настоящем издании печатаются по *У* III.

[1] После стр. 288 нумерация спутана: 279, 280 и т. д.

2. История южных и западных славян — история многовековой борьбы славянских народов за независимость, на западе с Германией, Австрией, на юге — с тою же Австрией и с Турцией.

Борьба крайней западной ветви славянства с наступающим германизмом закончилась трагически: от многочисленных славянских племен по Эльбе (Лабе) и Балтийскому морю остались небольшие группы славян, общей численностью менее одного миллиона человек. Восточные же славяне (русские, белоруссы, украинцы) не только отстояли свою государственную независимость, не только объединились в великую Советскую державу, но отстояли также свободу и суверенные права западных и южных славян.

Средневековая история славян наполнена борьбой с германизмом; новая история — борьбой южных славян с Австрией и Турцией. Девятнадцатый век — история освобождения от турецкого ига болгар и сербов при братской помощи русского народа. В наши дни окончательно определилась судьба славянских государств — Польши, Чехословакии, Югославии, Болгарии, как самостоятельных государств.

Сербо-черногорско-турецкая война, отразившаяся в творчестве Г. И. Успенского печатаемыми в этом томе «Письмами из Сербии»,— один из эпизодов национально-освободительной борьбы славян Балканского полуострова, закончившейся, как указано, в наши дни.

Власть турок над Балканами началась в XIV веке. Коссовская битва (1389 г.), в которой сербы потерпели поражение, была для них началом многовекового турецкого ига, сменившего эпоху расцвета и силы, когда Сербия отбила наступление могущественных соседей и выросла в самостоятельное и сильное славянское государство. Но рабство не сломило воли к сопротивлению, и борьба сербов, как и вообще южных славян, за свободу не прекращалась во все годы турецкого владычества. Война Австрии с Турцией в XVII веке принесла Сербии сомнительную свободу: «восстановленное» сербское королевство было подчинено австрийскому губернатору. В течение XVIII в. Австрия несколько раз занимала Сербию и вновь возвращала ее Турции, неоднократно подвергавшей страну варварскому разорению.

Восстание сербов под водительством Кара-Георгия в начале XIX века не увенчалось освобождением, и только в 1820 г., под давлением России, Турция признала Сербию самостоятельным государством в вассальной зависимости от султана. В течение полустолетия сменявшие одна другую королевские династии карагеоргиевичей и обреновичей правили Сербией, предавая, в целях собственного обогащения, национальные интересы сербского народа то Австрии, то Турции.

Коссовская битва была началом турецкого ига и для славян Боснии и Герцеговины. Турецкие власти насадили на боснийской и герцеговинской земле помещиков — турок и принявших магометанство славян. Борьба славянского коренного населения Боснии и Герцеговины, крестьян («райи») с помещиками явилась одновременно и борьбой за национальное освобождение и не прекращалась в течение всего последнего периода власти турок. Герцеговинское восстание славян в 1875 г. вызвало сочувствие передовых элементов европейского и русского общества.

То же имело место и в Болгарии. Болгарские крестьяне в помещике-турке видели и социального врага и национального угнетателя, и партизанская борьба не прекращалась в стране, перерастая по временам в вооруженные восстания. Когда вспыхнуло восстание в Герцеговине, поднялось крестьянство и в Болгарии.

Восстания в Герцеговине и в Болгарии вызвали ответное народное движение в Сербии и, вопреки своим династическим интересам и намерениям, князь Михаил Обренович вынужден был объявить войну Турции.

Борьба славянских народов за освобождение пользовалась неизменным сочувствием передовой русской общественности и литературы. Царизм же спекулировал на этой борьбе; преследуя прежде всего захватнические цели, царизм выступал под маской покровителя и защитника славян. Русская революционная демократия в лице Чернышевского и Добролюбова не ошибалась насчет истинных целей царизма и угнетательских классов России в «славянском деле». Напомним известные сатирические строки статьи Добролюбова о «Накануне» Тургенева.

«Болгария порабощена. Она страдает под турецким игом. Мы, слава богу, никем не порабощены, мы свободны...

В Болгарии нет общественных прав и гарантий... Россия, напротив того, государство благоустроенное, в ней существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность... прав и земель не только не отнимают, но еще даруют их тем, кто не имел доселе...

Инсаров был еще младенцем, когда турецкий паша похитил его мать, и потом зарезал, а отец его был расстрелян ... Слыхано ли что-либо подобное в русской земле?»[1]

Статья была написана за год до юридической отмены крепостного

[1] Н. А. Добролюбов. «Когда же придет настоящий день?» Полн. собр. соч. под редакцией П. И. Лебедева-Полянского, т. II, Гослитиздат, <М>, 1935, стр. 227—228.

права и смысл ее очевиден: невозможно представить крепостническое государство выступающим в роли освободителя.

Через год Н. Г. Чернышевский, критикуя панславистскую позицию аксаковского «Дня», указывал славянофилам:

«...если желаете добра турецким славянам, постарайтесь внушить... что падение турецкой власти в Европе не послужит к поглощению дунайских княжеств и Болгарии Россией, не поведет к обращению Константинополя в русский губернский город, что Россия не имеет ни надобности, ни охоты расширять свои границы в Европе на юг... своими чувствительными рассуждениями о призвании русского орла покрыть славянские племена могущественными крыльями вы положительно вредите освобождению турецких славян...»[1]

Раскрывая действительную основу панславизма, Чернышевский указывал на судьбу славянских народов в границах императорской России. Не имея возможности в 1861 г. говорить о Польше, Чернышевский ссылался на пример только Украины:

«Малороссов 13 миллионов. Их язык не удостоивается считаться чертою их народности... поцеремонится ли наше славянофильство с какими-нибудь болгарами или сербами?..»[2]

«Достаточно ли этого, чтобы раскрыть глаза другим славянским племенам относительно результатов, приготовляемых для них нашими славянофилами?»—заканчивал Чернышевский свое разоблачение лицемерия славянской политики правящего дворянского класса и самодержавия.[3]

На это разоблачение указывали в 1873 г. Маркс и Энгельс как на подлинно демократическое отношение к славянской проблеме:

«...Чернышевский разоблачил в журнале «Современник» происки панславистов и рассказал славянским народам правду об истинном положении вещей в России и о корыстном мракобесии их мнимых друзей-панславистов», — писали основоположники научного социализма.[4]

Так, накануне событий 1875—1878 гг. определились в России два направления в решении славянской проблемы: демократическое направление во главе с Чернышевским и направление правящих кругов России, царизма и дворянства.

Непосредственное военное вмешательство российского самодержавия в борьбу южных славян с турками вылилось в форму русско-

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. Изд. М. И. Чернышевского, СПб., 1906, т. VIII, стр. 328.
[2] Там же, стр. 333.
[3] Там же, стр. 337.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIII, ч. 2-я, стр. 640.

турецкой войны в 1877—1878 гг.; ранее, в 1876 г., вмешательство имело другие формы. Возникли «славянские благотворительные комитеты», организованные реакционной дворянской верхушкой и славянофильствующими элементами буржуазно-дворянского общества. Катков и И. Аксаков играли в этом «славянском движении» первенствующую роль. Комитеты занялись сбором средств в «пользу славян» и вербовкой людей в добровольческую русскую армию в помощь сербам, вступившим в неравную борьбу с Портой. Царизм поощрял это движение, так как преследовал свои цели, подготовляя вооруженное вмешательство в борьбу славян с вековым угнетателем. Сущность великодержавного панславизма, как это выяснили Маркс и Чернышевский, состояла в том, чтобы подчинить русскому самодержавию славянские народы, захватить Константинополь и в то же время «маленькой победоносной войной» предотвратить революцию в России. Позиция царского правительства, вообще говоря, была противоречива: спекулируя на крови славянских народов, самодержавие и правящие круги опасались, что самый характер славянского выступления, революционного в конечном счете выступления против «законного государя»— падишаха, подавал невыгодный для царизма пример славянским народам, подвластным России, — Польше в первую очередь; движение славянских народов «как имеющее революционный характер, должно быть подавлено»,— выбалтывала бульварная русская пресса опасения экспансионистских кругов и царского самодержавия.[1]

Реакционные круги выдвинули фигуру генерала М. Г. Черняева как неофициального проводника панславистской политики Российского правительства в сербо-турецкой войне 1876 г. Завоевывая Туркестан, Черняев проводил колонизаторскую политику царской России в Средней Азии. Он прославился как покровитель «ташкентцев» всех мастей и рангов, как реакционный журналист, издатель реакционного журнала «Русский Мир». Бесталанный полководец с наклонностями демагога, Черняев принес в Сербию замашки администратора-завоевателя и колонизатора.

Будучи главнокомандующим добровольческого русского корпуса, Черняев как бы избавлялся тем самым от критики и сатиры передовой литературы, и этим, очевидно, объясняется, что представители этой литературы только в письмах отводили душу по адресу опереточного «главнокомандующего». «Черняев со своими добровольцами разъясняет перед лицом Европы, что такое господа ташкентцы», — писал Щедрин Анненкову 1 ноября 1876 года,[2] и только в 1882 г. Щедрин представил Черняева в образе Полкана Семеновича Редеди, «бродя-

[1] «Петербургский листок» 1875, № 156 от 13 сентября.
[2] Н. Щедрин. Полн. собр. соч., т. XIX, стр. 79.

чего полководца». «Пошляк, Хлестаков, лубочная копия с Гарибальди», — характеризовал Черняева Тургенев в письме Я. П. Полонскому от 11 ноября 1876 г.[1] Успенский неоднократно пытался зарисовать Черняева, его штаб (стр.389,25, вариант 391, 9 и др.), раскрывая их деятельность, рисуя образы «ташкентцев» и «червонных валетов» в сербских мундирах, прибывших вместе с Черняевым и воевавших под его командованием.

Мнение Успенского в 1876 г. о Черняеве и черняевцах, очевидно, не отличалось от мнения, выразительно изложенного демократической печатью в 1882 г.:

«Как поступит он и что сделает для освобожденных народов — ударит ли ими челом, как Ермак Сибирью, провозгласит ли Милопа (Обреновича сербского, вассала Турции.— *И. В.*)королем или кого-нибудь диктатором. ...Не размышляли ли вы, что будет, если этот несомненно решительный и храбрый генерал начнет применять к жизни западных славян свои идеи мирного времени»—«идеи, содержание которых исчерпывается содержанием „Русского Мира“»,—добавляет автор.[2]

Эти именно мысли в доступной по цензурным условиям форме проводит и Успенский в своих сербских письмах 1876 г. Его статьи и очерки вливались в общий численно увеличившийся хор трезвых голосов демократической литературы. Руководящее значение в этом хоре принадлежало выступлению П. Л. Лаврова.

В своем зарубежном органе «Вперед» Лавров разоблачал двоедушие царизма: стремление к завоеваниям и использование роли защитника славян как маскировки своих настоящих замыслов. В славянском движении, указывал Лавров, царизм поддерживает династические интересы сербских князей, а не интересы сербского народа.[3]

Провал панславистского движения неизбежен, — писал Лавров. Никакие революционные или демократические идеи несовместимы с панславизмом. Одни и те же идеалы питают российское самодержавие, славянских князей на Балканах и Черняева с его окружением. Пример Польши и Украины достаточно поучителен для балканских славян, чтобы остеречься от покровительства самодержавия.

Большинство народников-революционеров считало необходимым вмешательство России в борьбу славян с турками и в свою очередь тре-

[1] П. С. Тургенев. Первое собрание писем. СПб., 1884, стр. 304. Цитируется восстановленный текст письма: «Книга и революция», 1921, № 1 (13), стр. 81.

[2] «Устои» 1882, кн. VIII, стр. 87 второй пагинации.

[3] «Вперед» 1876, № 42 от 1 октября.

бовало организации добровольчества. Бакунисты — Кравчинский, Клеменц, Сашин и др.— направились в качестве добровольцев в Сербию. Наряду с лже-патриотическими благотворительными славянскими комитетами, в России существовали нелегальные комитеты, также переправлявшие людей в Герцеговину; к этой работе были причастны Желябов и Драгоманов.[1]

Разъясняя реакционную сущность панславистского движения в России, Лавров указывал «наивным революционерам», что добровольческое движение в царской России возглавляется «вчерашними крепостниками», что какое бы то ни было сближение эксплоатируемого народа в общем порыве с эксплоататорами — помеха революционной борьбе против существующего порядка.

Большое место в статье Лаврова занимают характеристики русских добровольцев.

Внимание Лаврова привлекает доброволец-интеллигент, обыватель, для которого жизнь без цели, без идеала, «жизнь культурного скота», стала невыносимой. Осталась в нем «тупая тоска», прерывающаяся в мелочном семейном самодурстве, в грязном разврате, «в тысяче других патологических симптомов, украшающих наше культурное общество» («Вперед» 1876, № 42, стр. 593). Русский интеллигент, писал Лавров, если он не стал в ряды революционеров, не видит около себя ничего, указывающего на решимость бороться против царства Шуваловых, Потаповых, Тимашевых,—«и вдруг *с разрешения начальства* он может высказать свое сочувствие другим подавленным» (стр. 594, курсив подлинника). У автора нет слов для резкого осуждения этой категории русских добровольцев: «Для русского народа, для русского дела они слепы и глухи. Но если они бьются среди масс, верящих, что бой идет за общее народное дело, то это внесет в жизнь культурных людей нечто человечное» (стр. 595).

Другая категория добровольцев — люди из народа. О них Лавров писал:

«Мы не имеем ни слова порицания и для людей из народа, идущих бороться за славян против их притеснителей. При всякой опасности, грозящей жизни простолюдина в голодной избе, на фабрике, на железной дороге, жертвы из народа падают всюду лишь на пользу хищному правительству и жадному капиталу. Это громадное число жертв не может значительно увеличиться жертвами, которые падут на Мораве. Но, может быть,— подчеркивает Лавров,— те, которые вернутся из добровольной борьбы рядом со славянами... принесут домой более

[1] В. Богучарский. Активное народничество семидесятых годов. Изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1912, стр. 289.

решимости встать при случае и на другую борьбу, на борьбу за действительную свободу народу» (стр. 595).

Но против народников, поддерживавших добровольчество, покровительствуемое буржуазно-дворянскими кругами и царским правительством, Лавров выступал резко. Они обманывают себя, «будто в том или другом углу волнующегося юга можно драться во имя социального начала, когда... противопоставляется христианский фанатизм мусульманскому, когда рядом провозглашают королем Милана... князем Болгарии не то герцеговинского, не то русского великого князя, не то генерала Черняева, когда из каждой капли текущей славянской или турецкой крови пытаются извлечь себе выгоды политические партии или финансисты разных стран» (стр. 596).

Ознакомившись с этой статьей Лаврова, Маркс писал ему:

«Поздравляю Вас с Вашей передовой статьей в последнем номере «Вперед»... Это... прежде всего великий акт морального мужества».[1]

Не случайно Маркс назвал статью Лаврова «актом морального мужества»: руководящая демократическая печать в России не сразу определила свою позицию в «общественном движении», организованном и направлявшемся правящими кругами и примыкавшими к ним славянофильскими и славянофильствующими элементами.

О колебаниях «Отечественных Записок» свидетельствуют летние 1876 г. статьи —«На всемирную свечу» (Д. Л. Мордовцева) и «Воевать или не воевать» (июль и сентябрь), приписываемая Елисееву. В этих статьях «Отечественные Записки» неожиданно заговорили о «христианнейшем из всех тронов», бывшей колыбели «идеала всемирного владычества христиан», занятом неверным Муратом — троне, который надо очистить «для христианского государя».[2] Этого, оказывается, можно было бы достигнуть «умной дипломатией», основанной на «силе правды».

«„А если одна сила правды не поможет, тогда что?"— О! тогда... сольемся со всем славянским миром, будем драться по-герцеговински и, подобно Александру I-му, дадим обет не положить оружия, пока не добудем свободы для всего славянского мира, для славян не только турецких, но и австрийских».

Щедрин был за границей, когда в «Отечественных Записках» появились эти статьи; Некрасов же был тяжело болен.

Скрытая ярость чувствуется в строках письма Щедрина к Н. К. Михайловскому от 14 августа 1876 г. из Витенева, в котором сатирик поселился после годичного пребывания за границей. В письме речь шла

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 429.
[2] «Отечественные Записки» 1876, кн. VI, стр. 376 второй пагинации.
[3] Там же.

между прочим о привлечении к сотрудничеству в «Отечественных Записках» Золя, работавшего в «Вестнике Европы». Щедрин писал:

«Надо растолковать ему [Золя], какая тут разница, сказать, что в „Отечественных Записках" печатаются сальные свечи Мордовцева, а в „Вестнике Европы" — нет. Или иначе...» И далее — в стиле Щедрина резкое выражение неодобрения помещенным в журнале статьям по славянскому вопросу.[1]

Таких резких слов в письмах Щедрина Некрасову в Ялту нет: смертельно больной поэт вряд ли был повинен в появлении в «Отечественных Записках» статей, вызвавших негодование Щедрина. Некрасову Щедрин разъяснял свое отношение к «славянскому вопросу»:

«Мое личное мнение, что вопрос этот для России не полезен. Под шумок его издан, например, закон, разрешающий губернаторам издавать обязательные постановления, или, попросту говоря, законы же... Когда я представлял в „Истории одного города" градоначальника, который любил писать законы, то и сам не ожидал, что это так скоро осуществится. Вообще, делается почти странным жить на свете». [2]

К этому в письме П. В. Анненкову от 1 ноября 1876 г. сатирик добавлял: «...серьезность минуты не мешает вести борьбу с нигилизмом. Политические процессы следуют один за другими, не возбуждая уже ничьего любопытства, и кончаются сплошь каторгою...»[3]

Настроение Щедрина тогда не вылилось в прямое сатирическое нападение на «славянское движение» в России, на его главарей и покровительствующее ему правительство. «Невозможно решиться печатать», — писал Щедрин А. М. Жемчужникову, приславшему стихи, разоблачавшие правящие круги в роли «славянского мессии».

С возвращением к работе Щедрина «Отечественные Записки» изменили направление: несмотря на цензуру, руководителям демократической публицистики удалось повлиять на общественное мнение. В октябре Щедрин писал Некрасову в Ялту:

«Славянский вопрос здесь все еще на первом плане, хотя уже замечаются некоторые признаки реакции — в литературе. В будущем № „Отечественных Записок" в статьях Елисеева и Михайловского ставится вопрос тоже на умеренную точку зрения».[4]

Речь шла об очередных фельетонах Елисеева «Внутреннее обозрение» и Михайловского «Записки профана»; к ним надо присоединить статью Ел. Лихачевой «Из Сербии». Правда, Лихачева критиковала

[1] Н. Щ е д р и н. Полн. собр. соч. Гослитиздат, М., 1939, т. XIX, стр. 68.
[2] Там же, стр. 78.
[3] Там же, стр. 80.
[4] Там же, стр. 78.

только практическую сторону работы «славянских благотворительных комитетов», не касаясь политического характера их деятельности, а Елисеев тщательно закутывал свою мысль в цензурные оболочки — о «земском сундуке», из которого «благотворили» комитеты, о хищниках, от которых беззащитно русское народное хозяйство, и т. п.

«Да, господа. быть истинным патриотом нелегко,— заканчивал Елисеев октябрьское «обозрение».— И совсем эта штука не в том состоит, чтобы таскать деньги из земских сундуков или, сидя дома и наслаждаясь благами мира сего, с гиком и свистом устремляться на изыскание и травлю врагов внешних или внутренних».[1]

Более близка к одобренной Марксом статье Лаврова статья Михайловского — XIV фельетон «Записок профана». Михайловский разъяснял, что в угнетенных «турком» славянских обществах существует «внутренний (по выражению Добролюбова) турка»— в лице феодалов-князей или помещиков славян-мусульман, в лице национальной буржуазии или греческой духовной иерархии; их ярмо не легче ярма завоевателей, силой которых все они держатся. Михайловский указывал на заинтересованность европейской буржуазии в сохранении турецкой власти над славянами. Резко ставил Михайловский и вопрос об истоках «славянского движения» среди господствующих классов в России: «кому в России, какому классу людей выгодно... чтобы чехи и сербы заговорили по-русски».[2]

Продолжая классификацию добровольческой массы, начатую Лавровым, Михайловский рисовал облик вчерашнего крепостника, не отличающего Сербии от «Белградской губернии» убежденного последователя поздревской теории: «лес мой, да и за лесом что́—так то же мое»; вслед за Лавровым Михайловский также рисует интеллигента, сдвинутого «с обычной колеи вялой, скучной, бездеятельной, бесцельной жизни на широкую дорогу деятельного сочувствия к чужим страданиям», рисует и русского «простолюдина»-добровольца; о нем Михайловский писал:

«Содержание народного возбуждения составляют сочувствие к страждущему и ненависть к угнетателю... народ находится на высоте событий...»[3]

Больше этого в подцензурной печати сказать было нельзя, но и сказанное противостояло шовинизму «Нового Времени» и разоблачало «наивных» демократов из «Недели».

3. Отношение народа в России к делу балканских славян, конечно, не имело ничего общего с панславизмом, и добровольцы из народа,

[1] «Отечественные Записки» 1876, кн. X, стр. 214 второй пагинации.
[2] Там же, стр. 244 второй пагинации.
[3] Там же, стр. 250 второй пагинации.

завербованные даже «благотворительными комитетами», ничего не имели общего с тою «накипью», которая сгущалась вокруг Черняева и его штаба. Зарубежное «Общее дело» так определяло настроение народных масс в России в связи с борьбой балканских славян за национальное освобождение: добровольцы из народной среды несли «свою кровь и достояние на поле борьбы с тем чувством, с которым голодный крестьянин дает последний кусок хлеба своим голодным братьям в пору народного бедствия».[1]

Успенский выехал в Сербию, по словам его биографа, «с неудержимым желанием воочию видеть эту стихийную волну народного движения...».[2]

В декабрьском очерке Успенский писал:

«В качестве человека невоенного я направился в Белград почти только затем, чтобы посмотреть на русского простого человека, одушевленного, наконец (в чем я не имел и не имею никакого сомнения), большою, по сердцу пришедшеюся ему задачею. Не всё ему накоплять недоимку, надо пожить и *на себя*. Скажу вообще, что первая минута, когда наши сибирки и чуйки появились на асфальтовых мостовых и разукрашенных улицах Пешта, была необыкновенно трогательна».

«По сердцу пришедшаяся задача» в сербском деле отличала простого русского человека от представителей правящих классов в России, если они даже шли в Сербию не с теми намерениями, с какими шли обиженные дома помещики или «червонные валеты», если они шли отдать ненужную им жизнь «по крайней мере всё-таки за свободу или за что-то такое, что все одобряют, чему все сочувствуют». Этот пережитый личную драму и готовый умереть человек из «образованной толпы» готов был принять смерть, но, уверял Успенский, не за славянское дело, а за свое. Через полгода читатели «Анны Карениной» Толстого в VIII части романа читали признание Вронского: «Я, как человек, тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит... Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне постыла».

Стремлением увидеть «наших» в борьбе за освобождение славян и следует объяснить то обстоятельство, что Успенский принял предложение «С.-Петербургских Ведомостей» быть корреспондентом газеты на сербском театре войны. В этой газете и были напечатаны четыре корреспонденции Успенского. Другие случаи сотрудничества его в этой газете нам неизвестны. Успенский не был «специальным» военным корреспондентом газеты,— эту роль исполнял Д. К. Гирс.

[1] «Общее дело», 1877, № 2 от 9 июля.

[2] В. Чешихин-Ветринский. Глеб Иванович Успенский. Изд-во «Федерация», М., 1929, стр. 132.

известный литератор 70-х гг., в прошлом военный по профессии. В отличие от него автор «Людей и нравов» выступал как беллетрист: его четыре корреспонденции в «С.-Петербургских Ведомостях» и две статьи в «Отечественных Записках» — художественные очерки о «людях и нравах» в сербско-турецкой войне, события которой развивались в сложной и противоречивой обстановке.

Успенский был свидетелем последних эпизодов этой войны — разгрома армии Черняева под Джюнисом. Тогда раскрылся весь авантюризм черняевских планов и явилась возможность подвести их итоги. Успенский пришел к выводу, что только для народных масс война была святым делом освобождения: «*только* простонародная, русская ли, сербская ли, вера, поистине непоколебимая, в правоту начатого дела и не пустила турок в Белград». Здесь только и проявлялось подлинно народное движение. Все остальное, от произведенного в «короли» Милона или в «генералиссимусы» Черняева и до обиженного «дома» орловского помещика, — накипь на нем. «Уродец» — молодая особа с пьяными глазами, поглощенная «гаремным делом», представитель высшего света — камелия и Плюшкин одновременно, проевшие выкупные свидетельства помещики,— все это махровые цветы остатков крепостничества, те, кто бежал в Сербию от долговой тюрьмы. Лучшие из них пришли сюда потому, что надоело жить: умереть — а для кого — «всё один черт». Лавров в их характеристике обошелся одной фразой; в первопечатных текстах своих корреспонденций и очерков Успенский отвел им много места. Они нужны были Успенскому, чтобы оттенить образ подлинного освободителя — народа.

Безобразничает «червонный валет», безобразничает обиженный «дома» помещик —«герой зуботычины»,— это отводит душу «накипь». И в среде простых людей не без ссор и не без драк подчас, но здесь Успенский видит совсем не то, что наблюдает в среде «благородного» добровольчества: «каждый нападал на каждого за то, что тот пьянствует и скверно себя держит». Русский простой человек, даже тогда, когда безобразничает на чужой стороне, не теряет из виду своей задачи. Пришел за сербов вступиться, говорит он, положим, хоть и в пьяном виде, но никогда, какая бы бестолочь ни творилась вокруг него, не отступал от этой задачи, не забывал, зачем пришел. Правда, и «благородный» часто на войне ведет себя хорошо и не боится умереть,[1] но подлинным героем оказался «доброволец из простого народа»: «...идея, которая привела его сюда, сидит крепко, глубоко,

[1] Письмо к А. В. Успенской от сентября — октября 1876 г.—Рукописное отделение Института Литературы АН СССР.—Из материалов т. XIII настоящего издания.

и только эта идея и держала и будет держать его сколько угодно под турецкими пулями...»

В этой среде Успенский нашел то, что искал. От старика-добровольца он услышал, какой смысл вкладывал русский народ в дело защиты малых славянских народов: нехитро малую реку запрудить, малые народы в неволе держать. «А великие реки, хоть Дунай, хоть Волга великая река, как поналягут они на запруды, да на колья вбитые...» (стр. 406). Может быть, старик-доброволец говорил о турецких, или немецких «запрудах», но Успенскому послышалось в этих словах другое: в сравнении больших и малых рек он почувствовал настоящую правду, и это, «точно волшебством каким», оживляло и укрепляло его. Так художественными образами раскрывал автор «Писем из Сербии» идею революционно-демократической литературы: что̀ вынесет русский человек из своего участия в сербско-турецкой войне.

Прошли десятилетия со времени событий, описанных Успенским в «Письмах из Сербии», но балканская политика правящих буржуазно-дворянских кругов России оставалась та же: спекуляция на национально-освободительном движении балканских славян, преследующая захватнические и династические задачи царизма и одновременно задачу отвлечения внимания общества от внутренних дел России.

В 1912 году, в связи с событиями балканской войны, В. И. Ленин писал:

«Вопрос о балканской войне и об отношении к ней „Европы“ — самый животрепещущий вопрос современной политики. Для всей демократии вообще, а для рабочего класса в особенности, важно *понять* какие классовые интересы руководят при этом той или иной партией.

Политика октябристов, националистов, беспартийных „патриотов“, от „Нового Времени“ до „Русского Слова“, ясна и проста... Поддержка реакции внутри и колониального, империалистического грабежа во вне — такова суть этой грубой „патриотической“ „славянской“ политики».[1]

Такой оставалась «славянская» политика самодержавия до полной ликвидации помещичье-буржуазной империалистической державы царизма.

В 1877 г. Энгельс писал, что русская революция означает «освобождение Германии от Пруссии... освобождение Польши». «Она означает пробуждение мелких славянских народностей Восточной Европы от грез панславизма... Словом, она означает такое изменение во всем

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. XVIII, стр. 322.

положении Европы, которое рабочие всех стран должны с радостью приветствовать как гигантский шаг по пути к их общей цели — всеобщему освобождению труда».[1]

Этим гигантским шагом была Великая Октябрьская социалистическая революция. Цели и задачи великой революции в отношении к славянской проблеме изложены И. В. Сталиным в речи от 6 ноября 1941 года.

«У нас нет и не может быть таких целей войны, как навязывание своей воли и своего режима славянским и другим порабощенным народам Европы, ждущим от нас помощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят».[2]

Освобожденные славянские народы ныне сами строят свою государственную жизнь. Великая Октябрьская социалистическая революция освободила народы России и, как предсказывали основатели научного социализма, принесла освобождение славянским народам, положив конец великодержавному панславизму российского самодержавия и буржуазии.

За это подлинное освобождение славян в течение многих десятилетий боролись великие русские демократы с Чернышевским во главе. Среди их последователей Г. И. Успенскому принадлежит видное место. Не скрывая от читателя теневых сторон «старшего брата», Успенский объяснял исторические причины их возникновения и сумел показать, как через тяжести исторической жизни пронес он идею и своего собственного освобождения, и освобождения «младшего брата».

4. Тему своих корреспонденций в «С.-Петербургские Ведомости» Успенский, повидимому, не считал законченной. Окончание ее он перенес в «Письма невоенного человека», но незаконченными оказались и они: началась русско-турецкая война 1877—1878 гг., и продолжение очерков Успенского вряд ли было возможно.

Цикл «Письма из Сербии» Успенский составил преимущественно из статей, печатавшихся в «С.-Петербургских Ведомостях»:

1. Очерк 1-й —«Наши добровольцы в дороге» — воспроизводит корреспонденцию под тем же заглавием, напечатанную в № 285 «С.-Петербургских Ведомостей».

2. Очерк 2-й—«Наши добровольцы на чужой стороне» — воспроизводит корреспонденцию под тем же заглавием, напечатанную в № 291 той же газеты.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, стр. 410.
[2] И. Сталин. О Великой Отечественной войне советского народа. Изд. 4-е, ОГИЗ, Госполитиздат, М. 1944, стр. 32.

3. Очерк 3-й — «От Белграда до Парачина и назад» — корреспонденция под тем же заглавием (подзаголовок опущен) из №№ 313 и 320 «С.-Петербургских Ведомостей».[1]

4. Очерк 4-й—«Перед отъездом»—образовался более сложным путем. Из четвертой и последней корреспонденции «С.-Петербургских Ведомостей»—«В Белграде во время перемирия» — в него включены только небольшие ее отрывки из главы II:— «„Пишите“,— говорит, например» (стр. 392, 17), кончая словами: «обмануть даже прямо следует» (стр. 393, 24); «...разного звания добровольцы» (стр. 393, 31); кончая словами «Скажите, ради бога!» (стр. 394, 9); «Да нет ли *каких-нибудь*...» (стр. 394, 13), кончая словами «возят лошадей, свиней» (изменено —«телят», стр. 394, 26) и др. Глава I и начало главы II корреспонденции заменены вновь написанным первым абзацем очерка, в самых общих чертах передающим содержание отброшенной части статьи. Составленный таким образом текст дал гл. I очерка; в качестве главы II Успенский взял текст «Отечественных Записок»—«В Белграде (Второе письмо невоенного человека)», отбросив начало и конец статьи (см. варианты к стр. 394, 27 и 407, 5).

Авторская задача в композиции «Писем из Сербии» и в правке старых текстов сводилась, очевидно, к тому, чтобы, во-первых, незаконченным и разножанровым отрывкам (газетная статья-корреспонденция, журнальный очерк) придать свойства жанрового единства и законченности и, во-вторых, подчинить серию «писем» той идее, которая незадолго перед тем намечалась в автобиографии. («...прямо из Парижа я поехал в Сербию и в Пеште встретил *наших*... об этом я мало писал, но много передумал и навеки много опять-таки взял в свою душевную родословную».) Требовалось возможно отчетливее подать материал, характеризующий «наших», т. е. добровольца простонародного, в силу чего «культурный» доброволец оставлялся в количестве, достаточном лишь для того, чтобы оттенить того русского простолюдина, который один представлялся автору носителем оптимистической, отмеченной выше, идеи русского освобождения.

При такой установке «Писем из Сербии» они приобретали характер общего мировоззренческого произведения; в очерках, вошедших в состав этой серии, Успенский счел нужным ослабить тот сугубо злободневный материал, которым они первоначально были наполнены. Отсюда определенная планомерность и в сокращениях статей и очерков, и в стилистической их правке. Сокращая статьи-корреспонденции, автор устранял все, что имело временный интерес, во всяком случае — для жанра газетной статьи-корреспонденции было совершенно необходимо, но

[1] В № 320 газеты текст статьи печатался со слов: «В холодной комнате» (стр. 388, 17 этого тома).

для указанной нами авторской идеи значения не имело. К купюрам этого рода относятся прежде всего отрывки сокращенной 4-й статьи «С.-Петербургских Ведомостей» (вариант 390, 29); тот же смысл имеют и другие, меньшие, купюры первопечатного текста. В стилистической правке большое место занимают те исправления, которые переводили стиль очерков из конкретно-описательного произведения в произведение обобщающего типа; это достигалось отчасти и купюрами.

При перепечатке «Писем из Сербии» в *У II* и *У III* текстовые изменения были совершенно незначительны и имели характер мелкой стилистической правки.

Все изложенное выше о цели авторской переработки сербских корреспонденций и очерков 1876 г. в законченный свод разрешает вопрос и о выборе текста «Писем из Сербии» для настоящего издания. Совершенно очевидно, что редакция 1884 г. с последовавшими изменениями 1889 г. только и может считаться каноническим текстом этой серии, которой автор отводил столь важное место в истории своего творчества и в своей идейной эволюции.

Содержащиеся в тексте «Писем из Сербии» упоминания, намеки, термины и проч. раскрываются следующим образом:

Стр. 365, строка 17 — «... начавшегося на Руси возбуждения». Речь идет о панславистском движении в России 1875—1876 гг.

Стр. 366, сноска.—«... остался в Венгрии после усмирения». Имеется в виду подавление венгерского восстания в 1849 г. русскими войсками, посланными Николаем I по просьбе австрийского правительства.

Стр. 368, строка 6.— «Комитет» — местное отделение «Славянского благотворительного комитета» — см. выше.

Стр. 378, строка 12.—«Сатлик» — сербское «сатльик»: кружка.

Стр. 382, строка 1.— Парачин находился на пути из Белграда к укрепленным позициям армии генерала Черняева у Делиграда и Джунриса (иначе — Дьюнииа).

Стр. 382, строка 8. — Топчидер — загородный дворец княжеского двора в окрестностях Белграда.

Стр. 382, строка 10. — Делиград — главная квартира моравско-тимокской черняевской армии и укрепленный лагерь. Турки заняли Делиград 20 октября, после отступления Черняева.

Стр. 382, строка 12.—«Х—в» — очевидно, Алексей Иванович Хлудов (ум. в 1882 г.), известный собиратель старопечатных и рукописных памятников древней русской и славянской письменности.

Стр. 382, строка 15.—«Обява» — сербское објава: подорожная, открытый лист.

Стр. 384, строка 23. — Зайчар — укрепленная сербская позиция на р. Тимоке; сдана туркам 25 июля 1876 г.

Стр. 385, строка 25. — Укрепления Алексинац входили в систему сербских укреплений Джюнис — Делиград — Алексинац: Алексинац был сдан 20 августа.

Стр. 385, строка 27.—«...черкесы в полную волю хозяйничают». Кавказские горцы, выселившиеся и выселенные в Турцию после завоевания Кавказа, в турецкой армии составляли особые конные отряды, славившиеся варварской жестокостью.

Стр. 386, строка 15.—«Войники»— сербское војник: воин, солдат.

Стр. 386, строка 31 (см. также стр. 390, 8 и 390, 32)—появление певчих (стр. 402, 26—«чудовских» певчих—московский хор Чудовского монастыря), в дефинитивном и во всех предыдущих текстах, в том числе и первопечатном, осталось без авторского комментария. Возможно, что строки, поясняющие наличие среди добровольцев московских певчих, выпали либо в процессе выработки белового текста одной из первых корреспонденций «С.-Петербургских Ведомостей», либо в процессе ее напечатания. При правке текста статей для IV тома *У I* и при дальнейших их перепечатках дефект этот остался неустраненным.

Стр. 386, строка 36.—«Дукат» — австрийская золотая монета; по русскому паритету 70—80 гг. — около 3 рублей.

Стр. 388, строка 18. «Лютая ракия» — сербское «љута ракија»: буквально — злая (крепкая) водка.

Стр. 390, строка 25.—«Динар» — сербская монетная единица с 1875 г. (=1 франку).

Стр. 396, сноска.—«...русский „народный“ балет „Конек-горбунок“». «Конек-горбунок» — ранний русский балет; сюжет заимствован из одноименной сказки П. П. Ершова.

Стр. 401, строка 15.—«В полденный жар» — и проч. — искажение лермонтовского «Сна».

Стр. 403, строка 20 —«Опанки» — сербское «опанак» — крестьянская обувь.

В дефинитивный текст «Писем из Сербии» внесены некоторые исправления обнаруженных в нем незначительных типографских и редакционных погрешностей.

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, СТАТЬИ.

ВВЕДЕНИЕ К КОММЕНТАРИЯМ.

К периоду творческой деятельности Успенского, приходящемуся на отрезок времени от первой поездки за границу до начала работы над циклом «Из деревенского дневника», кроме комментированных выше произведений, составивших в *VI* циклы «Новые времена, новые заботы» и «Письма из Сербии», относится и третий ряд произведений, не только не вошедших в какие-либо циклы, но частично и вовсе не включенных автором ни в одно из подготовлявшихся им самим собраний своих сочинений. В жанровом отношении произведения этого ряда разнообразны: здесь и полупублицистические, полубеллетристические очерки, примыкающие к очеркам и рассказам, составившим цикл «Новые времена, новые заботы» («Злые новости», «Из памятной книжки», «Заграничный дневник провинциала», «Из обыденных разговоров»), и просто публицистические статьи на более или менее широкие общественные темы («Кормилица», «Шила в мешке не утаить»), и биографические труды посвященные памяти литературных друзей («Федор Михайлович Гепетников», «Николай Александрович Демерт»), и, наконец, произведения беллетристические: «Грамотный», «Из путевых заметок» (1877), «Парамон-юродивый», «В свое удовольствие». Незаконченное произведение 1874 г. «Очень маленький человек» было задумано как повесть, но вмешательство цензуры (см. ниже) оборвало развертывание сюжета повести в самом начале, в стадии публицистической его мотивировки.

В цитированном выше письме к А. В. Каменскому от 9 мая 1875 г. Успенский намечал обширную программу «очерков, сцен и размышлений», «не стеснительных по форме»; «Из на-

мятной книжки (1875—1876)», «Заграничный дневник провинциала». «В свое удовольствие» и др. — и были частичной реализацией программы, о которой идет речь в письме к Каменскому: «тут будет при случае и Париж и деревня».

В идейно-тематическом отношении все отдельные произведения 1873—1877 гг. примыкают к циклу «Новые времена, новые заботы»; исключение составляет рассказ «Овца без стада», который должен быть рассматриваем в связи с циклом «Из деревенского дневника».

В переписке Успенского этого времени находим замыслы и других литературных работ, не получивших, однако, осуществления. Много работ проектировалось для «Библиотеки Дешевой и Общедоступной»: проекты эти приходятся на 1875 г., когда подготовлялся переход «Библиотеки» в руки Каменского и когда Успенский с увлечением разрабатывал план превращения этого захудалого журнала в популярный демократический орган, писал для него «Оживленную местность», «Неизлечимого», рассказ «Опыт быть веселым»;[1] о плане своих работ в преобразованной «Библиотеке» Успенский писал Каменскому 8 июня 1875 г. из Парижа: «...я сам все, что ни напишу, все будет принадлежать Вам, но мне необходимо июнь, июль и август провести в России, в деревне. Это для меня необходимо как воздух... Для поездки в Россию мне нужно 350 р. серебром... уеду, не заезжая ни в Питер, ни в Москву, прямо к брату в лес, у которого возьму лошадь и отправлюсь по Дону... Это степная мало тронутая сторона; я буду заниматься этим делом серьезно, основательно и уверен, что ничто не пропадет для меня».[2]

План создания литературного журнала, популярного, доступного самому широкому кругу читателей, Успенский разрабатывал с таким увлечением, в такой степени тесно мыслил себя связанным с этим изданием, что для него готов был отойти от работы в других изданиях, в частности в «Отечественных Записках».[3]

Преобразовать «Библиотеку» не удалось; с переходом в руки Каменского она скоро прекратила свое существование за отсутствием у нового ее владельца материальных средств и практического опыта; но удалось и Успенскому напечатать в ней что-либо из своих произведений (см. комментарии к рассказам «Книжка чеков», «Неизлечимый» и к очерку «Оживленная местность»).

[1] Письмо А. В. Каменскому от 20 октября 1875 г., материалы тома XIII настоящего издания.— Рассказ Успенского под заглавием «Опыт быть веселым» неизвестен.

[2] «Русское Богатство» 1912, III, стр. 185—186.

[3] Письмо к А. В. Каменскому от 20 октября 1875 г.

Вне связи с планами реорганизации «Библиотеки» находились два других замысла.

Ко времени пребывания Успенского за границей в 1872 г. относится знакомство его с Г. А. Лопатиным. Личность Лопатина увлекла Успенского,[1] и он тогда же начал роман или повесть под заглавием «Удалой добрый молодец», героя которого он хотел наделить поразившими его чертами личности Лопатина. Об этом замысле и рассказывает Н. К. Михайловский, и он же приводит отрывок неизвестного полностью письма к нему Успенского: «Повесть, которую пишу, автобиография, не моя личная, а нечто вроде Л<опатина>... Это изумительная натура. Я и думать не могу охватить всё это (разносторонность личности и дарований Лопатина.— *И. В.*), но уголок постараюсь взять в свою власть».[2] О романе писал Успенский и Н. А. Долганову из Парижа.[3] Никаких следов романа в бумагах Успенского не сохранилось.

В 1874 г. Успенский принял участие в работе А. В. Каменского над биографией Ч. Диккенса по книге Дж. Форстера «Life of Charles Dickens». Работа, очевидно, закончена не была; в архиве Успенского сохранилось сокращенное изложение XI главы т. I книги Форстера, писанное рукою Каменского.[4]

О задуманной в 1872 г. и не осуществленной серии «Парижские заметки» речь была выше в комментарии к очерку «Больная совесть».

Очерки, рассказы и статьи 1873—1877 гг., как указано, лишь частично входили в своды сочинений Успенского, составленные самим автором: в *У I* вошли и в *У II* и *У III* перепечатаны главы повести «Очень маленький человек» (пропущенные цензурою 1-я, 2-я и 3-я главы под заглавием «Из записок маленького человека» и цензурный вариант глав 4-й и 5-й —«Хорошая встреча»), «Парамон-юродивый» и «Овца без стада»; в *У* 1891 появились —«Федор Михайлович Решетников» и «Из путевых заметок» («Расцеловали»). Произведения эти при перепечатках претерпевали большие или меньшие изменения. Все остальные произведения перепечатывались после смерти писателя в различных

[1] Мемуарная запись Г. И. Успенского «Мои дети», цитированная публикация, стр. 200.

[2] «Русское Богатство» 1902, III, стр. 46.

[3] Государственный Литературный Музей. «Летописи», цитированная книга, стр. 115.

[4] Рукописное отделение Института Литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР (в дальнейшем сокращенно: ИЛИ АН СССР), шифр: ф. 313, оп. 4, № 31.

изданиях, за исключением двух, перепечатываемых впервые в настоящем издании: «В свое удовольствие» и «Из обыденных разговоров».

По причинам технического порядка поименованные очерки, рассказы и статьи 1873—1877 гг. разбиты на две части; группа из первых четырех в хронологическом порядке печатается в этом томе; остальные — в дальнейших. При отсутствии даты написания место очерков, рассказов, статей в хронологическом ряду определялось выходными данными тех изданий, в которых произведения эти были впервые напечатаны.

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ РЕШЕТНИКОВ.

1. Источники текста.

1) Федор Михайлович Решетников. (Биографический очерк).— *Соч. Р*, стр. 1—53. Подпись: *Глеб Успенский*. Дата: 31 мая 1873 г., СПб.

2) Федор Михайлович Решетников. (Биографический очерк).— $У_{1891}$, столб. 287—332, серия «Статьи разного содержания» (запумеровано: 1).

Рукопись неизвестна.

В настоящем издании печатается по $У_{1891}$; цитаты, где возможно, проверены и исправлены по печатным источникам; печатный источник Успенского — «Сочинения Ф. Решетникова. Повести». Том первый. СПб. 1869.

2. В нашем распоряжении нет почти никаких материалов о личных отношениях Успенского с автором «Подлиповцев». В архиве С. С. Решетниковой сохранилось недатированное письмо А. В. Успенской, свидетельствующее о наличии дружественных отношений между двумя семьями.[1] В записной книжке Решетникова среди адресов знакомых литераторов — В. С. Курочкина, Н. А. Демерта, Д. Д. Минаева и др.— записан адрес Г. И. Успенского.[2] Существование личных отношений подтверждается воспоминаниями И. П. Горизонтова [3] и др., а также воспоминаниями и самого Успенского в известном декабрьском, 1888 г., письме его к В. А. Гольцеву. [4]

[1] ИЛИ АН СССР, шифр: 2192/хс.

[2] Рукописное отделение Ленинградской Государственной Публичной Библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (в дальнейшем сокращенно: ЛГПБ), Бумаги Ф. М. Решетникова.

[3] Каменный Гость <И. П. Горизонтов>. «Мое знакомство с Глебом Ивановичем Успенским».— «Саратовский Листок» 1902. № 69 от 27 марта; см. также его письмо Успенскому от 1 августа 1887 г.— ИЛИ АН СССР.

[4] «Архив В. А. Гольцева», цитированное издание, стр. 62.

После смерти Ф. М. Решетникова (9 марта 1871 г.) Успенский взял на себя написание некролога умершего писателя (см. в этом томе). Источники, которыми располагал он для этого, были крайне скудны: «личные наблюдения, кой-какие записочки, письма и лоскутки, оставшиеся в бумагах, и напечатанная Решетниковым в разное время в разных журналах повесть „Между людьми“». [1] К перечисленным материалам надо прибавить рукописи юношеских произведений скончавшегося писателя. Архив Решетникова был в 1871 г. предоставлен Успенскому далеко не полностью; ведшегося в течение многих лет дневника Решетникова в его распоряжении не было: «по обстоятельствам, зависящим не от нас, пользоваться этим дневником мы не можем»,— сообщал Успенский читателям.[2] Указанным обстоятельством объясняется, что в некрологе биография писателя строится преимущественно на материале повести «Между людьми».

Успенский проявил исключительную заботу о семье Решетникова и внимание к его памяти. Он наметил издание оставшихся после Решетникова рукописей и публикацию юношеских его произведений, устроил печатание посмертных произведений Решетникова в «Грамотее» и, вероятно, в «Сыне», «Иллюстрированной Неделе» и проч., сам подготовил к печати отрывки из юношеской драмы Решетникова «Раскольник» и снабдил их своими примечаниями. Конечно, не без участия Успенского осуществилось первое посмертное издание сочинений Решетникова,[3] и едва ли не ему принадлежит редактура этого издания: специально для этого издания написана и комментируемая статья, в основу которой лег написанный Успенским в 1871 г. некролог Решетникова.

На этот раз источником, находившимся в распоряжении Успенского, был дневник Решетникова; пытался и сам он собрать кое-какие материалы. [4]

Мемуаристы отмечают работу Успенского над биографией Решетникова. Так, в воспоминаниях И. И. Успенского подробно передан рассказ другого брата писателя — Я. И. Успенского—об обмороке, случившемся с Г. И. среди работы, причем обморок приписывается причинам морального характера — тяжелым переживаниям Успенского по мере ознакомления его с жизнью собрата по перу.[5] Несомненно, мрачный

[1] В этом томе, стр. 554, сноска.
[2] Там же.
[3] Сочинения Ф. М. Решетникова. Изд. К. Т. Солдатенкова, М., 1874. Т. I, стр. 1074, т. II, стр. 910 с приложением портрета, гравированного на стали Вегером в Лейпциге.
[4] Письмо к А. В. Успенской от 1 августа 1873 г.; материалы к т. XIII настоящего издания.
[5] Литературный Государственный Музей. «Летописи» цитированная книга, стр. 422—424

материал решетниковского архива мог повлиять на восприимчивую нервную систему Успенского, но сам он, вспоминая свою работу над этим материалом, объясняет свое тяжелое тогдашнее состояние трудностями самой работы, требовавшей критического и внимательного отбора фактов и большого чисто физического напряжения для расшифровки писем, дневников, огромных рукописей поэм и драм юноши-Решетникова. «Несколько лет тому назад,— писал Успенский Н. С. Лескову в 1885 г.,— мне пришлось действительно перечитать решительно всё, что написал Решетников (я тогда писал его биографию для издания Солдатенкова), и вот что могу сказать Вам по совести: бока, ребра, печенка, селезенка, подоплека... все суставы и всё то, что в суставах и под суставами,— всё у меня с тех пор треснуло, расселось, болит, ноет, скрежещет и вопиет. Окончив работу, я упал в обморок (это положительно верно; работа была спешная, и надо было сделать страшные усилия, чтобы приковать себя к столу)».[1]

3. Несмотря на более значительный документальный материал, несмотря на наличие дневника Решетникова, освещавшего не только его юность, но и пору расцвета его литературной деятельности, его известности, биографический очерк сохранил общую композицию некролога: подробно рассказан до-петербургский период жизни Решетникова и почти не освещен петербургский. «Нам остается... сказать еще очень немного о переменах во внешней обстановке жизни Ф. М., так как весь путь, пройденный его талантом, нами очерчен»,— заключает Успенский подробное повествование о детстве и юности писателя.[2] Несомненно, что подробному и документальному рассказу о петербургском периоде жизни Решетникова мешало то обстоятельство, что в рассказе об этом неизбежно нужно было говорить о литературных и жизненных связях писателя, о литературной среде и бытовом его окружении, что представляло большие неудобства, особенно, принимая во внимание оценку всего этого самим Решетниковым;[3] однако не только этим обстоятельством объясняется, что Успенский центром своего повествования сделал формирование личности Решетникова и пробуждение в нем неистребимой потребности «делать пользу простому бедному человеку», но и принципиальной установкой статьи, ее идеей, связывавшей ее со всем рядом произведений Успенского 70-х гг.: о возможности и неизбежности «самопроизвольного» зарождения сознания в «нецивилизованной толще». В течение следующих лет Успенский вновь и вновь

[1] «Глеб Успенский. Материалы и исследования». I. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1938, стр. 169.

[2] В этом томе, стр. 463.

[3] См. Дневник Решетникова в нашей публикации: Полное собр. сочин. Ф. М. Решетникова. Изд-во Свердлгиз, 1948.

возвращался к этой идее—в «Очень маленьком человеке», в «Неизлечимом», в «Голодной смерти» и т. д.

Полной биографии Ф. М. Решетникова в комментируемой статье, как и в некрологе, написанном Успенским, читатель не найдет. Статья содержит яркую социальную характеристику творчества Решетникова, как защитника интересов «трудящихся и обремененных», в ней очерчен тип писателя демократа-разночинца,

Статья Успенского—первое исследование жизни и творчества Решетникова, основанное на документах,—являлась первичным источником для всех писавших о Решетникове впоследствии.

Современные исследователи, правда, уже не располагают всеми материалами, которые были в распоряжении Успенского, и тем не менее они свободны от тех чисто методических недостатков, которые свойственны статье Успенского, внесшего в биографию много заимствований из повести «Между людьми», хотя автор вполне отчетливо представлял, что повесть, хотя бы и сугубо автобиографическая, — источник ненадежный; но заимствования укрепляли концепцию Успенского, и он их оставил в новой работе почти полностью. В результате в биографию Решетникова оказались включенными факты, не подтверждаемые документальным материалом, спорные, сомнительные и просто не имевшие места в реальной биографии Решетникова,— о «неусыпном битье и дранье» (стр. 414, 20), о пребывании Решетникова в бурсе и побегах из нее (стр. 416, 15) и многие другие. Факты эти надолго вошли в биографию Решетникова и повторялись всеми писавшими о нем до последнего времени. Наличие этого дефекта в статье Успенского, если даже рассматривать ее как литературоведческую работу, не снижает ее значения: она остается одним из важнейших источников биографии писателя-демократа, благодаря мастерской обрисовке личности Решетникова, благодаря огромному фактическому материалу, извлеченному Успенским из документов, до нас не дошедших и известных лишь в его цитации (некоторые юношеские произведения, дневник до 1864 г. и проч.).

Статья Успенского пронизана авторским сочувствием к литературной деятельности Решетникова; это сочувствие проявлялось и во всем том, что сделал Успенский для популяризации писателя и его литературного наследия, и в жизненных отношениях Успенского,— см., например, его рассказ, в передаче А. И. Иванчина-Писарева, о чтении в кругу молодежи биографии Решетникова, о защите автора «Подлиповцев» и «Где лучше?» от нападок некоей сторонницы правых тенденций в русской критике, идущих из реакционного лагеря, от Авсеенко и др.[1]

[1] А. И. Иванчин-Писарев. «Хождение в народ», цитированное издание, стр. 337—339.

4. Комментируемая статья Успенского, как и более ранние статьи Щедрина, Шелгунова, Цебриковой, вписывала новую и чрезвычайно существенную главу в историю русской литературы: о разночинском, демократическом ее течении. Естественно, что в связи с этим развертывалась и борьба двух лагерей русской литературной критики.

Теоретические выводы из статьи Успенского были сделаны Н. К. Михайловским. Разночинец пришел,— утверждал этот писатель,— пришел с новою моралью, с новою эстетикой, с новым политическим идеалом, отличными от морали, эстетики и социально-политического идеала людей 40-х гг., воспитанных на экономической обеспеченности и гражданских привилегиях. Решетников — пример нового человека. «Разночинец не мог довольствоваться общими категориями цивилизации, из которых исходили люди сороковых годов. Он ценил их лишь по отношению к народу, и благо последнего было для него таким же критерием, каким для людей сороковых годов были отвлеченные категории цивилизации».[1]

Михайловскому в «Русском Вестнике» отвечал В. Г. Авсеенко в том же году.[2] Ответом собственно Успенскому была статья Авсеенко 1875 г.—«Реальная беллетристика», резкая, злобная, наполненная язвительными замечаниями и по адресу биографа Решетникова.[3]

5. При перепечатке комментируемой статьи в *У*1891 текст ее подвергся изменениям; они довольно велики, но принципиального значения не имеют, подавляющее большинство их — авторская стилистическая правда. Купюры имели целью: одни устранение специфических особенностей статьи, как вступительной к собранию сочинений, другие — сжатие текста, третьи — некоторую обнаруженную автором неясность текста: неясны причины урезки текста, отмеченной купюрою 436, 25: выброшенные строки имеют существенное значение для понимания общего смысла статьи.

В текст *У*1891, по которому печатается очерк, внесены следующие исправления типографских и редакционных погрешностей:

Стр. 427, 18. Слово: воззваниэ — *вставлено вместо слова*: возвращение [*Соч. Р.*].

Стр. 429, 1. Слово: напих — *вставлено по Соч. Р.*

[1] Н. М<и х а й л о в с к и й>. «Литературные и журнальные заметки».—«Отечественные записки» 1874, III. стр. 221.

[2] А. О. «Два литературных периода».—«Русский Вестник» 1874, V.

[3] В оценке литературной деятельности Решетникова эта статья повторяла статью того же автора 1869 г., напечатанную в «Заре».

Стр. 430, 11. Слова: его рассуждений о возвышеннейших предметах — *вставлены по Соч. Р.*

Стр. 432, 20. Слово: Алексея— *вставлено вместо обозначения*: А (см. 441, 25).

Стр. 437, 5. Слово: чисто — *вставлено вместо слова*: только [*Соч. Р.*].

Стр. 442, 8. Слова́: в своем воспитаннике — *вставлены вместо слов*: в его воспитании [*Соч. Р.*].

Стр. 449, 35. Слово: он — *вставлено по Соч. Р.*

Стр. 462, 24. Слово: они — *вставлено вместо слова*: это [*Соч. Р.*].

Стр. 466, 23. Слово: запутанного—*вставлено вместо слова*: запуганного [*Соч. Р.*].

Стр. 467, 19. После слов: барок и — *снято слово*: вдут [*Соч. Р*].

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК.

1. Источники текста.

1) Очень маленький человек. (Страницы из одних записок). — *ОЗ* 1874: II. стр. 415—442 (главы первая, вторая и третья); V. стр. 45—80 (главы четвертая [1] и пятая).[2] Подпись: *Г. Успенский* и *Глеб Успенский*.

2) Отрывки из повести.— *Гл*, стр. 289—320.

3) Из записок маленького человека. *У I*, т. IV, стр. 154—186, серия «Сборник очерков и рассказов» (занумеровано: VII).

4) Из записок маленького человека.— *У II*, т. I, столб. 823—844, серия «Очерки и рассказы» (занумеровано: VII).

5) Из записок маленького человека *У III*, т. I, столб. 823—844; серия и номер в серии те же.

Рукопись неизвестна.

В настоящем издании печатается по *ОЗ*.

2. Впервые повесть упоминается в переписке Успенского с Н. А. Некрасовым в апреле 1874 г., когда главы I, II и III были уже напечатаны. Из письма Успенского к Некрасову узнаем об обстоятельствах, в каких писатель находился, работая над повестью. «С августа месяца,—

[1] Глава четвертая ошибочно обозначена: III

[2] Кн. V *ОЗ* 1874 сожжена цензурою (см. ниже); к заглавию повести сноска: «От. Зап. 1874 г. № 2».

писал Успенский Некрасову,— я не обращался к Вам за деньгами, вполне надеясь, что повесть, которою я был занят, вполне выручит меня, если я сделаю заем. Но когда мне пришлось серьезно засесть за работу, я попал в такую массу хлопот и затруднений домашних, что под давлением их я решительно не мог ничего сделать и совершенно испортил все дело. Повесть эта таким образом нисколько не выручила меня, и в настоящую минуту дела мои в скверном состоянии».[1]

Через несколько месяцев выходом из «скверного состояния» представлялось переселение в Париж. Теперь же Некрасов выручил Успенского, устроив ему ссуду в Литературном фонде;[2] однако повесть Успенскому не было суждено закончить: работу над нею остановила цензура.

3. Несмотря на обычный для Успенского-семидесятника публицистический стиль «Очень маленького человека», произведение это развертывалось как повесть, в манере других повестей Успенского начала 70-х гг.—«Тише воды, ниже травы» или «Наблюдения провинциального лентяя»: характер безымянного героя повести, «читателя», очерчивался совершенно отчетливо: это типичный для указанного периода теоретик, «кающийся дворянин», беспомощный, не способный различить либеральную фразу и подлинное дело, более склонный к либеральной фразе, неуверенный, колеблющийся.

Есть сведения, что прототип «читателя» — старый приятель Успенского П. В. Григорьев.[3] П. В. Григорьев — помещик Саратовской губ., участник революционного движения 70-х гг., примыкавший к бакунистскому течению. «Это был преинтересный человек,— характеризует Каменский Григорьева,— даровитый, большой юморист, но „ломанный“».[4] Успенский знал Григорьева еще со студенческих лет, был свидетелем его опытов по устройству у себя в имении земледельческой артели, и, если верить мемуаристам, был участником пропагандистских экскурсий Григорьева.[5] П. В. Григорьев сотрудничал в критическом отделе «Библиотеки Дешевой и Общедоступной». Отношения Успенского с ним были неизменно дружественные и продолжались и после эмиграции Григорьева за границу ввиду массовых арестов второй половины 70-х гг.

[1] «Русские Записки» 1915, XI, стр. 42.

[2] Письмо Н. А. Некрасова Успенскому от 15 апреля 1874 г. — Некрасов. Собрание сочинений, т. V, ГИЗ, М.— Л., 1930, стр. 529—530.

[3] Письмо А. В. Каменского к В. Г. Короленко от 27 января 1910 г., не опубликовано.— ИЛИ АН СССР, ф. 313, оп. 2, № 83.

[4] Там же.

[5] А. И. Иванчин-Писарев. «Хождение в народ», цитированное издание, стр. 408 и след.

4. Майская книжка «Отечественных Записок» подверглась преследованию цензуры. Причиной этому, наряду со статьями Михайловского и Демерта, наряду с «Тяжелым годом» Щедрина и др. была и комментируемая повесть Успенского — IV и V ее главы. 16 мая 1874 г. в заседании С.-Петербургского цензурного комитета цензор Н. Е. Лебедев, докладывая комитету о предосудительном содержании книжки «Отечественных Записок», о повести Успенского сообщал следующее: «Этот небольшой отрывок... отличается крайней тенденциозностью. В нем автор... выставляет одною из тормозящих общественное развитие причин всякого рода регламентации, не дающие возможности человеку развиваться согласно своему призванию и наклонностям».[1] Цензор отмечал авторскую критику «регламентации», в частности той, которая определяла «голодный» минимум образования для крестьянского ребенка (стр. 502 и след. этого тома), и особенно подчеркивал сентенции Феди: «Федя, бывший ученик автора, нравственно возрожденный после тяжелых уроков жизни, задается намерением „делать пользу". Он разделяет людей на полезных и вредных... и приходит к заключению, что всех бесполезных людей следует искоренять, потому что от них вред... со всеми этими суждениями автор вполне согласен и не только не опровергает, но называет их азбучными истинами».[2]

Требуя задержания книжки «Отечественных Записок», цензор мотивировал свое требование особою вредностью некоторых «статей», в том числе и глав «Очень маленького человека». Комитет согласился с мнением Лебедева и наложил на книжку арест. Вопрос перешел в Главное управление по делам печати, а оттуда — в комитет министров. Записка управляющего министерством внутренних дел от 17 мая 1874 г. в заключительной части характеризовала и отрывок из повести Успенского: «...в статье заключается в самой беззастенчивой форме проповедь социализма вообще и в частности пропаганда вражды между имущими и неимущими классами».[3]

Майская книжка «Отечественных Записок» была уничтожена. Успенский не продолжал оборванную цензурою свою работу; уничтоженные главы повести в редакции, приспособленной к требованиям цензуры, появились в виде самостоятельного очерка в «Русских Ведомостях» под заглавием «Хорошая встреча».[4]

[1] Центроархив. (Ленинград). С.-Петербургский цензурный комитет. Дело по изданию журнала «Отечественные Записки» № 60, л. 76.

[2] Там же.

[3] Центроархив (Ленинград). Дело Канцелярии Главного Управления по делам печати № 53 по изданию журнала «Отечественные Записки», лл. 142—143.

[4] Запрещенные цензурою главы впервые были перепечатаны в первоначальном виде в 1918 г.—«Нива» № 25.

В сохранившемся цензурном экземпляре майской книжки «Отечественных Записок» имеются следы цензорской работы: отчеркнуты те места в различных частях книжки, которые цензор демонстрировал комитету. В повести Успенского, между прочим, отчеркнуты: по тексту этого тома, стр. 502, 19 со слов: «Из довольно значительного числа разных „*что-нибудь*“», кончая словами: «за эту самую порубку» (503, 12); стр. 504, 15 со слов: «Федя, которого я встретил», кончая словами: «так уж как хорошо-то!..» (508, 1); слова: «эти азбучные, но вполне искренние» (стр. 506, 30) цензором подчеркнуты. Отметим, что и главы II и III в книге II «Отечественных Записок» носят следы цензуры, неизвестно — внешней или внутренней: страница 435—436 журнального текста (со слов: «где-нибудь дела», в этом, томе, стр. 490, 19, кончая словами: «вниз, где сидел», стр. 493, 2) вырезана и заменена новой; текст вырезанной страницы неизвестен.

В настоящем издании разбившиеся главы незаконченной повести объединены под первопечатным заглавием, и запрещенный цензурою текст глав IV и V восстановлен; это обстоятельство обязало редактора восстановить и дошедший до нас журнальный текст глав I, II и III.

В текст *ОЗ*, по которому повесть печатается, внесены следующие исправления типографских и редакционных погрешностей:

Стр. 469, 14. Слово: совершавшихся — *вставлено вместо слова*: совершившихся [*Гл. У I, У II и У III*].

Стр. 470, 1. После слова: целей — *сняты слова*: жизненных руководителей [*У I, У II и У III*].

Стр. 472, 25. Слова: То забор завалился, то хомуты пропали!..— *вставлены вместо слова*: Завалиться [*Гл. У I, У II и У III*].

Стр. 474, 32. Слово: назад — *вставлено по У III*.

Стр. 476, 24. Слово: доставила — *вставлено вместо слова*: доставили [*У I, У II и У III*].

Стр. 480, 36. Слово: припомнились— *вставлено вместо слова*: припомнилось [*Гл. У I, У II и У III*].

Стр. 482, 2. Слова: положившего себе — *вставлены вместо слова*: решившись [*У I, У II и У III*].

Стр. 482, 10. Слова: наш новый друг — *вставлены* по *Гл. У I, У II и У III*.

Стр. 483, 25. Слова: в этом — *вставлены вместо слов*: в противном [*Гл. У I, У II, У III*].

Стр. 492, 32. Слово: обдирать — *вставлено вместо слова*: задирать.

Стр. 499, 9. Слова: мирового посредника — *вставлены вместо слов*: мировых посредников [*У I, У II и У III*].

Стр. 503, 32. Слово: игольное — *исправлено искажение*: иглес.

Стр. 504, 29. Слово: мною — *вставлено вместо слова*: много.

ЗЛЫЕ НОВОСТИ.

1. Под этим же заглавием напечатано в *ОЗ* 1875, III, стр. 55—74. Не подписано.

Рукопись неизвестна.

Текст сохранившегося наброска начала очерка см. в отделе «Варианты». Набросок на обрывке листка почтовой бумаги; на обороте запись посторонней рукой (А. В. Каменского?) романов Додэ, Уйда и др.

В настоящем издании печатается по *ОЗ*.

2. «Злые новости» были первым и притом анонимным выступлением Успенского в «Отечественных Записках» после описанной выше майской катастрофы. Очерк был началом задуманного, очевидно, большого произведения об изменяющемся под влиянием «новых времен» лице русской деревни. В оглавлении III кн. *ОЗ* (на обертке) на незаконченность очерка указывали цифры глав (I—III), в тексте — концовка последней главы, содержащая обещание «поговорить подробно» о драмах, «молчаливо зарождавшихся в той или иной голове, впервые задумавшейся „надо всем“». Эта тема, как показано выше, развита в очерках и рассказах, вошедших в цикл «Новые времена, новые заботы»—«Неизлечимый» и особенно «Голодная смерть»; этою темою «Злые новости» связываются и с IV и V главами «Очень маленького человека». Можно предполагать, что «Злые новости» вобрали материал незаконченной повести и продолжали ее фабульную линию — намерение автора рассказать «о положении целой деревни, испытавшей на своем веку те же самые, хоть и непужные ей, но настойчиво приводимые в исполнение посторонние влияния».[1]

Д. П. Сильчевский, рассказывая о своих отношениях с Успенским в 1874 г., упоминает о работе писателя над очерком «Злые новости»: «В 1874 г. я навещал Г. И., поселившегося на это лето в Гатчине на даче... Писал он рассказ „Злые новости“ и хотел сделать из этого рассказа целый ряд очерков. Но переделанные много раз „Злые новости“ так и остановились на одном только очерке... Вообще в то время... работа давалась ему мучительно трудно... Были и цензурные и другие препятствия».[2]

«Злые новости» писались непосредственно за «Очень маленьким человеком». Почему в печати очерк появился спустя почти год после написания, неизвестно; возможно, что очерк задерживался редакцией по соображениям цензурным.

---

[1] «Очень маленький человек», гл. V, в этом томе, стр. 518, 11.

[2] Д. П. Сильчевский. «Из воспоминаний о Г. И. Успенском».—«Новости и Биржевая Газета» 1902, № 84, от 26 марта.

В текст *ОЗ*, по которому печатается очерк, внесены следующие исправления типографских и редакционных погрешностей:

Стр. 528, 9. Слова́: небольшим пространством — *вставлены вместо слов*: небольшое пространство.

Стр. 529, 5. Слова́: не просили вперед — *вставлены вместо слов*: попросили вперед.

Стр. 531, 10. Слово: живет — *вставлено вместо слова*: живой.

Стр. 532, 34. Слово: сдергивают — *вставлено вместо слова*: сдерживают.

Стр. 537, 24. Слово: собирание — *вставлено вместо слова*: собирания.

Стр. 538, 19. Слова́: покровской мысли — *вставлены вместо слова*: Покровского.

Стр. 538, 20. Слово: Покровец — *вставлено вместо слова*: Он.

Стр. 539, 31. Слово: оно — *вставлено вместо слова*: это.

Стр. 540, 19. Слова́: с проглатыванием—*вставлены вместо сло́ва*: проглатыванием.

КОРМИЛИЦА.

Под этим же заглавием напечатано в *РВ* 1875, № 5 от 8 января. Подпись: *Гл. У—ий*. Под текстом: Петербург.

Рукопись неизвестна.

В настоящем издании печатается по *РВ* без изменений.

Содержащиеся в тексте очерков, рассказов и статей термины, намеки и цитаты раскрываются следующим образом:

Стр. 412, строка 6.—«А об огурцах,— как бы в отчаянии неоднократно восклицает дядя Ф. М.,— и не поминай!..»

Цитируется письмо Решетникову от В. В. Решетникова из Богословска от 18 июля 1861 г. «Маленький огурчик,— читаем далее в письме В. В.,— в настоящее время у садовника продается четвертак».[1] Биограф несколько преувеличил бедственное положение В. В. Мемуаристы усилили еще более преувеличение Успенского.[2]

[1] ЛГПБ, бумаги Ф. М. Решетникова.

[2] Государственный Литературный Музей. «Летописи», цитированная книга, стр. 424 и др.

Стр. 412, строка 11.—«Не можете ли вы одолжить... его знакомый и друг...»

Из переписки Решетникова; относится ко времени пребывания подростка Решетникова в Соликамском монастыре (см. текст переписки в упомянутом выше издании «Из литературного наследия Ф. М. Решетникова»).

Стр. 412, строка 20.—«В немногих письмах бедного отца Ф. М. ...*как пить крепкую водку...*»

Письма Михаила Васильевича Решетникова, цитируемые Успенским, относятся ко 2-й половине 1852 г. (июль — октябрь); 6 янв. 1853 г. он умер в Красноуфимске в должности почтальона; письма хранятся в ЛГПБ и в ИЛИ АН СССР.

Стр. 414, строка 19.—«...целые *десять* первых *лет* посвящены... чтобы не узнал никто?» [стр. 416,10].

Все эти факты заимствованы из повести «Между людьми» и документами не подтверждаются (указанное выше издание сочинений Решетникова 1869 г., стр. 12, 13, 19, 27, 31).[1]

Стр. 416, строка 15.—«Десяти лет (1851 г.) его отдали в бурсу... что-нибудь худое» [стр. 418, 32].

Все факты заимствованы из повести «Между людьми» и документально не подтверждаются (по указанному источнику, стр. 32 и след.).

Стр. 419, строка 7.—«И вот однажды вечером... своего горя».

Заимствовано из повести «Между людьми» (указанный источник, стр. 44 и след.).

Стр. 420, строка 22.—«...забросил один весьма важный манифест (1855 г.)».

Подростком Решетниковым был заброшен манифест о вступлении на престол Александра II, пересылавшийся на Дедюхинские соляные промыслы, вследствие чего на промыслах население не было своевременно приведено к присяге новому царю.

Стр. 422, строка 12.—«Ехал он сюда... хозяйские папиросы» [стр. 423, 2].

Эти факты биографии Решетникова заимствованы Успенским, очевидно, из дневника писателя, начало которого относится к 1856—1857 гг.

Стр. 431, строка 19.—«Часто, говорит Ф. М.... я бы всё выучил!»

Цитата из повести «Между людьми» (по указанному источнику, стр. 72).

Стр. 432, строка 2 .—«...повидать Алексея в Гагиле».

Алексей Васильевич Решетников — дядя писателя.

[1] Отмечаем только цитаты и заимствования из повести «Между людьми»; заимствования из документов (письма, дневники) оговариваются самим автором и нами не отмечаются.

Стр. 433, с прока 30.—«Жил он в это время.... Что ты там не сидишь смирно!»

Заимствовано из повести «Между людьми» (по указанному источнику, стр. 86—87).

Стр. 434, строка 3.— Поэма «Приговор» до нас не дошла.

Стр. 436, строки 19 и 32.—«Панич» и «Черное озеро» до нас не дошли: «Деловые люди» — см. комедию в томе VI полного собрания сочинений Ф. М. Решетникова, изд. Свердл. обл. гос. изд-ва, Свердловск, 1948.

Стр. 437, строка 13.—«Мне страшно казалось... очень многое».

Цитируется повесть «Между людьми» (указанный источник, стр. 107).

Стр. 437, строка 36.—«...один мастеровой Екатеринбургского монетного двора».

Речь идет о П. М. Фотееве; рабочим в годы дружбы с Решетниковым П. М. не состоял.

Стр. 438, строка 19.—«Вот отрывки из этого письма».

Полный текст письма (от 4 июля 1860 г.) см. в указанном выше издании: «Из литературного наследия Ф. М. Решетникова».

Стр. 442, строка 20.—«...а кротко замечал.... „засветил ему оплеуху“».

Заимствовано из повести «Между людьми» (указанный источник, стр. 98 и 100—106).

Стр. 454, строка 16.—«...отдав свое сочинение председателю».

Здесь и далее речь идет об А. А. Толмачеве, муже Е. Э. Толмачевой, получившей известность в связи с журнальным инцидентом 1861 г. («Безобразный поступок „Веки“»— «Исторический Вестник» 1900, кн. V).

Стр. 456, строка 32.—«Дядя А—н»— П. А. Алалыкин, брат воспитательницы Решетникова М. А. Решетниковой (о нем же идет речь на стр. 413,11: «... одного из самых *начитанных* людей этого круга»).

Стр. 460, строка 9.—«...некто Т.» — В. А. Трейеров, «копиист» Пермской казенной палаты, семинарист по образованию, непосредственный начальник и покровитель Решетникова; письмо к нему Решетникова опубликовано нами в томе VI указанного издания — Соч. Ф. М. Решетникова, стр. 341 и след.

Стр. 461, строка 17.— Повесть «Скрипач» опубликована нами; см. том VI указанного издания сочинений Ф. М. Решетникова; по какой причине рукопись не была известна Успенскому, нами не установлено.

Стр. 461, сноска 2-я.— Указание неточное: «работа этнографическая» — очерк «Святки в Перми» — напечатана в «Пермских Губернских

Ведомостях» 1862, №№ 3 и 4; перепечатана нами в издании: Ф. М. Решетников. Полное собрание сочинений. Том 1. Свердловск. 1936.

Стр. 462, строка 22.—«Стихосложение Перевлесского мне много помогло».

Речь идет о книге П. М. Перевлесского «Русское стихосложение».

Стр. 463, строка 15. — Ревизовал Пермскую казенную палату в 1862 г. чиновник министерства финансов А. В. Брилевич; письмо его к Решетникову (стр. 465,6) от 10 апреля 1863 г. сохранилось — ЛГПБ, бумаги Ф. М. Решетникова.

Стр. 466, строка 5 .—«Брат Н. Г. Помяловского» — В. Г. Комаров; близкие отношения его с Решетниковым продолжались до самой смерти последнего; есть основание полагать, что «Подлиповцы» написаны в Перми (см. указанное издание сочинений Решетникова — т. 1, Свердловск. 1936, стр. 409 и след.).

Стр. 467, строка 13. — Цитируемое Успенским письмо Решетникова к Некрасову до нас не дошло.

Стр. 468, строка 11.—Цитируемое Успенским письмо Решетникова С.-Петербургскому полициймейстеру до нас не дошло; рассказанный Успенским эпизод биографии Решетникова использован В. И. Лениным в главе первой статьи «Случайные заметки» —«Бей, но не до смерти» («Заря» 1901, № 1, Stuttgart [1]); сам Решетников использовал эпизод в рассказе «Филармонический концерт» (указанное издание сочинений Решетникова, т. IV, Свердловск. 1939).

Стр. 502, строка 25.—«Знатоки этого дела, с часами в руках... благолепия» и т. д.

Полемика с либеральными тенденциями в педагогических работах Н. А. Корфа. Рецептура, над которой иронизирует Успенский, содержалась в книге Корфа «Наш друг. Книга для учащихся в школе и дома и руководство к начальному обучению родному языку». «Число статей для чтения и самый размер их непроизвольны...— писал Корф: — на каждый учебный день учебной зимы в селе назначается по *одной* статье, а потому все число статей соответствует *наименьшему* числу учебных дней в селе. Что касается объема каждой статьи, то он рассчитан с часами в руках по степени беглости чтения того разряда учеников, для которых предназначается книга» (стр. 11; курсив подлинника).

Стр. 507, строка 17.—«Мне битву с кабардинцами захотелось прочитать самому...»

Распространенная лубочная переделка повести Н. Зряхова «Битва русских с кабардинцами или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга». Варианты заглавия в лубочных изданиях: «Битва с кабардинц (1870—12 000 экз.), «Грозный татарин, или

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. IV, стр. 376.

битва русских с кабардинцами» (1871—7200 экз.), «Битва русских с кабардинцами или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа»; под последним заглавием в 1872 г. вышло два издания общим тиражом 4800 экз.

Стр. 521, строка 4.—«Рòсчать» (или расчать) — тамбовское: начать что-либо — тюк, связку и т. д. (Даль).

Стр. 550, строка 32.—«...рекомендую вашему вниманию новых самарцев...».

Имеется в виду голод левого Поволжья (Самарской и Оренбургской губерний) в результате неурожая 1873 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ.

Некролог.

Под этим же заглавием напечатано в *ОЗ* 1871, IV, стр. 419—436. Подпись: *Г. У.*

Рукописные источники текста неизвестны.

Текст сохранившегося отрывка черновой рукописи некролога см. в *ПД 1*, в отделе «Варианты», стр. 658. Рукопись — автограф, карандаш, на полулисте почтовой бумаги обычного формата; оборот полулиста и второй полулист белые; не имеет начала и не озаглавлено.

В текст *ОЗ*, по которому печатается некролог, внесены следующие исправления типографских и редакционных погрешностей:

Стр. 556,2. Слово: обязывавшего — *вставлено вместо слова:* обязанного.

Стр. 556, 19. Слова: Книга эта была — *вставлены вместо слов:* Книги эти были.

Стр. 566, 24. Слова: поэма в трех частях — называется — *перестановка слов печатного текста:* называется поэма в трех частях.

Стр. 573, 26. После слова: всячины — *сняты слова:* от стариков [*Соч. Р.*].

Цитаты из повести «Между людьми» исправлены, по указанному выше печатному источнику.

«ПРИМЕЧАНИЯ К «СЦЕНАМ ИЗ ДРАМЫ „РАСКОЛЬНИК"» Ф. М. РЕШЕТНИКОВА.»

1. «Примечания» вместе со «Сценами» впервые под заглавием «Сцены из драмы „Раскольник" Ф. М. Решетникова с примечаниями Глеба Успенского» напечатаны в издании: «Невский Альманах. Выпуск второй «Из прошлого» (Писатели, художники, артисты). Жертвам войны». Пгрд. 1917, стр.: примечание 1-е — 85; примечание 2-е — 104—107 (текст Решетникова, стр. 85—104).

В настоящем издании «Примечания» воспроизводятся по рукописи — $ПД_3$.

2. $ПД_3$ — тетрадка в четвертую долю листа писчего формата, лл. 32 (29 с текстом на обеих сторонах +3 белых); писарская копия, правка рукою Успенского.

Посторонние надписи на рукописи:

На л. 1-м —

«Запретить и оставить при д‹елах› Комитета. № 1496. 24 ноября 1873 г.»

На л. 29-м—

‹1.› «В сей рукописи двадцать девять листов пронумерованных».

‹2.› «В Московский цензурный комитет представлена сия рукопись от титулярного советника Василия Егорова Грачева, живущего Пречистенской части в доме Шилова

Ноября 24 дня 1873 г.»

Надписи сделаны в Московском цензурном комитете.

Цензурное запрещение вызвано отдельными местами текста Решетникова, в рукописи отчеркнутыми.

Рукопись была обнаружена в 1913 г. в Московском губернском архиве старых дел. Сообщение об этой находке в виде обстоятельной корреспонденции из Москвы с описанием рукописи и с изложением содержания «Примечаний» появилось в «Новом Времени». «В здешнем архиве старых дел, — сообщал анонимный корреспондент газеты,— в массе запрещенных книг, брошюр и рукописей наших писателей, переданных на хранение из московской цензуры, найдена весьма ценная рукопись Глеба Успенского: «Сцены из драмы „Раскольник", представляющая комментарий к этой драме, написанной Решетниковым».[1]

В 1914 г. рукопись «Сцен» поступила в рукописное отделение Пушкинского Дома (ИЛИ АН СССР). Администрация Пушкинского Дома и до 1917 г. принимала меры к опубликованию рукописи: сначала рукопись была предложена для напечатания редакции «Голоса Минувшего», после отказа последней подготовлялось отдельное издание — был сделан набор и написано предисловие, но издание почему-то не

[1] «Новое Время» 1913, № 13517 от 28 октября.

состоялось. В редакции Успенского, с некоторыми вариантами, «Сцены» фигурировали в 1874 г. на конкурсе по описанию уваровских премий.[1]

Текст Решетникова нами не перепечатывается; его место указано в тексте редакторской строкой точек в угловых скобках.

ХОРОШАЯ ВСТРЕЧА.

1. Источники текста.

1) Хорошая встреча. (Отрывок из путевых заметок) — *РВ* 1874, № 278 от 29 декабря (глава первая) и № 279 от 31 декабря (главы вторая и третья). Подпись: *Глеб Успенский.*

2) Хорошая встреча. (Отрывок из путевых заметок.)— *У I*, т. IV, стр. 187—202, серия «Сборник очерков и рассказов» (занумеровано: VIII).

3) Хорошая встреча. (Из путевых заметок.)— *У II*, т. I, столб. 844—854, серия «Очерки и рассказы» (занумеровано: VIII).

4) Хорошая встреча. (Из путевых заметок.) — *У III*, т. I, столб. 844—854, серия и номер в серии те же.

Рукопись неизвестна.

В настоящем издании воспроизводится первопечатный текст по *РВ*, как наиболее близкий хронологически к запрещенным IV и V главам повести «Очень маленький человек» и наиболее точно отражающий работу автора по приспособлению текста к цензурным условиям. Некоторые варианты позднейших текстов см. в сносках к основному тексту очерка.

2. Текст комментируемого рассказа не является выправленным текстом запрещенных цензурою глав «Очень маленького человека», а написан почти заново: написаны новые разделы, многое опущено; Успенский работал, очевидно, не заглядывая в запрещенный текст, и текстовых совпадений «Хорошей встречи» с соответствующими главами «Очень маленького человека» почти нет. Заново написанная гл. I рассказа хотя и повторяет тему о «второклассной» и «третьеклассной» пароходной публике, но разработана иначе: резче подчеркнута надоедливая бессодержательность «второклассных» речей и критически оценены речи публики «третьеклассной», как «здоровая и искренняя умственная чепуха». В остальном наблюдаются сжатия и смягчения сравнительно с запрещенным текстом: опущена дальнейшая характеристика

[1] См. нашу вступительную статью к публикации этого варианта «Сцен»—«Из литературного наследия Ф. М. Решетникова», стр. 365—370.

«читателя», осененного мыслью о благоустройстве семьи и отечества, опущен рассказ о подробностях острожной жизни Феди, о фальшивой монете, о поисках для нее «звону» и о знакомстве на этой почве с Семеном Сергенчем, о «пробуждении ума» Феди, понявшего, кто будет в ответе за его монету; опущена вся глава V «Очень маленького человека», имевшая в концепции Успенского 70-х гг. существеннейшее значение, трактовавшая о выходе людей нецивилизованной толпы «прямо к свету», хотя бы путь к этому лежал через острог и фальшивую монету,— в противовес «неплательщикам»-куприяновцам, движущимся только по «торным дорогам».

Все, что вызвало цензурные гонения, было смягчено: характеристика науки для народа, укладывающейся в промежуток времени между порубкой в чужом лесу в целях уплаты податей и арестом за эту порубку, а потому поспешной, стремящейся объединить несоединимое; речи Феди об искоренении «неполезных» людей, о богатых и бедных, о зря проходящем для целей борьбы времени. Раскрывшего глаза Феде механика заменил нейтральный Ананий Петрович, и исчезло восторженное преклонение Феди перед этим не выведенным на сцену персонажем. Мечта об иной жизни для человека в новой редакции перемежается колебаниями: «не то в затворники, не то в разбойники»,— и оставление школы мотивируется религиозным неудовлетворением вместо прежнего мотива отсутствия в «читателевом» преподавании чудес воскресения.

Смягченный таким образом рассказ беспрепятственно прошел московскую цензуру.

ОЖИВЛЕННАЯ МЕСТНОСТЬ.

1. Под этим же заглавием напечатано в *РБ* 1910, II, стр. 11—18 с предисловием В. Г. Короленко: «От редакции. (По поводу рукописи Успенского)».

Печатается по рукописи — *ПД* 1/176.

2. В «Русском Богатстве» очерк печатался по той же рукописи, предоставленной редакции журнала А. В. Каменским. Рукопись поступила в редакцию «Русского Богатства» в 1904 г. при письме Каменского на имя В. Г. Короленко от 7 февраля, содержавшем историю очерка, подробно пересказанную адресатом в предисловии «От редакции».

«По словам Андрея Васильевича Каменского...— сообщал Короленко,— руководящим гением «Дешевки» был Успенский. Кроме того, журнал состоял под покровительством «Отечественных Записок» и осо-

бенно Ник. Конст. Михайловского... цензор Лонгинов очень преследовал «Библиотеку» и прямо задался целью уничтожить журнал, около которого, по его словам, собралась шайка из покойного «Русского Слова». Он систематически истреблял лучшие статьи — и в конце концов «Библиотека» действительно погибла. Предлагаемый очерк Глеба Ивановича назначался именно для этого журнала и „зарезан" Лонгиновым».[1]

В. Г. Короленко так определял отношение «Оживленной местности» к «Книжке чеков»: «„Оживленная местность" очень близка к позднейшей работе Успенского „Книжка чеков", к которой относится, как первоначальный этюд к возникшей из него картине».[2]

В рассказанной выше истории «Книжки чеков» (см. комментарий к этому рассказу) мы иначе определили отношение очерка к рассказу: «Оживленная местность» не «этюд» к «Книжке чеков», а новая упрощенная редакция этого рассказа, законченная в июле 1875 г. Основанием для такой датировки служит запись А. В. Каменского на обложке рукописи очерка: «№ I. «Оживленная местность» для «Библиотеки»; зарезан цензурой. 1875 г. 7 <?>. Время издания Деш. Библ. (получена из Парижа).»[3] Совершенно очевидно, что именно этот очерк высылался Успенским из Парижа при письме от 28 июля 1875 г., содержавшем, между прочим, следующие строки: «Посылаю Вам начало работы... Это начало целого ряда очерков, в конце 1-го (завтра) Вы увидите цель их. Все цензурно».[4] О «начале работы» свидетельствовало указание автора в конце рукописи: «Продолжение следует». Цель очерков действительно легко устанавливается по концовке первого очерка: «...не сразу удалось ему приучить народ продавать свою честь... Полный разврат настал в наших местах никак не ранее, как года через три... Только к этому времени женщины стали носить ситцевые сарафаны, а мужики красные рубахи. Только к этому времени те и другие стали с удовольствием пьянствовать в выстроенном Иваном Ивановичем трактире и только к этому времени Иван Иваныч, не боясь потерпеть фиаско, мог смело приглашать к себе соседних господ, обещаясь „угостить" их как следует».[5]

Таким образом, раскрывается и общий замысел задуманной серии очерков: сжав и упростив «пролог» к «Оживлению местности» (распоясовское разоренье в «Книжке чеков»), самые очерки посвятить перерождению патриархальной округи под воздействием капитала. Тема эта уже намечалась в прерванных «Злых новостях», и впоследствии Успенский возвращался к ней неоднократно.

[1] «Русское Богатство» 1910, II, стр. 11—12.
[2] Там же, стр. 12.
[3] ИЛИ АН СССР, ф. 313, оп. 2, № 83.
[4] «Русское Богатство» 1912, III, стр. 189.
[5] В этом томе, стр. 631, 35.

Запрещение очерка приходится на август—сентябрь 1875 г., и произошло оно не при М. Н. Лонгинове, а при его преемнике — В. В. Григорьеве.

З. А. В. Каменский указывает, что очерк был набран для «Библиотеки»;[1] набор до нас не дошел. В архиве Каменского сохранилась только рукопись.

Рукопись — автограф, беловая, наборная, на семи занумерованных автором полулистах почтовой бумаги большого формата (7-й листок — на половине полулиста). Обороты полулистов белые, поля слева. Нижний край 5-го оборван без ущерба для текста, у 6-го нижний край оборван и подклеен. Под заглавием вымарано слово «Очерк», обозначение «I» и не поддающееся прочтению название главы; В. Г. Короленко читает «Деревня». Под текстом подпись: «Глеб Успенский» и авторское указание: «Продолжение следует».

Почему очерк, предоставленный Каменским редакции «Русского Богатства» в 1904 г., оказалось возможным напечатать только в 1910 г., нам неизвестно.

Содержащиеся в тексте очерков и рассказов этого отдела цитаты и намеки раскрываются следующим образом:

Стр. 555, строка 23.—«Какая еще такая... Врут, поди!..»

Цитируется повесть «Между людьми» по изданию: «Сочинения Ф. Решетникова. Повести. Том первый». СПб. 1869, стр. 11.

Стр. 556, строка 30.—«...семидесятилетняя бабушка, торговавшая на рынке калачами».

Заимствовано из повести «Между людьми» (указанное издание, стр. 18).

Стр. 563, строка 15.—«Из бумаг, оставшихся после смерти Ф. М., мы знаем.... всё-всё до последней пылинки».

Имеются в виду сохранившиеся в архиве Решетникова материалы к его романам —«Горнорабочие», «Где лучше?»— Опубликованы нами в издании: «Ф. М. Решетников. Полное собрание сочинений». Свердлгиз, томы III (Свердловск, 1937) и IV (Свердловск, 1939).

Стр. 563 строка 20.— Письмо Решетникова к Н. А. Благовещенскому от 10 июля 1865 г. полностью опубликовано нами; см. названное издание Полн. собр. соч. Ф. М. Решетникова, т. VI, стр. 350.

[1] Письмо А. В. Каменского к В. Г. Короленко от 7 февраля 1904 г., ИЛИ АН СССР, ф. 313, оп. 2, № 83.

Стр. 563, строка 28.—«Он жил с рабочими Варшавской железной дороги.... „Где лучше?“»

Источник этих сведений Успенского неизвестен.

Стр. 568, строка 6.—«...чтобы уважали... место дяде».

Заимствовано из повести «Между людьми» (по указанному изданию, стр. 98).

Стр. 569, строка 35.—«Это было приблизительно в 1862—1863 годах».

Неточно: Решетников приехал из Екатеринбурга в Пермь в 1861 г.

Стр. 600, строка 3.— Поэма «Воля» до нас не дошла и в статье Успенского 1873 г. не упоминается.

Стр. 570, строка 26.—«Одно неизвестное нам лицо.... о библиотеке казенной палаты...»

«Неизвестное лицо» — В. А. Трейеров (см. выше, стр. 711).

Стр. 571, строка 26.—«...наконец, изложил все... вам дадут рублей восемь».

Заимствовано из повести «Между людьми» (по указанному изданию, стр. 180—183).

Стр. 571, строка 36.—«Несколько недель ему пришлось проходить без места».

Источник этих сведений Успенского неизвестен; по имеющимся данным, Решетников был определен в штат департамента внешней торговли министерства финансов тотчас по приезде в Петербург.

Стр. 574, строка 20.—«...и в течение *двух лет* взял не более двухсот рублей...»

Источник этих сведений Успенского неизвестен. Документально подтверждается только один случай выдачи (август или сентябрь 1866 г.). Осенью 1866 г. Решетников печатал у Благосветлова в «Деле» роман «Глумовы», и острый период материальной нужды к этому времени для него окончился.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр.

Г. И. Успенский. Фотография 1872 г. Институт Литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР. Шифр: Ф. I, Ин. 20261. 4

Автограф страницы из второй главы «Больная совесть». Рукоп. отд. Института Литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР. Шифр: ф. 313, оп. 1, № 2. 352

Автограф первой страницы очерка «Оживленная местность». Рукоп. отд. Института Литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР, ф. 313, оп. 1, № 174. 600

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЗАБОТЫ

I. Книжка чеков 7
II. Неплательщики 34
III. Хочешь-не-хочешь 63
IV. На старом пепелище 108
V. Неизлечимый 165
VI. Не воскрес 219
VII. Голодная смерть 244
VIII. Три письма 277
IX. Больная совесть 333

ПИСЬМА ИЗ СЕРБИИ

I. Наши добровольцы в дороге 365
II. Наши добровольцы на чужой стороне 374
III. От Белграда до Парачина и назад 382
IV. Перед отъездом 392

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, СТАТЬИ

Федор Михайлович Решетников. (Биографический очерк) . . 411
Очень маленький человек 469
Злые новости 519
Кормилица 544

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф. М. Решетников. Некролог. 553
<Примечания к «Сценам из драмы „Раскольник“» Ф. М. Решетникова> 575

Хорошая встреча 580
Оживленная местность 595

ВАРИАНТЫ

Принятые сокращения 605
Новые времена, новые заботы 607
Письма из Сербии 618
Очерки, рассказы, статьи 627

КОММЕНТАРИИ

Новые времена, новые заботы
Источники текста 633
Введение к комментариям 634
Очерки и рассказы цикла 646
Книжка чеков 646
Неплательщики 650
Хочешь-не-хочешь 652
На старом пепелище 653
Неизлечимый 656
Не воскрес 658
Голодная смерть 659
Три письма 660
Больная совесть 662
Письма из Сербии 679
Очерки, рассказы, статьи
Введение к комментариям 696
Федор Михайлович Решетников 699
Очень маленький человек 704
Злые новости 708
Кормилица 709
Приложения
Ф. М. Решетников. Некролог 714
«Примечания к «Сценам из драмы „Раскольник" Ф. М. Решетникова»» 715
Хорошая встреча 716
Оживленная местность 719
Список иллюстраций 721

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР

*

РЕДАКЦИЯ
И. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. И. БУРСОВ, Б. П. КОЗЬМИН
Текст подготовил и комментарии составил
И. И. ВЕКСЛЕР

*

Редактор издательства *А. И. Корчагин*
Технический редактор *Е. В. Зеленкова*
Корректоры *Н. С. Родина* и *М. Н. Богоявленская*

*

РИСО АН СССР № 3664. А-02627. Издат. № 1533. Тип. заказ № 1362. Подп. к печ. 12.II 1949 г. Формат бум. 60×92¹/₁₆. Печ. л. 45¼+3 вкл. Уч.-издат. 36. Тираж 6000. Цена 30 руб.

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., д. 10

КН. 123062